

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://turgenevivan.ru/> Приятного чтения!

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев

Ася  
Повесть  
I

Мне было тогда лет двадцать пять, – начал Н. Н., – дела давно минувших дней, как видите. Я только что вырвался на волю и уехал за границу, не для того, чтобы «кончить мое воспитание», как говаривалось тогда, а просто мне захотелось посмотреть на мир божий. Я был здоров, молод, весел, деньги у меня не переводились, заботы еще не успели завестись – я жил без оглядки, делал, что хотел процветал, одним словом. Мне тогда и в голову не приходило, что человек не растение и процветать ему долго нельзя. Молодость ест пряники золоченые, да и думает, что это-то и есть хлеб насущный; а придет время – и хлебца напрочишься. Но толковать об этом не для чего.

Я путешествовал без всякой цели, без плана; останавливался везде, где мне нравилось, и отправлялся тотчас далее, как только чувствовал желание видеть новые лица – именно лица. Меня занимали исключительно одни люди; я ненавидел любопытные памятники, замечательные собрания, один вид лон-лакея возбуждал во мне ощущение тоски и злобы; я чуть с ума не сошел в дрезденском «Грюне Гевелбе». Природа действовала на меня чрезвычайно, но и не любил так называемых ее красот, необыкновенных гор, утесов, водопадов; я не любил, чтобы она навязывалась мне, чтобы она мне мешала. Зато лица, живые, человеческие лица – речи людей, их движения, смех – вот без чего я обойтись не мог. В толпе мне было всегда особенно легко и отратно; мне было весело идти, куда шли другие, кричать, когда другие кричали, и в то же время я любил смотреть, как эти другие кричат. Меня забавляло наблюдать людей... да я даже не наблюдал их – я их рассматривал с каким-то радостным и ненасытным любопытством. Но я опять сбиваюсь в сторону.

Итак, лет двадцать тому назад я проживал в немецком небольшом городке З., на левом берегу Рейна. Я искал уединения: я только что был поражен в сердце одной молодой вдовой, с которой познакомился на водах. Она была очень хороша собой и умна, кокетничала со всеми – и со мною грешным, – сперва даже поощряла меня, а потом жестоко меня уязвила, пожертвовав мною одному краснощекому баварскому лейтенанту. Признаться сказать, рана моего сердца не очень была глубока; но я почел долгом предаться на некоторое время печали и одиночеству – чем молодость не тешится! – и поселился в З.

Городок этот мне понравился своим местоположением у подошвы двух высоких холмов, своими дряхлыми стенами и башнями, вековыми липами, крутым мостом над светлой речкой, впадавшей в Рейн, – а главное, своим хорошим вином. По его узким улицам гуляли вечером, тотчас после захождения солнца (дело было в июне), прехорошенькие белокурые немочки и, встретясь с иностранцем, произносили приятным голоском: «Guten Abend!»[1] – а некоторые из них не уходили даже и тогда, когда луна поднималась из-за острых крыш стареньких домов и мелкие камни мостовой четко рисовались в ее неподвижных лучах. Я любил бродить тогда по городу; луна, казалось, пристально глядела на него с чистого неба; и город чувствовал этот взгляд и стоял чутко и мирно, весь облитый ее светом, этим безмятежным и в то же время тихо душу волнующим светом. Петух на высокой готической колокольне блестел бледным золотом; таким же золотом переливались струйки по черному гляncy речки; тоненькие свечки (немец бережлив!) скромно теплились в узких окнах под грифельными кровлями; виноградные лозы таинственно высовывали свои завитые усики из-за каменных оград; что-то пробегало в тени около старинного колодца на трехугольной площади, внезапно раздавался сонливый свисток ночного сторожа, добродушная собака ворчала вполголоса, а воздух так и ластился к лицу, и липы пахли так сладко, что грудь поневоле все глубже и глубже дышала, и слово: «Гретхен» – не то восклицание, не то вопрос – так и просилось на уста.

Городок З. лежит в двух верстах от Рейна. Я часто ходил смотреть на величавую реку и, не без некоторого напряжения мечтая о коварной вдове, просиживал долгие часы на каменной скамье под одиноким огромным ясенем. Маленькая статуя мадонны с почти детским лицом и красным сердоцем на груди, пронзенным мечами, печально выглядывала из его ветвей. На противоположном берегу находился городок Л., немного побольше того, в котором я поселился. Однажды вечером сидел я на своей

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
любимой скамье и глядел то на реку, то на небо, то на виноградники. Передо мною белоголовые мальчишки карабкались по бокам лодки, вытащенной на берег и опрокинутой намоленным брюхом кверху. Кораблики тихо бежали на слабо надувшихся парусах; зеленоватые волны скользили мимо, чуть-чуть вспухая и урча. Вдруг донеслись до меня звуки музыки: я прислушался. В городе Л. играли вальс; контрабас гудел отрывисто, скрипка неясно заливалась, флейта свистала бойко.

– Что это? – спросил я у подошедшего ко мне старика в плисовом жилете, синих чулках и башмаках с пряжками.

– Это, – отвечал он мне, предварительно передвинув мундштук своей трубки из одного угла губ в другой, – студенты приехали из Б. на коммерш.

«А посмотрю-ка я на этот коммерш, – подумал я, – кстати же я в Л. не бывал». Я отыскал перевозчика и отправился на другую сторону.

## II

Может быть, не всякий знает, что такое коммерш. Это особенного рода торжественный пир, на который сходятся студенты одной земли или братства (Lands-mannschaft). Почти все участники в коммерше носят издавна установленный костюм немецких студентов: венгерки, большие сапоги и маленькие шапочки с околышами известных цветов. Собираются студенты обыкновенно к обеду под председательством сениора, то есть старшины, – и пируют до утра, пьют, поют песни, Landesvater, Gaudeamus, курят, бранят филистеров; иногда они нанимают оркестр.

Такой точно коммерш происходил в г. Л. перед небольшой гостиницей под вывескою Солнца, в саду, выходящем на улицу. Над самой гостиницей и над садом веяли флаги; студенты сидели за столами под обстриженными липками; огромный бульдог лежал под одним из столов; в стороне, в беседке из плюща, помещались музыканты и усердно играли, то и дело подкрепляя себя пивом. На улице, перед низкой оградой сада, собралось довольно много народа: добрые граждане городка Л. не хотели пропустить случая поглазеть на заезжих гостей. Я тоже вмешался в толпу зрителей. Мне было весело смотреть на лица студентов; их объятия, восклицания, невинное кокетничанье молодости, горящие взгляды, смех без причины – лучший смех на свете – все это радостное кипение жизни юной, свежей, этот порыв вперед – куда бы то ни было, лишь бы вперед, – это добродушное раздолье меня трогало и поджигало. «Уж не пойти ли к ним?» – спрашивал я себя...

– Ася, довольно тебе? – вдруг произнес за мною мужской голос по-русски.

– Подождем еще, – отвечал другой, женский голос на том же языке.

Я быстро обернулся... Взор мой упал на красивого молодого человека в фуражке и широкой куртке; он держал под руку девушку невысокого роста, в соломенной шляпе, закрывавшей всю верхнюю часть ее лица.

– Вы русские? – сорвалось у меня невольно с языка.

Молодой человек улыбнулся и промолвил:

– Да, русские.

– Я никак не ожидал... в таком захолустье, – начал было я.

– И мы не ожидали, – перебил он меня, – что ж? тем лучше. Позвольте рекомендоваться: меня зовут Гагиным, а вот это моя... – он запнулся на мгновение, – моя сестра. А ваше имя позвольте узнать?

Я назвал себя, и мы разговорились. Я узнал, что Гагин, путешествуя, так же как я, для своего удовольствия, неделю тому назад заехал в городок Л., да и застрял в нем. Правду сказать, я неохотно знакомился с русскими за границей. Я их узнавал даже издали по их походке, покрою платья, а главное, по выражению их лица. Самодовольное и презрительное, часто повелительное, оно вдруг сменялось выражением осторожности и робости... Человек внезапно настораживался весь, глаз беспокойно бегал... «Батюшки мои! не соврал ли я, не смеются ли надо мною», – казалось, говорил этот уторопленный взгляд... Проходило мгновение – и снова восстанавливалось величие физиономии, изредка чередуясь с тупым недоумением. Да, я

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
избегал русских, но Гагин мне понравился тотчас. Есть на свете такие счастливые лица: глядеть на них всякому любо, точно они греют вас или гладят. У Гагина было именно такое лицо, милое, ласковое, с большими мягкими глазами и мягкими курчавыми волосами. Говорил он так, что, даже не видя его лица, вы по одному звуку его голоса чувствовали, что он улыбается.

Девушка, которую он назвал своей сестрой, с первого взгляда показалась мне очень миловидной. Было что-то свое, особенное, в складе ее смугловатого, круглого лица, с небольшим тонким носом, почти детскими щечками и черными, светлыми глазами. Она была грациозно сложена, но как будто не вполне еще развита. Она нисколько не походила на своего брата.

– Хотите вы зайти к нам? – сказал мне Гагин, – кажется, довольно мы насмотрелись на немцев. Наши бы, правда, стекла разбили и поломали стулья, но эти уж больно скромны. Как ты думаешь, Ася, пойти нам домой?

Девушка утвердительно качнула головой.

– Мы живем за городом, – продолжал Гагин, – в винограднике, в одиноком домишке, высоко. У нас славно, посмотрите. Хозяйка обещала приготовить нам кислого молока. Теперь же скоро стемнеет, и нам лучше будет переезжать Рейн при луне.

Мы отправились. Чрез низкие ворота города (старинная стена из булыжника окружала его со всех сторон, даже бойницы не все еще обрушились) мы вышли в поле и, пройдя шагов сто вдоль каменной ограды, остановились перед узенькой калиткой. Гагин отворил ее и повел нас в гору по крутой тропинке. С обеих сторон, на уступах, рос виноград: солнце только что село, и алый тонкий свет лежал на зеленых лозах, на высоких тычинках, на сухой земле, усеянной сплошь крупным и мелким плитняком, и на белой стене небольшого домика, с косыми черными перекладинами и четырьмя светлыми окошками, стоявшего на самом верху горы, по которой мы взбирались.

– Вот и наше жилище! – воскликнул Гагин, как только мы стали приближаться к домику, – а вот и хозяйка несет молоко. Guten Abend, Madame!.. [2] Мы сейчас примемся за еду; но прежде, – прибавил он, – оглянитесь... каков вид?

Вид был точно чудесный. Рейн лежал перед нами весь серебряный, между зелеными берегами; в одном месте он горел багряным золотом заката. Приютившийся к берегу городок показывал все свои дома и улицы; широко разбегались холмы и поля. Внизу было хорошо, но наверху еще лучше: меня особенно поразила чистота и глубина неба, сияющая прозрачность воздуха. Свежий и легкий, он тихо колыхался и перекатывался волнами, словно и ему было раздольнее на высоте.

– Отличную вы выбрали квартиру, – промолвил я.

– Это Ася ее нашла, – отвечал Гагин, – ну-ка, Ася, – продолжал он, – распоряжайся. Вели все сюда подать. Мы станем ужинать на воздухе. Тут музыка слышнее. Заметили ли вы, – прибавил он, обратясь ко мне, – вблизи иной вальс никуда не годится – пошлые, грубые звуки, – а в отдаленье, чудо! так и шевелит в вас все романтические струны.

Ася (собственное имя ее было Анна, но Гагин называл ее Асей, и уж вы позвольте мне ее так называть) – Ася отправилась в дом и скоро вернулась вместе с хозяйкой. Они вдвоем несли большой поднос с горшком молока, тарелками, ложками, сахаром, ягодами, хлебом. Мы уселись и принялись за ужин. Ася сняла шляпу; ее черные волосы, стриженные и причесанные, как у мальчика, падали крупными завитками на шею и уши. Сначала она дичилась меня; но Гагин сказал ей:

– Ася, полно ежиться! он не кусается.

Она улыбнулась и немного спустя уже сама заговаривала со мной. Я не видал существа более подвижного. Ни одно мгновение она не сидела смирно; вставала, убегала в дом и прибегала снова, напевала вполголоса, часто смеялась, и престранным образом: казалось, она смеялась не тому, что слышала, а разным мыслям, приходившим ей в голову. Ее большие глаза глядели прямо, светло, смело, но иногда веки ее слегка щурились, и тогда взор ее внезапно становился глубок и нежен.

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)

Мы проболтали часа два. День давно погас, и вечер, сперва весь огнистый, потом ясный и алый, потом бледный и смутный, тихо таял и переливался в ночь, а беседа наша все продолжалась, мирная и кроткая, как воздух, окружавший нас. Гагин велел принести бутылку рейнвейна; мы ее распили не спеша. Музыка по-прежнему долетала до нас, звуки ее казались слаще и нежнее; огни зажглись в городе и над рекою. Ася вдруг опустила голову, так что кудри ей на глаза упали, замолкла и вздохнула, а потом сказала нам, что хочет спать, и ушла в дом; я, однако, видел, как она, не зажигая свечи, долго стояла за нераскрытым окном. Наконец, луна встала и заиграла по Рейну; все осветилось, потемнело, изменилось, даже вино в наших граненых стаканах заблестело таинственным блеском. Ветер упал, точно крылья сложил, и замер; ночным, душистым теплом повеяло от земли.

– Пора! – воскликнул я, – а то, пожалуй, перевозчика не сыщешь.

– Пора, – повторил Гагин.

Мы пошли вниз по тропинке. Камни вдруг посыпались за нами: это Ася нас догоняла.

– Ты разве не спишь? – спросил ее брат, но она, не ответив ему ни слова, пробежала мимо.

Последние умиравшие площадки, зажженные студентами в саду гостиницы, освещали снизу листья деревьев, что придавало им праздничный и фантастический вид. Мы нашли Асю у берега: она разговаривала с перевозчиком. Я прыгнул в лодку и простился с новыми моими друзьями. Гагин обещал навестить меня на следующий день; я пожал его руку и протянул свою Асе; но она только посмотрела на меня и покачала головой. Лодка отчалила и понеслась по быстрой реке. Первозчик, бодрый старик, с напряжением погружал весла в темную воду.

– Вы в лунный столб въехали, вы его разбили, – закричала мне Ася.

Я опустил глаза; вокруг лодки, чернея, колыхались волны.

– Прощайте! – раздался опять ее голос.

– До завтра, – проговорил за нею Гагин. Лодка причалила. Я вышел и оглянулся. Никого уж не было видно на противоположном берегу. Лунный столб опять тянулся золотым мостом через всю реку. Словно на прощание примчались звуки старинного ланнеровского вальса. Гагин был прав: я почувствовал, что все струны сердца моего задрожали в ответ на те заискивающие напевы. Я отправился домой через потемневшие поля, медленно вдыхая пахучий воздух, и пришел в свою комнатку весь разнеженный сладостным томлением беспредметных и бесконечных ожиданий. Я чувствовал себя счастливым... Но отчего я был счастлив? Я ничего не желал, я ни о чем не думал... Я был счастлив.

Чуть не смеясь от избытка приятных и игривых чувств, я нырнул в постель и уже закрыл было глаза, как вдруг мне пришло на ум, что в течение вечера я ни разу не вспомнил о моей жестокой красавице... «Что же это значит? – спросил я самого себя. – Разве я не влюблен?» Но, задав себе этот вопрос, я, кажется, немедленно заснул, как дитя в колыбели.

### III

На другое утро (я уже проснулся, но еще не вставал) стук палки раздался у меня под окном, и голос, который я тотчас признал за голос Гагина, запел:

Ты спишь ли? Гитарой  
Тебя разбужу...  
Я поспешил ему отворить дверь.

– Здравствуйте, – сказал Гагин, входя, – я вас раненько потревожил, но посмотрите, какое утро. Свежесть, роса, жаворонки поют...

С своими курчавыми блестящими волосами, открытой шеей и розовыми щеками он сам был свеж, как утро.

Я оделся; мы вышли в садик, сели на лавочку, велели подать себе кофе и принялись беседовать. Гагин сообщил мне свои планы на будущее: владея порядочным состоянием и ни от кого не завися, он хотел посвятить себя живописи и только

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
сожалел о том, что поздно хватился за ум и много времени потратил по-пустому; я также упомянул о моих предположениях, да, кстати, поверил ему тайну моей несчастной любви. Он выслушал меня с снисхождением, но, сколько я мог заметить, сильного сочувствия к моей страсти я в нем не возбудил. Вздохнув вслед за мной два раза из вежливости, Гагин предложил мне пойти к нему посмотреть его этюды. Я тотчас согласился.

Мы не застали Асю. Она, по словам хозяйки, отправилась на «развалину». Верстах в двух от города Л. находились остатки феодального замка. Гагин раскрыл мне все свои картоны. В его этюдах было много жизни и правды, что-то свободное и широкое; но ни один из них не был окончен, и рисунок показался мне небрежен и неверен. Я откровенно высказал ему мое мнение.

– Да, да, – подхватил он со вздохом, – вы правы; все это очень плохо и незрело, что делать! Не учился я как следует, да и проклятая славянская распущенность берет свое. Пока мечтаешь о работе, так и паришь орлом: землю, кажется, сдвинул бы с места – а в исполнении тотчас слабеешь и устаешь.

я начал было ободрять его, но он махнул рукой и, собравши картоны в охапку, бросил их на диван.

– Коли хватит терпенья, из меня выйдет что-нибудь, – промолвил он сквозь зубы, – не хватит, останусь недорослем из дворян. Пойдемте-ка лучше Асю отыскивать.

Мы пошли.

#### IV

Дорога к развалине вилась по скату узкой лесистой долины; на дне ее бежал ручей и шумно прядал через камни, как бы торопясь слиться с великой рекой, спокойно сиявшей за темной гранью круто рассеченных горных гребней. Гагин обратил мое внимание на некоторые счастливо освещенные места; в словах его слышался если не живописец, то уж наверное художник. Скоро показалась развалина. На самой вершине голый скалы возвышалась четырехугольная башня, вся черная, еще крепкая, но словно разрубленная продольной трещиной. Мшистые стены примыкали к башне; кой-где лепился плющ; искривленные деревца свешивались с седых бойниц и рухнувших сводов. Каменистая тропинка вела к уцелевшим воротам. Мы уже подходили к ним, как вдруг впереди нас мелькнула женская фигура, быстро перебежала по груде обломков и поместилась на уступе стены, прямо над пропастью.

– А ведь это Ася! – воскликнул Гагин, – экая сумасшедшая!

Мы вошли в ворота и очутились на небольшом дворике, до половины заросшем дикими яблонями и крапивой. На уступе сидела, точно, Ася. Она повернулась к нам лицом и засмеялась, но не тронулась с места. Гагин погрозил ей пальцем, а я громко упрекнул ее в неосторожности.

– Полноте, – сказал мне шепотом Гагин, – не дразните ее; вы ее не знаете: она, пожалуй, еще на башню взберется. А вот вы лучше подивитесь смысленности здешних жителей.

Я оглянулся. В уголке, приютившись в крошечном деревянном балаганчике, старушка вязала чулок и косилась на нас чрез очки. Она продавала туристам пиво, пряники и зельтерскую воду. Мы уместились на лавочке и принялись пить из тяжелых оловянных кружек довольно холодное пиво. Ася продолжала сидеть неподвижно, подобрав под себя ноги и закутав голову кисейным шарфом; стройный облик ее отчетливо и красиво рисовался на ясном небе; но я с неприязненным чувством посматривал на нее. Уже накануне заметил я в ней что-то напряженное, не совсем естественное... «Она хочет удивить нас, – думал я, – к чему это? Что за детская выходка?» Словно угадавши мои мысли, она вдруг бросила на меня быстрый и пронзительный взгляд, засмеялась опять, в два прыжка соскочила со стены и, подойдя к старушке, попросила у ней стакан воды.

– Ты думаешь, я хочу пить? – промолвила она, обратившись к брату, – нет; тут есть цветы на стенах, которые непременно полить надо.

Гагин ничего не отвечал ей; а она, с стаканом в руке, пустилась карабкаться по развалинам, изредка останавливаясь, наклоняясь и с забавной важностью роняя несколько капель воды, ярко блестящих на солнце. Ее движения были очень милы,

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
но мне по-прежнему было досадно на нее, хотя я невольно любовался ее легкостью и ловкостью. На одном опасном месте она нарочно вскрикнула и потом захохотала... Мне стало еще досаднее.

– Да она как коза лазит, – пробормотала себе под нос старушка, оторвавшись на мгновение от своего чулка.

Наконец, Ася опорожнила весь свой стакан и, шаловливо покачиваясь, возвратилась к нам. Странная усмешка слегка подергивала ее брови, ноздри и губы; полудерзко, полувесело щурились темные глаза.

«Вы находите мое поведение неприличным, – казалось, говорило ее лицо, – все равно: я знаю, вы мной любуетесь».

– Искусно, Ася, искусно, – промолвил Гагин вполголоса.

Она вдруг как будто застыдилась, опустила свои длинные ресницы и скромно под села к нам, как виноватая. Я тут в первый раз хорошенько рассмотрел ее лицо, самое изменчивое лицо, какое я только видел. Несколько мгновений спустя оно уже все побледнело и приняло сосредоточенное, почти печальное выражение; самые черты ее мне показались больше, строже, проще. Она вся затихла. Мы обошли развалину кругом (Ася шла за нами следом) и полюбовались видами. Между тем час обеда приближался. Расплачиваясь со старушкой, Гагин спросил еще кружку пива и, обернувшись ко мне, воскликнул с лукавой ужимкой:

– За здоровье дамы вашего сердца!

– А разве у него, – разве у вас есть такая дама? – спросила вдруг Ася.

– Да у кого же ее нет? – возразил Гагин.

Ася задумалась на мгновение; ее лицо опять изменилось, опять появилась на нем вызывающая, почти дерзкая усмешка.

На возвратном пути она пуще хохотала и шалила. Она сломала длинную ветку, положила ее к себе на плечо, как ружье, повязала себе голову шарфом. Помнится, нам встретилась многочисленная семья белокурых и чопорных англичан; все они, словно по команде, с холодным изумлением проводили Асю своими стеклянными глазами, а она, как бы им назло, громко запела. Воротясь домой, она тотчас ушла к себе в комнату и появилась только к самому обеду, одетая в лучшее свое платье, тщательно причесанная, перетянутая и в перчатках. За столом она держалась очень чинно, почти чопорно, едва отведывала кушанья и пила воду из рюмки. Ей явно хотелось разыграть передо мною новую роль – роль приличной и благовоспитанной барышни. Гагин не мешал ей: заметно было, что он привык потакать ей во всем. Он только по временам добродушно взглядывал на меня и слегка пожимал плечом, как бы желая сказать: «Она ребенок; будьте снисходительны». Как только кончился обед, Ася встала, сделала нам книксен и, надевая шляпу, спросила Гагина: можно ли ей пойти к фрау Луизе?

– Давно ли ты стала спрашиваться? – отвечал он с своей неизменной, на этот раз несколько смущенной улыбкой, – разве тебе скучно с нами?

– Нет, но я вчера еще обещала фрау Луизе побывать у ней; притом же я думала, вам будет лучше вдвоем: господин Н. (она указала на меня) что-нибудь еще тебе расскажет.

Она ушла.

– Фрау Луизе, – начал Гагин, стараясь избегать моего взора, – вдова бывшего здешнего бургомистра, добрая, впрочем пустая старушка. Она очень полюбила Асю. У Аси страсть знакомиться с людьми круга низшего; я заметил: причиною этому всегда бывает гордость. Она у меня порядком избалована, как видите, – прибавил он, помолчав немного, – да что прикажете делать? Взыскивать я ни с кого не умею, а с нее и подавно. Я обязан быть снисходительным с нею.

Я промолчал. Гагин переменял разговор. Чем больше я узнавал его, тем сильнее я к нему привязывался. Я скоро его понял. Это была прямо русская душа, правдивая, честная, простая, но, к сожалению, немного вялая, без цепкости и внутреннего

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
жара. Молодость не кипела в нем ключом; она светилась тихим светом. Он был очень мил и умен, но я не мог себе представить, что с ним станется, как только он возмужает. Быть художником... Без горького, постоянного труда не бывает художников... а трудиться, думал я, глядя на его мягкие черты, слушая его неспешную речь, – нет! трудиться ты не будешь, сжаться ты не сумеешь. Но не полюбить его не было возможности: сердце так и влеклось к нему. Часа четыре провели мы вдвоем, то сидя на диване, то медленно расхаживая перед домом; и в эти четыре часа сошлись окончательно.

Солнце село, и мне уже пора было идти домой. Ася все еще не возвращалась.

– Экая она у меня вольница! – промолвил Гагин. – Хотите, я пойду провожать вас? Мы по пути завернем к фрау Луизе; я спрошу, там ли она? Крюк не велик.

Мы спустились в город и, свернув в узкий, кривой переулочек, остановились перед домом в два окна шириною и вышиною в четыре этажа. Второй этаж выступал на улицу больше первого, третий и четвертый еще больше второго; весь дом с своей ветхой резьбой, двумя толстыми столбами внизу, острой черепичной кровлей и протянутым в виде клюва воротом на чердаке казался огромной, сгорбленной птицей.

– Ася! – крикнул Гагин, – ты здесь?

Освещенное окошко в третьем этаже стукнуло и отворилось, и мы увидели темную головку Аси. Из-за нее выглядывало беззубое и подслеповатое лицо старой немки.

– Я здесь, – проговорила Ася, кокетливо опершись локтями на оконницу, – мне здесь хорошо. На тебе, возьми, – прибавила она, бросая Гагину ветку гераниума, – вообрази, что я дама твоего сердца.

Фрау Луизе засмеялась.

– Н. уходит, – возразил Гагин, – он хочет с тобой проститься.

– Будто? – промолвила Ася, – в таком случае дай ему мою ветку, а я сейчас вернусь.

Она захлопнула окно и, кажется, поцеловала фрау Луизе. Гагин протянул мне молча ветку. Я молча положил ее в карман, дошел до перевоза и перебрался на другую сторону.

Помнится, я шел домой, ни о чем не размышляя, но с странной тяжестью на сердце, как вдруг меня поразил сильный, знакомый, но в Германии редкий запах. Я остановился и увидел возле дороги небольшую грядку конопли. Ее степной запах мгновенно напомнил мне родину и возбудил в душе страстную тоску по ней. Мне захотелось дышать русским воздухом, ходить по русской земле. «Что я здесь делаю, зачем таскаюсь я в чужой стороне между чужими?» – воскликнул я, и мертвенная тяжесть, которую я ощущал на сердце, разрешилась внезапно в горькое и жгучее волнение. Я пришел домой совсем в другом настроении духа, чем накануне. Я чувствовал себя почти рассерженным и долго не мог успокоиться. Непонятная мне самому досада меня разбирала. Наконец, я сел и, вспомнив о своей коварной вдове (официальным воспоминанием об этой даме заключался каждый мой день), достал одну из ее записок. Но я даже не раскрыл ее; мысли мои тотчас приняли иное направление. Я начал думать... думать об Асе. Мне пришло в голову, что Гагин в течение разговора намекнул мне на какие-то затруднения, препятствующие его возвращению в Россию... «Полно, сестра ли она его?» – произнес я громко.

Я разделся, лег и старался заснуть; но час спустя я опять сидел в постели, облокотившись локтем на подушку, и снова думал об этой «капризной девочке с натянутым смехом...». «Она сложена, как маленькая рафаэлевская Галатеея в фарнезине, – шептал я, – да; и она ему не сестра...»

А записка вдовы преспокойно лежала на полу, белея в лучах луны.

V

На следующее утро я опять пошел в Л. Я уверял себя, что мне хочется повидаться с Гагиным, но втайне меня тянуло посмотреть, что станет делать Ася, так же ли она будет «чудить», как накануне. Я застал обоих в гостиной, и, странное дело! – оттого ли, что я ночью и утром много размышлял о России, – Ася показалась мне

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru) совершенно русской девушкой, да, просто девушкой, чуть не горничной. На ней было старенькое платьице, волосы она зачесала за уши и сидела, не шевелясь, у окна да шила в пальцах, скромно, тихо, точно она век свой ничем другим не занималась. Она почти ничего не говорила, спокойно посматривала на свою работу, и черты ее приняли такое незначительное, будничное выражение, что мне невольно вспомнились наши доморощенные Кати и Маши. Для довершения сходства она принялась напевать вполголоса «Матушку, голубушку». Я глядел на ее желтоватое, угасшее личико, вспоминал о вчерашних мечтаниях, и жаль мне было чего-то. Погода была чудесная. Гагин объявил нам, что пойдет сегодня рисовать этюд с натуры; я спросил его, позволит ли он мне провожать его, не помешаю ли я ему?

– Напротив, – возразил он, – вы мне можете хороший совет дать.

Он надел круглую шляпу а *la Van Dyck*[3], блузу, взял картон под мышку и отправился; я поплелся вслед за ним. Ася осталась дома. Гагин, уходя, просил ее позаботиться о том, чтобы суп был не слишком жидок: Ася обещалась побывать на кухне. Гагин добрался до знакомой уже мне долины, присел на камень и начал срисовывать старый дуплистый дуб с раскидистыми сучьями. Я лег на траву и достал книжку; но я и двух страниц не прочел, а он только бумагу измарал; мы все больше рассуждали и, сколько я могу судить, довольно умно и тонко рассуждали о том, как именно должно работать, чего следует избегать, чего придерживаться и какое собственно значение художника в наш век. Гагин, наконец, решил, что он «сегодня не в ударе», лег рядом со мною, и уж тут свободно потекли молодые наши речи, то горячие, то задумчивые, то восторженные, но почти всегда неясные речи, в которых так охотно разливается русский человек. Наболтавшись досыта и наполнившись чувством удовлетворения, словно мы что-то сделали, успели в чем-то, вернулись мы домой. Я нашел Асю точно такую же, какую я ее оставил; как я ни старался наблюдать за нею – ни тени кокетства, ни признака намеренно принятой роли я в ней не заметил; на этот раз не было возможности упрекнуть ее в неестественности.

– А-га! – говорил Гагин, – пост и покаяние на себя наложила.

К вечеру она несколько раз непритворно зевнула и рано ушла к себе. Я сам скоро простился с Гагиным и, возвратившись домой, не мечтал уже ни о чем: этот день прошел в трезвых ощущениях. Помнится, однако, ложась спать, я невольно промолвил вслух:

– Что за хамелеон эта девушка! – и, подумав немного, прибавил: – А все-таки она ему не сестра.

## VI

Прошли целые две недели. Я каждый день посещал Гагиных. Ася словно избегала меня, но уже не позволяла себе ни одной из тех шалостей, которые так удивили меня в первые два дня нашего знакомства. Она казалась втайне огорченной или смущенной; она и смеялась меньше. Я с любопытством наблюдал за ней.

Она довольно хорошо говорила по-французски и по-немецки; но по всему было заметно, что она с детства не была в женских руках и воспитание получила странное, необычное, не имевшее ничего общего с воспитанием самого Гагина. От него, несмотря на его шляпу а *la Van Dyck* и блузу, так и веяло мягким, полуизнеженным, великорусским дворянином, а она не походила на барышню; во всех ее движениях было что-то беспокойное: этот дичок недавно был привит, это вино еще бродило. По природе стыдливая и робкая, она досадовала на свою застенчивость и с досады насильственно старалась быть развязной и смелой, что ей не всегда удавалось. Я несколько раз заговаривал с ней об ее жизни в России, об ее прошедшем: она неохотно отвечала на мои расспросы; я узнал, однако, что до отъезда за границу она долго жила в деревне. Я застал ее раз за книгой, одну. Опершись головой на обе руки и запустив пальцы глубоко в волосы, она пожирала глазами строки.

– Bravo! – сказал я, подойдя к ней, – как вы прилежны!

Она приподняла голову, важно и строго посмотрела на меня.

– Вы думаете, я только смеяться умею, – промолвила она и хотела удалиться...

Я взглянул на заглавие книги: это был какой-то французский роман.



Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)

– Однако я ваш выбор похвалить не могу, – заметил я.

– Что же читать! – воскликнула она и, бросив книгу на стол, прибавила: – Так лучше пойду дурачиться, – и побежала в сад.

В тот же день, вечером, я читал Гагину «Германа и Доротею». Ася сперва все только шныряла мимо нас, потом вдруг остановилась, прикинула ухом, тихонько под села ко мне и прослушала чтение до конца. На следующий день я опять не узнал ее, пока не догадался, что ей вдруг вошло в голову: быть домовитой и степенной, как Доротея. Словом, она являлась мне полузагадочным существом. Самолюбивая до крайности, она привлекала меня, даже когда я сердился на нее. В одном только я более и более убеждался, а именно в том, что она не сестра Гагина. Он обходился с нею не по-братски: слишком ласково, слишком снисходительно и в то же время несколько принужденно.

Странный случай, по-видимому, подтвердил мои подозрения.

Однажды вечером, подходя к винограднику, где жили Гагины, я нашел калитку запертой. Не долго думавши добрался я до одного обрушенного места в ограде, уже прежде замеченного мною, и перескочил через нее. Недалеко от этого места, в стороне от дорожки, находилась небольшая беседка из акаций; я поровнялся с нею и уже прошел было мимо... вдруг меня поразил голос Аси, с жаром и сквозь слезы произносивший следующие слова:

– Нет, я никого не хочу любить, кроме тебя, нет, нет, одного тебя я хочу любить – и навсегда.

– Полно, Ася, успокойся, – говорил Гагин, – ты знаешь, я тебе верю.

Голоса их раздавались в беседке. Я увидел их обоих сквозь негустой переплет ветвей. Они меня не заметили.

– Тебя, тебя одного, – повторила она, бросилась ему на шею и с судорожными рыданиями начала целовать его и прижиматься к его груди.

– Полно, полно, – твердил он, слегка проводя рукой по ее волосам.

Несколько мгновений остался я неподвижным... Вдруг я встрепенулся. «Подойти к ним?.. Ни за что!» – сверкнуло у меня в голове. Быстрыми шагами вернулся я к ограде, перескочил через нее на дорогу и чуть не бегом пустился домой. Я улыбался, потирал руки, удивлялся случаю, внезапно подтвердившему мои догадки (я ни на одно мгновение не усомнился в их справедливости), а между тем на сердце у меня было очень горько. «Однако, – думал я, – умеют же они притворяться! Но к чему? Что за охота меня морочить? Не ожидал я этого от него... И что за чувствительное объяснение?»

## VII

Я спал дурно и на другое утро встал рано, привязал походную котомочку за спину и, объявив своей хозяйке, чтобы она не ждала меня к ночи, отправился пешком в горы, вверх по течению реки, на которой лежит городок З. Эти горы, отрасли хребта, называемого Собачьей спиной (Hundsrück), очень любопытны в геологическом отношении; в особенности замечательны они правильностью и чистотой базальтовых слоев; но мне было не до геологических наблюдений. Я не отдавал себе отчета в том, что во мне происходило; одно чувство было мне ясно: нежелание видиться с Гагиными. Я уверял себя, что единственной причиной моего внезапного нерасположения к ним была досада на их лукавство. Кто их принуждал выдавать себя за родственников? Впрочем, я старался о них не думать; бродил не спеша по горам и долинам, засиживался в деревенских харчевнях, мирно беседуя с хозяевами и гостями, или ложился на плоский согретый камень и смотрел, как плыли облака, благо погода стояла удивительная. В таких занятиях я провел три дня, и не без удовольствия, – хотя на сердце у меня щемило по временам. Настроение моих мыслей приходилось как раз под стать спокойной природе того края.

Я отдал себя всего тихой игре случайности, набегавшим впечатлениям: неторопливо сменяясь, протекали они по душе и оставили в ней, наконец, одно общее чувство, в котором слилось все, что я видел, ощутил, слышал в эти три дня, – все: тонкий запах смолы по лесам, крик и стук дятлов, немолчная болтовня светлых ручейков с пестрыми форелями на песчаном дне, не слишком смелые очертания гор, хмурые

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
скалы, чистенькие деревеньки с почтенными старыми церквями и деревьями, аисты в лугах, уютные мельницы с проворно вертящимися колесами, радушные лица поселян, их синие камзолы и серые чулки, скрипучие, медлительные возы, запряженные жирными лошадьми, а иногда коровами, молодые длинноволосые странники по чистым дорогам, обсаженным яблонями и грушами...

Даже и теперь мне приятно вспоминать мои тогдашние впечатления. Привет тебе, скромный уголок германской земли, с твоим незатейливым довольством, с повсеместными следами прилежных рук, терпеливой, хотя неспешной работы... Привет тебе и мир!

Я пришел домой к самому концу третьего дня. Я забыл сказать, что с досады на Гагиных я попытался воскресить в себе образ жестокосердой вдовы; но мои усилия остались тщетны. Помнится, когда я принялся мечтать о ней, я увидел перед собою крестьянскую девочку лет пяти, с круглым личиком, с невинно выпученными глазенками. Она так детски-простодушно смотрела на меня... Мне стало стыдно ее чистого взора, я не хотел лгать в ее присутствии и тотчас же окончательно и навсегда раскланялся с моим прежним предметом.

Дома я нашел записку от Гагина. Он удивлялся неожиданности моего решения, пенял мне, зачем я не взял его с собою, и просил прийти к ним, как только я вернусь. Я с неудовольствием прочел эту записку, но на другой же день отправился в Л.

### VIII

Гагин встретил меня по-приятельски, осыпал меня ласковыми упреками; но Ася, точно нарочно, как только увидела меня, расхохоталась без всякого повода и, по своей привычке, тотчас убежала. Гагин смутился, пробормотал ей вслед, что она сумасшедшая, попросил меня извинить ее. Признаюсь, мне стало очень досадно на Асю; уж и без того мне было не по себе, а тут опять этот неестественный смех, эти странные ужимки. Я, однако, показал вид, будто ничего не заметил, и сообщил Гагину подробности моего небольшого путешествия. Он рассказал мне, что делал в мое отсутствие. Но речи наши не клеились; Ася входила в комнатку и убегала снова; я объявил, наконец, что у меня есть спешная работа и что мне пора вернуться домой. Гагин сперва меня удерживал, потом, посмотрев на меня пристально, вызвался провожать меня. В передней Ася вдруг подошла ко мне и протянула мне руку; я слегка пожал ее пальцы и едва поклонился ей. Мы вместе с Гагиным переправились через Рейн и, проходя мимо любимого моего ясеня с статушкой мадонны, присели на скамью, чтобы полюбоваться видом. Замечательный разговор произошел тут между нами.

Сперва мы перекинулись немногими словами, потом замолкли, глядя на светлую реку.

– Скажите, – начал вдруг Гагин, с своей обычной улыбкой, – какого вы мнения об Асе? Не правда ли, она должна казаться вам немного странной?

– Да, – ответил я не без некоторого недоумения. Я не ожидал, что он заговорит о ней.

– Ее надо хорошенько узнать, чтобы о ней судить, – промолвил он, – у ней сердце очень доброе, но голова бедовая. Трудно с нею ладить. Впрочем, ее нельзя винить, и если б вы знали ее историю...

– Ее историю?.. – перебил я, – разве она не ваша...

Гагин взглянул на меня.

– Уж не думаете ли вы, что она не сестра мне?.. Нет, – продолжал он, не обращая внимания на мое замешательство, – она точно мне сестра, она дочь моего отца. Выслушайте меня. Я чувствую к вам доверие и расскажу вам все.

Отец мой был человек весьма добрый, умный, образованный – и несчастливый. Судьба обошлась с ним не хуже, чем со многими другими; но он и первого удара ее не вынес. Он женился рано, по любви; жена его, моя мать, умерла очень скоро; я остался после нее шести месяцев. Отец увез меня в деревню и целые двенадцать лет не выезжал никуда. Он сам занимался моим воспитанием и никогда бы со мной не расстался, если б брат его, мой родной дядя, не заехал к нам в деревню. Дядя этот жил постоянно в Петербурге и занимал довольно важное место. Он уговорил отца отдать меня к нему на руки, так как отец ни за что не соглашался покинуть

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
деревню. Дядя представил ему, что мальчику моих лет вредно жить в совершенном уединении, что с таким вечно унылым и молчаливым наставником, каков был мой отец, я непременно отстану от моих сверстников, да и самый нрав мой легко может испортиться. Отец долго противился увещаниям своего брата, однако уступил, наконец. Я плакал, расставаясь с отцом; я любил его, хотя никогда не видал улыбки на лице его... но, попавши в Петербург, скоро позабыл наше темное и невеселое гнездо. Я поступил в юнкерскую школу, а из школы перешел в гвардейский полк. Каждый год приезжал я в деревню на несколько недель и с каждым годом находил отца моего все более и более грустным, в себя углубленным, задумчивым до робости. Он каждый день ходил в церковь и почти разучился говорить. В одно из моих посещений (мне уже было лет двадцать с лишком) я в первый раз увидел у нас в доме худенькую черноглазую девочку лет десяти – Асю. Отец сказал, что она сирота и взята им на прокормление – он именно так выразился. Я не обратил особенного внимания на нее; она была дика, проворна и молчалива, как зверек, и как только я входил в любимую комнату моего отца, огромную и мрачную комнату, где скончалась моя мать и где даже днем зажигались свечи, она тотчас пряталась за вольтеровское кресло его или за шкаф с книгами. Случилось так, что в последовавшие за тем три, четыре года обязанности службы помешали мне побывать в деревне. Я получал от отца ежемесячно по короткому письму; об Асе он упоминал редко, и то вскользь. Ему было уже за пятьдесят лет, но он казался еще молодым человеком. Представьте же мой ужас: вдруг я, ничего не подозревавший, получаю от приказчика письмо, в котором он извещает меня о смертельной болезни моего отца и умоляет приехать как можно скорее, если хочу проститься с ним. Я поскакал сломя голову и застал отца в живых, но уже при последнем издыхании. Он обрадовался мне чрезвычайно, обнял меня своими исхудалыми руками, долго поглядел мне в глаза каким-то не то испытующим, не то умоляющим взором и, взяв с меня слово, что я исполню его последнюю просьбу, велел своему старому камердинеру привести Асю. Старик привел ее: она едва держалась на ногах и дрожала всем телом.

– Вот, – сказал мне с усилием отец, – завещаю тебе мою дочь – твою сестру. Ты все узнаешь от Якова, – прибавил он, указав на камердинера.

Ася зарыдала и упала лицом на кровать... Полчаса спустя мой отец скончался.

Вот что я узнал. Ася была дочь моего отца и бывшей горничной моей матери, Татьяны. Живо помню я эту Татьяну, помню ее высокую стройную фигуру, ее благообразное, строгое, умное лицо, с большими темными глазами. Она слыла девушкой гордой и неприступной. Сколько я мог понять из почтительных недомолвок Якова, отец мой сошелся с нею несколько лет спустя после смерти матушки. Татьяна уже не жила тогда в господском доме, а в избе у замужней сестры своей, скотницы. Отец мой сильно к ней привязался и после моего отъезда из деревни хотел даже жениться на ней, но она сама не согласилась быть его женой, несмотря на его просьбы.

– Покойница Татьяна Васильевна, – так докладывал мне Яков, стоя у двери с закинутыми назад руками, – во всем были рассудительны и не захотели батюшку вашего обидеть. Что, мол, я вам за жена? какая я барыня? так они говорить изволили, при мне говорили-с.

Татьяна даже не хотела переселиться к нам в дом и продолжала жить у своей сестры, вместе с Асей. В детстве я видывал Татьяну только по праздникам, в церкви. Повязанная темным платком, с желтой шалью на плечах, она становилась в толпе, возле окна, – ее строгий профиль четко вырезывался на прозрачном стекле, – и смиренно и важно молилась, кланяясь низко, по-старинному. Когда дядя увез меня, Асе было всего два года, а на девятом году она лишилась матери.

Как только Татьяна умерла, отец взял Асю к себе в дом. Он и прежде изъявлял желание иметь ее при себе, но Татьяна ему и в этом отказала. Представьте же себе, что должно было произойти в Асе, когда ее взяли к барину. Она до сих пор не может забыть ту минуту, когда ей в первый раз надели шелковое платье и поцеловали у ней ручку. Мать, пока была жива, держала ее очень строго; у отца она пользовалась совершенной свободой. Он был ее учителем; кроме его, она никого не видала. Он не баловал ее, то есть не нянчился с нею; но он любил ее страстно и никогда ничего ей не запрещал: он в душе считал себя перед ней виноватым. Ася скоро поняла, что она главное лицо в доме, она знала, что барин ее отец; но она так же скоро поняла свое ложное положение; самолюбие развилось в ней сильно, недоверчивость тоже; дурные привычки укоренились, простота исчезла. Она хотела (она сама мне раз призналась в этом) заставить целый мир забыть ее

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
происхождение; она и стыдилась своей матери, и стыдилась своего стыда, и гордилась ею. Вы видите, что она многое знала и знает, чего не должно бы знать в ее годы... Но разве она виновата? Молодые силы разыгрывались в ней, кровь кипела, а вблизи ни одной руки, которая бы ее направила. Полная независимость во всем! да разве легко ее вынести? Она хотела быть не хуже других барышень; она бросилась на книги. Что тут могло выйти путного? Неправильно начатая жизнь слагалась неправильно, но сердце в ней не испортилось, ум уцелел.

И вот я, двадцатилетний малый, очутился с тринадцатилетней девочкой на руках! В первые дни после смерти отца, при одном звуке моего голоса, ее била лихорадка, ласки мои повергали ее в тоску, и только понемногу, исподволь, привыкла она ко мне. Правда, потом, когда она убедилась, что я точно признаю ее за сестру и полюбил ее, как сестру, она страстно ко мне привязалась: у ней ни одно чувство не бывает вполнину.

Я привез ее в Петербург. Как мне ни больно было с ней расстаться, – жить с ней вместе я никак не мог; я поместил ее в один из лучших пансионатов. Ася поняла необходимость нашей разлуки, но начала с того, что заболела и чуть не умерла. Потом она обтерпелась и выжила в пансионе четыре года; но, против моих ожиданий, осталась почти такою же, какою была прежде. Начальница пансиона часто жаловалась мне на нее. «И наказывать ее нельзя, – говаривала она мне, – и на ласку она не поддается». Ася была чрезвычайно понятлива, училась прекрасно, лучше всех; но никак не хотела подойти под общий уровень, упрямылась, глядела буквой... Я не мог слишком винить ее: в ее положении ей надо было либо прислуживаться, либо дичиться. Из всех своих подруг она сошлась только с одной, некрасивой, загнанной и бедной девушкой. Остальные барышни, с которыми она воспитывалась, большей частью из хороших фамилий, не любили ее, язвили ее и кололи, как только могли; Ася им на волос не уступала. Однажды на уроке из закона Божия преподаватель заговорил о пороках. «Лесть и трусость – самые дурные пороки», – громко промолвила Ася. Словом, она продолжала идти своей дорогой; только манеры ее стали лучше, хотя и в этом отношении она, кажется, не много успела.

Наконец, ей минуло семнадцать лет; оставаться ей долее в пансионе было невозможно. Я находился в довольно большом затруднении. Вдруг мне пришла благая мысль: выйти в отставку, поехать за границу на год или на два и взять Асю с собою. Задумано – сделано; и вот мы с ней на берегах Рейна, где стараюсь заниматься живописью, а она... шалит и чудит по-прежнему. Но теперь я надеюсь, что вы не станете судить ее слишком строго; а она хоть и притворяется, что ей все нипочем, – мнением каждого дорожит, вашим же в особенности.

И Гагин опять улыбнулся своей тихой улыбкой. Я крепко стиснул ему руку.

– Все так, – заговорил опять Гагин, – но с нею мне беда. Порох она настоящий. До сих пор ей никто не нравился, но беда, если она кого полюбит! Я иногда не знаю, как с ней быть. На днях она что вздумала; начала вдруг уверять меня, что я к ней стал холоднее прежнего и что она одного меня любит и век будет меня одного любить... И при этом так расплакалась...

– Так вот что... – промолвил было я и прикусил язык.

– А скажите-ка мне, – спросил я Гагина: дело между нами пошло на откровенность, – неужели в самом деле ей до сих пор никто не нравился? В Петербурге видала же она молодых людей?

– Они-то ей и не нравились вовсе. Нет, Асе нужен герой, необыкновенный человек – или живописный пастух в горном ущелье. А впрочем, я заболтался с вами, задержал вас, – прибавил он, вставая.

– Послушайте, – начал я, – пойдете к вам, мне домой не хочется.

– А работа ваша?

Я ничего не отвечал; Гагин добродушно усмехнулся, и мы вернулись в Л. Увидев знакомый виноградник и белый домик на верху горы, я почувствовал какую-то сладость – именно сладость на сердце: точно мне втихомолку меду туда налили. Мне стало легко после гагинского рассказа.

IX

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)

Ася встретила нас на самом пороге дома; я снова ожидал смеха; но она вышла к нам вся бледная, молчаливая, с потупленными глазами.

– Вот он опять, – заговорил Гагин, – и, заметь, сам захотел вернуться.

Ася вопросительно посмотрела на меня. Я в свою очередь протянул ей руку и на этот раз крепко пожал ее холодные пальчики. Мне стало очень жаль ее; теперь я многое понимал в ней, что прежде сбивало меня с толку: ее внутреннее беспокойство, неумение держать себя, желание порисоваться – все мне стало ясно. Я заглянул в эту душу: тайный гнет давил ее постоянно, тревожно путалось и билось неопытное самолюбие, но все существо ее стремилось к правде. Я понял, почему эта странная девочка меня привлекала; не одной только полудикой прелестью, разлитой по всему ее тонкому телу, привлекала она меня: ее душа мне нравилась.

Гагин начал копаться в своих рисунках; я предложил Асе погулять со мною по винограднику. Она тотчас согласилась, с веселой и почти покорной готовностью. Мы спустились до половины горы и присели на широкую плиту.

– И вам не скучно было без нас? – начала Ася.

– А вам без меня было скучно? – спросил я.

Ася взглянула на меня сбоку.

– Да, – отвечала она. – Хорошо в горах? – продолжала она тотчас, – они высоки? Выше облаков? Расскажите мне, что вы видели. Вы рассказывали брату, но я ничего не слыхала.

– Вольно ж вам было уходить, – заметил я.

– Я уходила... потому что... Я теперь вот не уйду, – прибавила она с доверчивой лаской в голосе, – вы сегодня были сердиты.

– Я?

– Вы.

– Отчего же, помилуйте...

– Не знаю, но вы были сердиты и ушли сердитыми. Мне было очень досадно, что вы так ушли, и я рада, что вы вернулись.

– И я рад, что вернулся, – промолвил я.

Ася повела плечами, как это часто делают дети, когда им хорошо.

– О, я умею отгадывать! – продолжала она, – бывало, я по одному папашину кашлю из другой комнаты узнавала, доволен ли он мной, или нет.

До того дня Ася ни разу не говорила мне о своем отце. Меня это поразило.

– Вы любили вашего батюшку? – проговорил я и вдруг, к великой моей досаде, почувствовал, что краснею.

Она ничего не отвечала и покраснела тоже. Мы оба замолкли. Вдали по Рейну бежал и дымился пароход. Мы принялись глядеть на него.

– Что же вы не рассказываете? – прошептала Ася.

– Отчего вы сегодня рассмеялись, как только увидели меня? – спросил я.

– Сама не знаю. Иногда мне хочется плакать, а я смеюсь. Вы не должны судить меня... по тому, что я делаю. Ах, кстати, что это за сказка о Лорелее? Ведь это ее скала виднеется? Говорят, она прежде всех топила, а как полюбила, сама бросилась в воду. Мне нравится эта сказка. Фрау Луизе мне всякие сказки рассказывает. У фрау Луизе есть черный кот с желтыми глазами...

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
Ася подняла голову и встряхнула кудрями.

– Ах, мне хорошо, – проговорила она.

В это мгновение долетели до нас отрывочные, однообразные звуки. Сотни голосов разом и с мерными расстановками повторяли молитвенный напев: толпа богомольцев тянулась внизу по дороге с крестами и хоругвями...

– Вот бы пойти с ними, – сказала Ася, прислушиваясь к постепенно ослабевавшим взрывам голосов.

– Разве вы так набожны?

– Пойти куда-нибудь далеко, на молитву, на трудный подвиг, – продолжала она. – А то дни уходят, жизнь уйдет, а что мы сделали?

– Вы честолюбивы, – заметил я, – вы хотите прожить не даром, след за собой оставить...

– А разве это невозможно?

«Невозможно», – чуть было не повторил я... Но я взглянул в ее светлые глаза и только промолвил:

– Попробуйте.

– Скажите, – заговорила Ася после небольшого молчания, в течение которого какие-то тени пробежали у ней по лицу, уже успевшему побледнеть, – вам очень нравилась та дама... Вы помните, брат пил ее здоровье в развалине, на второй день нашего знакомства.

Я засмеялся.

– Ваш брат шутил; мне ни одна дама не нравилась; по крайней мере теперь ни одна не нравится.

– А что вам нравится в женщинах? – спросила Ася, закинув голову с невинным любопытством.

– Какой странный вопрос! – воскликнул я.

Ася слегка смутилась.

– Я не должна была сделать вам такой вопрос, не правда ли? Извините меня, я привыкла болтать все, что мне в голову входит. Оттого-то я и боюсь говорить.

– Говорите ради бога, не бойтесь, – подхватил я, – я так рад, что вы, наконец, перестаете дичиться.

Ася потупилась и засмеялась тихим и легким смехом; я не знал за ней такого смеха.

– Ну, рассказывайте же, – продолжала она, разглаживая полы своего платья и укладывая их себе на ноги, точно она усаживалась надолго, – рассказывайте или прочтите что-нибудь, как, помните, вы нам читали из «Онегина»...

Она вдруг задумалась...

Где нынче крест и тень ветвей  
Над бедной матерью моей! –  
проговорила она вполголоса.

– У Пушкина не так, – заметил я.

– А я хотела бы быть Татьяной, – продолжала она все так же задумчиво. – Рассказывайте, – подхватила она с живостью.

Но мне было не до рассказов. Я глядел на нее, всю облитую ясным солнечным лучом,  
Страница 14

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
всю успокоенную и кроткую. Все радостно сияло вокруг нас, внизу, над нами – небо, земля и воды; самый воздух, казалось, был насыщен блеском.

– Посмотрите, как хорошо! – сказал я, невольно понизив голос.

– Да, хорошо! – так же тихо отвечала она, не смотря на меня. – Если б мы с вами были птицы, – как бы мы взвились, как бы полетели... Так бы и утонули в этой синеве... Но мы не птицы.

– А крылья могут у нас вырасти, – возразил я.

– Как так?

– Поживите – узнаете. Есть чувства, которые поднимают нас от земли. Не беспокойтесь, у вас будут крылья.

– А у вас были?

– Как вам сказать... Кажется, до сих пор я еще не летал.

Ася опять задумалась. Я слегка наклонился к ней.

– Умеете вы вальсировать? – спросила она вдруг.

– Умею, – отвечал я, несколько озадаченный.

– Так пойдемте, пойдемте... Я попрошу брата сыграть нам вальс... Мы вообразим, что мы летаем, что у нас выросли крылья.

Она побежала к дому. Я побежал вслед за нею – и несколько мгновений спустя мы кружились в тесной комнате, под сладкие звуки Лайнера. Ася вальсировала прекрасно, с увлечением. Что-то мягкое, женское проступило вдруг сквозь ее девически-строгий облик. Долго потом рука моя чувствовала прикосновение ее нежного стана, долго слышалось мне ее ускоренное близкое дыхание, долго мерещились мне темные, неподвижные, почти закрытые глаза на бледном, но оживленном лице, резво обвеянном кудрями.

Х

Весь этот день прошел как нельзя лучше. Мы веселились, как дети. Ася была очень мила и проста. Гагин радовался, глядя на нее. Я ушел поздно. Въехавши на середину Рейна, я попросил перевозчика пустить лодку вниз по течению. Старик поднял весла – и царственная река понесла нас. Глядя кругом, слушая, вспоминая, я вдруг почувствовал тайное беспокойство на сердце... поднял глаза к небу – но и в небе не было покоя: испещренное звездами, оно все шевелилось, двигалось, содрогалось; я склонился к реке... но и там, и в этой темной, холодной глубине, тоже колыхались, дрожали звезды; тревожное оживление мне чудилось повсюду – и тревога росла во мне самом. Я облокотился на край лодки... Шепот ветра в моих ушах, тихое журчанье воды за кормою меня раздражали, и свежее дыхание волны не охлаждало меня; соловей запел на берегу и заразил меня сладким ядом своих звуков. Слезы закипали у меня на глазах, но то не были слезы беспредметного восторга. Что я чувствовал, было не то смутное, еще недавно испытанное ощущение всеобъемлющих желаний, когда душа ширится, звучит, когда ей кажется, что она все понимает и все любит... Нет! во мне зажглась жажда счастья. Я еще не смел назвать его по имени, – но счастья, счастья до пресыщения – вот чего хотел я, вот о чем томился... А лодка все неслась, и старик перевозчик сидел и дремал, наклонясь над веслами.

ХI

Отправляясь на следующий день к Гагиным, я не спрашивал себя, влюблен ли я в Асю, но я много размышлял о ней, ее судьба меня занимала, я радовался неожиданному нашему сближению. Я чувствовал, что только с вчерашнего дня я узнал ее; до тех пор она отворачивалась от меня. И вот, когда она раскрылась, наконец, передо мною, каким пленительным светом озарился ее образ, как он был нов для меня, какие тайные обаяния стыдливо в нем сквозили...

Бодро шел я по знакомой дороге, беспрестанно посматривая на издали белевший домик; я не только о будущем – я о завтрашнем дне не думал; мне было очень хорошо.

Ася покраснела, когда я вошел в комнату; я заметил, что она опять принарядилась, но выражение ее лица не шло к ее наряду: оно было печально. А я пришел таким веселым! Мне показалось даже, что она, по обыкновению своему, собралась было бежать, но сделала усилие над собою – и осталась. Гагин находился в том особенном состоянии художнического жара и ярости, которое, в виде припадка, внезапно овладевает дилетантами, когда они вообразят, что им удалось, как они выражаются, «поймать природу за хвост». Он стоял, весь взъерошенный и выпачканный красками, перед натянутым холстом и, широко размахивая по нем кистью, почти свирепо кивнул мне головой, отодвинулся, прищурил глаза и снова накинудся на свою картину. Я не стал мешать ему и подсел к Асе. Медленно обратились ко мне ее темные глаза.

– Вы сегодня не такая, как вчера, – заметил я после тщетных усилий вызвать улыбку на ее губы.

– Нет, не такая, – возразила она неторопливым и глухим голосом. – Но это ничего. Я нехорошо спала, всю ночь думала.

– О чем?

– Ах, я о многом думала. Это у меня привычка с детства: еще с того времени, когда я жила с матушкой...

Она с усилием выговорила это слово и потом еще раз повторила:

– Когда я жила с матушкой... я думала, отчего это никто не может знать, что с ним будет; а иногда и видишь беду – да спастись нельзя; и отчего никогда нельзя сказать всей правды?.. Потом я думала, что я ничего не знаю, что мне надобно учиться. Меня перевоспитать надо, я очень дурно воспитана. Я не умею играть на фортепьяно, не умею рисовать, я даже шью плохо. У меня нет никаких способностей, со мной, должно быть, очень скучно.

– Вы несправедливы к себе, – возразил я. – Вы много читали, вы образованны, и с вашим умом...

– А я умна? – спросила она с такой наивной любознательностью, что я невольно засмеялся; но она даже не улыбнулась. – Брат, я умна? – спросила она Гагина.

Он ничего не отвечал ей и продолжал трудиться, беспрестанно меняя кисти и высоко поднимая руку.

– Я сама не знаю иногда, что у меня в голове, – продолжала Ася с тем же задумчивым видом. – Я иногда самой себя боюсь, ей-богу. Ах, я хотела бы... Правда ли, что женщинам не следует читать много?

– Много не нужно, но...

– Скажите мне, что я должна читать? скажите, что я должна делать? Я все буду делать, что вы мне скажете, – прибавила она, с невинной доверчивостью обратясь ко мне.

Я не тотчас нашелся, что сказать ей.

– Ведь вам не будет скучно со мной?

– Помилуйте, – начал я.

– Ну, спасибо! – возразила Ася, – а я думала, что вам скучно будет.

И ее маленькая горячая ручка крепко стиснула мою. – Н.! – вскрикнул в это мгновенье Гагин, – не темен этот фон?

Я подошел к нему. Ася встала и удалилась.

XII

Она вернулась через час, остановилась в дверях и подозвала меня рукою.



Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)

- Послушайте, – сказала она, – если б я умерла, вам было бы жаль меня?
- Что у вас за мысли сегодня! – воскликнул я.
- Я воображаю, что я скоро умру; мне иногда кажется, что все вокруг меня со мною прощается. Умереть лучше, чем жить так... Ах, не смотрите так на меня; я, право, не притворяюсь. А то я вас опять бояться буду.
- Разве вы меня боялись?
- Если я такая странная, я, право, не виновата, – возразила она. – Видите, я уж и смеяться не могу...

Она осталась печальной и озабоченной до самого вечера. Что-то происходило в ней, чего я не понимал. Ее взор часто останавливался на мне; сердце мое тихо сжималось под этим загадочным взором. Она казалась спокойной – а мне, глядя на нее, все хотелось сказать ей, чтобы она не волновалась. Я любовался ею, я находил трогательную прелесть в ее побледневших чертах, в ее нерешительных, замедленных движениях – а ей почему-то воображалось, что я не в духе.

- Послушайте, – сказала она мне незадолго до прощанья, – меня мучит мысль, что вы меня считаете легкомысленной... Вы вперед всегда верьте тому, что я вам говорить буду, только и вы будьте со мной откровенны: а я вам всегда буду говорить правду, даю вам честное слово...

Это «честное слово» опять заставило меня засмеяться.

- Ах, не смейтесь, – проговорила она с живостью, – а то я вам скажу сегодня то, что вы мне сказали вчера: «Зачем вы смеетесь?» – и, помолчав немного, она прибавила: – Помните, вы вчера говорили о крыльях?.. Крылья у меня выросли – да лететь некуда.

- Помилуйте, – промолвил я, – перед вами все пути открыты...

Ася посмотрела мне прямо и пристально в глаза.

- Вы сегодня дурного мнения обо мне, – сказала она, нахмутив брови.
- Я? дурного мнения? о вас!..
- Что это вы точно в воду опущенные, – перебил меня Гагин, – хотите, я, по-вчерашнему, сыграю вам вальс?
- Нет, нет, – возразила Ася и стиснула руки, – сегодня ни за что!
- Я тебя не принуждаю, успокойся...
- Ни за что, – повторила она, бледнея.

.....  
«Неужели она меня любит?» – думал я, подходя к Рейну, быстро катившему темные волны.

### XIII

«Неужели она меня любит?» – спрашивал я себя на другой день, только что проснувшись. Я не хотел заглядывать в самого себя. Я чувствовал, что ее образ, образ «девушки с натянутым смехом», втеснился мне в душу и что мне от него не скоро отделаться. Я пошел в Л. и остался там целый день, но Асю видел только мельком. Ей нездоровилось; у ней голова болела. Она сошла вниз, на минутку, с повязанным лбом, бледная, худенькая, с почти закрытыми глазами; слабо улыбнулась, сказала: «Это пройдет, это ничего, все пройдет, не правда ли?» – и ушла. Мне стало скучно и как-то грустно-пусто; я, однако, долго не хотел уходить и вернулся поздно, не увидав ее более.

Следующее утро прошло в каком-то полусне сознания. Я хотел приняться за работу – не мог; хотел ничего не делать и не думать... и это не удалось. Я бродил по городу; возвращался домой, выходил снова.

– Вы ли господин Н.? – раздался вдруг за мною детский голос. Я оглянулся; передо мною стоял мальчик. – Это вам от фрейлейн Annette, – прибавил он, подавая мне записку.

Я развернул ее – и узнал неправильный и быстрый почерк Аси. «Я непременно должна вас видеть, – писала мне она, – приходите сегодня в четыре часа к каменной часовне на дороге возле развалины. Я сделала сегодня большую неосторожность... Придите ради Бога, вы все узнаете... Скажите посланному: да».

– Будет ответ? – спросил меня мальчик.

– Скажите, что да, – отвечал я.

Мальчик убежал.

#### XIV

Я пришел к себе в комнату, сел и задумался. Сердце во мне сильно билось. Несколько раз перечел я записку Аси. Я посмотрел на часы: и двенадцати еще не было.

Дверь отворилась – вошел Гагин.

Лицо его было пасмурно. Он схватил меня за руку и крепко пожал ее. Он казался очень взволнованным.

– Что с вами? – спросил я.

Гагин взял стул и сел против меня.

– Четвертого дня, – начал он с принужденной улыбкой и запинаясь, – я удивил вас своим рассказом; сегодня удивлю еще более. С другим я, вероятно, не решился бы... так прямо... Но вы благородный человек, вы мне друг, не так ли? Послушайте! моя сестра, Ася, в вас влюблена.

Я весь вздрогнул и приподнялся...

– Ваша сестра, говорите вы...

– Да, да, – перебил меня Гагин. – Я вам говорю, она сумасшедшая и меня с ума сведет. Но, к счастью, она не умеет лгать – и доверяет мне. Ах, что за душа у этой девочки... но она себя погубит, непременно.

– Да вы ошибаетесь, – начал я.

– Нет, не ошибаюсь. Вчера, вы знаете, она почти целый день пролежала, ничего не ела, впрочем не жаловалась... Она никогда не жалуется. Я не беспокоился, хотя к вечеру у ней сделался небольшой жар. Сегодня, в два часа ночи, меня разбудила наша хозяйка: «Ступайте, говорит, к вашей сестре: с ней что-то худо». Я побежал к Асе и нашел ее нераздетою, в лихорадке, в слезах; голова у ней горела, зубы стучали. «Что с тобой? – спросил я, – ты больна?» Она бросилась мне на шею и начала умолять меня увезти ее как можно скорее, если я хочу, чтобы она осталась в живых... Я ничего не понимаю, стараюсь ее успокоить... Рыдания ее усиливаются... и вдруг сквозь эти рыдания услышал я... Ну, словом, я услышал, что она вас любит. Уверю вас, мы с вами, благоразумные люди, и представить себе не можем, как она глубоко чувствует и с какой невероятной силой высказываются в ней эти чувства; это находит на нее так же неожиданно и так же неотразимо, как гроза. Вы очень милый человек, – продолжал Гагин, – но почему она вас так полюбила – этого я, признаюсь, не понимаю. Она говорит, что привязалась к вам с первого взгляда. Оттого она и плакала на днях, когда уверяла меня, что, кроме меня, никого любить не хочет. Она воображает, что вы ее презираете, что вы, вероятно, знаете, кто она; она спрашивала меня, не рассказал ли я вам ее историю, – я, разумеется, сказал, что нет; но чуткость ее – просто страшна. Она желает одного: уехать, уехать тотчас. Я просидел с ней до утра; она взяла с меня слово, что нас завтра же здесь не будет, – и тогда только она заснула. Я подумал, подумал и решился –

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
поговорить с вами. По-моему, Ася права: самое лучшее – уехать нам обоим отсюда. И я сегодня же бы увез ее, если б не пришла мне в голову мысль, которая меня остановила. Может быть... как знать? – вам сестра моя нравится? Если так, с какой стати я увезу ее? Я вот и решился, отбросив в сторону всякий стыд... Притом же я сам кое-что заметил... Я решился... узнать от вас... – Бедный Гагин смутился. – Извините меня, пожалуйста, – прибавил он, – я не привык к таким передрягам.

Я взял его за руку.

– Вы хотите знать, – произнес я твердым голосом, – нравится ли мне ваша сестра? Да, она мне нравится...

Гагин взглянул на меня.

– Но, – проговорил он запинаясь, – ведь вы не женитесь на ней?

– Как вы хотите, чтобы я отвечал на такой вопрос? Посудите сами, могу ли я теперь...

– Знаю, знаю, – перебил меня Гагин. – Я не имею никакого права требовать от вас ответа, и вопрос мой – верх неприличия... Но что прикажете делать? С огнем шутить нельзя. Вы не знаете Асю; она в состоянии занемочь, убежать, свиданье вам назначить... Другая умела бы все скрыть и выждать – но не она. С нею это в первый раз, – вот что беда! Если бы вы видели, как она сегодня рыдала у ног моих, вы бы поняли мои опасения.

Я задумался. Слова Гагина «свиданье вам назначить» кольнули меня в сердце. Мне показалось постыдным не отвечать откровенностью на его честную откровенность.

– Да, – сказал я, наконец, – вы правы. Час тому назад я получил от вашей сестры записку. Вот она.

Гагин взял записку, быстро пробежал ее и уронил руки на колени. Выражение изумления на его лице было очень забавно, но мне было не до смеху.

– Вы, повторяю, благородный человек, – проговорил он, – но что же теперь делать? Как? она сама хочет уехать, и пишет к вам, и упрекает себя в неосторожности... и когда это она успела написать? Чего ж она хочет от вас?

Я успокоил его, и мы принялись толковать хладнокровно по мере возможности о том, что нам следовало предпринять.

Вот на чем мы остановились, наконец: во избежание беды я должен был идти на свиданье и честно объясниться с Асей; Гагин обязался сидеть дома и не подать вида, что ему известна ее записка; а вечером мы положили сойтись опять.

– Я твердо надеюсь на вас, – сказал Гагин и стиснул мне руку, – пощадите и ее и меня. А уезжаем мы все-таки завтра, – прибавил он, вставая, – потому что ведь вы на Асе не женитесь.

– Дайте мне сроку до вечера, – возразил я.

– Пожалуй, но вы не женитесь.

Он ушел, а я бросился на диван и закрыл глаза. Голова у меня ходила кругом: слишком много впечатлений в нее нахлынуло разом. Я досадовал на откровенность Гагина, я досадовал на Асю, ее любовь меня и радовала и смущала. Я не мог понять, что заставило ее все высказать брату; неизбежность скорого, почти мгновенного решения терзала меня...

«Жениться на семнадцатилетней девочке, с ее нравом, как это можно!» – сказал я, вставая.

XV

В условленный час переправился я через Рейн, и первое лицо, встретившее меня на противоположном берегу, был самый тот мальчик, который приходил ко мне поутру. Он, по-видимому, ждал меня.

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)

– От фрейлейн Annette, – сказал он шепотом и подал мне другую записку.

Ася извещала меня о перемене места нашего свидания. Я должен был прийти через полтора часа не к часовне, а в дом фрау Луизе, постучаться внизу и войти в третий этаж.

– Опять: да? – спросил меня мальчик.

– Да, – повторил я и пошел по берегу Рейна.

Вернуться домой было некогда, я не хотел бродить по улицам. За городской стеною находился маленький сад с навесом для кеглей и столами для любителей пива. Я вошел туда. Несколько уже пожилых немцев играли в кегли; со стуком катились деревянные шары, изредка раздавались одобрительные восклицания. Хорошенькая служанка с заплаканными глазами принесла мне кружку пива; я взглянул в ее лицо. Она быстро отворотилась и отошла прочь.

– Да, да, – промолвил тут же сидевший толстый и краснощекий гражданин, – Ганхен наша сегодня очень огорчена: жених ее пошел в солдаты.

Я посмотрел на нее: она прижалась в уголок и подперла рукою щеку; слезы капали одна за другой по ее пальцам. Кто-то спросил пива; она принесла ему кружку и опять вернулась на свое место. Ее горе подействовало на меня; я начал думать об ожидавшем меня свидании, но мои думы были заботливые, невеселые думы. Не с легким сердцем шел я на это свидание, не предаваться радостям взаимной любви предстояло мне; мне предстояло сдержать данное слово, исполнить трудную обязанность. «С ней шутить нельзя» – эти слова Гагина, как стрелы, впились в мою душу. А еще четвертого дня в этой лодке, уносимой волнами, не томился ли я жаждой счастья? Оно стало возможным – и я колебался, я отталкивал, я должен был оттолкнуть его прочь... Его внезапность меня смущала. Сама Ася, с ее огненной головой, с ее прошедшим, с ее воспитанием, это привлекательное, но странное существо – признаюсь, она меня пугала. Долго боролись во мне чувства. Назначенный срок приближался. «Я не могу на ней жениться, – решил я, наконец, – она не узнает, что и я полюбил ее».

Я встал – и, положив талер в руку бедной Ганхен (она даже не поблагодарила меня), направился к дому фрау Луизе. Вечерние тени уже разливались в воздухе, и узкая полоса неба, над темной улицей, алела отблеском зари. Я слабо стукнул в дверь; она тотчас отворилась. Я переступил порог и очутился в совершенной темноте.

– Сюда! – послышался старушечий голос. – Вас ждут.

Я шагнул раза два ощупью, чья-то костлявая рука взяла мою руку.

– Вы это, фрау Луизе? – спросил я.

– Я, – отвечал мне тот же голос, – я, мой прекрасный молодой человек.

Старуха повела меня опять вверх, по крутой лестнице, и остановилась на площадке третьего этажа. При слабом свете, падавшем из крошечного окошка, я увидел морщинистое лицо вдовы бургомистра. Приторно-лукавая улыбка растягивала ее ввалившиеся губы, ежила тусклые глазки. Она указала мне на маленькую дверь. Судорожным движением руки отворил я ее и захлопнул за собою.

XVI

В небольшой комнатке, куда я вошел, было довольно темно, и я не тотчас увидел Асю. Закутанная в длинную шаль, она сидела на стуле возле окна, отвернув и почти спрятав голову, как испуганная птичка. Она дышала быстро и вся дрожала. Мне стало несказанно жалко ее. Я подошел к ней. Она еще больше отвернула голову...

– Анна Николаевна, – сказал я.

Она вдруг вся выпрямилась, хотела взглянуть на меня – и не могла. Я схватил ее руку, она была холодна и лежала как мертвая на моей ладони.

– Я желала... – начала Ася, стараясь улыбнуться, но ее бледные губы не слушались ее, – я хотела... Нет, не могу, – проговорила она и умолкла. Действительно, голос

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
ее прерывался на каждом слове.

Я сел подле нее.

– Анна Николаевна, – повторил я и тоже не мог ничего прибавить.

Настало молчание. Я продолжал держать ее руку и глядел на нее. Она по-прежнему вся сжималась, дышала с трудом и тихонько покусывала нижнюю губу, чтобы не заплакать, чтобы удержать накопившие слезы... Я глядел на нее: было что-то трогательно-беспомощное в ее робкой неподвижности: точно она от усталости едва добралась до стула и так и упала на него. Сердце во мне растаяло...

– Ася, – сказал я едва слышно...

Она медленно подняла на меня свои глаза... О, взгляд женщины, которая любила, – кто тебя опишет? Они молили, эти глаза, они доверялись, вопрошали, отдавались... Я не мог противиться их обаянию. Тонкий огонь пробежал по мне жгучими иглами; я нагнулся и приник к ее руке...

Послышался трепетный звук, похожий на прерывистый вздох, и я почувствовал на моих волосах прикосновение слабой, как лист дрожавшей руки. Я поднял голову и увидел ее лицо. Как оно вдруг преобразилось! Выражение страха исчезло с него, взор ушел куда-то далеко и увлекал меня за собою, губы слегка раскрылись, лоб побледнел как мрамор, и кудри отодвинулись назад, как будто ветер их откинул. Я забыл все, я потянул ее к себе – покорно повиновалась ее рука, все ее тело повлеклось вслед за рукою, шаль покатила с плеч, и голова ее тихо легла на мою грудь, легла под мои загоревшиеся губы...

– Ваша... – прошептала она едва слышно.

Уже руки мои скользили вокруг ее стана... Но вдруг воспоминание о Гагине, как молния, меня озарило.

– Что мы делаем!.. – воскликнул я и судорожно отодвинулся назад. – Ваш брат... ведь он все знает... Он знает, что я вижусь с вами.

Ася опустилась на стул.

– Да, – продолжал я, вставая и отходя на другой угол комнаты. – Ваш брат все знает... Я должен был ему все сказать.

– Должны? – проговорила она невнятно. Она, видимо, не могла еще прийти в себя и плохо меня понимала.

– Да, да, – повторил я с каким-то ожесточением, – и в этом вы одни виноваты, вы одни. Зачем вы сами выдали вашу тайну? Кто заставлял вас все высказать вашему брату? Он сегодня был сам у меня и передал мне ваш разговор с ним. – Я старался не глядеть на Асю и ходил большими шагами по комнате. – Теперь все пропало, все, все.

Ася поднялась было со стула.

– Оставайтесь, – воскликнул я, – оставайтесь, прошу вас. Вы имеете дело с честным человеком – да, с честным человеком. Но, ради Бога, что взволновало вас? Разве вы заметили во мне какую перемену? А я не мог скрываться перед вашим братом, когда он пришел сегодня ко мне.

«Что я такое говорю?» – думал я про себя, и мысль, что я безнравственный обманщик, что Гагин знает о нашем свидании, что все искажено, обнаружено, – так и звенела у меня в голове.

– Я не звала брата, – послышался испуганный шепот Аси, – он пришел сам.

– Посмотрите же, что вы наделали, – продолжал я. – Теперь вы хотите уехать...

– Да, я должна уехать, – так же тихо проговорила она, – я и попросила вас сюда для того только, чтобы проститься с вами.

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)

– И вы думаете, – возразил я, – мне будет легко с вами расстаться?

– Но зачем же вы сказали брату? – с недоумением повторила Ася.

– Я вам говорю – я не мог поступить иначе. Если б вы сами не выдали себя...

– Я заперлась в моей комнате, – возразила она простодушно, – я не знала, что у моей хозяйки был другой ключ...

Это невинное извинение, в ее устах, в такую минуту – меня тогда чуть не рассердило... а теперь я без умиления не могу его вспомнить. Бедное, честное, искреннее дитя!

– И вот теперь все кончено! – начал я снова. – Все. Теперь нам должно расстаться. – Я украдкой взглянул на Асю... лицо ее быстро покраснело. Ей, я это чувствовал, и стыдно становилось и страшно. Я сам ходил и говорил, как в лихорадке. – Вы не дали развиться чувству, которое начинало созревать, вы сами разорвали нашу связь, вы не имели ко мне доверия, вы усомнились во мне...

Пока я говорил, Ася все больше и больше наклонялась вперед – и вдруг упала на колени, уронила голову на руки и зарыдала. Я подбежал к ней, пытался поднять ее, но она мне не давалась. Я не выношу женских слез: при виде их я теряюсь тотчас.

– Анна Николаевна, Ася, – твердил я, – пожалуйста, умоляю вас, ради Бога, перестаньте... – Я снова взял ее за руку...

Но, к величайшему моему изумлению, она вдруг вскочила – с быстротою молнии бросилась к двери и исчезла...

Когда несколько минут спустя фрау Луизе вошла в комнату – я все еще стоял на самой середине ее, уж точно как громом пораженный. Я не понимал, как могло это свидание так быстро, так глупо кончиться – кончиться, когда я и сотой доли не сказал того, что хотел, что должен был сказать, когда я еще сам не знал, чем оно могло разрешиться...

– Фрейлейн ушла? – спросила меня фрау Луизе, приподняв свои желтые брови до самой накладки. Я посмотрел на нее как дурак – и вышел вон.

#### XVII

Я выбрался из города и пустился прямо в поле. Досада, досада бешеная меня грызла. Я осыпал себя укоридами. Как я мог не понять причину, заставившую Асю переменить место нашего свидания, как не оценить, чего ей стоило прийти к этой старухе, как я не удержал ее! Наедине с ней в той глухой, едва освещенной комнате у меня достало силы, достало духа – оттолкнуть ее от себя, даже упрекать ее... А теперь ее образ меня преследовал, я просил у ней прощения; воспоминания об этом бледном лице, об этих влажных и робких глазах, о развитых волосах на наклоненной шее, о легком прикосновении ее головы к моей груди – жгли меня. «Ваша...» – слышался мне ее шепот. «Я поступил по совести», – уверял я себя... Неправда! Разве я точно хотел такой развязки? Разве я в состоянии с ней расстаться? Разве я могу лишиться ее? «Безумец! безумец!» – повторял я с озлоблением...

Между тем ночь наступала. Большими шагами направился я к дому, где жила Ася.

#### XVIII

Гагин вышел ко мне навстречу.

– Видели вы сестру? – закричал он мне еще издали.

– Разве ее нет дома? – спросил я.

– Нет.

– Она не возвращалась?

– Нет. Я виноват, – продолжал Гагин, – не мог утерпеть: против нашего уговора, ходил к часовне; там ее не было; стало быть, она не приходила?

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)

– Она не была у часовни.

– И вы ее не видели?

Я должен был сознаться, что я ее видел.

– Где?

– У фрау Луизе. Я расстался с ней час тому назад, – прибавил я, – я был уверен, что она домой вернулась.

– Подождем, – сказал Гагин.

Мы вошли в дом и сели друг подле друга. Мы молчали. Нам очень неловко было обоим. Мы беспрестанно оглядывались, посматривали на дверь, прислушивались. Наконец, Гагин встал.

– Это ни на что не похоже! – воскликнул он, – у меня сердце не на месте. Она меня уморит, ей-богу... пойдите искать ее.

Мы вышли. На дворе уже совсем стемнело.

– О чем же вы с ней говорили? – спросил меня Гагин, надвигая шляпу на глаза.

– Я виделся с ней всего минут пять, – отвечал я, – я говорил с ней, как было условлено.

– Знаете ли что? – возразил он, – лучше нам разойтись; этак мы скорее на нее наткнуться можем. Во всяком случае, приходите сюда через час.

#### XIX

Я проворно спустился с виноградника и бросился в город. Быстро обошел я все улицы, заглянул всюду, даже в окна фрау Луизе, вернулся к Рейну и побежал по берегу... Изредка попадались мне женские фигуры, но Аси нигде не было видно. Уже не досада меня грызла, – тайный страх терзал меня, и не один страх я чувствовал... нет, я чувствовал раскаяние, сожаление самое жгучее, любовь – да! самую нежную любовь. Я ломал руки, я звал Асю посреди надвигавшейся ночной тьмы, сперва вполголоса, потом все громче и громче; я повторял сто раз, что я ее люблю, я клялся никогда с ней не расставаться; я бы дал все на свете, чтобы опять держать ее холодную руку, опять слышать ее тихий голос, опять видеть ее перед собою... Она была так близка, она пришла ко мне с полной решимостью, в полной невинности сердца и чувств, она принесла мне свою нетронутую молодость... и я не прижал ее к своей груди, я лишил себя блаженства увидеть, как ее милое лицо расцвело бы радостью и тишиною восторга... Эта мысль меня с ума сводила.

«Куда могла она пойти, что она с собою сделала?» – восклицал я в тоске бессильного отчаяния... Что-то белое мелькнуло вдруг на самом берегу реки. Я знал это место; там, над могилой человека, утонувшего лет семьдесят тому назад, стоял до половины вросший в землю каменный крест с старинной надписью. Сердце во мне замерло... Я подбежал к кресту: белая фигура исчезла. Я крикнул: «Ася!» Дикий голос мой испугал меня самого – но никто не отозвался...

Я решился пойти узнать, не нашел ли ее Гагин.

#### XX

Быстро взбираясь по тропинке виноградника, я увидел свет в комнате Аси... Это меня несколько успокоило.

Я подошел к дому; дверь внизу была заперта, я постучался. Неосвещенное окошко в нижнем этаже осторожно отворилось, и показалась голова Гагина.

– Нашли? – спросил я его.

– Она вернулась, – отвечал он мне шепотом, – она в своей комнате и раздевается. Все в порядке.

– Слава Богу! – воскликнул я с несказанным порывом радости, – слава Богу! Теперь все прекрасно. Но вы знаете, мы должны еще переговорить.

– В другое время, – возразил он, тихо потянув к себе раму, – в другое время, а теперь прощайте.

– До завтра, – промолвил я, – завтра все будет решено.

– Прощайте, – повторил Гагин. Окно затворилось.

Я чуть было не постучал в окно. Я хотел тогда же сказать Гагину, что я прошу руки его сестры. Но такое сватанье в такую пору... «До завтра, – подумал я, – завтра я буду счастлив...»

Завтра я буду счастлив! У счастья нет завтрашнего дня; у него нет и вчерашнего; оно не помнит прошедшего, не думает о будущем; у него есть настоящее – и то не день, а мгновенье.

Я не помню, как дошел я до З. Не ноги меня несли, не лодка меня везла: меня поднимали какие-то широкие, сильные крылья. Я прошел мимо куста, где пел соловей, я остановился и долго слушал: мне казалось, он пел мою любовь и мое счастье.

XXI

Когда, на другой день утром, я стал подходить к знакомому домику, меня поразило одно обстоятельство: все окна в нем были растворены, и дверь тоже была раскрыта; какие-то бумажки валялись перед порогом; служанка с метлой показалась за дверью.

Я приблизился к ней...

– Уехали! – брякнула она, прежде чем я успел спросить ее: дома ли Гагин?

– Уехали?.. – повторил я. – Как уехали? Куда?

– Уехали сегодня утром, в шесть часов, и не сказали куда. Пойдите, ведь вы, кажется, господин Н.?

– Я господин Н.

– К вам есть письмо у хозяйки. – Служанка, пошла наверх и вернулась с письмом. – Вот-с, извольте.

– Да не может быть... Как же это так?.. – начал было я.

Служанка тупо посмотрела на меня и принялась мести.

Я развернул письмо. Ко мне писал Гагин; от Аси не было ни строчки. Он начал с того, что просил не сердиться на него за внезапный отъезд; он был уверен, что, по зрелом соображении, я одобрю его решение. Он не находил другого выхода из положения, которое могло сделаться затруднительным и опасным. «Вчера вечером, – писал он, – пока мы оба молча ожидали Асю, я убедился окончательно в необходимости разлуки. Есть предрассудки, которые я уважаю; я понимаю, что вам нельзя жениться на Асе. Она мне все сказала; для ее спокойствия я должен был уступить ее повторенным, усиленным просьбам». В конце письма он изъявлял сожаление о том, что наше знакомство так скоро прекратилось, желал мне счастья, дружески жал мне руку и умолял меня не стараться их отыскивать.

«Какие предрассудки? – вскричал я, как будто он мог меня слышать, – что за вздор! Кто дал право похитить ее у меня...» Я схватил себя за голову...

Служанка начала громко кликать хозяйку: ее испуг заставил меня прийти в себя. Одна мысль во мне загорелась: сыскать их, сыскать во что бы то ни стало. Принять этот удар, примириться с такою развязкой было невозможно. Я узнал от хозяйки, что они в шесть часов утра сели на пароход и поплыли вниз по Рейну. Я отправился в контору: там мне сказали, что они взяли билеты до Кельна. Я пошел домой с тем, чтобы тотчас уложиться и поплыть вслед за ними. Мне пришлось идти мимо дома фрау Луизе... Вдруг я слышу: меня кличет кто-то. Я поднял голову и увидел в окне той самой комнаты, где я накануне виделся с Асей, вдову бургомистра. Она улыбалась своей противной улыбкой и звала меня. Я отвернулся и прошел было мимо; но она мне крикнула вслед, что у ней есть что-то для меня. Эти слова меня остановили, и



Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
я вошел в ее дом. Как передать мои чувства, когда я увидел опять эту комнатку...

– По-настоящему, – начала старуха, показывая мне маленькую записку, – я бы должна была дать вам это только в случае, если б вы зашли ко мне сами, но вы такой прекрасный молодой человек. Возьмите.

Я взял записку.

На крошечном клочке бумаги стояли следующие слова, торопливо начерченные карандашом:

«Прощайте, мы не увидимся более. Не из гордости я уезжаю – нет, мне нельзя иначе. Вчера, когда я плакала перед вами, если б вы мне сказали одно слово, одно только слово – я бы осталась. Вы его не сказали. Видно, так лучше... Прощайте навсегда!»

Одно слово... О, я безумец! Это слово... я со слезами повторял его накануне, я расточал его на ветер, я твердил его среди пустых полей...но я не сказал его ей, я не сказал ей, что я люблю ее... Да я и не мог произнести тогда это слово. Когда я встретился с ней в той роковой комнате, во мне еще не было ясного сознания моей любви; оно не проснулось даже тогда, когда я сидел с ее братом в бессмысленном и тягостном молчании... оно вспыхнуло с неудержимой силой лишь несколько мгновений спустя, когда, испуганный возможностью несчастья, я стал искать и звать ее... но уж тогда было поздно. «Да это невозможно!» – скажут мне; не знаю, возможно ли это, – знаю, что это правда. Ася бы не уехала, если б в ней была хоть тень кокетства и если б ее положение не было ложно. Она не могла вынести того, что всякая другая снесла бы: я этого не понял. Недобрый мой гений остановил признание на устах моих при последнем свидании с Гагиным перед потемневшим окном, и последняя нить, за которую я еще мог ухватиться, – выскользнула из рук моих.

В тот же день вернулся я с уложенным чемоданом в город Л. и поплыл в Кельн. Помню, пароход уже отчаливал, и я мысленно прощался с этими улицами, со всеми этими местами, которые я уже никогда не должен был позабыть, – я увидел Ганхен. Она сидела возле берега на скамье. Лицо ее было бледно, но не грустно; молодой красивый парень стоял с ней рядом и, смеясь, рассказывал ей что-то; а на другой стороне Рейна маленькая моя мадонна все так же печально выглядывала из темной зелени старого ясеня.

## XXII

В Кельне я напал на след Гагиных; я узнал, что они поехали в Лондон; я пустился вслед за ними; но в Лондоне все мои розыски остались тщетными. Я долго не хотел смириться, долго упорствовал, но я должен был отказаться, наконец, от надежды настигнуть их.

И я не увидел их более – я не увидел Аси. Темные слухи доходили до меня о нем, но она навсегда для меня исчезла. Я даже не знаю, жива ли она. Однажды, несколько лет спустя, я мельком увидел за границей, в вагоне железной дороги, женщину, лицо которой живо напомнило мне незабвенные черты... но я, вероятно, был обманут случайным сходством. Ася осталась в моей памяти той самой девочкой, какую я знал ее в лучшую пору моей жизни, какую я ее видел в последний раз, наклоненной на спинку низкого деревянного стула.

Впрочем, я должен сознаться, что я не слишком долго грустил по ней: я даже нашел, что судьба хорошо распорядилась, не соединив меня с Асей; я утешался мыслью; что я, вероятно, не был бы счастлив с такой женой. Я был тогда молод – и будущее, это короткое, быстрое будущее, казалось мне беспредельным. Разве не может повториться то, что было, думал я, и еще лучше, еще прекраснее?.. Я знал других женщин, – но чувство, возбужденное во мне Асей, то жгучее, нежное, глубокое чувство, уже не повторилось. Нет! ни одни глаза не заменили мне тех, когда-то с любовью устремленных на меня глаз, ни на чье сердце, припавшее к моей груди, не отвечало мое сердце таким радостным и сладким замиранием! Осужденный на одиночество бессемейного бобыля, доживаю я скучные годы, но я храню, как святыню, ее записочки и высохший цветок гераниума, тот самый цветок, который она некогда бросила мне из окна. Он до сих пор издает слабый запах, а рука, мне давшая его, та рука, которую мне только раз пришлось прижать к губам моим, быть может, давно уже тлеет в могиле... И я сам – что случилось со мною? Что осталось от меня, от тех блаженных и тревожных дней, от тех крылатых надежд и стремлений?

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
Так легкое испарение ничтожной травки переживает все радости и все горести человека – переживает самого человека.

1858

Первая любовь

Повесть

Посвящено П. В. Анненкову

Гости давно разъехались. Часы пробили половину первого. В комнате остались только хозяин, да Сергей Николаевич, да Владимир Петрович.

Хозяин позвонил и велел принять остатки ужина.

– И так, это дело решенное, – промолвил он, глубже усаживаясь в кресло и закулив сигару, – каждый из нас обязан рассказать историю своей первой любви. За вами очередь, Сергей Николаевич.

Сергей Николаевич, кругленький человек с пухленьким белокурым лицом, посмотрел сперва на хозяина, потом поднял глаза к потолку.

– У меня не было первой любви, – сказал он, наконец, – я прямо начал со второй.

– Это каким образом?

– Очень просто. Мне было восемнадцать лет, когда я в первый раз приволокнулся за одной весьма миленькой барышней; но я ухаживал за ней так, как будто дело это было мне не внове: точно так, как я ухаживал потом за другими. Собственно говоря, в первый и последний раз я влюбился лет шести в свою няню; но этому очень давно. Подробности наших отношений изгладились из моей памяти, да если б я их и помнил, кого это может интересовать?

– Так как же быть? – начал хозяин. – В моей первой любви тоже не много занимательного: я ни в кого не влюблялся до знакомства с Анной Ивановной, моей теперешней женой, – и все у нас шло как по маслу: отцы нас сосватали, мы очень скоро полюбились друг другу и вступили в брак не мешкая. Моя сказка двумя словами сказывается. Я, господа, признаюсь, поднимая вопрос о первой любви, – надеялся на вас, не скажу старых, но и не молодых холостяков. Разве вы нас чем-нибудь потешите, Владимир Петрович?

– Моя первая любовь принадлежит действительно к числу не совсем обыкновенных, – ответил с небольшой запинкой Владимир Петрович, человек лет сорока, черноволосый, с проседью.

– А! – промолвили хозяин и Сергей Николаевич в один голос. – Тем лучше...  
Рассказывайте.

– Извольте... или нет: рассказывать я не стану; я не мастер рассказывать: выходит сухо и коротко или пространно и фальшиво; а если позволите, я запишу все, что вспомню, в тетрадку – и прочту вам.

Прятели сперва не согласились, но Владимир Петрович настоял на своем. Через две недели они опять сошлись, и Владимир Петрович сдержал свое обещание.

Вот что стояло в его тетрадке:

I

Мне было тогда шестнадцать лет. Дело происходило летом 1833 года.

Я жил в Москве у моих родителей. Они нанимали дачу около Калужской заставы, против Нескучного. Я готовился в университет, но работал очень мало и не торопясь.

Никто не стеснял моей свободы. Я делал, что хотел, особенно с тех пор, как я расстался с последним моим гувернером-французом, который никак не мог привыкнуть к мысли, что он упал «как бомба» (*comme une bombe*) в Россию, и с ожесточенным выражением на лице по целым дням валялся на постели. Отец обходился со мной равнодушно-ласково; матушка почти не обращала на меня внимания, хотя у ней,

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
кроме меня, не было детей: другие заботы ее поглощали. Мой отец, человек еще молодой и очень красивый, женился на ней по расчету; она была старше его десятью годами. Матушка моя вела печальную жизнь: беспрестанно волновалась, ревновала, сердилась – но не в присутствии отца; она очень его боялась, а он держался строго, холодно, отдаленно... Я не видал человека более изысканно спокойного, самоуверенного и самовластного.

Я никогда не забуду первых недель, проведенных мною на даче. Погода стояла чудесная; мы переехали из города девятого мая, в самый Николин день. Я гулял – то в саду нашей дачи, то по Нескучному, то за заставой; брал с собою какую-нибудь книгу – курс Кайданова, например, – но редко ее разворачивал, а больше вслух читал стихи, которых знал очень много наизусть; кровь бродила во мне, и сердце ныло – так сладко и смешно: я все ждал, робел чего-то и всему дивился и весь был наготове; фантазия играла и носилась быстро вокруг одних и тех же представлений, как на заре стрижи вокруг колокольни; я задумывался, грустил и даже плакал; но и сквозь слезы и сквозь грусть, навеянную то певучим стихом, то красотой вечера, проступало, как весенняя травка, радостное чувство молодой, закипающей жизни.

У меня была верховая лошадка, я сам ее седлал и уезжал один куда-нибудь подальше, пускался вскачь и воображал себя рыцарем на турнире – как весело дул мне в уши ветер! – или, обратив лицо к небу, принимал его сияющий свет и лазурь в разверстую душу.

Помнится, в то время образ женщины, призрак женской любви почти никогда не возникал определенными очертаниями в моем уме; но во всем, что я думал, во всем, что я ощущал, таилось полусознанное, стыдливое предчувствие чего-то нового, несказанно сладкого, женского...

Это предчувствие, это ожидание проникло весь мой состав: я дышал им, оно катилось по моим жилам в каждой капле крови... ему было суждено скоро сбыться.

Дача наша состояла из деревянного барского дома с колоннами и двух низеньких флигельков; во флигеле налево помещалась крохотная фабрика дешевых обоев... Я не раз хаживал туда смотреть, как десяток худых и взъерошенных мальчишек в засаленных халатах и с испитыми лицами то и дело вскакивали на деревянные рычаги, нажимавшие четырехугольные обрубки пресса, и таким образом тяжестью своих тщедушных тел вытаскивали пестрые узоры обоев. Флигелек направо стоял пустой и отдавался внаймы. В один день – недели три спустя после девятого мая – ставни в окнах этого флигелька открылись, показались в них женские лица – какое-то семейство в нем поселилось. Помнится, в тот же день за обедом матушка осведомилась у дворецкого о том, кто были наши новые соседи, и, услышав фамилию княгини Засекиной, сперва промолвила не без некоторого уважения: «А! княгиня... – а потом прибавила: – Должно быть, бедная какая-нибудь».

– На трех извозчиках приехали-с, – заметил, почтительно подавая блюдо, дворецкий, – своего экипажа не имеют-с, и мебель самая пустая.

– Да, – возразила матушка, – а все-таки лучше.

Отец холодно взглянул на нее: она умолкла.

Действительно, княгиня Засекина не могла быть богатой женщиной: нанятый ею флигелек был так ветх, и мал, и низок, что люди, хотя несколько зажиточные, не согласились бы поселиться в нем. Впрочем, я тогда пропустил все это мимо ушей. Княжеский титул на меня мало действовал: я недавно прочел «Разбойников» Шиллера.

## II

У меня была привычка бродить каждый вечер с ружьем по нашему саду и караулить ворон. К этим осторожным, хищным и лукавым птицам я издавна чувствовал ненависть. В день, о котором шла речь, я также отправился в сад – и, напрасно исходив все аллеи (вороны меня признали и только издали отрывисто каркали), случайно приблизился к низкому забору, отделявшему собственно наши владения от узенькой полосы сада, простиравшейся за флигельком направо и принадлежавшей к нему. Я шел потупя голову. Вдруг мне послышались голоса; я взглянул через забор – и окаменел... Мне представилось странное зрелище.

В нескольких шагах от меня – на поляне, между кустами зеленой малины, стояла

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
высокая, стройная девушка в полосатом розовом платье и с белым платочком на голове; вокруг нее теснились четыре молодые человека, и она поочередно хлопала их по лбу теми небольшими серыми цветками, которых имени я не знаю, но которые хорошо знакомы детям: эти цветки образуют небольшие мешочки и разрываются с треском, когда хлопнешь ими по чему-нибудь твердому. Молодые люди так охотно подставляли свои лбы – а в движениях девушки (я ее видел сбоку) было что-то такое очаровательное, повелительное, ласкающее, насмешливое и милое, что я чуть не вскрикнул от удивления и удовольствия и, кажется, тут же бы отдал все на свете, чтобы только и меня эти прелестные пальчики хлопнули по лбу. Ружье мое соскользнуло на траву, я все забыл, я пожирал взором этот стройный стан, и шейку, и красивые руки, и слегка растрепанные белокурые волосы под белым платочком, и этот полузакрытый, умный глаз, и эти ресницы, и нежную щеку под ними...

– Молодой человек, а молодой человек, – проговорил вдруг подле меня чей-то голос, – разве позволительно глядеть так на чужих барышень?

Я вздрогнул весь, я обомлел... Возле меня за забором стоял какой-то человек с коротко остриженными черными волосами и иронически посматривал на меня. В это самое мгновение и девушка обернулась ко мне... Я увидел огромные серые глаза на подвижном, оживленном лице – и все это лицо вдруг задрожало, засмеялось, белые зубы сверкнули на нем, брови как-то забавно поднялись... Я вспыхнул, схватил с земли ружье и, преследуемый звонким, но не злым хохотаньем, убежал к себе в комнату, бросился на постель и закрыл лицо руками. Сердце во мне так и прыгало; мне было очень стыдно и весело: я чувствовал небывалое волнение.

Отдохнув, я причесался, почистился и сошел вниз к чаю. Образ молодой девушки носился передо мною, сердце перестало прыгать, но как-то приятно сжималось.

– Что с тобой? – внезапно спросил меня отец, – убил ворону?

Я хотел было все рассказать ему, но удержался и только улыбнулся про себя. Ложась спать, я, сам не знаю зачем, раза три повернулся на одной ноге, намадился, лег и всю ночь спал как убитый. Перед утром я проснулся на мгновенье, приподнял голову, посмотрел вокруг себя с восторгом – и опять заснул.

### III

«Как бы с ними познакомиться?» – было первою моею мыслью, как только я проснулся поутру. Я перед чаем отправился в сад, но не подходил слишком близко к забору и никого не видел. После чаю я прошелся несколько раз по улице перед дачей – и издали заглядывал в окна... Мне почудилось за занавеской ее лицо, и я с испугом поскорее удалился. «Однако надо же познакомиться, – думал я, беспорядочно расхаживая по песчаной равнине, расстилавшейся перед Нескучным, – но как? Вот в чем вопрос». Я припоминал малейшие подробности вчерашней встречи: мне почему-то особенно ясно представлялось, как это она посмеялась надо мною... Но, пока я волновался и строил различные планы, судьба уже порадела обо мне.

В мое отсутствие матушка получила от новой своей соседки письмо на серой бумаге, запечатанной бурым сургучом, какой употребляется только на почтовых повестках да на пробках дешевого вина. В этом письме, написанном безграмотным языком и неопрятным почерком, княгиня просила матушку оказать ей покровительство: матушка моя, по словам княгини, была хорошо знакома с значительными людьми, от которых зависела ее участь и участь ее детей, так как у ней были очень важные процессы. «Я квам обращаюсь, – писала она, – как благородная дама хблагородной даме, и при том мне прятно воспользоватца сим случаем». Кончая, она просила у матушки позволения явиться к ней. Я застал матушку в неприятном расположении духа: отца не было дома, и ей не с кем было посоветоваться. Не отвечать «благородной даме», да еще княгине, было невозможно, а как отвечать – матушка недоумевала. Написать записку по-французски казалось ей неуместным, а в русской орфографии сама матушка не была сильна – и знала это – и не хотела компрометироваться. Она обрадовалась моему приходу и тотчас приказала мне сходить к княгине и на словах объяснить ей, что матушка, мол, моя всегда готова оказать ее сиятельству, по мере сил, услугу и просит ее пожаловать к ней часу в первом. Неожиданно быстрое исполнение моих тайных желаний меня и обрадовало и испугало; однако я не выказал овладевшего мною смущения – и предварительно отправился к себе в комнату, чтобы надеть новенький галстук и сюртучок; дома я еще ходил в куртке и в отложных воротничках, хотя очень ими тяготился.

IV

В тесной и неопрятной передней флигелька, куда я вступил с невольной дрожью во всем теле, встретил меня старый и седой слуга с темным, медного цвета, лицом, свинными, угрюмыми глазками и такими глубокими морщинами на лбу и на висках, каких я в жизни не видывал. Он нес на тарелке обглоданный хребет селедки и, притворяя ногою дверь, ведущую в другую комнату, отрывисто проговорил:

– Чего вам?

– Княгиня Засекина дома? – спросил я.

– Вонифатий! – закричал из-за двери дребезжащий женский голос.

Слуга молча повернулся ко мне спиной, причем обнаружилась сильно истертая спинка его ливреи, с одинокой порыжелой гербовой пуговицей, и ушел, поставив тарелку на пол.

– В квартал ходил? – повторил тот же женский голос. Слуга пробормотал что-то. – А?.. Пришел кто-то?.. – послышалось опять. – Барчук соседний? Ну, проси.

– Пожалуйте-с в гостиную, – проговорил слуга, появившись снова передо мною и поднимая тарелку с полу.

Я отправился и вошел в «гостиную».

Я очутился в небольшой и не совсем опрятной комнате с бедной, словно наскоро расставленной мебелью. У окна, на кресле с отломанной ручкой, сидела женщина лет пятидесяти, простоволосая и некрасивая, в зеленом старом платье и с пестрой гарусной косынкой вокруг шеи. Ее небольшие черные глазки так и впились в меня.

Я подошел к ней и раскланялся.

– Я имею честь говорить с княгиней Засекиной?

– Я княгиня Засекина; а вы сын господина В.?

– Точно так-с. Я пришел к вам с поручением от матушки.

– Садитесь, пожалуйста. Вонифатий! где мои ключи, не видал?

Я сообщил г-же Засекиной ответ моей матушки на ее записку. Она выслушала меня, постукивая толстыми красными пальцами по оконнице, а когда я кончил, еще раз уставилась на меня.

– Очень хорошо; непременно буду, – промолвила она, наконец. – А как вы еще молоды! Сколько вам лет, позвольте спросить?

– Шестнадцать лет, – отвечал я с невольной запинкой.

Княгиня достала из кармана какие-то исписанные, засаленные бумаги, поднесла их к самому носу и принялась перебирать их.

– Годы хорошие, – произнесла она внезапно, поворачиваясь и ерзая на стуле. – А вы, пожалуйста, будьте без церемонии. У меня просто.

«Слишком просто», – подумал я, с невольной гадливостью окидывая взглядом всю ее неблагообразную фигуру.

В это мгновенье другая дверь гостиной быстро распахнулась, и на пороге появилась девушка, которую я видел накануне в саду. Она подняла руку, и на лице ее мелькнула усмешка.

– А вот и дочь моя, – промолвила княгиня, указав на нее локтем. – Зиночка, сын нашего соседа, господина В. Как вас зовут, позвольте узнать?

– Владимиром, – отвечал я, вставая и пришепывая от волнения.

– А по батюшке?

– Петровичем.

– Да! У меня был полицеймейстер знакомый, тоже Владимиром Петровичем звали. Вонифатий! не ищи ключей, ключи у меня в кармане.

Молодая девушка продолжала глядеть на меня с прежней усмешкой, слегка щурясь и склонив голову немного набок.

– Я уже видела мсье Вольдемара, – начала она. (Серебристый звук ее голоса пробежал по мне каким-то сладким холодком.) – Вы мне позволите так называть вас?

– Помилуйте-с, – пролепетал я.

– Где это? – спросила княгиня.

Княжна не отвечала своей матери.

– Вы теперь заняты? – промолвила она, не спуская с меня глаз.

– Никак нет-с.

– Хотите вы мне помочь шерсть распутать? Подите сюда, ко мне.

Она кивнула мне головой и пошла вон из гостиной. Я отправился вслед за ней.

В комнате, куда мы вошли, мебель была немного получше и расставлена с большим вкусом. Впрочем, в это мгновение я почти ничего заметить не мог: я двигался как во сне и ощущал во всем составе своем какое-то до глупости напряженное благополучие.

Княжна села, достала связку красной шерсти и, указав мне на стул против нее, старательно развязала связку и положила мне ее на руки. Все это она делала молча, с какой-то забавной медлительностью и с той же светлой и лукавой усмешкой на чуть-чуть раскрытых губах. Она начала наматывать шерсть на перегнутую карту и вдруг озарила меня таким ясным и быстрым взглядом, что я невольно потупился. Когда ее глаза, большую часть полуприщуренные, открывались во всю величину свою, – ее лицо изменялось совершенно: точно свет проливался по нем.

– Что вы подумали обо мне вчера, мсье Вольдемар? – спросила она погодя немного.

– Вы, наверно, осудили меня?

– Я... княжна... я ничего не думал... как я могу... – отвечал я с смущением.

– Послушайте, – возразила она – Вы меня еще не знаете: я престранная; я хочу, чтоб мне всегда правду говорили. Вам, я слышала, шестнадцать лет, а мне двадцать один: вы видите, я гораздо старше вас, и потому вы всегда должны мне говорить правду... и слушаться меня, – прибавила она. – Глядите на меня – отчего вы на меня не глядите?

Я смутился еще более, однако поднял на нее глаза. Она улыбнулась, только не прежней, а другой, одобрительной улыбкой.

– Глядите на меня, – промолвила она, ласково понижая голос, – мне это не неприятно... Мне ваше лицо нравится; я предчувствую, что мы будем друзьями. А я вам нравлюсь? – прибавила она лукаво.

– Княжна... – начал было я.

– Во-первых, называйте меня Зинаидой Александровной, а во-вторых, – что это за привычка у детей (она поправилась) – у молодых людей – не говорить прямо то, что они чувствуют? Это хорошо для взрослых. Ведь я вам нравлюсь?

Хотя мне очень было приятно, что она так откровенно со мной говорила, однако я немного обиделся. Я хотел показать ей, что она имеет дело не с мальчиком, и, приняв по возможности развязный и серьезный вид, промолвил:

– Конечно, вы очень мне нравитесь, Зинаида Александровна; я не хочу это

скрывать.

Она с расстановкой покачала головой.

– У вас есть гувернер? – спросила она вдруг.

– Нет, у меня уже давно нет гувернера.

Я лгал; еще месяца не прошло с тех пор, как я расстался с моим французом.

– О! да я вижу – вы совсем большой.

Она легонько ударила меня по пальцам.

– Держите прямо руки! – и она прилежно занялась наматыванием клубка.

Я воспользовался тем, что она не поднимала глаз, и принялся ее рассматривать, сперва украдкой, потом все смелее и смелее. Лицо ее показалось мне еще прелестнее, чем накануне; так все в нем было тонко, умно и мило. Она сидела спиной к окну, завешенному белой шторой; солнечный луч, пробиваясь сквозь эту штору, обливал мягким светом ее пушистые, золотистые волосы, ее невинную шею, покатые плечи и нежную, спокойную грудь. Я глядел на нее – и как дорога и близка становилась она мне! Мне сдавалось, что и давно-то я ее знаю и ничего не знал и не жил до нее... На ней было темненькое, уже поношенное платье с передником; я, кажется, охотно поласкал бы каждую складку этого платья и этого передника. Кончики ее ботинок выглядывали из-под ее платья: я бы с обожанием преклонился к этим ботинкам... «И вот я сижу перед ней, – подумал я, – я с ней познакомился... какое счастье, Боже мой!» Я чуть не соскочил со стула от восторга, но только ногами немного поболтал, как ребенок, который лакомится.

Мне было хорошо, как рыбе в воде, и я бы век не ушел из этой комнаты, не покинул бы этого места.

Ее веки тихо поднялись, и опять ласково засияли передо мною ее светлые глаза – и опять она усмехнулась.

– Как вы на меня смотрите, – медленно проговорила она и погрозила мне пальцем.

Я покраснел... «Она все понимает, она все видит, – мелькнуло у меня в голове. – И как ей всего не понимать и не видеть!»

Вдруг что-то застучало в соседней комнате – зазвенела сабля.

– Зина! – закричала в гостиной княгиня, – Беловзоров принес тебе котенка.

– Котенка! – воскликнула Зинаида и, стремительно поднявшись со стула, бросила клубок мне на колени и выбежала вон.

Я тоже встал и, положив связку шерсти и клубок на оконницу, вышел в гостиную и остановился в недоумении. Посредине комнаты лежал, растопыря лапки, полосатый котенок; Зинаида стояла перед ним на коленях и осторожно поднимала ему мордочку. Возле княгини, заслонив почти весь простенок между окнами, виднелся белокурый и курчавый молодец, гусар с румяным лицом и глазами навывкате.

– Какой смешной! – твердила Зинаида, – и глаза у него не серые, а зеленые, и уши какие большие! Спасибо вам, Виктор Егорыч! Вы очень милы.

Гусар, в котором я узнал одного из виденных мною накануне молодых людей, улыбнулся и поклонился, причем щелкнул шпорами и брякнул колечками сабли.

– Вам угодно было вчера сказать, что вы желаете иметь полосатого котенка с большими ушами... вот я и достал-с. Слово – закон. – И он опять поклонился.

Котенок слабо пискнул и начал нюхать пол.

– Он голоден! – воскликнула Зинаида. – Вонифатий! Соня! принесите молока.

Горничная, в старом желтом платье с полинялым платочком на шее, вошла с

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
блюдечком молока в руке и поставила его перед котенком. Котенок дрогнул,  
зажмурился и принялся лакать.

– Какой у него розовый язычок, – заметила Зинаида, пригнув голову почти к полу и  
заглядывая ему сбоку под самый нос.

Котенок насытился и замурлыкал, жеманно перебирая лапками. Зинаида встала и,  
обернувшись к горничной, равнодушно промолвила:

– Унеси его.

– За котенка – ручку, – проговорил гусар, осклабясь и передернув всем своим  
могучим телом, туго затянутым в новый мундир.

– Обе, – возразила Зинаида и протянула к нему руки. Пока он целовал их, она  
смотрела на меня через плечо.

Я стоял неподвижно на одном месте и не знал – засмеяться ли мне, сказать ли  
что-нибудь, или так промолчать. Вдруг, сквозь раскрытую дверь передней, мне  
бросилась в глаза фигура нашего лакея Федора. Он делал мне знаки. Я машинально  
вышел к нему.

– Что ты? – спросил я.

– Маменька прислали за вами, – проговорил он шепотом. – Оне гневаются, что вы с  
ответом не ворочаетесь.

– Да разве я давно здесь?

– Час с лишком.

– Час с лишком! – повторил я невольно и, вернувшись в гостиную, начал  
раскланиваться и шаркать ногами.

– Куда вы? – спросила меня княжна, взглянув из-за гусара.

– Мне нужно домой-с. Так я скажу, – прибавил я, обращаясь к старухе, – что вы  
пожалуйте к нам во втором часу.

– Так и скажите, батюшка.

Княгиня торопливо достала табакерку и так шумно понюхала, что я даже вздрогнул.

– Так и скажите, – повторила она, слезливо моргая и кряхтя.

Я еще раз поклонился, повернулся и вышел из комнаты с тем чувством неловкости в  
спине, которое ощущает очень молодой человек, когда он знает, что ему глядят  
вслед.

– Смотрите же, мсье Вольдемар, заходите к нам, – крикнула Зинаида и опять  
рассмеялась.

«Что это она все смеется?» – думал я, возвращаясь домой в сопровождении Федора,  
который ничего мне не говорил, но двигался за мной неодобрительно. Матушка меня  
побранила и удивилась: что я мог так долго делать у этой княгини? Я ничего не  
отвечал ей и отправился к себе в комнату. Мне вдруг стало очень грустно... Я  
силился не плакать... Я ревновал к гусару.

V

Княгиня, по обещанию, навестила матушку и не понравилась ей. Я не присутствовал  
при их свидании, но за столом матушка рассказывала отцу, что эта княгиня  
Засекина ей кажется *une femme tres vulgaire*[4], что она очень ей надоела своими  
просьбами ходатайствовать за нее у князя Сергия, что у ней все какие-то тяжбы и  
дела – *des vilaines affaires d'argent*[5] – и что она должна быть великая  
кляузница. Матушка, однако же, прибавила, что она позвала ее с дочерью на  
завтрашний день обедать (услыхав слово «с дочерью», я уткнул нос в тарелку), –  
потому что она все-таки соседка, и с именем. На это отец объявил матушке, что он  
теперь припоминает, какая это госпожа; что он в молодости знал покойного князя



Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
Засекина, отлично воспитанного, но пустого и вздорного человека; что его в обществе звали «le Parisien»[6], по причине его долгого житья в Париже; что он был очень богат, но проиграл все свое состояние – и неизвестно почему, чуть ли не из-за денег, – впрочем, он бы мог лучше выбрать, – прибавил отец и холодно улыбнулся, – женился на дочери какого-то приказного, а женившись, пустился в спекуляции и разорился окончательно.

– Как бы она денег займы не попросила, – заметила матушка.

– Это весьма возможно, – спокойно промолвил отец. – Говорит она по-французски?

– Очень плохо.

– Гм. Впрочем, это все равно. Ты мне, кажется, сказала, что ты и дочь ее позвала; меня кто-то уверял, что она очень милая и образованная девушка.

– А! Стало быть, она не в мать.

– И не в отца, – возразил отец. – Тот был тоже образован, да глуп.

Матушка вздохнула и задумалась. Отец умолк. Мне было очень неловко в течение этого разговора.

После обеда я отправился в сад, но без ружья. Я дал было себе слово не подходить к «засекинскому саду», но неотразимая сила влекла меня туда – и недаром. Не успел я приблизиться к забору, как увидел Зинаиду. На этот раз она была одна. Она держала в руках книжку и медленно шла по дорожке. Она меня не замечала.

Я чуть-чуть не пропустил ее; но вдруг спохватился и кашлянул.

Она обернулась, но не остановилась, отвела рукою широкую голубую ленту своей круглой соломенной шляпы, посмотрела на меня, тихонько улыбнулась и опять устремила глаза в книжку.

Я снял фуражку и, помявшись немного на месте, пошел прочь с тяжелым сердцем. «Que suis-je pour elle?»[7] – подумал я (бог знает почему) по-французски.

Знакомые шаги раздались за мною; я оглянулся – ко мне своей быстрой и легкой походкой шел отец.

– Это княжна? – спросил он меня.

– Княжна.

– Разве ты ее знаешь?

– Я ее видел сегодня утром у княгини.

Отец остановился и, круто повернувшись на каблуках, пошел назад. Поравнявшись с Зинаидой, он вежливо ей поклонился. Она также ему поклонилась, не без некоторого изумления на лице, и опустила книгу. Я видел, как она провожала его глазами. Мой отец всегда одевался очень изящно, своеобразно и просто; но никогда его фигура не показалась мне более стройной, никогда его серая шляпа не сидела красивее на его едва поредевших кудрях.

Я направился было к Зинаиде, но она даже не взглянула на меня, снова приподняла книгу и удалилась.

## VI

Целый вечер и следующее утро я провел в каком-то унылом онемении. Помнится, я попытался работать и взялся за Кайданова – но напрасно мелькали передо мною разгонистые строчки и страницы знаменитого учебника. Десять раз сряду прочел я слова:

«Юлий Цезарь отличался воинской отвагой» – не понял ничего и бросил книгу. Перед обедом я опять напоядился и опять надел сюртучок и галстук.

– Это зачем? – спросила матушка. – Ты еще не студент, и Бог знает, выдержишь ли ты экзамен. Да и давно ли тебе сшили куртку? Не бросать же ее!

– Гости будут, – прошептал я почти с отчаянием.

– Вот вздор! какие это гости!

Надо было покориться. Я заменил сюртучок курткой, но галстука не снял. Княгиня с дочерью явилась за полчаса до обеда; старуха сверх зеленого, уже знакомого мне платья накинула желтую шаль и надела старомодный чепец с лентами огненного цвета. Она тотчас заговорила о своих векселях, вздыхала, жаловалась на свою бедность, «канючила», но нисколько не чинилась: так же шумно нюхала табак, так же свободно поворачивалась и ерзала на стуле. Ей как будто и в голову не входило, что она княгиня. Зато Зинаида держала себя очень строго, почти надменно, настоящей княжной. На лице ее появилась холодная неподвижность и важность – и я не узнавал ее, не узнавал ее взглядов, ее улыбки, хотя и в этом новом виде она мне казалась прекрасной. На ней было легкое барежевое платье с бледно-синими разводами; волосы ее падали длинными локонами вдоль щек – на английский манер; эта прическа шла к холодному выражению ее лица. Отец мой сидел возле нее во время обеда и со свойственной ему изящной и спокойной вежливостью занимал свою соседку. Он изредка взглядывал на нее – и она изредка на него взглядывала, да так странно, почти враждебно. Разговор у них шел по-французски; меня, помнится, удивила чистота Зинаидина произношения. Княгиня, во время стола, по-прежнему ничем не стеснялась, много ела и хвалила кушанья. Матушка видимо ею тяготилась и отвечала ей с каким-то грустным пренебрежением; отец изредка чуть-чуть морщил брови. Зинаида также не понравилась матушке.

– Это какая-то гордячка, – говорила она на следующий день. – И подумаешь – чего гордиться – *avec sa mine de grisette!*[8]

– Ты, видно, не видала гризеток, – заметил ей отец.

– И слава Богу!

– Разумеется, слава Богу... только как же ты можешь судить о них?

На меня Зинаида не обращала решительно никакого внимания. Скоро после обеда княгиня стала прощаться.

– Буду надеяться на ваше покровительство, Марья Николаевна и Петр Васильич, – сказала она нараспев матушке и отцу. – Что делать! Были времена, да прошли. Вот и я – сиятельная, – прибавила она с неприятным смехом, – да что за честь, коли нечего есть.

Отец почтительно ей поклонился и проводил ее до двери передней. Я стоял тут же в своей куцей куртке и глядел на пол, словно к смерти приговоренный. Обращение Зинаиды со мной меня окончательно убило. Каково же было мое удивление, когда, проходя мимо меня, она скороговоркой и с прежним ласковым выражением в глазах шепнула мне:

– Приходите к нам в восемь часов, слышите, непременно...

Я только развел руками – но она уже удалилась, накинув на голову белый шарф.

## VII

Ровно в восемь часов я в сюртуке и с приподнятым на голове коком входил в переднюю флигелька, где жила княгиня. Старик слуга угрюмо посмотрел на меня и неохотно поднялся с лавки. В гостиной раздавались веселые голоса. Я отворил дверь и отступил в изумлении. Посреди комнаты, на стуле, стояла княжна и держала перед собой мужскую шляпу; вокруг стула толпилось пятеро мужчин. Они старались запустить руки в шляпу, а она поднимала ее кверху и сильно встряхивала ею. Увидевши меня, она вскрикнула:

– Пойдите, пойдите! новый гость, надо и ему дать билет, – и, легко соскочив со стула, взяла меня за обшлаг сюртука. – Пойдемте же, – сказала она, – что вы стоите? *Messieurs*[9], позвольте вас познакомить: это мсье Вольдемар, сын нашего

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
соседа. А это, – прибавила она, обращаясь ко мне и указывая поочередно на гостей, – граф Малевский, доктор Лушин, поэт Майданов, отставной капитан Нирмацкий и Беловзоров, гусар, которого вы уже видели. Прошу любить да жаловать.

Я до того сконфузился, что даже не поклонился никому; в докторе Лушине я узнал того самого черномазого господина, который так безжалостно меня пристыдил в саду; остальные были мне незнакомы.

– Граф! – продолжала Зинаида, – напишите мсье Вольдемару билет.

– Это несправедливо, – возразил с легким польским акцентом граф, очень красивый и щегольски одетый брюнет, с выразительными карими глазами, узким белым носиком и тонкими усиками над крошечным ртом. – Они не играли с нами в фанты.

– Несправедливо, – повторили Беловзоров и господин, названный отставным капитаном, человек лет сорока, рябой до безобразия, курчавый как арап, сутуловатый, кривоногий и одетый в военный сюртук без эполет, нараспашку.

– Пишите билет, говорят вам, – повторила княжна. – Это что за бунт? Мсье Вольдемар с нами в первый раз, и сегодня для него закон не писан. Нечего ворчать, пишите, я так хочу.

Граф пожал плечами, но наклонил покорно голову, взял перо в белую, перстнями украшенную руку, оторвал клочок бумаги и стал писать на нем.

– По крайней мере позвольте объяснить господину Вольдемару, в чем дело, – начал насмешливым голосом Лушин, – а то он совсем растерялся. Видите ли, молодой человек, мы играем в фанты; княжна подверглась штрафу, и тот, кому вынется счастливый билет, будет иметь право поцеловать у ней ручку. Поняли ли вы, что я вам сказал?

Я только взглянул на него и продолжал стоять как отуманенный, а княжна снова вскочила на стул и снова принялась встряхивать шляпой. Все к ней потянулись – и я за другими.

– Майданов, – сказала княжна высокому молодому человеку с худошавым лицом, маленькими слепыми глазками и чрезвычайно длинными черными волосами, – вы, как поэт, должны быть великодушны и уступить ваш билет мсье Вольдемару, так, чтобы у него было два шанса вместо одного.

Но Майданов отрицательно покачал головой и взмахнул волосами. Я после всех опустил руку в шляпу, взял и развернул билет... Господи! что случилось со мною, когда я увидел на нем слово: поцелуй!

– Поцелуй! – вскрикнул я невольно.

– Bravo! он выиграл, – подхватила княжна. – Как я рада! – Она сошла со стула и так ясно и сладко заглянула мне в глаза, что у меня сердце покатилося. – А вы рады? – спросила она меня.

– Я?.. – пролепетал я.

– Продайте мне свой билет, – брякнул вдруг над самым моим ухом Беловзоров. – Я вам сто рублей дам.

Я отвечал гусару таким негодующим взглядом, что Зинаида захлопала в ладоши, а Лушин воскликнул: молодец!

– Но, – продолжал он, – я, как церемониймейстер, обязан наблюдать за исполнением всех правил. Мсье Вольдемар, опуститесь на одно колено. Так у нас заведено.

Зинаида стала передо мной, наклонила немного голову набок, как бы для того, чтобы лучше рассмотреть меня, и с важностью протянула мне руку. У меня помутилось в глазах; я хотел было опуститься на одно колено, упал на оба – и так неловко прикоснулся губами к пальцам Зинаиды, что слегка оцарапал себе конец носа ее ногтем.

– Добре! – закричал Лушин и помог мне встать.

Игра в фанты продолжалась. Зинаида посадила меня возле себя. Каких ни придумывала она штрафов! Ей пришлось, между прочим, представлять «статую» – и она в пьедестал себе выбрала безобразного Нирмацкого, велела ему лечь ничком, да еще уткнуть лицо в грудь. Хохот не умолкал ни на мгновение. Мне, уединенно и трезво воспитанному мальчику, выросшему в барском степенном доме, весь этот шум и гам, эта бесцеремонная, почти буйная веселость, эти небывалые сношения с незнакомыми людьми так и бросились в голову. Я просто опьянел, как от вина. Я стал хохотать и болтать громче других, так что даже старая княгиня, сидевшая в соседней комнате с каким-то приказным от Иверских ворот, позванным для совещания, вышла посмотреть на меня. Но я чувствовал себя до такой степени счастливым, что, как говорится, в ус не дул и в грош не ставил ничьих насмешек и ничьих косых взглядов. Зинаида продолжала оказывать мне предпочтение и не отпускала меня от себя. В одном штрафе мне довелось сидеть с ней рядом, накрывшись одним и тем же шелковым платком; я должен был сказать ей свой секрет. Помню я, как наши обе головы вдруг очутились в душной, полупрозрачной, пахучей мгле, как в этой мгле близко и мягко светились ее глаза и горячо дышали раскрытые губы, и зубы виднелись, и концы ее волос меня щекотали и жгли. Я молчал. Она улыбалась таинственно и лукаво и, наконец, шепнула мне: «Ну, что же?», а я только краснел и смеялся, и отворачивался, и едва переводил дух. Фанты наскучили нам, – мы стали играть в веревочку. Боже мой! какой я почувствовал восторг, когда, зазевавшись, получил от ней сильный и резкий удар по пальцам, и как потом я нарочно старался показывать вид, что зазевываюсь, а она дразнила меня и не трогала подставляемых рук!

Да то ли мы еще проделывали в течение этого вечера! Мы и на фортепьяно играли, и пели, и танцевали, и представляли цыганский табор. Нирмацкого одели медведем и напоили водю с солью. Граф Малевский показывал нам разные карточные фокусы и кончил тем, что, перетасовавши карты, сдал себе в вист все козыри, с чем Лушин «имел честь его поздравить». Майданов декламировал нам отрывки из поэмы своей «Убийца» (дело происходило в самом разгаре романтизма), которую он намеревался издать в черной обертке с заглавными буквами кровавого цвета, у приказного от Иверских ворот украли с колен шапку и заставили его, в виде выкупа, проплясать казачка; старика Вонифатия нарядили в чепец, а княжна надела мужскую шляпу... Всего не перечислишь. Один Беловзоров все больше держался в углу, нахмуренный и сердитый... Иногда глаза его наливались кровью, он весь краснел, и казалось, что вот-вот он сейчас ринется на всех нас и расшвыряет нас, как щепки, во все стороны; но княжна взглядывала на него, грозила ему пальцем, и он снова забивался в свой угол.

Мы, наконец, выбились из сил. Княгиня уж на что была, как сама выражалась, ходка – никакие крики ее не смущали, – однако и она почувствовала усталость и пожелала отдохнуть. В двенадцатом часу ночи подали ужин, состоявший из куска старого, сухого сыру и каких-то холодных пирожков с рубленой ветчиной, которые мне показались вкуснее всяких паштетов; вина была всего одна бутылка, и та какая-то странная: темная, с раздутым горлышком, и вино в ней отдавало розовой краской: впрочем, его никто не пил. Усталый и счастливый до изнеможения, я вышел из флигеля; на прощанье Зинаида мне крепко пожала руку и опять загадочно улыбнулась.

Ночь тяжело и сыро пахнула мне в разгоряченное лицо; казалось, готовилась гроза; черные тучи росли и ползли по небу, видимо меняя свои дымные очертания. Ветерок беспокойно содрогался в темных деревьях, и где-то далеко за небосклоном, словно про себя, ворчал гром сердито и глухо.

Через заднее крыльцо пробрался я в свою комнату. Дядька мой спал на полу, и мне пришлось перешагнуть через него; он проснулся, увидел меня и доложил, что матушка опять на меня рассердилась и опять хотела послать за мною, но что отец ее удержал. (Я никогда не ложился спать, не простившись с матушкой и не испросивши ее благословения.) Нечего было делать!

Я сказал дядьке, что разденусь и лягу сам, – и погасил свечку. Но я не разделся и не лег.

Я присел на стул и долго сидел как очарованный. То, что я ощущал, было так ново и так сладко... Я сидел, чуть-чуть озираясь и не шевелясь, медленно дышал и только по временам то молча смеялся, вспоминая, то внутренне холодел при мысли, что я влюблен, что вот она, вот эта любовь. Лицо Зинаиды тихо плыло передо мною во

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
мраке – плыло и не проплывало; губы ее все так же загадочно улыбались, глаза глядели на меня немного сбоку, вопросительно, задумчиво и нежно... как в то мгновение, когда я расстался с ней. Наконец, я встал, на цыпочках подошел к своей постели и осторожно, не раздеваясь, положил голову на подушку, как бы страшась резким движением потревожить то, чем я был переполнен...

Я лег, но даже глаз не закрыл. Скоро я заметил, что ко мне в комнату беспрестанно западали какие-то слабые отсветы. Я приподнялся и глянул в окно. Переплет его четко отделялся от таинственно и смутно белевших стекол. «Гроза», – подумал я, – и точно была гроза, но она проходила очень далеко, так что и грома не было слышно; только на небе непрерывно вспыхивали неяркие, длинные, словно разветвленные молнии: они не столько вспыхивали, сколько трепетали и подергивались, как крыло умирающей птицы. Я встал, подошел к окну и простоял там до утра... Молнии не прекращались ни на мгновение; была, что называется в народе, воробьиная ночь. Я глядел на немое песчаное поле, на темную массу Нескучного сада, на желтоватые фасады далеких зданий, тоже как будто вздрагивавших при каждой слабой вспышке... Я глядел – и не мог оторваться; эти немые молнии, эти сдержанные блистания, казалось, отвечали тем немым и тайным порывам, которые вспыхивали также во мне. Утро стало заниматься; алыми пятнами выступила заря. С приближением солнца все бледнели и сокращались молнии: они вздрагивали все реже и реже и исчезли, наконец, затопленные отрезвляющим и несомнительным светом возникавшего дня...

И во мне исчезли мои молнии. Я почувствовал большую усталость и тишину... но образ Зинаиды продолжал носиться, торжествуя, над моею душой. Только он сам, этот образ, казался успокоенным: как полетевший лебедь – от болотных трав, отделился он от окружающих его других неблагоприятных фигур, и я, засыпая, в последний раз припал к нему с прощальным и доверчивым обожанием...

О, кроткие чувства, мягкие звуки, доброта и утихание тронутой души, тающая радость первых умилений любви, – где вы, где вы?

#### VIII

На следующее утро, когда я сошел к чаю, матушка побранила меня – меньше, однако, чем я ожидал, – и заставила меня рассказать, как я провел накануне вечер. Я отвечал ей в немногих словах, выпуская многие подробности и стараясь придать всему вид самый невинный.

– Все-таки они люди не *comme il faut*, – заметила матушка, – и тебе нечего к ним таскаться, вместо того чтобы готовиться к экзамену да заниматься.

Так как я знал, что заботы матушки о моих занятиях ограничатся этими немногими словами, то я и не почел нужным возражать ей; но после чаю отец меня взял под руку и, отправившись вместе со мною в сад, заставил меня рассказать все, что я видел у Засекиных.

Странное влияние имел на меня отец – и странные были наши отношения. Он почти не занимался моим воспитанием, но никогда не оскорблял меня; он уважал мою свободу – он даже был, если можно так выразиться, вежлив со мною... только он не допускал меня до себя. Я любил его, я любовался им, он казался мне образцом мужчины – и, Боже мой, как бы я страстно к нему привязался, если б я постоянно не чувствовал его отклоняющей руки! Зато, когда он хотел, он умел почти мгновенно, одним словом, одним движением возбудить во мне неограниченное доверие к себе. Душа моя раскрывалась – я болтал с ним, как с разумным другом, как с снисходительным наставником... потом он так же внезапно покидал меня – и рука его опять отклоняла меня – ласково и мягко, но отклоняла.

На него находила иногда веселость, и тогда он готов был резвиться и шалить со мной, как мальчик (он любил всякое сильное телесное движение); раз – всего только раз! – он приласкал меня с такою нежностью, что я чуть не заплакал... Но и веселость его и нежность исчезали без следа – и то, что происходило между нами, не давало мне никаких надежд на будущее – точно я все это во сне видел. Бывало, стану я рассматривать его умное, красивое, светлое лицо... сердце мое задрожит, и все существо мое устремится к нему... он словно почувствует, что во мне происходит, мимоходом потреплет меня по щеке – и либо уйдет, либо займется чем-нибудь, либо вдруг весь застынет, как он один умел застывать, и я тотчас же сожмушь и тоже похолодею. Редкие припадки его расположения ко мне никогда не были вызваны моими безмолвными, но понятными мольбами: они приходили всегда

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
неожиданно. Размышляя впоследствии о характере моего отца, я пришел к тому заключению, что ему было не до меня и не до семейной жизни; он любил другое и наслаждался этим другим вполне. «Сам бери, что можешь, а в руки не давайся; самому себе принадлежать – в этом вся штука жизни», – сказал он мне однажды. В другой раз я в качестве молодого демократа пустился в его присутствии рассуждать о свободе (он в тот день был, как я это называл, «добрый»; тогда с ним можно было говорить о чем угодно).

– Свобода, – повторил он, – а знаешь ли ты, что может человеку дать свобода?

– Что?

– Воля, собственная воля, и власть она даст, которая лучше свободы. Умей хотеть – и будешь свободным, и командовать будешь.

Отец мой прежде всего и больше всего хотел жить – и жил... Быть может, он предчувствовал, что ему не придется долго пользоваться «штукой» жизни: он умер сорока двух лет.

Я подробно рассказал отцу мое посещение у Засекиных. Он полувнимательно, полурассеянно слушал меня, сидя на скамье и рисуя концом хлыстика на песке. Он изредка посмеивался, как-то светло и забавно поглядывал на меня и подзадоривал меня короткими вопросами и возражениями. Я сперва не решался даже выговорить имя Зинаиды, но не удержался и начал превозносить ее. Отец все продолжал посмеиваться. Потом он задумался, потянулся и встал.

Я вспомнил, что, выходя из дома, он велел оседлать себе лошадь. Он был отличный ездок – и умел, гораздо раньше г. Рери, укрощать самых диких лошадей.

– Я с тобой поеду, папаша? – спросил я его.

– Нет, – ответил он, и лицо его приняло обычное равнодушно-ласковое выражение. – Ступай один, коли хочешь; а кучеру скажи, что я не поеду.

Он повернулся ко мне спиной и быстро удалился. Я следил за ним глазами – он скрылся за воротами. Я видел, как его шляпа двигалась вдоль забора: он вошел к Засекиным.

Он остался у них не более часа, но тотчас же отправился в город и вернулся домой только к вечеру.

После обеда я сам пошел к Засекиным. В гостиной я застал одну старуху княгиню. Увидев меня, она почесала себе в голове под чепцом концом спицы и вдруг спросила меня, могу ли я переписать ей одну просьбу.

– С удовольствием, – отвечал я и присел на кончик стула.

– Только смотрите покрупнее буквы ставьте, – промолвила княгиня, подавая мне измаранный лист, – да нельзя ли сегодня, батюшка?

– Сегодня же перепишу-с.

Дверь из соседней комнаты чуть-чуть отворилась – и в отверстии показалось лицо Зинаиды – бледное, задумчивое, с небрежно откинутыми назад волосами: она посмотрела на меня большими холодными глазами и тихо закрыла дверь.

– Зина, а Зина! – проговорила старуха.

Зинаида не откликнулась. Я унес просьбу старухи и целый вечер просидел над ней.

IX

Моя «страсть» началась с того дня. Я, помнится, почувствовал тогда нечто подобное тому, что должен почувствовать человек, поступивший на службу: я уже перестал быть просто молодым мальчиком; я был влюбленный. Я сказал, что с того дня началась моя страсть; я бы мог прибавить, что и страдания мои начались с того же самого дня. Я изнывал в отсутствии Зинаиды: ничего мне на ум не шло, все из рук валилось, я по целым дням напряженно думал о ней... Я изнывал... но в ее присутствии мне становилось не легче. Я ревновал, я сознавал свое ничтожество, я

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)

глупо дулся и глупо раболепствовал – и все-таки непреодолимая сила влекла меня к ней – и я всякий раз с невольной дрожью счастья переступал порог ее комнаты. Зинаида тотчас же догадалась, что я в нее влюбился, да я и не думал скрываться; она потешалась моей страстью, дурачила, баловала и мучила меня. Сладко быть единственным источником, самовластной и безответной причиной величайших радостей и глубочайшего горя для другого – а я в руках Зинаиды был как мягкий воск. Впрочем, не я один влюбился в нее: все мужчины, посещавшие ее дом, были от ней без ума – и она их всех держала на привязи – у своих ног. Ее забавляло возбуждать в них то надежды, то опасения, вертеть ими по своей прихоти (это она называла: стукать людей друг о друга) – а они и не думали сопротивляться и охотно покорялись ей. Во всем ее существе, живучем и красивом, была какая-то особенно обаятельная смесь хитрости и беспечности, искусственности и простоты, тишины и резвости; над всем, что она делала, говорила, над каждым ее движением носилась тонкая, легкая прелесть, во всем сказывалась своеобразная, играющая сила. И лицо ее беспрестанно менялось, играло тоже: оно выражало, почти в одно и то же время, – насмешливость, задумчивость и страстность. Разнообразнейшие чувства, легкие, быстрые, как тени облаков в солнечный ветренный день, перебегали то и дело по ее глазам и губам.

Каждый из ее поклонников был ей нужен. Беловзоров, которого она иногда называла «мой зверь», а иногда просто «мой», – охотно кинулся бы за нее в огонь; не надеясь на свои умственные способности и прочие достоинства, он все предлагал ей жениться на ней, намекая на то, что другие только болтают. Майданов отвечал поэтическим струнам ее души: человек довольно холодный, как почти все сочинители, он напряженно уверял ее, а может быть, и себя, что он ее обожает, воспевал ее в нескончаемых стихах и читал их ей с каким-то и неестественным и искренним восторгом. Она и сочувствовала ему и чуть-чуть трунила над ним; она плохо ему верила и, наслушавшись его излияний, заставляла его читать Пушкина, чтобы, как она говорила, очистить воздух. Лушин, насмешливый, цинический на словах доктор, знал ее лучше всех – и любил ее больше всех, хотя бранил ее за глаза и в глаза. Она его уважала, но не спускала ему – и подчас с особенным, злорадным удовольствием давала ему чувствовать, что и он у ней в руках. «Я кокетка, я без сердца, я актерская натура, – сказала она ему однажды в моем присутствии, – а, хорошо! так подайте же вашу руку, я воткну в нее булавку, вам будет стыдно этого молодого человека, вам будет больно, а все-таки вы, господин правдивый человек, извольте смеяться». Лушин покраснел, отворотился, закусил губы, но кончил тем, что подставил руку. Она его уколола, и он точно начал смеяться... и она смеялась, запуская довольно глубоко булавку и заглядывая ему в глаза, которыми он напрасно бегал по сторонам...

Хуже всего я понимал отношения, существовавшие между Зинаидой и графом Малевским. Он был хорош собою, ловок и умен, но что-то сомнительное, что-то фальшивое чудилось в нем даже мне, шестнадцатилетнему мальчику, и я дивился тому, что Зинаида этого не замечает. А может быть, она и замечала эту фальшь и не гнушалась ею. Неправильное воспитание, странные знакомства и привычки, постоянное присутствие матери, бедность и беспорядок в доме, все, начиная с самой свободы, которою пользовалась молодая девушка, с сознания ее превосходства над окружающими ее людьми, развило в ней какую-то полупрезрительную небрежность и невзыскательность. Бывало, что ни случится – придет ли Вонифатий доложить, что сахару нет, выйдет ли наружу какая-нибудь дрянная сплетня, поссорятся ли гости, – она только кудрями встряхнет, скажет: пустяки! – и горя ей мало.

Зато у меня, бывало, вся кровь загоралась, когда Малевский подойдет к ней, хитро покачиваясь, как лиса, изящно обопрется на спинку ее стула и начнет шептать ей на ухо с самодовольной и заискивающей улыбочкой, – а она скрестит руки на груди, внимательно глядит на него, и сама улыбается и качает головой.

– Что вам за охота принимать господина Малевского? – спросил я ее однажды.

– А у него такие прекрасные усики, – отвечала она. – Да это не по вашей части.

– Вы не думаете ли, что я его люблю, – сказала она мне в другой раз. – Нет; я таких любить не могу, на которых мне приходится глядеть сверху вниз. Мне надобно такого, который сам бы меня сломил... Да я на такого не наткнусь, Бог милостив! Не попадусь никому в лапы, ни-ни!

– Стало быть, вы никогда не полюбите?

– А вас-то? Разве я вас не люблю? – сказала она и ударила меня по носу концом перчатки.

Да, Зинаида очень потешалась надо мною. В течение трех недель я ее видел каждый день – и чего, чего она со мной не выделяла! К нам она ходила редко, и я об этом не сожалел: в нашем доме она превращалась в барышню, в княжну, – и я ее дичился. Я боялся выдать себя перед матушкой; она очень не благоволила к Зинаиде и неприязненно наблюдала за нами. Отца я не так боялся: он словно не замечал меня, а с ней говорил мало, но как-то особенно умно и значительно. Я перестал работать, читать – я даже перестал гулять по окрестностям, ездить верхом. Как привязанный за ножку жук, я кружился постоянно вокруг любимого флигелька: казалось, остался бы там навсегда.. но это было невозможно; матушка ворчала на меня, иногда сама Зинаида меня прогоняла. Тогда я запирался у себя в комнате или уходил на самый конец сада, взбирался на уцелевшую развалину высокой каменной оранжереи и, свесив ноги со стены, выходящей на дорогу, сидел по часам и глядел, глядел, ничего не видя. Возле меня, по запыленной крапиве, лениво перепархивали белые бабочки; бойкий воробей садился недалеко на полусломанном красном кирпиче и раздражительно чирикал, беспрестанно поворачиваясь всем телом и распутив хвостик; все еще недоверчивые вороны изредка каркали, сидя высоко, высоко на обнаженной макушке березы; солнце и ветер тихо играли в ее жидких ветках; звон колоколов Донского монастыря прилетал по временам, спокойный и унылый – а я сидел, глядел, слушал – и наполнялся весь каким-то безыменным ощущением, в котором было все: и грусть, и радость, и предчувствие будущего, и желание, и страх жизни. Но я тогда ничего этого не понимал и ничего бы не сумел назвать изо всего того, что во мне бродило, – или бы назвал это все одним именем – именем Зинаиды.

А Зинаида всё играла со мной, как кошка с мышью. Она то кокетничала со мной – и я волновался и таял, – то она вдруг меня отталкивала – и я не смел приблизиться к ней, не смел взглянуть на нее.

Помнится, она несколько дней сряду была очень холодна со мной, я совсем заробел и, трусливо забегаая к ним во флигель, старался держаться около старухи княгини, несмотря на то что она очень бранилась и кричала именно в это время: ее вексельные дела шли плохо, и она уже имела два объяснения с квартальным.

Однажды я проходил в саду мимо известного забора – и увидел Зинаиду: подпершись обеими руками, она сидела на траве и не шевелилась. Я хотел было осторожно удалиться, но она внезапно подняла голову и сделала мне повелительный знак. Я замер на месте: я не понял ее с первого раза. Она повторила свой знак. Я немедленно перескочил через забор и радостно подбежал к ней; но она остановила меня взглядом и указала мне на дорожку в двух шагах от нее. В смущении, не зная, что делать, я стал на колени на краю дорожки. Она до того была бледна, такая горькая печаль, такая глубокая усталость сказывалась в каждой ее черте, что сердце у меня сжалось, и я невольно пробормотал:

– Что с вами?

Зинаида протянула руку, сорвала какую-то травку, укусила ее и бросила ее прочь, подальше.

– Вы меня очень любите? – спросила она, наконец. – Да?

Я ничего не отвечал – да и зачем мне было отвечать?

– Да, – повторила она, по-прежнему глядя на меня. – Это так. Такие же глаза, – прибавила она, задумалась и закрыла лицо руками. – Все мне опротивело, – прошептала она, – ушла бы я на край света, не могу я это вынести, не могу сладить... И что ждет меня впереди!.. Ах, мне тяжело... Боже мой, как тяжело!

– Отчего? – спросил я робко.

Зинаида мне не отвечала и только пожала плечами. Я продолжал стоять на коленях и с глубоким унынием глядел на нее. Каждое ее слово так и врезалось мне в сердце. В это мгновение я, кажется, охотно бы отдал жизнь свою, лишь бы она не горевала. Я глядел на нее – и, все-таки не понимая, отчего ей было тяжело, живо воображал себе, как она вдруг, в припадке неудержимой печали, ушла в сад – и упала на землю, как подкошенная. Кругом было и светло и зелено; ветер шелестел в листьях



Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
деревьев, изредка качая длинную ветку малины над головой Зинаиды. Где-то ворковали голуби – и пчелы жужжали, низко перелетывая по редкой траве. Сверху ласково синело небо – а мне было так грустно...

– Прочтите мне какие-нибудь стихи, – промолвила вполголоса Зинаида и оперлась на локоть. – Я люблю, когда вы стихи читаете. Вы поете, но это ничего, это молодо. Прочтите мне «На холмах Грузии». Только съядьте сперва.

Я сел и прочел «На холмах Грузии».

– «Что не любить оно не может», – повторила Зинаида. – Вот чем поэзия хороша: она говорит нам то, чего нет и что не только лучше того, что есть, но даже больше похоже на правду... Что не любить оно не может – и хотело бы, да не может! – Она опять умолкла и вдруг встрепенулась и встала. – Пойдемте. У мамы сидит Майданов; он мне принес свою поэму, а я его оставила. Он также огорчен теперь... что делать! вы когда-нибудь узнаете... только не сердитесь на меня!

Зинаида торопливо пожала мне руку и побежала вперед. Мы вернулись во флигель. Майданов принялся читать нам своего только что отпечатанного «Убийцу», но я не слушал его. Он выкрикивал нараспев свои четырехстопные ямбы, рифмы чередовались и звенели, как бубенчики, пусто и громко, а я все глядел на Зинаиду и все старался понять значение ее последних слов.

Иль, может быть, соперник тайный  
Тебя нежданно покорил? –

воскликнул вдруг в нос Майданов – и мои глаза и глаза Зинаиды встретились. Она опустила их и слегка покраснела. Я увидел, что она покраснела, и похолодел от испуга. Я уже прежде ревновал к ней, но только в это мгновение мысль о том, что она полюбила, сверкнула у меня в голове: «Боже мой! она полюбила!»

Х

Настоящие мои терзания начались с того мгновения. Я ломал себе голову, раздумывал, передумывал – и неотступно, хотя по мере возможности скрытно, наблюдал за Зинаидой. В ней произошла перемена – это было очевидно. Она уходила гулять одна и гуляла долго. Иногда она гостям не показывалась; по целым часам сидела у себя в комнате. Прежде этого за ней не водилось. Я вдруг сделался – или мне показалось, что я сделался – чрезвычайно проницателен. «Не он ли? или уж не он ли?» – спрашивал я самого себя, тревожно перебегая мыслью от одного ее поклонника к другому. Граф Малевский (хоть я и стыдился за Зинаиду в этом сознаться) втайне казался мне опаснее других.

Моя наблюдательность не видала дальше своего носа, и моя скрытность, вероятно, никого не обманула; по крайней мере доктор Лушин скоро меня раскусил. Впрочем, и он изменился в последнее время: он похудел, смеялся так же часто, но как-то глуше, злее и короче – невольная, нервическая раздражительность сменила в нем прежнюю легкую иронию и напущенный цинизм.

– Что вы это беспрестанно таскаетесь сюда, молодой человек, – сказал он мне однажды, оставшись со мною в гостиной Засекиных. (Княжна еще не возвращалась с прогулки, а крикливый голос княгини раздавался в мезонине: она бранилась со своей горничной.) – Вам бы надобно учиться, работать – пока вы молоды, – а вы что делаете?

– Вы не можете знать, работаю ли я дома, – возразил я ему не без надменности, но и не без замешательства.

– Какая уж тут работа! у вас не то на уме. Ну, я не спорю... в ваши годы это в порядке вещей. Да выбор-то ваш больно неудачен. Разве вы не видите, что это за дом?

– Я вас не понимаю, – заметил я.

– Не понимаете? тем хуже для вас. Я считаю долгом предостеречь вас. Нашему брату, старому холостяку, можно сюда ходить: что нам делается? мы народ прокаленный, нас ничем не проберешь; а у вас кожа еще нежная; здесь для вас воздух вредный – поверьте мне, заразиться можете.

– Как так?

– Да так же. Разве вы здоровы теперь? Разве вы в нормальном положении? Разве то, что вы чувствуете, – полезно вам, хорошо?

– Да что же я чувствую? – сказал я, а сам в душе сознавал, что доктор прав.

– Эх, молодой человек, молодой человек, – продолжал доктор с таким выражением, как будто в этих двух словах заключалось что-то для меня весьма обидное, – где вам хитрить, ведь у вас еще, слава Богу, что на душе, то и на лице. А впрочем, что толковать? я бы и сам сюда не ходил, если б (доктор стиснул зубы)... если б я не был такой же чудак. Только вот чему я удивляюсь: как вы, с вашим умом, не видите, что делается вокруг вас?

– А что же такое делается? – подхватил я и весь насторожился.

Доктор посмотрел на меня с каким-то насмешливым сожалением.

– Хорош же и я, – промолвил он, словно про себя, – очень нужно это ему говорить. Одним словом, – прибавил он, возвысив голос, – повторяю вам: здешняя атмосфера вам не годится. Вам здесь приятно, да мало чего нет! И в оранжеее тоже приятно пахнет – да жить в ней нельзя. Эй! послушайте, возьмитесь опять за Кайданова!

Княгиня вошла и начала жаловаться доктору на зубную боль. Потом явилась Зинаида.

– Вот, – прибавила княгиня, – господин доктор, побраните-ка ее. Целый день пьет воду со льдом; разве ей это здорово, при ее слабой груди?

– Зачем вы это делаете? – спросил Лушин.

– А что из этого может выйти?

– Что? вы можете простудиться и умереть.

– В самом деле? Неужели? Ну что ж – туда и дорога!

– Вот как! – проворчал доктор.

Княгиня ушла.

– Вот как, – повторила Зинаида. – Разве жить так весело? оглянитесь-ка кругом... Что – хорошо? Или вы думаете, что я этого не понимаю, не чувствую? Мне доставляет удовольствие – пить воду со льдом, и вы серьезно можете уверять меня, что такая жизнь стоит того, чтоб не рискнуть ею за миг удовольствия, – я уже о счастье не говорю.

– Ну да, – заметил Лушин, – каприз и независимость... Эти два слова вас исчерпывают: вся ваша натура в этих двух словах.

Зинаида нервически засмеялась.

– Опоздали почтой, любезный доктор. Наблюдаете плохо; отстаете. Наденьте очки. Не до капризов мне теперь; вас дурачить, себя дурачить... куда как весело! – а что до независимости... Мсье Вольдемар, – прибавила вдруг Зинаида и топнула ножкой, – не делайте меланхолической физиономии. Я терпеть не могу, когда обо мне сожалеют. – Она быстро удалилась.

– Вредна, вредна вам здешняя атмосфера, молодой человек, – еще раз сказал мне Лушин.

## XI

Вечером того же дня собрались у Засекиных обычные гости; я был в их числе.

Разговор зашел о поэме Майданова; Зинаида чистосердечно ее хвалила.

– Но знаете ли что? – сказала она ему, – если б я была поэтом, – я бы другие брала сюжеты. Может быть, все это вздор, – но мне иногда приходят в голову странные мысли, особенно когда я не сплю, перед утром, когда небо начинает становиться и розовым и серым. Я бы, например... Вы не будете надо мной смеяться?

– Нет! нет! – воскликнули мы все в один голос.

– Я бы представила, – продолжала она, скрестив руки на груди и устремив глаза в сторону, – целое общество молодых девушек, ночью, в большой лодке – на тихой реке. Луна светит, а они все в белом и в венках из белых цветов, и поют, знаете, что-нибудь вроде гимна.

– Понимаю, понимаю, продолжайте, – значительно и мечтательно промолвил Майданов.

– Вдруг – шум, хохот, факелы, бубны на берегу... Это толпа вакханок бежит с песнями, с криком. Уж тут ваше дело нарисовать картину, господин поэт... только я бы хотела, чтобы факелы были красны и очень бы дымились и чтобы глаза у вакханок блестели под венками, а венки должны быть темные. Не забудьте также тигровых кож и чаш – и золота, много золота.

– Где же должно быть золото? – спросил Майданов, откидывая назад свои плоские волосы и расширяя ноздри.

– Где? на плечах, на руках, на ногах, везде. Говорят, в древности женщины золотые кольца носили на щиколотках. Вакханки зовут к себе девушек в лодке. Девушки перестали петь свой гимн – они не могут его продолжать, – но они не шевелятся: река подносит их к берегу. И вот вдруг одна из них тихо поднимается... Это надо хорошо описать: как она тихо встает при лунном свете и как ее подружки пугаются... Она перешагнула край лодки, вакханки ее окружили, умчали в ночь, в темноту... Представьте тут дым клубами, и все смешалось. Только слышится их визг, да венок ее остался на берегу.

Зинаида умолкла. («О! она полюбила!» – подумал я опять.)

– И только? – спросил Майданов.

– Только, – отвечала она.

– Это не может быть сюжетом для целой поэмы, – важно заметил он, – но для лирического стихотворения я вашей мысли воспользуюсь.

– В романтическом роде? – спросил Малевский.

– Конечно, в романтическом роде, байроновском.

– А по-моему, Гюго лучше Байрона, – небрежно промолвил молодой граф, – интереснее.

– Гюго – писатель первоклассный, – возразил Майданов, – и мой приятель Тонкошеев, в своем испанском романе «Эль-Тровадор»...

– Ах, это та книга с опрокинутыми вопросительными знаками? – перебила Зинаида.

– Да. Это так принято у испанцев. Я хотел сказать, что Тонкошеев...

– Ну! вы опять заспорите о классицизме и романтизме, – вторично перебила его Зинаида. – Давайте лучше играть...

– В фанты? – подхватил Лушин.

– Нет, в фанты скучно; а в сравнения. (Эту игру придумала сама Зинаида: назывался какой-нибудь предмет, всякий старался сравнить его с чем-нибудь, и тот, кто подбирал лучшее сравнение, получал приз.)

Она подошла к окну. Солнце только что село: на небе высоко стояли длинные красные облака.

– На что похожи эти облака? – спросила Зинаида и, не дожидаясь нашего ответа, сказала: – Я нахожу, что они похожи на те пурпуровые паруса, которые были на золотом корабле у Клеопатры, когда она ехала навстречу Антонию. Помните, Майданов, вы недавно мне об этом рассказывали?

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
Все мы, как Полоний в «Гамлете», решили, что облака напоминали именно эти паруса и что лучшего сравнения никто из нас не приищет.

- А сколько лет было тогда Антонию? – спросила Зинаида.
  - Уж, наверное, был молодой человек, – заметил Малевский.
  - Да, молодой, – уверительно подтвердил Майданов.
  - Извините, – воскликнул Лушин, – ему было за сорок лет.
  - За сорок лет, – повторила Зинаида, взглянув на него быстрым взглядом.
- Я скоро ушел домой. «Она полюбила, – невольно шептали мои губы. – Но кого?»

### XII

Дни проходили. Зинаида становилась все странней, все непонятней. Однажды я вошел к ней и увидел ее сидящей на соломенном стуле, с головой, прижатой к острому краю стола. Она выпрямилась... все лицо ее было облито слезами.

- А! вы! – сказала она с жестокой усмешкой. – Подите-ка сюда.

Я подошел к ней: она положила мне руку на голову и, внезапно ухватив меня за волосы, начала крутить их.

- Больно... – проговорил я наконец.
- А! больно! а мне не больно? не больно? – повторила она.

– Ай! – вскрикнула она вдруг, увидав, что выдернула у меня маленькую прядь волос. – Что это я сделала? Бедный мсье Вольдемар!

Она осторожно расправила вырванные волосы, обмотала их вокруг пальца и свернула их в колечко.

– Я ваши волосы к себе в медальон положу и носить их буду, – сказала она, а у самой на глазах все блестели слезы. – Это вас, быть может, утешит немного... а теперь прощайте.

Я вернулся домой и застал там неприятность. У матушки происходило объяснение с отцом: она в чем-то упрекала его, а он, по своему обыкновению, холодно и вежливо отмалчивался – и скоро уехал. Я не мог слышать, о чем говорила матушка, да и мне было не до того; помню только, что по окончании объяснения она велела позвать меня к себе в кабинет и с большим неудовольствием отозвалась о моих частых посещениях у княгини, которая, по ее словам, была *une femme capable de tout*[10]. Я подошел к ней к ручке (это я делал всегда, когда хотел прекратить разговор) и ушел к себе. Слезы Зинаиды меня совершенно сбили с толку: я решительно не знал, на какой мысли остановиться, и сам готов был плакать: я все-таки был ребенком, несмотря на мои шестнадцать лет. Уже я не думал более о Малевском, хотя Белозоров с каждым днем становился все грознее и грознее и глядел на увертливом графа, как волк на барана; да я ни о чем и ни о ком не думал. Я терялся в соображениях и все искал уединенных мест. Особенно полюбил я развалины оранжереи. Взберусь, бывало, на высокую стену, сяду и сижу там таким несчастным, одиноким и грустным юношей, что мне самому становится себя жалко, – и так мне были отрадны эти горестные ощущения, так упивался я ими!..

Вот однажды сижу я на стене, гляжу вдаль и слушаю колокольный звон... вдруг что-то пробежало по мне – ветерок не ветерок и не дрожь, а словно дуновение, словно ощущение чьей-то близости... Я опустил глаза. Внизу, по дороге, в легком сереньком платье, с розовым зонтиком на плече, поспешно шла Зинаида. Она увидела меня, остановилась и, откинув край соломенной шляпы, подняла на меня свои бархатные глаза.

- Что это вы делаете там, на такой высоте? – спросила она меня с какой-то странной улыбкой. – Вот, – продолжала она, – вы все уверяете, что вы меня любите, – прыгните ко мне на дорогу, если вы действительно любите меня.

Не успела Зинаида произнести эти слова, как я уже летел вниз, точно кто

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
подтолкнул меня сзади. В стене было около двух сажень вышины. Я пришелся о землю ногами, но толчок был так силен, что я не мог удержаться: я упал и на мгновение лишился сознания. Когда я пришел в себя, я, не раскрывая глаз, почувствовал возле себя Зинаиду.

– Милый мой мальчик, – говорила она, наклонясь надо мною – и в голосе ее звучала встревоженная нежность, – как мог ты это сделать, как мог ты послушаться... ведь я люблю тебя... встань.

Ее грудь дышала возле моей, ее руки прикасались моей голове, и вдруг – что случилось со мной тогда! – ее мягкие, свежие губы начали покрывать все мое лицо поцелуями... они коснулись моих губ... Но тут Зинаида, вероятно, догадалась, по выражению моего лица, что я уже пришел в себя, хотя я все глаз не открывал, – и, быстро приподнявшись, промолвила:

– Ну вставайте, шалун, безумный; что это вы лежите в пыли?

Я поднялся.

– Подайте мне мой зонтик, – сказала Зинаида, – вишь, я его куда бросила; да не смотрите на меня так... что за глупости? вы не ушиблись? чай, обожглись в крапиве? Говорят вам, не смотрите на меня... Да он ничего не понимает, не отвечает, – прибавила она словно про себя. – Ступайте домой, мсье Вольдемар, почиститесь, да не смейте идти за мной – а то я рассержусь, и уже больше никогда...

Она не договорила своей речи и проворно удалилась, а я присел на дорогу... ноги меня не держали. Крапива обожгла мне руки, спина ныла, и голова кружилась; но чувство блаженства, которое я испытал тогда, уже не повторилось в моей жизни. Оно стояло сладкой болью во всех моих членах и разрешилось, наконец, восторженными прыжками и восклицаниями. Точно: я был еще ребенок.

### XIII

Я так был весел и горд весь этот день, я так живо сохранял на моем лице ощущение Зинаидиных поцелуев, я с таким содроганием восторга вспоминал каждое ее слово, я так лелеял свое неожиданное счастье, что мне становилось даже страшно, не хотелось даже увидеть ее, виновницу этих новых ощущений. Мне казалось, что уже больше ничего нельзя требовать от судьбы, что теперь бы следовало «взять, вздохнуть хорошенько в последний раз, да и умереть». Зато на следующий день, отправляясь во флигель, я чувствовал большое смущение, которое напрасно старался скрыть под личиною скромной развязности, приличной человеку, желающему дать знать, что он умеет сохранить тайну. Зинаида приняла меня очень просто, без всякого волнения, только погрозила мне пальцем и спросила: нет ли у меня синих пятен? Вся моя скромная развязность и таинственность исчезли мгновенно, а вместе с ними и смущение мое. Конечно, я ничего не ожидал особенного, но спокойствие Зинаиды меня точно холодной водой окатило. Я понял, что я дитя в ее глазах, – и мне стало очень тяжело! Зинаида ходила взад и вперед по комнате, всякий раз быстро улыбалась, как только взглядывала на меня; но мысли ее были далеко, я это ясно видел... «Заговорить самому о вчерашнем деле, – подумал я, – спросить ее, куда она так спешила, чтобы узнать окончательно...», но я только махнул рукой и присел в уголок.

Беловзоров вошел; я ему обрадовался.

– Не нашел я вам верховой лошади, смирной, – заговорил он суровым голосом, – фрейтаг мне ручается за одну – да я не уверен. Боюсь.

– Чего же вы боитесь, – спросила Зинаида, – позвольте спросить?

– Чего? Ведь вы не умеете ездить. Сохрани Бог, что случится! И что за фантазия пришла вам вдруг в голову?

– Ну, это мое дело, мсье мой зверь. В таком случае я попрошу Петра Васильевича... (Моего отца звали Петром Васильевичем. Я удивился тому, что она так легко и свободно упомянула его имя, точно она была уверена в его готовности услужить ей.)

– Вот как, – возразил Беловзоров. – Вы это с ним хотите ездить?

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)

– С ним или с другим – это для вас все равно. Только не с вами.

– Не со мной, – повторил Беловзоров. – Как хотите. Что ж? Я вам лошадь доставлю.

– Да только смотрите, не корову какую-нибудь. Я вас предупредю, что я хочу скакать.

– Скачите, пожалуй... С кем же это, с Малевским, что ли, вы поедете?

– А почему бы и не с ним, воин? Ну, успокойтесь, – прибавила она, – и не сверкайте глазами. Я и вас возьму. Вы знаете, что для меня теперь Малевский – фи! – Она тряхнула головой.

– Вы это говорите, чтобы меня утешить, – проворчал Беловзоров.

Зинаида прищурилась.

– Это вас утешает?... О... о... о... воин! – сказала она наконец, как бы не найдя другого слова. – А вы, мсье Вольдемар, поехали ли бы вы с нами?

– Я не люблю... в большом обществе... – пробормотал я, не поднимая глаз.

– Вы предпочитаете tete-a-tete?.. [11] Ну, вольному воля, спасенному... рай, – промолвила она вздохнувши. – Ступайте же, Беловзоров, хлопчите. Мне лошадь нужна к завтрашнему дню.

– Да; а деньги откуда взять? – вмешалась княгиня.

Зинаида наморщила брови.

– Я у вас их не прошу; Беловзоров мне поверит.

– Поверит, поверит... – проворчала княгиня – и вдруг во всё горло закричала: – Дуняшка!

– Матап, я вам подарила колокольчик, – заметила княжна.

– Дуняшка! – повторила старуха. Беловзоров откланялся; я ушел вместе с ним. Зинаида меня не удерживала.

#### XIV

На следующее утро я встал рано, вырезал себе палку и отправился за заставу. Пойду, мол, размыкаю свое горе. День был прекрасный, светлый и не слишком жаркий; веселый, свежий ветер гулял над землею и в меру шумел и играл, все шевеля и ничего не тревожа. Я долго бродил по горам, по лесам; я не чувствовал себя счастливым, я вышел из дому с намерением предаться унынию – но молодость, прекрасная погода, свежий воздух, потеха быстрой ходьбы, нега уединенного лежания на густой траве – взяли свое: воспоминание о тех незабвенных словах, о тех поцелуях опять втеснилось мне в душу. Мне приятно было думать, что Зинаида не может, однако, не отдать справедливости моей решимости, моему героизму... «Другие для нее лучше меня, – думал я, – пускай! Зато другие только скажут, что сделают, а я сделал! И то ли я в состоянии еще сделать для нее!..» Воображение мое заиграло. Я начал представлять себе, как я буду спасать ее из рук неприятелей, как я, весь облитый кровью, исторгну ее из темницы, как умру у ее ног. Я вспомнил картину, висевшую у нас в гостиной: Малек-Аделя, уносящего Матильду, – и тут же занялся появлением большого пестрого дятла, который хлопотливо поднимался по тонкому стволу березы и с беспокойством выглядывал из-за нее, то направо, то налево, точно музыкант из-за шейки контрабаса.

Потом я запел: «Не белы снега» и свел на известный в то время романс: «Я жду тебя, когда зефир игривый»; потом я начал громко читать обращение Ермака к звездам из трагедии Хомякова; попытался было сочинить что-нибудь в чувствительном роде, придумал даже строчку, которой должно было заканчиваться все стихотворение: «О, Зинаида! Зинаида!», но ничего не вышло. Между тем наступало время обеда. Я спустился в долину; узкая песчаная дорожка вилась по ней и вела в город. Я пошел по этой дорожке... Глухой стук лошадиных копыт раздался за мною. Я оглянулся, невольно остановился и снял фуражку: я увидел моего отца и Зинаиду. Они ехали рядом. Отец говорил ей что-то, перегнувшись к

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
ней всем станом и опершись рукою на шею лошади; он улыбался. Зинаида слушала его молча, строго опустил глаза и сжавши губы. Я сперва увидал их одних; только через несколько мгновений, из-за поворота долины, показался Беловзоров в гусарском мундире с ментиком, на опененном вороном коне. Добрый конь мотал головою, фыркал и плясал: всадник и сдерживал его и шпорил. Я посторонился. Отец подобрал поводья, отклонился от Зинаиды, она медленно подняла на него глаза – и оба поскакали... Беловзоров промчался вслед за ними, гремя саблей. «Он красен, как рак, – подумал я, – а она... Отчего она такая бледная? ездил верхом целое утро – и бледная?»

Я удвоил шаги и поспел домой перед самым обедом. Отец уже сидел переодетый, вымытый и свежий, возле матушкиного кресла и читал ей своим ровным и звучным голосом фельетон «Journal des Debats»[12]; но матушка слушала его без внимания и, увидав меня, спросила, где я пропадал целый день, и прибавила, что не любит, когда таскаются бог знает где и бог знает с кем. «Да я гулял один», – хотел было я ответить, но посмотрел на отца и почему-то промолчал.

## XV

В течение следующих пяти, шести дней я почти не видел Зинаиды: она сказывалась больною, что не мешало, однако, обычным посетителям флигеля являться – как они выражались – на свое дежурство – всем, кроме Майданова, который тотчас падал духом и скучал, как только не имел случая восторгаться. Беловзоров сидел угрюмо в углу, весь застегнутый и красный; на тонком лице графа Малевского постоянно бродила какая-то недобрая улыбка; он действительно впал в немилость у Зинаиды и с особенным старанием подслуживался старой княгине, ездил с ней в ямской карете к генерал-губернатору. Впрочем, эта поездка оказалась неудачной, и Малевскому вышла даже неприятность: ему напомнили какую-то историю с какими-то путейскими офицерами – и он должен был в объяснениях своих сказать, что был тогда неопытен. Лушин приезжал раза по два в день, но оставался недолго; я немножко боялся его после нашего последнего объяснения и в то же время чувствовал к нему искреннее влечение. Он однажды пошел гулять со мною по Нескучному саду, был очень добродушен и любезен, сообщил мне названия и свойства разных трав и цветов и вдруг, как говорится, ни к селу ни к городу, воскликнул, ударив себя по лбу: «А я, дурак, думал, что она кокетка! Видно, жертвовать собою сладко – для иных».

– Что вы хотите этим сказать? – спросил я.

– Вам я ничего не хочу сказать, – отрывисто возразил Лушин.

Меня Зинаида избегала: мое появление – я не мог этого не заметить – производило на нее впечатление неприятное. Она невольно отворачивалась от меня... невольно; вот что было горько, вот что меня сокрушало! Но делать было нечего – и я старался не попадаться ей на глаза и лишь издали ее подкарауливал, что не всегда мне удавалось. С ней по-прежнему происходило что-то непонятное; ее лицо стало другое, вся она другая стала. Особенно поразила меня происшедшая в ней перемена – в один теплый, тихий вечер. Я сидел на низенькой скамеечке под широким кустом бузины; я любил это местечко: оттуда было видно окно Зинаидиной комнаты. Я сидел: над моей головой в потемневшей листве хлопотливо ворошилась маленькая птичка; серая кошка, вытянув спину, осторожно кралась в сад, и первые жуки тяжело гудели в воздухе, еще прозрачном, хотя уже не светлом. Я сидел и смотрел на окно – и ждал, не отворится ли оно: точно – оно отворилось, и в нем появилась Зинаида. На ней было белое платье – и сама она, ее лицо, плечи, руки – были бледны до белизны. Она долго осталась неподвижной и долго глядела неподвижно и прямо из-под сдвинутых бровей. Я и не знал за ней такого взгляда. Потом она стиснула руки, крепко-крепко, поднесла их к губам, ко лбу – и вдруг, раздернув пальцы, откинула волосы от ушей, встряхнула ими и, с какой-то решительностью кивнув сверху вниз головою, захлопнула окно.

Дня три спустя она встретила меня в саду. Я хотел уклониться в сторону, но она сама меня остановила.

– Дайте мне руку, – сказала она мне с прежней лаской, – мы давно с вами не болтали.

Я взглянул на нее: глаза ее тихо светились, и лицо улыбалось, точно сквозь дымку.

– Вы все еще нездоровы? – спросил я ее.

– Нет, теперь все прошло, – отвечала она и сорвала небольшую красную розу. – Я немножко устала, но и это пройдет.

– И вы опять будете такая же, как прежде? – спросил я.

Зинаида поднесла розу к лицу – и мне показалось, как будто отблеск ярких лепестков упал ей на щеки.

– Разве я изменилась? – спросила она меня.

– Да, изменились, – ответил я вполголоса.

– Я с вами была холодна – я знаю, – начала Зинаида, – но вы не должны были обращать на это внимания... Я не могла иначе... Ну, да что об этом говорить!

– Вы не хотите, чтоб я любил вас – вот что! – воскликнул я мрачно, с невольным порывом.

– Нет, любите меня – но не так, как прежде.

– Как же?

– Будемте друзьями – вот как! – Зинаида дала мне понюхать розу. – Послушайте, ведь я гораздо старше вас – я могла бы быть вашей тетушкой, право; ну, не тетушкой, старшей сестрой. А вы...

– Я для вас ребенок, – перебил я ее.

– Ну да, ребенок, но милый, хороший, умный, которого я очень люблю. Знаете ли что? Я вас с нынешнего же дня жалую к себе в пажи; а вы не забывайте, что пажи не должны отлучаться от своих господ. Вот вам знак вашего нового достоинства, – прибавила она, вдевая розу в петлю моей курточки, – знак нашей к вам милости.

– Я от вас прежде получал другие милости, – пробормотал я.

– А! – промолвила Зинаида и сбоку посмотрела на меня. – Какая у него память! Что ж! я и теперь готова...

И, склонившись ко мне, она напечатлела мне на лоб чистый, спокойный поцелуй.

Я только посмотрел на нее – а она отвернулась и, сказавши: «Ступайте за мной, мой паж», – пошла к флигелю. Я отправился вслед за нею – и все недоумевал. «Неужели, – думал я, – эта кроткая, рассудительная девушка – та самая Зинаида, которую я знал?» И походка ее мне казалась тише – вся ее фигура величественнее и стройнее...

И Боже мой! с какой новой силой разгоралась во мне любовь!

#### XVI

После обеда опять собрались во флигеле гости – и княжна вышла к ним. Все общество было налицо, в полном составе, как в тот первый, незабвенный для меня вечер: даже Нирмацкий притащился; Майданов пришел в этот раз раньше всех – он принес новые стихи. Начались опять игры в фанты, но уже без прежних странных выходов, без дурачеств и шума – цыганский элемент исчез. Зинаида дала новое настроение нашей сходке. Я сидел подле нее по праву пажа. Между прочим, она предложила, чтобы тот, чей фант вынется, рассказывал свой сон; но это не удалось. Сны выходили либо неинтересные (Беловзоров видел во сне, что накормил свою лошадь карасями и что у ней была деревянная голова), либо неестественные, сочиненные. Майданов угостил нас целою повестью: тут были и могильные склепы, и ангелы с лирами, и говорящие цветы, и несущиеся издалека звуки. Зинаида не дала ему докончить.

– Коли уж дело пошло на сочинения, – сказала она, – так пускай каждый расскажет что-нибудь непременно выдуманное.

Первому досталось говорить тому же Беловзорову.



Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
Молодой гусар смутился.

– Я ничего выдумать не могу! – воскликнул он.

– Какие пустяки! – подхватила Зинаида. – Ну, вообразите себе, например, что вы женаты, и расскажите нам, как бы вы проводили время с вашей женой. Вы бы ее заперли?

– Я бы ее запер.

– И сами бы сидели с ней?

– И сам непременно сидел бы с ней.

– Прекрасно. Ну, а если бы ей это надоело, и она бы изменила вам?

– Я бы ее убил.

– А если б она убежала?

– Я бы догнал ее и все-таки бы убил.

– Так, а положим, я была бы вашей женой, что бы вы тогда сделали?

Беловзоров помолчал.

– Я бы себя убил...

Зинаида засмеялась.

– Я вижу, у вас недолга песня.

Второй фант вышел Зинаидин. Она подняла глаза к потолку и задумалась.

– Вот, послушайте, – начала она наконец, – что я выдумала... Представьте себе великолепный чертог, летнюю ночь и удивительный бал. Бал этот дает молодая королева. Везде золото, мрамор, хрусталь, шелк, огни, алмазы, цветы, куренья, все прихоти роскоши.

– Вы любите роскошь? – перебил ее Лушин.

– Роскошь красива, – возразила она, – я люблю все красивое.

– Больше прекрасного? – спросил он.

– Это что-то хитро, не понимаю. Не мешайте мне. Итак, бал великолепный. Гостей множество, все они молоды, прекрасны, храбры, все без памяти влюблены в королеву.

– Женщин нет в числе гостей? – спросил Малевский.

– Нет – или погодите – есть.

– Всё некрасивые?

– Прелестные. Но мужчины все влюблены в королеву. Она высока и стройна; у ней маленькая золотая диадема на черных волосах.

Я посмотрел на Зинаиду – и в это мгновение она мне показалась настолько выше всех нас, от ее белого лба, от ее недвижных бровей веяло таким светлым умом и такую властью, что я подумал: «Ты сама эта королева!»

– Все толпятся вокруг нее, – продолжала Зинаида, – все расточают перед ней самые льстивые речи.

– А она любит лесть? – спросил Лушин.

– Какой несносный! все перебивает... Кто ж не любит лести?

- Еще один, последний вопрос, – заметил Малевский. – У королевы есть муж?
- Я об этом и не подумала. Нет, зачем муж?
- Конечно, – подхватил Малевский, – зачем муж?
- Silence! [13] – воскликнул Майданов, который по-французски говорил плохо.
- Merci [14], – сказала ему Зинаида. – Итак, королева слушает эти речи, слушает музыку, но не глядит ни на кого из гостей. Шесть окон раскрыты сверху донизу, от потолка до полу; а за ними темное небо с большими звездами да темный сад с большими деревьями. Королева глядит в сад. Там, около деревьев, фонтан: он белеет во мраке – длинный, длинный, как привидение. Королева слышит сквозь говор и музыку тихий плеск воды. Она смотрит и думает: вы все, господа, благородны, умны, богаты, вы окружили меня, вы дорожите каждым моим словом, вы все готовы умереть у моих ног, я владею вами... а там, возле фонтана, возле этой плещущей воды, стоит и ждет меня тот, кого я люблю, кто мною владеет. На нем нет ни богатого платья, ни драгоценных камней, никто его не знает, но он ждет меня и уверен, что я приду, – и я приду, и нет такой власти, которая бы остановила меня, когда я захочу пойти к нему, и остаться с ним, и потеряться с ним там, в темноте сада, под шорох деревьев, под плеск фонтана...

Зинаида умолкла.

- Это выдумка? – хитро спросил Малевский.

Зинаида даже не посмотрела на него.

- А что бы мы сделали, господа, – вдруг заговорил Лушин, – если бы мы были в числе гостей и знали про этого счастливец у фонтана?

- Пойдите, пойдите, – перебила Зинаида, – я сама скажу вам, что бы каждый из вас сделал. Вы, Беловзоров, вызвали бы его на дуэль; вы, Майданов, написали бы на него эпиграмму... Впрочем, нет – вы не умеете писать эпиграмм: вы сочинили бы на него длинный ямб, вроде Барбье, и поместили бы ваше произведение в «Телеграфе». Вы, Нирмацкий, заняли бы у него... нет, вы бы дали ему займы денег за проценты; вы, доктор... – Она остановилась. – Вот я про вас не знаю, что бы вы сделали.

- По званию лейб-медика, – отвечал Лушин, – я бы присоветовал королеве не давать балов, когда ей не до гостей...

- Может быть, вы были бы правы. А вы, граф?..

- А я? – повторил со своей недоброй улыбкой Малевский.

- А вы бы поднесли ему отравленную конфетку.

Лицо Малевского слегка перекопилось и приняло на миг жидовское выражение, но он тотчас же захохотал.

- Что же касается до вас, Вольдемар... – продолжала Зинаида, – впрочем, довольно; давайте играть в другую игру.

- Мсье Вольдемар, в качестве пажа королевы, держал бы ей шлейф, когда бы она побежала в сад, – ядовито заметил Малевский.

Я вспыхнул, но Зинаида проворно положила мне на плечо руку и, приподнявшись, промолвила слегка дрожащим голосом:

- Я никогда не давала вашему сиятельству права быть дерзким и потому прошу вас удалиться. – Она указала ему на дверь.

- Помилуйте, княжна, – пробормотал Малевский и весь побледнел.

– Княжна права, – воскликнул Беловзоров и тоже поднялся.

– Я, ей-богу, никак не ожидал, – продолжал Малевский, – в моих словах, кажется, ничего не было такого.. у меня и в мыслях не было оскорбить вас.. Простите меня.

Зинаида окинула его холодным взглядом и холодно усмехнулась.

– Пожалуй, останьтесь, – промолвила она с небрежным движением руки. – Мы с мсьё Вольдемаром напрасно рассердились. Вам весело жалиться.. на здоровье.

– Простите меня, – еще раз повторил Малевский, а я, вспоминая движение Зинаиды, подумал опять, что настоящая королева не могла бы с большим достоинством указать дерзновенному на дверь.

Игра в фанты продолжалась недолго после этой небольшой сцены; всем немного стало неловко, не столько от самой этой сцены, сколько от другого, не совсем определенного, но тяжелого чувства. Никто о нем не говорил, но всякий сознавал его и в себе и в своем соседе. Майданов прочел нам свои стихи – и Малевский с преувеличенным жаром расхвалил их. «Как ему теперь хочется показаться добрым», – шепнул мне Лушин. Мы скоро разошлись. На Зинаиду внезапно напало раздумье; княгиня выслала сказать, что у ней голова болит; Нирмацкий стал жаловаться на свои ревматизмы..

Я долго не мог заснуть, меня поразила рассказ Зинаиды.

– Неужели в нем заключался намек? – спрашивал я самого себя, – и на кого, на что она намекала? И если точно есть на что намекнуть.. как же решиться? Нет, нет, не может быть, – шептал я, переворачиваясь с одной горячей щеки на другую.. Но я вспоминал выражение лица Зинаиды во время ее рассказа.. я вспоминал восклицание, вырвавшееся у Лушина в Нескучном, внезапные перемены в ее обращении со мною – и терялся в догадках. «Кто он?» Эти два слова точно стояли перед моими глазами, начертанные во мраке; точно низкое зловещее облако повисло надо мною – и я чувствовал его давление – и ждал, что вот-вот оно разразится. Ко многому я привык в последнее время, на многое насмотрелся у Засекиных; их беспорядочность, сальные огарки, сломанные ножи и вилки, мрачный Вонифатий, обтерханные горничные, манеры самой княгини – вся эта странная жизнь уже не поражала меня более.. Но к тому, что мне смутно чудилось теперь в Зинаиде, – я привыкнуть не мог.. «Авантюрьерка»[15], – сказала про нее однажды моя мать. Авантюрьерка – она, мой идол, мое божество! Это название жгло меня, я старался уйти от него в подушку, я негодовал – и в то же время, на что бы я не согласился, чего бы я не дал, чтобы только быть тем счастливецом у фонтана!..

Кровь во мне загорелась и расходилась. «Сад.. фонтан.. – подумал я. – Пойду-ка я в сад». Я проворно оделся и выскользнул из дому. Ночь была темна, деревья чуть шептали; с неба падал тихий холодок, от огорода тянуло запахом укропа. Я обошел все аллеи; легкий звук моих шагов меня и смущал и бодрил; я останавливался, ждал и слушал, как стучало мое сердце – крупно и скоро. Наконец, я приблизился к забору и оперся на тонкую жердь. Вдруг – или это мне почудилось? – в нескольких шагах от меня промелькнула женская фигура.. Я усиленно устремил взор в темноту – я притаил дыхание. Что это? Шаги ли мне слышатся – или это опять стучит мое сердце? «Кто здесь?» – пролепетал я едва внятно. Что это опять? подавленный ли смех?., или шорох в листьях.. или вздох над самым ухом? Мне стало страшно.. «Кто здесь?» – повторил я еще тише.

Воздух заструился на мгновение; по небу сверкнула огненная полоска: звезда покатилась. «Зинаида?» – хотел спросить я, но звук замер у меня на губах. И вдруг все стало глубоко безмолвно кругом, как это часто бывает в середине ночи.. Даже кузнечики перестали трещать в деревьях – только окошко где-то звякнуло. Я постоял, постоял и вернулся в свою комнату, к своей простывшей постели. Я чувствовал странное волнение: точно я ходил на свидание – и остался одиноким и прошел мимо чужого счастья.

## XVII

На следующий день я видел Зинаиду только мельком: она ездила куда-то с княгиней на извозчике. Зато я видел Лушина, который, впрочем, едва удостоил меня привета, и Малевского. Молодой граф осклабился и дружелюбно заговорил со мною. Из всех посетителей флигелька он один умел втереться к нам в дом и полюбился матушке.

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
Отец его не жаловал и обращался с ним до оскорбительности вежливо.

– Ah, monsieur le page! [16] – начал Малевский, – очень рад вас встретить. Что делает ваша прекрасная королева?

Его свежее, красивое лицо так мне было противно в эту минуту – и он глядел на меня так презрительно-игриво, что я не отвечал ему вовсе.

– Вы всё сердитесь? – продолжал он. – Напрасно. Ведь не я вас назвал пажем, а пажи бывают преимущественно у королев. Но позвольте вам заметить, что вы худо исполняете свою обязанность.

– Как так?

– Пажи должны быть неотлучны при своих владычицах; пажи должны все знать, что они делают, они должны даже наблюдать за ними, – прибавил он, понизив голос, – днем и ночью.

– Что вы хотите сказать?

– Что я хочу сказать? Я, кажется, ясно выражаюсь. Днем – и ночью. Днем еще так и сяк; днем светло илюдно; но ночью – тут как раз жди беды. Советую вам не спать по ночам и наблюдать, наблюдать из всех сил. Помните – в саду, ночью, у фонтана – вот где надо караулить. Вы мне спасибо скажете.

Малевский засмеялся и повернулся ко мне спиной. Он, вероятно, не придавал особенного значенья тому, что сказал мне; он имел репутацию отличного мистификатора и славился своим умением дурачить людей на маскарадах, чему весьма способствовала та почти бессознательная лживость, которою было проникнуто все его существо... Он хотел только подразнить меня; но каждое его слово протекло ядом по всем моим жилам. Кровь бросилась мне в голову. «А! вот что! – сказал я самому себе, – добро! Стало быть, меня недаром тянуло в сад! Так не бывать же этому!» – воскликнул я громко и ударил кулаком себя в грудь, хотя я собственно и не знал – чему не бывать. «Сам ли Малевский пожалует в сад, – думал я (он, может быть, проболтался: на это дерзости у него станет), – другой ли кто (ограда нашего сада была очень низка, и никакого труда не стоило перелезть через нее), – но только недобровать тому, кто мне попадется! Никому не советую встречаться со мною! Я докажу всему свету и ей, изменнице (я так-таки и назвал ее изменницей), что я умею мстить!»

Я вернулся к себе в комнату, достал из письменного стола недавно купленный английский ножик, пощупал острие лезвия и, нахмутив брови, с холодной и сосредоточенной решительностью сунул его себе в карман, точно мне такие дела делать было не в диво и не впервой. Сердце во мне злобно приподнялось и окаменело; я до самой ночи не раздвинул бровей и не разжал губ, и то и дело похаживал взад и вперед, стискивая рукою в кармане разогревшийся нож и заранее приготавливаясь к чему-то страшному. Эти новые, небывалые ощущения до того занимали и даже веселили меня, что собственно о Зинаиде я мало думал. Мне все мерещилось: Алеко, молодой цыган – «Куда, красавец молодой? – Лежи...», а потом: «Ты весь обрызган кровью!.. О, что ты сделал?..» – «Ничего!» С какой жестокой улыбкой я повторил это: ничего! Отца не было дома; но матушка, которая с некоторого времени находилась в состоянии почти постоянного глухого раздражения, обратила внимание на мой фатальный вид и сказала мне за ужином: «Чего ты дуешься, как мышь на крупу?» Я только снисходительно усмехнулся ей в ответ и подумал: «Если б они знали!» Пробило одиннадцать часов; я ушел к себе, но не раздевался, я выжидал полночи; наконец, пробила и она. «Пора!» – шепнул я сквозь зубы и, застегнувшись доверху, засучив даже рукава, отправился в сад.

Я уже заранее выбрал себе место, где караулить. На конце сада, там, где забор, разделявший наши и засекинские владения, упирался в общую стену, росла одинокая ель. Стоя под ее низкими, густыми ветвями, я мог хорошо видеть, насколько позволяла ночная темнота, что происходило вокруг; тут же вилась дорожка, которая мне всегда казалась таинственной: она змеей проползала под забором, носившим в этом месте следы перелезавших ног, и вела к круглой беседке из сплошных акаций. Я добрался до ели, прислонился к ее стволу и начал караулить.

Ночь стояла такая же тихая, как и накануне; но на небе было меньше туч – и очертанья кустов, даже высоких цветов, яснее виднелись. Первые мгновенья

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
ожидания были томительны, почти страшны. Я на все решился, я только соображал: как мне поступить? Загреметь ли: «Куда идешь? Стой! сознайся – или смерть!» – или просто поразить... Каждый звук, каждый шорох и шелест казался мне значительным, необычайным... Я готовился... Я наклонился вперед... Но прошло полчаса, прошел час, кровь моя утихала, холодела; сознание, что я напрасно все это делаю, что я даже несколько смешон, что Малевский подшутил надо мною, – начало прокрадываться мне в душу. Я покинул мою засаду и обошел весь сад. Как нарочно, нигде не было слышно малейшего шума; все покоилось; даже собака наша спала, свернувшись в клубочек у калитки. Я взобрался на развалину оранжереи, увидел пред собою далекое поле, вспомнил встречу с Зинаидой и задумался...

Я вздрогнул... Мне почудился скрип отворявшейся двери, потом легкий треск переломанного сучка. Я в два прыжка спустился с развалины – и замер на месте. Быстрые, легкие, но осторожные шаги явственно раздавались в саду. Они приближались ко мне. «Вот он... Вот он, наконец!» – промчалось у меня по сердцу. Я судорожно выдернул нож из кармана, судорожно раскрыл его – какие-то красные искры закрутились у меня в глазах, от страха и злости на голове зашевелились волосы... Шаги направлялись прямо на меня – я сгибался, я тянулся им навстречу... Показался человек... Боже мой! это был мой отец!

Я тотчас узнал его, хотя он весь закутался в темный плащ и шляпу надвинул на лицо. На цыпочках прошел он мимо. Он не заметил меня, хотя меня ничто не скрывало, но я так скорчился и съехался, что, кажется, сравнялся с самою землею. Ревнивый, готовый на убийство Отелло внезапно превратился в школьника... Я до того испугался неожиданного появления отца, что даже на первых порах не заметил, откуда он шел и куда исчез. Я только тогда выпрямился и подумал: «Зачем это отец ходит ночью по саду», – когда опять все утихло вокруг. Со страху я уронил нож в траву, но даже искать его не стал: мне было очень стыдно. Я разом отрезвился. Возвращаясь домой, я, однако, подошел к моей скамеечке под кустом бузины и взглянул на окошко Зинаидиной спальни. Небольшие, немного выгнутые стекла окошка тускло синели при слабом свете, падавшем с ночного неба. Вдруг – цвет их стал изменяться... За ними – я это видел, видел явственно – осторожно и тихо спускалась беловатая штора, спустилась до оконницы – и так и осталась неподвижной.

– Что ж это такое? – проговорил я вслух, почти невольно, когда снова очутился в своей комнате. – Сон, случайность или... – Предположения, которые внезапно вошли мне в голову, так были новы и странны, что я не смел даже предаться им.

#### XVIII

Я встал поутру с головною болью. Вчерашнее волнение исчезло. Оно заменилось тяжелым недоумением и какою-то еще небывалою грустью – точно во мне что-то умирало.

– Что это вы смотрите кроликом, у которого вынули половину мозга? – сказал мне, встретившись со мною, Лушин.

За завтраком я украдкой взглядывал то на отца, то на мать: он был спокоен, по обыкновению; она, по обыкновению, тайно раздражалась. Я ждал, не заговорит ли отец со мною дружелюбно, как это иногда с ним случалось... Но он даже не поласкал меня своей вседневною, холодною лаской. «Рассказать все Зинаиде?... – подумал я. – Ведь уж все равно – все кончено между нами». Я отправился к ней, но не только ничего не рассказал ей – даже побеседовать с ней мне не удалось, как бы хотелось. К княгине на вакансию приехал из Петербурга родной ее сын, кадет, лет двенадцати; Зинаида тотчас поручила мне своего брата.

– Вот вам, – сказала она, – мой милый Володя (она в первый раз так меня называла), товарищ. Его тоже зовут Володей. Пожалуйста, полюбите его; он еще дичок, но у него сердце доброе. Покажите ему Нескучное, гуляйте с ним, возьмите его под свое покровительство. Не правда ли, вы это сделаете? вы тоже такой добрый!

Она ласково положила мне обе руки на плечи – а я совсем потерялся. Прибытие этого мальчика превратило меня самого в мальчика. Я глядел молча на кадета, который так же безмолвно уставился на меня. Зинаида расхохоталась и толкнула нас друг на друга.

– Да обнимитесь же, дети!

Мы обнялись.

– Хотите, я вас поведу в сад? – спросил я кадета.

– Извольте-с, – отвечал он сиплым, прямо кадетским голосом.

Зинаида опять рассмеялась... Я успел заметить, что никогда еще не было у ней на лице таких прелестных красок. Мы с кадетом отправились. У нас в саду стояли старенькие качели. Я его посадил на тоненькую дощечку и начал его качать. Он сидел неподвижно, в новом своем мундирчике из толстого сукна, с широкими золотыми позументами, и крепко держался за веревки.

– Да вы расстегните свой воротник, – сказал я ему.

– Ничего-с, мы привыкли-с, – проговорил он и откашлялся.

Он походил на свою сестру: особенно глаза ее напоминали. Мне было и приятно ему услуживать, и в то же время та же ноющая грусть тихо грызла мне сердце. «Теперь уж я точно ребенок, – думал я, – а вчера...» Я вспомнил, где я накануне уронил ножик, и отыскал его. Кадет выпросил его у меня, сорвал толстый стебель зори, вырезал из него дудку и принялся свистать. Отелло посвистал тоже.

Но зато вечером, как он плакал, этот самый Отелло, на руках Зинаиды, когда, отыскав его в уголку сада, она спросила его, отчего он так печален? Слезы мои хлынули с такой силой, что она испугалась.

– Что с вами? что с вами, Володя? – твердила она и, видя, что я не отвечаю ей и не перестаю плакать, вздумала было поцеловать мою мокрую щеку.

Но я отвернулся от нее и прошептал сквозь рыдания:

– Я все знаю; зачем же вы играли мною?.. На что вам нужна была моя любовь?

– Я виновата перед вами, Володя... – промолвила Зинаида. – Ах, я очень виновата... – прибавила она и стиснула руки. – Сколько во мне дурного, темного, грешного... Но я теперь не играю вами, я вас люблю – вы и не подозреваете, почему и как... Однако что же вы знаете?

Что мог я сказать ей? Она стояла передо мною и глядела на меня – а я принадлежал ей весь, с головы до ног, как только она на меня глядела... Четверть часа спустя я уже бегал с кадетом и с Зинаидой взапуски; я не плакал, я смеялся, хотя напухшие веки от смеха роняли слезы; у меня на шее, вместо галстучка, была повязана лента Зинаиды, и я закричал от радости, когда мне удалось поймать ее за талию. Она делала со мной все, что хотела.

## XIX

Я пришел бы в большое затруднение, если бы меня заставили рассказать подробно, что происходило со мною в течение недели после моей неудачной ночной экспедиции. Это было странное, лихорадочное время, хаос какой-то, в котором самые противоположные чувства, мысли, подозренья, надежды, радости и страданья кружились вихрем; я страшился заглянуть в себя, если только шестнадцатилетний мальчик может в себя заглянуть, страшился отдать себе отчет в чем бы то ни было; я просто спешил прожить день до вечера; зато ночью я спал... детское легкомыслие мне помогало. Я не хотел знать, любят ли меня, и не хотел сознаться самому себе, что меня не любят; отца я избегал – но Зинаиды избегать я не мог... Меня жгло как огнем в ее присутствии... но к чему мне было знать, что это был за огонь, на котором я горел и таял, – благо мне было сладко таять и гореть. Я отдавался всем своим впечатлениям и сам с собой лукавил, отворачивался от воспоминаний и закрывал глаза перед тем, что предчувствовал впереди... Это томление, вероятно, долго бы не продолжилось... громовой удар разом все прекратил и перебросил меня в новую колею.

Вернувшись однажды к обеду с довольно продолжительной прогулки, я с удивлением узнал, что буду обедать один, что отец уехал, а матушка нездорова, не желает кушать и заперлась у себя в спальне. По лицам лакеев я догадывался, что произошло нечто необыкновенное... Распращивать их я не смел, но у меня был приятель, молодой буфетчик Филипп, страстный охотник до стихов и артист на гитаре, – я к нему обратился. От него я узнал, что между отцом и матушкой

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
произошла страшная сцена (а в девичьей все было слышно до единого слова; многое было сказано по-французски – да горничная Маша пять лет жила у швеи из Парижа и все понимала); что матушка моя упрекала отца в неверности, в знакомстве с соседней барышней, что отец сперва оправдывался, потом вспыхнул и в свою очередь сказал какое-то жестокое слово, «якобы об ихних летах», отчего матушка заплакала; что матушка также упомянула о векселе, будто бы данном старой княгине, и очень о ней дурно отзывалась и о барышне также, и что тут отец ей пригрозил.

– А произошла вся беда, – продолжал Филипп, – от безымянного письма; а кто его написал – неизвестно; а то бы как этим делам наружу выйти, причины никакой нет.

– Да разве что-нибудь было? – с трудом проговорил я, между тем как руки и ноги у меня холодели и что-то задрожало в самой глубине груди.

Филипп знаменательно мигнул.

– Было. Этих делов не скроешь; уж на что батюшка ваш в этом разе осторожен – да ведь надобно ж, примерно, карету нанять или там что... без людей не обойдешься тоже.

Я уснул Филиппа – и повалился на постель. Я не зарыдал, не предался отчаянию; я не спрашивал себя, когда и как все это случилось; не удивлялся, как я прежде, как я давно не догадался, – я даже не роптал на отца... То, что я узнал, было мне не под силу: это внезапное откровение раздавило меня... Все было кончено. Все цветы мои были вырваны разом и лежали вокруг меня, разбросанные и истоптанные.

XX

Матушка на следующий день объявила, что переезжает в город. Утром отец вошел к ней в спальню и долго сидел с нею наедине. Никто не слышал, что он сказал ей, но матушка уж не плакала больше; она успокоилась и кушать потребовала – однако не показала и решения своего не переменяла. Помнится, я пробродил целый день, но в сад не заходил и ни разу не взглянул на флигель – а вечером я был свидетелем удивительного происшествия: отец мой вывел графа Малевского под руку через залу в переднюю и, в присутствии лакея, холодно сказал ему: «Несколько дней тому назад вашему сиятельству в одном доме указали на дверь; а теперь я не буду входить с вами в объяснения, но имею честь вам доложить, что если вы еще раз пожалуете ко мне, то я вас выброшу в окошко. Мне ваш почерк не нравится». Граф наклонился, стиснул зубы, съехался и исчез.

Начались сборы к переселению в город, на Арбат, где у нас был дом. Отцу, вероятно, самому уже не хотелось более оставаться на даче; но, видно, он успел упрямить матушку не затевать истории. Все делалось тихо, не спеша, матушка велела даже поклониться княгине и изъявить ей сожаление, что по нездоровью не увидится с ней до отъезда. Я бродил, как шальной, – и одного только желал, как бы поскорее все это кончилось. Одна мысль не выходила у меня из головы: как могла она, молодая девушка – ну, и все-таки княжна, – решиться на такой поступок, зная, что мой отец человек несвободный, и имея возможность выйти замуж хоть, например, за Беловзорова? На что же она надеялась? Как не побоялась погубить всю свою будущность? Да, думал я, вот это – любовь, это – страсть, это – преданность... и вспоминались мне слова Лушина: жертвовать собою сладко для иных. Как-то пришлось мне увидеть в одном из окон флигеля бледное пятно... «Неужели это лицо Зинаиды?» – подумал я... точно, это было ее лицо. Я не вытерпел. Я не мог расстаться с нею, не сказав ей последнего прости. Я улучил удобное мгновение и отправился во флигель.

В гостиной княгиня встретила меня своим обычным, неопрятно-небрежным приветом.

– Что это, батюшка, ваши так рано всполошились? – промолвила она, забывая табак в обе ноздри.

Я посмотрел на нее, и у меня отлегло от сердца. Слово: вексель, сказанное Филиппом, мучило меня. Она ничего не подозревала... по крайней мере мне тогда так показалось. Зинаида появилась из соседней комнаты, в черном платье, бледная, с развитыми волосами; она молча взяла меня за руку и увела с собой.

– Я услышала ваш голос, – начала она, – и тотчас вышла. И вам так легко было нас покинуть, злой мальчик?

– Я пришел с вами проститься, княжна, – отвечал я, – вероятно, навсегда. Вы, может быть, слышали – мы уезжаем.

Зинаида пристально посмотрела на меня.

– Да, я слышала. Спасибо, что пришли. Я уже думала, что не увижу вас. Не поминайте меня лихом. Я иногда мучила вас; но все-таки я не такая, какую вы меня воображаете.

Она отвернулась и прислонилась к окну.

– Право, я не такая. Я знаю, вы обо мне дурного мнения.

– Я?

– Да, вы... вы.

– Я? – повторил я горестно, и сердце у меня задрожало по-прежнему под влиянием неотразимого, невыразимого обаяния. – Я? Поверьте, Зинаида Александровна, что бы вы ни сделали, как бы вы ни мучили меня, я буду любить и обожать вас до конца дней моих.

Она быстро обернулась ко мне и, раскрыв широко руки, обняла мою голову и крепко и горячо поцеловала меня. Бог знает, кого искал этот долгий, прощальный поцелуй, но я жадно вкусил его сладость. Я знал, что он уже никогда не повторится.

– Прощайте, прощайте, – твердил я...

Она вырвалась и ушла. И я удалился. Я не в состоянии передать чувство, с которым я удалился. Я бы не желал, чтобы оно когда-нибудь повторилось; но я почел бы себя несчастливym, если бы я никогда его не испытал.

Мы переехали в город. Не скоро я отделался от прошедшего, не скоро принялся за работу. Рана моя медленно заживала; но собственно против отца у меня не было никакого дурного чувства. Напротив: он как будто еще вырос в моих глазах... пускай психологи объяснят это противоречие как знают. Однажды я шел по бульвару и, к неописанной моей радости, столкнулся с Лушиным. Я его любил за его прямой и нелицемерный нрав, да притом он был мне дорог по воспоминаниям, которые он во мне возбуждал. Я бросился к нему.

– Ага! – промолвил он и нахмурил брови. – Это вы, молодой человек! Покажите-ка себя. Вы все еще желты, а все-таки в глазах нет прежней дряни. Человеком смотрите, не комнатной собачкой. Это хорошо. Ну, что же вы? работаете?

Я вздохнул. Лгать мне не хотелось, а правду сказать я стыдился.

– Ну, ничего, – продолжал Лушин, – не робейте. Главное дело: жить нормально и не поддаваться увлечениям. А то что пользы? Куда бы волна ни понесла – всё худо; человек хоть на камне стой, да на своих ногах. Я вот кашляю... а Беловзоров – слышали вы?

– Что такое? нет.

– Без вести пропал; говорят, на Кавказ уехал. Урок вам, молодой человек. А вся штука оттого, что не умеют вовремя расстаться, разорвать сети. Вот вы, кажется, выскочили благополучно. Смотрите же, не попадитесь опять. Прощайте.

«Не попадусь... – думал я, – не увижу ее больше»; но мне было суждено еще раз увидеть Зинаиду.

XXI

Отец мой каждый день выезжал верхом; у него была славная рыже-чалая английская лошадь, с длинной тонкой шеей и длинными ногами, неутомимая и злая. Ее звали Электрик. Кроме отца, на ней никто ездить не мог. Однажды он пришел ко мне в добром расположении духа, чего с ним давно не бывало; он собирался выехать и уже надел шпоры. Я стал просить его взять меня с собою.



Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)

– Давай лучше играть в чехарду, – отвечал мне отец, – а то ты на своем клепере за мной не поспеешь.

– Поспею; я тоже шпоры надену.

– Ну, пожалуй.

Мы отправились. У меня был вороненький, косматый конек, крепкий на ноги и довольно резвый: правда, ему приходилось скакать во все лопатки, когда Электрик шел полной рысью, но я все-таки не отставал. Я не видывал всадника подобного отцу; он сидел так красиво и небрежно-ловко, что, казалось, сама лошадь под ним это чувствовала и щеголяла им. Мы проехали по всем бульварам, побывали на Девичьем поле, перепрыгнули чрез несколько заборов (сперва я боялся прыгать, но отец презирал робких людей, – и я перестал бояться), переехали дважды чрез Москву-реку – и я уже думал, что мы возвращаемся домой, тем более что сам отец заметил, что лошадь моя устала, как вдруг он повернул от меня в сторону от Крымского брода и поскакал вдоль берега. Я пустился вслед за ним. Поровнявшись с высокой грудой сложенных старых бревен, он проворно соскочил с Электрика, велел мне слезть и, отдав мне поводья своего коня, сказал, чтобы я подождал его тут же, у бревен, а сам повернул в небольшой переулок и исчез. Я принялся расхаживать взад и вперед вдоль берега, ведя за собой лошадей и бранясь с Электриком, который на ходу то и дело дергал головой, встряхивался, фыркал, ржал; а когда я останавливался, попеременно рыл копытом землю, с визгом кусал моего клепера в шею, словом, вел себя как избалованный *pur sang*[17]. Отец не возвращался. От реки несло неприятной сыростью; мелкий дождик тихонько набежал и испестрил крошечными темными пятнами сильно надоевшие мне глупые серые бревна, около которых я скитался. Тоска меня брала, а отца все не было. Какой-то будочник из чухонцев, тоже весь серый, с огромным старым кивером в виде горшка на голове и с алебардой (зачем, кажется, было будочнику находиться на берегу Москвы-реки!), приблизился ко мне и, обратив ко мне свое старушечье, сморщенное лицо, промолвил:

– Что вы здесь делаете с лошадьми, барчук? Дайте-ка я подержу.

Я не отвечал ему; он попросил у меня табаку. Чтобы отвязаться от него (к тому же нетерпение меня мучило), я сделал несколько шагов к тому направлению, куда удалился отец, потом прошел переулок до конца, повернул за угол и остановился. На улице, в сорока шагах от меня, пред раскрытым окном деревянного домика, спиной ко мне стоял мой отец; он опирался грудью на оконницу, а в домике, до половины скрытая занавеской, сидела женщина в темном платье и разговаривала с отцом; эта женщина была Зинаида.

Я остолбенел. Этого я, признаюсь, никак не ожидал. Первым движением моим было убежать. «Отец оглянется, – подумал я, – и я пропал...» – но странное чувство, чувство сильнее любопытства, сильнее даже ревности, сильнее страха – остановило меня. Я стал глядеть, я силился прислушаться. Казалось, отец настаивал на чем-то. Зинаида не соглашалась. Я как теперь вижу ее лицо – печальное, серьезное, красивое и с непередаваемым отпечатком преданности, грусти, любви и какого-то отчаяния – я другого слова подобрать не могу. Она произносила односложные слова, не поднимала глаз и только улыбалась – покорно и упрямо. По одной этой улыбке я узнал мою прежнюю Зинаиду. Отец повел плечами и поправил шляпу на голове – что у него всегда служило признаком нетерпения... Потом послышались слова: «*Vous devez vous separer de cette...*»[18] Зинаида выпрямилась и протянула руку... Вдруг в глазах моих совершилось невероятное дело: отец внезапно поднял хлыст, которым сбивал пыль с полы своего сюртука, – и послышался резкий удар по этой обнаженной до локтя руке. Я едва удержался, чтобы не вскрикнуть, а Зинаида вздрогнула, молча посмотрела на моего отца и, медленно поднеся свою руку к губам, поцеловала заалевшийся на ней рубец. Отец швырнул в сторону хлыст и, торопливо взбежав на ступеньки крылечка, ворвался в дом... Зинаида обернулась – и, протянув руки, закинув голову, тоже отошла от окна.

С замиранием испуга, с каким-то ужасом недоумения на сердце бросился я назад и, пробежав переулок, чуть не упустив Электрика, вернулся на берег реки. Я не мог ничего сообразить. Я знал, что на моего холодного и сдержанного отца находили иногда порывы бешенства – и все-таки я никак не мог понять, что я такое видел... Но я тут же почувствовал, что, сколько бы я ни жил, забыть это движение, взгляд, улыбку Зинаиды было для меня навсегда невозможно, что образ ее, этот новый, внезапно представший передо мною образ, навсегда запечатлелся в моей памяти. Я

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
глядел бессмысленно на реку и не замечал, что у меня слезы лились. Ее бьют,  
думал я... бьют... бьют...

– Ну, что же ты – давай мне лошадь! – раздался за мной голос отца.

Я машинально подал ему поводья. Он вскочил на Электрика... прозябший конь взвился на дыбы и прыгнул на полторы сажени... но скоро отец укротил его; он вонзил ему шпоры в бока и ударил его кулаком по шее... «Эх, хлыста нету», – пробормотал он.

Я вспомнил недавний свист и удар этого самого хлыста и содрогнулся.

– Куда ж ты дел его? – спросил я отца погодя немного.

Отец не отвечал мне и поскакал вперед. Я нагнал его. Мне непременно хотелось видеть его лицо.

– Ты соскучился без меня? – проговорил он сквозь зубы.

– Немножко. Где же ты уронил свой хлыст? – спросил я его опять.

Отец быстро глянул на меня.

– Я его не уронил, – промолвил он, – я его бросил.

Он задумался и опустил голову... и тут-то я в первый и едва ли не в последний раз увидел, сколько нежности и сожаления могли выразить его строгие черты.

Он опять поскакал, и уж я не мог его догнать; я приехал домой четверть часа после него.

«Вот это любовь, – говорил я себе снова, сидя ночью перед своим письменным столом, на котором уже начали появляться тетради и книги, – это страсть!.. Как, кажется, не возмутиться, как снести удар от какой бы то ни было!., от самой милой руки! А видно, можно, если любишь... А я-то... я-то воображал...»

Последний месяц меня очень состарил – и моя любовь, со всеми своими волнениями и страданиями, показала мне самому чем-то таким маленьким, и детским, и мизерным перед тем другим, неизвестным чем-то, о котором я едва мог догадываться и которое меня пугало, как незнакомое, красивое, но грозное лицо, которое напрасно силишься разглядеть в полумраке...

Странный и страшный сон мне приснился в эту самую ночь. Мне чудилось, что я вхожу в низкую темную комнату... Отец стоит с хлыстом в руке и топает ногами; в углу прижалась Зинаида, и не на руке, а на лбу у ней красная черта... а сзади их обоих поднимается весь окровавленный Беловзоров, раскрывает бледные губы и гневно грозит отцу.

Два месяца спустя я поступил в университет, а через полгода отец мой скончался (от удара) в Петербурге, куда только что переселился с моей матерью и со мною. За несколько дней до своей смерти он получил письмо из Москвы, которое его чрезвычайно взволновало... Он ходил просить о чем-то матушку и, говорят, даже заплакал, он, мой отец! В самое утро того дня, когда с ним сделался удар, он начал было письмо ко мне на французском языке. «Сын мой, – писал он мне, – бойся женской любви, бойся этого счастья, этой отравы...» Матушка после его кончины послала довольно значительную сумму денег в Москву.

## XXII

Прошло года четыре. Я только что вышел из университета и не знал еще хорошенько, что мне начать с собою, в какую дверь стучаться: шлялся пока без дела. В один прекрасный вечер я в театре встретил Майданова. Он успел жениться и поступить на службу; но я не нашел в нем перемены. Он так же ненужно восторгался и так же внезапно падал духом.

– Вы знаете, – сказал он мне, – между прочим, госпожа Дольская здесь.

– Какая госпожа Дольская?

– Вы разве забыли? бывшая княжна Засекина, в которую мы все были влюблены, да и

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
вы тоже. Помните, на даче, возле Нескучного?

– Она замужем за Дольским?

– Да.

– И она здесь, в театре?

– Нет, в Петербурге, она на днях сюда приехала; собирается за границу.

– Что за человек ее муж? – спросил я.

– Прекрасный малый, с состоянием. Сослуживец мой московский. Вы понимаете – после той истории... вам это все должно быть хорошо известно (Майданов значительно улыбулся)... ей не легко было составить себе партию; были последствия... но с ее умом все возможно. Ступайте к ней: она вам будет очень рада. Она еще похорошела.

Майданов дал мне адрес Зинаиды. Она остановилась в гостинице Демут. Старые воспоминания во мне расшевелились... я дал себе слово на другой же день посетить бывшую мою «пассию». Но встретились какие-то дела: прошла неделя, другая, и когда я, наконец, отправился в гостиницу Демут и спросил госпожу Дольскую – я узнал, что она четыре дня тому назад умерла почти внезапно от родов.

Меня как будто что-то в сердце толкнуло. Мысль, что я мог ее увидеть и не увидел и не увижу ее никогда – эта горькая мысль впилась в меня со всею силою неотразимого упрека. «Умерла!» – повторил я, тупо глядя на швейцара, тихо выбрался на улицу и пошел, не зная сам куда. Все прошедшее разом всплыло и встало передо мною.

И вот чем разрешилась, вот к чему, спеша и волнуясь, стремилась эта молодая, горячая, блистательная жизнь! Я это думал, я воображал себе эти дорогие черты, эти глаза, эти кудри – в тесном ящике, в сырой подземной тьме – тут же, недалеко от меня, пока еще живого, и, может быть, в нескольких шагах от моего отца... Я все это думал, я напрягал свое воображение, а между тем:

Из равнодушных уст я слышал смерти весть,  
И равнодушно ей внимал я, –  
звучало у меня в душе. О молодость! молодость! тебе нет ни до чего дела, ты как будто бы обладаешь всеми сокровищами вселенной, даже грусть тебя тешит, даже печаль тебе к лицу, ты самоуверенна и дерзка, ты говоришь: я одна живу – смотрите! а у самой дни бегут и исчезают без следа и без счета и все в тебе исчезает, как воск на солнце, как снег... И, может быть, вся тайна твоей прелести состоит не в возможности все сделать – а в возможности думать, что ты все сделаешь, – состоит именно в том, что ты пускаешь по ветру силы, которые ни на что другое употребить бы не умела, – в том, что каждый из нас не шутя считает себя расточителем, не шутя полагает, что он вправе сказать: «О, что бы я сделал, если бы я не потерял времени даром!»

Вот и я... на что я надеялся, чего я ожидал, какую богатую будущность предвидел, когда едва проводил одним вздохом, одним унылым ощущением на миг возникший призрак моей первой любви?

А что сбылось из всего того, на что я надеялся? И теперь, когда уже на жизнь мою начинают набегать вечерние тени, что у меня осталось более свежего, более дорогого, чем воспоминания о той быстро пролетевшей, утренней, весенней грозе?

Но я напрасно клевету на себя. И тогда, в то легкомысленное молодое время, я не остался глух на печальный голос, воззвавший ко мне, на торжественный звук, долетевший до меня из-за могилы. Помнится, несколько дней спустя после того дня, когда я узнал о смерти Зинаиды, я сам, по собственному неотразимому влечению, присутствовал при смерти одной бедной старушки, жившей в одном с нами доме. Покрытая лохмотьями, на жестких досках, с мешком под головою, она трудно и тяжело кончалась. Вся жизнь ее прошла в горькой борьбе с ежедневной нуждою; не видела она радости, не вкушала от меду счастья – казалось, как бы ей не обрадоваться смерти, ее свободе, ее покою? А между тем пока ее ветхое тело еще упорствовало, пока грудь еще мучительно вздымалась под налегшей на нее ледящей рукою, пока ее не покинули последние силы, – старушка все крестилась и все шептала: «Господи, отпусти мне грехи мои», – и только с последней искрой

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
сознания исчезло в ее глазах выражение страха и ужаса кончины. И помню я, что тут, у одра этой бедной старушки, мне стало страшно за Зинаиду, и захотелось мне помолиться за нее, за отца – и за себя.

1860

После смерти (Клара Милич)

Повесть

I

Весной 1878 года проживал в Москве, в небольшом деревянном домике на Шаболовке, молодой человек, лет двадцати пяти, по имени Яков Аратов. С ним проживала его тетка, старая девица, лет пятидесяти с лишком, сестра его отца, Платонида Ивановна. Она заведовала его хозяйством и вела его расходы, на что Аратов совершенно не был способен. Других родных у него не было. Несколько лет тому назад отец его, небогатый дворянчик Т...й губернии, переехал в Москву вместе с ним и Платонидой Ивановной, которую, впрочем, всегда звал Платошей; и племянник так же ее звал. Покинув деревню, в которой они все до тех пор постоянно жили, старик Аратов поселился в столице с целью поместить сына в университет, к которому сам его подговорил; купил за бесценюк домик в одной из отдаленных улиц и устроился в нем со всеми своими книгами и «препаратами». А книг и препаратов у него было много – ибо человек он был не лишенный учености... «чудак преестественный», по словам соседей. Он даже слыл у них чернокнижником; даже прозвище получил «инсектонаблюдателя». Он занимался химией, минералогией, энтомологией, ботаникой и медициной; лечил добровольных пациентов травами и металлическими порошками собственного изобретения, по методе Парацельсия. Этими самыми порошками он свел в могилу свою молоденькую, хорошенькую, но уж слишком тоненькую жену, которую любил страстно и от которой имел единственного сына. Теми же металлическими порошками он порядком попортил здоровье также и сына, которое, напротив, желал подкрепить, находя в его организме анемию и склонность к чахотке, унаследованные от матери. Имя «чернокнижника» он, между прочим, получил оттого, что считал себя правнуком – не по прямой линии, конечно, – знаменитого Брюса, в честь которого он и сына назвал Яковом. Человек он был, что называется, «добрейший», но нрава меланхолического, копотливый, робкий, – склонный ко всему таинственному, мистическому... Полушепотом произнесенное: «А!» было его обычным восклицанием; он и умер с этим восклицанием на устах, – года два спустя после переселения в Москву.

Сын его Яков наружностью не походил на отца, который был некрасив собою, неуклюж и неловок; он скорее напоминал свою мать. Те же тонкие, миловидные черты, те же мягкие волосы пепельного цвета, тот же маленький нос с горбиной, те же выпуклые, детские губки – и большие, зеленовато-серые глаза с поволокой и пушистыми ресницами. Зато нравом он походил на отца; и несхожее с отцовским лицо носило отпечаток отцовского выражения, – и руки имел он узловатые, и впалую грудь, как старик Аратов, которого, впрочем, едва ли следует называть стариком, так как он и до пятидесяти лет не дотянул. Еще при жизни его Яков поступил в университет, по физико-математическому факультету; однако курса не кончил – не по лености, а потому что, по его понятиям, в университете не узнаешь больше того, чему можно научиться и дома; а за дипломом он не гонялся, так как на службу поступить не рассчитывал. Он дичился своих товарищей, почти ни с кем не знакомился, в особенности чуждался женщин и жил очень уединенно, погруженный в книги. Он чуждался женщин, хотя сердце имел очень нежное и пленялся красотой... Он даже приобрел роскошный английский кип-сэк – и (о позор!) любовался «украшавшими» его изображениями разных восхитительных Гюльнар и Медор... Но его постоянно сдерживала прирожденная стыдливость. В доме он занимал бывший отцовский кабинет, который был также его спальней; и постель его была та же самая, на которой скончался его отец.

Великим подспорьем всего его существования, неизменным товарищем и другом была ему его тетка, та Платоша, с которой он едва ли менялся десятая словами в день, но без которой он не мог бы ступить шагу. Это было длинлицее, длиннозубое существо, с бледными глазами на бледном лице, с неизменным выражением не то грусти, не то озабоченного испуга. Вечно одетая в серое платье и серую шаль, от которой пахло камфарой, она скиталась по дому, как тень, неслышными шагами; вздыхала, шептала молитвы – особенно одну, любимую, состоявшую всего из двух слов: «Господи, помози!» – и очень дельно распоряжалась по хозяйству, берегла каждую копейку и все закупала сама. Племянника своего она обожала; постоянно кручинилась об его здоровье – всего боялась – не за себя, а за него – и, бывало,

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
чуть что ей покажется, сейчас тихонько подойдет и поставит ему на письменный стол чашку грудного чаю или погладит его по спине своими мягкими, как вата, руками. Яков не тяготился этим ухаживаньем, – грудного чаю, однако, не пил – и только одобрительно покачивал головою. Впрочем, здоровьем он тоже похвастаться не мог. Очень он был впечатлителен, нервен, мнителен, страдал сердцебиеньем, иногда одышкой; подобно отцу, верил, что существуют в природе и в душе человеческой тайны, которые можно иногда прозревать, но постигнуть – невозможно; верил в присутствие некоторых сил и веяний, иногда благосклонных, но чаще враждебных... и верил также в науку, в ее достоинство и важность. В последнее время он пристрастился к фотографии. Запах употребляемых при этом снадобий очень беспокоил старуху тетку – опять-таки не для себя, а для Яши, для его груди; но, при всей мягкости нрава, в нем было немало упорства – и он настойчиво продолжал любимшееся ему занятие. Платоша покорилась и только пуце прежнего вздыхала и шептала: «Господи, помози!», глядя на его окрашенные йодом пальцы.

Яков, как уже сказано, чуждался товарищей; однако с одним из них сошелся довольно близко и видал его часто, даже после того, как этот товарищ, выйдя из университета, поступил на службу, мало, впрочем, обязательную: он, говоря его словами, «примостился» к постройке Храма Спасителя, ничего, конечно, в архитектуре не смысля. Странное дело: этот единственный приятель Аратова, по фамилии Купфер, немец, до того обрусевший, что ни одного слова по-немецки не знал и даже ругался «немцем», – этот приятель не имел с ним, по-видимому, ничего общего. Это был чернокудрый, краснощекий малый, весельчак, говорун и большой любитель того самого женского общества, которого так избегал Аратов. Правда, Купфер и завтракал и обедал у него частенько – и даже, будучи человеком небогатым, занимал у него небольшие суммы; но не это заставляло развязного немчика прилежно посещать укромный домик на Шаболовке. Душевная чистота, «идеальность» Якова ему понравилась, быть может, как противоречие тому, что он каждый день встречал и видел; или, быть может, в этом самом влечении к «идеальному» юноше сказывалась его все-таки германская кровь. А Якову нравилась добродушная откровенность Купфера; да, кроме того, рассказы его о театрах, о концертах, о балах, где он был завсегдатаем, – вообще о том чуждом мире, куда Яков не решался проникнуть, – тайно занимали и даже волновали молодого отшельника, не возбуждая, впрочем, в нем желания изведать все это собственным опытом. И Платоша жаловала Купфера; правда, она находила его иногда чересчур бесцеремонным, но, инстинктивно чувствуя и понимая, что он искренне привязан к ее дорогому Яше, она не только терпела шумного гостя, но благоволила к нему.

## II

В то время, о котором идет наша речь, обреталась в Москве некая вдова, грузинская княгиня – личность неопределенная, почти подозрительная. Ей было уже под сорок лет; в молодости она, вероятно, цвела той особенной восточной красотой, которая так скоро блекнет; теперь она белилась, румянилась и красила волосы в желтую краску. О ней ходили разные, не совсем выгодные и не совсем ясные слухи; мужа ее никто не знал – и ни в одном городе она подолгу не жила. Ни детей, ни состояния у ней не было; но она жила открыто – в долг или иначе; держала, как говорится, салон и принимала довольно смешанное общество – большей частью молодежь. Все в ее доме, начиная с ее собственного туалета, мебели, стола – и кончая экипажем и прислугой, – носило печать чего-то недоброкачественного, поддельного, временного... Но и сама княгиня и ее гости, по-видимому, ничего лучшего не требовали. Княгиня слыла любительницей музыки, литературы, покровительницей артистов и художников; да и действительно интересовалась всеми этими «вопросами» – даже до восторженности – и до восторженности, не совсем напускной. Эстетическая жилка в ней несомненно билась. К тому же она была очень доступна, любезна, без чванливости и ломания – и, чего многие не подозревали, – в сущности очень добра, мягкосердечна и снисходительна... Качества редкие – и тем более дорогие – именно в подобного рода личностях! «Пустая баба! – выразился о ней один умник, – а в рай попадет непременно! Потому: все прощает – и ей все простится!» О ней говорили также, что когда она исчезала из какого-нибудь города – она всегда оставляла в нем столько же заимодавцев, сколько людей, благодетельствованных ею. Мягкое сердце в какую хочешь сторону гнется.

Купфер, как и следовало ожидать, попал в ее дом и стал к ней близким... злые языки уверяли: слишком близким человеком. Сам же он всегда отзывался о ней не только дружески, но с уважением; величал ее золотом женщиной – что там ни толкуй! – и твердо верил и в ее любовь к искусству, и в понимание ею искусства! Вот однажды, после обеда у Аратовых, разговорившись о княгине и об ее вечерах, он начал

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
убеждать Якова нарушить хоть раз свою анахоретскую жизнь и позволить ему, Купферу, представить его своей приятельнице. Яков сперва и слушать не хотел.

– Да ты что думаешь? – воскликнул, наконец, Купфер, – о каком представлении речь? Просто возьму тебя, вот как ты теперь сидишь, в сюртуке – и повезу тебя к ней на вечер. Никаких там, брат, этикетов не водится! Ты вот и ученый, и литературу любишь, и музыку (у Аратова в кабинете действительно находилось пианино, на котором он изредка брал аккорды с уменьшенной септимой) – а у ней в доме всего этого добра вдоволь!.. И людей ты там встретишь симпатических, безо всяких претензий! Да и, наконец, нельзя же в твои годы, с твоей наружностью (Аратов опустил глаза и махнул рукою) – да, да, с твоей наружностью, так чуждаться общества, света! Ведь не к генералам я тебя везу! Впрочем, я сам генералов не знаю! Не упирайся, голубчик! Нравственность – дело хорошее, почтенное... Но зачем же в аскетизм вдаваться? Не в монахи же ты себя готовишь!

Аратов, однако, продолжал упираться; но на подмогу Купферу неожиданно явилась Платонида Ивановна. Хотя она и не поняла хорошенько, что это за слово такое: аскетизм? – однако тоже нашла, что Яшеньке не худо развлечься, на людей посмотреть – и себя показать. «Тем более, – прибавила она, – что я уверена в Федор Федорыче! В дурное место он тебя не повезет!..» – «Во всей непорочности представлю его вам обратно!» – вскричал Купфер, на которого Платонида Ивановна, несмотря на свою уверенность, бросала беспокойные взгляды. Аратов покраснел до ушей – но возражать перестал.

Кончилось тем, что на следующий день Купфер повез его на вечер к княгине. Но Аратов недолго там остался. Во-первых, он нашел у ней человек двадцать гостей, мужчин и женщин, положим, и симпатических, но все-таки чужих; и это его стесняло, хотя беседовать ему пришлось очень немного: а этого он больше всего боялся. Во-вторых, сама хозяйка ему не понравилась, хотя она и приняла его очень радушно и просто. Все в ней ему не понравилось: и раскрашенное лицо, и взбитые кудри, и хрипловато-слащавый голос, визгливый смех, манера закатывать глаза под лоб, излишнее декольте – и эти пухлые, глянцевиные пальцы со множеством колец!.. Забившись в угол, он то быстро пробежал глазами по всем лицам гостей, как-то даже не различая их, то упорно глядел себе на ноги. Когда же, наконец, один заезжий артист с испитым лицом, длиннейшими волосами и стеклышком под съезженной бровью сел за рояль и, ударив с размаху руками по клавишам, а ногой по педали, начал валять фантазию Листа на вагнеровские темы – Аратов не выдержал и улизнул, унося в душе смутное и тяжелое впечатление, сквозь которое, однако, пробивалось нечто ему самому непонятное – но значительное и даже тревожное.

### III

Купфер пришел на другой день обедать; однако распространяться о вчерашнем вечере не стал, даже не попрекнул Аратова за его поспешное бегство – и только пожалел о том, что он не дождался ужина, за которым подавали шампанское! (Нижегородского изделия, заметим в скобках.) Купфер, вероятно, понял, что напрасно вздумал расшевелить своего приятеля – и что Аратов к тому обществу и образу жизни человек решительно «не подходящий». С своей стороны, Аратов тоже не заговаривал ни о княгине, ни о вчерашнем вечере. Платонида Ивановна не знала, радоваться ли неуспеху этой первой попытки, или сожалеть о нем? Она решила, наконец, что здоровье Яши могло пострадать от подобных выездов, – и успокоилась. Купфер ушел тотчас после обеда и целую неделю потом не показывался. И не то чтобы он дулся на Аратова за неудачу своей рекомендации – добряк на это не был способен, – но он, очевидно, нашел некоторое занятие, которое поглощало все его время, все его помыслы, – потому что и впоследствии являлся редко к Аратовым, вид имел рассеянный, говорил мало и вскорости исчезал... Аратов продолжал жить по-прежнему; но какая-то, если можно так выразиться, закорючка засела ему в душу. Он все что-то припоминал, сам не зная хорошенько, что именно, – и это «что-то» относилось к вечеру, проведенному у княгини. Со всем тем вернуться к ней он не желал нисколько – и свет, часть которого он улицезрел у нее в доме, отталкивал его больше чем когда-либо. Так прошло недель шесть.

И вот в одно утро опять предстал пред ним Купфер, на этот раз с несколько смущенным лицом.

– Я знаю, – начал он с принужденным смехом, – что тебе не по вкусу пришелся твой тогдашний визит; но я надеюсь, что ты все-таки согласишься на мое предложение... не откажешь мне в моей просьбе!

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)

– В чем дело? – спросил Аратов.

– Вот, видишь ли, – продолжал Купфер, все более и более оживляясь, – здесь есть одно общество любителей, артистов, которое от времени до времени устраивает чтения, концерты, даже театральные представления с благотворительной целью..

– И княгиня участвует? – перебил Аратов.

– Княгиня всегда в добрых делах участвует – но это ничего. Мы затеяли литературно-музыкальное утро.. и на этом утре ты можешь услышать девушку.. необыкновенную девушку! Мы еще не знаем хорошенько: Рашель она или Виардо?.. потому что она и поет превосходно, и декламирует, и играет.. Талант, братец ты мой, первоклассный! Без преувеличения говорю. Так вот.. не возьмешь ли ты билет? Пять рублей, если в первом ряду.

– А откуда взялась эта удивительная девушка? – спросил Аратов.

Купфер осклабился.

– Уж этого я не могу сказать.. В последнее время она приютилась у княгини. Княгиня, ты знаешь, всем таким покровительствует.. Да ты ее, вероятно, видел на том вечере.

Аратов дрогнул – внутренне, слабо.. но ничего не промолвил.

– Она даже играла где-то в провинции, – продолжал Купфер, – и вообще она создана для театра. Вот ты сам увидишь!

– Как ее имя? – спросил Аратов.

– Клара..

– Клара? – вторично перебил Аратов. – Не может быть!

– Отчего: не может быть? Клара.. Клара Милич; это не настоящее ее имя.. но ее так называют. Петь она будет глинкинский романс.. и Чайковского; а потом письмо из «Евгения Онегина» прочтет. Что ж? берешь билет?

– А когда это будет?

– Завтра.. завтра в половине второго, в частной зале, на Остоженке.. Я заеду за тобой. В пять рублей билет?.. Вот он.. нет – это трехрублевый. Вот. Вот и афишка. Я один из распорядителей.

Аратов задумался. Платонида Ивановна вошла в эту минуту и, взглянув ему в лицо, вдруг перетревожилась.

– Яша, – воскликнула она, – что с тобой? Отчего ты такой смущенный? Федор Федорыч, что вы ему такое сказали?

Но Аратов не дал своему приятелю ответить на вопрос тетки – и, торопливо выхватив протянутый к нему билет, приказал Платониде Ивановне сейчас выдать Купферу пять рублей.

Та удивилась, глазами заморгала.. Однако вручила Купферу деньги молча. Очень уж строго крикнул на нее Яшенька.

– Я тебе говорю, чудо из чудес! – воскликнул Купфер и бросился к дверям. – Жди меня завтра!

– У ней черные глаза? – промолвил ему вслед Аратов.

– Как уголь! – весело гаркнул Купфер и исчез. Аратов ушел к себе в комнату, а Платонида Ивановна так и осталась на месте, шепотом повторяя: «Помози, господи! Господи, помози!»

IV

Большая зала в частном доме на Остоженке уже наполовину была полна посетителями,

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
когда Аратов с Купфером прибыли туда. В этой зале давались иногда театральные представления, но на этот раз не было видно ни декораций, ни занавеса. Учредители «утра» ограничились тем, что воздвигнули на одном конце эстраду, поставили на ней фортепиано, пару пюпитров, несколько стульев, стол с графином воды и стакан – да завесили красным сукном дверь, которая вела в комнату, предоставленную артистам. В первом ряду уже сидела княгиня в ярко-зеленом платье; Аратов поместился в некотором от нее расстоянии, едва обменявшись с ней поклоном. Публика была, что называется, разношерстная; все больше молодые люди из учебных заведений. Купфер, как один из распорядителей, с белым бантом на обшлаге фрака, суетился и хлопотал изо всех сил; княгиня видимо волновалась, оглядывалась, посылала во все стороны улыбки, заговаривала с соседями... около нее были одни мужчины. Первым на эстраде явился флейтист чахоточного вида и престарательно проплевал... то бишь! просвистал пьеску тоже чахоточного свойства; два человека закричали: «Браво!» Потом какой-то толстый господин в очках, очень на вид солидный и даже угрюмый, прочел басом щедринский очерк; хлопали очерку, не ему; потом явился фортепианист, уже знакомый Аратову, – и пробарабанил ту же листовскую фантазию; фортепианист удостоился вызова. Он кланялся, опершись рукою на спинку стула, и после каждого поклона взмахивал волосами, совсем как лист! Наконец, после довольно долгого промежутка, красное сукно на двери за эстрадой зашевелилось, запахнулось широко – и появилась Клара Милич. Зала огласилась рукоплесканиями. Нерешительными шагами подошла она к передней части эстрады, остановилась и осталась неподвижной, сложив перед собою большие, красивые руки без перчаток, не приседая, не наклоняя головы и не улыбаясь.

Это была девушка лет девятнадцати, высокая, несколько широкоплечая, но хорошо сложенная. Лицо смуглое, не то еврейского, не то цыганского типа, глаза небольшие, черные, под густыми, почти сросшимися бровями, нос прямой, слегка вздернутый, тонкие губы с красивым, но резким выгибом, громадная черная коса, тяжелая даже на вид, низкий, неподвижный, точно каменный, лоб, крошечные уши... все лицо задумчивое, почти суровое. Натура страстная, своевольная – и едва ли добрая, едва ли очень умная – но даровитая – сказывалась во всем.

Она некоторое время не поднимала глаз, но вдруг встрепенулась и провела по рядам зрителей свой пристальный, но невнимательный, словно в себя углубленный взгляд. «Какие у нее трагические глаза», – заметил сидевший позади Аратова некий седоволосый фат с лицом кокотки из Ревеля, известный по Москве сотрудник и соглядатай. Фат был глуп и хотел сказать глупость... а сказал правду! Аратов, который с самого появления Клары не спускал с нее взора, только тут вспомнил, что он действительно видел ее у княгини; и не только видел ее, но даже заметил, что она несколько раз с особенной настойчивостью посмотрела на него своими темными, пристальными глазами. Да и теперь... или это ему показалось? – она, увидав его в первом ряду, как будто обрадовалась, как будто покраснела – и опять настойчиво посмотрела на него. Потом она, не оборачиваясь, отступила шага два в направлении фортепиано, за которым уже сидел ее аккомпаниатор, длинноволосый чужестранец. Ей приходилось исполнить романс Глинки: «Только узнал я тебя...» Она тотчас начала петь, не переменяя положения рук и не глядя в ноты. Голос у ней был звучный и мягкий – контральто – слова она выговаривала отчетливо и веско, пела однообразно, без оттенков, но с сильным выражением. «С убежденьем поет девка», – промолвил тот же фат, сидевший за спиной Аратова, – и опять сказал правду. Крики: «Віс! браво!» раздались кругом... но она бросила быстрый взгляд на Аратова, который не кричал и не хлопал, – ему не особенно понравилось ее пение, – слегка поклонилась и ушла, не приняв подставленной калачиком руки волосатого пианиста.

Ее вызвали... Она нескоро появилась, теми же нерешительными шагами подошла к фортепиано – и, шепнув слова два аккомпаниатору, которому пришлось достать и положить перед собою не приготовленные, а другие ноты, – начала романс Чайковского: «Нет, только тот, кто знал свиданья жажду...». Этот романс она спела иначе, чем первый – вполголоса, словно усталая... и только на предпоследнем стихе: «Поймет, как я страдал» – у нее вырвался звенящий, горячий крик. Последний стих: «И как я страдаю...» она почти прошептала, горестно растянув последнее слово. Романс этот произвел меньшее впечатление на публику, чем глинкинский; однако хлопанья было много... Особенно отличался Купфер: складывая ладони при ударе особенным манером, в виде бочонка, он производил необыкновенно гулкий звук. Княгиня передала ему большой растрепанный букет с тем, чтобы он преподнес его



Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
певице; но она словно не заметила наклоненной фигуры Купфера, его вытянутой с букетом руки, повернулась и ушла, вторично не дождавшись пианиста, который поспешнее прежнего вскочил, чтобы ее проводить, – и, оставшись ни при чем, так взмахнул волосами, как, вероятно, сам Лист никогда не взмахивал!

Во все время пения Аратов наблюдал лицо Клары. Ему казалось, что глаза ее, сквозь прищуренные ресницы, были обращены опять-таки на него; но его в особенности поразила неподвижность этого лица, лба, бровей – и только при ее страстном вскрике он заметил, как сквозь едва раскрытые губы тепло сверкнул ряд белых, тесно поставленных зубов. Купфер подошел к нему.

– Ну что, брат, как ты находишь? – спросил он, весь сияя удовольствием.

– Голос хороший, – ответил Аратов, – но она петь еще не умеет, настоящей школы нет. (Почему он это сказал и какое он сам имел понятие о «школе» – Господь ведает!)

Купфер удивился.

– Школы нет, – повторил он с расстановкой... – Ну, это... Она еще подучиться может. Зато какая душа! Да вот погоди: ты ее в письме Татьяна послушаешь.

Он отбежал прочь от Аратова, а тот подумал: «Душа! С таким неподвижным лицом!» Он находил, что она и держится и движется, как намагнетизированная, как сомнамбула. И в то же время она несомненно... да! несомненно смотрит на него.

Между тем «утро» продолжалось. Толстый человек в очках появился опять; несмотря на свою серьезную наружность, он воображал себя комиком – и прочел сцену из Гоголя, не вызвавши на этот раз ни единого знака одобрения. Промелькнул опять флейтист, прогремел опять пианист; двенадцатилетний мальчик, напомаженный и завитой, но со следами слез на щеках, пропиликал какие-то вариации на скрипке. Станным могло показаться то, что в промежутках чтения и музыки из комнаты артистов изредка доносились отрывистые звуки валторны; между тем этот инструмент так и остался без употребления. Впоследствии выяснилось, что любитель, вызвавшийся поиграть на нем, заробел в момент выхода перед публику. Вот, наконец, опять появилась Клара Милич.

Она держала в руке томик Пушкина; однако во время чтения ни разу в него не заглянула... Она явно робела; небольшая книжка слегка дрожала в ее пальцах. Аратов заметил также выражение унылости, разлитое теперь по всем ее строгим чертам. Первый стих: «Я к вам пишу... чего же боле?» – она произнесла чрезвычайно просто, почти наивно – и с наивным, искренним, беспомощным жестом протянула обе руки вперед. Потом она стала немного спешить; но уже начиная со стихов: «Другой! нет! Никому на свете не отдала бы сердца я!» – она овладела собою, оживилась – и когда она дошла до слов: «Вся жизнь моя была залогом свиданья верного с тобой», – ее до тех пор довольно глухой голос зазвенел восторженно и смело – а глаза ее так же смело и прямо вперились в Аратова. С таким же увлечением продолжала она – и только к концу голос ее опять понизился – и в нем и на лице отразилась прежняя унылость. Последнее четверостишие она совсем, как говорится, скомкала – томик Пушкина вдруг выскользнул из ее рук – и она поспешно удалась.

Публика принялась рукоплескать отчаянно, вызывать... Один семинарист из малороссов, между прочим, так громогласно орал: «Мыльч! Мыльч!» – что его сосед вежливо, с участием попросил его «пощадить в себе будущего протодьякона!». Но Аратов тотчас встал и направился к выходу. Купфер нагнал его...

– Помилуй, куда же ты? – возопил он, – хочешь, я тебя представлю Кларе?

– Нет, спасибо, – торопливо возразил Аратов – и почти бегом пустился домой.

V

Станные, ему самому неясные ощущения волновали его. В сущности чтение Клары тоже не совсем ему понравилось... хоть он и не мог себе отдать отчета: почему именно? Оно его беспокоило, это чтение; оно казалось ему резким, негармоническим... Оно как будто нарушало что-то в нем, являлось каким-то насилием. И эти пристальные, настойчивые, почти навязчивые взгляды – к чему они? Что они значат?

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)

Скромность Аратова не допускала в нем даже мгновенной мысли о том, что он мог понравиться этой странной девушке, мог внушить ей чувство, похожее на любовь, на страсть!.. Да и он сам совсем не такую представлял себе ту, еще неведомую женщину, ту девушку, которой он отдастся весь, которая и его полюбит, станет его невестой, его женой.. Он редко мечтал об этом: он и душой и телом был девственник; но чистый образ, возникавший тогда в его воображении, был навеян другим образом, – образом его покойной матери, которую он едва помнил, но портрет которой он сохранял, как святыню. Портрет этот был писан акварелью, довольно неискусно, приятельницей-соседкой; но сходство, по уверенью всех, было поразительное. Такой же нежный профиль, такие же добрые, светлые глаза, такие же шелковистые волосы, такую же улыбку, такое же ясное выражение должна была иметь та женщина, та девушка, которой он даже еще не осмеливался ожидать..

А эта черномазая, смуглая, с грубыми волосами, с усиками на губе, она наверно недобрая, взбалмошная.. «Цыганка» (Аратов не мог придумать худшего выражения), – что она ему?

И между тем Аратов не в силах был выкинуть из головы своей эту черномазую цыганку, – пение и чтение и самая наружность которой ему не нравились. Он недоумевал, он сердился на себя. Незадолго перед тем он прочел роман Вальтера Скотта: «Сен-Ронанские воды» (полное собрание сочинений Вальтера Скотта находилось в библиотеке его отца, который уважал в английском романисте серьезного, чуть не научного писателя). Героиня этого романа называется Клара Мобрай. Поэт сороковых годов, Красов, написал на нее стихотворение, оканчивающееся словами:

Несчастливая Клара! безумная Клара!  
Несчастливая Клара Мобрай!

Аратов знал также это стихотворение.. И вот теперь эти слова беспрестанно приходили ему на память.. «Несчастливая Клара! безумная Клара!..» (Оттого он и удивился так, когда Купфер назвал ему Клару Милич.) Сама Платоша заметила – не то чтобы перемену в настроении Якова, – в нем собственно никакой перемены не произошло, – а что-то неладное в его взглядах, в его речах. Она осторожно расспросила его о литературном утре, на котором он присутствовал; пошептала, повздыхала, поглядела на него спереди, поглядела сбоку, сзади – и вдруг, хлопнув ладонями себе по ляжкам, воскликнула:

– Ну, яша! я вижу, в чем дело!

– Что такое? – переспросил Аратов.

– Ты, наверное, на этом утре встретил какую-нибудь из этих хвостовозок.. (Платонида Ивановна называла так всех барынь, носящих модные платья.) Рожица у ней смазливая – и так она ломается – и сяк кривляется (Платоша представила все это в лицах), и глазами такие круги описывает (и это она представила, проводя указательным пальцем большие круги по воздуху).. Тебе с непривычки и показалось.. но ведь это ничего, яша.. ни-и-чего не значит! Выпей чайку на ночь.. и конец!.. Господи, помози!

Платоша умолкла и удалилась.. Она отроду едва ли произносила такую длинную и оживленную речь.. а Аратов подумал: «Тетка-то, чай, права.. С непривычки все это.. (Ему действительно в первый раз пришлось возбудить к себе внимание особы женского пола.. во всяком случае он этого прежде не замечал.) Баловать себя не надо».

И он принялся за свои книги – а на ночь напился липового чаю – и даже спал хорошо всю эту ночь – и снов не видел. На следующее утро он опять как ни в чем не бывало занялся фотографией..

Но к вечеру его душевный покой возмутился снова.

VI

А именно: рассыльный принес ему записку следующего содержания, написанную неправильным и крупным женским почерком:

«Если вы догадываетесь, кто вам пишет, и если это вам не скучно, приходите завтра после обеда на Тверской бульвар – около пяти часов – и ждите. Вас задержат недолго. Но это очень важно. Придите».

Подписи не было. Аратов тотчас догадался, кто была его корреспондентка, – и это именно его возмутило. «Что за вздор! – промолвил он почти вслух, – этого еще не доставало. Разумеется, я не пойду». Он, однако, велел позвать рассыльного, от которого узнал только то, что письмо ему было вручено горничной на улице. Отпустив его, Аратов перечел письмо, бросил его на пол... Но погода немного поднял и опять перечел; вторично воскликнул: «Вздор!» – однако на пол письма уже не бросил, а спрятал в ящик. Аратов принялся за свои обычные занятия, то за одно, то за другое; но дело у него не спорилось и не клеилось. Он вдруг заметил за самим собою, что ожидает купфера! Хотел ли он расспросить его, или, быть может, даже сообщить ему... Но купфер не являлся. Потом Аратов достал Пушкина, прочел письмо Татьяны и снова убедился, что та «цыганка» совсем не поняла настоящего смысла этого письма. А этот шут купфер кричит: «Рашель! Виардо!» Потом он подошел к своему пианино, как-то бессознательно приподнял его крышку, попытался отыскать на память мелодию романса Чайковского; но тотчас же с досадой захлопнул пианино и пошел к тетке, в ее особенную, всегда жарко натопленную комнату, с вечным запахом мяты, шалфея и других целебных трав и с таким множеством ковриков, этажерок, скамеечек, подушечек и разной мягкой мебели, что непривычному человеку и повернуться было в этой комнате трудно и дышать стеснительно. Платонида Ивановна сидела под окном с спицами в руках (она вязала яшеньке шарф, счетом в течение его жизни – тридцать восьмой!) – и очень изумилась. Аратов заходил к ней редко и, если ему было что нужно, всякий раз кричал тоненьким голосом из своего кабинета: «Тетя Платоша!» Однако она его усадила и в ожидании его первых слов насторожилась, глядя на него одним глазом через круглые очки, – другим выше их. Она не осведомилась о его здоровье и не предложила ему чаю, ибо видела, что он пришел не за тем. Аратов немного помялся... потом заговорил... заговорил о своей матери, о том, как она жила с отцом и как отец с ней познакомился. Все это он знал очень хорошо... но ему хотелось говорить именно об этом. На его беду, Платоша совсем беседовать не умела; отвечала очень кратко, словно она подозревала, что и не за этим пришел Яша.

– Что ж! – повторяла она, поспешно, чуть не с досадой шевеля спицами. – Известно: мать твоя была голубка... голубка, как есть... И отец твой любил ее, как следует мужу, верно и честно, по самый гроб; и никакой другой женщины он не любил, – прибавила она, возвысив голос и сняв очки.

– А робкого она была нрава? – спросил, помолчав, Аратов.

– Известно, робкого. Как следует женскому полу. Смелые-то в последнее время завелись.

– А в ваше время смелых не было?

– Было и в наше... как не быть! Да ведь кто? Так, потаскушка какая-нибудь, бесстыжая. Зашлюндает подол – да и мечется зря... Ей что? Какая печаль? Подвернется дурачок – ей и на руку. А степенные люди пренебрегали. Ты вспомни, разве ты в нашем доме таких видал?

Аратов ничего не ответил и вернулся к себе в кабинет. Платонида Ивановна посмотрела ему вслед, покачала головою и опять надела очки, опять взялась за шарф... но не раз задумывалась и роняла спицы на колени.

А Аратов до самой ночи, – нет, нет, да и начнет опять с той же досадой, с тем же озлоблением размышлять об этой записке, о «цыганке», о назначенном свидании, на которое он наверное не пойдет! И ночью она его беспокоила. Ему все мерещились ее глаза, то прищуренные, то широко раскрытые, с их настойчивым, прямо на него устремленным взглядом, – и эти неподвижные черты с их властительным выражением...

На следующее утро он опять почему-то все ожидал купфера; чуть-чуть было не написал ему письма... а впрочем, ничего не делал... все больше расхаживал по своему кабинету. Он ни на одно мгновение не допускал в себе даже мысли, что пойдет на этот глупый «рандеву»... и в половине четвертого часа, после торопливо проглоченного обеда, внезапно надев шинель и нахлобучив шапку, украдкой от тетки выскочил на улицу и отправился на Тверской бульвар.

## VII

Аратов застал на нем немного прохожих. Погода стояла сырая и довольно холодная. Он старался не размышлять о том, что делал, заставлял себя обращать внимание на

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
все попадавшие предметы и как бы уверял себя, что и он так же вышел погулять, как и те прохожие... Вчерашнее письмо находилось у него в боковом кармане, и он постоянно чувствовал его присутствие. Он прошелся раза два по бульвару, зорко вглядываясь в каждую подходившую к нему женскую фигуру, – и сердце его билось, билось... Он почувствовал усталость и присел на лавочку. И вдруг ему пришло в голову: «Ну, а если это письмо написано не ею, а кем-нибудь другим, другой женщиной?» По-настоящему, это для него должно было быть все едино... и, однакоже, он должен был самому себе признаться, что этого он не желал. «Уж очень было бы глупо, – подумалось ему, – еще глупей того!» Нервное беспокойство начинало овладевать им; он стал зябнуть – не извне, а изнутри. Он несколько раз вынул часы из кармана жилета, глядел на циферблат, клал их обратно и всякий раз забывал, сколько оставалось минут до пяти часов. Ему казалось, что все мимо идущие как-то особенно, с каким-то насмешливым удивлением и любопытством оглядывали его. Дрянная собачонка подбежала, понюхала его ноги и стала вертеть хвостом. Он сердито на нее замахнулся. Больше всех надоедал ему фабричный мальчик, в затрапезном халате, который уселся на скамье, по той стороне бульвара – и то посвистывая, то почесываясь и болтая ногами в громадных прорванных сапогах – то и дело посматривал на него. «Ведь вот, – думал Аратов, – хозяин наверное его ждет – а он тут, лентяй, баклуши бьет...»

Но в это самое мгновение ему почудилось, что кто-то подошел и близко стал сзади его... чем-то теплым повеяло оттуда...

Он оглянулся... Она!

Он тотчас узнал ее, хотя густая темно-синяя вуаль закрывала ее черты. Он мгновенно вскочил со скамьи – да так и остался, и слова не мог промолвить. Она тоже молчала. Он чувствовал большое смущение... но и ее смущение было не меньше: Аратов даже сквозь вуаль не мог не заметить, как мертвенно она побледнела. Однако она заговорила первая.

– Спасибо, – начала она прерывистым голосом, – спасибо, что пришли. Я не надеялась... – Она слегка отвернулась и пошла по бульвару. Аратов отправился вслед за нею.

– Вы, может быть, меня осудили, – продолжала она, не оборачивая головы. – Действительно, мой поступок очень странен... Но я много слышала о вас... да нет! Я... не по этой причине... Если б вы знали... Я так много хотела вам сказать, Боже мой!.. Но как это сделать... Как это сделать!

Аратов шел с ней рядом, немного позади. Он не видел ее лица; он видел только ее шляпу да часть вуали... да длинную, черную, уже поношенную мантилью. Вся его досада и на нее и на себя вдруг к нему вернулась; все смешное, все нелепое этого свиданья, этих объяснений между совершенно незнакомыми людьми, на публичном бульваре, предстало ему вдруг.

– Я явился на ваше приглашение, – начал он в свою очередь, – явился, милостивая государыня (ее плеча тихонько дрогнули – она свернула на боковую дорожку – он последовал за ней), для того только, чтобы разъяснить, чтобы узнать, вследствие какого странного недоразумения вам было угодно обратиться ко мне, человеку вам чужому, который... который потому только и догадался, – как вы выразились в вашем письме – что писали ему именно вы... потому догадался, что вам, в течение того литературного утра, захотелось выказать ему слишком... слишком явное внимание!

Вся эта небольшая речь была произнесена Аратовым тем, хоть и звонким, но нетвердым голосом, каким очень еще молодые люди отвечают на экзамене по предмету, к которому они хорошо приготовились... Он сердился; он гневался... Этот-то самый гнев и развязал его в обыкновенное время не очень свободный язык.

Она продолжала идти по дорожке несколько замедленными шагами... Аратов по-прежнему шел за нею и по-прежнему видел одну эту старенькую мантилью да шляпку, тоже не совсем новую. Самолюбие его страдало при мысли, что вот теперь она должна думать: «Мне стоило только знак подать – и он тотчас прибежал!»

Аратов молчал... он ожидал, что она ему ответит; но она не произносила ни слова.

– Я готов выслушать вас, – начал он опять, – и очень даже буду рад, если могу быть вам чем-нибудь полезен... хотя все-таки мне, признаюсь, удивительно... При моей

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
уединенной жизни...

Но при последних его словах Клара внезапно к нему обернулась – и он увидел такое испуганное, такое глубоко опечаленное лицо, с такими светлыми большими слезами на глазах, с таким горестным выражением вокруг раскрытых губ – и так было это лицо прекрасно, что он невольно запнулся и сам почувствовал нечто вроде испуга – и сожаления и умиления.

– Ах, зачем... зачем вы так... – промолвила она с неотразимо искренней и правдивой силой – и как трогательно зазвенел ее голос! – Неужели мое обращение к вам могло оскорбить вас... неужели вы ничего не поняли?.. Ах да! Вы не поняли ничего, вы не поняли, что я вам говорила, вы бог знает что вообразили обо мне, вы даже не подумали, чего мне это стоило – написать вам!.. Вы только о себе заботились, о своем достоинстве, о своем покое!.. Да разве я (она так сильно стиснула свои поднесенные к губам руки, что пальцы явственно хрустнули)... Точно я какие требования к вам предъявляла, точно нужны были сперва разъяснения... «Милостивая государыня...», «мне даже удивительно...», «я могу быть полезным...» Ах я, безумная! Я обманулась в вас, в вашем лице!.. Когда я увидела вас в первый раз... Вот... Вы стоите... И хоть бы слово! Так-таки ни слова?

Она умолкла... Лицо ее внезапно вспыхнуло – и так же внезапно приняло злое и дерзкое выражение.

– Господи! как это глупо! – воскликнула она вдруг с резким хохотом. – Как наше свидание глупо! Как я глупа!.. да и вы... Фуй!

Она презрительно двинула рукою, словно отстраняя его прочь с дороги, и, минуя его, быстро сбежала с бульвара и исчезла.

Это движение рукою, этот оскорбительный хохот, это последнее восклицание разом возвратили Аратову его прежнее настроение и заглушили в нем то чувство, которое возникло в его душе, когда с слезами на глазах она к нему обратилась. Он опять рассердился – и чуть не закричал вслед удалявшейся девушке: «Из вас может выйти хорошая актриса – но зачем вы вздумали надо мной-то комедию ломать?»

Большими шагами вернулся он домой, – и хотя продолжал и досадовать и негодовать в течение всей дороги – однако в то же время сквозь все эти нехорошие, враждебные чувства невольно пробивалось воспоминание о том чудном лице, которое он видел один только миг... Он даже поставил себе вопрос: «Отчего я не ответил ей, когда она требовала от меня хоть слово? Я не успел... – думал он... – Она мне не дала произнести это слово. И какое слово я бы произнес?»

Но он тотчас тряхнул головою и с укоризной промолвил: «Актёрка!»

И опять-таки в то же время – самолюбие неопытного, нервического юноши, сперва оскорбленное, теперь как будто было польщено тем, что вот, однако, какую он внушил страсть...

«Но зато в эту минуту, – продолжал он свои размышления, – все это, разумеется, кончено... Я должен был показаться ей смешным...»

Эта мысль ему была неприятна – и он снова сердился... и на нее... и на себя. Возвратившись домой, он заперся в своем кабинете. Ему не хотелось видаться с Платошей. Добрая старушка раза два подходила к его двери – прикладывалась ухом к замочной скважине – и только вздыхала да шептала свою молитву...

«Началось! – думалось ей... – А ему всего двадцать пятый год... Ох, рано, рано!»

## VIII

Весь следующий день Аратов был очень не в духе. «Что это, яша? – говорила ему Платонида Ивановна, – ты сегодня какой-то растрепанный?!» На своеобразном языке старушки выражение это довольно верно определяло нравственное состояние Аратова. Работать он не мог, да и сам не знал, чего ему желалось? То он опять поджидал Купфера (он подозревал, что Клара именно от Купфера получила его адрес... да и кто другой мог ей «много говорить» о нем?); то он недоумевал: неужели так и должно кончиться его знакомство с нею? то он воображал, что она ему напишет опять; то он себя спрашивал, не следует ли ему написать ей письмо, в котором он все объяснит, – так как он все же не желает оставить невыгодное о себе мнение... но

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru) собственно – что объяснить? То он возбуждал в себе чуть не отвращение к ней, к ее назойливости, дерзости; то ему снова представлялось это несказанно трогательное лицо и слышался неотразимый голос; то он припоминал ее пенье, ее чтение – и не знал, прав ли он был в своем огульном осуждении? Одним словом: растрепанный человек! Наконец, это ему все надоело – и он решился, как говорится, «взять на себя» и похерить всю эту историю, так как она, несомненно, мешала его занятиям и нарушала его покой. Не так-то легко далось ему исполнить это решение... Более недели прошло, прежде чем он опять попал в обычную колею. К счастью, Купфер совсем не являлся: точно его и в Москве не было. Незадолго до «истории» Аратов начал заниматься живописью для фотографических целей; он с удвоенным рвением принялся за нее.

Так, незаметно, с некоторыми, как выражаются доктора, «возвратными припадками», состоявшими, например, в том, что он раз чуть не отправился с визитом к княгине, – прошло два... прошло три месяца... и Аратов стал прежним Аратовым. Только там, внизу, под поверхностью его жизни, что-то тяжелое и темное тайно сопровождало его на всех его путях. Так большая, только что пойманная на крючок, но еще не выхваченная рыба плывет по дну глубокой реки под самой той лодкой, на которой сидит рыбак с крепкой лесой в руке.

И вот однажды, пробегая уже не совсем свежие «Московские ведомости», Аратов наткнулся на следующую корреспонденцию:

«С великим прискорбием, – писал некий местный литератор из Казани, – заносим мы в нашу театральную летопись весть о внезапной кончине нашей даровитой актрисы Клары Милич, успевшей в короткое время ее ангажемента сделаться любимицей нашей разборчивой публики. Прискорбие наше тем сильнее, что г-жа Милич самовольно покончила со своей молодой, столь много обещавшей жизнью, – посредством отравления. И это отравление тем ужаснее, что артистка приняла яд в самом театре! Ее едва довезли домой, где она, к общему сожалению, скончалась. В городе ходят слухи, что неудовлетворенная любовь довела ее до этого страшного поступка».

Аратов тихонько положил номер газеты на стол. На вид он остался совершенно спокойным... но что-то разом толкнуло его в грудь и голову – и медленно поплыло потом по всем его членам. Он встал, постоял немного на месте – и опять сел, опять перечел эту корреспонденцию. Потом он опять встал, лег на кровать и, заложив руки за голову, как отуманенный, долго глядел на стену. Понемногу эта стена словно сгладилась... исчезла... и он увидел перед собою и бульвар под серым небом и ее в черной мантилье... потом ее же на эстраде... увидел даже самого себя возле нее. То, что так сильно толкнуло его в грудь в первое мгновение, стало теперь подниматься... подниматься к горлу... Он хотел откашляться, хотел позвать кого-нибудь – но голос изменил ему, – и, к собственному его изумлению, из его глаз неудержимо покатились слезы... Что вызвало эти слезы? Жалость? Раскаяние? Или просто нервы не выдержали внезапного потрясения? Ведь для него она была ничем? Не так ли?

«Да, может быть, это еще неправда? – вдруг осенила его мысль. – Надо узнать! Но от кого? От княгини? Нет, от Купфера... от Купфера! Да его, говорят, в Москве нет? Все равно! Сперва к нему надо!»

С этими соображениями в голове Аратов наскоро оделся, взял извозчика и поскакал к Купферу.

IX

Не надеялся он его застать... а застал. Купфер точно отлучался из Москвы на некоторое время, но уже с неделю как вернулся и даже снова собирался посетить Аратова. Он встретил его с обычным радушием – и начал было ему что-то объяснять... но Аратов тотчас перебил его нетерпеливым вопросом:

- Ты читал? Правда?
- Что правда? – отвечал озадаченный Купфер.
- Насчет Клары Милич?

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
Лицо Купфера выразило сожаление.

– Да, да, брат, правда; отравилась! Такое горе!

Аратов помолчал.

– Да ты тоже в газете вычитал? – спросил он, – или, может быть, сам и ездил в Казань?

– Я ездил в Казань точно; мы с княгиней ее туда отвезли. Она на сцену там поступила – и большой успех имела. Только до самой катастрофы я там не дожил... Я в Ярославле был.

– В Ярославле?

– Да. Я княгиню туда проводил... Она теперь в Ярославле поселилась.

– Но ты имеешь верные сведения?

– Вернейшие... из первых рук! Я в Казани с ее семейством познакомился. Да постой, брат... тебя, кажется, это известие очень волнует? А, помнится, тебе Клара тогда не понравилась? Напрасно! Чудная была девушка – только голова! Бедовая голова! Очень я о ней сокрушался!

Аратов не промолвил слова, опустил на стул – и погода немного попросил Купфера рассказать ему... Он запнулся.

– Что? – спросил Купфер.

– Да... все, – ответил с расстановкой Аратов. – Вот хоть насчет ее семейства... и прочего. Все, что знаешь!

– А это тебя интересует? Изволь!

И Купфер, по лицу которого вовсе нельзя было заметить, чтобы он уж очень так сокрушался о Кларе, начал рассказывать.

Из его слов Аратов узнал, что настоящее имя Клары Милич было Катерина Миловидова; что отец ее, теперь уже умерший, был штатным учителем рисования в Казани, писал плохие портреты и казенные образа – да к тому же слыл за пьяницу и за домашнего тирана... а еще образованный человек!., (тут Купфер самодовольно засмеялся, намекая тем на сделанный им каламбур); что после него остались, во-первых: вдова из купеческого рода, совсем глупая баба, прямо из комедий Островского; а во-вторых: дочь, гораздо старше Клары и на нее не похожая – девушка очень умная, только восторженная, больная, замечательная девушка – и преразвитая, братец ты мой! Что живут они обе – и вдова и дочь, безбедно, в порядочном домике, приобретенном от продажи тех плохих портретов и образов; что Клара... или Катя, как хочешь, с детских лет поражала всех своей даровитостью – но нрава была непокорного, капризного – и постоянно грызлась с отцом; что, имея врожденную страсть к театру, на шестнадцатом году убежала из родительского дома с актрисой...

– С актером? – перебил Аратов.

– Нет, не с актером, а с актрисой, к которой привязалась... Правда, у этой актрисы был покровитель, богатый и уже старый барин, который потому только на ней не женился, что сам был женат – да и актриса, кажется, была женщина замужняя. – Далее Купфер сообщил Аратову, что Клара уже до приезда в Москву играла и пела на провинциальных театрах; что, потеряв свою приятельницу актрису (барин тоже, кажется, умер или опять с женой сошелся – этого Купфер хорошенько не помнил...), познакомилась с княгиней, этой золотой женщиной, которую ты, друг мой, Яков Андреич, – прибавил с чувством рассказчик, – не умел оценить как следует; что, наконец, Кларе предложили ангажемент в Казани – и что она его приняла, хотя перед тем уверяла, что Москвы никогда не покинет! Зато, как казанцы ее полюбили – даже удивительно! Что ни представление – букеты и подарок! букеты и подарок! Хлебный торговец, первый по губернии туз, тот даже золотую чернильницу преподнес! – Купфер рассказал все это с большим оживлением, не выказывая, впрочем, особой сентиментальности и перерывая речь вопросами: «Это тебе

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru) зачем?..» или: «Это на что?» – когда Аратов, слушавший его с пожирающим вниманием, требовал все больших да больших подробностей. Все было высказано, наконец, и Купфер умолк, наградив себя за труд сигаркой.

– А отчего же она отравилась? – спросил Аратов. – В газете напечатано...

Купфер взмахнул руками.

– Ну... этого я не могу сказать... Не знаю. А газета врет. Вела себя Клара примерно... амуров никаких... Да и где с ее гордостью! Горда она была – как сам сатана – и неприступна! Бедовая голова! Тверда, как камень! Верить ли ты мне – уж на что я ее близко знал – а никогда на ее глазах слез не видел!

«А я видел», – подумал про себя Аратов.

– Только вот что, – продолжал Купфер, – в последнее время я большую перемену в ней заметил: скучная такая стала, молчит, по целым часам слова от нее не добьешься. Уж я ее спрашивал: не обидел ли кто вас, Катерина Семеновна? Потому я знал ее нрав: обиду перенести она не могла! Молчит, да и баста! Даже успехи на сцене ее не веселили; букеты сыплются... а она и не улыбнется! На золотую чернильницу взглянула раз – и в сторону! Жаловалась, что настоящей роли, как она ее понимает, никто ей не напишет. И петь совсем бросила. Я, брат, виноват!.., передал ей тогда, что ты в ней школы не находишь. Но все-таки... отчего она отравилась – непостижимо! Да и как отравилась!..

– В какой роли она... больше имела успеха? – Аратов хотел было узнать, в какой роли она выступила в последний раз, – но почему-то спросил другое.

– Помнится, в «Груне» Островского. Но повторяю тебе: амуров никаких! Ты одно посуди: жила она у матери в доме... Знаешь – есть такие купеческие дома: в каждом углу киот и лампадка перед киотом, духота смертельная, пахнет кислятиной, в гостиной по стенам одни стулья, на окнах ерань – а приедет гость – хозяйка взохает – словно неприятель подступает. Какие уж тут ферлакуры да амурь? Бывало, даже меня не пускают. Служанка ихняя, баба здоровенная, в кумачном сарафане, с отвислыми грудями, станет в передней поперек – да и рычит: «Куды?» Нет, я решительно не понимаю, с чего она отравилась. Жить, значит, надоело, – философически заключил Купфер свои рассуждения.

Аратов сидел, потупя голову.

– Можешь ты мне дать адрес этого дома в Казани? – промолвил он, наконец.

– Могу; но на что тебе? Или ты письмо туда послать хочешь?

– Может быть.

– Ну, как знаешь. Только старуха тебе не ответит, ибо безграмотна. Вот разве сестра... О, сестра умница! Но опять-таки удивляюсь, брат, тебе! Какое прежде равнодушие... а теперь какое внимание! Все это, любезный, от одиночества!

Аратов ничего не ответил на это замечание и ушел, запасшись казанским адресом.

Когда он ехал к Купферу, на лице его изображалось волнение, изумление, ожидание... Теперь он шел ровной походкой, с опущенными глазами, с надвинутой на лоб шляпой; почти каждый встречный прохожий провожал его пытливым взором... но он не замечал прохожих... не то что на бульваре!..

«Несчастливая Клара! безумная Клара!» – звучало у него на душе.

Х

Однако следующий день Аратов провел довольно спокойно. Он даже мог предаться обычным занятиям. Одно только: и во время занятий и в свободное время он постоянно думал о Кларе, о том, что ему накануне сказал Купфер. Правда, его думы были тоже довольно мирного свойства. Ему казалось, что эта странная девушка интересовала его с психологической точки зрения, как нечто вроде загадки, над разрешением которой стоило бы поломать голову. «Убежала с актрисой на содержании, – думалось ему, – отдалась под покровительство этой княгини, у которой, кажется, жила – и никаких амуров? Неправдоподобно!.. Купфер говорит:



Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
гордость! Но, во-первых, мы знаем (Аратову следовало сказать: мы вычитали в книгах)... мы знаем, что гордость уживается с легкомысленным поведением; а во-вторых, как же она, такая гордая, назначила свидание человеку, который мог оказать ей презрение... и оказал... да еще в публичном месте... на бульваре!» Тут Аратову вспомнилась вся сцена на бульваре – и он спросил себя: «Точно ли он оказал Кларе презрение? Нет, – решил он... Это было другое чувство... чувство недоумения... недоверчивости, наконец! Несчастливая Клара! – снова прозвучало у него в голове. – Да, несчастная, – решил он опять... – Это самое подходящее слово. А коли так – я был несправедлив. Она верно сказала, что я ее не понял. Жаль! Такое, быть может, замечательное существо прошло так близко мимо... и я не воспользовался, я оттолкнул... Ну, ничего! Жизнь еще вся впереди. Пожалуй, еще не такие случатся встречи!

Но с какой стати она именно меня выбрала? – Он взглянул на зеркало, мимо которого проходил. – Что во мне особенного? И какой я красавец? – Так лицо... как все лица... Впрочем, и она не красавица.

Не красавица... а какое выразительное лицо! Неподвижное... а выразительное! Я такого лица еще не встречал. И талант у ней есть... то есть был, несомненный. Дикий, неразвитый, даже грубый... но несомненный. И в этом случае я был к ней несправедлив. – Аратов мысленно перенесся на литературно-музыкальное утро... и сам заметил за собою, что он чрезвычайно ясно вспоминал каждое пропетое и сказанное ею слово, каждую интонацию... – Этого бы не случилось, если б она была лишена таланта.

И теперь все это в могиле, куда она сама себя толкнула... Но я тут ни при чем... Я не виноват! Было бы даже смешно думать, что я виноват. – Аратову опять пришло в голову, что если бы даже и было у ней «что-нибудь такое» – его поведение во время свидания несомненно ее разочаровало... Оттого-то она так жестоко и рассмеялась на прощание. – Да и где доказательство, что она отравилась от несчастной любви? Это одни газетные корреспонденты всякую подобную смерть приписывают несчастной любви! Людям с таким характером, как у Клары, жизнь легко становится постылой... скучной. Да, скучной. Купфер прав: просто ей надоело жить.

«Несмотря на успехи, на овации?» – Аратов задумался. Ему даже приятен был психологический анализ, которому он предавался. Чуждый до сих пор всякого соприкосновения с женщинами, он и не подозревал, как знаменательно было для него самого это напряженное разбирательство женской души.

«Значит, – продолжал он свои размышления, – искусство не удовлетворяло ее, не наполняло пустоты ее жизни. Настоящие художники только и существуют для художества, для театра... Все остальное бледнеет перед тем, что они считают своим призваньем... Она была дилетантка!»

Тут Аратов опять задумался. Нет, слово «дилетантка» не вязалось с тем лицом, с выражением того лица, тех глаз...

И перед ним опять всплыл образ Клары с устремленным на него, залитым слезами взглядом, с приподнятыми к губам, стиснутыми руками...

«Ах, не надо, не надо... – прошептал он... – К чему?»

Так прошел целый день. За обедом Аратов много разговаривал с Платошей, расспрашивал ее о старине, которую она, впрочем, и помнила и передавала плохо, так как не очень-то владела языком – и кроме своего Яши в течение своей жизни почти ничего не замечала. Она только радовалась тому, что вот он какой сегодня добрый да ласковый! К вечеру Аратов затих до того, что сыграл несколько раз с теткой в свои козыри.

Так прошел день... – зато ночь!!

XI

Началась она хорошо; он скоро заснул – и когда тетка вошла к нему на цыпочках, чтобы трижды перекрестить его спящего – она это делала каждую ночь, – он лежал и дышал спокойно, как дитя. Но перед зарею ему привиделся сон.

Ему снилось: он шел по голой степи, усеянной камнями, под низким небом. Между камнями вилась тропинка; он пошел по ней.

Вдруг перед ним поднялось нечто вроде тонкого облачка. Он вглядывается; облачко стало женщиной в белом платье с светлым поясом вокруг стана. Она спешит от него прочь. Он не видел ни лица ее, ни волос... их закрывала длинная ткань. Но он непременно хотел догнать ее и заглянуть ей в глаза. Только как он ни торопился – она шла проворнее его.

На тропинке лежал широкий, плоский камень, подобный могильной плите. Он преградил ей дорогу... Женщина остановилась. Аратов подбежал к ней. Она к нему обернулась – но он все-таки не увидал ее глаз... они были закрыты. Лицо ее было белое, белое как снег; руки висели неподвижно. Она походила на статую.

Медленно, не сгибаясь ни одним членом, отклонилась она назад и опустилась на ту плиту... И вот Аратов уже лежит с ней рядом, вытянутый весь, как могильное изваяние – и руки его сложены, как у мертвеца.

Но тут женщина вдруг приподнялась – и пошла прочь. Аратов хочет тоже подняться... но ни пошевелиться, ни разжать рук он не может – и только с отчаяньем глядит ей вслед.

Тогда женщина внезапно обернулась – и он увидал светлые, живые глаза на живом, но незнакомом лице. Она смеется, она манит его рукою... а он все не может пошевелиться...

Она засмеялась еще раз – и быстро удалилась, весело качая головою, на которой заалел венчик из маленьких роз.

Аратов силится закричать, силится нарушить этот страшный кошмар...

Вдруг все кругом потемнело... и женщина возвратилась к нему. Но это уже не та незнакомая статуя... это Клара. Она остановилась перед ним, скрестила руки – и строго и внимательно смотрит на него. Губы ее сжаты – но Аратову чудится, что он слышит слова:

«Коли хочешь знать, кто я, поезжай туда!..»

«Куда?» – спрашивает он.

«Туда! – слышится стонущий ответ. – Туда!»

Аратов проснулся.

Он приподнялся в постели, зажег свечку, стоявшую на ночном столике, – но не встал – и долго сидел, весь похолодевший, медленно осматриваясь кругом. Ему казалось, что с ним что-то свершилось с тех пор, как он лег; что в него что-то внедрилось... что-то завладело им. «Да разве это возможно? – шептал он бессознательно. – Разве существует такая власть?»

Он не мог остаться в постели. Он тихонько оделся – и до утра пробродил по комнате. И странное дело! О Кларе он не думал ни минуты – и не думал оттого, что решил на другой же день ехать в Казань!

Он думал только об этой поездке; о том, как это сделать, и что с собою взять, – и как он там все разыщет и узнает – и успокоится. «Не поедешь, – рассуждал он сам с собою, – пожалуй, с ума сойдешь!» Он боялся этого; боялся своих нервов. Он был уверен, что, как только он там «все это» увидит воочию, всякие наваждения разлетятся – как тот ночной кошмар. «И всего-то на поездку пойдет неделя... – думал он, – что такое неделя? а иначе не отделаешься».

Вставшее солнце осветило его комнату; но свет дневной не разогнал налегших на него ночных теней и не изменил его решения.

С платошей чуть не сделался удар, когда он сообщил ей это решение. Она даже на корточки присела... ноги у ней подкосились. «Как в Казань? зачем в Казань?» – шептала она, выпучив и без того слепые глаза. Она бы не больше удивилась, если б узнала, что ее Яша женится на соседней булочнице или уезжает в Америку.

– И надолго в Казань?

– Я через неделю вернусь, – отвечал Аратов, стоя в полуоборот к тетке, все еще сидевшей на полу.

Платонида Ивановна хотела еще возражать – но Аратов совершенно неожиданным и необыкновенным образом закричал на нее.

– Я не ребенок, – закричал он и весь побледнел, и губы его задрожали, и глаза сверкнули злобно. – Мне двадцать шестой год, я знаю, что делаю, – я волен делать, что хочу! Я никому не позволю.. Дайте мне денег на дорогу, приготовьте чемодан с бельем и платьем.. и не мучьте меня! Я через неделю вернусь, Платоша, – прибавил он более мягким голосом.

Платоша приподнялась кряхтя и, уже не возражая более, поплелась в свою комнатку. Яша испугал ее. «Не голова у меня на плечах, – говорила она кухарке, помогавшей ей укладывать Яшины вещи, – не голова – а улей... и какие там пчелы жужжат – не знаю. В Казань уезжает, мать моя, в Казань!» Кухарка, видевшая накануне, что дворник их о чем-то долго беседовал с городовым, хотела было доложить об этом обстоятельстве своей госпоже – да не посмела и только подумала: «В Казань? Как бы не подалеже куда-нибудь!» А Платонида Ивановна до того растерялась, что даже обычной молитвы своей не произносила. В такой беде и Господь Бог помочь не мог!

В тот же день Аратов уехал в Казань.

### XII

Не успел он прибыть в этот город и занять номер в гостинице – как уже бросился отыскивать дом вдовы Миловидовой. Во время всего путешествия он находился в каком-то оцепенении, что, впрочем, нисколько не мешало ему принимать все нужные меры, в Нижнем Новгороде перебраться с железной дороги на пароход, кушать на станциях и т. п. Он по-прежнему был уверен, что там все разрешится – и потому отгонял от себя всякие воспоминания и соображения, удовлетворяясь одним: мысленным приготовлением того спича, в котором он изложит перед семейством Клары Милич настоящую причину своей поездки. Вот он, наконец, добрался до цели своего стремленья, велел о себе доложить. Его впустили... с недоумением и испугом – но впустили.

Дом вдовы Миловидовой оказался действительно таким, каким описал его Купфер; и сама вдова точно походила на одну из купчих Островского, хотя была чиновница: муж ее состоял в чине коллежского асессора. Не без некоторого затруднения Аратов, предварительно извинясь в своей смелости, в странности своего посещения, произнес приготовленный спич о том, как бы ему хотелось собрать все нужные сведения о столь рано погибшей даровитой артистке; как им руководит в этом случае не праздно любопытство, а глубокое сочувствие к ее таланту, которого он был поклонником (он так и сказал: поклонником); как, наконец, было бы грешно оставить публику в неведении о том, что она потеряла – и почему не сбылись ее надежды! Г-жа Миловидова не прерывала Аратова; она едва ли хорошо понимала, что такое ей говорит этот незнакомый гость, – и только пучилась слегка и тарщила на него глаза, находя, однако, что вид у него смиренный, одет он прилично – и не мазурик какой... денег не попросит.

– Вы это о Кате? – спросила она, как только Аратов умолк.

– Точно так... о вашей дочери.

– И вы для этого из Москвы приехали?

– Из Москвы.

– Только для этого?

– Для этого.

Г-жа Миловидова вдруг встрепенулась.

– Да вы – сочинитель? В журналах пишете?

– Нет, я не сочинитель – и в журналах до сих пор не писал.

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
Вдова наклонила голову. Она недоумевала.

– Стало быть... по собственной охоте? – спросила она вдруг. Аратов не тотчас нашелся, что ответить.

– По сочувствию, из уважения к таланту, – промолвил он, наконец.

Слово «уважение» понравилось г-же Миловидовой.

– Что ж!.. – произнесла она со вздохом. – Я хоть и мать ее – и очень о ней горевала... Ведь такое вдруг несчастье... Но должна сказать: шальная она была всегда – и покончила таким же манером... Страм такой... Посудите: каково это для матери? Уж на том спасибо, что похоронили ее по-христиански... – Г-жа Миловидова перекрестилась. – Сызмала она никому не покорялась – родительский дом покинула... и наконец – легко сказать! – в актерки пошла! Известно: от дому я ей не отказала: ведь я любила ее! Ведь я все-таки мать! Не у чужих же ей жить – да побираться!.. – Тут вдова прослезилась. – А если у вас, господин, – заговорила она снова, утирая глаза концами косынки, – точно есть такое намерение и вы против нас никакого бесчестия не замышляете – а, напротив, хотите внимание оказать – так вы вот с моей другой дочкой поговорите. Она все вам расскажет лучше моего... Анночка! – кликнула г-жа Миловидова, – Анночка, подь сюда! Вот здесь какой-то господин из Москвы насчет Кати побеседовать желает!

Что-то стукнуло в соседней комнате, но никто не появлялся.

– Анночка! – крикнула опять вдова, – Анна Семеновна! Иди, говорят тебе!

Дверь тихонько растворилась, и на пороге показалась девушка, уже немолодая, болезненного вида – и некрасивая – но с очень кроткими и грустными глазами. Аратов поднялся с места ей навстречу и отрекомендовался, причем назвал своего друга Купфера.

– А! Федор Федорыч! – тихонько произнесла девушка и тихонько опустилась на стул.

– Ну вот, побеседуй с господином, – промолвила г-жа Миловидова, грузно поднимаясь с места, – потрудился, нарочно из Москвы приехал, – о Кате сведения собрать желает. А вы меня, господин, – прибавила она, обращаясь к Аратову, – извините... Я уйду, по хозяйству. С Анночкой вы можете хорошо объясниться – она вам и о театре расскажет... и все такое. Она у меня умница, образованная: по-французски говорит и книжки читает, не хуже сестры ее покойницы. Она же ее, можно сказать, воспитывала... Старше ее была – ну, и занялась.

Г-жа Миловидова удалилась. Оставшись наедине с Анной Семеновной, Аратов повторил ей свой спич; но с первого же взгляду поняв, что имеет дело с девушкой, действительно образованной, не с купеческой дочкой, – несколько распространился – и выражения другие употребил; а под конец сам разволновался, покраснел и почувствовал, что сердце у него застучало. Анна слушала его молча, положив руку на руку; печальная улыбка не сходила с ее лица... горькое, непереболевшее горе сказывалось в этой улыбке.

– Вы знали мою сестру? – спросила она Аратова.

– Нет; я ее собственно не знал, – отвечал он. – Виделся с нею и слышал ее раз... но вашу сестру стоило раз увидеть и услышать...

– Вы хотите ее биографию написать? – спросила опять Анна.

Аратов не ожидал этого слова; однако тотчас же ответил, что – отчего же нет? Но главное, он хотел познакомить публику...

Анна остановила его движением руки.

– Это на что же? Публика ей без того много горя наделала; да и Катя только что начинала жить. Но если вы сами (Анна посмотрела на него и опять улыбнулась той же печальной, но уже более приветной улыбкой... она как будто подумала: да, ты внушаешь мне доверие)... если вы сами попытаете к ней такое участие, то позвольте вас попросить прийти к нам сегодня вечером... после обеда. Я теперь не могу... так вдруг... Я соберусь с силами... Я попытаюсь... Ах, я слишком любила ее!

Анна отвернулась; она готова была зарыдать.

Аратов проворно поднялся со стула, поблагодарил за предложение, сказал, что придет непременно... непременно! – и ушел, унося в душе впечатление тихого голоса, кротких и грустных глаз – и сгорая томленьем ожидания.

### XIII

Аратов в тот же день вернулся к Миловидовым и целых три часа побеседовал с Анной Семеновной. Г-жа Миловидова ложилась спать тотчас после обеда – в два часа – и «отдыхала» до вечернего чаю, до семи часов. Разговор Аратова с сестрою Клары не был собственно беседой: она говорила почти одна, сперва с запинкой, с смущеньем, но потом с неудержимым жаром. Она, очевидно, боготворила свою сестру. Доверие, внушенное ей Аратовым, росло и крепло; она уже не стеснялась; она даже раза два, молча, всплакнула перед ним. Он казался ей достойным ее откровенных сообщений и излияний... в ее собственной глухой жизни ничего такого еще не случилось!.. А он... он впивал каждое ее слово.

Вот что он узнал... многое, конечно, из недомолвок... многое он дополнил сам.

В детстве Клара была несомненно неприятным ребенком; и в девушках она была немногим мягче: своевольная, вспыльчивая, самолюбивая, она не ладила особенно с отцом, которого презирала – и за пьянство и за бездарность. Он это чувствовал и не прощал ей этого. Музыкальные способности в ней сказались рано; отец не давал им ходу, признавая художеством одну живопись, в которой так мало сам преуспел, но которая кормила и его и семью. Мать свою Клара любила... небрежно, как няню; сестру обожала, хоть и дралась с ней и кусала ее... Правда, она потом становилась на колени перед нею и целовала укушенные места. Она была вся – огонь, вся – страсть и вся – противоречие: мстительна и добра, великодушна и злопамятна; верила в судьбу – и не верила в Бога (эти слова Анна прошептала с ужасом); любила все красивое, а сама о своей красоте не заботилась и одевалась как попало; терпеть не могла, чтобы за ней ухаживали молодые люди, а в книгах перечитывала только те страницы, где речь идет о любви; не хотела нравиться, не любила ласки и никогда ласки не забывала, как и не забывала оскорбления; боялась смерти и сама себя убила! Она говаривала иногда: «Такого, как я хочу, я не встречу... а других мне не надо!» – «Ну а если встретишь?» – спрашивала Анна. «Встречу... возьму». – «А если не дастся?» – «Ну, тогда... с собой покончу. Значит, не гожусь». Отец Клары (он иногда с пьяных глаз спрашивал у жены: «От кого у тебя этот бесенок черномазый? – не от меня!») – отец Клары, стараясь ее сбить поскорее с рук, просватал было ее за богатого молодого купчика, преглупенького, – из «образованных». За две недели до свадьбы (ей было всего шестнадцать лет) она подошла к своему жениху, скрестивши руки и играя пальцами по локтям (любимая ее поза), да вдруг как хлоп его по румяной щеке своей большой сильной рукой! Он вскочил и только рот разинул – надо сказать, что он был смертельно в нее влюблен... Спрашивает: «За что?» Она засмеялась и ушла. «Я тут же, в комнате, находилась, – рассказывала Анна, – была свидетельницей. Побежала за ней да говорю ей: «Катя, помилуй, что ты это?» А она мне в ответ: «Коли б настоящий был человек – прибил бы меня, а то – курица мокрая! И еще спрашивает: за что? Коли любишь и не отомстил, так терпи и не спрашивай: за что? Ничего ему от меня не будет – во веки веков!» Так она замуж за него и не пошла. Тут же скоро она с той актрисой познакомилась – и оставила наш дом. Матушка поплакала – а отец только сказал: «Строптивую козу из стада вон!» И хлопотать, разыскивать не стал. Отец не понимал Клары. Меня она, накануне своего бегства, – прибавила Анна, – чуть не задушила в своих объятиях – и все повторяла: «Не могу! не могу иначе!.. Сердце пополам, а не могу. Клетка ваша мала... не по крыльям! Да и своей судьбы не минувешь...»

– После этого, – заметила Анна, – мы с ней редко видались... Когда умер отец, она приехала на два дня, ничего из наследства не взяла – и опять скрылась. Ей у нас было тяжело... я это видела. Потом она приехала в Казань уже актрисой.

Аратов начал расспрашивать Анну о театрах, о ролях, в которых появлялась Клара, об ее успехах... Анна отвечала подробно, но с тем же горестным, хоть и живым увлечением. Она даже показала Аратову фотографическую карточку, на которой Клара была представлена в костюме одной из ее ролей. На карточке она глядела в сторону, словно отворачивалась от зрителей; перевитая лентой густая коса падала змеей на обнаженную руку. Аратов долго рассматривал эту карточку, нашел ее схожей, спросил, не участвовала ли Клара в публичных чтениях, и узнал, что нет;

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
что ей нужно было возбуждение театра, сцены... но другой вопрос горел у него на губах.

– Анна Семеновна! – воскликнул он, наконец, не громко, но с особенной силой, – скажите, умоляю вас, скажите, отчего она... отчего она решилась на тот ужасный поступок?..

Анна опустила глаза.

– Не знаю! – промолвила она спустя несколько мгновений. – Ей-богу, не знаю!.. – продолжала она стремительно, заметив, что Аратов развел руками, как бы не веря ей. – С самого приезда сюда она точно была задумчива, мрачна. С ней непременно что-нибудь в Москве случилось, чего я не могла разгадать! Но, напротив, в тот роковой день она как будто была... если не веселее, то спокойнее обыкновенного. Даже у меня никаких предчувствий не было, – прибавила Анна с горькой усмешкой, как бы упрекая себя в этом.

– Видите ли, – заговорила она опять, – у Кати словно на роду было написано, что она будет несчастна. С ранних лет она была в этом убеждена. Подопрется так рукою, задумается и скажет: «Мне недолго жить!» У ней бывали предчувствия. Представьте, что она даже заранее – иногда во сне, а иногда и так, видела, что с ней будет! «Не могу жить, как хочу, так и не надо...» – тоже была ее поговорка. «Ведь наша жизнь в нашей руке!» И она это доказала!

Анна закрыла лицо руками – и умолкла.

– Анна Семеновна, – начал погодя немного Аратов, – вы, может быть, слышали, чему приписывали газеты...

– Несчастной любви? – перебила Анна, разом отдернув руки от лица. – Это клевета, клевета, выдумка!.. Моя нетронутая, неприступная Катя... Катя!.., и несчастная, отвергнутая любовь?! И я бы этого не знала?.. В нее, в нее все влюблялись... а она... И кого бы она здесь полюбила? Кто из всех этих людей, кто был ее достоин? Кто дорос до того идеала честности, правдивости, чистоты, главное, чистоты, который, при всех ее недостатках, постоянно носился перед нею?.. Ее отвергнуть... ее...

Голос перервался у Анны... Ее пальцы слегка задрожали. Она вдруг вся покраснела... покраснела от негодования – и в этот миг – и только на миг стала похожа на сестру.

Аратов начал было извиняться.

– Послушайте, – опять перебила Анна, – я непременно хочу, чтобы вы и сами не верили в эту клевету и рассеяли бы ее, если это возможно! Вот вы хотите написать о ней статью, что ли, вот вам случай защитить ее память! Я оттого и говорю с вами так откровенно. Послушайте: от Кати остался дневник...

Аратов вздрогнул.

– Дневник, – прошептал он...

– Да, дневник... то есть всего несколько страничек. Катя не любила писать... по целым месяцам ничего не записывала... и письма ее были такие короткие. Но она всегда, всегда была правдива, она никогда не лгала... С ее самолюбием, да лгать! Я... я вам покажу этот дневник! Вы увидите сами, был ли в нем хотя намек на какую-то несчастную любовь!

Анна торопливо достала из столового ящика тоненькую тетрадку, страниц в десять, не более, и протянула ее Аратову. Тот схватил ее с жадностью, узнал неправильный, размашистый почерк, почерк того безымянного письма, развернул ее наудачу – и тотчас же напал на следующие строки:

«Москва. Вторник... го июня. Пела и читала на литературном утре. Сегодня для меня знаменательный день. Он должен решить мою участь. (Эти слова были дважды подчеркнуты.) Я опять увидела...» Тут следовало несколько тщательно замаранных строк. И потом:

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
«Нет! нет нет!.. Надо опять за прежнее, если только»

Аратов опустил руку, в которой он держал тетрадку, и голова его тихо свесилась на грудь.

– Читайте! – воскликнула Анна. – Что ж вы не читаете? Прочтите с начала... Тут всего на пять минут чтения, хоть и на целых два года тянется этот дневник. В Казани она уже ничего не записывала...

Аратов медленно поднялся со стула и так и обрушился на колени перед Анной.

Та просто окаменела от удивления и испуга.

– Дайте... дайте мне этот дневник, – заговорил Аратов замирающим голосом, – и протянул к Анне обе руки. – Дайте мне его... и карточку... у вас, наверное, есть другая – а дневник я вам возвращу... Но мне нужно, нужно...

В его мольбе, в искаженных чертах его лица было что-то до того отчаянное, что оно походило даже на злобу, на страдание... Да он и страдал действительно. Он словно сам не мог предвидеть, что над ним стряется такая беда, – и раздраженно молил о пощаде, о спасении...

– Дайте, – повторял он.

– Да... вы, вы были влюблены в мою сестру? – проговорила, наконец, Анна.

Аратов продолжал стоять на коленях.

– Я ее всего два раза видел... верьте мне!.., и если бы меня не побуждали причины, которые я сам ни понять, ни изъяснить хорошенько не могу... если б не была надо мною какая-то власть, сильнее меня... я не стал бы вас просить... я бы не приехал сюда. Мне нужно... я должен... ведь вы сами сказали, что я обязан восстановить ее образ!

– И вы не были влюблены в сестру? – спросила Анна вторично.

Аратов не тотчас ответил – и отвернулся слегка, как от боли.

– Ну, да! был! был! я и теперь влюблен... – воскликнул он с тем же отчаяньем.

Послышались шаги в соседней комнате.

– Встаньте... встаньте... – поспешно промолвила Анна. – К нам матушка идет.

Аратов приподнялся.

– И возьмите дневник и карточку, Бог с вами! Бедная, бедная Катя... Но вы дневник мне возвратите, – прибавила она с живостью. – И если вы что напишете, пришлите мне непременно... Слышите?

Появление г-жи Миловидовой избавило Аратова от необходимости отвечать. Он успел, однако, шепнуть:

– Вы ангел! Спасибо! Пришлю все, что напишу...

Г-жа Миловидова спросонья ни о чем не догадалась.

Так Аратов и уехал из Казани с фотографической карточкой в боковом кармане сюртука. Тетрадку он возвратил Анне – но, незаметно для нее, вырезал листик, на котором находились подчеркнутые слова.

На обратном пути в Москву им опять овладело оцепенение. Хоть он и радовался втайне, что добился-таки того, зачем ездил, однако все помышления о Кларе он откладывал до возвращения домой. Он гораздо больше думал о ее сестре Анне. «Вот, – думал он, – чудесное, симпатическое существо! Какое тонкое понимание всего, какое любящее сердце, какое отсутствие эгоизма! И как это у нас в провинции – да еще в такой обстановке – расцветают такие девушки! Она и болезненна, и собой дурна, и не молода, – а какой бы отличной была подругой для порядочного,

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
образованного человека! Вот в кого следовало бы влюбиться!..» Аратов думал так...  
но по прибытии в Москву дело приняло совсем другой оборот.

#### XIV

Платонида Ивановна несказанно обрадовалась возвращению своего племянника. Чего-чего она не передумала в его отсутствие! «По меньшей мере, в Сибирь! – шептала она, сидя неподвижно в своей комнатке, – по меньшей мере – на год!» К тому же и кухарка пугала ее, сообщая наивернейшие известия об исчезновении то того, то другого молодого человека по соседству. Совершенная невинность и благонадежность Яши нисколько не успокаивали старушку. «Потому... мало ли что! – фотографией занимается... ну и довольна! Бери его!» И вот ее Яшенька вернулся цел и невредим! Правда, она заметила, что он как будто похудел и в личике осунулся – дело понятное... без призора! – но расспрашивать его об его путешествии не посмела. Спросила за обедом: «А хороший город Казань?» – «Хороший», – отвечал Аратов. «Чай, там все татары живут?» – «Не одни татары». – «А халата оттуда не привез?» – «Нет, не привез». Тем и кончился разговор.

Но как только Аратов очутился один в своем кабинете – он немедленно почувствовал, что его как бы кругом что-то охватило, что он опять находится во власти, именно во власти другой жизни, другого существа. Хотя он и сказал Анне – в том порыве внезапного исступления, – что он влюблен в Клару, – но это слово ему самому теперь казалось бессмысленным и диким. Нет, он не влюблен, да и как влюбиться в мертвую, которая даже при жизни ему не нравилась, которую он почти забыл? Нет! но он во власти... в ее власти... он не принадлежит себе более. Он – взят. Взят до того, что даже не пытается освободиться ни насмешкой над собственной нелепостью, ни возбуждением в себе, если не уверенности, то хоть надежды, что это все пройдет, что это – одни нервы, – ни приискиванием к тому доказательств, – ни чем иным! «Встречу – возьму», – вспомнились ему слова Клары, переданные Анной... вот он и взят. «Да ведь она – мертвая? Да; тело ее мертвое... а душа? разве она не бессмертная... разве ей нужны земные органы, чтобы проявить свою власть? Вон магнетизм нам доказал влияние живой человеческой души на другую живую человеческую душу... Отчего же это влияние не продолжится и после смерти – коли душа остается живою? Да с какой целью? Что из этого может выйти? Но разве мы – вообще – постигаем, какая цель всего, что совершается вокруг нас?» Эти мысли до того занимали Аратова, что он внезапно, за чаем, спросил Платошу: «Верит ли она в бессмертие души?» Та сначала не поняла, что он такое спрашивает, – а потом перекрестилась и ответила, что еще бы – душе – да не быть бессмертной! «А коли так, может она действовать после смерти?» – опять спросил Аратов. Старушка отвечала, что может... за нас молиться то есть; и то, когда пройдет все мытарства – в ожиданье Страшного суда. А первые сорок дней она только витает около того места, где ей смерть приключилась.

– Первые сорок дней?

– Да; а потом пойдут мытарства.

Аратов подивился познаниям тетки – и ушел к себе. И опять почувствовал то же, ту же власть над собой. Власть эта сказывалась и в том, что ему беспрепятственно представлялся образ Клары, до малейших подробностей, до таких подробностей, которые он при жизни ее как будто и не замечал: он видел... видел ее пальцы, ногти, грядки волос на щеках под висками, небольшую родинку под левым глазом; видел движения ее губ, ноздрей, бровей... и какая у ней походка – и как она держит голову немного на правый бок... все видел он! Он вовсе не любовался всем этим; он только не мог об этом не думать и не видеть. В первую ночь после своего возвращения она, однако, ему не снилась... он очень устал и спал как убитый. Зато, как только он проснулся – она снова вошла в его комнату – и так и осталась в ней – точно хозяйка; точно она своей добровольной смертью купила себе это право, не спросив его и не нуждаясь в его позволение. Он взял ее фотографическую карточку; начал ее воспроизводить, увеличивать. Потом он вздумал ее приладить к стереоскопу. Хлопот ему было много... наконец, это ему удалось. Он так и вздрогнул, когда увидел сквозь стекло ее фигуру, получившую подобие телесности. Но фигура эта была серая, словно запыленная... и к тому же глаза... глаза все смотрели в сторону, все как будто отворачивались. Он стал долго, долго глядеть на них, как бы ожидая, что вот они направятся в его сторону... он даже нарочно прищурился... но глаза оставались неподвижными и вся фигура принимала вид какой-то куклы. Он отошел прочь, бросился в кресло, достал вырванный листок ее дневника, с подчеркнутыми словами – и подумал: «Ведь вот, говорят, влюбленные целуют строки, написанные милой рукою, – а мне этого не хочется делать – да и



Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
почерк мне кажется некрасивым.

Но в этой строке – мой приговор». Тут ему пришло в голову обещанье, данное Анне насчет статьи. Он сел за стол и принялся было ее писать; но все у него выходило так ложно, так риторично... главное, так ложно... точно он не верил ни в то, что он писал, ни в собственные чувства... да и сама Клара показалась ему незнакомой, непонятной! Она не давалась ему. «Нет! – подумал он, бросая перо... – либо сочинительство вообще не мое дело, либо еще подождать надо!» Он стал припоминать свое посещение у Миловидовых и весь рассказ Анны, этой доброй, чудной Анны... Сказанное ею слово: «Нетронутая!» внезапно поразило его... словно что и обожгло его и осветило.

– Да, – промолвил он громко, – она нетронутая – и я нетронутый... Вот что дало ей эту власть!

Мысли о бессмертии души, о жизни за гробом снова посетили его. Разве не сказано в Библии:

«Смерть, где жало твое?» А у Шиллера: «И мертвые будут жить!» (Auch die Todten sollen leben!) Или вот еще, кажется, у Мицкевича: «Я буду любить до скончания века и по скончании века!» А один английский писатель сказал: «Любовь сильнее смерти!» Библейское изречение особенно подействовало на Аратова. Он хотел отыскать место, где находятся эти слова... Библии у него не было; он пошел попросить ее у Платоши. Та удивилась; однако достала старую-старую книгу в покоробленном кожаном переплете, с медными застежками, всю закапанную воском – и вручила ее Аратову. Он унес ее к себе в комнату – но долго не находил того изречения... зато ему попало другое:

«Большее сея любве никто же имать, да кто душу свою положит за друга своя...» (Ев. от Иоанна, XV гл., 13 ст.).

Он подумал: «Не так сказано. Надо было сказать: «Большее сея власти никто же имать...»

«А если она вовсе не за меня положила свою душу? Если она только потому покончила с собою, что жизнь ей стала в тягость? Если она, наконец, вовсе не для любовных объяснений пришла на свидание?»

Но в это мгновение ему представилась Клара перед разлукой на бульваре... Он вспомнил то горестное выражение на ее лице – и те слезы и те слова «Ах, вы ничего не поняли!..».

Нет! он не мог сомневаться в том, из-за чего и для кого она положила свою душу...

Так прошел весь этот день до ночи.

XV

Аратов лег рано, без особенного желания спать; но он надеялся найти отдых в постели. Напряженное состояние его нервов причинило ему утомление, гораздо более несносное, чем физическая усталость путешествия и дороги. Однако, как ни было велико его утомление, заснуть он не мог. Он попытался читать... но строки путались перед его глазами. Он погасил свечку – и мрак водворился в его комнате. Но он продолжал лежать без сна, с закрытыми глазами... И вот ему почудилось: кто-то шепчет ему на ухо... «Стук сердца, шелест крови...» – подумал он. Но шепот перешел в связную речь. Кто-то говорил по-русски, торопливо, жалобно – и невнятно. Ни одного отдельного слова нельзя было уловить... Но это был голос Клары!

Аратов открыл глаза, приподнялся, облокотился... Голос стал слабее, но продолжал свою жалобную, поспешную, по-прежнему невнятную речь...

Это несомненно голос Клары!

Чьи-то пальцы пробежали легкими арпеджиями по клавишам пианино... Потом голос опять заговорил. Послышались более протяжные звуки... как бы стоны... все одни и те же. А там начали выделяться слова...

«Розы... розы... розы...»

– Розы, – повторил шепотом Аратов: – Ах, да! это те розы, которые я видел на голове той женщины во сне...

«Розы», – слышалось опять.

– Ты ли это? – спросил тем же шепотом Аратов.

Голос вдруг умолк.

Аратов подождал... подождал – и уронил голову на подушку. «Галлюцинация слуха, – подумал он. – Ну, а если... если она точно здесь, близко?... Если бы я ее увидел – испугался ли бы я? Или обрадовался? Но чего бы я испугался? Чему бы обрадовался? Разве вот чему: это было бы доказательством, что есть другой мир, что душа бессмертна. Но, впрочем, если бы я даже что-нибудь увидел – ведь это могло бы тоже быть галлюцинацией зренья...»

Однако он зажег свечку – и быстрым взором, не без некоторого страха, обжег всю комнату... и ничего в ней необыкновенного не увидел. Он встал, подошел к стереоскопу... опять та же серая кукла с глазами, смотрящими в сторону. Чувство страха заменилось в Аратове чувством досады. Он как будто обманулся в своих ожиданиях... да и смешны ему показались эти самые ожидания. «Ведь это, наконец, глупо!» – пробормотал он, снова ложась в постель, – и задул свечку. Опять водворилась глубокая темнота.

Аратов решился заснуть на этот раз... Но в нем возникло новое ощущение. Ему показалось, что кто-то стоит посреди комнаты, недалеко от него – и чуть заметно дышит. Он поспешно обернулся, раскрыл глаза... Но что же можно было видеть в этой непроницаемой темноте? Он стал отыскивать спичку на ночном столике... и вдруг ему почудилось, что какой-то мягкий, бесшумный вихрь пронесся через всю комнату, через него, сквозь него – и слово: «Я!» явственно раздалось в его ушах...

«Я!.. Я!..»

Прошло несколько мгновений, прежде чем он успел зажечь свечку.

В комнате опять никого не было – и он уже не слышал ничего, кроме порывистого стука собственного сердца. Он выпил стакан воды – и остался неподвижен, опершись головой на руку. Он ждал.

Он подумал: «Буду ждать. Либо это все вздор... либо она здесь. Не станет же она играть со мною, как кошка с мышью!» Он ждал, ждал долго... так долго, что рука, которой он поддерживал голову, отекала... но ни одно из прежних ощущений не повторялось. Раза два глаза его слипались... Он тотчас открывал их... по крайней мере ему казалось, что он их открывал. Понемногу они устремились на дверь и остановились на ней. Свеча нагорела – и в комнате стало опять темно... но дверь белела длинным пятном среди полумрака. И вот это пятно шевельнулось, уменьшилось, исчезло... и на его месте, на пороге двери, показалась женская фигура. Аратов всматривается... Клара! И на этот раз она прямо смотрит на него, подвигается к нему... На голове у ней веночек из красных роз... Он весь всколыхнулся, приподнялся...

Перед ним стоит его тетка, в ночном чепце с большим красным бантом и в белой кофте.

– Платоша! – с трудом проговорил он. – Это вы?

– Это я, – ответила Платонида Ивановна. – Я, Яшенёночек, я.

– Зачем вы пришли?

– Да ты меня разбудил. Сперва все как будто стонал... а потом вдруг как закричишь: «Спасите! помогите!»

– Я кричал?

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)

– Да; кричал – и хрипло так: «Спасите!» Я подумала: Господи! Уж не болен ли он? Я и вошла. Ты здоров?

– Совершенно здоров.

– Ну, значит, тебе дурной сон приснился. Хочешь, ладанком покурю?

Аратов еще раз пристально взгляделся в тетку – и громко засмеялся... фигура доброй старушки в чепце и кофте, с испуганным, вытянутым лицом, была действительно очень забавна. Все то таинственное, что его окружало, что давило его, – все эти чары разлетелись разом.

– Нет, Платоша, голубушка, не надо, – промолвил он. – Извините, пожалуйста, что я нехотя вас потревожил. Почивайте спокойно – и я усну.

Платонида Ивановна постояла еще немного на месте, показала на свечку, поворчала: зачем, мол, не гасишь... долго ли до беды! – и уходя, не могла удержаться, чтобы хоть издали, да не перекрестить его.

Аратов немедленно заснул – и спал до утра. Он и встал в хорошем расположении духа... хотя ему и было жаль чего-то... Он чувствовал себя легко и свободно. «Экие романтические затеи, подумаешь», – говорил он самому себе с улыбкой. Он ни разу не взглянул ни на стереоскоп, ни на вырванный им листик. Однако тотчас после завтрака отправился к Купферу.

Что его туда влекло... он сознавал смутно.

XVI

Аратов застал своего сангвинического приятеля дома. Поболтал с ним немного, попрекнул ему, что он совсем их с теткой забывает, – выслушал новые похвалы золотой женщине, княгине, от которой Купфер только что получил из Ярославля ермолку, вышитую рыбьей чешуей... и вдруг, усевшись перед Купфером и глядя ему прямо в глаза, объявил, что ездил в Казань.

– Ты ездил в Казань? Это зачем?

– Да вот хотел собрать сведения об этой... Кларе Милич.

– О той, что отравилась?

– Да.

Купфер покачал головой.

– Вишь ты какой! А еще тихоня! Тысячу верст отломал туда и сюда... из-за чего? А? И хоть бы женский интерес тут был какой! Тогда я все понимаю! все! всякие безумства! – Купфер взъерошил себе волосы. – Но чтобы одни материалы собирать – как это у вас говорится – у ученых мужей... Слуга покорный! На это существует статистический комитет! Ну и что ж, познакомился ты со старухой и с сестрой? Не правда ли, чудесная девушка?

– Чудесная, – подтвердил Аратов. – Она мне много любопытного сообщила.

– Сказала она тебе, как именно отравилась Клара?

– То есть... как же?

– Да; каким манером?

– Нет... Она еще так была огорчена... Я не посмел слишком-то расспрашивать. А разве было что особенное?

– Конечно, было. Представь: она должна была в самый тот день играть – и играла. Взяла с собою склянку яду в театр, перед первым актом выпила – и так и доиграла весь этот акт. С ядом-то внутри! Какова сила воли! Характер каков? И, говорят, никогда она с таким чувством, с таким жаром не проводила своей роли! Публика ничего не подозревает, хлопает, вызывает... А как только занавес опустился – и она тут же, на сцене, упала. Корчи... корчи... и через час и дух вон! Да разве я тебе

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
этого не рассказывал? И в газетах об этом было!

У Аратова внезапно похолодели руки и в груди задрожало.

– Нет, ты мне этого не рассказывал, – промолвил он, наконец. – И ты не знаешь, какая это была пьеса?

Купфер задумался.

– Называли мне эту пьесу... в ней является обманутая девушка... Должно быть, драма какая-нибудь. Клара была рождена для драматических ролей... Самая ее наружность... Но куда же ты? – перебил самого себя Купфер, видя, что Аратов берет за шапку.

– Мне что-то нездоровится, – отвечал Аратов. – Прощай... Я в другой раз зайду.

Купфер остановил его и заглянул ему в лицо.

– Экой ты, брат, нервический человек! Посмотри-ка на себя... Побелел, как глина.

– Мне нездоровится, – повторил Аратов, освободился от руки Купфера и отправился восвояси. Только в это мгновение ему стало ясно, что он и приходил-то к Купферу с единственной целью поговорить о Кларе...

«О безумной, о несчастной Кларе...»

Однако, придя домой, он опять скоро успокоился – до некоторой степени.

Обстоятельства, сопровождавшие смерть Клары, сначала произвели на него потрясающее впечатление; но потом эта игра «с ядом внутри», как выразился Купфер, показалась ему какой-то уродливой фразой, бравадой – и он уже старался не думать об этом, боясь возбудить в себе чувство, похожее на отвращение. А за обедом, сидя перед Платошей, он вдруг вспомнил ее полуночное появление, вспомнил эту куцую кофту, этот чепец, с высоким бантом (и к чему бант на ночном чепце?!), всю эту смешную фигуру, от которой, как от свистка машиниста в фантастическом балете, все его видения рассыпались прахом! Он даже заставил Платошу повторить рассказ о том, как она услышала его крик, испугалась, вскочила, не могла разом попасть ни в свою, ни в его дверь, и т. д. Вечером он с ней поиграл в карты и ушел в свою комнату немного грустный, но опять-таки довольно спокойный.

Аратов не думал о предстоящей ночи и не боялся ее: он был уверен, что проведет ее как нельзя лучше. Мысль о Кларе от времени до времени пробуждалась в нем; но он тотчас вспоминал, как она «фразисто» себя уморила, и отворачивался. Это «безобразие» мешало другим воспоминаниям о ней. Взглянувши мельком на стереоскоп, ему даже показалось, что она оттого смотрела в сторону, что ей было стыдно. Прямо над стереоскопом на стене висел портрет его матери. Аратов снял его с гвоздя, долго его рассматривал, поцеловал и бережно спрятал в ящик. Отчего он это сделал? Оттого ли, что тому портрету не следовало находиться в соседстве той женщины... или по другой какой причине – Аратов не отдал себе отчета. Но портрет матери возбудил в нем воспоминание об отце... об отце, которого он видел умирающим в этой же самой комнате, на этой постели. «Что ты думаешь обо всем этом, отец? – обратился он мысленно к нему. – Ты все это понимал; ты тоже верил в шиллеровский «мир духов». Дай мне совет!»

– Отец дал бы мне совет все эти глупости бросить, – промолвил Аратов громко и взялся за книгу. Читать он, однако, долго не мог и, чувствуя какое-то отяжеление всего тела, раньше обыкновенного лег в постель, в полной уверенности, что заснет немедленно.

Оно так и случилось... но не оправдались его надежды на мирную ночь.

XVII

Полночь еще не успела пробить, как ему уже привиделся необычайный, угрожающий сон.

Ему казалось, что он находится в богатом помещичьем доме, которого он был хозяином. Он недавно купил и дом этот и все прилегавшее к нему имение. И все ему думается: «Хорошо, теперь хорошо, а быть худу!» Возле него вертится маленький

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
человечек, его управляющий; он все смеется, кланяется и хочет показать Аратову, как у него в доме и имении все отлично устроено. «Пожалуйста, пожалуйста, – твердит он, хихикая при каждом слове, – посмотрите, как у вас все благополучно! Вот лошади... экие чудесные лошади!» И Аратов видит ряд громадных лошадей. Они стоят к нему задом, в стойлах; гривы и хвосты у них удивительные... но как только Аратов проходит мимо, головы лошадей поворачиваются к нему – и скверно скалят зубы. «Хорошо... – думает Аратов, – а быть худу!» – «Пожалуйста, пожалуйста, – опять твердит управляющий, – пожалуйста в сад: посмотрите, какие у вас чудесные яблоки». Яблоки точно чудесные, красные, круглые; но как только Аратов взглядывает на них, они морщатся и падают... «Быть худу», – думает он.

«А вот и озеро, – лепечет управляющий, – какое оно синее да гладкое! Вот и лодочка золотая... Угодно на ней прокатиться?.., она сама поплывет». – «Не сяду! – думает Аратов, – быть худу!» – и все-таки садится в лодочку. На дне лежит, скорчившись, какое-то маленькое существо, похожее на обезьяну; оно держит в лапе склянку с темной жидкостью. «Не извольте беспокоиться, – кричит с берегу управляющий... – Это ничего! Это смерть! Счастливого пути!» Лодка быстро мчится... но вдруг налетает вихрь, не вроде вчерашнего, бесшумного, мягкого – нет; черный, страшный, воющий вихрь! Все мешается кругом – и среди крутящейся мглы Аратов видит Клару в театральном костюме: она подносит склянку к губам, слышатся отдаленные: «Браво! браво!» – и чей-то грубый голос кричит Аратову на ухо: «А! ты думал, это все комедией кончится? Нет, это трагедия! трагедия!»

Весь трепеща, проснулся Аратов. В комнате не темно... Откуда-то льется слабый свет и печально и неподвижно освещает все предметы. Аратов не отдает себе отчета, откуда льется этот свет... Он чувствует одно: Клара здесь, в этой комнате... он ощущает ее присутствие... он опять и навсегда в ее власти!

Из губ его исторгается крик:

– Клара, ты здесь?

– Да! – раздается явственно среди неподвижно освещенной комнаты.

Аратов беззвучно повторяет свой вопрос...

– Да! – слышится снова.

– Так я хочу тебя видеть! – вскрикивает он и соскакивает с постели.

Несколько мгновений простоял он на одном месте, попирая голыми ногами холодный пол. Взоры его блуждали. «Где же? где?» – шептали его губы...

Ничего не видеть, не слышать...

Он осмотрелся – и заметил, что слабый свет, наполнявший комнату, происходил от ночника, заслоненного листом бумаги и поставленного в углу, вероятно, Платошей, в то время как он спал. Он даже почувствовал запах ладана... тоже, вероятно, дело ее рук.

Он поспешно оделся. Остаться в постели, спать – было невысказано. Потом он остановился посреди комнаты и скрестил руки. Ощущение присутствия Клары было в нем сильнее чем когда-либо.

И вот он заговорил не громким голосом, но с торжественной медленностью, как произносятся заклинания.

– Клара, – так начал он, – если ты точно здесь, если ты меня видишь, если ты меня слышишь – явись!.. Если эта власть, которую я чувствую над собою, – точно твоя власть – явись! Если ты понимаешь, как горько я раскаиваюсь в том, что не понял, что оттолкнул тебя, – явись! Если то, что я слышал, – точно твой голос; если чувство, которое овладело мною, – любовь; если ты теперь уверена, что я люблю тебя, я, который до сих пор и не любил и не знал ни одной женщины; если ты знаешь, что я после твоей смерти полюбил тебя страстно, неотразимо, если ты не хочешь, чтобы я сошел с ума, – явись, Клара!

Аратов еще не успел произнести это последнее слово, как вдруг почувствовал, что кто-то быстро подошел к нему, сзади – как тогда, на бульваре – и положил ему

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
руку на плечо. Он обернулся – и никого не увидел. Но то ощущение ее присутствия стало таким явственным, таким несомненным, что он опять торопливо оглянулся...

Что это?! На его кресле, в двух шагах от него, сидит женщина, вся в черном. Голова отклонена в сторону, как в стереоскопе... Это она! Это Клара! Но какое строгое, какое унылое лицо!

Аратов тихо опустился на колени. Да; он был прав тогда: ни испуга, ни радости не было в нем – ни даже удивления... Даже сердце его стало тише биться. Одно в нем было сознание, одно чувство: «А! наконец! наконец!»

– Клара, – заговорил он слабым, но ровным голосом, – отчего ты не смотришь на меня? Я знаю, что это ты... но ведь я могу подумать, что мое воображение создало образ, подобный тому... (Он указал рукою в направлении стереоскопа.) Докажи мне, что это ты... обернись ко мне, посмотри на меня, Клара!

Рука Клары медленно приподнялась... и упала снова.

– Клара, Клара! обернись ко мне!

И голова Клары тихо повернулась, опущенные веки раскрылись, и темные зрачки ее глаз вперились в Аратова.

Он подался немного назад – и произнес одно протяжное, трепетное:

– А!

Клара пристально смотрела на него... но ее глаза, ее черты сохраняли прежнее задумчиво-строгое, почти недовольное выражение. С этим именно выражением на лице явилась она на эстраду в день литературного утра – прежде чем увидала Аратова. И так же, как в тот раз, она вдруг покраснела, лицо оживилось, вспыхнул взор – и радостная, торжествующая улыбка раскрыла ее губы...

– Я прощен! – воскликнул Аратов. – Ты победила... Возьми же меня! Ведь я твой – и ты моя!

Он ринулся к ней, он хотел поцеловать эти улыбающиеся, эти торжествующие губы – и он поцеловал их, он почувствовал их горячее прикосновение, он почувствовал даже влажный холодок ее зубов – и восторженный крик огласил полутемную комнату.

Вбежавшая Платонида Ивановна нашла его в обмороке. Он стоял на коленях; голова его лежала на кресле; протянутые вперед руки бессильно свисли; бледное лицо дышало упоением безмерного счастья.

Платонида Ивановна так и упала возле него, обняла его стан, залепетала:

– Яша! Яшенька! Яшенёночек!! – попыталась приподнять его своими костлявыми руками... он не шевелился. Тогда Платонида Ивановна принялась кричать не своим голосом. Вбежала служанка. Вдвоем они кое-как его подняли, усадили, начали прыскать в него водою – да еще с образа...

Он пришел в себя. Но на расспросы тетки он только улыбался – да с таким блаженным видом, что она еще пуще перетревожилась – и то его крестила, то себя... Аратов, наконец, отвел ее руку и все с тем же блаженным выраженьем на лице промолвил:

– Да, Платоша, что с вами?

– С тобой–то что, Яшенька?

– Со мной? Я счастлив... счастлив, Платоша... вот что со мной. А теперь я желаю лечь да спать. – Он хотел было приподняться – но такую почувствовал в ногах, да и во всем теле, слабость, что без помощи тетки да служанки не был бы в состоянии раздеться – и лечь в постель. Зато он заснул очень скоро, сохраняя на лице все то же блаженно-восторженное выражение. Только лицо его было очень бледно.

#### XVIII

Когда на следующее утро Платонида Ивановна вошла к нему – он находился все в том

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
же положении... но слабость не прошла – и он даже предпочел остаться в постели. Бледность его лица особенно не понравилась Платониде Ивановне. «Что это, Господи! – думалось ей, – кровинки в лице нет, от бульона отказывается, лежит да посмеивается – и все уверяет, что здоровехонек!» Он отказался и от завтрака. «Что же это ты, Яша? – спрашивала она его, – так весь день и намерен пролежать?» – «А хоть бы и так?» – ответил ласково Аратов. Самая эта ласковость опять-таки не понравилась Платониде Ивановне. Аратов имел вид человека, который узнал великую, для него очень приятную тайну – и ревниво держит и хранит ее про себя. Он дождался ночи – не то что с нетерпением, а с любопытством. «Что же далее? – спрашивал он себя, – что будет?» Изумляться, недоумевать он перестал; он не сомневался в том, что вступил в сообщение с Кларой; что они любят друг друга... И в этом он не сомневался. Только... что же может выйти из такой любви? Вспоминал он тот поцелуй... и чудный холод быстро и сладко пробежал по всем его членам. «Таким поцелуем, – думалось ему, – и Ромео и Джульетта не менялись! Но в другой раз я лучше выдержу... Я буду обладать ею... Она придет в венке из маленьких роз на черных кудрях...

Но как же дальше? Ведь вместе жить нам нельзя же? Стало быть, мне придется умереть, чтобы быть вместе с нею? Не за этим ли она приходила – и не так ли она хочет меня взять?

Ну так что же? Умереть – так умереть. Смерть теперь не страшит меня нисколько. Уничтожить она меня ведь не может? Напротив, только так и там я буду счастлив... как не был счастлив в жизни, как и она не была... Ведь мы оба – нетронутые! О, этот поцелуй!»

Платонида Ивановна то и дело заходила к Аратову в комнату; не беспокоила его вопросами – только взглядывала на него, шептала, вздыхала – и уходила опять. Но вот он отказался и от обеда... Это было уже из рук вон плохо. Старушка отправилась за своим знакомым участковым лекарем, в которого она верила только потому, что человек он был непьющий и женился на немке. Аратов удивился, когда она привела его к нему; но Платонида Ивановна так настойчиво стала просить своего Яшеньку позволить Парамону Парамонычу (так звали лекаря) осмотреть его – ну хоть для нее! – что Аратов согласился. Парамон Парамоныч пощупал у него пульс, посмотрел на язык – кое-что порасспросил – и объявил, наконец, что необходимо нужно его «поавскультировать». Аратов был в таком повадливом настроении духа, что и на это согласился. Лекарь деликатно обнажил его грудь, деликатно постучал, послушал, похмыкал – прописал капли да микстуру, а главное: посоветовал быть спокойным и воздерживаться от сильных впечатлений. «Вот как! – подумал Аратов... – Ну, брат, поздно хватился!»

– Что такое с Яшей? – спросила Платонида Ивановна, вручая Парамону Парамонычу на пороге двери трехрублевую ассигнацию. Участковый лекарь, который, как все современные медики, – особенно те из них, что мундир носят, – любил пощеголять учеными терминами, объявил ей, что у ее племянника все «диоптрические симптомы нервной кардиологии – да и фебрис есть». – «Ты, однако, батюшка, говори попроще, – отрезала Платонида Ивановна, – латынь-то не пугай; ты не в аптеке!» – «Сердце не в порядке, – объяснил лекарь, – ну и лихорадочка...» – и повторил свой совет насчет спокойствия и воздержания. «Да ведь опасности нет?» – с строгостью спросила Платонида Ивановна (смотри, мол, опять в латынь не заезжай!). «Пока не предвидится!»

Лекарь ушел – а Платонида Ивановна пригорюнилась... однако послала в аптеку за лекарством, которое Аратов не принял, несмотря на ее просьбы. Он отказался также и от грудного чаю. «И чего вы так беспокоитесь, голубушка? – говорил он ей, – уверяю вас, я теперь самый здоровый и счастливый человек в целом свете!» Платонида Ивановна только головой качала. К вечеру с ним сделался небольшой жар; и все-таки он настоял на том, чтобы она не оставалась в его комнате и ушла спать к себе. Платонида Ивановна повиновалась – но не разделась и не легла; села в кресло – и все прислушивалась да шептала свою молитву.

Она начала было дремать, как вдруг страшный, пронзительный крик разбудил ее. Она вскочила, бросилась в кабинет к Аратову – и по-вчерашнему нашла его лежавшим на полу.

Но он не пришел в себя по-вчерашнему, как ни бились над ним. С ним в ту же ночь сделалась горячка, усложненная воспалением сердца.

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
Через несколько дней он скончался.

Странное обстоятельство сопровождало его второй обморок. Когда его подняли и уложили, в его стиснутой правой руке оказалась небольшая прядь черных женских волос. Откуда взялись эти волосы? У Анны Семеновны была такая прядь, оставшаяся от Клары; но с какой стати было ей отдать Аратову такую для нее дорогую вещь? Разве как-нибудь в дневник она ее заложила – и не заметила, как отдала?

В предсмертном бреду Аратов называл себя Ромео... после отравы; говорил о заключенном, о совершенном браке; о том, что он знает теперь, что такое наслаждение. Особенно ужасна была для Платоши минута, когда Аратов, несколько придя в себя и увидав ее возле своей постели, сказал ей:

– Тетя, что ты плачешь? тому, что я умереть должен? Да разве ты не знаешь, что любовь сильнее смерти?.. Смерть! Смерть, где жало твое? Не плакать – а радоваться должно – так же, как и я радуюсь...

И опять на лице умирающего засияла та блаженная улыбка, от которой так жутко становилось бедной старухе.

Накануне

Роман

I

В тени высокой липы, на берегу Москвы-реки, недалеко от Кунцова, в один из самых жарких летних дней 1853 года лежали на траве два молодых человека. Один, на вид лет двадцати трех, высокого роста, черномазый, с острым и немного кривым носом, высоким лбом и сдержанною улыбкой на широких губах, лежал на спине и задумчиво глядел вдаль, слегка прищутив свои небольшие серые глазки; другой лежал на груди, подперев обеими руками кудрявую белокурую голову, и тоже глядел куда-то вдаль. Он был тремя годами старше своего товарища, но казался гораздо моложе; усы его едва пробились, и на подбородке вился легкий пух. Было что-то детски-миловидное, что-то привлекательно изящное в мелких чертах его свежего, круглого лица, в его сладких, карих глазах, красивых, выпуклых губках и белых ручках. Все в нем дышало счастливою веселостью здоровья, дышало молодостью – беспечностью, самонадеянностью, избалованностью, прелестью молодости. Он и поводил глазами, и улыбался, и подпирал голову, как это делают мальчишки, которые знают, что на них охотно заглядываются. На нем было просторное белое пальто вроде блузы; голубой платок охватывал его тонкую шею, измятая соломенная шляпа валялась в траве возле него.

В сравнении с ним его товарищ казался стариком, и никто бы не подумал, глядя на его угловатую фигуру, что и он наслаждается, что и ему хорошо. Он лежал неловко; его большая, сверху широкая, снизу заостренная голова неловко сидела на длинной шее; неловкость сказывалась в самом положении его рук, его туловища, плотно охваченного коротким черным сюртуком, его длинных ног с поднятыми коленями, подобных задним ножкам стрекозы. Со всем тем нельзя было не признать в нем хорошо воспитанного человека; отпечаток «порядочности» замечался во всем его неуклюжем существе, и лицо его, некрасивое и даже несколько смешное, выражало привычку мыслить и доброту. Звали его Андреем Петровичем Берсенывым; его товарищ, белокурый молодой человек, прозывался Шубиным, Павлом Яковлевичем.

– Отчего ты не лежишь, как я, на груди? – начал Шубин. – Так гораздо лучше. Особенно когда поднимешь ноги и стучишь каблуками дружку о дружку – вот так. Трава под носом: надоест глазеть на пейзаж – смотри на какую-нибудь пузатую козявку, как она ползет по былинке, или на муравья, как он суетится. Право, так лучше. А то ты принял теперь какую-то псевдоклассическую позу, ни дать ни взять танцовщица в балете, когда она облокачивается на картонный утес. Ты вспомни, что ты теперь имеешь полное право отдыхать. Шутка сказать: вышел третьим кандидатом! Отдохните, сэр; перестаньте напрягаться, раскиньте свои члены!

Шубин произнес всю эту речь в нос, полулениво, полужутливо (балованные дети говорят так с друзьями дома, которые привозят им конфеты), и, не дождавшись ответа, продолжал:

– Меня больше всего поражает в муравьях, жуках и других господах насекомых их удивительная серьезность; бегают взад и вперед с такими важными физиономиями, точно и их жизнь что-то значит! Помилуйте, человек, царь создания, существо высшее, на них взирает, а им и дела до него нет: еще, пожалуй, иной комар сядет



Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
на нос царю создания и станет употреблять его себе в пищу. Это обидно. А с другой стороны, чем их жизнь хуже нашей жизни. И отчего же им не важничать, если мы позволяем себе важничать? Ну-ка, философ, разреши мне эту задачу! Что ж ты молчишь? А?

– Что? – проговорил, встрепенувшись, Берсенеv.

– Что! – повторил Шубин. – Твой друг излагает перед тобою глубокие мысли, а ты его не слушаешь.

– Я любовался видом. Посмотри, как эти поля горячо блестят на солнце! (Берсенеv немного пришепetyвал.)

– Важный пущен колер, – промолвил Шубин. – Одно слово, натура!

Берсенеv покачал головой.

– Тебе бы еще больше меня следовало восхищаться всем этим. Это по твоей части: ты артист.

– Нет-с: это не по моей части-с, – возразил Шубин и надел шляпу на затылок. – Я мясник-с; мое дело – мясо, мясо лепить, плечи, ноги, руки, а тут и формы нет, законченности нет, разъехалось во все стороны... Пойди поймай!

– Да ведь и тут красота, – заметил Берсенеv. – Кстати, кончил ты свой барельеф?

– Какой?

– Ребенка с козлом.

– К черту! к черту! к черту! – воскликнул нараспев Шубин. – Посмотрел на настоящих, на стариков, на антики, да и разбил свою чепуху. Ты указываешь мне на природу и говоришь: «И тут красота». Конечно, во всем красота, даже и в твоём носе красота, да за всякою красотой не угоняешься. Старики – те за ней и не гонялись; она сама сходила в их создания, откуда – бог весть, с неба, что ли. Им весь мир принадлежал; нам так широко распространяться не приходится: коротки руки. Мы закидываем удочку на одной точечке, да и караулим. Клюнет, браво! а не клюнет...

Шубин высунул язык.

– Постой, постой, – возразил Берсенеv. – Это парадокс[19]. Если ты не будешь сочувствовать красоте, любить ее всюду, где бы ты ее встретил, так она тебе и в твоём искусстве не дастся. Если прекрасный вид, прекрасная музыка ничего не говорят твоей душе, я хочу сказать, если ты им не сочувствуешь...

– Эх ты, сочувственник! – брякнул Шубин и сам засмеялся новоизобретенному слову, а Берсенеv задумался. – Нет, брат, – продолжал Шубин, – ты умница, философ, третий кандидат Московского университета, с тобой спорить страшно, особенно мне, недоучившемуся студенту; но я тебе вот что скажу: кроме своего искусства, я люблю красоту только в женщинах... в девушках, да и то с некоторых пор...

Он перевернулся на спину и заложил руки за голову.

Парадокс – своеобразное мнение, резко расходящееся с общепринятым, кажущееся противоречащим здравому смыслу.

Несколько мгновений прошло в молчании. Тишина полуденного зноя тяготела над сияющей и заснувшей землей.

– Кстати, о женщинах, – заговорил опять Шубин. – Что это никто не возьмет Стахова в руки? Ты видел его в Москве?

– Нет.

– Совсем с ума сошел старец. Сидит по целым дням у своей Августины Христиановны, скучает страшно, а сидит. Глазеют друг на друга, так глупо... Даже противно смотреть. Вот поди ты! Каким семейством Бог благословил этого человека: нет,

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
подай ему Августину Христиановну! Я ничего не знаю гнуснее ее утиной физиономии!  
На днях я вылепил ее карикатуру, в дантановском вкусе[20]. Очень вышло недурно.  
Я тебе покажу.

– А Елены Николаевны бюст, – спросил Берсенева, – подвигается?

– Нет, брат, не подвигается. От этого лица можно в отчаяние прийти. Посмотришь, линии чистые, строгие, прямые; кажется, нетрудно схватить сходство. Не тут-то было... Не дается, как клад в руки. Заметил ты, как она слушает? Ни одна черта не тронется, только выражение взгляда беспрестанно меняется, а от него меняется вся фигура. Что тут прикажешь делать скульптору, да еще плохому? Удивительное существо... странное существо, – прибавил он после короткого молчания.

– Да; она удивительная девушка, – повторил за ним Берсенева.

– А дочь Николая Артемьевича Стахова! Вот после этого и рассуждай о крови, о породе. И ведь забавно то, что она точно его дочь, похожа на него и на мать похожа, на Анну Васильевну. Я Анну Васильевну уважаю от всего сердца, она же моя благодетельница; но ведь она курица. Откуда же взялась эта душа у Елены? Кто зажег этот огонь? Вот опять тебе задача, философ!

Но «философ» по-прежнему ничего не отвечал! Берсенева вообще не грешил многоглаголением и, когда говорил, выражался неловко, с запинками, без нужды разводя руками; а в этот раз какая-то особенная тишина нашла на его душу, тишина, похожая на усталость и на грусть. Он недавно переселился за город после долгой и трудной работы, отнимавшей у него по нескольку часов в день. Бездействие, нега и чистота воздуха, сознание достигнутой цели, прихотливый и небрежный разговор с приятелем, внезапно вызванный образ милого существа, все эти разнородные и в то же время почему-то сходные впечатления слились в нем в одно общее чувство, которое и успокаивало его, и волновало, и обессиливало... Он был очень нервический молодой человек.

Под липой было прохладно и спокойно; залетавшие в круг ее тени мухи и пчелы, казалось, жужжали тише; чистая мелкая трава изумрудного цвета, без золотых отливов, не колыхалась; высокие стебельки стояли неподвижно, как очарованные; как мертвые, висели маленькие гроздьи желтых цветов на нижних ветках липы. Сладкий запах с каждым дыханием втеснялся в самую глубь груди, но грудь им охотно дышала. Вдали, за рекой, до небосклона все сверкало, все горело; изредка пробегал там ветерок и дробил и усиливал сверкание; лучистый пар колебался над землей. Птиц не было слышно: они не поют в часы зноя; но кузнечики трещали повсеместно, и приятно было слушать этот горячий звук жизни, сидя в прохладе, на покое: он клонил ко сну и будил мечтания.

– Заметил ли ты, – начал вдруг Берсенева, помогая своей речи движениями рук, – какое странное чувство возбуждает в нас природа? Все в ней так полно, так ясно, я хочу сказать, так удовлетворено собою, и мы это понимаем и любимся этим, и в то же время она, по крайней мере во мне, всегда возбуждает какое-то беспокойство, какую-то тревогу, даже грусть. Что это значит? Сильнее ли сознаем мы перед нею, перед ее лицом, всю нашу неполноту, нашу неясность, или же нам мало того удовлетворения, каким она довольствуется, а другого, то есть я хочу сказать, того, чего нам нужно, у нее нет?

– Гм, – возразил Шубин, – я тебе скажу, Андрей Петрович, отчего все это происходит. Ты описал ощущения одинокого человека, который не живет, а только смотрит да млеет. Чего смотреть? Живи сам и будьешь молодцом. Сколько ты ни стучись природе в дверь, не отзовется она понятным словом, потому что она немая. Будет звучать и ныть, как струна, а песни от нее не жди. Живая душа – та отзовется, и по преимуществу женская душа. А потому, благородный друг мой, советую тебе запастись подружкой сердца, и все твои тоскливые ощущения тотчас исчезнут. Вот что нам «нужно», как ты говоришь. Ведь эта тревога, эта грусть, ведь это просто своего рода голод. Дай желудку настоящую пищу, и все тотчас придет в порядок. Займи свое место в пространстве, будь телом, братец ты мой. Да и что такое, к чему природа? Ты послушай сам: любовь... какое сильное, горячее слово! Природа... какое холодное, школьное выражение! А потому (Шубин запел): «да здравствует Марья Петровна!» – или нет, – прибавил он, – не Марья Петровна, ну да все равно! Ву ме компрене[21].

Берсенева приподнялся и оперся подбородком на сложенные руки.

– Зачем насмешка, – проговорил он, не глядя на своего товарища, – зачем глумление? Да, ты прав: любовь – великое слово, великое чувство... Но о какой любви говоришь ты?

Шубин тоже приподнялся.

– О какой любви? О какой угодно, лишь бы она была налицо. Признаюсь тебе, по-моему, вовсе нет различных родов любви. Коли ты полюбил...

– От всей души, – подхватил Берсенева.

– Ну да, это само собой разумеется, душа не яблоко: ее не разделишь. Коли ты полюбил, ты и прав. А я не думал глумиться. У меня на сердце теперь такая нежность, так оно смягчено... Я хотел только объяснить, почему природа, по-твоему, так на нас действует. Потому, что она будит в нас потребность любви и не в силах удовлетворить ее. Она нас тихо гонит в другие, живые объятия, а мы ее не понимаем и чего-то ждем от нее самой. Ах, Андрей, Андрей, прекрасно это солнце, это небо, все, все вокруг нас прекрасно, а ты грустишь; но если бы в это мгновение ты держал в своей руке руку любимой женщины, если б эта рука и вся эта женщина были твои, если бы ты даже глядел ее глазами, чувствовал не своим, одиноким, а ее чувством, – не грусть, Андрей, не тревогу возбуждала бы в тебе природа, и не стал бы ты замечать ее красоты; она бы сама радовалась и пела, она бы вторила твоему гимну, потому что ты в нее, в немую, вложил бы тогда язык!

Шубин вскочил на ноги и прошелся раза два взад и вперед, а Берсенева наклонил голову, и лицо его покрылось слабой краской.

– Я не совсем согласен с тобою, – начал он, – не всегда природа намекает нам на... любовь. (Он не сразу произнес это слово.) Она также грозит нам; она напоминает о страшных... да, о недоступных тайнах. Не она ли должна поглотить нас, не беспрестанно ли она поглощает нас? В ней и жизнь и смерть; и смерть в ней так же громко говорит, как и жизнь,

– И в любви жизнь и смерть, – перебил Шубин.

– А потом, – продолжал Берсенева, – когда я, например, стою весной в лесу, в зеленой чаще, когда мне чудятся романтические звуки Оберонова рога[22] (Берсенева стало немножко совестно, когда он выговорил эти слова), – разве и это...

– Жажда любви, жажда счастья, больше ничего! – подхватил Шубин. – Знаю и я эти звуки, знаю и я то умиление и ожидание, которые находят на душу под сенью леса, в его недрах, или вечером, в открытых полях, когда заходит солнце и река дымится за кустами. Но и от леса, и от реки, и от земли, и от неба, от всякого облачка, от всякой травки я жду, я хочу счастья, я во всем чую его приближение, слышу его призыв! «Мой бог – бог светлый и веселый!» Я было так начал одно стихотворение; сознайся: славный первый стих, да второго никак подобрать не мог. Счастья! счастья! пока жизнь не прошла, пока все наши члены в нашей власти, пока мы идем не под гору, а в гору! Черт возьми! – продолжал Шубин с внезапным порывом, – мы молоды, не уроды, не глупы: мы завоюем себе счастье!

Он встряхнул кудрями и самоуверенно, почти с вызовом, глянул вверх, на небо. Берсенева поднял на него глаза.

– Будто нет ничего выше счастья? – проговорил он тихо.

– А например? – спросил Шубин и остановился.

– Да вот, например, мы с тобой, как ты говоришь, молоды, мы хорошие люди, положим; каждый из нас желает для себя счастья... Но такое ли это слово «счастье», которое соединило, воспламенило бы нас обоих, заставило бы нас подать друг другу руки? Не эгоистическое ли, я хочу сказать, не разъединяющее ли это слово?

– А ты знаешь такие слова, которые соединяют?

– Да; и их не мало; и ты их знаешь.

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)

– Ну-ка? какие это слова?

– Да хоть бы искусство, – так как ты художник, – родина, наука, свобода, справедливость.

– А любовь? – спросил Шубин.

– И любовь соединяющее слово; но не та любовь, которой ты теперь жаждешь: не любовь-наслаждение, любовь-жертва.

Шубин нахмурился.

– Это хорошо для немцев; а я хочу любить для себя; я хочу быть номером первым.

– Номером первым, – повторил Берсенева. – А мне кажется, поставить себя номером вторым – все назначение нашей жизни.

– Если все так будут поступать, как ты советуешь, – промолвил с жалобной grimасой Шубин, – никто на земле не будет есть ананасов: все другим их предоставлять будут.

– Значит, ананасы не нужны; а впрочем, не бойся: всегда найдутся любители даже хлеб от чужого рта отнимать.

Оба приятеля помолчали.

– Я на днях опять встретил Инсарова, – начал Берсенева, – я пригласил его к себе; я непременно хочу познакомить его с тобой... и с Стаховыми.

– Какой это Инсаров? Ах да, этот серб или болгар, о котором ты мне говорил? Патриот этот? Уж не он ли внушил тебе все эти философические мысли?

– Может быть.

– Необыкновенный он индивидуум, что ли?

– Да.

– Умный? Даровитый?

– Умный?.. Да. Даровитый? Не знаю, не думаю.

– Нет? Что же в нем замечательного?

– Вот увидишь. А теперь, я думаю, нам пора идти. Анна Васильевна нас, чай, дожидается. Который-то час?

– Третий. Пойдем. Как душно! Этот разговор во мне всю кровь зажег. И у тебя была минута... я недаром артист: я на все замечлив. Признайся, занимает тебя женщина?..

Шубин хотел заглянуть в лицо Берсенева, но он отвернулся и вышел из-под липы. Шубин отправился вслед за ним, развалисто-грациозно переступая своими маленькими ножками. Берсенева двигался неуклюже, высоко поднимал на ходу плечи, вытягивал шею; а все-таки он казался более порядочным человеком, чем Шубин, более джентльменом, сказали бы мы, если б это слово не было у нас так опошлено.

II

Молодые люди спустились к Москве-реке и пошли вдоль ее берега. От воды веяло свежестью, и тихий плеск небольших волн ласкал слух.

– Я бы опять выкупался, – заговорил Шубин, – да боюсь опоздать. Посмотри на реку: она словно нас манит. Древние греки в ней признали бы нимфу. Но мы не греки, о нимфа! мы толстокожие скифы.

– У нас есть русалки, – заметил Берсенева.

– Поди ты с своими русалками! На что мне, ваятелю, эти исчадия запуганной, холодной фантазии, эти образы, рожденные в духоте избы, во мраке зимних ночей?

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
Мне нужно света, простора... Когда же, Боже мой, поеду я в Италию? Когда...

– То есть, ты хочешь сказать, в Малороссию?

– Стыдно тебе, Андрей Петрович, упрекать меня в необдуманной глупости, в которой я и без того горько раскаиваюсь. Ну да, я поступил, как дурак: добрейшая Анна Васильевна дала мне денег на поездку в Италию, а я отправился к хохлам, есть галушки, и...

– Не договаривай, пожалуйста, – перебил Берсенеv.

– И все-таки я скажу, что эти деньги не были истрачены даром. Я увидел там такие типы, особенно женские... Конечно, я знаю: вне Италии нет спасения!

– Ты поедешь в Италию, – проговорил Берсенеv, не оборачиваясь к нему, – и ничего не сделаешь. Будешь все только крыльями размахивать и не полетишь. Знаем мы вас!

– Ставассер[23] полетел же... И не он один. А не полечу – значит, я пингуин[24] морской, без крыльев. Мне душно здесь, в Италию хочу, – продолжал Шубин, – там солнце, там красота..

Молодая девушка, в широкой соломенной шляпе, с розовым зонтиком на плече, показалась в это мгновение на тропинке, по которой шли приятели.

– Но что я вижу? И здесь к нам навстречу идет красота! Привет смиренного художника очаровательной Зое! – крикнул вдруг Шубин, театрально размахнув шляпой.

Молодая девушка, к которой относилось это восклицание, остановилась, погрозила ему пальцем и, допустив до себя обоих приятелей, проговорила звонким голоском и чуть-чуть картавя:

– Что же вы это, господа, обедать не идете? Стол накрыт.

– Что я слышу? – заговорил, всплеснув руками, Шубин. – Неужели вы, восхитительная Зоя, в такую жару решились идти нас отыскивать? Так ли я должен понять смысл вашей речи? Скажите, неужели? Или нет, лучше не произносите этого слова: раскаяние убьет меня мгновенно.

– Ах, перестаньте, Павел Яковлевич, – возразила не без досады девушка, – отчего вы никогда не говорите со мной серьезно? Я рассержусь, – прибавила она с кокетливой ужимкой и надула губки.

– Вы не рассердитесь на меня, идеальная Зоя Никитишна; вы не захотите повергнуть меня в мрачную бездну испуганного отчаяния. А серьезно я говорить не умею, потому что я не серьезный человек.

Девушка пожала плечом и обратилась к Берсенеvu.

– Вот он всегда так: обходится со мной, как с ребенком; а мне уж восемнадцать лет минуло. Я уже большая.

– О Боже! – простонал Шубин и закатил глаза под лоб, а Берсенеv усмехнулся молча. Девушка топнула ножкой.

– Павел Яковлевич! Я рассержусь! Не!ене пошла было со мною, – продолжала она, – да осталась в саду. Ее жара испугала, но я не боюсь жары. Пойдемте.

Она отправилась вперед по тропинке, слегка раскачивая свой тонкий стан при каждом шаге и откидывая хорошенькою ручкой, одетой в черную митенку[25], мягкие, длинные локоны от лица.

Приятели пошли за нею (Шубин то безмолвно прижимал руки к сердцу, то поднимал их выше головы) и несколько мгновений спустя очутились перед одною из многочисленных дач, окружающих Кунцово. Небольшой деревянный домик с мезонином, выкрашенный розовою краской, стоял посреди сада и как-то наивно выглядывал из-за зелени деревьев. Зоя первая открыла калитку, вбежала в сад и закричала: «Привела скитальцев!» Молодая девушка с бледным и выразительным лицом поднялась

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
со скамейки близ дорожки, а на пороге дома показалась дама в лиловом шелковом  
платье и, подняв вышитый батистовый платок над головою для защиты от солнца,  
улыбнулась томно и вяло.

### III

Анна Васильевна Стахова, урожденная Шубина, семи лет осталась круглой сиротою и наследницей довольно значительного имения. У нее были родственники очень богатые и очень бедные: бедные по отцу, богатые по матери: сенатор Волгин, князь Чикурасовы. Князь Ардалион Чикурасов, назначенный к ней опекуном, поместил ее в лучший московский пансион, а по выходе ее из пансиона взял ее к себе в дом. Он жил открыто и давал зимой балы. Будущий муж Анны Васильевны, Николай Артемьевич Стахов, завоевал ее на одном из этих балов, где она была в «прелестном розовом платье с куафюрой [26] из маленьких роз». Она берегла эту куафюру... Николай Артемьевич Стахов, сын отставного капитана, раненного в двенадцатом году и получившего доходное место в Петербурге, шестнадцати лет поступил в юнкерскую школу и вышел в гвардию. Он был красив собою, хорошо сложен и считался едва ли не лучшим кавалером на вечеринках средней руки, которые посещал преимущественно: в большой свет ему не было дороги. Смолodu его занимали две мечты: попасть в флигель-адъютанты и выгодно жениться: с первою мечтою он скоро расстался, но тем крепче держался за вторую. Вследствие этого он каждую зиму ездил в Москву. Николай Артемьевич порядочно говорил по-французски и слыл философом, потому что не кутил. Будучи только прапорщиком, он уже любил настойчиво поспорить, например, о том, можно ли человеку в течение всей своей жизни объездить весь земной шар, можно ли ему знать, что происходит на дне морском, – и всегда держался того мнения, что нельзя.

Николаю Артемьевичу минуло двадцать пять лет, когда он «подцепил» Анну Васильевну; он вышел в отставку и поехал в деревню хозяйничать. Деревенское житье ему скоро надоело, имение же было оброчное; он поселился в Москве, в доме жены. В молодости он ни в какие игры не играл, а тут пристрастился к лото, а когда запретили лото, к ералашу. Дома он скучал; сошелся со вдовой немецкого происхождения и проводил у ней почти все время. На лето пятьдесят третьего года он не переехал в Кунцово: он остался в Москве, будто бы для того, чтобы пользоваться минеральными водами; в сущности, ему не хотелось расстаться с своею вдовой. Впрочем, он и с ней разговаривал мало, а также больше спорил о том, можно ли предвидеть погоду и т. д. Раз кто-то назвал его *frondeur* [27]; это название очень ему понравилось. «Да, – думал он, самодовольно опуская углы губ и покачиваясь, – меня удовлетворить не легко; меня не надуешь». Фрондерство Николая Артемьевича состояло в том, что он услышит, например, слово «нервы» и скажет: «А что такое нервы?» – или кто-нибудь упомянет при нем об успехах астрономии, а он скажет: «А вы верите в астрономию?» Когда же он хотел окончательно сразить противника, он говорил: «Все это одни фразы». Должно сознаться, что многим лицам такого рода возражения казались (и до сих пор кажутся) неопровержимыми; но Николай Артемьевич никак не подозревал того, что Августина Христиановна в письмах к своей кузине, Феодолине Петерзилиус, называла его: *Mein Pinselchen* [28].

Жена Николая Артемьевича, Анна Васильевна, была маленькая и худенькая женщина, с тонкими чертами лица, склонная к волнению и грусти. В пансионе она занималась музыкой и читала романы, потом все это бросила: стала рядиться, и это оставила; занялась было воспитанием дочери, и тут ослабела и передала ее на руки к гувернантке; кончилось тем, что она только и делала что грустила и тихо волновалась. Рождение Елены Николаевны расстроило ее здоровье, и она уже не могла более иметь детей; Николай Артемьевич намекал на это обстоятельство, оправдывая свое знакомство с Августиной Христиановной. Неверность мужа очень огорчала Анну Васильевну; особенно больно ей было то, что он однажды обманом подарил своей немке пару серых лошадей с ее, Анны Васильевны, собственного завода. В глаза она его никогда не упрекала, но украдкой жаловалась на него поочередно всем в доме, даже дочери. Анна Васильевна не любила выезжать; ей было приятно, когда у ней сидел гость и рассказывал что-нибудь; в одиночестве она тотчас занемогала. Сердце у ней было очень любящее и мягкое: жизнь ее скоро перемолола.

Павел Яковлевич Шубин доводился ей троюродным племянником. Отец его служил в Москве. Братья его поступили в кадетские корпуса; он был самый младший, любимец матери, нежного телосложения: он остался дома. Его назначали в университет и с трудом поддерживали в гимназии. С ранних лет начал он оказывать наклонность к ваянию; тяжеловесный сенатор Волгин увидел однажды одну его статуэтку у его

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru) тетки (ему было тогда лет шестнадцать) и объявил, что намерен покровительствовать юному таланту. Внезапная смерть отца Шубина чуть было не изменила всей будущности молодого человека. Сенатор, покровитель талантов, подарил ему гипсовый бюст Гомера – и только; но Анна Васильевна помогла ему деньгами, и он с грехом пополам, девятнадцати лет поступил в университет, на медицинский факультет. Павел не чувствовал никакого расположения к медицине, но, по существовавшему в то время штату студентов, ни в какой другой факультет поступить было невозможно; притом он надеялся поучиться анатомии. Но он не выучился анатомии; на второй курс он не перешел и, не дождавшись экзамена, вышел из университета с тем, чтобы посвятить себя исключительно своему призванию. Он трудился усердно, но урывками; скитался по окрестностям Москвы, лепил и рисовал портреты крестьянских девок, сходил с разными лицами, молодыми и старыми, высокого и низкого полета, итальянскими формовщиками и русскими художниками, слышать не хотел об академии и не признавал ни одного профессора. Талантом он обладал положительным: его начали знать по Москве. Мать его, парижанка родом, хорошей фамилии, добрая и умная женщина, выучила его по-французски, хлопотала и заботилась о нем денно и нощно, гордилась им и, умирая еще в молодых годах от чахотки, упростила Анну Васильевну взять его к себе на руки. Ему тогда уже пошел двадцать первый год. Анна Васильевна исполнила ее последнее желание: он занимал небольшую комнатку во флигеле дачи.

#### IV

– Пойдемте же кушать, пойдемте, – проговорила жалостным голосом хозяйка, и все отправились в столовую. – Сядьте подле меня, Зое, – промолвила Анна Васильевна, – а ты, Helene, займи гостя, а ты, Paul, пожалуйста, не шали и не дразни Зое. У меня голова болит сегодня.

Шубин опять возвел глаза к небу; Зое ответила ему полуулыбкой. Эта Зое, или, говоря точнее, Зоя Никитишна Мюллер, была миленькая, немного косенькая русская немочка с раздвоенным на конце носиком и красными крошечными губками, белокурая, пухленькая. Она очень недурно пела русские романсы, чистенько разыгрывала на фортепьяно разные то веселенькие, то чувствительные штучки; одевалась со вкусом, но как-то по-детски и уже слишком опрятно. Анна Васильевна взяла ее в компаньонки к своей дочери и почти постоянно держала ее при себе. Елена на это не жаловалась: она решительно не знала, о чем ей говорить с Зоей, когда ей случалось остаться с ней наедине.

Обед продолжался довольно долго; Берсенева разговаривал с Еленой об университетской жизни, о своих намерениях и надеждах; Шубин прислушивался и молчал, ел с преувеличенною жадностью, изредка бросая комически унылые взоры на Зою, которая отвечала ему все тою же флегматической улыбкой. После обеда Елена с Берсеневым и Шубиным отправились в сад; Зоя посмотрела им вслед и, слегка пожав плечиком, села за фортепьяно. Анна Васильевна проговорила было: «Отчего же вы не идете тоже гулять? – но, не дождавшись ответа, прибавила: – Сыграйте мне что-нибудь такое грустное...»

– «La derniere pensee» de Weber?[29] – спросила Зоя.

– Ах да, Вебера, – промолвила Анна Васильевна, опустила в кресла, и слеза навернулась на ее ресницу.

Между тем Елена повела обоих приятелей в беседку из акаций, с деревянным столиком посередине и скамейками вокруг. Шубин оглянулся, подпрыгнул несколько раз и, промолвив шепотом: «Подождите!», сбегал к себе в комнату, принес кусок глины и начал лепить фигуру Зои, покачивая головой, бормоча и посмеиваясь.

– Опять старые шутки, – произнесла Елена, взглянув на его работу, и обратилась к Берсеневу, с которым продолжала разговор, начатый за обедом.

– Старые шутки, – повторил Шубин. – Предмет-то больно неистощимый! Сегодня особенно она меня из терпения выводит.

– Это почему? – спросила Елена. – Подумаешь, вы говорите о какой-нибудь злой, неприятной старухе. Хорошенькая, молоденькая девочка...

– Конечно, – перебил ее Шубин, – она хорошенькая, очень хорошенькая; я уверен, что всякий прохожий, взглянув на нее, непременно должен подумать: вот бы с кем отлично... польку протанцевать; я также уверен, что она это знает и что это ей

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
приятно... К чему же эти стыдливые ужимки, эта скромность? Ну, да вам известно, что я хочу сказать, – прибавил он сквозь зубы. – Впрочем, вы теперь другим заняты.

И, сломив фигуру Зои, Шубин принялся торопливо и словно с досадой лепить и мять глину.

– Итак, вы желали бы быть профессором? – спросила Елена Берсенева.

– Да, – возразил тот, втискивая между колен свои красные руки. – Это моя любимая мечта. Конечно, я очень хорошо знаю все, чего мне недостает для того, чтобы быть достойным такого высокого... Я хочу сказать, что я слишком мало подготовлен, но я надеюсь получить позволение съездить за границу; пробуду там три-четыре года, если нужно, и тогда...

Он остановился, потупился, потом быстро вскинул глаза и, неловко улыбаясь, поправил волосы. Когда Берсенева говорил с женщиной, речь его становилась еще медлительнее и он еще более пришепetyвал.

– Вы хотите быть профессором истории? – спросила Елена.

– Да, или философии, – прибавил он, понизив голос, – если это будет возможно.

– Он уже теперь силен, как черт, в философии, – заметил Шубин, проводя глубокие черты ногтем по глине, – на что ему за границу ездить?

– И вы будете вполне довольны вашим положением? – спросила Елена, подпершись локтем и глядя ему прямо в лицо.

– Вполне, Елена Николаевна, вполне. Какое же может быть лучше призвание? Помилуйте, пойти по следам Тимофея Николаевича...[30] Одна мысль о подобной деятельности наполняет меня радостью и смущением, да... смущением, которого... которое происходит от сознания моих малых сил. Покойный батюшка благословил меня на это дело... Я никогда не забуду его последних слов.

– Ваш батюшка скончался нынешнею зимой?

– Да, Елена Николаевна, в феврале.

– Говорят, – продолжала Елена, – он оставил замечательное сочинение в рукописи; правда ли это?

– Да, оставил. Это был чудесный человек. Вы бы полюбили его, Елена Николаевна.

– Я в этом уверена. А какое содержание этого сочинения?

– Содержание этого сочинения, Елена Николаевна, передать в немногих словах несколько трудно. Мой отец был человек очень ученый, шеллингианец[31], он употреблял выражения не всегда ясные...

– Андрей Петрович, – перебила его Елена, – извините мое невежество, что такое значит: шеллингианец?

Берсенева слегка улыбнулся.

– Шеллингианец, это значит последователь Шеллинга, немецкого философа, а в чем состояло учение Шеллинга...

– Андрей Петрович! – воскликнул вдруг Шубин, – ради самого Бога! Уж не хочешь ли ты прочесть Елене Николаевне лекцию о Шеллинге? Пощади!

– Совсе не лекцию, – пробормотал Берсенева и покраснел, – я хотел...

– А почему ж бы и не лекцию, – подхватила Елена. – Нам с вами лекции очень нужны, Павел Яковлевич.



Шубин уставился на нее и вдруг захохотал.

– Чему же вы смеетесь? – спросила она холодно и почти резко.

Шубин умолк.

– Ну полноте, не сердитесь, – промолвил он спустя немного. – Я виноват. Но в самом деле, что за охота, помилуйте, теперь, в такую погоду, под этими деревьями, толковать о философии? Давайте лучше говорить о соловьях, о розах, о молодых глазах и улыбках.

– Да; и о французских романах, о женских тряпках, – продолжала Елена.

– Пожалуй, и о тряпках, – возразил Шубин, – если они красивы.

– Пожалуй. Но если нам не хочется говорить о тряпках? Вы величаете себя свободным художником, зачем же вы посягаете на свободу других? И позвольте вас спросить, при таком образе мыслей зачем вы нападаете на Зою? С ней особенно удобно говорить о тряпках и о розах.

Шубин вдруг вспыхнул и приподнялся со скамейки.

– А, вот как? – начал он нервным голосом. – Я понимаю ваш намек; вы меня отсылаете к ней, Елена Николаевна. Другими словами, я здесь лишний?

– Я не думала отсылать вас отсюда.

– Вы хотите сказать, – продолжал запальчиво Шубин, – что я не стою другого общества, что я ей под пару, что я так же пуст, и вздорен, и мелок, как эта сладковатая немочка? Не так ли-с?

Елена нахмурила брови.

– Вы не всегда так о ней отзывались, Павел Яковлевич, – заметила она.

– А! упрек! упрек теперь! – воскликнул Шубин. – Ну да, я не скрываю, была минута, именно одна минута, когда эти свежие, пошлые щечки... Но если б я захотел отплатить вам упреком и напомнить вам... Прощайте-с, – прибавил он вдруг, – я готов завратиться.

И, ударив рукой по слепленной в виде головы глине, он выбежал из беседки и ушел к себе в комнату.

– Дитя, – проговорила Елена, поглядев ему вслед.

– Художник, – промолвил с тихой улыбкой Берсенева. – Все художники таковы. Надобно им прощать их капризы. Это их право.

– Да, – возразила Елена, – но Павел до сих пор еще ничем не упрочил за собой этого права. Что он сделал до сих пор? Дайте мне руку и пойдемте по аллее. Он помешал нам. Мы говорили о сочинении вашего батюшки.

Берсенева взял руку Елены и пошел за ней по саду, но начатый разговор, слишком рано прерванный, не возобновился; Берсенева снова принялся излагать свои воззрения на профессорское звание, на будущую свою деятельность. Он тихо двигался рядом с Еленой, неловко выступал, неловко поддерживал ее руку, изредка толкал ее плечом и ни разу не взглянул на нее; но речь его текла легко, если не совсем свободно, он выражался просто и верно, и в глазах его, медленно блуждавших по стволам деревьев, по песку дорожки, по траве, светилось тихое умиление благородных чувств, а в успокоенном голосе слышалась радость человека, который сознает, что ему удастся высказываться перед другим, дорогим ему человеком. Елена слушала его внимательно и, обернувшись к нему вполтину, не отводила взора от его слегка побледневшего лица, от глаз его, дружелюбных и кротких, хотя избегавших встречи с ее глазами. Душа ее раскрывалась, и что-то нежное, справедливое, хорошее не то вливалось в ее сердце, не то выросло в нем.

V

Шубин не выходил из своей комнаты до самой ночи. Уже совсем стемнело, неполный месяц стоял высоко на небе. Млечный Путь забелел и звезды запестрели, когда Берсенева, простившись с Анной Васильевной, Еленой и Зоей, подошел к двери своего приятеля. Он нашел ее запертою и постучался.

– Кто там? – раздался голос Шубина.

– Я, – отвечал Берсенева.

– Чего тебе?

– Впусти меня, Павел, полно капризничать; как тебе не стыдно?

– Я не капризничаю, я сплю и вижу во сне Зою.

– Перестань, пожалуйста. Ты не ребенок. Впусти меня. Мне нужно с тобою поговорить.

– Ты не наговорился еще с Еленой?

– Полно же, полно;пусти меня!

Шубин отвечал притворным храпением. Берсенева пожал плечами и отправился домой.

Ночь была тепла и как-то особенно безмолвна, точно все кругом прислушивалось и караулило; и Берсенева, охваченный неподвижною мглою, невольно останавливался и тоже прислушивался и караулил. Легкий шорох, подобный шелесту женского платья, поднимался по временам в верхушках близких деревьев и возбуждал в Берсеневе ощущение сладкое и жуткое, ощущение полустраха. Мурашки пробежали по его щекам, глаза холодели от мгновенной слезы: ему бы хотелось выступить совсем неслышно, прятаться, красться. Резкий ветерок набежал на него сбоку: он чуть-чуть вздрогнул и замер на месте; сонный жук свалился с ветки и стукнулся о дорогу: Берсенева тихо воскликнул: «А!» – и опять остановился. Но он начал думать о Елене, и все эти мимолетные ощущения исчезли разом: оставалось одно живительное впечатление ночной свежести и ночной прогулки; всю душу его занял образ молодой девушки. Берсенева шел, потупя голову, и припоминал ее слова, ее вопросы. Топот быстрых шагов почудился ему сзади. Он прикинул ухом: кто-то бежал, кто-то догонял его; слышалось прерывистое дыхание, и вдруг перед ним, из черного круга тени, падавшей от большого дерева, без шапки на растрепанных волосах, весь бледный при свете луны, вынырнул Шубин.

– Я рад, что ты пошел по этой дороге, – с трудом проговорил он, – я бы всю ночь не заснул, если б я не догнал тебя. Дай мне руку. Ведь ты домой идешь?

– Домой.

– Я тебя провожу.

– Да как же ты пойдешь без шапки?

– Ничего. Я и галстук снял. Теперь тепло.

Приятель сделал несколько шагов.

– Не правда ли, я был очень глуп сегодня? – спросил внезапно Шубин.

– Откровенно говоря, да. Я тебя понять не мог. Я тебя таким никогда не видал. И отчего ты рассердился, помилуй! Из-за каких пустяков?

– Гм, – промычал Шубин. – Вот как ты выражаешься, а мне не до пустяков. Видишь ли, – прибавил он, – я должен тебе заметить, что я... что... Думаешь обо мне, что хочешь... я... ну да! я влюблен в Елену.

– Ты влюблен в Елену! – повторил Берсенева и остановился.

– Да, – с принужденною небрежностью продолжал Шубин. – Это тебя удивляет? Скажу тебе более. До нынешнего вечера я мог надеяться, что и она со временем меня

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
полюбит. Но сегодня я убедился, что мне надеяться нечего. Она полюбила другого.

– Другого? кого же?

– Кого? Тебя! – воскликнул Шубин и ударил Берсенева по плечу.

– Меня!

– Тебя, – повторил Шубин.

Берсенева отступил шаг назад и остался неподвижен. Шубин зорко посмотрел на него.

– И это тебя удивляет? Ты скромный юноша. Но она тебя любит. На этот счет ты можешь быть спокоен.

– Что за вздор ты мелешь! – произнес, наконец, с досадой Берсенева.

– Нет, не вздор. А впрочем, что же мы стоим? Пойдем вперед. На ходу легче. Я ее давно знаю, и хорошо ее знаю. Я не могу ошибиться. Ты пришелся ей по сердцу. Было время, я ей нравился: но, во-первых, я для нее слишком легкомысленный молодой человек, а ты существо серьезное, ты нравственно и физически опрятная личность, ты... постой, я не кончил, ты добросовестно-умеренный энтузиаст, истый представитель тех жрецов науки, которыми, – нет, не которыми, – коими столь справедливо гордится класс среднего русского дворянства! А во-вторых, Елена на днях застала меня целующим руки у Зои!

– У Зои?

– Да, у Зои. Что прикажешь делать? У нее плечи так хороши.

– Плечи?

– Ну да, плечи, руки, не все ли равно? Елена застала меня посреди этих свободных занятий после обеда, а перед обедом я в ее присутствии бранил Зою. Елена, к сожалению, не понимает всей естественности подобных противоречий. Тут ты подвернулся: ты веришь... во что, бишь, ты веришь?.., ты краснеешь, смущаешься, толкуешь о Шиллере, о Шеллинге (она же все отыскивает замечательных людей), вот ты и победил, а я, несчастный, стараюсь шутить... и... между тем...

Шубин вдруг заплакал, отошел в сторону, присел на землю и схватил себя за волосы.

Берсенева приблизился к нему.

– Павел, – начал он, – что это за детство? Помилуй! Что с тобой сегодня? Бог знает, какой вздор взбрел тебе в голову, и ты плачешь. Мне, право, кажется, что ты притворяешься.

Шубин поднял голову. Слезы блистали на его щеках в лучах луны, но лицо его улыбалось.

– Андрей Петрович, – заговорил он, – ты можешь думать обо мне, что тебе угодно. Я даже готов согласиться, что у меня теперь истерика, но я, ей-богу, влюблен в Елену, и Елена тебя любит. Впрочем, я обещал проводить тебя до дому и сдержу свое обещание.

Он встал.

– Какая ночь! серебристая, темная, молодая! Как хорошо теперь тем, кого любят! Как им весело не спать! Ты будешь спать, Андрей Петрович?

Берсенева ничего не отвечал и ускорил шаги.

– Куда ты торопишься? – продолжал Шубин. – Поверь моим словам, такой ночи в твоей жизни не повторится, а дома ждет тебя Шеллинг. Правда, он сослужил тебе сегодня службу; но ты все-таки не спеши. Пой, если умеешь, пой еще громче; если не умеешь – сними шляпу, закинь голову и улыбайся звездам. Они все на тебя смотрят, на одного тебя: звезды только и делают, что смотрят на влюбленных

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru) людей, – оттого они так прелестны. Ведь ты влюблен, Андрей Петрович?.. Ты не отвечаешь мне... Отчего ты не отвечаешь? – заговорил опять Шубин. – О, если ты чувствуешь себя счастливым, молчи, молчи! Я болтаю потому, что я горемыка, я нелюдимый, я фокусник, артист, фигляр; но какие безмолвные восторги пил бы я в этих ночных струях, под этими звездами, под этими алмазами, если б я знал, что меня любят!.. Берсенева, ты счастлив?

Берсенева по-прежнему молчал и быстро шел по ровной дороге. Впереди, между деревьями, замелькали огни деревеньки, в которой он жил; она вся состояла из десятка небольших дач. При самом ее начале, направо от дороги, под двумя развесистыми березами, находилась мелочная лавочка; окна в ней уже были все заперты, но широкая полоса света падала веером из растворенной двери на притоптанную траву и била вверх по деревьям, резко озаряя беловатую изнанку сплошных листьев. Девушка, с виду горничная, стояла в лавке спиной к порогу и торговалась с хозяином: из-под красного платка, который она накинула себе на голову и придерживала обнаженной рукой у подбородка, едва виднелась ее круглая щечка и тонкая шейка. Молодые люди вступили в полосу света, Шубин глянул во внутренность лавки, остановился и кликнул: «Аннушка!» Девушка живо обернулась. Показалось миловидное, немножко широкое, но свежее лицо с веселыми карими глазами и черными бровями. «Аннушка!» – повторил Шубин. Девушка всмотрелась в него, испугалась, застыдилась и, не кончив покупки, спустилась с крылечка, проворно скользнула мимо и, чуть-чуть озираясь, пошла чрез дорогу, налево. Лавочник, человек пухлый и равнодушный ко всему на свете, как все загородные мелочные торговцы, крикнул и зевнул ей вслед, а Шубин обратился к Берсеневу со словами: «Это... это, вот видишь... тут есть у меня знакомое семейство... так это у них... ты не подумай...» – и, не докончив речи, побежал за уходившею девушкой.

– Утри по крайней мере свои слезы, – крикнул ему Берсенева и не мог удержаться от смеха. Но, когда он вернулся домой, на лице его не было веселого выражения; он не смеялся более. Но ни на одно мгновение не поверил тому, что сказал ему Шубин, но слово, им произнесенное, запало глубоко ему в душу. «Павел меня дурачил, – думал он... – но она когда-нибудь полюбит... Кого полюбит она?»

У Берсенева в комнате стояло фортепьяно, небольшое и не новое, но с мягким и приятным, хоть и не совсем чистым тоном. Берсенева присел к нему и начал брать аккорды. Как все русские дворяне, он в молодости учился музыке, и, как почти все русские дворяне, играл очень плохо; но он страстно любил музыку. Собственно говоря, он любил в ней не искусство, не формы, в которых она выражается (симфонии и сонаты, даже оперы наводили на него уныние), а ее стихию: любил те смутные и сладкие, беспредметные и всеобъемлющие ощущения, которые возбуждаются в душе сочетанием и переливами звуков. Более часа не отходил он от фортепьяно, много раз повторяя одни и те же аккорды, неловко отыскивая новые, останавливаясь и замирая на уменьшенных септимах. Сердце в нем ныло, и глаза не однажды наполнялись слезами. Он не стыдился их: он проливал их в темноте. «Прав Павел, – думал он, – я предчувствую: этот вечер не повторится». Наконец он встал, зажег свечку, накинул халат, достал с полки второй том Истории Гогенштауфенов, Раумера[32] – и, вздохнув раза два, прилежно занялся чтением.

## VI

Между тем Елена вернулась в свою комнату, села перед раскрытым окном и оперлась головой на руки. Проводить каждый вечер около четверти часа у окна своей комнаты вошло у ней в привычку. Она беседовала сама с собою в это время, отдавала себе отчет в протекшем дне. Ей недавно минул двадцатый год. Росту она была высокого, лицо имела бледное и смуглое, большие серые глаза под круглыми бровями, окруженные крошечными веснушками, лоб и нос совершенно прямые, сжатый рот и довольно острый подбородок. Ее темно-русая коса спускалась низко на тонкую шею. Во всем ее существе, в выражении лица, внимательном и немного пугливом, в ясном, но изменчивом взоре, в улыбке, как будто напряженной, в голосе, тихом и неровном, было что-то нервическое, электрическое, что-то порывистое и торопливое, словом что-то такое, что не могло всем нравиться, что даже отталкивало иных. Руки у ней были узкие, розовые, с длинными пальцами, ноги тоже узкие; она ходила быстро, почти стремительно, немного наклоняясь вперед. Она росла очень странно; сперва обожала отца, потом страстно привязалась к матери и охладела к обоим, особенно к отцу. В последнее время она обходилась с матерью, как с больною бабушкой; а отец, который гордился ею, пока она слыла за необыкновенного ребенка, стал ее бояться, когда она выросла, и говорил о ней, что она какая-то восторженная республиканка, бог знает в кого! Слабость возмущала ее, глупость сердила, ложь она не прощала «во веки веков»; требования

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
ее ни перед чем не отступали, самые молитвы не раз мешались с укором. Стоило человеку потерять ее уважение, – а суд произносила она скоро, часто слишком скоро, – и уж он переставал существовать для нее. Все впечатления резко ложились в ее душу; не легко давалась ей жизнь.

Гувернантка, которой Анна Васильевна поручила докончить воспитание своей дочери, – воспитание, заметим в скобках, даже не начатое скучавшей барыней, – была из русских, дочь разорившегося взяточника, институтка, очень чувствительное, доброе и лживое существо; она то и дело влюблялась и кончила тем, что в пятидесятом году (когда Елене минуло семнадцать лет) вышла замуж за какого-то офицера, который тут же ее и бросил. Гувернантка эта очень любила литературу и сама пописывала стихи; она приохотила Елену к чтению, но чтение одно ее не удовлетворяло: она с детства жаждала деятельности, деятельного добра; нищие, голодные, больные ее занимали, тревожили, мучили; она видела их во сне, расспрашивала об них своих знакомых; милостыню она подавала заботливо, с невольною важностью, почти с волнением. Все притесненные животные, худые дворовые собаки, осужденные на смерть котята, выпавшие из гнезда воробьи, даже насекомые и гады находили в Елене покровительство и защиту: она сама кормила их, не гнушалась ими. Мать не мешала ей; зато отец очень негодовал на свою дочь за ее, как он выражался, пошлое нежничанье и уверял, что от собак да кошек в доме ступить негде. «Леночка, – кричал он ей бывало, – иди скорей, паук муху сосет, освобождай несчастную!» И Леночка, вся встревоженная, прибегала, освобождала муху, расклеивала ей лапки. «Ну, теперь дай себя покусать, коли ты такая добрая», – иронически замечал отец; но она его не слушала. На десятом году Елена познакомилась с нищею девочкой Катей и тайком ходила к ней на свидание в сад, приносила ей лакомства, дарила ей платки, гривеннички – игрушек Катя не брала. Она садилась с ней рядом на сухую землю, в глуши, за кустом крапивы; с чувством радостного смирения ела ее черствый хлеб, слушала ее рассказы. У Кати была тетка, злая старуха, которая ее часто била; Катя ее ненавидела и все говорила о том, как она убежит от тетки, как будет жить на всей божьей воле; с тайным уважением и страхом внимала Елена этим неведомым, новым словам, пристально смотрела на Катю, и все в ней тогда – ее черные, быстрые, почти звериные глаза, ее загорелые руки, глухой голосок, даже ее изорванное платье – казалось Елене чем-то особенным, чуть не священным. Елена возвращалась домой и долго потом думала о нищих, о божьей воле; думала о том, как она вырежет себе ореховую палку, и сумку наденет, и убежит с Катей, как она будет скитаться по дорогам в венке из васильков: она однажды видела Катю в таком венке. Входил ли в это время кто-нибудь из родных в комнату, она дичилась и глядела букой. Однажды она в дождь бегала на свиданье с Катей и запачкала себе платье: отец увидал ее и назвал замарашкой, крестьянкой. Она вспыхнула вся – и страшно и чудно стало ей на сердце. Катя часто напевала какую-то полудикую, солдатскую песенку; Елена выучилась у ней этой песенке... Анна Васильевна подслушала ее и пришла в негодование.

– Откуда ты набралась этой мерзости? – спросила она свою дочь.

Елена только посмотрела на мать и ни слова не сказала: она почувствовала, что скорее позволит растерзать себя на части, чем выдаст свою тайну, и опять стало ей и страшно и сладко на сердце. Впрочем, знакомство ее с Катей продолжалось недолго: бедная девочка занемогла горячкой и через несколько дней умерла.

Елена очень тосковала и долго по ночам заснуть не могла, когда узнала о смерти Кати. Последние слова нищей девочки беспрестанно звучали у ней в ушах, и ей самой казалось, что ее зовут...

А годы шли да шли; быстро и неслышно, как подснежные воды, протекала молодость Елены, в бездействии внешнем, во внутренней борьбе и тревоге. Подруг у ней не было: из всех девиц, посещавших дом Стаховых, она не сошлась ни с одной. Родительская власть никогда не тяготела над Еленой, а с шестнадцатилетнего возраста она стала почти совсем независима; она зажила собственной своею жизнью, но жизнью одинокою. Ее душа и разгоралась и погасала одиноко, она билась, как птица в клетке, а клетки не было: никто не стеснял ее, никто ее не удерживал, а она рвалась и томилась. Она иногда сама себя не понимала, даже боялась самой себя. Все, что окружало ее, казалось ей не то бессмысленным, не то непонятным. «Как жить без любви? а любить некого!» – думала она, и страшно становилось ей от этих дум, от этих ощущений. Восемнадцати лет она чуть не умерла от злокачественной лихорадки; потрясенный до основания, весь ее организм, от природы здоровый и крепкий, долго не мог справиться: последние следы болезни

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru) исчезли, наконец, но отец Елены Николаевны все еще не без озлобления толковал об ее нервах. Иногда ей приходило в голову, что она желает чего-то, чего никто не желает, о чем никто не мыслит в целой России. Потом она утихала, даже смеялась над собой, беспечно проводила день за днем, но внезапно что-то сильное, безымянное, с чем она совладеть не умела, так и закипало в ней, так и просилось вырваться наружу. Гроза проходила, опускались усталые, не взлетевшие крылья; но эти порывы не обходились ей даром. Как она ни старалась не выдать того, что в ней происходило, тоска взволнованной души сказывалась в самом ее наружном спокойствии, и родные ее часто были вправе пожимать плечами, удивляться и не понимать ее «странностей».

В день, с которого начался наш рассказ, Елена дольше обыкновенного не отходила от окна. Она много думала о Берсенева, о своем разговоре с ним. Он ей нравился; она верила теплоте его чувств, чистоте его намерений. Он никогда еще так не говорил с ней, как в тот вечер. Она вспомнила выражение его несмелых глаз, его улыбки – и сама улыбнулась и задумалась, но уже не о нем. Она принялась глядеть «в ночь» через открытое окно. Долго глядела она на темное, низко нависшее небо; потом она встала, движением головы откинула от лица волосы и, сама не зная зачем, протянула к нему, к этому небу, свои обнаженные, похолодевшие руки; потом она их уронила, стала на колени перед своею постелью, прижалась лицом к подушке и, несмотря на все свои усилия не поддаться нахлынувшему на нее чувству, заплакала какими-то странными, недоумевающими, но жгучими слезами.

## VII

На другой день, часу в двенадцатом, Берсенева отправился на обратном извозчике в Москву. Ему нужно было получить с почты деньги, купить кой-какие книги, да кстати ему хотелось повидаться с Инсаровым и переговорить с ним. Берсенева, во время последней беседы с Шубиным, пришла мысль пригласить Инсарова к себе на дачу. Но он не скоро отыскал его: с прежней своей квартиры он переехал на другую, до которой добраться было нелегко: она находилась на заднем дворе безобразного каменного дома, построенного на петербургский манер между Арбатом и Поварской. Тщетно Берсенева скитался от одного грязного крылечка к другому, тщетно взывал то к дворнику, то к «кому-нибудь». Дворники и в Петербурге стараются избегать взоров посетителей, а в Москве подавно: никто не откликнулся Берсенева; только любопытный портной, в одном жилете и с мотком серых ниток на плече, выставил молча из высокой форточки свое тусклое и небритое лицо с подбитым глазом да черная безрогая коза, взобравшаяся на навозную кучу, обернулась, проблеяла жалобно и проворнее прежнего зажевала свою жвачку. Какая-то женщина в старом салопе и стоптанных сапогах сжалилась, наконец, над Берсенева и указала ему квартиру Инсарова. Берсенева застал его дома. Он нанимал комнату у самого того портного, который столь равнодушно взирал из форточки на затруднение забредшего человека, – большую, почти совсем пустую комнату с темно-зелеными стенами, тремя квадратными окнами, крошечною кроватью в одном углу, кожаным диванчиком в другом и громадной клеткой, подвешенной под самый потолок; в этой клетке когда-то жил соловей. Инсаров пошел навстречу Берсенева, как только тот переступил порог дверей, но не воскликнул: «А, это вы!» или: «Ах, Боже мой! какими судьбами?», не сказал даже: «Здравствуйте», а просто стиснул ему руку и подвел его к единственному, находившемуся в комнате, стулу.

– Сядьте, – сказал он и сам присел на край стола.

– У меня, вы видите, еще беспорядок, – прибавил Инсаров, указывая на груды бумаг и книг на полу, – еще не обзавелся, как должно. Некогда еще было.

Инсаров говорил по-русски совершенно правильно, крепко и чисто произнося каждое слово; но его гортанный, впрочем приятный голос звучал чем-то нерусским. Иностранное происхождение Инсарова (он был болгар родом) еще яснее сказывалось в его наружности: это был молодой человек лет двадцати пяти, худощавый и жилистый, с впалой грудью, с узловатыми руками; черты лица имел он резкие, нос с горбиной, иссиня-черные, прямые волосы, небольшой лоб, небольшие, пристально глядевшие, углубленные глаза, густые брови; когда он улыбался, прекрасные белые зубы показывались на миг из-под тонких, жестких, слишком отчетливо очерченных губ. Одет он был в старенький, но опрятный сюртучок, застегнутый доверху.

– Зачем вы с прежней вашей квартиры съехали? – спросил его Берсенева.

– Эта дешевле; к университету ближе.

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)

– Да ведь теперь вакации... И что вам за охота жить в городе летом! Наняли бы дачу, коли уж решились переезжать.

Инсаров ничего не отвечал на это замечание и предложил Берсеневу трубку, примолвив: «Извините, папирос и сигар не имею».

Берсенева закурил трубку.

– Вот я, – продолжал он, – нанял себе домик возле Кунцева. Очень дешево и очень удобно. Так что даже лишняя есть комната наверху.

Инсаров опять ничего не отвечал.

Берсенева затыкнулся.

– Я даже думал, – заговорил он снова, выпуская дым тонкою струей, – что если бы, например, нашелся кто-нибудь... вы, например, так думал я... который бы захотел... который бы согласился поместиться у меня там наверху... как бы это хорошо было! Как вы полагаете, Дмитрий Никанорыч?

Инсаров вскинул на него свои небольшие глазки.

– Вы мне предлагаете жить у вас на даче?

– Да; у меня наверху там есть лишняя комната.

– Очень вам благодарен, Андрей Петрович; но я полагаю, средства мои мне не позволяют.

– То есть как же не позволяют?

– Не позволяют жить на даче. Мне две квартиры держать невозможно.

– Да ведь я... – начал было Берсенева и остановился. – Вам от этого никаких лишних расходов бы не было, – продолжал он. – Здешняя квартира осталась бы, положим, за вами; зато там все очень дешево; можно бы даже так устроиться, чтоб обедать, например, вместе.

Инсаров молчал. Берсеневу стало неловко.

– По крайней мере навестите меня когда-нибудь, – начал он, погодя немного. – От меня в двух шагах живет семейство, с которым мне очень хочется вас познакомиться. Какая там есть чудная девушка, если бы вы знали, Инсаров! Там также живет один мой близкий приятель, человек с большим талантом; я уверен, что вы с ним сойдетесь. (Русский человек любит потчевать – коли нечем иным, так своими знакомыми.) Право, приезжайте. А еще лучше, переселяйтесь к нам, право. Мы бы могли вместе работать, читать... Я, вы знаете, занимаюсь историей, философией. Все это вас интересует, у меня и книг много.

Инсаров встал и прошелся по комнате.

– Позвольте узнать, – спросил он наконец, – сколько вы платите за вашу дачу?

– Сто рублей серебром.

– А сколько в ней всего комнат?

– Пять.

– Стало быть, по расчету, приходилось бы за одну комнату двадцать рублей?

– По расчету... Да помилуйте, она мне совсем не нужна. Просто стоит пустая.

– Может быть; но послушайте, – прибавил Инсаров с решительным и в то же время простодушным движением головы. – Я только в таком случае могу воспользоваться вашим предложением, если вы согласитесь взять с меня деньги по расчету. Двадцать рублей дать я в силах, тем более что, по вашим словам, я буду там делать экономию на всем прочем.

- Разумеется; но, право же, мне совестно.
- Иначе нельзя, Андрей Петрович.
- Ну, как хотите; только какой же вы упрямый!

Инсаров опять ничего не ответил.

Молодые люди условились насчет дня, в который Инсаров должен был переселиться. Позвали хозяина; но он сперва прислал свою дочку, девочку лет семи, с огромным пестрым платком на голове; она внимательно, чуть не с ужасом, выслушала все, что ей сказал Инсаров, и ушла молча; вслед за ней появилась ее мать, беременная на сносе, тоже с платком на голове, только крошечным. Инсаров объяснил ей, что он переезжает на дачу возле Кунцова, но оставляет квартиру за собой и поручает ей все свои вещи; портниха тоже словно испугалась и удалилась. Наконец пришел хозяин; этот сначала как будто все понял и только задумчиво проговорил: «Возле Кунцева?» – а потом вдруг отпер дверь и закричал: «За вами, што ль, фатера?» Инсаров его успокоил. «Потому, надо знать», – повторил портной сурово и скрылся.

Берсенева отправился восвояси, очень довольный успехом своего предложения. Инсаров проводил его до двери с любезною, в России мало употребительною вежливостью и, оставшись один, бережно снял сюртук и занялся раскладыванием своих бумаг.

#### VIII

Вечером того же дня Анна Васильевна сидела в своей гостиной и собиралась плакать. Кроме нее, в комнате находился ее муж да еще некто Увар Иванович Стахов, троюродный дядя Николая Артемьевича, отставной корнет [33] лет шестидесяти, человек тучный до неподвижности, с сонливыми желтыми глазками и бесцветными толстыми губами на желтом пухлом лице. Он с самой отставки постоянно жил в Москве процентами с небольшого капитала, оставленного ему женой из купчих. Он ничего не делал и навряд ли думал, а если и думал, так берег свои думы про себя. Раз только в жизни он пришел в волнение и оказал деятельность, а именно: он прочел в газетах о новом инструменте на всемирной лондонской выставке: «контробомбардоне» и пожелал выписать себе этот инструмент, даже спрашивал, куда послать деньги и через какую контору? Увар Иванович носил просторный сюртук табачного цвета и белый платок на шее, ел часто и много, и только в затруднительных случаях, то есть всякий раз, когда ему приходилось выразить какое-либо мнение, судорожно двигал пальцами правой руки по воздуху, сперва от большого пальца к мизинцу, потом от мизинца к большому пальцу, с трудом приговаривая: «Надо бы... как-нибудь, того...»

Увар Иванович сидел в креслах возле окна и дышал напряженно, Николай Артемьевич ходил большими шагами по комнате, засунув руки в карманы; лицо его выражало неудовольствие.

Он остановился, наконец, и покачал головой.

– Да, – начал он, – в наше время молодые люди были иначе воспитаны. Молодые люди не позволяли себе манкировать [34] старшим. (Он произнес: ман, в нос, по-французски.) А теперь я только гляжу и удивляюсь. Может быть, не прав я, а они правы; может быть. Но все же у меня есть свой взгляд на вещи: не олухом же я родился. Как вы об этом думаете, Увар Иванович?

Увар Иванович только поглядел на него и поиграл пальцами.

– Елену Николаевну, например, – продолжал Николай Артемьевич, – Елену Николаевну я не понимаю, точно. Я для нее не довольно возвышен. Ее сердце так обширно, что обнимает всю природу, до малейшего таракана или лягушки, словом все, за исключением родного отца. Ну, прекрасно; я это знаю и уж не суюсь. Потому тут и нервы, и ученость, и паренье в небеса, это все не по нашей части. Но господин Шубин... положим, он артист удивительный, необыкновенный, я об этом не спорю; однако манкировать старшему, человеку, которому он все-таки, можно сказать, обязан многим, – это я, признаюсь, *dans mon gros bon sens* [35] допустить не могу. Я от природы не взыскателен, нет; но всему есть мера.

Анна Васильевна позвонила с волнением. Вошел казачок.



– Что же Павел Яковлевич не идет? – проговорила она. – Что это я его дозваться не могу?

Николай Артемьевич пожал плечами.

– Да на что, помилуйте, вы хотите его позвать? Я этого вовсе не требую, не желаю даже.

– Как на что, Николай Артемьевич? Он вас беспокоил; может быть, помешал курсу вашего лечения. Я хочу объяснить с ним. Я хочу знать, чем он мог вас прогневать.

– Я вам повторяю, что я этого не требую. И что за охота... devant les domestiques... [36]

Анна Васильевна слегка покраснела.

– Напрасно вы это говорите, Николай Артемьевич. Я никогда... devant... les domestiques... Ступай, Федюшка, да смотри, сейчас приведи сюда Павла Яковлевича.

Казачок вышел.

– И нисколько это все не нужно, – проговорил сквозь зубы Николай Артемьевич и снова принялся шагать по комнате. – Я совсем не к тому речь вел.

– Помилуйте, Paul должен извиниться перед вами.

– Помилуйте, на что мне его извинения? И что такое извинения? Это все фразы.

– Как на что? его вразумить надо.

– Вразумите его вы сами. Он вас скорей послушает. А я на него не в претензии.

– Нет, Николай Артемьевич, вы сегодня с самого вашего приезда не в духе. Вы даже, на мои глаза, похудели в последнее время. Я боюсь, что курс лечения вам не помогает.

– Курс лечения мне необходим, – заметил Николай Артемьевич, – у меня печень не в порядке.

В это мгновение вошел Шубин. Он казался усталым. Легкая, чуть-чуть насмешливая улыбка играла на его губах.

– Вы меня спрашивали, Анна Васильевна? – промолвил он.

– Да, конечно, спрашивала. Помилуй, Paul, это ужасно. Я тобой очень недовольна. Как ты можешь манкировать Николаю Артемьевичу?

– Николай Артемьевич вам жаловался на меня? – спросил Шубин и с той же усмешкой на губах глянул на Стахова.

Тот отвернулся и опустил глаза.

– Да, жаловался. Я не знаю, чем ты пред ним провинился, но ты должен сейчас извиниться, потому что его здоровье очень теперь расстроено, и, наконец, мы все в молодых летах должны уважать своих благодетелей.

«Эх, логика!» – подумал Шубин и обратился к Стахову:

– Я готов извиниться перед вами, Николай Артемьевич, – проговорил он с учтивым полупоклоном, – если я вас точно чем-нибудь обидел.

– Я вовсе... не с тем, – возразил Николай Артемьевич, по-прежнему избегая взоров Шубина. – Впрочем, я охотно вас прощаю, потому что, вы знаете, я невзыскательный человек.

– О, это не подвержено никакому сомнению! – промолвил Шубин. – Но позвольте

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
полюбопытствовать: известно ли Анне Васильевне, в чем именно состоит моя вина?

– Нет, я ничего не знаю, – заметила Анна Васильевна и вытянула шею.

– О Боже мой! – торопливо воскликнул Николай Артемьевич, – сколько раз уж я просил, умолял, сколько раз говорил, как мне противны все эти объяснения и сцены!

В кои-то веки приедешь домой, хочешь отдохнуть, – говорят: семейный круг, *interieur*[37], будь семьянином, – а тут сцены, неприятности. Минуты нет покоя. Поневоле поедешь в клуб или... или куда-нибудь. Человек живой, у него физика, она имеет свои требования, а тут...

И, не докончив начатой речи, Николай Артемьевич быстро вышел вон и хлопнул дверью. Анна Васильевна посмотрела ему вслед.

– В клуб? – горько прошептала она. – Не в клуб вы едете, ветреник! В клубе некому дарить лошадей собственного завода – да еще серых! Любимой моей масти. Да, да, легкомысленный человек, – прибавила она, возвысив голос, – не в клуб вы едете. А ты, Paul, – продолжала она вставая, – как тебе не стыдно? Кажется, не маленький. Вот теперь у меня голова заболела. Где Зоя, не знаешь?

– Кажется, у себя наверху. Рассудительная сия лисичка в такую погоду всегда в свою норку прячется.

– Ну, пожалуйста, пожалуйста! – Анна Васильевна поискала вокруг себя. – Рюмочку мою с натертым хреном ты не видел? Paul, сделай одолжение, вперед не серди меня.

– Где вас рассердить, тетушка? Дайте мне вашу ручку поцеловать. А хрен ваш я видел в кабинете на столике.

– Дарья его вечно где-нибудь позабудет, – промолвила Анна Васильевна и удалилась, шумя шелковым платьем.

Шубин хотел было пойти за ней, но остановился, услышав за собою медлительный голос Увара Ивановича.

– Не так бы тебя, молокососа... следовало, – говорил вперемежку отставной корнет.

Шубин подошел к нему.

– А за что же бы меня следовало, достохвальный Увар Иванович?

– За что? Млад ты, так уважай. Да.

– Кого?

– Кого? Известно, кого. Скаль зубы-то.

Шубин скрестил руки на груди.

– Ах вы, представитель хорового начала, – воскликнул он, – черноземная вы сила, фундамент вы общественного здания!

Увар Иванович заиграл пальцами.

– Полно, брат, не искушай.

– Ведь вот, – продолжал Шубин, – не молодой, кажется, дворянин, а сколько в нем еще таится счастливой, детской веры! Уважать! Да знаете ли вы, стихийный вы человек, за что Николай Артемьевич гневается на меня? Ведь я с ним сегодня целое утро провел у его немки; ведь мы сегодня втроем пели «Не отходи от меня»[38], вот бы вы послушали. Вас, кажется, это берет. Пели мы, сударь мой, пели – ну и скучно мне стало; вижу я: дело неладно, нежности много. Я и начал дразнить обоих. Хорошо вышло. Сперва она на меня рассердилась, а потом на него; а потом он на нее рассердился и сказал ей, что он только дома счастлив и что у него там рай; а она ему сказала, что он нравственности не имеет; а я ей сказал: «Ах!» по-немецки; он ушел, а я остался; он приехал сюда, в рай то есть, а в раю ему

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
тошно. Вот он и принялся брюзжать. Ну-с, кто теперь, по-вашему, виноват?

– Конечно, ты, – возразил Увар Иванович.

Шубин уставился на него.

– Осмелюсь спросить у вас, почтенный витязь, – начал он подобострастным голосом, – эти загадочные слова вы изволили произнести вследствие какого-либо соображения вашей мыслительной способности или же под наитием мгновенной потребности произвести сотрясение в воздухе, называемое звуком?

– Не искушай, говорят! – простонал Увар Иванович.

Шубин засмеялся и выбежал вон.

– Эй! – воскликнул четверть часа спустя Увар Иванович, – того... рюмку водки.

Казачок принес водки и закуски на подносе. Увар Иванович тихонько взял с подноса рюмку и долго, с усиленным вниманием глядел на нее, как будто не понимая хорошенько, что у него такое в руке. Потом он посмотрел на казачка и спросил: не Васькой ли его зовут? Потом он принял огорченный вид, выпил водки, закусил и полез доставать носовой платок из кармана. Но казачок уже давно отнес поднос и графин на место, и остаток селедки съел, и уже успел соснуть, прикорнув к барскому пальто, а Увар Иванович все еще держал платок перед собою на растопыренных пальцах и с тем же усиленным вниманием посматривал то в окно, то на пол и стены.

IX

Шубин вернулся к себе во флигель и раскрыл было книгу. Камердинер Николая Артемьевича осторожно вошел в его комнату и вручил ему небольшую треугольную записку, запечатанную крупной гербовой печатью. «Я надеюсь, – стояло в этой записке, – что вы, как честный человек, не позволите себе намекнуть даже единым словом на некоторый вексель, о котором была сегодня утром речь. Вам известны мои отношения и мои правила, незначительность самой суммы и другие обстоятельства; наконец, есть семейные тайны, которые должно уважать, и семейное спокойствие есть такая святыня, которую одни *etres sans coeur*[39], к которым я не имею причины вас причислить, отвергают! (Сию записку возвратите.) Н. С.».

Шубин начертил внизу карандашом: «Не беспокойтесь – я еще пока платков из карманов не таскаю»; возвратил записку камердинеру и снова взялся за книгу. Но она скоро выскользнула у него из рук. Он посмотрел на заалевшее небо, на две молодые могучие сосны, стоявшие особняком от остальных деревьев, подумал: «Днем сосны синеватые бывают, а какие они великолепно зеленые вечером», – и отправился в сад, с тайною надеждой встретить там Елену. Он не обманулся. Впереди, на дороге между кустами, мелькнуло ее платье. Он нагнал ее и, поравнявшись с нею, промолвил:

– Не глядите в мою сторону, я не стою.

Она бегло взглянула на него, бегло улыбнулась и пошла дальше, в глубь сада. Шубин отправился вслед за нею.

– Я прошу вас не смотреть на меня, – начал он, – а заговариваю с вами: противоречие явное! Но это все равно, мне не впервой. Я сейчас вспомнил, что я еще не попросил у вас как следует прощения в моей глупой вчерашней выходке. Вы не сердитесь на меня, Елена Николаевна?

Она остановилась и не тотчас отвечала ему – не потому, чтоб она сердилась, а ее мысли были далеко.

– Нет, – сказала она наконец, – я нисколько не сержусь.

Шубин закусил губу.

– Какое озабоченное... и какое равнодушное лицо! – пробормотал он. – Елена Николаевна, – продолжал он, возвысив голос, – позвольте мне рассказать вам маленький анекдотец. У меня был приятель, а у этого приятеля был тоже приятель, который сперва вел себя, как следует порядочному человеку, а потом запил. Вот

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru) однажды рано поутру мой приятель встречает его на улице (а уж они, заметьте, раззнакомились), встречает его и видит, что он пьян. Мой приятель взял да отвернулся от него. А тот-то подошел, да и говорит: «Я бы не рассердился, говорит, если б вы не поклонились, но зачем отворачиваться? Может быть, это я с горя. Мир моему праху!»

Шубин умолк.

– И только? – спросила Елена.

– Только.

– Я вас не понимаю. На что вы намекаете? Сейчас вы говорили мне, чтоб я не глядела в вашу сторону.

– Да, а теперь я вам рассказал, как нехорошо отворачиваться.

– Да разве я... – начала было Елена.

– А разве нет?

Елена слегка покраснела и протянула Шубину руку. Он крепко пожал ее.

– Вот вы меня как будто поймали на дурном чувстве, – сказала Елена, – а ваше подозрение несправедливо. Я и не думала чуждаться вас.

– Положим, положим. Но сознайтесь, что у вас в эту минуту тысяча мыслей в голове, из которых вы мне ни одной не поверите. Что? небось не правду я сказал?

– Может быть.

– Да отчего же это? отчего?

– Мои мысли мне самой не ясны, – проговорила Елена.

– Тут-то их и доверять другому, – подхватил Шубин. – Но я вам скажу, в чем дело. Вы дурного мнения обо мне.

– Я?

– Да, вы. Вы воображаете, что во мне все наполовину притворно, потому что я художник; что я не способен не только ни на какое дело, – в этом вы, вероятно, правы, – но даже ни к какому истинному, глубокому чувству: что я и плакать-то искренно не могу, что я болтун и сплетник, – и все потому, что я художник. Что же мы после этого за несчастные, богом убитые люди? Вы, например, я побожиться готов, не верите в мое раскаяние.

– Нет, Павел Яковлевич, я верю в ваше раскаяние, и в ваши слезы я верю. Но мне кажется, самое ваше раскаяние вас забавляет, да и слезы тоже.

Шубин дрогнул.

– Ну, я вижу, это, как выражаются доктора, неизлечимый казус, *casus incurabilis*. Тут остается только поникнуть головой да покориться. А между тем, Господи! неужели это правда, неужели же я все с собой вожусь, когда рядом живет такая душа? И знать, что никогда не проникнешь в эту душу, никогда не будешь ведать, отчего она грустит, отчего она радуется, что в ней бродит, чего ей хочется, куда она идет... Скажите, – промолвил он после небольшого молчания, – вы никогда, ни за что, ни в каком случае не полюбили бы художника?

Елена посмотрела ему прямо в глаза.

– Не думаю, Павел Яковлевич; нет.

– Что и требовалось доказать, – проговорил с комической унылостью Шубин. – Засим, я полагаю, мне приличнее не мешать вашей уединенной прогулке. Профессор спросил бы вас: а на основании каких данных вы сказали: нет? Но я не профессор, я дитя, по вашим понятиям; но от детей не отворачиваются, помните. Прощайте. Мир

моему праху!

Елена хотела было остановить его, но подумала и тоже сказала:

– Прощайте.

Шубин вышел со двора. В недалеком расстоянии от дачи Стаховых встретился ему Берсенева. Он шел проворными шагами, наклонив голову и сдвинув шляпу на затылок.

– Андрей Петрович! – крикнул Шубин.

Тот остановился.

– Ступай, ступай, – продолжал Шубин, – я только так, я тебя не задерживаю, – и проберись прямо в сад; там ты найдешь Елену. Она, кажется, тебя ждет... кого-то она ждет во всяком случае... Понимаешь ты силу этих слов: она ждет! А знаешь, брат, какое удивительное обстоятельство? Представь, вот уже два года, как я живу с ней в одном доме, я в нее влюблен, и только сейчас, сию минуту, не то что понял, а увидел ее. Увидел и руки расставил. Не взирай на меня, пожалуйста, с этой лжезвательной усмешкой, которая мало идет к твоим степенным чертам. Ну да, разумею, ты хочешь напомнить мне об Аннушке. Что ж? Я не отказываюсь. Нашему брату Аннушки под стать. Да здравствуют же Аннушки, и Зои, и самые даже Августины Христиановны! Ты ступай к Елене теперь, а я отправлюсь... ты думаешь, к Аннушке? Нет, брат, хуже: к князю Чикурасову. Есть такой меценат из казанских татар, вроде Волгина. Видишь ты это пригласительное письмо, эти буквы: R. S. V. P.?[40] в деревне мне нет покоя! Addio[41].

Берсенева выслушал тираду Шубина молча и как будто конфузясь немножко за него, потом он вошел на двор стаховской дачи. А Шубин действительно поехал к князю Чикурасову, которому наговорил, с самым любезным видом, самых колких дерзостей. Меценат из казанских татар хохотал, гости мецената смеялись, а никому не было весело и, расставшись, все злились. Так два малознакомых господина, встретившись на Невском, внезапно оскалят друг перед другом зубы, приторно съезжат глаза, нос и щеки и тотчас же, миновав друг друга, принимают прежнее, равнодушное или угрюмое, большею частью геморроидальное, выражение.

Х

Елена дружелюбно встретила Берсенева, уже не в саду, а в гостиной, и тотчас же, почти нетерпеливо, возобновила вчерашний разговор. Она была одна: Николай Артемьевич тихонько скрылся куда-то, Анна Васильевна лежала наверху с мокрой повязкой на голове. Зоя сидела возле нее, аккуратно расправив юбку и сложив на коленях ручки; Увар Иванович почивал в мезонине на широком и удобном диване, получившем прозвище «Самосон». Берсенева снова упомянул о своем отце: он свято чтит его память. Скажем и мы несколько слов о нем.

Владелец восьмидесяти двух душ, которых он освободил перед смертью, илюминат[42], старый геттингенский студент[43], автор рукописного сочинения о «Преступлениях или преобразованиях духа в мире», сочинения, в котором шеллингианизм, сведенборгианизм[44] и республиканизм смешались самым оригинальным образом, отец Берсенева привез его в Москву еще мальчиком, тотчас после кончины его матери, и сам занялся его воспитанием. Он подготовлялся к каждому уроку, трудился необыкновенно добросовестно и совершенно неуспешно: он был мечтатель, книжник, мистик, говорил с запинкой, глухим голосом, выражался темно и кудряво, все больше сравнениями, дичился даже сына, которого любил страстно. Не мудрено, что сын только хлопал глазами за его уроками и не подвигался ни на волос. Старик (ему было под пятьдесят лет, он женился очень поздно) догадался, наконец, что дело не идет на лад, и поместил своего Андрюшу в пансион. Андрюша стал учиться, но из-под родительского присмотра не вышел: отец навещал его беспрестанно, надоедая содержателю своими наставлениями и беседами; надзиратели также тяготились незваным гостем: он то и дело приносил им какие-то, по их словам, премудреные книги о воспитании. Даже школьникам становилось неловко при виде смуглого и рябого лица старика, его тощей фигуры, постоянно облеченной в какой-то вострополый серый фрак. Школьники не подозревали тогда, что этот угрюмый, никогда не улыбающийся господин, с журавлиной походкой и длинным носом – сердцем сокрушался и болел о каждом из них почти так же, как о собственном сыне. Он однажды вздумал побеседовать с ними о Вашингтоне[45]. «Юные питомцы!» – начал он, но при первых звуках его странного голоса юные питомцы разбежались. Честный геттингенец жил не на розах: он был постоянно подавлен

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru) ходом истории, всякого рода вопросами и соображениями. Когда молодой Берсенеv поступил в университет, он ездил с ним на лекции; но уже здоровье начинало изменять ему. События 48-го года потрясли его до основания (надо было всю книгу переделать), и он умер зимой 53-го года, не дождавшись выхода сына из университета, но заранее поздравив его кандидатом и благословив его на служение науке. «Передаю тебе светоч, – говорил он ему за два часа до смерти, – я держал его, покамест мог, не выпускай и ты сей светоч до конца».

Берсенеv долго говорил с Еленой о своем отце. Неловкость, которую он чувствовал в ее присутствии, исчезла, и пришепетывал он не так сильно. Разговор перешел к университету.

– Скажите, – спросила его Елена, – между вашими товарищами были замечательные люди?

Берсенеv вспомнил слова Шубина.

– Нет, Елена Николаевна, сказать вам по правде, не было между нами ни одного замечательного человека. Да и где! Было, говорят, время в Московском университете! [46] Только не теперь. Теперь это училище – не университет. Мне было тяжело с моими товарищами, – прибавил он, понизив голос.

– Тяжело?.. – прошептала Елена.

– Впрочем, – продолжал Берсенеv, – я должен оговориться. Я знаю одного студента, – правда, он не моего курса, – это действительно замечательный человек.

– Как его зовут? – с живостью спросила Елена.

– Инсаров. Дмитрий Никанорыч. Он болгар.

– Не русский?

– Нет, не русский.

– Зачем же он живет в Москве?

– Он приехал сюда учиться. И знаете ли, с какою целью он учится? У него одна мысль: освобождение его родины. И судьба его необыкновенная. Отец его был довольно зажиточный купец, родом из Тырнова. Тырнов теперь небольшой городок, а в старину это была столица Болгарии, когда еще Болгария была независимым королевством. Торговал он в Софии, имел сношения с Россией; сестра его, родная тетка Инсарова, до сих пор живет в Клеве, замужем за старшим учителем истории в тамошней гимназии. В тысяча восемьсот тридцать пятом году, стало быть восемнадцать лет тому назад, совершилось ужасное злодеяние: мать Инсарова вдруг пропала без вести; через, неделю ее нашли зарезанною. – Елена содрогнулась. Берсенеv остановился.

– Продолжайте, продолжайте, – проговорила она.

– Ходили слухи, что ее похитил и убил турецкий ага [47]; ее муж, отец Инсарова, дознался правды, хотел отомстить, но он только ранил кинжалом ату... Его расстреляли.

– Расстреляли? без суда?

– Да. Инсарову в то время пошел восьмой год. Он остался на руках у соседей. Сестра узнала об участии братниного семейства и пожелала иметь племянника у себя. Его доставили в Одессу, а оттуда в Клев. В Клеве он прожил целых двенадцать лет. Оттого он так хорошо говорит по-русски.

– Он говорит по-русски?

– Как мы с вами. Когда ему минуло двадцать лет (это было в начале сорок восьмого года), он пожелал вернуться на родину. Был в Софии и Тырнове, всю Болгарию исходил вдоль и поперек, провел в ней два года, выучился опять родному языку. Турецкое правительство преследовало его, и он, вероятно, в эти два года подвергался большим опасностям; я раз увидел у него на шее широкий рубец, должно

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru) быть след раны; но он об этом говорить не любит. Он тоже в своем роде молчальник. Я пытался его расспрашивать – не тут-то было. Отвечает общими фразами. Он ужасно упрям. В пятидесятом году он опять приехал в Россию, в Москву, с намерением образоваться вполне, сблизиться с русскими, а потом, когда он выйдет из университета...

– Что же тогда? – перебила Елена.

– А что Бог даст. Мудрено вперед загадывать.

Елена долго не спускала глаз с Берсенева.

– Вы очень заинтересовали меня своим рассказом, – промолвила она. – Каков он из себя, этот ваш, как вы его назвали... Инсаров?

– Как вам сказать? по-моему, недурен. Да вот вы сами его увидите.

– Как так?

– Я его приведу сюда, к вам. Он послезавтра переезжает в нашу деревеньку и будет жить со мной на одной квартире.

– Неужели? Да захочет ли он прийти к нам?

– Еще бы! Он очень будет рад.

– Он не горд?

– Он? Нимало. То есть, если хотите, он горд, только не в том смысле, как вы понимаете. Денег он, например, займы ни от кого не возьмет.

– А он беден?

– Да, небогат. Ездивши в Болгарию, он собрал кой-какие крохи, уцелевшие от отцовского достояния, и тетка ему помогает; но все это безделица.

– У него, должно быть, много характера, – заметила Елена.

– Да. Это железный человек. И в то же время, вы увидите, в нем есть что-то детское, искреннее, при всей его сосредоточенности и даже скрытности. Правда, его искренность – не наша дрянная искренность, искренность людей, которым скрывать решительно нечего... Да вот я его к вам приведу, погодите.

– И не застенчив он? – спросила опять Елена.

– Нет, не застенчив. Одни самолюбивые люди застенчивы.

– А разве вы самолюбивы?

Берсенева смешался и развел руками.

– Вы возбуждаете мое любопытство, – продолжала Елена. – Ну, а скажите, не отомстил он этому турецкому аге?

Берсенева улыбнулся.

– Мстят только в романах, Елена Николаевна; да и притом в двенадцать лет этот ага мог умереть.

– Однако господин Инсаров вам ничего об этом не говорил?

– Ничего.

– Зачем он ездил в Софию?

– Там отец его жил.

Елена задумалась.

– Освободить свою родину! – промолвила она. – Эти слова даже выговорить страшно, так они велики...

В это мгновение вошла в комнату Анна Васильевна, и разговор прекратился.

Странные ощущения волновали Берсенева, когда он возвращался домой в тот вечер. Он не раскаивался в своем намерении познакомить Елену с Инсаровым, он находил весьма естественным то глубокое впечатление, которое произвели на нее его рассказы о молодом болгаре... не сам ли он старался усилить это впечатление! Но тайное и темное чувство скрыто гнездились в его сердце; он грустил нехорошою грустью. Эта грусть не помешала ему, однако, взяться за историю Гогенштауфенов и начать читать ее с самой той страницы, на которой он остановился накануне.

## XI

Два дня спустя Инсаров, по обещанию, явился к Берсеневу с своею поклажей. Слуги у него не было, но он без всякой помощи привел свою комнату в порядок, уставил мебель, подтер пыль и вымет пол. Особенно долго возился он с письменным столом, который никак не хотел поместиться в назначенный для него простенок; но Инсаров, с свойственною ему молчаливою настойчивостью, добился своего. Устроившись, он попросил Берсенева взять с него десять рублей вперед и, вооружившись толстой палкой, отправился осматривать окрестности своего нового жилища. Он вернулся часа через три и на приглашение Берсенева разделить с ним его трапезу отвечал, что он не отказывается обедать с ним сегодня, но что он уже переговорил с хозяйкой дома и будет вперед получать свою еду от нее.

– Помилуйте, – возразил Берсенов, – вас будут скверно кормить: эта баба совсем стряпать не умеет. Отчего вы не хотите обедать со мной? Мы бы расход пополам делили.

– Мои средства не позволяют мне обедать так, как вы обедаете, – отвечал с спокойной улыбкой Инсаров.

В этой улыбке было что-то такое, что не позволяло настаивать: Берсенов слова не прибавил. После обеда он предложил Инсарову свести его к Стаховым; но тот отвечал, что располагает посвятить весь вечер на переписку с своими болгарскими друзьями и потому просит его отсрочить посещение Стаховых до другого дня. Непреклонность воли Инсарова была уже прежде известна Берсеневу: но только теперь, находясь с ним под одной кровлей, он мог окончательно убедиться в том, что Инсаров никогда не менял никакого своего решения, точно так же как никогда не откладывал исполнения данного обещания. Берсеневу, как коренному русскому человеку, эта более чем немецкая аккуратность сначала казалась несколько дикою, немножко даже смешною; но он скоро привык к ней и кончил тем, что находил ее если не почтенною, то по крайней мере весьма удобною.

На второй день после своего переселения Инсаров встал в четыре часа утра, обегал почти все Кунцево, искупался в реке, выпил стакан холодного молока и принялся за работу; а работы у него было немало: он учился и русской истории, и праву, и политической экономии, переводил болгарские песни и летописи, собирал материал о восточном вопросе, составлял русскую грамматику для болгар, болгарскую для русских. Берсенов зашел к нему и потолковал с ним о Фейербахе [48]. Инсаров слушал его внимательно, возражал редко, но дельно; из возражений его видно было, что он старался дать самому себе отчет в том, нужно ли ему заняться Фейербахом, или же можно обойтись без него. Берсенов навел потом речь на его занятия и спросил: не покажет ли он ему что-нибудь?

Инсаров прочел ему свой перевод двух или трех болгарских песен и пожелал узнать его мнение. Берсенов нашел перевод правильным, но не довольно оживленным. Инсаров принял его замечание к сведению. От песен Берсенов перешел к современному положению Болгарии, и тут он впервые заметил, какая совершалась перемена в Инсарове при одном упоминании его родины: не то чтобы лицо его разгоралось или голос возвышался – нет! но все существо его как будто крепло и стремилось вперед, очертание губ обозначалось резче и неумолимо, а в глубине глаз зажигался какой-то глухой, неугасимый огонь. Инсаров не любил распространяться о собственной своей поездке на родину, но о Болгарии вообще говорил охотно со всяким. Он говорил не спеша о турках, об их притеснениях, о горе и бедствиях своих сограждан, об их надеждах; сосредоточенная обдуманность единой и давней страсти слышалась в каждом его слове.



«А ведь чего доброго, – подумал между тем Берсенева, – турецкий ага, пожалуй, поплатился ему за смерть матери и отца».

Инсаров не успел еще умолкнуть, как дверь растворилась и на пороге появился Шубин.

Он вошел в комнату как-то слишком развязно и добродушно; Берсенева, который знал его хорошо, тотчас понял, что его что-то коробило.

– Рекомендуюсь без церемоний, – начал он с светлым и открытым выражением лица, – моя фамилия Шубин; я приятель вот этого молодого человека. (Он указал на Берсенева.) Ведь вы господин Инсаров, не так ли?

– Я Инсаров.

– Так дайте же руку и познакомимся. Не знаю, говорил ли вам Берсенева обо мне, а мне он много говорил об вас. Вы здесь поселились? Отлично! Не сердитесь на меня, что я так пристально на вас гляжу. Я по ремеслу моему ваятель и предвижу, что в скором времени попрошу у вас позволение слепить вашу голову.

– Моя голова к вашим услугам, – проговорил Инсаров.

– Что же мы делаем сегодня, а? – заговорил Шубин, внезапно садясь на низенький стул и опираясь обеими руками на широко расставленные колени. – Андрей Петрович, есть какой-нибудь план на нынешний день у вашего благородия? Погода славная; сеном и сухой земляникой пахнет так... словно грудной чай пьешь. Надо бы сочинить какой-нибудь фокус. Покажем новому обитателю Кунцева все его многочисленные красоты. («А его коробит», – продолжал думать про себя Берсенева.) Ну, что ж ты молчишь, мой друг Горацио[49]? Раскрой свои вещие уста. Сочиним мы фокус или нет?

– Я не знаю, – заметил Берсенева, – как Инсаров. Он, кажется, собирается работать.

Шубин повернулся на стуле.

– Вы хотите работать? – спросил он как-то в нос.

– Нет, – отвечал тот, – нынешний день я могу посвятить прогулке.

– А! – промолвил Шубин. – Ну и прекрасно. Ступайте, друг мой Андрей Петрович, прикройте шляпой вашу мудрую голову, и пойдете куда глаза глядят. Наши глаза молодые – глядят далеко. Я знаю трактирчик пресквернейший, где нам дадут обедешко препакошный; а нам будет очень весело. Пойдемте.

Полчаса спустя они все трое шли по берегу Москвы-реки. У Инсарова оказался довольно странный, ушастый картуз, от которого Шубин пришел в не совсем естественный восторг. Инсаров выступал не спеша, глядел, дышал, говорил и улыбался спокойно: он отдал этот день удовольствию и наслаждался вполне. «Благоразумные мальчики так гуляют по воскресеньям», – шепнул Шубин Берсенева на ухо. Сам Шубин очень дурачился, выбегал вперед, становился в позы известных статуй, кувыркался на траве: спокойствие Инсарова не то чтобы раздражало его, а заставляло его кривляться. «Что ты так егозишь, француз!» – раза два заметил ему Берсенева. «Да, я француз, полуфранцуз, – возражал ему Шубин, – а ты держи середину между шуткою и серьезом, как говаривал мне один половой». Молодые люди повернули прочь от реки и пошли по узкой и глубокой рывтине между двумя стенами золотой высокой ржи; голубоватая тень падала на них от одной из этих стен; лучистое солнце, казалось, скользило по верхушкам колосьев; жаворонки пели, перепела кричали; повсюду зеленели травы; теплый ветерок шевелил и поднимал их листья, качал головки цветов.

После долгих странствований, отдыхов, болтовни (Шубин пробовал даже играть в чехарду с каким-то прохожим беззубым мужичком, который все смеялся, что с ним ни делали господа) молодые люди добрались до «сквернейшего» трактирчика. Слуга чуть

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru) не сшиб каждого из них с ног и действительно накормил их очень дурным обедом, с каким-то забалканским вином, что, впрочем, не мешало им веселиться от души, как предсказывал Шубин; сам он веселился громче всех – и меньше всех. Он пил здоровье непонятого, но великого Венелина[50], здоровье болгарского короля Крума[51], Хрума или Хрома, жившего чуть не в Адамовы времена.

– В девятом столетии, – поправил его Инсаров.

– В девятом столетии? – воскликнул Шубин. – О, какое счастье!

Берсенева заметил, что посреди всех своих проказ, выходок и шуток Шубин все как будто бы экзаменовал Инсарова, как будто щупал его и волновался внутренне, – а Инсаров оставался по-прежнему спокойным и ясным.

Наконец они вернулись домой, переоделись и, чтобы уже не выходить из колеи, в которую попали с утра, решились отправиться в тот же вечер к Стаховым. Шубин побежал вперед известить об их приходе.

### XII

– Ирой Инсаров сейчас сюда пожалует! – торжественно воскликнул он, входя в гостиную Стаховых, где в ту минуту находились только Елена да Зоя.

– Wer?[52] – спросила по-немецки Зоя. Взятая врасплох, она всегда выражалась на родном языке. Елена выпрямилась. Шубин поглядел на нее с игривою улыбкой на губах. Ей стало досадно, но она ничего не сказала.

– Вы слышали, – повторил он, – господин Инсаров сюда идет.

– Слышала, – отвечала она, – и слышала, как вы его назвали. Удивляюсь вам, право. Нога господина Инсарова еще здесь не была, а вы уже считаете за нужное ломаться.

Шубин вдруг опустился.

– Вы правы, вы всегда правы, Елена Николаевна, – пробормотал он, – но это я только так, ей-богу. Мы целый день с ним вместе гуляли, и он, я уверяю вас, отличный человек.

– Я об этом вас не спрашивала, – промолвила Елена и встала.

– Господин Инсаров молод? – спросила Зоя.

– Ему сто сорок четыре года, – отвечал с досадой Шубин.

Казачок доложил о приходе двух приятелей. Они вошли. Берсенева представил Инсарова. Елена попросила их сесть и сама села, а Зоя отправилась наверх: надо было предупредить Анну Васильевну. Начался разговор, довольно незначительный, как все первые разговоры. Шубин наблюдал молчком из уголка, но наблюдать было не за чем. В Елене он замечал следы сдержанной досады против него, Шубина, – и только. Он глядел на Берсенева и на Инсарова и, как ваятель, сравнивал их лица. «Оба, – думал он, – не красивы собой: у болгара характерное, скульптурное лицо; вот теперь оно хорошо осветилось; у великоросса просится больше в живопись: линий нету, физиономия есть. А пожалуй, и в того и в другого влюбиться можно. Она еще не любит, но полюбит Берсенева», – решил он про себя. Анна Васильевна появилась в гостиную, и разговор принял оборот совершенно дачный, именно дачный, не деревенский. То был разговор весьма разнообразный по обилию обсуждаемых предметов; но коротенькие, довольно томительные паузы прерывали его каждые три минуты. В одну из этих пауз Анна Васильевна обратилась к Зое. Шубин понял ее немой намек и скорчил кислую рожу, а Зоя села за фортепьяно, сыграла и спела все свои штучки. Увар Иванович показался было из-за двери, но пошевелил перстами и отретировался. Потом подали чай, потом прошлись всем обществом по саду... На дворе стемнело, и гости удалились.

Инсаров действительно произвел на Елену меньше впечатления, чем она сама ожидала, или, говоря точнее, он произвел на нее не то впечатление, которого ожидала она. Ей понравилась его прямота и непринужденность, и лицо его ей понравилось; но все существо Инсарова, спокойно твердое и обыденно простое, как-то не ладилось с тем образом, который составилась у нее в голове от рассказов

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
Берсенева. Елена, сама того не подозревая, ожидала чего-то более «фатального». «Но, – думала она, – он сегодня говорил очень мало, я сама виновата; я не расспрашивала его; подождем до другого раза... а глаза у него выразительные, честные глаза». Она чувствовала, что ей не преклониться перед ним хотелось, а подать ему дружески руку, и она недоумевала: не таким воображала она себе людей, подобных Инсарову, «героев». Это последнее слово напомнило ей Шубина, и она, уже лежа в постели, вспыхнула и рассердилась.

– Как вам понравились ваши новые знакомые? – спросил на возвратном пути Берсенева у Инсарова.

– Они мне очень понравились, – отвечал Инсаров, – особенно дочь. Славная, должно быть, девушка. Она волнуется, но в ней это хорошее волнение.

– Надо будет к ним ходить почаще, – заметил Берсенева.

– Да, надо, – проговорил Инсаров и ничего больше не сказал до самого дома. Он тотчас заперся в своей комнате, но свеча горела у него далеко за полночь.

Берсенева не успел еще прочесть страницу из Раумера, как горсть брошенного мелкого песка стукнула о стекла его окна. Он невольно вздрогнул, раскрыл окно и увидел Шубина, бледного, как полотно.

– Экой ты неугомонный! ночная ты бабочка! – начал было Берсенева.

– Тсс! – перебил его Шубин, – я пришел к тебе украдкой, как Макс к Агате [53]. Мне непременно нужно сказать тебе два слова наедине.

– Да войди же в комнату.

– Нет, не нужно, – возразил Шубин и облокотился на оконницу, – этак веселее, более на Испанию похоже.

Во-первых, поздравляю тебя: твои акции поднялись. Твой хваленый необыкновенный человек провалился. За это я тебе поручиться могу. А чтоб тебе доказать мою беспристрастность, слушай: вот формулярный список господина Инсарова. Талантов никаких, поэзии нема, способностей к работе пропасть, память большая, ум не разнообразный и не глубокий, но здоровый и живой: сушь и сила, и даже дар слова, когда речь идет об его, между нами сказать, скучнейшей Болгарии. Что? ты скажешь, я несправедлив? Еще замечание: ты с ним никогда на ты не будешь, и никто с ним на ты не бывал; я, как артист, ему противен, чем я горжусь. Сушь, сушь, а всех нас в порошок стереть может. Он с своею землею связан – не то, что наши пустые сосуды, которые ластятся к народу: влейся, мол, в нас, живая вода! Зато и задача его легче, удобопонятнее: стоит только турок вытурить, велика штука! Но все эти качества, слава Богу, не нравятся женщинам. Обаяния нет, шарму; не то, что в нас с тобой.

– К чему ты меня приплел? – пробормотал Берсенева. – И в остальном ты не прав: ты ему несколько не противен, и с своими соотечественниками он на ты... я это знаю.

– Это другое дело! Для них он герой; а, признаться сказать, я себе героев иначе представляю: герой не должен уметь говорить: герой мычит, как бык; зато двинет рогом – стены валятся. И он сам не должен знать, зачем он двигает, а двигает. Впрочем, может быть, в наши времена требуются герои другого калибра.

– Что тебя Инсаров так занимает? – спросил Берсенева. – Неужели ты только для того прибежал сюда, чтоб описать мне его характер?

– Я пришел сюда, – начал Шубин, – потому что мне дома очень было грустно.

– Вот как! Уж не хочешь ли ты опять заплакать?

– Смейся! Я пришел сюда, потому что я готов локти себе кусать, потому что отчаяние меня грызет, досада, ревность...

– Ревность? к кому?

– К тебе, к нему, ко всем. Меня терзает мысль, что если б я раньше понял ее,

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
если б я умеючи взялся за дело... Да что толковать! Кончится тем, что я буду все смеяться, дурачиться, ломаться, как она говорит, а там возьму да удавлюсь.

– Ну, удавиться ты не удавишься, – заметил Берсенеv.

– В такую ночь, конечно, нет; но дай нам только дожить до осени. В такую ночь люди умирают тоже, только от счастья. Ах, счастье! Каждая вытянутая через дорогу тень от дерева так, кажется, и шепчет теперь: «Знаю я, где счастье... Хочешь, скажу?» Я бы позвал тебя гулять, да ты теперь под влиянием прозы. Спи, и да снятся тебе математические фигуры! А у меня душа разрывается. Вы, господа, видите, что человек смеется, значит, по-вашему, ему легко; вы можете доказать ему, что он самому себе противоречит, – значит, он не страдает... Бог с вами!

Шубин быстро отошел от окошка. «Аннушка!» – хотел было крикнуть ему вслед Берсенеv, но удержался: на Шубине действительно лица не было. Минуты две спустя Берсенеvu даже почудились рыдания: он встал, отворил окно; все было тихо; только где-то вдали какой-то, должно быть, проезжий мужичок тянул Степь Моздокскую.

### XIII

В течение первых двух недель после переселения Инсарова в соседство Кунцево он не более четырех или пяти раз посетил Стаховых; Берсенеv ходил к ним через день. Елена всегда ему была рада, всегда завязывалась между им и ею живая и интересная беседа, и все-таки он возвращался домой часто с печальным лицом. Шубин почти не показывался; он с лихорадочною деятельностью занялся своим искусством: либо сидел взаперти у себя в комнате и выскакивал оттуда в блузе, весь выпачканный глиной, либо проводил дни в Москве, где у него была студия, куда приходили к нему модели и итальянские формовщики, его приятели и учителя. Елена ни разу не поговорила с Инсаровым так, как бы она хотела; в его отсутствие она готовилась расспросить его о многом, но, когда он приходил, ей становилось совестно своих приготовлений. Самое спокойствие Инсарова ее смущало: ей казалось, что она не имеет права заставить его высказываться, и она решалась ждать; со всем тем она чувствовала, что с каждым его посещением, как бы незначительны ни были обмененные между ними слова, он привлекал ее более и более; но ей не пришлось остаться с ним наедине, а чтобы сблизиться с человеком – нужно хоть однажды побеседовать с ним с глазу на глаз. Она много говорила о нем с Берсенеvым. Берсенеv понимал, что воображение Елены поражено Инсаровым, и радовался, что его приятель не провалился, как утверждал Шубин; он с жаром, до малейших подробностей, рассказывал ей все, что знал о нем (мы часто, когда сами хотим понравиться другому человеку, превозносим в разговоре с ним наших приятелей, почти никогда притом не подозревая, что мы тем самих себя хвалим), и лишь изредка, когда бледные щеки Елены слегка краснели, а глаза светлели и расширялись, та нехорошая, уже им испытанная, грусть щемила его сердце.

Однажды Берсенеv пришел к Стаховым не в обычную пору, часу в одиннадцатом утра. Елена вышла к нему в залу.

– Вообразите себе, – начал он с принужденной улыбкой, – наш Инсаров пропал.

– Как пропал? – проговорила Елена.

– Пропал. Третьего дня вечером ушел куда-то, и с тех пор его нет.

– Он не сказал вам, куда он пошел?

– Нет.

Елена опустила на стул.

– Он, вероятно, в Москву отправился, – промолвила она, стараясь казаться равнодушной, в то же время сама дивясь тому, что она старается казаться равнодушной.

– Не думаю, – возразил Берсенеv. – Он ушел не один.

– С кем же?

– К нему третьего дня, перед обедом, явились два каких-то человека, должно быть его соотечественники.

– Болгары? почему вы это думаете?

– А потому, что, сколько я мог расслышать, они говорили с ним на языке, мне неизвестном, но славянском.. Вот вы все находите, Елена Николаевна, что в Инсарове таинственного мало: уж на что таинственнее этого посещения? Представьте: вошли к нему – и ну кричать и спорить, да так дико, злобно.. И он кричал.

– И он?

– И он. Кричал на них. Они как будто жаловались друг на друга. И если б вы взглянули на этих посетителей! Лица смуглые, широкоскулые, тупые, с ястребиными носами, лет каждому за сорок, одеты плохо, в пыли, в поту, с виду ремесленники – не ремесленники и не господа.. Бог знает, что за люди.

– И он с ними отправился?

– С ними. Накормил их да ушел с ними. Хозяйка мне сказывала, – они вдвоем целый огромный горшок каши съели. Так, говорит, вперегонку и глотали, словно волки.

Елена слабо усмехнулась.

– Вы увидите, – промолвила она, – все это разрешится чем-нибудь очень прозаическим.

– Дай Бог! Только напрасно вы употребили это слово...В Инсарове нет ничего прозаического, хотя Шубин и уверяет..

– Шубин! – перебила Елена и пожала плечом. – Но сознайтесь, что эти два господина, глотающие кашу..

– И фемистокл[54] ел накануне Саламинского сражения, – с улыбкой заметил Берсенева.

– Так; но зато на другой день и было сражение. А вы все-таки дайте мне знать, когда он вернется, – прибавила Елена и попыталась переменить разговор, но разговор не клеился.

Появилась Зоя и стала ходить по комнате на цыпочках, давая тем знать, что Анна Васильевна еще не проснулась.

Берсенева ушел.

В тот же день, вечером, принесли от него записку Елене. «Вернулся, – писал он ей, – загорелый и в пыли по самые брови; но зачем и куда ездил, не знаю; не узнаете ли вы?»

– Не узнаете ли вы! – прошептала Елена. – Разве он говорит со мной?

#### XIV

На следующий день, часу во втором, Елена стояла в саду перед небольшою закуткой, где у ней воспитывались два дворовые щенка. (Садовник нашел их заброшенными под забором и принес их барышне, про которую ему сказали прачки, что она, мол, всяких зверей и скотов жалует. Он не ошибся в расчете: Елена дала ему четвертак.) Она заглянула в закутку, убедилась, что щенки живы и здоровы и что солому им постлали свежую, обернулась и чуть не вскрикнула: прямо к ней, по аллее, шел Инсаров, один.

– Здравствуйте, – промолвил он, приближаясь к ней и снимая картуз. Она заметила, что он точно сильно загорел в последние три дня. – Я хотел прийти сюда с Андреем Петровичем, да он что-то замешкался; вот я и отправился без него. В доме у вас никого нет: все спят или гуляют, я и пришел сюда.

– Вы как будто извиняетесь, – отвечала Елена. – Это совсем не нужно. Мы все очень рады вас видеть.. Сядемте тут на скамейке, в тени.

Она села. Инсаров поместился возле нее.

– Вас, кажется, дома не было в это время? – начала она.

– Да, – отвечал он, – я уходил.. Вам Андрей Петрович сказывал?

Инсаров глянул на нее, улыбнулся и начал играть картузом. Улыбаясь, он быстро моргал глазами и выдвигал вперед губы, что придавало ему очень добродушный вид.

– Андрей Петрович, вероятно, вам также сказал, что я ушел с какими-то.. безобразными людьми, – проговорил он, продолжая улыбаться.

Елена немного смутилась, но тотчас почувствовала, что Инсарову надо всегда говорить правду.

– Да, – сказала она решительно.

– Что же вы подумали обо мне? – спросил он ее вдруг.

Елена подняла на него глаза.

– Я подумала, – промолвила она.. – я подумала, что вы всегда знаете, что делаете, и что вы ничего дурного не в состоянии сделать.

– Ну, и спасибо вам за это. Вот видите ли, Елена Николаевна, – начал он, как-то доверчиво подсаживаясь к ней, – наших здесь небольшая семейка; есть между нами люди малообразованные; но все крепко преданы общему делу. К несчастью, без ссор нельзя, а меня все знают, верят мне; вот и позвали меня разобрать одну ссору. Я отправился.

– Далеко отсюда?

– Я за шестьдесят верст ездил, в Троицкий посад. Там, при монастыре, тоже есть наши. По крайней мере недаром хлопотал: уладил дело.

– И трудно вам было?

– Трудно. Один все упрямылся. Деньги не хотел отдать.

– Как? Из-за денег была ссора?

– Да; и деньги-то небольшие. А вы что полагали?

– И вы для таких пустяков за шестьдесят верст ездили? Три дня потеряли?

– То не пустяки, Елена Николаевна, когда свои земляки замешаны. Тут отказаться грех. Вы вот, я вижу, даже щенкам не отказываете в помощи, и я вас хвалю за это. А что я время-то потерял, это не беда, потом наверстаю. Наше время не нам принадлежит.

– Кому же?

– А всем, кому в нас нужда. Я вам все это так с бухты-барахты рассказал, потому что я дорожу вашим мнением. Я воображаю, как Андрей Петрович вас удивил!

– Вы дорожите моим мнением, – проговорила Елена вполголоса, – почему?

Инсаров опять улыбнулся.

– Потому что вы хорошая барышня, не аристократка.. вот и все.

Настало небольшое молчание.

– Дмитрий Никанорович, – сказала Елена, – знаете ли вы, что вы в первый раз со мной так откровенны?

– Как так? Мне кажется, я всегда говорил вам все, что думал.

– Нет, это в первый раз, и я очень этому рада, и я тоже хочу быть откровенной с  
Страница 118

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
вами. Можно?

Инсаров засмеялся и сказал:

– Можно.

– Предваряю вас, что я очень любопытна.

– Ничего, говорите.

– Мне Андрей Петрович много рассказывал о вашей жизни, о вашей молодости. Мне известно одно обстоятельство, одно ужасное обстоятельство... Я знаю, что вы ездили потом к себе на родину... Не отвечайте мне, ради Бога, если мой вопрос вам покажется нескромным, но меня мучит одна мысль... Скажите, встретились ли вы с тем человеком...

Дыхание захватило у Елены. Ей стало и стыдно и страшно своей смелости. Инсаров глядел на нее пристально, слегка прищутив глаза и трогая пальцами подбородок.

– Елена Николаевна, – начал он, наконец, и голос его был тише обыкновенного, что почти испугало Елену, – я понимаю, о каком человеке вы сейчас упомянули. Нет, я не встретился с ним, и слава Богу! Я не искал его. Я не искал его не потому, чтоб я не почитал себя вправе убить его, – я бы очень спокойно убил его, – но потому, что тут не до частной мести, когда дело идет о народном, общем отмщении... или нет, это слово не годится... когда дело идет об освобождении народа. Одно помешало бы другому. В свое время и то не уйдет... И то не уйдет, – повторил он и покачал головой.

Елена посмотрела на него сбоку.

– Вы очень любите свою родину? – произнесла она робко.

– Это еще не известно, – отвечал он. – Вот когда кто-нибудь из нас умрет за нее, тогда можно будет сказать, что он ее любил.

– Так что если бы вас лишили возможности возвратиться в Болгарию, – продолжала Елена, – вам было бы очень тяжело в России?

Инсаров потупился.

– Мне кажется, я бы этого не вынес, – проговорил он.

– Скажите, – начала опять Елена, – трудно выучиться болгарскому языку?

– Нисколько. Русскому стыдно не знать по-болгарски. Русский должен знать все славянские наречия. Хотите, я вам принесу болгарские книги? Вы увидите, как это легко. Какие у нас песни! не хуже сербских. Да вот постойте, я вам переведу одну из них. В ней говорится про... Да вы знаете ли хоть немножко нашу историю?

– Нет, я ничего не знаю, – ответила Елена.

– Постойте, я вам принесу книжку. Вы из нее хоть главные факты узнаете. Так слушайте же песню... Впрочем, я вам лучше принесу написанный перевод. Я уверен, вы полюбите нас: вы всех притесненных любите. Если бы вы знали, какой наш край благодатный! А между тем его топчут, его терзают, – подхватил он с невольным движением руки, и лицо его потемнело, – у нас все отняли, все: наши церкви, наши права, наши земли; как стадо гоняют нас поганые турки, нас режут...

– Дмитрий Никанорович! – воскликнула Елена.

Он остановился.

– Извините меня. Я не могу говорить об этом хладнокровно. Но вы сейчас спрашивали меня, люблю ли я свою родину? Что же другое можно любить на земле? Что одно неизменно, что выше всех сомнений, чему нельзя не верить после Бога? И когда эта родина нуждается в тебе... Заметьте: последний мужик, последний нищий в Болгарии и я – мы желаем одного и того же. У всех у нас одна цель. Поймите, какую это дает уверенность и крепость!

Инсаров замолк на мгновение и снова заговорил о Болгарии. Елена слушала его с пожирающим, глубоким и печальным вниманием. Когда он кончил, она еще раз спросила его:

– Так вы ни за что не остались бы в России?

А когда он ушел, она долго смотрела ему вслед. Он в этот день стал для нее другим человеком. Не таким она провожала его, каким встретила его за два часа тому назад.

С того дня он стал ходить все чаще и чаще, а Берсенев все реже. Между обоими приятелями завелось что-то странное, что они оба хорошо чувствовали, но назвать не могли, а разъяснить боялись. Так прошел месяц.

#### XV

Анна Васильевна любила сидеть дома, как уже известно читателю; но иногда, совершенно неожиданно, проявлялось в ней непреодолимое желание чего-нибудь необыкновенного, какой-нибудь удивительной *partie de plaisir*[55]; и чем затруднительнее была эта *partie de plaisir*, чем больше требовала она приготовлений и сборов, чем больше волновалась сама Анна Васильевна, тем ей было приятнее. Находил ли на нее этот стих зимой – она приказывала нанять две-три ложки рядом, собирала всех своих знакомых и отправлялась в театр или даже в маскарад; летом – она ехала за город, куда-нибудь подальше. На другой день она жаловалась на головную боль, кряхтела и не вставала с постели, а месяца через два в ней опять загоралась жажда «необыкновенного». То же случилось и теперь. Кто-то упомянул при ней о красотах Царицына, и Анна Васильевна внезапно объявила, что она послезавтра намерена ехать в Царицыно. Поднялась тревога в доме: нарочный поскакал в Москву за Николаем Артемьевичем; с ним же поскакал и дворецкий закупать вина, паштетов и всяких съестных припасов; Шубину вышел приказ нанять ямскую коляску (одной кареты было мало) и приготовить подставных лошадей; казачок два раза сбегал к Берсеневу и Инсарову и снес им две пригласительные записки, написанные сперва по-русски, потом по-французски Зоей; сама Анна Васильевна хлопотала о дорожном туалете барышень. Между тем *partie de plaisir* чуть не расстроилась: Николай Артемьевич прибыл из Москвы в кислом и недоброжелательном, фрондерском расположении духа (он всё еще дулся на Августину Христиановну) и, узнав в чем дело, решительно объявил, что он не поедет; что скакать из Кунцева в Москву, а из Москвы в Царицыно, а из Царицыно опять в Москву, а из Москвы опять в Кунцево – нелепость, – и, наконец, прибавил он, пусть мне сперва докажут, что на одном пункте земного шара может быть веселее, чем на другом пункте, тогда я поеду. Это ему никто, разумеется, доказать не мог, и Анна Васильевна, за неимением солидного кавалера, уже готова была отказаться от *partie de plaisir*, да вспомнила об Уваре Ивановиче и с горя послала за ним в его комнатку, говоря: «Утопающий и за соломинку хватается». Его разбудили; он сошел вниз, выслушал молча предложение Анны Васильевны, поиграл пальцами и, к общему изумлению, согласился. Анна Васильевна поцеловала его в щеку и назвала миленьким; Николай Артемьевич улыбнулся презрительно и сказал: «*Quelle bourde*»[56] (он любил при случае употреблять «шикарные» французские слова) – а на следующее утро, в семь часов, карета и коляска, нагруженные доверху, выкатились со двора стаховской дачи. В карете сидели дамы, горничная и Берсенев; Инсаров поместился на козлах; а в коляске находились Увар Иванович и Шубин. Увар Иванович сам движением пальца подозвал к себе Шубина; он знал, что тот будет дразнить его всю дорогу, но между «черноземной силой» и молодым художником существовала какая-то странная связь и бранчивая откровенность. Впрочем, на этот раз Шубин оставил своего толстого друга в покое: он был молчалив, рассеян и мягок.

Солнце уже высоко стояло на безоблачной лазури, когда экипажи подкатили к развалинам Царицынского замка, мрачным и грозным даже в полдень. Все общество спустилось на траву и тотчас же двинулось в сад. Впереди шли Елена и Зоя с Инсаровым; за ними, с выражением полного счастья на лице, выступала Анна Васильевна под руку с Уваром Ивановичем. Он пыхтел и переваливался, новая соломенная шляпа резала ему лоб, и ноги горели в сапогах, но и ему было хорошо; Шубин и Берсенев замыкали шествие. «Мы будем, братец, в резерве, как некие ветераны, – шепнул Берсеневу Шубин. – Там теперь Болгария», – прибавил он, показав бровями на Елену.

Погода была чудесная. Все кругом цвело, жужжало и пело; вдали сияли воды прудов;



Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
праздничное, светлое чувство охватывало душу. «Ах, хорошо! ах, хорошо!» – беспрепятственно твердила Анна Васильевна; Увар Иванович потряхивал одобритительно головой в ответ на ее восторженные восклицания и раз даже промолвил: «Что толковать!» Елена изредка менялась словами с Инсаровым; Зоя придерживала двумя пальчиками край широкой шляпы, кокетливо выносила из-под розового баржевого платья свои маленькие ножки, обутые в светло-серые ботинки с тупыми носками, и посматривала то вбок, то назад. «Эге! – воскликнул вдруг вполголоса Шубин, – Зоя Никитишна никак оглядывается. Пойду-ка я к ней. Елена Николаевна теперь меня презирает, а тебя, Андрей Петрович, уважает, что на одно выходит. Пойду; довольно я кис. Тебе же, мой друг, советую ботанизировать: в твоём положении это самое лучшее, что ты придумать можешь: оно же и в учёном отношении полезно. Прощай!» Шубин подбежал к Зое, подставил ей руку кренделем и, сказав: «Ihre Hand, Madame»[57], подхватил её и пустился с ней вперед. Елена остановилась, подозвала Берсенева и тоже взяла его руку, но продолжала говорить с Инсаровым. Она спрашивала у него, как на его языке называется ландыш, клен, дуб, липа... («Болгария!» – подумал бедный Андрей Петрович.)

Вдруг впереди раздался крик; все подняли голову: сигарочница Шубина летела в куст, брошенная рукой Зои. «Погодите, я с вами за это рассчитаюсь!» – воскликнул он, полез в куст, нашел там сигарочницу и вернулся было к Зое; но не успел он к ней приблизиться, как уже опять его сигарочница летела через дорожку. Раз пять повторилась эта проделка, он все хохотал и грозился, а Зоя только втихомолку улыбалась и пожималась, как кошечка. Наконец он поймал её пальцы и так их тиснул, что она пискнула и долго потом дула на руку, притворно сердилась, а он ей напевал что-то на ухо.

– Шалуны, молодой народ, – весело заметила Анна Васильевна Увару Ивановичу.

Тот поиграл перстами.

– Какова Зоя Никитишна? – сказал Берсенева Елене.

– А Шубин? – отвечала она.

Между тем все общество подошло к беседке, известной под именем Миловидовой, и остановилось, чтобы полюбоваться зрелищем Царицынских прудов. Они тянулись один за другим на несколько верст; сплошные леса темнели за ними. Мурава, покрывавшая весь скат холма до главного пруда, придавала самой воде необыкновенно яркой, изумрудный цвет. Нигде, даже у берега, не вспухала волна, не белела пена; даже ряби не пробегало по ровной глади. Казалось, застывшая масса стекла тяжело и светло улеглась в огромной купели, и небо ушло к ней на дно, и кудрявые деревья неподвижно гляделись в её прозрачное лоно. Все долго и молча любовались видом; даже Шубин притих, даже Зоя задумалась. Наконец все единодушно захотели покататься по воде. Шубин, Инсаров и Берсенева побежали вниз по траве в запуск. Они отыскивали большую, раскрашенную лодку, отыскивали двух гребцов и позвали дам. Дамы сошли к ним; Увар Иванович осторожно спустился за дамами. Пока он входил в лодку, пока усаживался, много было смеху. «Смотрите, барин, не затопите нас», – заметил один из гребцов, молодой курносый парень в александрийской рубахе. «Ну, ну, фуфурья!» – проговорил Увар Иванович. Лодка отчалила. Молодые люди взялись было за весла, но грести умел из них один Инсаров. Шубин предложил спеть хором какую-нибудь русскую песню и сам затянул: «Вниз по матушке...» Берсенева, Зоя и даже Анна Васильевна подхватили (Инсаров не умел петь), но вышла разноголосица; на третьем стихе певцы запутались, один Берсенева пытался продолжать басом: «Ничего в волнах не видно», – но тоже скоро сконфузился. Гребцы перемигнулись и оскалили зубы молча. «Что? – обратился к ним Шубин, – видно, господа петь-то не умеют?» Малый в александрийской рубахе только головой тряхнул. «Так погоди ж, курносый, – возразил Шубин, – мы тебе покажем. Зоя Никитишна, спойте нам: «Le Tac»[58] Нидермейера. Не гребите, вы!» Мокрые весла поднялись на воздух, как крылья, и так и замерли, звонко роняя капли; лодка проплыла еще немного и остановилась, чуть-чуть закружившись на воде, как лебедь. Зоя поломалась... «Allons!»[59] – ласково промолвила Анна Васильевна... Зоя скинула шляпу и запела: «O Tac! l'année à peine a fini sa carrière...»[60]

Ее небольшой, но чистый голосок так и помчался по зеркалу пруда; далеко в лесах отзывалось каждое слово; казалось, и там кто-то пел четким и таинственным, но нечеловеческим, нездешним голосом. Когда Зоя кончила, громкое bravo раздалось из одной прибрежной беседки и оттуда выскочило несколько красноречивых немцев, приехавших покнейпировать[61] в Царицыно. Некоторые из них были без сюртуков,

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
без галстухов и даже без жилетов и до того неистово кричали bis! что Анна Васильевна велела поскорее отъехать на другой конец пруда. Но, прежде чем лодка пристала к берегу, Увару Ивановичу еще раз удалось удивить своих знакомых: заметив, что в одном месте леса эхо особенно ясно повторяло каждый звук, он вдруг начал кричать перепелом. Сперва все вздрогнули, но тотчас же почувствовали истинное удовольствие, тем более что Увар Иванович кричал очень верно и похоже. Это его поощрило, и он попробовал мяукать; но мяуканье выходило у него не так хорошо; он крикнул еще раз перепелом, посмотрел на всех и умолк. Шубин бросился его целовать: он оттолкнул его. В то мгновение лодка причалила, и все общество вышло на берег.

Между тем кучер с лакеем и горничной принесли корзинки из кареты и приготовили обед на траве под старыми липами. Все уселись вокруг разостланной скатерти и принялись за паштет и прочие яства. У всех аппетит был отличный, а Анна Васильевна то и дело угасивала и уговаривала своих гостей, чтобы побольше ели, уверяя, что на воздухе это очень здорово; она обращалась с такими речами к самому Увару Ивановичу. «Будьте спокойны», – промышал он ей с набитым ртом. «Дал же Господь такой славный день!» – твердила она беспрестанно. Ее нельзя было узнать: она точно двадцатью годами помолодела. Берсенева заметил ей это. «Да, да, – сказала она, – была и я в мое время хоть куда: из десятка бы меня не выкинули». Шубин присоединился к Зое и беспрестанно наливал ей вина; она отказывалась, он ее потчевал и кончал тем, что сам выпивал стакан и потом опять ее потчевал; он также уверял ее, что желает преклонить свою голову к ней на колени: она никак не хотела позволить ему «этакую большую вольность». Елена казалась серьезнее всех, но на сердце у ней было чудное спокойствие, какого она давно не испытывала. Она чувствовала себя бесконечно доброю, и ей все хотелось иметь возле себя не одного только Инсарова, но и Берсенева... Андрей Петрович смутно понимал, что это значило, и вздыхал украдкой.

Часы летели; вечер приближался. Анна Васильевна вдруг всполошилась. «Ах, батюшки мои, как поздно, – заговорила она. – Пожито, попито, господа; пора и бороду утирать». Она засуетилась и все засуетились, встали и пошли в направлении к замку, где находились экипажи. Проходя мимо прудов, все остановились, чтобы в последний раз полюбоваться Царицыным. Везде горели яркие, передвечерние краски; небо рдело, листья переливчато блистали, возмущенные поднявшимся ветерком; растопленным золотом струились отдаленные воды; резко отделялись от темной зелени деревьев красноватые башенки и беседки, кое-где разбросанные по саду. «Прощай, Царицыно, не забудем мы сегодняшнюю поездку!» – промолвила Анна Васильевна... Но в это мгновенье, и как бы в подтверждение ее последних слов, случилось странное происшествие, которое действительно не так-то легко было позабыть.

А именно: не успела Анна Васильевна послать свой прощальный привет Царицыну, как вдруг в нескольких шагах от нее, за высоким кустом сирени, раздались нестройные восклицания, хохотня и крики – и целая гурьба растрепанных мужчин, тех самых любителей пения, которые так усердно хлопали Зое, высыпали на дорожку. Господа любители казались сильно навеселе. Они остановились при виде дам; но один из них, огромного роста, с бычачьей шеей и бычачьими воспаленными глазами, отделился от своих товарищей и, неловко раскланиваясь и покачиваясь на ходу, приблизился к окаменевшей от испуга Анне Васильевне.

– Бонжур, мадам, – проговорил он сиплым голосом, – как ваше здоровье?

Анна Васильевна пошатнулась назад.

– А отчего вы, – продолжал великан дурным русским языком, – не хотел петь bis, когда наш компани кричал bis, и браво, и форо?

– Да, да, отчего? – раздалось в рядах компани.

Инсаров шагнул было вперед, но Шубин остановил его и сам заслонил Анну Васильевну.

– Позвольте, – начал он, – почтенный незнакомец, выразить вам то неподдельное изумление, в которое вы повергаете всех нас своими поступками. Вы, сколько я могу судить, принадлежите к саксонской отрасли кавказского племени, следовательно, мы должны предполагать в вас знание светских приличий, а между тем вы заговариваете с дамой, которой вы не были представлены. Поверьте, в

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
другое время я в особенности был бы очень рад сблизиться с вами, ибо замечаю в вас такое феноменальное развитие мускулов biceps, triceps и deltoideus, что, как ваятель, почел бы за истинное счастье иметь вас своим натурщиком; но на сей раз оставьте нас в покое.

«Почтенный незнакомец» выслушал всю речь Шубина, презрительно скрутив голову на сторону и уперши руки в бока.

– Я ничего не понимает, что вы говорит такое, – промолвил он наконец. – Вы думает, может быть, я сапожник или часовых дел мастер? Э! Я офицер, я чиновник, да.

– Я не сомневаюсь в этом, – начал было Шубин...

– А я вот что говорю, – продолжал незнакомец, отстраняя его своею мощною рукой, как ветку с дороги, – я говорю: отчего вы не пел bis, когда мы кричал bis? А теперь я сейчас, сей минутой уйду, только вот нушна, штоп эта фрейлен, не эта мадам, нет, эта не нушна, а вот эта или эта (он указал на Елену и Зою) дала мне einen Kuss, как мы это говорим по-немецки, поцалуйшик, да; что ж? это ничего.

– Ничего, einen Kuss, это ничего, – раздалось опять в рядах компании.

– Ach, der Sakramenter![62] – проговорил, давясь от смеху, один уже совершенно чирый[63] немец.

Зоя ухватила за руку Инсарова, но он вырвался у нее и стал прямо перед великорослым нахалом.

– Извольте идти прочь, – сказал он ему не громким, но резким голосом.

Немец тяжело захохотал.

– Как прочь? Вот это и я люблю! Разве я тоже не могу гуляйт? Как это прочь? Отчего прочь?

– Оттого что вы осмелились беспокоить даму, – проговорил Инсаров и вдруг побледнел, – оттого что вы пьяны.

– Как? я пьян? Слышишь? Horen Sie das, Herr Provisor?[64] Я офицер, а он смеет... Теперь я требую Satisfaction! Einen Kuss will ich![65]

– Если вы сделаете еще шаг... – начал Инсаров.

– Ну? И что тогда?

– Я вас брошу в воду.

– В воду? Herr Je![66] И только? Ну, посмотрим, это очень любопытно, как это в воду...

Господин офицер поднял руки и подался вперед, но вдруг произошло нечто необыкновенное: он крякнул, все огромное туловище его покачнулось, поднялось от земли, ноги брыкнули на воздухе, и, прежде чем дамы успели вскрикнуть, прежде чем кто-нибудь мог понять, каким образом это сделалось, господин офицер, всей своей массой, с тяжким плеском бухнулся в пруд и тотчас же исчез под залюбившейся водой.

– Ай! – дружно взвизгнули дамы.

– Mein Gott![67] – послышалось с другой стороны.

Прошла минута... и круглая голова, вся облепленная мокрыми волосами, показалась над водой; она пускала пузыри, эта голова; две руки судорожно барахтались у самых ее губ...

– Он утонет, спасите его, спасите! – закричала Анна Васильевна Инсарову, который стоял на берегу, расставив ноги и глубоко дыша.

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)

– Выплывет, – проговорил он с презрительной и безжалостной небрежностью. – Пойдемте, – прибавил он, взявши Анну Васильевну за руку, – пойдемте, Увар Иванович, Елена Николаевна.

– А... а... о... о... – раздался в это мгновение вопль несчастного немца, успевшего ухватиться за прибрежный тростник.

Все двинулись вслед за Инсаровым, и всем пришлось пройти мимо самой «компании». Но, лишившись своего главы, гуляки присмирели и ни словечка не вымолвили; один только, самый храбрый из них, пробормотал, потряхивая головой: «Ну, это, однако... это бог знает что... после этого»; а другой даже шляпу снял. Инсаров казался им очень грозным, и недаром: что-то недоброе, что-то опасное выступило у него на лице. Немцы бросились вытаскивать своего товарища, и тот, как только очутился на твердой земле, начал слезливо браниться и кричать вслед этим «русским мошенникам», что он жаловаться будет, что он к самому его превосходительству графу фон Кизериц пойдет...

Но «русские мошенники» не обращали внимания на его возгласы и как можно скорее спешили к замку. Все молчали, пока шли по саду, только Анна Васильевна слегка охала. Но вот они приблизились к экипажам, остановились, и неудержимый, несмолкаемый смех поднялся у них, как у небожителей Гомера. Первый визгливо, как безумный, залился Шубин, за ним грохотом забарабанил Берсенева, там Зоя рассыпалась тонким бисером, Анна Васильевна тоже вдруг так и покатила, даже Елена не могла не улыбнуться, даже Инсаров не устоял наконец. Но громче всех, и дольше всех, и неистовее всех хохотал Увар Иванович: он хохотал до колотья в боку, до чихоты, до удушья. Притихнет немного, да проговорит сквозь слезы: «Я... думаю... что это хлопнуло?.. а это... он... плашмя...» И вместе с последним, судорожно выданным словом новый взрыв хохота потрясал весь его состав. Зоя его еще больше подзадоривала. «Я, – говорит, – вижу, ноги по воздуху...» – «Да, да, – подхватит Увар Иванович, – ноги, ноги... а там хлоп! а это он п-п-плашмя!..» – «Да и как они это ухитрились, ведь немец-то вдвое больше их был?» – спросила Зоя. «А я вам доложу, – ответил, утирая глаза, Увар Иванович, – я видел: одною рукой за поясницу, ногу подставил, да как хлоп! Я слышу: что это?.. а это он, плашмя...»

Уже экипажи давно тронулись, уже Царицынский замок скрылся из виду, а Увар Иванович все не мог успокоиться. Шубин, который опять с ним поехал в коляске, пристыдил его наконец.

А Инсарову было совестно. Он сидел в карете против Елены (на козлах помещился Берсенева) и молчал; она тоже молчала. Он думал, что она его осуждает; а она не осуждала его. Она очень испугалась в первую минуту; потом ее поразило выражение его лица; потом она все размышляла. Ей не было совершенно ясно, о чем размышляла она. Чувство, испытанное ею в течение дня, исчезло: это она сознавала; но оно заменилось чем-то другим, чего она пока не понимала. *Partie de plaisir* продолжалась слишком долго: вечер незаметно перешел в ночь. Карета быстро неслась то вдоль созревающих нив, где воздух был душист и душист и отзывался хлебом, то вдоль широких лугов, и внезапная их свежесть била легкою волной по лицу. Небо словно дымилось по краям. Наконец выплыл месяц, тусклый и красный. Анна Васильевна дремала; Зоя высунулась из окна и глядела на дорогу. Елене пришло, наконец, в голову, что она более часу не говорила с Инсаровым. Она обратилась к нему с незначительным вопросом: он тотчас радостно ответил ей. В воздухе стали носиться какие-то неясные звуки; казалось, будто вдали говорили тысячи голосов: Москва неслась им навстречу. Впереди замелькали огоньки; их становилось все более и более; наконец под колесами застучали камни. Анна Васильевна проснулась; все заговорили в карете, хотя никто уже не мог слышать, о чем шла речь: так сильно гремела мостовая под двумя экипажами и тридцатью двумя лошадиными ногами. Длинным и скучным показался переезд из Москвы в Кунцево: все спали или молчали, прижавшись головами к разным уголкам; одна Елена не закрывала глаз: она не сводила их с темной фигуры Инсарова. На Шубина напала грусть: ветерок дул ему в глаза и раздражал его; он завернулся в воротник шинели и чуть-чуть было не всплакнул. Увар Иванович благополучно похрапывал, качаясь направо и налево. Экипажи остановились наконец. Два лакея вынесли Анну Васильевну из кареты; она совсем расклеилась и, прощаясь с своими спутниками, объявила им, что она чуть жива; они стали ее благодарить, а она только повторила: «Чуть жива». Елена пожала (в первый раз) руку Инсарову и долго не раздевалась, сидя под окном; а Шубин улучил время шепнуть уходившему Берсеневу:

– Ну как же не герой; в воду пьяных немцев бросает!

– А ты и того не сделал, – возразил Берсенева и отправился домой с Инсаровым.

Заря уже занималась в небе, когда оба приятеля возвратились на свою квартиру. Солнце еще не вставало, но уже заиграл холодок, седая роса покрыла травы, и первые жаворонки звенели высоко-высоко в полусумрачной воздушной бездне, откуда, как одинокий глаз, смотрела крупная звезда.

XVI

Елена вскоре после знакомства с Инсаровым начала (в пятый или шестой раз) дневник. Вот отрывки из этого дневника:

Июня... Андрей Петрович мне приносит книги, но я их читать не могу. Сознаться ему в этом – совестно; отдать книги, солгать, сказать, что читала, – не хочется. Мне кажется, это его огорчит. Он все за мной замечает. Он, кажется, очень ко мне привязан. Очень хороший человек Андрей Петрович.

...Чего мне хочется? Отчего у меня так тяжело на сердце, так томно? Отчего я с завистью гляжу на пролетающих птиц? Кажется, полетела бы с ними, полетела – куда, не знаю, только далеко, далеко отсюда. И не грешно ли это желание? У меня здесь мать, отец, семья. Разве я не люблю их? Нет, я не люблю их так, как бы хотелось любить. Мне страшно вымолвить это, но это правда... Может быть, я большая грешница; может быть, оттого мне так грустно, оттого мне нет покоя. Какая-то рука лежит на мне и давит меня. Точно я в тюрьме, и вот-вот сейчас на меня повалятся стены. Отчего же другие этого не чувствуют? Кого же я буду любить, если я к своим холодна? Видно, папенька прав: он упрекает меня, что я люблю одних собак да кошек. Надо об этом подумать. Я мало молюсь, надо молиться... А кажется, я бы умела любить!

...Я все еще робею с господином Инсаровым. Не знаю, отчего; я, кажется, не молоденькая, а он такой простой и добрый. Иногда у него очень серьезное лицо. Ему, должно быть, не до нас. Я это чувствую, и мне как будто совестно отнимать у него время. Андрей Петрович – другое дело. Я с ним готова болтать хоть целый день. Но и он мне все говорит об Инсарове. И какие страшные подробности! Я его видела сегодня ночью с кинжалом в руке. И будто он мне говорит: «я тебя убью и себя убью». Какие глупости!

...О, если бы кто-нибудь мне сказал: вот что ты должна делать! Быть доброю – этого мало; делать добро... да; это главное в жизни. Но как делать добро? О, если б я могла овладеть собою! Не понимаю, отчего я так часто думаю о господине Инсарове. Когда он приходит, и сидит и слушает внимательно, а сам не старается, не хлопчет, я гляжу на него, и мне приятно – но только; а когда он уйдет, я все припоминаю его слова и досаду на себя и даже волнуясь... сама не знаю отчего. (Он плохо говорит по-французски, и не стыдится – это мне нравится.) Впрочем, я всегда много думаю о новых лицах. Разговаривая с ним, я вдруг вспомнила нашего буфетчика Василия, который вытащил из горевшей избы безногого старика и сам чуть не погиб. Папенька назвал его молодцом, мамаша дала ему пять рублей, а мне хотелось ему в ноги поклониться. И у него было простое, даже глупое лицо, и он потом сделался пьяницей.

...Я сегодня подала грош одной нищей, а она мне говорит: отчего ты такая печальная? А я и не подозревала, что у меня печальный вид. Я думаю, это от того происходит, что я одна, все одна, со всем моим добром, со всем моим злом. Некому протянуть руку. Кто подходит ко мне, того не надобно; а кого бы хотела... тот идет мимо.

...Я не знаю, что со мною сегодня; голова моя путается, я готова упасть на колени и просить и умолять пощады. Не знаю, кто и как, но меня как будто убивают, и внутренне я кричу и возмущаюсь; я плачу и не могу молчать... Боже мой! Боже мой! укроти во мне эти порывы! Ты один это можешь, все другое бессильно: ни мои ничтожные милости, ни занятия, ничего, ничего, ничего мне помочь не может. Пошла бы куда-нибудь в служанки, право: мне было бы легче.

К чему молодость, к чему я живу, зачем у меня душа, зачем все это?

...Инсаров, господин Инсаров, – я, право, не знаю, как писать, – продолжает занимать меня. Мне хочется знать, что у него там в душе? Он, кажется, так открыт, так доступен, а мне ничего не видно. Иногда он глядит на меня какими-то

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru) испытующими глазами... или это одна моя фантазия? Поль меня все дразнит – я сердита на Поля. Что ему надобно? Он в меня влюблен... да мне не нужно его любви. Он и в Зою влюблен. Я к нему несправедлива; он мне вчера сказал, что я не умею быть несправедливой вполнину... это правда. Это очень дурно.

Ах, я чувствую, человеку нужно несчастье, или бедность, или болезнь. А то как раз зазнаешься.

...Зачем Андрей Петрович рассказал мне сегодня об этих двух болгарках! Он как будто с намерением рассказал мне это. Что мне до господина Инсарова? Я сердита на Андрея Петровича.

...Берусь за перо и не знаю, как начать. Как неожиданно он сегодня заговорил со мною в саду! Как он был ласков и доверчив! Как это скоро сделалось! Точно мы старые, старые друзья и только сейчас узнали друг друга. Как могла я не понимать его до сих пор? Как он теперь мне близок! И вот что удивительно: я теперь гораздо спокойнее стала. Мне смешно: вчера я сердилась на Андрея Петровича, на него, я даже назвала его господин Инсаров, а сегодня... Вот, наконец, правдивый человек; вот на кого положиться можно. Этот не лжет; это первый человек, которого я встречаю, который не лжет: все другие лгут, все лжет. Андрей Петрович, милый, добрый, за что же я вас обижаю? Нет! Андрей Петрович, может быть, учнее его, может быть, даже умнее... Но, я не знаю, он перед ним такой маленький. Когда тот говорит о своей родине, он растет, растет, и лицо его хорошеет, и голос как сталь, и нет, кажется, тогда на свете такого человека, перед кем бы он глаза опустил. И он не только говорит – он делает и будет делать. Я его расспрошу... Как он вдруг обернулся ко мне и улыбнулся мне!.. Только братья так улыбаются. Ах, как я довольна! Когда он пришел к нам в первый раз, я никак не думала, что мы так скоро сблизимся. А теперь мне даже нравится, что я в первый раз осталась равнодушною.. Равнодушною! Разве я теперь не равнодушна?

...Я давно не чувствовала такого внутреннего спокойствия. Так тихо во мне, так тихо. И записывать нечего. Я его часто вижу, вот и все. Что еще записывать?

...Поль заперся; Андрей Петрович стал реже ходить... бедный! мне кажется, он... Впрочем, это быть не может. Я люблю говорить с Андреем Петровичем: никогда ни слова о себе, все о чем-нибудь дельном, полезном. Не то что Шубин. Шубин наряжен, как бабочка, да любитесь своим нарядом: этого бабочки не делают. Впрочем, и Шубин и Андрей Петрович... я знаю, что я хочу сказать.

...Ему приятно к нам ходить, я это вижу. Но отчего? что он нашел во мне? Правда, у нас вкусы похожи: и он и я, мы оба стихов не любим: оба не знаем толка в художестве. Но насколько он лучше меня! Он спокоен, а я в вечной тревоге; у него есть дорога, есть цель – а я, куда я иду? где мое гнездо? Он спокоен, но все его мысли далеко. Придет время, и он покинет нас навсегда, уйдет к себе, туда, за море. Что ж? Дай Бог ему! А я все-таки буду рада, что я его узнала, пока он здесь был.

Отчего он не русский? Нет, он не мог быть русским.

И мамаша его любит; говорит: скромный человек. добрая мамаша! Она его не понимает. Поль молчит: он догадался, что мне его намеки неприятны, но он к нему ревнует. Злой мальчик! И с какого права? Разве я когда-нибудь...

Все это пустяки! Зачем мне это все в голову приходит?

...А ведь странно, однако, что я до сих пор, до двадцати лет, никого не любила! Мне кажется, что у Д. (буду называть его Д., мне нравится это имя: димитрий) оттого так ясно на душе, что он весь отдался своему делу, своей мечте. Из чего ему волноваться? Кто отдался весь... весь... весь... тому горя мало, тот уж ни за что не отвечает. Не я хочу: то хочет. Кстати, и он и я, мы одни цветы любим. Я сегодня сорвала розу. Один лепесток упал, он его поднял... Я ему отдала всю розу.

...Д. к нам ходит часто. Вчера он просидел целый вечер. Он хочет учить меня по-болгарски. Мне с ним хорошо, как дома. Лучше, чем дома.

...Дни летят... И хорошо мне, и почему-то жутко, и Бога благодарить хочется, и слезы недалеко. О теплые, светлые дни!

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)

...Мне все по-прежнему легко и только изредка, изредка немножко грустно. Я счастлива. Счастлива ли я?

...Долго не забуду я вчерашней поездки. Какие странные, новые, страшные впечатления! Когда он вдруг взял этого великана и швырнул его, как мячик, в воду, я не испугалась... но он меня испугал. И потом – какое лицо злое, почти жестокое! Как он сказал: выплывет! Это меня перевернуло. Стало быть, я его не понимала. И потом, когда все смеялись, когда я смеялась, как мне было больно за него! Он стыдился, я это чувствовала, он меня стыдился. Он мне это сказал потом в карете, в темноте, когда я старалась его разглядеть и боялась его. Да, с ним шутить нельзя, и заступиться он умеет. Но к чему же эта злоба, эти дрожащие губы, этот яд в глазах? Или, может быть, иначе нельзя? Нельзя быть мужчиной, бойцом, и остаться кротким и мягким? Жизнь дело грубое, сказал он мне недавно. Я повторила это слово Андрею Петровичу; он не согласился с Д. Кто из них прав? А как начался этот день! Как мне было хорошо идти с ним рядом, даже молча... Но я рада тому, что случилось. Видно, так следовало.

...Опять беспокойство... Я не совсем здорова.

...Я все эти дни ничего не записывала в этой тетрадке, потому что писать не хотелось. Я чувствовала, что бы я ни написала, все будет не то, что у меня на душе... А что у меня на душе? Я имела с ним большой разговор, который мне открыл многое. Он мне рассказал свои планы (кстати, я теперь знаю, отчего у него рана на шее... Боже мой! когда я подумаю, что он уже был приговорен к смерти, что он едва спасся, что его изранили...). Он предчувствует войну и радуется ей. И со всем тем я никогда не видала Д. таким грустным. О чем он... он!., может грустить? Папенька из города вернулся, застал нас обоих и как-то странно поглядел на нас. Андрей Петрович пришел: я заметила, что он очень стал худ и бледен. Он упрекнул меня, будто бы я уже слишком холодно и небрежно обращаюсь с Шубиным. А я совсем забыла о Поле. Увижу его, постараюсь загладить свою вину. Мне теперь не до него... и ни до кого в мире. Андрей Петрович говорил со мною с каким-то сожалением. Что все это значит? Отчего так темно вокруг меня и во мне? Мне кажется, что вокруг меня и во мне происходит что-то загадочное, что нужно найти слово...

...Я не спала ночь, голова болит. К чему писать? Он сегодня ушел так скоро, а мне хотелось поговорить с ним... Он как будто избегает меня. Да, он меня избегает.

...Слово найдено, свет озарил меня! Боже! сжался надо мною... Я влюблена!

## XVII

В тот самый день, когда Елена вписывала это последнее, роковое слово в свой дневник, Инсаров сидел у Берсенева в комнате, а Берсенов стоял перед ним, с выражением недоумения на лице. Инсаров только что объявил ему о своем намерении на другой же день переехать в Москву.

– Помилуйте! – воскликнул Берсенов. – теперь наступает самое красное время. Что вы будете делать в Москве? Что за внезапное решение! Или вы получили какое-нибудь известие?

– Я никакого известия не получал, – возразил Инсаров, – но, по моим соображениям, мне нельзя здесь оставаться.

– Да как это можно...

– Андрей Петрович, – проговорил Инсаров, – будьте так добры, не настаивайте, прошу вас. Мне самому тяжело расставаться с вами, да делать нечего.

Берсенов пристально посмотрел на него.

– Я знаю, – проговорил он наконец, – вас не убедишь. Итак, это дело решенное?

– Совершенно решенное, – отвечал Инсаров, встал и удалился.

Берсенов прошелся по комнате, взял шляпу и отправился к Стаховым.

– Вы имеете сообщить мне что-то, – сказала ему Елена, как только они остались вдвоем.

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)

– Да; почему вы догадались?

– Это все равно. Говорите, что такое?

Берсенева передала ей решение Инсарова.

Елена побледнела.

– Что это значит? – произнесла она с трудом.

– Вы знаете, – промолвил Берсенева, – что Дмитрий Никанорович не любит отдавать отчета в своих поступках. Но я думаю.. Сядемте, Елена Николаевна, вы как будто не совсем здоровы.. Я, кажется, могу догадаться, какая собственно причина этого внезапного отъезда.

– Какая, какая причина? – повторила Елена, крепко стискивая, и сама того не замечая, руку Берсенева в своей похолодевшей руке.

– Вот видите ли, – начал Берсенева с грустной улыбкой, – как бы это вам объяснить? Придется мне возвратиться к нынешней весне, к тому времени, когда я ближе познакомился с Инсаровым. Я тогда встретился с ним в доме одного родственника; у этого родственника была дочка, очень хорошенькая. Мне показалось, что Инсаров к ней равнодушен, и я сказал ему это. Он рассмеялся и отвечал мне, что я ошибался, что сердце его не пострадало, но что он немедленно бы уехал, если бы что-нибудь подобное с ним случилось, так как он не желает, – это были его собственные слова, – для удовлетворения личного чувства изменить своему делу и своему долгу. «Я болгар, – сказал он, – и мне русской любви не нужно...»

– Ну... и что ж... вы теперь... – прошептала Елена, невольно отворачивая голову, как человек, ожидающий удара, но все не выпуская схваченной руки Берсенева.

– Я думаю, – промолвил он и сам понизил голос, – я думаю, что теперь сбылось то, что я тогда напрасно предполагал.

– То есть... вы думаете... не мучьте меня! – вырвалось вдруг у Елены.

– Я думаю, – поспешно подхватил Берсенева, – что Инсаров полюбил теперь одну русскую девушку и, по обещанию своему, решается бежать.

Елена еще крепче стиснула его руку и еще ниже наклонила голову, как бы желая спрятать от чужого взора румянец стыда, обливший внезапным пламенем все лицо ее и шею.

– Андрей Петрович, вы добры как ангел, – проговорила она, – но ведь он придет проститься?

– Да, я полагаю, наверное он придет, потому что не захочет уехать...

– Скажите ему, скажите...

Но тут бедная девушка не выдержала: слезы хлынули у ней из глаз, и она выбежала из комнаты.

«Так вот как она его любит, – думал Берсенева, медленно возвращаясь домой. – Я этого не ожидал; я не ожидал, что это уже так сильно. Я добр, говорит она, – продолжал он свои размышления... – Кто скажет, в силу каких чувств и побуждений я сообщил все это Елене? Но не по доброте, не по доброте. Все проклятое желание убедиться, действительно ли кинжал сидит в ране? Я должен быть доволен – они любят друг друга, и я им помог... “Будущий посредник между наукой и российской публикой”, – зовет меня Шубин; видно, мне на роду написано быть посредником. Но если я ошибся? Нет, я не ошибся...»

Горько было Андрею Петровичу, и не шел ему в голову Раумер.

На следующий день, часу во втором, Инсаров явился к Стаховым. Как нарочно о ту пору в гостиной Анны Васильевны сидела гостья, соседка-протопопица, очень хорошая и почтенная женщина, но имевшая маленькую неприятность с полицией за то,



Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
что вздумала в самый припек жара выкупаться в пруду, близ дороги, по которой часто проезжало какое-то важное генеральское семейство. Присутствие постороннего лица было сперва даже приятно Елене, у которой кровинки в лице не осталось, как только она услышала походку Инсарова; но сердце у ней замерло при мысли, что он может проститься, не поговоривши с ней наедине. Он же казался смущенным и избегал ее взгляда. «Неужели он сейчас будет прощаться?» – думала Елена. Действительно, Инсаров обратился было к Анне Васильевне; Елена поспешно встала и отозвала его в сторону, к окну. Протопопица удивилась и попыталась обернуться; но она так туго затянулась, что корсет скрипел на ней при каждом движении. Она осталась неподвижною.

– Послушайте, – торопливо проговорила Елена, – я знаю, зачем вы пришли; Андрей Петрович сообщил мне ваше намерение, но я прошу вас, я вас умоляю не прощаться с нами сегодня, а прийти завтра сюда пораньше, часов в одиннадцать. Мне нужно сказать вам два слова.

Инсаров молча наклонил голову.

– Я вас не буду удерживать... Вы мне обещаете?

Инсаров опять поклонился, но ничего не сказал.

– Леночка, поди сюда, – промолвила Анна Васильевна, – посмотри, какой у матушки чудесный ридикюль.

– Сама вышивала, – заметила протопопица.

Елена отошла от окна.

Инсаров остался не более четверти часа у Стаховых. Елена наблюдала за ним украдкой. Он переминался на месте, по-прежнему не знал, куда девать глаза, и ушел как-то странно, внезапно; точно исчез.

Медлительно прошел этот день для Елены; еще медлительнее протянулась долгая, долгая ночь. Елена то сидела на кровати, обняв колени руками и положив на них голову, то подходила к окну, прикладывалась горячим лбом к холодному стеклу и думала, думала, до изнурения думала все одни и те же думы. Сердце у ней не то окаменело, не то исчезло из груди; она его не чувствовала, но в голове тяжело бились жилы, и волосы ее жгли, и губы сохли. «Он придет... он не простился с мамашей... он не обманет... Неужели Андрей Петрович правду сказал? Быть не может... Он словами не обещал прийти... Неужели я навсегда с ним рассталась?» Вот какие мысли не покидали ее... именно не покидали: они не приходили, не возвращались – они беспрестанно колыхались в ней, как туман. «Он меня любит!» – вспыхивало вдруг во всем ее существе, и она пристально глядела в темноту; никому не видимая тайная улыбка раскрывала ее губы... но она тотчас встряхивала головой, заносила к затылку сложенные пальцы рук, и снова, как туман, колыхались в ней прежние думы. Перед утром она разделась и легла в постель, но заснуть не могла. Первые огненные лучи солнца ударили в ее комнату... «О, если он меня любит!» – воскликнула она вдруг и, не стыдясь озарившего ее света, раскрыла свои объятия...

Она встала, оделась, сошла вниз. Еще никто не просыпался в доме. Она пошла в сад: но в саду так было тихо, и зелено, и свежо, так доверчиво чирикали птицы, так радостно выглядывали цветы, что ей жутко стало. «О! – подумала она, – если это правда, нет ни одной травки счастливее меня, да правда ли это?» Она вернулась в свою комнату и, чтоб как-нибудь убить время, стала менять платье. Но все у ней падало и скользило из рук, и она еще сидела полураздетая перед своим туалетным зеркальцем, когда ее позвали чай пить. Она сошла вниз; мать заметила ее бледность, но сказала только: «Какая ты сегодня интересная», – и, окинув ее взглядом, прибавила: «Это платье очень к тебе идет; ты его всегда надевай, когда вздумаешь кому понравиться». Елена ничего не отвечала и села в уголок. Между тем пробило девять часов; до одиннадцати оставалось еще два часа. Елена взялась за книгу, потом за шитье, потом опять за книгу; потом она дала себе слово пройтись сто раз по одной аллее, и прошлась сто раз; потом она долго смотрела, как Анна Васильевна пасьянс раскладывала... да взглянула на часы: еще десяти не было. Шубин пришел в гостиную. Она попыталась заговорить с ним и извинилась перед ним, сама не зная в чем... Каждое ее слово не то чтоб усилием ей стоило, но возбуждало в ней самой какое-то недоумение. Шубин нагнулся к ней. Она ожидала насмешки, подняла глаза и увидела перед собою печальное и дружелюбное лицо... Она улыбнулась этому

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)

лицу. Шубин тоже улыбнулся ей, молча, и тихонько вышел. Она хотела удержать его, но не тотчас вспомнила, как позвать его. Наконец пробило одиннадцать часов. Она стала ждать, ждать, ждать и прислушиваться. Она уже ничего не могла делать; она перестала даже думать. Сердце в ней ожило и стало биться громче, все громче, и странное дело! время как будто помчалось быстрее. Прошло четверть часа, прошло полчаса, прошло еще несколько минут, по мнению Елены, и вдруг она вздрогнула: часы пробили не двенадцать, они пробили час. «Он не придет, он уедет, не простясь...» Эта мысль, вместе с кровью, так и бросилась ей в голову. Она почувствовала, что дыхание ей захватывает, что она готова зарыдать... Она побежала в свою комнату и упала, лицом на сложенные руки, на постель.

Полчаса пролежала она неподвижно; сквозь ее пальцы на подушку лились слезы. Она вдруг приподнялась и села: что-то странное совершалось в ней: лицо ее изменилось, влажные глаза сами собой высохли и заблестели, брови надвинулись, губы сжались. Прошло еще полчаса. Елена в последний раз прикинула ухом: не долетит ли до нее знакомый голос? встала, надела шляпу, перчатки, накинула мантилью на плечи и, незаметно выскользнув из дома, пошла проворными шагами по дороге, ведущей к квартире Берсенева.

#### XVIII

Елена шла, потупив голову и неподвижно устремив глаза вперед. Она ничего не боялась, она ничего не соображала; она хотела еще раз увидаться с Инсаровым. Она шла, не замечая, что солнце давно скрылось, заслоненное тяжелыми черными тучами, что ветер порывисто шумел в деревьях и клубил ее платье, что пыль внезапно поднималась и неслась столбом по дороге...

Крупный дождик закапал, она и его не замечала: но он пошел все чаще, все сильнее, сверкнула молния, гром ударил. Елена остановилась, посмотрела вокруг... К ее счастью, недалеко от того места, где застала ее гроза, находилась ветхая заброшенная часовенка над развалившимся колодцем. Она добежала до нее и вошла под низенький навес. Дождь хлынул ручьями; небо кругом обложилось. С немym отчаянием глядела Елена на частую сетку быстро падавших капель. Последняя надежда увидаться с Инсаровым исчезла. Старушка нищая вошла в часовенку, отряхнулась, проговорила с поклоном: «От дождя, матушка», – и, кряхтя и охая, присела на уступчик возле колодца. Елена опустила руку в карман: старушка заметила это движение, и лицо ее, сморщенное и желтое, но когда-то красивое, оживилось. «Спасибо тебе, кормилица, родная», – начала она. В кармане Елены не нашлось кошелька, а старушка протягивала уже руку...

– Денег у меня нет, бабушка, – сказала Елена, – а вот возьми, на что-нибудь пригодится.

Она подала ей свой платок.

– О-ох, красавица ты моя, – проговорила нищая, – да на что же мае платочек твой? Разве внучке подарить, когда замуж выходить будет. Пошли тебе господь за твою доброту!

Раздался удар грома.

– Господи, Иисусе Христе, – пробормотала нищая и перекрестилась три раза, – Да никак я уже тебя видела, – прибавила она, погодя немного. – Никак ты мне Христову милостыню подавала?

Елена вгляделась в старуху и узнала ее.

– Да, бабушка, – отвечала она. – Ты еще меня спросила, отчего я такая печальная.

– Так, голубка, так. То-то я тебя признала. Да ты и теперь словно кручинна живешь. Вот и платочек твой мокрый, знать от слез. Ох вы, молодушки, всем вам одна печаль, горе великое!

– Какая же печаль, бабушка?

– Какая? Эх, барышня хорошая, не моги ты со мной, со старухой, лукавить. Знаю я,

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
о чем ты тужишь: не сиротское твое горе. Ведь и я была молода, светик, мытарства-то эти я тоже проходила. Да. А я тебе, за твою доброту, вот что скажу: попался тебе человек хороший, не ветреник, ты уже держись одного; крепче смерти держись. Уж быть, так быть, а не быть, видно Богу так угодно. Да. Ты что на меня дивишься? я та же ворожея. Хошь, унесу с твоим платочком все твое горе? Унесу, и полно. Вишь, дождик реденький пошел; ты-то подожди еще, а я пойду. Меня ему не впервой мочить. Помни же, голубка: была печаль, сплыла печаль, и помину ей нет. Господи, помилуй!

Нищая приподнялась с уступчика, вышла из часовенки и поплелась своею дорогой. Елена с изумлением посмотрела ей вслед. «Что это значит?» – прошептала она невольно.

Дождик сеялся все мельче и мельче, солнце заиграло на мгновение. Елена уже собиралась покинуть свое убежище... Вдруг в десяти шагах от часовни она увидела Инсарова. Закутанный плащом, он шел по той же самой дороге, по которой пришла Елена; казалось, он спешил домой.

Она оперлась рукой о ветхое перильце крылечка, хотела позвать его, но голос изменил ей... Инсаров уже проходил мимо, не поднимая головы...

– Дмитрий Никанорович! – проговорила она наконец.

Инсаров внезапно остановился, оглянулся... В первую минуту он не узнал Елену, но тотчас же подошел к ней.

– Вы! вы здесь! – воскликнул он.

Она отступила молча в часовню. Инсаров последовал за Еленой.

– Вы здесь? – повторил он.

Она продолжала молчать и только глядела на него каким-то долгим, мягким взглядом. Он опустил глаза.

– Вы шли от нас? – спросила она его.

– Нет... не от вас.

– Нет? – повторила Елена и постаралась улыбнуться. – Так-то вы держите ваши обещания? Я вас ждала с утра.

– Я вчера, вспомните, Елена Николаевна, ничего не обещал.

Елена опять едва улыбнулась и провела рукой по лицу. И лицо и рука были очень бледны.

– Вы, стало быть, хотели уехать, не простившись с нами?

– Да, – сурово и глухо промолвил Инсаров.

– Как? После нашего знакомства, после этих разговоров, после всего... Стало быть, если б я вас здесь не встретила случайно (голос Елены зазвенел, и она умолкла на мгновение)... так бы вы и уехали, и руки бы мне не пожали в последний раз, и вам бы не было жаль?

Инсаров отвернулся.

– Елена Николаевна, пожалуйста, не говорите так. Мне и без того невесело. Поверьте, мое решение мне стоило больших усилий. Если б вы знали...

– Я не хочу знать, – с испугом перебила его Елена, – зачем вы едете... Видно, так нужно. Видно, нам должно расстаться. Вы без причины не захотели бы огорчить ваших друзей. Но разве так расстаются друзья? Ведь мы друзья с вами, не правда ли?

– Нет, – сказал Инсаров.

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)

– Как?.. – промолвила Елена. Щеки ее покрылись легким румянцем.

– Я именно оттого и уезжаю, что мы не друзья. Не заставляйте меня сказать то, что я не хочу сказать, что я не скажу.

– Вы прежде были со мной откровенны, – с легким упреком произнесла Елена. – Помните?

– Тогда я мог быть откровенным, тогда мне скрывать было нечего; а теперь...

– А теперь? – спросила Елена.

– А теперь... А теперь я должен удалиться. Прощайте.

Если б в это мгновение Инсаров поднял глаза на Елену, он бы заметил, что лицо ее все больше светлело, чем больше он сам хмурился и темнел; но он упорно глядел на пол.

– Ну, прощайте, Дмитрий Никанорович, – начала она. – Но по крайней мере, так как мы уже встретились, дайте мне теперь вашу руку.

Инсаров протянул было руку.

– Нет, я этого не могу, – промолвил он и отвернулся снова.

– Не можете?

– Не могу. Прощайте.

И он направился к выходу часовни.

– Погодите еще немножко, – сказала Елена. – Вы как будто боитесь меня. А я храбрее вас, – прибавила она с внезапной легкой дрожью во всем теле. – Я могу вам сказать... хотите?.., отчего вы меня здесь застали? Знаете, куда я шла?

Инсаров с изумлением посмотрел на Елену.

– Я шла к вам.

– Ко мне?

Елена закрыла лицо.

– Вы хотели заставить меня сказать, что я вас люблю, – прошептала она, – вот... я сказала.

– Елена! – вскрикнул Инсаров.

Она приняла руки, взглянула на него и упала к нему на грудь.

Он крепко обнял ее и молчал. Ему не нужно было говорить ей, что он ее любит. Из одного его восклицания, из этого мгновенного преобразования всего человека, из того, как поднималась и опускалась эта грудь, к которой она так доверчиво прильнула, как прикасались концы его пальцев к ее волосам, Елена могла понять, что она любима. Он молчал, и ей не нужно было слов. «Он тут, он любит... чего ж еще?» Тишина блаженства, тишина невозмутимой пристани, достигнутой цели, та небесная тишина, которая и самой смерти придает и смысл и красоту, наполнила ее всю своею божественной волной. Она ничего не желала, потому что она обладала всем. «О мой брат, мой друг, мой милый!..» – шептали ее губы, и она сама не знала, чье это сердце, его ли, ее ли, так сладостно билось и таяло в ее груди.

А он стоял неподвижно, он окружал своими крепкими объятиями эту молодую, отдавшуюся ему жизнь, он ощущал на груди это новое, бесконечно дорогое бремя; чувство умиления, чувство благодарности неизъяснимой разбило в прах его твердую душу, и никогда еще не изведенные слезы навернулись на его глаза...

А она не плакала; она твердила только: «О мой друг! о мой брат!»

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)

– Так ты пойдешь за мною всюду? – говорил он ей четверть часа спустя, по-прежнему окружая и поддерживая ее своими объятиями.

– Всюду, на край земли. Где ты будешь, там я буду.

– И ты себя не обманываешь, ты знаешь, что родители твои никогда не согласятся на наш брак?

– Я себя не обманываю; я это знаю.

– Ты знаешь, что я беден, почти нищий?

– Знаю.

– Что я не русский, что мне не суждено жить в России, что тебе придется разорвать все твои связи с отечеством, с родными?

– Знаю, знаю.

– Ты знаешь также, что я посвятил себя делу трудному, неблагодарному, что мне... что нам придется подвергаться не одним опасностям, но и лишениям, унижению, быть может?

– Знаю, все знаю... Я тебя люблю...

– Что ты должна будешь отстать от всех твоих привычек, что там, одна, между чужими, ты, может быть, принуждена будешь работать...

Она положила ему руку на губы.

– Я люблю тебя, мой милый.

Он начал горячо целовать ее узкую, розовую руку. Елена не отнимала ее от его губ и с какой-то детской радостью, с смеющимся любопытством глядела, как он покрывал поцелуями то самую руку ее, то пальцы...

Вдруг она покраснела и спрятала свое лицо на его груди.

Он ласково приподнял ее голову и пристально посмотрел ей в глаза.

– Так здравствуй же, – сказал он ей, – моя жена перед людьми и перед Богом!

XIX

Час спустя Елена, с шляпою в одной руке, с мантилей в другой, тихо входила в гостиную дачи. Волосы ее слегка развилась, на каждой щеке виднелось маленькое розовое пятнышко, улыбка не хотела сойти с ее губ, глаза смыкались и, полузакрытые, тоже улыбались. Она едва переступала от усталости, и ей была приятна эта усталость: да и все ей было приятно. Все казалось ей милым и ласковым.

Увар Иванович сидел под окном; она подошла к нему, положила ему руку на плечо, потянулась немного и как-то невольно засмеялась.

– Чему? – спросил он, удивившись.

Она не знала, что сказать. Ей хотелось поцеловать Увара Ивановича.

– Плашмя... – промолвила она наконец. Но Увар Иванович даже бровью не повел и продолжал с удивлением глядеть на Елену. Она уронила на него и мантилью и шляпу.

– Милый Увар Иванович, – проговорила она, – я спать хочу, я устала, – она опять засмеялась и упала на кресло возле него.

– Гм, – крикнул Увар Иванович и заиграл пальцами. – Это, надо бы, да...

А Елена глядела вокруг себя и думала: «Со всем этим я скоро должна расстаться... и странно: нет во мне ни страха, ни сомнения, ни сожаления... Нет, мамаша жалко!»

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)

Потом опять возникла перед ней часовенка, прозвучал опять его голос, она почувствовала вокруг себя его руки. Сердце ее радостно, но слабо шевельнулось: истомы счастья лежала и на нем. Вспомнилась ей старушка нищая. «Точно, унесла она мое горе, – подумала она. – О, как я счастлива! как незаслуженно! как скоро!» Ей бы стоило дать себе крошечку воли, и полились бы у нее сладкие, нескончаемые слезы. Она удерживала их только тем, что посмеивалась. Какое положение она ни принимала, ей казалось, что уж лучше и ловчее нельзя: точно ее баюкали. Все движения ее были медленны и мягки; куда девалась ее торопливость, ее угловатость? Вошла Зоя: Елена решила, что она не видала прелестнее личика; Анна Васильевна вошла: что-то кольнуло Елену, но с какою нежностью она обняла свою добрую мать и поцеловала ее в лоб, подле волос, уже слегка поседелых! Потом она отправилась в свою комнатку: как там ей все улыбнулось! С каким чувством стыдливого торжества и смирения села она на свою кровать, на ту самую кровать, где три часа тому назад она провела такие горькие мгновения! «А ведь уж я тогда знала, что он меня любит, – подумала она, – да и прежде... Ай, нет! нет! это грех». «Ты моя жена...» – прошептала она, закрывшись руками, и бросилась на колени.

К вечеру она стала задумчивее. Грусть ее взяла при мысли, что она не скоро увидится с Инсаровым. Он не мог, не возбуждая подозрения, оставаться у Берсенева, и потому вот на чем они с Еленой порешили: Инсаров должен был вернуться в Москву и приехать к ним в гости раза два до осени; с своей стороны, она обещалась писать ему письма и, если будет можно, назначить ему свидание где-нибудь около Кунцева. К чаю она сошла в гостиную и застала там всех своих домашних и Шубина, который зорко посмотрел на нее, как только она появилась; она хотела было заговорить с ним дружески, по-старому, да боялась его пронизательности, боялась самой себя. Ей сдавалось, что он недаром более двух недель оставлял ее в покое. Скоро пришел Берсенева и передал Анне Васильевне поклон от Инсарова вместе с извинением его в том, что он вернулся в Москву, не засвидетельствовав ей своего почтения. Имя Инсарова в первый раз в течение дня произносилось перед Еленой; она почувствовала, что покраснела; она поняла в то же время, что ей следовало выразить сожаление о внезапном отъезде такого хорошего знакомого, но она не могла принудить себя к притворству и продолжала сидеть неподвижно и безмолвно, между тем как Анна Васильевна охала и горевала. Елена старалась держаться около Берсенева; она его не боялась, хоть он и знал часть ее тайны; она спасалась под его крылышко от Шубина, который все продолжал поглядывать на нее – не насмешливо, но внимательно. На Берсенева в течение вечера тоже находило недоумение: он ожидал, что увидит Елену более печальной. К счастью ее, между ним и Шубиным завязался спор об искусстве; она отодвинулась и словно сквозь сон слушала их голоса. Понемногу не только они, но и вся комната, все, что окружало ее, показалось ей как бы сном – все: и самовар на столе, и коротенький жилет Увара Ивановича, и гладкие ноги Зои, и масляный портрет великого князя Константина Павловича на стене: все уходило, все покрывалось дымкой, все переставало существовать. Только жаль ей было их всех. «Для чего живут?» – думала она.

– Ты спать хочешь, Леночка? – спросила ее мать.

Она не слышала вопроса матери.

– Полусправедливый намек, говоришь ты?.. – Эти слова, резко произнесенные Шубиным, внезапно возбудили внимание Елены. – Помилуй, – продолжал он, – в этом-то самый вкус и есть. Справедливый намек возбуждает уныние – это не по-христиански; к несправедливому человек равнодушен – это глупо, а от полусправедливого он и досаду чувствует и нетерпение. Например, если я скажу, что Елена Николаевна влюблена в одного из нас, какого рода это будет намек, ась?

– Ах, мсье Поль, – проговорила Елена, – я бы хотела показать вам мою досаду, да, право, не могу. Я очень устала.

– Что ж ты не ляжешь? – промолвила Анна Васильевна, которая вечером сама всегда дремала и оттого охотно посылала спать других. – Простись со мной да ступай с Богом. Андрей Петрович извинит.

Елена поцеловала свою мать, поклонилась всем и пошла. Шубин проводил ее до дверей.

– Елена Николаевна, – шепнул он ей на пороге, – вы топчете мсье Поля, вы

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
безжалостно ходите по нем, а мсьё Поль благословляет вас, и ваши ножки, и башмаки на ваших ножках, и подошвы ваших башмаков.

Елена пожалала плечом, нехотя протянула ему руку – не ту, которую целовал Инсаров, – и, вернувшись к себе в комнату, тотчас разделась, легла и заснула. Она спала глубоким, безмятежным сном... так даже дети не спят: так спит только выздоровевший ребенок, когда мать сидит возле его колыбельки и глядит на него и слушает его дыхание.

ХХ

– Зайди ко мне на минутку, – сказал Берсеневу Шубин, как только тот простился с Анной Васильевной, – у меня есть кое-что тебе показать.

Берсенев отправился к нему во флигель. Его поразило множество студий, статуэток и бюстов, окутанных мокрыми тряпками и расставленных по всем уголкам комнаты.

– Да ты, я вижу, работаешь не на шутку, – заметил он Шубину.

– Что-нибудь надобно ж делать, – ответил тот. – Одно не везет, надо пробовать другое. Впрочем, я, как корсиканец, занимаюсь больше вендеттой, нежели чистым искусством. *Trema, Bisanzia!*[68]

– Я тебя не понимаю, – проговорил Берсенев.

– А вот погоди. Вот извольте поглядеть, любезный друг и благодетель, мою месть номер первый.

Шубин раскутал одну фигуру, и Берсенев увидел отменно схожий, отличный бюст Инсарова. Черты лица были схвачены Шубиным верно до малейшей подробности, и выражение он им придал славное: честное, благородное и смелое.

Берсенев пришел в восторг.

– Да это просто прелесть! – воскликнул он. – Поздравляю тебя. Хоть на выставку! Почему ты называешь это великолепное произведение мезью?

– А потому, сэр, что я намерен поднести это, как вы изволили выразиться, великолепное произведение Елене Николаевне в день ее именин. Понимаете вы сию аллегория? Мы не слепые, мы видим, что около нас происходит, но мы джентльмены, милостивый государь, и мстим по-джентльменски.

– А вот, – прибавил Шубин, раскутывая другую фигурку, – так как художник, по новейшим эстетикам, пользуется завидным правом воплощать в себе всякие мерзости, возводя их в перл создания, то мы, при возведении сего перла, номера второго, мстили уже вовсе не как джентльмены, а просто *en canaille*[69].

Он ловко сдернул полотно, и взорам Берсенева предстала статуэтка, в дантановском вкусе, того же Инсарова. Злее и остроумнее невозможно было ничего придумать. Молодой болгар был представлен бараном, поднявшимся на задние ножки и склоняющим рога для удара. Тупая важность, задор, упрямство, неловкость, ограниченность так и отпечатались на физиономии «супруга овец тонкорунных», и между тем сходство было до того поразительно, несомненно, что Берсенев не мог не расхохотаться.

– Что? забавно? – промолвил Шубин, – узнал ироя? На выставку тоже советуешь послать? Это, братец ты мой, я сам себе в собственные именины подарю... Ваше высокоблагородие, позвольте выкинуть колене!

И Шубин прыгнул раза три, ударяя себя сзади подошвами.

Берсенев поднял с полу полотно и забросил им статуэтку.

– Ох ты, великодушный, – начал Шубин, – кто, бишь, в истории считается особенно великодушным? Ну, все равно! А теперь, – продолжал он, торжественно и печально раскутывая третью, довольно большую массу глины, – ты узришь нечто, что докажет тебе смиренномудрие и прозорливость твоего друга. Ты убедишься в том, что он, опять-таки как истинный художник, чувствует потребность и пользу собственного заушения. Взираи!

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
Полотно взвилось, и Берсенеv увидел две, рядом и близко поставленные, точно сросшиеся, головы... Он не тотчас понял, в чем дело, но, приглянувшись, узнал в одной из них Аннушку, в другой самого Шубина. Впрочем, это были скорее карикатуры, чем портреты. Аннушка была представлена красивою жирною девкой с низким лбом, заплывшими глазами и бойко вздернутым носом. Ее крупные губы нагло ухмылялись; все лицо выражало чувственность, беспечность и удаль, не без добродушия. Себя Шубин изобразил испитым, исхудалым жуиром [70] с ввалившимися щеками, с бессильно висящими косицами жидких волос, с бессмысленным выражением в погасших глазах, с заостренным, как у мертвеца, носом.

Берсенеv отвернулся с отвращением.

– Какова двоешка, брат? – промолвил Шубин. – Не соблаговолишь ли сочинить приличную подпись? К первым двум штукам я уже подписи придумал. Под бюстом будет стоять: «Герой, намеревающийся спасти свою родину». Под статуэткой: «Берегитесь, колбасники!» А под этой штукой – как ты думаешь? – «Будущность художника Павла Яковлевича Шубина...» Хорошо?

– Перестань, – возразил Берсенеv. – Стоило терять время на такую... – Он не тотчас подобрал подходящее слово.

– Гадость? хочешь ты сказать. Нет, брат, извини, уж коли чему на выставку идти, так этой группе.

– Именно гадость, – повторил Берсенеv. – Да и что за вздор? В тебе вовсе нет тех залогов подобного развития, которыми до сих пор, к несчастью, так обильно одарены наши артисты. Ты просто наклеветал на себя.

– Ты полагаешь? – мрачно проговорил Шубин. – Если во мне их нет и если они ко мне привьются, то в этом будет виновата... одна особа. Ты знаешь ли, – прибавил он, трагически нахмурив брови, – что я уже пробовал пить?

– Врешь?!

– Пробовал, ей-богу, – возразил Шубин и вдруг осклабился и просветлел, – да невкусно, брат, в горло не лезет, и голова потом, как барабан. Сам великий Луцихин – Харламий Луцихин, первая московская, а по другим, великороссийская воронка, объявил, что из меня проку не будет. Мне, по его словам, бутылка ничего не говорит.

Берсенеv замахнулся было на группу, но Шубин остановил его.

– Полно, брат, не бей; это как урок годится, как пугало.

Берсенеv засмеялся.

– В таком случае, пожалуй, пощажу твое пугало, – промолвил он, – да здравствует вечное, чистое искусство!

– Да здравствует! – подхватил Шубин. – С ним и хорошее лучше и дурное не беда!

Прятели крепко пожали друг другу руку и разошлись.

XXI

Первым ощущением Елены, когда она проснулась, был радостный испуг. «Неужели? неужели?» – спрашивала она себя, и сердце ее замирало от счастья. Воспоминания нахлынули на нее... она потонула в них. Потом опять ее осенила та блаженная, восторженная тишина. Но в течение утра Еленой понемногу овладело беспокойство, а в следующие дни ей стало и томно и скучно. Правда, она теперь знала, чего она хотела, но от этого ей не было легче. То незабвенное свидание выбросило ее навсегда из старой колеи: она уже не стояла в ней, она была далеко, а между тем кругом все совершалось обычным порядком, все шло своим чередом, как будто ничего не изменилось; прежняя жизнь по-прежнему двигалась, по-прежнему рассчитывала на участие и содействие Елены. Она пыталась начать письмо к Инсарову, но и это не удалось: слова выходили на бумаге не то мертвые, не то лживые. Дневник свой она покончила: она под последнею строкой провела большую черту. То было прошедшее, а она всеми помыслами своими, всем существом ушла в будущее. Ей было тяжело. Сидеть с матерью, ничего не подозревающей, выслушивать ее, отвечать ей, говорить



Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
с ней – казалось Елене чем-то преступным; она чувствовала в себе присутствие какой-то фальши; она возмущалась, хотя краснеть ей было не за что; не раз поднималось в ее душе почти непреодолимое желание высказать все без утайки, что бы там ни было потом. «Для чего, – думала она, – Дмитрий не тогда же, не из этой часовни увел меня, куда хотел? Не сказал ли он мне, что я его жена перед Богом? Зачем я здесь?» Она вдруг стала дичиться всех, даже Увара Ивановича, который более чем когда-либо недоумевал и играл перстами. Уже ни ласковым, ни милым, ни даже сном не казалось ей все окружающее: оно как кошмар давило ей грудь неподвижным, мертвенным бременем; оно как будто и упрекало ее, и негодовало, и знать про нее не хотело... Ты, мол, все-таки наша. Даже ее бедные питомцы, угнетенные птицы и звери, глядели на нее, – по крайней мере так чудилось ей, – недоверчиво и враждебно. Ей становилось совестно и стыдно своих чувств. «Ведь это все-таки мой дом, – думала она, – моя семья, моя родина...» – «Нет, это больше не твоя родина, не твоя семья», – твердил ей другой голос. Страх овладевал ею, и она досадовала на свое малодушие. Беда только начиналась, а уж она теряла терпение... То ли она обещала?

Не скоро она совладела с собой. Но прошла неделя, другая. Елена немного успокоилась и привыкла к новому своему положению. Она написала две маленькие записочки Инсарову и сама отнесла их на почту – она бы ни за что, и из стыдливости и из гордости, не решилась довериться горничной. Она начинала уже поджидать его самого... Но вместо его, в одно прекрасное утро, прибыл Николай Артемьевич.

## XXII

Еще никто в доме отставного гвардии поручика Стахова не видал его таким кислым и в то же время таким самоуверенным и важным, как в тот день. Он вошел в гостиную в пальто и шляпе – вошел медленно, широко расставляя ноги и стуча каблуками; приблизился к зеркалу и долго смотрел на себя, с спокойною строгостью покачивая головой и кусая губы. Анна Васильевна встретила его с наружным волнением и тайною радостью (она его иначе никогда не встречала); он даже шляпы не снял, не поздоровался с нею и молча дал Елене поцеловать свою замшевую перчатку. Анна Васильевна стала его расспрашивать о курсе лечения – он ничего не отвечал ей; явился Увар Иванович – он взглянул на него и сказал: «Ба!» С Уваром Ивановичем он вообще обходился холодно и свысока, хотя признавал в нем «следы настоящей стаховской крови». Известно, что почти все русские дворянские фамилии убеждены в существовании исключительных породистых особенностей, им одним свойственных: нам не однажды довелось слышать толки «между своими» о «подсаласкинских» носах и «перепреевских» затылках. Зоя вошла и присела перед Николаем Артемьевичем. Он крякнул, опустился в кресла, потребовал себе кофею и только тогда снял шляпу. Ему принесли кофею; он выпил чашку и, посмотрев поочередно на всех, промолвил сквозь зубы: «Sortez, s'il vous plaît»[71], и, обратившись к жене, прибавил: «Et vous, madame, restez, je vous prie»[72].

Все вышли, кроме Анны Васильевны. У нее голова задрожала от волнения. Торжественность приемов Николая Артемьевича ее поразила. Она ожидала чего-то необыкновенного.

– Что такое! – воскликнула она, как только дверь затворилась.

Николай Артемьевич бросил равнодушный взгляд на Анну Васильевну.

– Ничего особенного, что это у вас за манера тотчас принимать вид какой-то жертвы? – начал он, безо всякой нужды опуская углы губ на каждом слове. – Я только хотел вас предупредить, что у нас сегодня будет обедать новый гость.

– Кто такой?

– Курнатовский, Егор Андреевич. Вы его не знаете. Обер-секретарь в сенате.

– Он будет сегодня у нас обедать?

– Да.

– И вы только для того, чтобы мне это сказать, велели всем выйти?

Николай Артемьевич снова бросил на Анну Васильевну взгляд, на этот раз уже иронический.

– Вас это удивляет? Погодите удивляться.

Он умолк. Анна Васильевна тоже помолчала немного.

– Я желала бы, – заговорила она...

– Я знаю, вы меня всегда считали за «имморального» человека, – начал вдруг Николай Артемьевич.

– Я! – с изумлением пробормотала Анна Васильевна.

– И может быть, вы и правы. Я не хочу отрицать, что действительно я вам иногда подавал справедливый повод к неудовольствию («серые лошади!» – промелькнуло в голове Анны Васильевны), хотя вы сами должны согласиться, что при известном вам состоянии вашей конституции...

– Да я вас нисколько не обвиняю, Николай Артемьевич.

– C'est possible[73]. Во всяком случае я не намерен себя оправдывать. Меня оправдает время. Но я почитаю своим долгом уверить вас, что знаю свои обязанности и умею радеть о... о пользах вверенного мне... вверенного мне семейства.

«Что все это значит?» – думала Анна Васильевна. (Она не могла знать, что накануне, в английском клубе в углу диванной, поднялось прение о неспособности русских произносить спичи. «Кто у нас умеет говорить? Назовите кого-нибудь?» – воскликнул один из споривших. «Да хоть бы Стахов, например», – отвечал другой и указал на Николая Артемьевича, который тут же стоял и чуть не пискнул от удовольствия.)

– Например, – продолжал Николай Артемьевич, – дочь моя, Елена. Не находите ли вы, что пора ей, наконец, ступить твердою стопую на стезю... выйти замуж, я хочу сказать. Все эти умствования и филантропии хороши, но до известной степени, до известных лет. Пора ей покинуть свои туманы, выйти из общества разных артистов, школяров и каких-то черногорцев и сделаться, как все.

– Как я должна понять ваши слова? – спросила Анна Васильевна.

– А вот извольте выслушать, – отвечал Николай Артемьевич всё с тем же опусканием губ. – Скажу вам прямо, без обиняков: я познакомился, я сблизился с этим молодым человеком – господином Курнатовским, в надежде иметь его своим зятем. Смею думать, что, увидевши его, вы не обвините меня в пристрастии или в опрометчивости суждений. (Николай Артемьевич говорил и сам любовался своим красноречием.) Образования отличного, он правовед, манеры прекрасные, тридцать три года, обер-секретарь, коллежский советник, и Станислав на шее. Вы, надеюсь, отдадите мне справедливость, что я не принадлежу к числу тех *règes de comédie*[74], которые бредят одними чинами; но вы сами мне говорили, что Елене нравятся дельные, положительные люди: Егор Андреевич первый по своей части делец; теперь с другой стороны, дочь моя имеет слабость к великодушным поступкам: так знайте же, что Егор Андреевич, как только достиг возможности, вы понимаете меня, возможности безбедно существовать своим жалованьем, тотчас отказался в пользу своих братьев от ежегодной суммы, которую назначил ему отец.

– А кто его отец? – спросила Анна Васильевна.

– Отец его? Отец его тоже известный в своем роде человек, нравственности самой высокой, un vrai stoïcien[75], отставной, кажется, майор, всеми именьями графов Б... управляет.

– А! – промолвила Анна Васильевна.

– А! что: а? – подхватил Николай Артемьевич. – Ужели и вы заражены предрассудками?

– Да я ничего не сказала, – начала было Анна Васильевна...

– Нет, вы сказали: а!.. Как бы то ни было, я счел нужным вас предупредить о моем образе мыслей и смею думать... смею надеяться, что господин Курнатовский будет

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
принят à bras ouverts[76]. Это не какой-нибудь черногорец.

– Разумеется; надо будет только Ваньку повара позвать, блюдо приказать прибавить.

– Вы понимаете, что я в это не вхожу, – проговорил Николай Артемьевич, встал, надел шляпу и, посвистывая (он от кого-то слышал, что посвистывать можно только у себя на даче и в манеже), отправился гулять в сад. Шубин поглядел на него из окошка своего флигеля и молча высунул ему язык.

В четыре часа без десяти минут к крыльцу стаховской дачи подъехала ямская карета, и человек еще молодой, благообразной наружности, просто и изящно одетый, вышел из нее и велел доложить о себе. Это был Егор Андреевич Курнатовский.

Вот что, между прочим, писала на следующий день Инсарову Елена.

«Поздравь меня, милый Дмитрий, у меня жених. Он вчера у нас обедал; папенька познакомился с ним, кажется, в английском клубе и пригласил его. Разумеется, он приезжал вчера не женихом. Но добрая мамаша, которой папенька сообщил свои надежды, шепнула мне на ухо, что это за гость. Зовут его Егор Андреевич Курнатовский. Он служит обер-секретарем при сенате. Опишу тебе сперва его наружность. Он небольшого роста, меньше тебя, хорошо сложен; черты у него правильные, он коротко острижен, носит большие бакенбарды. Глаза у него небольшие (как у тебя), карие, быстрые, губы плоские, широкие; на глазах и на губах постоянная улыбка, официальная какая-то; точно она у него дежурит. Держится он очень просто, говорит отчетливо, и все у него отчетливо: он ходит, смеется, ест, словно дело делает. «Как она его изучила!» – думаешь ты, может быть, в эту минуту. Да; для того, чтоб описать тебе его. Да и как же не изучать своего жениха! В нем есть что-то железное... и тупое и пустое в то же время – и честное; говорят, он точно очень честен. Ты у меня тоже железный, да не так, как этот. За столом он сидел возле меня, против нас сидел Шубин. Сперва речь зашла о каких-то коммерческих предприятиях: говорят, он в них толк знает и чуть было не бросил своей службы, чтобы взять в руки большую фабрику. Вот не догадался! Потом Шубин заговорил о театре; господин Курнатовский объявил, и – я должна сознаться – без ложной скромности, что он в искусстве ничего не смыслит. Это мне тебя напомнило... но я подумала: нет, мы с Дмитрием все-таки иначе не понимаем искусства. Этот как будто хотел сказать: я не понимаю его, да оно и не нужно, но в благоустроенном государстве допускается. К Петербургу и к *compte il faut* он, впрочем, довольно равнодушен: он раз даже назвал себя пролетарием. Мы, говорит, чернорабочие! Я подумала: если бы Дмитрий это сказал, мне бы это не понравилось, а этот пускай себе говорит! пусть хвастается! Со мной он был очень вежлив; но мне все казалось, что со мной беседует очень, очень снисходительный начальник. Когда он хочет похвалить кого, он говорит, что у такого-то есть правила – это его любимое слово. Он должен быть самоуверен, трудолюбив, способен к самопожертвованию (ты видишь: я беспристрастна), то есть к жертвованию своих выгод, но он большой деспот. Беда попасться ему в руки! За столом заговорили о взятках...

– Я понимаю, – сказал он, – что во многих случаях берущий взятку не виноват; он иначе поступить не мог. А все-таки, если он попался, должно его раздавить.

Я вскрикнула.

– Раздавить невиноватого!

– Да, ради принципа.

– Какого? – спросил Шубин.

Курнатовский не то смешался, не то удивился и сказал:

– Этого нечего объяснять.

Папаша, который, кажется, благоговеет перед ним, подхватил, что, конечно, нечего, и, к досаде моей, разговор этот прекратился. Вечером пришел Берсенева и вступил с ним в ужасный спор. Никогда я еще не видала нашего доброго Андрея Петровича в таком волнении. Господин Курнатовский вовсе не отрицал пользы науки, университетов и т. д... а между тем я понимала негодование Андрея Петровича. Тот

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru) смотрит на все это как на гимнастику какую-то. Шубин подошел ко мне после стола и сказал: «Вот этот и некто другой (он твоего имени произнести не может) – оба практические люди, а посмотрите, какая разница: там настоящий, живой, жизнью данный идеал; а здесь даже не чувство долга, а просто служебная честность и дельность без содержания». Шубин умен, и я для тебя запомнила его слова; а по-моему, что же общего между вами? Ты веришь, а тот нет, потому что только в самого себя верить нельзя.

Он уехал поздно, но мамаша успела мне сообщить, что я ему понравилась, что папенька в восторге... Уж не сказал ли он обо мне, что и у меня есть правила? А я чуть было не ответила мамаше, что мне очень жалко, но что у меня уже есть муж. Отчего тебя папенька так не любит? С мамашей еще можно было бы как-нибудь...

О мой милый! Я тебе так подробно описала этого господина для того, чтобы заглушить мою тоску. Я не живу без тебя, я беспрестанно тебя вижу, слышу... Я жду тебя, только не у нас, как ты было хотел, – представь, как нам будет тяжело и неловко! – а знаешь, где я тебе писала – в той роще... О мой милый! Как я тебя люблю!»

### XXIII

Недели три после первого посещения Курнатовского Анна Васильевна, к великой радости Елены, переселилась в Москву, в свой большой деревянный дом возле Пречистенки, дом с колоннами, белыми лирами и венками над каждым окном, с мезонином, службами, палисадником, огромным зеленым двором, колодцем на дворе и собачьей конуркой возле колодца. Анна Васильевна никогда так рано не съезжала с дачи, но в тот год у ней от первых осенних холодов разыгрались флюсы; Николай Артемьевич, с своей стороны, окончивши курс лечения, соскучился по жене; притом же Августина Христиановна уехала погостить к своей кузине в Ревель; в Москву прибыло какое-то иностранное семейство, показывавшее пластические позы, *des poses plastiques*, описание которых в Московских ведомостях сильно возбудило любопытство Анны Васильевны. Словом, дальнейшее пребывание на даче оказалось неудобным и даже, по словам Николая Артемьевича, несовместным с исполнением его «предначертаний». Последние две недели показались очень длинными Елене. Курнатовский приезжал два раза, по воскресеньям; в другие дни он был занят. Он приезжал собственно для Елены, но разговаривал больше с Зоей, которой он очень понравился. «*Das ist ein Mann!*»[77] – думала она про себя, глядя на его смуглое и мужественное лицо, слушая его самоуверенные, снисходительные речи. По ее мнению, ни у кого не было такого чудного голоса, никто не умел так отлично произнести: «Я имел чес-с-ть» или «я весьма доволен». Инсаров не был у Стаховых, но Елена видела его раз украдкой в небольшой рощице над Москвой-рекой, где она назначила ему свидание. Они едва успели сказать несколько слов друг другу. Шубин возвратился в Москву вместе с Анной Васильевной; Берсенев несколькими днями позже.

Инсаров сидел у себя в комнате и в третий раз перечитывал письма, доставленные ему из Болгарии с «оказией»; по почте их боялись посылать. Он был очень встревожен ими. События быстро развивались на Востоке; занятие княжеств русскими войсками[78] волновало все умы; гроза росла, слышалось уже веяние близкой, неминуемой войны. Кругом занимался пожар, и никто не мог предвидеть, куда он пойдет, где остановится; старые обиды, давние надежды – все зашевелилось. Сердце Инсарова сильно билось: и его надежды сбывались. «Но не рано ли? не напрасно ли? – думал он, стискивая руки. – Мы еще не готовы. Но так и быть! Надо будет ехать».

Что-то слегка зашумело за дверью, она быстро распахнулась – и в комнату вошла Елена.

Инсаров затрепетал весь, бросился к ней, упал перед нею на колени, обнял ее стан и крепко прижался к нему головой.

– Ты меня не ждал? – заговорила она, едва переводя дух. (Она быстро взбежала по лестнице.) – Милый! милый! – Она положила ему обе руки на голову и оглянулась. – Так вот где ты живешь? Я тебя скоро нашла. Дочь твоего хозяина меня проводила. Мы третьего дня приехали. Я хотела тебе написать, но подумала, лучше я сама пойду. Я к тебе на четверть часа. Встань, запри дверь.

Он поднялся, проворно запер дверь, воротился к ней и взял ее за руки. Он не мог говорить: радость его душила. Она с улыбкой глядела ему в глаза... в них было

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
столько счастья... Она застыдилась.

– Постой, – сказала она, ласково отнимая у него руки, – дай мне шляпу снять.

Она развязала ленты шляпы, сбросила ее, спустила с плеч мантилью, поправила волосы и села на маленький, старенький диванчик. Инсаров не шевелился и глядел на нее, как очарованный.

– Сядь же, – проговорила она, не поднимая на него глаз и указывая ему на место возле себя.

Инсаров сел, но не на диван, а на пол, у ее ног.

– На, сними с меня перчатки, – промолвила она неровным голосом. Ей становилось страшно.

Он принялся сперва расстегивать, потом стаскивать одну перчатку, стащил ее до половины и жадно прильнул губами к забелевшей под нею тонкой и нежной кисти.

Елена вздрогнула и хотела отклонить его другой рукою, он начал целовать другую руку. Елена потянула ее к себе, он откинул голову, она посмотрела ему в лицо, нагнулась – и губы их слились...

Прошло мгновение... Она вырвалась, встала, шепнула: «Нет, нет», – и быстро подошла к письменному столу.

– Ведь я здесь хозяйка, для меня не должно быть у тебя тайны, – проговорила она, стараясь казаться беспечной и становясь к нему спиной. – Сколько бумаг! Это что за письма?

Инсаров наморщил брови.

– Эти письма? – промолвил он, вставая с полу. – Ты можешь их прочесть.

Елена повертела их в руке.

– Их так много, и они так мелко написаны, а я сейчас должна уйти... Бог с ними! Не от соперницы?.. Да они и не по-русски, – прибавила она, перебирая тонкие листы.

Инсаров приблизился к ней и коснулся ее стана. Она вдруг обернулась к нему, светло ему улыбнулась и оперлась на его плечо.

– Эти письма из Болгарии, Елена; друзья мне пишут, они меня зовут.

– Теперь? Туда?

– Да... теперь. Пока еще время, пока проехать можно.

Она вдруг бросила ему обе руки вокруг шеи.

– Ведь ты меня возьмешь с собой?

Он прижал ее к сердцу.

– О моя милая девушка, о моя героиня, как ты произнесла это слово! Но не грешно ли, не безумно ли мне, мне, бездомному, одинокому, увлекать тебя с собою... И куда же!

Она зажала ему рот.

– Тсс... или я рассержусь и никогда больше не приду к тебе. Разве не все решено, не все кончено между нами? Разве я не твоя жена? Разве жена расстается с мужем?

– Жены не идут на войну, – промолвил он с полупечальной улыбкой.

– Да, когда они могут остаться. А разве я могу остаться здесь?

– Елена, ты ангел!.. Но подумай, мне, может быть, придется выехать из Москвы...

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
через две недели. Мне уже нельзя помышлять ни об университетских лекциях, ни об окончании работ.

– Что же такое? – перебила Елена. – Ты должен скоро ехать? Да хочешь ли, я теперь же, сейчас, сию минуту останусь у тебя, с тобой навсегда, и домой не вернусь, хочешь? Поедем сейчас, хочешь?

Инсаров с удвоенною силой заключил ее в свои объятия.

– Так пусть же Бог накажет меня, – воскликнул он, – если я делаю дурное дело! С нынешнего дня мы соединены навек!

– Я остаюсь? – спросила Елена.

– Нет, моя чистая девушка; нет, мое сокровище. Ты сегодня вернешься домой, но будь готова. Это дело нельзя разом сделать; надо хорошенько все обдумать. Тут нужны деньги, паспорт...

– Деньги у меня есть, – перебила Елена, – восемьдесят рублей.

– Ну, это не много, – заметил Инсаров, – а все годится.

– Да я могу достать, я займу, я попрошу у мамы... Нет, я у ней просить не буду... Да можно часы продать... У меня серьги есть, два браслета... кружево.

– Не в деньгах дело, Елена; паспорт, твой паспорт, как с этим быть?

– Да, как с этим быть? А непременно нужен паспорт?

– Непременно.

Елена усмехнулась.

– Что мне в голову пришло! Помнится, я была еще маленькая... У нас ушла горничная. Ее поймали, простили, и она долго жила у нас... а все-таки все ее величали: Татьяна беглая. Не думала я тогда, что и я, может быть, буду беглая, как она.

– Елена, как тебе не стыдно!

– А что? Конечно, лучше поехать с паспортом. Но если нельзя...

– Это мы все уладим после, после, погоди, – промолвил Инсаров. – Дай мне только осмотреться, дай подумать. Мы обо всем переговорим с тобой как следует. А деньги есть и у меня.

Елена отвела рукой волосы, падавшие на его лоб.

– О Дмитрий! как нам весело будет ехать вдвоем!

– Да, – сказал Инсаров, – а там, куда мы приедем...

– Что ж? – перебила Елена, – разве умирать вдвоем тоже не весело? Да нет, зачем умирать? Мы будем жить, мы молоды. Сколько тебе лет? Двадцать шесть?

– Двадцать шесть.

– А мне двадцать. Еще много времени впереди? А! ты хотел убежать от меня? Тебе не нужно было русской любви, болгар! Посмотрим теперь, как ты от меня отделаешься! Но что бы было с нами, если б я тогда не пошла к тебе!

– Елена, ты знаешь, что заставляло меня удалиться.

– Знаю: ты полюбил и испугался. Но неужели ты не подозревал, что и тебя любили?

– Честью клянусь, Елена, нет.

Она быстро и неожиданно его поцеловала.

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)

– Вот за это-то я тебя и люблю. А теперь прощай.

– Ты не можешь больше остаться? – спросил Инсаров.

– Нет, мой милый. Ты думаешь, мне легко было уйти одной? Четверть часа давно минуло. – Она надела мантилью и шляпу. – А ты приходи к нам завтра вечером. Нет, послезавтра. Будет натянута, скучно, да делать нечего: по крайней мере увидимся. Прощай. Выпусти меня. – Он обнял ее в последний раз. – Ай! смотри, ты мою цепочку сломал. О мой неловкий! Ну, ничего. Тем лучше. Я пройду на Кузнецкий мост, отдам ее в починку. Если меня спросят, я скажу, что была на Кузнецком мосту. – Она взялась за ручку двери. – Кстати, я тебе и забыла сказать: мусье Курнатовский, вероятно, на днях сделает мне предложение. Но я сделаю ему... вот что. – Она приставила большой палец левой руки к кончику носа и поиграла остальными пальцами на воздухе. – Прощай. До свидания. Теперь я дорогу знаю.. А ты не теряй времени...

Елена открыла немножко дверь, прислушалась, обернулась к Инсарову, кивнула головой и выскользнула из комнаты.

С минуту стоял Инсаров перед затворившеюся дверью и тоже прислушивался. Дверь внизу на двор стукнула. Он подошел к дивану, сел и закрыл глаза рукой. С ним еще никогда ничего подобного не случилось. «Чем заслужил я такую любовь? – думал он. – Не сон ли это?»

Но тонкий запах резеды, оставленный Еленой в его бедной, темной комнатке, напоминал ее посещение. Вместе с ним, казалось, еще оставались в воздухе и звуки молодого голоса, и шум легких, молодых шагов, и теплота и свежесть молодого девственного тела.

#### XXIV

Инсаров решился подождать еще более положительных известий, а сам начал готовиться к отъезду. Дело было очень трудное. Собственно для него не предстояло никаких препятствий: стоило вытребовать паспорт, – но как быть с Еленой? Достать ей паспорт законным путем было невозможно. Обвенчаться с ней тайно, а потом явиться к родителям... «Они тогда отпустят нас, – думал он. – А если нет? Мы все-таки уедем. А если они будут жаловаться... если... Нет, лучше постараться достать как-нибудь паспорт».

Он решился посоветоваться (разумеется, никого не называя) с одним своим знакомым, отставным или отставленным прокурором, опытным и старым докой по части всяких секретных дел. Почтенный этот человек жил не близко: Инсаров тащился к нему целый час на скверном ваньке, да еще вдобавок не застал его дома; а на возвратном пути промок до костей благодаря внезапно набежавшему ливню. На следующее утро Инсаров, несмотря на довольно сильную головную боль, вторично отправился к отставному прокурору. Отставной прокурор выслушал его внимательно, понюхивая табачок из табакерки, украшенной изображением полногрудой нимфы, и искоса поглядывая на гостя своими лукавыми, тоже табачного цвета, глазками; выслушал и потребовал «большей определенности в изложении фактических данных»; а заметив, что Инсаров неохотно вдавался в подробности (он и приехал к нему скрипя сердцем), ограничился советом вооружиться прежде всего «пенензами» и попросил побывать в другой раз, «когда у вас, – прибавил он, нюхая табак над раскрытой табакеркою, – прибудет доверчивости и убудет недоверчивости (он говорил на б). А паспорт, – продолжал он как бы про себя, – дело рук человеческих; вы, например, едете: кто вас знает, Марья ли вы Бредихина, или же Каролина Фогельмейер?» Чувство гадливости шевельнулось в Инсарове, но он поблагодарил прокурора и обещался завернуть на днях.

В тот же вечер он поехал к Стаховым. Анна Васильевна встретила его ласково, попеняла ему, что он совсем их забыл, и, найдя его бледным, осведомилась о его здоровье; Николай Артемьевич ни слова ему не сказал, только поглядел на него с задумчиво-небрежным любопытством; Шубин обошелся с ним холодно; но Елена удивила его. Она его ждала; она для него надела то самое платье, которое было на ней в день их первого свидания в часовне; но она так спокойно его приветствовала и так была любезна и беспечно весела, что, глядя на нее, никто бы не подумал, что судьба этой девушки уже решена и что одно тайное сознание счастливой любви придавало оживление ее чертам, легкость и прелесть всем ее движениям. Она разливала чай вместо Зои, шутила, болтала; она знала, что за ней будет наблюдать Шубин, что Инсаров не сумеет надеть маску, не сумеет прикинуться равнодушным, и

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
вооружилась заранее. Она не ошиблась: Шубин не спускал с нее глаз, а Инсаров был очень молчалив и пасмурен в течение всего вечера. Елена чувствовала себя до того счастливой, что ей захотелось подразнить его.

– Ну что? – спросила она его вдруг, – план ваш подвигается?

Инсаров смутился.

– Какой план? – проговорил он.

– А вы забыли? – ответила она, смеясь ему в лицо: он один мог понять значение этого счастливого смеха. – Ваша болгарская хрестоматия для русских?

– *Quelle bourde!*[79] – пробормотал сквозь зубы Николай Артемьевич.

Зоя села за фортепьяно. Елена едва заметно пожала плечом и показала Инсарову глазами на дверь, как бы отпуская его домой. Потом она с расстановкой два раза коснулась пальцем стола и посмотрела на него. Он понял, что она ему назначала свидание через два дня, и она быстро улыбнулась, когда увидела, что он ее понял. Инсаров встал и начал прощаться: он чувствовал себя нездоровым. Явился Курнатовский. Николай Артемьевич вскочил, поднял правую руку выше головы и мягко опустил ее на ладонь обер-секретаря. Инсаров остался еще несколько минут, чтобы посмотреть на своего соперника. Елена украдкой лукаво покачала головой, хозяин не счел нужным их представить друг другу, и Инсаров ушел, в последний раз обменявшись взором с Еленой. Шубин подумал, подумал – и яростно заспорил с Курнатовским о юридическом вопросе, в котором ничего не смыслил.

Инсаров не спал всю ночь и утром чувствовал себя дурно; однако он занялся приведением в порядок своих бумаг и писанием писем, но голова у него была тяжела и как-то запутана. К обеду у него сделался жар: он ничего есть не мог. Жар быстро усилился к вечеру; появилась ломота во всех членах и мучительная головная боль. Инсаров лег на тот самый диванчик, где так недавно сидела Елена; он подумал: «Подделом я наказан, зачем таскался к этому старому плуту», – и попытался заснуть... Но уже недуг завладел им. С страшною силой забились в нем жилы, знойно вспыхнула кровь, как птицы закружились мысли. Он впал в забытие. Как раздавленный, навзничь лежал он, и вдруг ему почудилось: кто-то над ним тихо хохочет и шепчет; он с усилием раскрыл глаза, свет от нагоревшей свечки дернул по ним, как ножом... Что это? старый прокурор перед ним, в халате из тармаламы, подпоясанный фуляром, как он видел его накануне... «Каролина Фогельмейер», – бормочет беззубый рот. Инсаров глядит, а старик ширится, пухнет, растет, уж он не человек – он дерево... Инсарову надо лезть по крутым сучьям. Он цепляется, падает грудью на острый камень, а Каролина Фогельмейер сидит на корточках, в виде торговки, и лепечет: «Пирожки, пирожки, пирожки», – а там течет кровь, и сабли блестят нестерпимо... Елена!.. И все исчезло в багровом хаосе.

XXV

– К вам пришел какой-то, кто его знает, слесарь, что ль, какой, – говорил на следующий вечер Берсеневу его слуга, отличавшийся строгим обхождением с баринном и скептическим направлением ума, – хочет вас видеть.

– Позови, – промолвил Берсенев.

Вошел «слесарь». Берсенев узнал в нем портного, хозяина квартиры, где жил Инсаров.

– Что ты? – спросил он его.

– Я к вашей милости, – начал портной, медленно переставляя ноги и по временам взмахивая правой рукой с захваченными тремя последними пальцами обшлагом. – Наш жилец, кто его знает, очень болен.

– Инсаров?

– Точно так, наш жилец. Кто его знает, вчера еще с утра был на ногах, вечером только пить просил, наша хозяйка ему и воду носила, а ночью залопотал, нам-то слышно, потому перегородка; а сегодня утром уж и без языка, лежит, как пласт, а жар от него, боже ты мой! Я подумал, кто его знает, умрет, того и гляди; в квартал, думаю, надо дать знать. Потому как он один; да хозяйка мне говорит:



Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
«Сходи, мол, ты к тому жильцу, у кого наш-то на даче нанимался: может, он тебе что скажет аль сам придет». Вот я к вашей милости и пришел, потому как нам нельзя, то есть...

Берсенева схватил фуражку, сунул портному в руку целковый и тотчас поскакал с ним на квартиру Инсарова.

Он нашел его лежащего на диване в беспмятстве, не раздетого. Лицо его страшно изменилось. Берсенева тотчас приказал хозяину с хозяйкой раздеть его и перенести на постель, а сам бросился к доктору и привез его. Доктор прописал разом пивки, мушки, каломель и велел пустить кровь.

– Он опасен? – спросил Берсенева.

– Да, очень, – отвечал доктор. – Сильнейшее воспаление в легких; перипневмония в полном развитии, может быть, и мозг поражен, а субъект молодой. Его же силы теперь против него направлены. Поздно послали, а впрочем, мы все сделаем, что требует наука.

Доктор был еще сам молод и верил в науку.

Берсенева остался на ночь. Хозяин и хозяйка оказались добрыми и даже расторопными людьми, как только нашелся человек, который стал им говорить, что надо было делать. Явился фельдшер – и начались медицинские истязания.

К утру Инсаров очнулся на несколько минут, узнал Берсенева, спросил: «Я, кажется, нездоров?» – посмотрел вокруг себя с тупым и вялым недоумением трудно больного и опять забылся. Берсенева поехал домой, переделся, захватил с собой кое-какие книги и вернулся на квартиру Инсарова. Он решился поселиться у него, по крайней мере на первое время. Он огородил его кровать ширмами, а себе устроил местечко около диванчика. Невесело и нескоро прошел день. Берсенева отлучился только для того, чтобы пообедать. Настал вечер. Он зажег свечку с абажуром и принялся за чтение. Все было тихо кругом. У хозяев за перегородкой слышался то сдержанный шепот, то зевок, то вздох... Кто-то у них чихнул, и его шепотом побранили; за ширмами раздавалось тяжелое и неровное дыхание, изредка прерываемое коротким стоном да тоскливым метанием головы по подушке... Странные нашли на Берсенева думы. Он находился в комнате человека, жизнь которого висела на нитке, человека, которого, он это знал, любила Елена... Вспомнилась ему та ночь, когда Шубин нагнал его и объявил ему, что она его любит, его, Берсенева! А теперь... «Что мне теперь делать? – спрашивал он самого себя. – Известить ли Елену об его болезни? Подождать ли? Это известие печальнее того, которое я же ей сообщил когда-то: странно, как судьба меня все ставит третьим лицом между ними!» Он решил, что лучше подождать. Взоры его упали на стол, покрытый грудами бумаг... «Исполнит ли он свои замыслы? – подумал Берсенева. – Неужели все исчезнет?» И жалко ему становилось молодой погибающей жизни, и он давал себе слово ее спасти.

Ночь была нехороша. Больной много бредил. Несколько раз вставал Берсенева с своего диванчика, приближался на цыпочках к постели и печально прислушивался к его несвязному лепетанию. Раз только Инсаров произнес с внезапной ясностью: «Я не хочу, я не хочу, ты не должна...» Берсенева вздрогнул и посмотрел на Инсарова: лицо его, страдальческое и мертвенное в то же время, было неподвижно, и руки лежали бессильно... «Я не хочу», – повторил он едва слышно.

Доктор приехал поутру, покачал головой и прописал новые лекарства.

– Еще далеко до кризиса, – сказал он, надевая шляпу.

– А после кризиса? – спросил Берсенева.

– После кризиса? Исход бывает двоякий: aut Caesar, aut nihil[80].

Доктор уехал. Берсенева прошелся несколько раз по улице: ему нужен был чистый воздух. Он вернулся и взялся за книгу. Раумера уж он давно кончил: он теперь изучал Грота[81].

Вдруг дверь тихо скрипнула, и осторожно вдвинулась в комнату головка хозяйской дочери, покрытая, по обыкновению, тяжелым платком.

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)

– Здесь, – заговорила она вполголоса, – та барышня, что тогда мне гривенничек...

Головка хозяйской дочери внезапно скрылась, и на место ее появилась Елена.

Берсенеv вскочил как ужаленный; но Елена не шевельнулась, не вскрикнула... Казалось, она все поняла в одно мгновение. Страшная бледность покрыла ее лицо, она подошла к ширмам; заглянула за них, всплеснула руками и окаменела. Еще мгновение, и она бы бросилась к Инсарову, но Берсенеv остановил ее.

– Что вы делаете? – проговорил он трепещущим шепотом. – Вы его погубить можете!

Она зашаталась. Он подвел ее к диванчику и посадил ее.

Она посмотрела ему в лицо, потом окинула его взглядом, потом уставилась на пол.

– Он умирает? – спросила она так холодно и спокойно, что Берсенеv испугался.

– Ради Бога, Елена Николаевна, – начал он, – что вы это? Он болен, точно, – и довольно опасно... Но мы его спасем: за это я вам ручаюсь.

– Он без памяти? – спросила она так же, как в первый раз.

– Да, он теперь в забытьи... Это всегда бывает в начале этих болезней, но это ничего не значит, ничего, уверяю вас. Выпейте воды.

Она подняла на него глаза, и он понял, что она не слышала его ответов.

– Если он умрет, – проговорила она все тем же голосом, – и я умру.

Инсаров в это мгновение простонал слегка; она затрепетала, схватила себя за голову, потом стала развязывать ленты шляпы.

– Что это вы делаете? – спросил ее Берсенеv.

Она не отвечала.

– Что вы делаете? – повторил он.

– Я остаюсь здесь.

– Как... надолго?

– Не знаю, может быть, на весь день, на ночь, навсегда... не знаю.

– Ради Бога, Елена Николаевна, придите в себя. Я, конечно, никак не мог ожидать вас здесь увидеть; но я все-таки предполагаю, что вы зашли сюда на короткое время. Вспомните, вас могут хватить дома.

– И что же?

– Вас будут искать... Вас найдут...

– И что же?

– Елена Николаевна! Вы видите... Он вас теперь защитить не может.

Она опустила голову, словно задумалась, поднесла платок к губам, и судорожные рыдания с потрясающею силою внезапно исторглись из ее груди... Она бросилась лицом на диван, старалась заглушить их, но все ее тело поднималось и билось, как только что пойманная птичка.

– Елена Николаевна... ради Бога... – твердил над ней Берсенеv.

– А? Что такое? – раздался вдруг голос Инсарова.

Елена выпрямилась, а Берсенеv так и замер на месте... Погодя немного он подошел к постели... Голова Инсарова по-прежнему бессильно лежала на подушке; глаза были закрыты.

– Он бредит? – прошептала Елена.

– Кажется, – отвечал Берсенева, – но это ничего: это тоже всегда так бывает, особенно если...

– Когда он занемог? – перебила Елена.

– Третьего дня; со вчерашнего дня я здесь. Положитесь на меня, Елена Николаевна. Я не отойду от него; все средства будут употреблены. Если нужно, мы созовем консилиум.

– Он умрет без меня, – воскликнула она, ломая руки.

– Я вам даю слово извещать вас ежедневно о ходе его болезни, и если бы наступила действительная опасность...

– Клянитесь мне, что вы тотчас пошлете за мною когда бы то ни было, днем, ночью; пишите записку прямо ко мне... Мне все равно теперь. Слышите ли вы? Обещаетесь ли вы это сделать?

– Обещаюсь, перед Богом.

– Поклянитесь.

– Клянусь.

Она вдруг схватила его руку и, прежде чем он успел ее отдернуть, припала к ней губами.

– Елена Николаевна... что вы это, – пролепетал он.

– Нет... нет... не надо... – произнес невнятно Инсаров и тяжело вздохнул.

Елена подошла к ширмам, стиснула платок зубами и долго, долго глядела на больного. Безмолвные слезы потекли по ее щекам.

– Елена Николаевна, – сказал ей Берсенева, – он может прийти в себя, узнать вас; Бог знает, хорошо ли это будет. Притом же я с часу на час жду доктора...

Елена взяла шляпу с диванчика, надела ее и остановилась. Глаза ее печально блуждали по комнате. Казалось, она вспоминала...

– Я не могу уйти, – прошептала она наконец.

Берсенева пожал ей руку.

– Соберитесь с силами, – промолвил он, – успокойтесь; вы оставляете его на моем попечении. Я сегодня же вечером заеду к вам.

Елена взглянула на него, проговорила: «О, мой добрый друг!» – зарыдала и бросилась вон.

Берсенева прислонился к двери. Чувство горестное и горькое, не лишенное какой-то странной отрады, сдавило ему сердце. «Мой добрый друг!» – подумал он и повел плечом.

– Кто здесь? – послышался голос Инсарова.

Берсенева подошел к нему.

– Я здесь, Дмитрий Никанорович. Что вам? Как вы себя чувствуете?

– Один? – спросил больной.

– Один.

– А она?

– Кто она? – проговорил почти с испугом Берсенева.

Инсаров помолчал.

– Резеда, – шепнул он, и глаза его опять закрылись.

#### XXVI

Инсаров целых восемь дней находился между жизнью и смертью. Доктор приезжал беспрестанно, интересуясь, опять-таки как молодой человек, трудным больным. Шубин услышал об опасном положении Инсарова и навестил его; явились его соотечественники – болгары; в числе их Берсенева узнал обе странные фигуры, возбудившие его изумление своим неожиданным посещением на даче; все изъявляли искреннее участие, некоторые предлагали Берсенева сменить его у постели больного; но он не соглашался, помня обещание, данное Елене.

Он каждый день ее видел и украдкой передавал ей – иногда на словах, иногда в маленькой записочке – все подробности хода болезни. С каким сердечным замиранием она его ожидала, как она его выслушивала и расспрашивала! Она сама все порывалась к Инсарову, но Берсенева умолял ее этого не делать: Инсаров редко бывал один. В первый день, когда она узнала о его болезни, она сама чуть не занемогла; она, как только вернулась, заперлась у себя в комнате; но ее позвали к обеду, и она явилась в столовую с таким лицом, что Анна Васильевна испугалась и хотела непременно уложить ее в постель. Елене, однако, удалось переломить себя. «Если он умрет, – твердила она, – и меня не станет». Эта мысль ее успокоила и дала ей силу казаться равнодушной. Впрочем, никто ее слишком не тревожил. Анна Васильевна возилась с своими флюсами; Шубин работал с остервенением; Зоя предавалась меланхолии и собиралась прочесть Вертера[82]; Николай Артемьевич очень был недоволен частыми посещениями «школяра», тем более что его «предначертания» насчет Курнатовского подвигались туго: практический обер-секретарь недоумевал и выжидал. Елена даже не благодарила Берсенева: есть услуги, за которые жутко и стыдно благодарить. Только однажды, в четвертое свое свидание с ним (Инсаров очень плохо провел ночь, доктор намекнул на консилиум), только в это свидание она напомнила ему об его клятве. «Ну, в таком случае пойдемте», – сказал он ей. Она встала и пошла было одеваться. «Нет, – промолвил он, – подождете еще до завтра». К вечеру Инсарову полегчило.

Восемь дней продолжалась эта пытка. Елена казалась покойной, но ничего не могла есть, не спала по ночам. Тупая боль стояла во всех ее членах; какой-то сухой, горячий дым, казалось, наполнял ее голову. «Наша барышня как свечка тает», – говорила о ней ее горничная.

Наконец, на девятый день, перелом совершился. Елена сидела в гостиной подле Анны Васильевны и, сама не понимая, что делала, читала ей Московские ведомости; Берсенева вошел. Елена взглянула на него (как быстр, и робок, и пронизателен, и тревожен был первый взгляд, который она на него всякий раз бросала!) и тотчас же догадалась, что он принес добрую весть. Он улыбался; он слегка кивал ей; она приподнялась ему навстречу.

– Он пришел в себя, он спасен, он через неделю будет совсем здоров, – шепнул он ей.

Елена протянула руки, как будто отклоняя удар, и ничего не сказала, только губы ее задрожали и алая краска разлилась по всему лицу. Берсенева заговорил с Анной Васильевной, а Елена ушла к себе, упала на колени и стала молиться, благодарить Бога... Легкие, светлые слезы полились у ней из глаз. Она вдруг почувствовала крайнюю усталость, положила голову на подушку, шепнула: «Бедный Андрей Петрович!» – и тут же заснула, с мокрыми ресницами и щеками. Она давно уже не спала и не плакала.

#### XXVII

Слова Берсенева сбылись только отчасти: опасность миновалась, но силы Инсарова восстановлялись медленно, и доктор поговаривал о глубоком и общем потрясении всего организма. Со всем тем больной оставил постель и начал ходить по комнате; Берсенева переехал к себе на квартиру; но он каждый день заходил к своему, все

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
еще слабому, приятелю и каждый день по-прежнему уведомлял Елену о состоянии его здоровья. Инсаров не смел писать к ней и только косвенно, в разговорах с Берсеневым, намекал на нее; а Берсенева, с притворным равнодушием, рассказывал ему о своих посещениях у Стаховых, стараясь, однако, дать ему понять, что Елена была очень огорчена и что теперь она успокоилась. Елена тоже не писала Инсарову; у ней иное было в голове.

Однажды Берсенева только что сообщил ей с веселым лицом, что доктор уже разрешил Инсарову съесть котлетку и что он, вероятно, скоро выйдет, – она задумалась, потупилась...

– Угадайте, что я хочу сказать вам, – промолвила она.

Берсенева смутился. Он ее понял.

– Вероятно, – ответил он, глянув в сторону, – вы хотите мне сказать, что вы желаете его видеть.

Елена покраснела и едва слышно произнесла:

– Да.

– Так что ж. Это вам, я думаю, очень легко. «Фи! – подумал он, – какое у меня гадкое чувство на сердце!»

– Вы хотите сказать, что я уже прежде... – проговорила Елена. – Но я боюсь... теперь он, вы говорите, редко бывает один.

– Этому нетрудно помочь, – возразил Берсенева, все не глядя на нее. – Предупредить я его, разумеется, не могу; но дайте мне записку. Кто вам может запретить написать ему, как хорошему знакомому, в котором вы принимаете участие? Тут ничего нет предосудительного. Назначьте ему... то есть напишите ему, когда вы будете...

– Мне совестно, – шепнула Елена.

– Дайте записку, я отнесу.

– Это не нужно, а я хотела вас попросить... не сердитесь на меня, Андрей Петрович... не приходите завтра к нему.

Берсенева закусил губу.

– А! да, понимаю, очень хорошо, очень хорошо. – И, прибавив два-три слова, он быстро удалился.

«Тем лучше, тем лучше, – думал он, спеша домой. – Я не узнал ничего нового, но тем лучше. Что за охота лепиться к краешку чужого гнезда? Я ни в чем не раскаиваюсь, я сделал, что мне совесть велела, но теперь полно. Пусть их! Недаром мне говаривал отец: мы с тобой, брат, не сибариты[83], не аристократы, не баловни судьбы и природы, мы даже не мученики, – мы труженики, труженики и труженики. Надевай же свой кожаный фартук, труженик, да становись за свой рабочий станок, в своей темной мастерской! А солнце пусть другим сияет! И в нашей глухой жизни есть своя гордость и свое счастье!»

На другое утро Инсаров получил по городской почте коротенькую записку. «Жди меня, – писала ему Елена, – и вели всем отказывать. А. П. не придет».

#### XXVIII

Инсаров прочел записку Елены – и тотчас же стал приводить свою комнатку в порядок, попросил хозяйку унести склянки с лекарством, снял шлафрок, надел сюртук. От слабости и от радости у него голова кружилась и сердце билось. Ноги у него подкосились: он опустился на диван и стал глядеть на часы. «Теперь три четверти двенадцатого, – сказал он самому себе, – раньше двенадцати она никак прийти не может, буду думать о чем-нибудь другом в течение четверти часа, а то я не вынесу. Раньше двенадцати она никак не может...»

Дверь распахнулась, и в легком шелковом платье, вся бледная и вся свежая,

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
молодая, счастливая, вошла Елена и с слабым радостным криком упала к нему на грудь.

– Ты жив, ты мой, – твердила она, обнимая и лаская его голову. Он замер весь, он задыхался от этой близости, от этих прикосновений, от этого счастья.

Она села возле него и прижалась к нему и стала глядеть на него тем смеющимся и ласкающим и нежным взглядом, который светится в одних только женских любящих глазах.

Ее лицо внезапно опечалилось.

– Как ты похудел, мой бедный Дмитрий, – сказала она, проводя рукой по его щеке, – какая у тебя борода!

– И ты похудела, моя бедная Елена, – отвечал он, ловя губами ее пальцы.

Она весело встряхнула кудрями.

– Это ничего. Посмотри, как мы поправимся! Гроза налетела, как в тот день, когда мы встретились в часовне, налетела и прошла. Теперь мы будем живы!

Он отвечал ей одною улыбкой.

– Ах, какие дни, Дмитрий, какие жестокие дни! Как это люди переживают тех, кого они любят? Я наперед всякий раз знала, что мне Андрей Петрович скажет, право: моя жизнь падала и поднималась вместе с твоей. Здравствуй, мой Дмитрий!

Он не знал, что сказать ей. Ему хотелось броситься к ее ногам.

– Еще что я заметила, – продолжала она, откидывая назад его волосы (я много делала замечаний все это время на досуге), – когда человек очень, очень несчастлив, – с каким глупым вниманием он следит за всем, что около него происходит! Я, право, иногда заглядывалась на муху, а у самой на душе такой холод и ужас! Но это все прошло, прошло, не правда ли? Все светло впереди, не правда ли?

– Ты для меня впереди, – ответил Инсаров, – для меня светло.

– А для меня-то! А помнишь ли ты, тогда, когда я у тебя была, не в последний раз... нет, не в последний раз, – повторила она с невольным содроганием, – а когда мы говорили с тобой, я, сама не знаю отчего, упомянула о смерти; я и не подозревала тогда, что она нас караулила. Но ведь ты здоров теперь?

– Мне гораздо лучше, я почти здоров.

– Ты здоров, ты не умер. О, как я счастлива!

Настало небольшое молчание.

– Елена? – спросил ее Инсаров.

– Что, мой милый?

– Скажи мне, не приходило ли тебе в голову, что эта болезнь послана нам в наказание?

Елена серьезно взглянула на него.

– Эта мысль мне в голову приходила, Дмитрий. Но я подумала: за что же я буду наказана? Какой долг я преступила, против чего согрешила я? Может быть, совесть у меня не такая, как у других, но она молчала; или, может быть, я против тебя виновата? Я тебе помешаю, я остановлю тебя...

– Ты меня не остановишь, Елена, мы пойдем вместе.

– Да, Дмитрий, мы пойдем вместе, я пойду за тобой... Это мой долг. Я тебя люблю... другого долга я не знаю.

– О Елена! – промолвил Инсаров, – какие несокрушимые цепи кладет на меня каждое твое слово!

– Зачем говорить о цепях? – подхватила она. – Мы с тобой вольные люди. Да, – продолжала она, задумчиво глядя на пол, а одной рукой по-прежнему разглаживая его волосы, – многое я испытала в последнее время, о чем и понятия не имела никогда! Если бы мне предсказал кто-нибудь, что я, барышня, благовоспитанная, буду уходить одна из дома под разными сочиненными предлогами, и куда же уходить? к молодому человеку на квартиру, – какое я почувствовала бы негодование! И это все сбылось, и я никакого не чувствую негодования. Ей-богу! – прибавила она и обернулась к Инсарову.

Он глядел на нее с таким выражением обожания, что она тихо опустила руку с его волос на его глаза.

– Дмитрий, – начала она снова, – ведь ты не знаешь, ведь я тебя видела там, на этой страшной постели, я видела тебя в когтях смерти, без памяти...

– Ты меня видела?

– Да.

Он помолчал.

– И Берсенева был здесь?

Она кивнула головой.

Инсаров наклонился к ней.

– О Елена! – прошептал он, – я не смею глядеть на тебя.

– Отчего? Андрей Петрович такой добрый! Я его не стыдилась. И чего мне стыдиться? Я готова сказать всему свету, что я твоя... А Андрею Петровичу я доверяю, как брату.

– Он меня спас! – воскликнул Инсаров. – Он благороднейший, добрейший человек!

– Да... И знаешь ли ты, что я ему всем обязана? Знаешь ли ты, что он мне первый сказал, что ты меня любишь? И если б я могла все открыть... Да, он благороднейший человек.

Инсаров посмотрел пристально на Елену.

– Он влюблен в тебя, не правда ли?

Елена опустила глаза.

– Он меня любил, – проговорила она вполголоса.

Инсаров, крепко стиснул ей руку.

– О вы, русские, – сказал он, – золотые у вас сердца! И он, он ухаживал за мной, он не спал ночи... И ты, ты, мой ангел... Ни упрека, ни колебания... и это все мне, мне...

– Да, да, все тебе, потому что тебя любят. Ах, Дмитрий! Как это странно! Я, кажется, тебе уже говорила об этом, – но все равно, мне приятно это повторить, а тебе будет приятно это слушать, – когда я тебя увидела в первый раз...

– Отчего у тебя на глазах слезы? – перебил ее Инсаров.

– У меня? слезы? – Она утерла глаза платком. – О глупый! Он еще не знает, что и от счастья плачут. Так я хотела сказать: когда я увидела тебя в первый раз, я в тебе ничего особенного не нашла, право. Я помню, сначала Шубин мне гораздо более понравился, хотя я никогда его не любила, а что касается до Андрея Петровича, – о! тут была минута, когда я подумала: уж не он ли? А ты – ничего; зато... потом...

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
потом... так ты у меня сердце обеими руками и взял!

– Пощади меня... – проговорил Инсаров. Он хотел встать и тотчас же опустился на диван.

– Что с тобой? – заботливо спросила Елена.

– Ничего... я еще немного слаб... Мне это счастье еще не по силам.

– Так сиди смирно. Не извольте шевелиться, не волнуйтесь, – прибавила она, грозя ему пальцем. – И зачем вы ваш шлафрок сняли? Рано еще вам щеголять! Сидите, а я вам буду сказки рассказывать. Слушайте и молчите. После вашей болезни вам много разговаривать вредно.

Она начала говорить ему о Шубине, о Курнатовском, о том, что она делала в течение двух последних недель, о том, что, судя по газетам, война неизбежна и что, следовательно, как только он выздоровеет совсем, надо будет, не теряя ни минуты, найти средства к отъезду... Она говорила все это, сидя с ним рядом, опираясь на его плечо...

Он слушал ее, слушал, то бледнея, то краснея... он несколько раз хотел остановить ее – и вдруг выпрямился.

– Елена, – сказал он ей каким-то странным и резким голосом, – оставь меня, уйди.

– Как? – промолвила она с изумлением. – Ты дурно себя чувствуешь? – прибавила она с живостью.

– Нет... мне хорошо... но, пожалуйста, оставь меня.

– Я тебя не понимаю. Ты меня прогоняешь?... Что это ты делаешь? – проговорила она вдруг: он склонился с дивана почти до полу и приник губами к ее ногам. – Не делай этого, Дмитрий, Дмитрий...

Он приподнялся.

– Так оставь меня! Вот видишь ли, Елена, когда я сделался болен, я не тотчас лишился сознания; я знал, что я на краю гибели; даже в жару, в бреду, я понимал, я смутно чувствовал, что это смерть ко мне идет, я прощался с жизнью, с тобой, со всем, я расставался с надеждой... И вдруг это возрождение, этот свет после тьмы, ты... ты... возле меня, у меня... твой голос, твоё дыхание... Это свыше сил моих! Я чувствую, что я люблю тебя страстно, я слышу, что ты сама называешь себя моею, я ни за что не отвечаю... Уйди!

– Дмитрий... – прошептала Елена и спрятала к нему на плечо голову. Она только теперь его поняла.

– Елена, – продолжал он, – я тебя люблю, ты это знаешь, я жизнь свою готов отдать за тебя... зачем же ты пришла ко мне теперь, когда я слаб, когда я не владею собой, когда вся кровь моя зажжена... ты моя, говоришь ты... ты меня любишь...

– Дмитрий, – повторила она и вспыхнула вся и еще теснее к нему прижалась.

– Елена, сжался надо мной – уйди, я чувствую, я могу умереть – я не выдержу этих порывов... вся душа моя стремится к тебе... подумай, смерть едва не разлучила нас... и теперь ты здесь, ты в моих объятиях... Елена...

Она затрепетала вся.

– Так возьми ж меня, – прошептала она чуть слышно...

XXIX

Николай Артемьевич ходил, нахмурив брови, взад и вперед по своему кабинету. Шубин сидел у окна и, положив ногу на ногу, спокойно курил сигару.

– Перестаньте, пожалуйста, шагать из угла в угол, – промолвил он, отряхивая пепел с сигары. – Я все ожидаю, что вы заговорите, слежу за вами – шея у меня заболела. Притом же в вашей походке есть что-то напряженное, мелодраматическое.



– Вам бы все только балагурить, – ответил Николай Артемьевич. – Вы не хотите войти в мое положение; вы не хотите понять, что я привык к этой женщине, что я привязан к ней наконец, что отсутствие ее меня должно мучить. Вот уж октябрь на дворе, зима на носу... Что она может делать в Ревеле?

– Должно быть, чулки вяжет... себе; себе – не вам.

– Смейтесь, смейтесь; а я вам скажу, что я подобной женщины не знаю. Эта честность, это бескорыстие...

– Подала она вексель ко взысканию? – спросил Шубин.

– Это бескорыстие, – повторил, возвысив голос, Николай Артемьевич, – это удивительно. Мне говорят, на свете есть миллион других женщин; а я скажу: покажите мне этот миллион; покажите мне этот миллион, говорю я: *ces femmes – qu'on me les montre!*[84] И не пишет, вот что убийственно!

– Вы красноречивы, как Пифагор[85], – заметил Шубин, – но знаете ли, что бы я вам присоветовал?

– Что?

– Когда Августина Христиановна возвратится... вы понимаете меня?

– Ну да; что же?

– Когда вы ее увидите... Вы следите за развитием моей мысли?

– Ну да, да.

– Попробуйте ее побить: что из этого выйдет?

Николай Артемьевич отвернулся с негодованием.

– Я думал, он мне в самом деле какой-нибудь путный совет подаст. Да что от него ожидать! Артист, человек без правил...

– Без правил! А вот, говорят, ваш фаворит, господин Курнатовский, человек с правилами, вчера вас на сто рублей серебром обыграл. Это уж неделикатно, согласитесь.

– Что ж? Мы играли в коммерческую. Конечно, я мог ожидать... Но его так мало умеют ценить в этом доме...

– Что он подумал: «Куда ни шла! – подхватил Шубин, – тесть ли он мне или нет – это еще скрыто в урне судьбы, а сто рублей – хорошо человеку, который взятку не берет».

– Тесть!.. Какой я к черту тесть? *Vous avez mon cher*[86]. Конечно, всякая другая девушка обрадовалась бы такому жениху. Посудите сами: человек бойкий, умный, сам собою в люди вышел, в двух губерниях лямку тер...

– В...ой губернии губернатора за нос водил, – заметил Шубин.

– Очень может быть. Видно, так и следовало. Практик, делец...

– И в карты хорошо играет, – опять заметил Шубин.

– Ну да, и в карты хорошо играет. Но Елена Николаевна... Разве ее возможно понять? Желаю я знать, где тот человек, который бы взялся постигнуть, чего она хочет? То она весела, то скучает; похудеет вдруг так, что не смотрел бы на нее, а там вдруг поправится, и все это без всякой видимой причины...

Вошел неблагоприятный лакей с чашкой кофе, сливочником и сухарями на подносе.

– Отцу нравится жених, – продолжал Николай Артемьевич, размахивая сухарем, – а дочери что до этого за дело! Это было хорошо в прежние, патриархальные времена,

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
а теперь мы все это переменяли. Nous avons changé tout ça[87]. Теперь барышня разговаривает с кем ей угодно, читает что ей угодно; отправляется одна по Москве, без лакея, без служанки, как в Париже; и все это принято. На днях я спрашиваю: где Елена Николаевна? Говорят, изволили выйти. Куда? Неизвестно. Что это – порядок?

– Возьмите же вашу чашку да отпустите человека, – промолвил Шубин. – Сами же вы говорите, что не надо devant les domestiques[88], – прибавил он вполголоса.

Лакей исподлобья взглянул на Шубина, а Николай Артемьевич взял чашку, налил себе сливок и сгреб штук десять сухарей.

– Я хотел сказать, – начал он, как только лакей вышел, – что я ничего в этом доме не значу. – Вот и все. Потому, в наше время все судят по наружности: иной человек и пуст и глуп, да важно себя держит, – его уважают; а другой, может быть, обладает талантами, которые могли бы... могли бы принести великую пользу, но по скромности...

– Вы государственный человек, Николенька? – спросил Шубин тоненьким голоском.

– Полноте паясничать! – воскликнул с сердцем Николай Артемьевич. – Вы забываетесь! Вот вам новое доказательство, что я в этом доме ничего не значу, ничего!

– Анна Васильевна вас притесняет... бедненький! – проговорил, потягиваясь, Шубин. – Эх, Николай Артемьевич, грешно нам с вами! Вы бы лучше какой-нибудь подарочек для Анны Васильевны приготовили. На днях ее рождение, а вы знаете, как она дорожит малейшим знаком внимания с вашей стороны.

– Да, да, – торопливо ответил Николай Артемьевич, – очень вам благодарен, что напомнили. Как же, как же; непременно. Да вот есть у меня вещичка: фермуарчик, я его на днях купил у Розенштрауха; только не знаю, право, годится ли?

– Ведь вы его для той, для ревельской жительницы купили?

– То есть... я... да... я думал...

– Ну, в таком случае наверное годится.

Шубин поднялся со стула.

– Куда бы нам сегодня вечером, Павел Яковлевич, а? – спросил его Николай Артемьевич, любезно заглядывая ему в глаза.

– Да ведь вы в клуб поедете.

– После клуба... после клуба.

Шубин опять потянулся.

– Нет, Николай Артемьевич, мне нужно завтра работать. До другого раза. – И он вышел.

Николай Артемьевич насупился, прошелся раза два по комнате, достал из бюро бархатный ящичек с «фермуарчиком» и долго его рассматривал и обтирал фуляром. Потом он сел перед зеркалом и принялся старательно расчесывать свои густые черные волосы, с важностью на лице наклоняя голову то направо, то налево, упирая в щеку языком и не спуская глаз с пробора. Кто-то кашлянул за его спиной: он оглянулся и увидел лакея, который приносил ему кофе.

– Ты зачем? – спросил он его.

– Николай Артемьевич! – проговорил не без некоторой торжественности лакей, – вы наш барин!

– Знаю: что же дальше?

– Николай Артемьевич, вы не извольте на меня прогневаться; только я, будучи у

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
вашей милости на службе с малых лет, из рабского, значит, усердия должен вашей милости донести...

– Да что такое?

Лакей помялся на месте.

– Вы вот изволите говорить, – начал он, – что не изволите знать, куда Елена Николаевна отлучаться изволят. Я про то известен стал.

– Что ты врешь, дурак?!

– Вся ваша воля, а только я их четвертого дня видел, как они в один дом изволили войти.

– Где? что? какой дом?

– В...м переулке возле Поварской. Недалече отсюда. Я и у дворника спросил, что, мол, у вас тут, какие жильцы?

Николай Артемьевич затопал ногами.

– Молчать, бездельник! Как ты смеешь?.. Елена Николаевна, по доброте своей, бедных посещает, а ты... Вон, дурак!

Испуганный лакей бросился было к двери.

– Стой! – воскликнул Николай Артемьевич. – Что тебе дворник сказал?

– Да ни... ничего не сказал. Говорит, сту... студент.

– Молчать, бездельник! Слушай, мерзавец, если ты хоть во сне кому-нибудь об этом проговоришься...

– Помилуйте-с...

– Молчать! если ты хоть пикнешь... если кто-нибудь... если я узнаю... Ты у меня и под землей-то места не найдешь! Слышишь? Убирайся!

Лакей исчез.

«Господи, Боже мой! Что это значит? – подумал Николай Артемьевич, оставшись один, – что мне сказал этот болван? А? Надо будет, однако, узнать, какой это дом и кто там живет. Самому сходить. Вот до чего дошло наконец!.. Un laquais! Quelle ftumiliation!»[89]

И, повторив громко: «Un laquais!» – Николай Артемьевич запер фермуар в бюро и отправился к Анне Васильевне. Он нашел ее в постели, с повязанною щекой. Но вид ее страданий только раздражил его, и он очень скоро довел ее до слез.

XXX

Между тем гроза, собиравшаяся на Востоке, разразилась: Турция объявила России войну; срок, назначенный для очищения княжеств, уже минул; уже недалек был день Синопского погрома[90]. Последние письма, полученные Инсаровым, неотступно звали его на родину. Здоровье его все еще не поправилось: он кашлял, чувствовал слабость, легкие приступы лихорадки, но он почти не сидел дома. Душа его загорелась; он уже не думал о болезни. Он беспрестанно разъезжал по Москве, виделся украдкой с разными лицами, писал по целым ночам, пропадал по целым дням; хозяину он объявил, что скоро выезжает, и заранее подарил ему свою незатейливую мебель. С своей стороны, Елена также готовилась к отъезду. В один ненастный вечер она сидела в своей комнате и, обрубая платки, с невольным унынием прислушивалась к завываниям ветра. Ее горничная вошла и сказала ей, что папенька в маменькиной спальне и зовет ее туда... «Маменька плачут, – шепнула она вслед уходившей Елене, – а папенька гневаются...»

Елена слегка пожала плечами и вошла в спальню Анны Васильевны. Добродушная супруга Николая Артемьевича полулежала в откидном кресле и нюхала платок с одеколоном; сам он стоял у камина, застегнутый на все пуговицы, в высоком,

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
твердой галстухе и в туго накрахмаленных воротничках, смутно напоминая своей осанкой какого-то парламентского оратора. Ораторским движением руки указал он своей дочери на стул, и, когда та, не понявши его движения, вопросительно посмотрела на него, он промолвил с достоинством, но не оборачивая головы: «Прошу вас сесть». (Николай Артемьевич всегда говорит жене вы, дочери – в экстраординарных случаях.)

Елена села.

Анна Васильевна слезливо высморкалась. Николай Артемьевич заложил правую руку за борт сюртука.

– Я вас призвал, Елена Николаевна, – начал он после продолжительного молчания, – с тем, чтоб объяснить с вами, или, лучше сказать, с тем, чтобы потребовать от вас объяснений. Я вами недоволен, или нет: это слишком мало сказано; ваше поведение огорчает, оскорбляет меня – меня и вашу мать... вашу мать, которую вы здесь видите.

Николай Артемьевич пускал в ход одни басовые ноты своего голоса. Елена молча посмотрела на него, потом на Анну Васильевну – и побледнела.

– Было время, – начал снова Николай Артемьевич, – когда дочери не позволяли себе глядеть свысока на своих родителей, когда родительская власть заставляла трепетать непокорных. Это время прошло, к сожалению; так по крайней мере думают многие; но поверьте, еще существуют законы, не позволяющие... не позволяющие... словом, еще существуют законы. Прошу вас обратить на это внимание: законы существуют.

– Но, папенька... – начала было Елена.

– Прошу вас не перебивать меня. Перенесемся мыслию в прошедшее. Мы с Анной Васильевной исполнили свой долг. Мы с Анной Васильевной ничего не жалели для вашего воспитания: ни издержек, ни попечений. Какую вы пользу извлекли из всех этих попечений, этих издержек – это другой вопрос; но я имел право думать... мы с Анной Васильевной имели право думать, что вы по крайней мере свято сохраните те правила нравственности, которые... которые мы вам, как нашей единственной дочери... *que nous vous avons inculques*[91], которые мы вам внушили. Мы имели право думать, что никакие новые «идеи» не коснутся этой, так сказать, заветной святыни. И что же? Не говорю уже о легкомыслии, свойственном вашему полу, вашему возрасту... но кто мог ожидать, что вы до того забудетесь...

– Папенька, – проговорила Елена, – я знаю, что вы хотите сказать.

– Нет, ты не знаешь, что я хочу сказать! – вскрикнул фальцетом Николай Артемьевич, внезапно изменив и величавости парламентской осанки, и плавной важности речи, и басовым нотам, – ты не знаешь, дерзкая девчонка!

– Ради Бога, *Nicolas*, – пролепетала Анна Васильевна, – *vous me faites mourir*[92].

– Не говорите мне этого, *que je vous fais mourir*[93], Анна Васильевна! Вы себе и представить не можете, что вы сейчас услышите, – приготовьтесь к худшему, предупреждаю вас!

Анна Васильевна так и обомлела.

– Нет, – продолжал Николай Артемьевич, обратившись к Елене, – ты не знаешь, что я хочу сказать!

– Я виновата перед вами, – начала она...

– А, наконец-то!

– Я виновата перед вами, – продолжала Елена, – в том, что давно не призналась...

– Да ты знаешь ли, – перебил ее Николай Артемьевич, – что я могу уничтожить тебя одним словом?

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
Елена подняла на него глаза.

– Да, сударыня, одним словом! Нечего глядеть-то! (Он скрестил руки на груди.)  
Позвольте вас спросить, известен ли вам некоторый дом в...м переулке, возле  
Поварской? Вы посещали этот дом? (Он топнул ногой.) Отвечай же, негодная, и не  
думай хитрить! Люди, люди, лакеи, сударыня, *des vils laquais*[94] видели вас, как  
вы входили туда, к вашему...

Елена вся вспыхнула, и глаза ее заблестали.

– Мне незачем хитрить, – промолвила она, – да, я посещала этот дом.

– Прекрасно! Слышите, слышите, Анна Васильевна? И вы, вероятно, знаете, кто в  
нем живет?

– Да, знаю: мой муж...

Николай Артемьевич вытаращил глаза.

– Твой...

– Мой муж, – повторила Елена. – Я замужем за Дмитрием Никаноровичем Инсаровым.

– Ты?.. замужем?.. – едва проговорила Анна Васильевна.

– Да, мамаша... Простите меня... Две недели тому назад мы обвенчались тайно.

Анна Васильевна упала в кресло; Николай Артемьевич отступил на два шага.

– Замужем! За этим оборвышем, черногорцем! Дочь столбового дворянина Николая  
Стахова вышла за бродягу, за разночинца! Без родительского благословения! И ты  
думаешь, что я это так оставляю? что я не буду жаловаться? что я позволю тебе...  
что ты... что... В монастырь тебя, а его в каторгу, в арестантские роты! Анна  
Васильевна, извольте сейчас сказать ей, что вы лишаете ее наследства.

– Николай Артемьевич, ради Бога, – простонала Анна Васильевна.

– И когда, каким образом это сделалось? кто вас венчал? где? как? Боже мой! что  
скажут теперь все знакомые, весь свет! И ты, бесстыдная притворщица, могла после  
этого поступка жить под родительской кровлей! Ты не побоялась... грома  
небесного?

– Папенька, – проговорила Елена (она вся дрожала с ног до головы, но голос ее  
был тверд), – вы вольны делать со мною все, что угодно, но напрасно вы обвиняете  
меня в бесстыдстве и в притворстве. Я не хотела... огорчать вас заранее, но я  
поневоле на днях сама бы все вам сказала, потому что мы на будущей неделе  
уезжаем отсюда с мужем.

– Уезжаете? Куда это?

– На его родину, в Болгарию.

– К туркам! – воскликнула Анна Васильевна и лишилась чувств.

Елена бросилась к матери.

– Прочь! – возопил Николай Артемьевич и схватил дочь за руку, – прочь,  
недостойная!

Но в это мгновение дверь спальни отворилась и показалась бледная голова с  
сверкающими глазами; то была голова Шубина.

– Николай Артемьевич! – крикнул он во весь голос. – Августина Христиановна  
приехала и зовет вас!

Николай Артемьевич с бешенством обернулся, погрозил Шубину кулаком, остановился  
на минуту и быстро вышел из комнаты.

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
Елена упала к ногам матери и обняла ее колени.

Увар Иванович лежал на своей постели. Рубашка без ворота, с крупной запонкой, охватывала его полную шею и расходилась широкими, свободными складками на его почти женской груди, оставляя на виду большой кипарисовый крест и ладанку. Легкое одеяло покрывало его пространные члены. Свечка тускло горела на ночном столике, возле кружки с квасом, а в ногах Увара Ивановича, на постели, сидел, подгорюнившись, Шубин.

– Да, – задумчиво говорил он, – она замужем и собирается уехать. Ваш племянничек шумел и орал на весь дом; заперся, для секрета, в спальню, а не только лакеи и горничные, – кучера все слышать могли! Он и теперь так и рвет и мечет, со мной чуть не подрался, с отцовским проклятием носится, как медведь с чурбаком; да не в нем сила. Анна Васильевна убита, но ее гораздо больше сокрушает отъезд дочери, чем ее замужество.

Увар Иванович поиграл пальцами.

– Мать, – проговорил он, – ну... и того.

– Племянник ваш, – продолжал Шубин, – грозитя и митрополиту, и генералу-губернатору, и министру жалобы подать, а кончится тем, что она уедет. Кому весело свою родную дочь губить! Попетушится и опустит хвост.

– Права... не имеют, – заметил Увар Иванович и отпил из кружки.

– Так, так. А какая поднимется по Москве туча осуждений, пересудов, толков! Она их не испугалась... Впрочем, она выше их. Уезжает она – и куда? даже страшно подумать! В какую даль, в какую глушь! Что ждет ее там? Я гляжу на нее, точно она ночью, в метель, в тридцать градусов мороза, с постоянного двора съезжает. Расстается с родиной, с семьей; а я ее понимаю. Кого она здесь оставляет? Кого видела? Курнатовских, да Берсеневых, да нашего брата; и это еще лучшие. Чего тут жалеть? Одно худо: говорят, ее муж – черт знает, язык как-то не поворачивается на это слово, – говорят, Инсаров кровью кашляет; это худо. Я его видел на днях, лицо, хоть сейчас лепи с него Брута...[95] Вы знаете, кто был Брут, Увар Иванович?

– Что знать? человек.

– Именно: «Человек он был»[96]. Да, лицо чудесное, а нездоровое, очень нездоровое.

– Сражаться-то... все равно, – проговорил Увар Иванович.

– Сражаться-то все равно, точно; вы сегодня совершенно справедливо изволите выражаться, да жить-то не все равно. А ведь ей с ним пожить захочется.

– Дело молодое, – отозвался Увар Иванович.

– Да, молодое, славное, смелое дело. Смерть, жизнь, борьба, падение, торжество, любовь, свобода, родина... Хорошо, хорошо. Дай Бог всякому! Это не то, что сидеть по горло в болоте да стараться показывать вид, что тебе все равно, когда тебе действительно в сущности все равно. А там – натянуты струны, звени на весь мир или порвись!

Шубин уронил голову на грудь.

– Да, – продолжал он после долгого молчания, – Инсаров ее стоит. А впрочем, что за вздор! Никто ее не стоит. Инсаров... Инсаров... К чему ложное смирение? Ну, положим, он молодец, он постоит за себя, хотя до сих пор делал то же, что и мы, грешные, да будто уж мы такая совершенная дрянь? Ну хоть я, разве я дрянь, Увар Иванович? Разве Бог меня так-таки всем и обидел? Никаких способностей, никаких талантов мне не дал? Кто знает, может быть, имя Павла Шубина будет со временем славное имя? Вот у вас на столе лежит медный грош. Кто знает, может быть, когда-нибудь, через столетие, эта медь пойдет на статую Павла Шубина, воздвигнутую в честь ему благодарным потомством?

Увар Иванович оперся на локоть и устался на разгорячившегося художника.

– Далека песня, – проговорил он, наконец, с обычной игрой пальцев, – о других речь, а ты... того... о себе.

– О великий философ земли русской! – воскликнул Шубин. – Каждое ваше слово – чистое золото, и не мне – вам следует воздвигнуть статую, и за это берусь я. Вот как вы теперь лежите, в этой позе, про которую не знаешь, что в ней больше – лени или силы? – так я вас и отолю. Справедливым укором поразили вы мой эгоизм и мое самолюбие! Да! да! нечего говорить о себе; нечего хвастаться. Нет еще у нас никого, нет людей, куда ни посмотри. Все – либо мелюзга, грызуны, гамлетики, самоеды, либо темнота и глушь подземная, либо толкачи, из пустого в порожнее переливатели да палки барабанные! А то вот еще какие бывают: до позорной тонкости самих себя изучили, щупают беспрестанно пульс каждому своему ощущению и докладывают самим себе: вот что я, мол, чувствую, вот что я думаю. Полезное, дельное занятие! Нет, кабы были между нами путные люди, не ушла бы от нас эта девушка, эта чуткая душа, не ускользнула бы, как рыба в воду! Что ж это, Увар Иванович? Когда ж наша придет пора? Когда у нас народятся люди?

– Дай срок, – ответил Увар Иванович, – будут.

– Будут? Почва! черноземная сила! ты сказала: будут? Смотрите же, я запишу ваше слово. Да зачем же вы гасите свечку?

– Спать хочу, прощай.

XXXI

Шубин сказал правду. Неожиданное известие о свадьбе Елены чуть не убило Анны Васильевны. Она слегла в постель. Николай Артемьевич потребовал от нее, чтоб она не пускала своей дочери к себе на глаза; он как будто обрадовался случаю показать себя в полном значении хозяина дома, во всей силе главы семейства: он беспрерывно шумел и гремел на людей, то и дело приговаривая: «Я вам докажу, кто я таков, я вам дам знать – погодите!» Пока он сидел дома, Анна Васильевна не видела Елены и довольствовалась присутствием Зои, которая очень усердно ей служивала, а сама думала про себя: «Diesen Insaroff vorziehen – und wem?»<sup>1</sup> Но как только Николай Артемьевич уезжал (а это случалось довольно часто: Августина Христиановна взаправду вернулась), Елена являлась к своей матери – и та долго, молча, со слезами глядела на нее. Этот немой укор глубже всякого другого проникал в сердце Елены; не раскаяние чувствовала она тогда, но глубокою, бесконечную жалость, похожую на раскаяние.

– Мамаша, милая мамаша! – твердила она, целуя ее руки, – что же было делать? Я не виновата, я полюбила его, я не могла поступить иначе. Вините судьбу: она меня свела с человеком, который не нравится папеньке, который увозит меня от вас.

– Ох! – перебивала ее Анна Васильевна, – не напоминай мне об этом. Как я вспомню, куда ты хочешь ехать, сердце у меня так и покатится!

– Милая мамаша, – отвечала Елена, – утешьтесь хоть тем, что могло быть и хуже: я могла бы умереть.

– Да я и так не надеюсь больше тебя видеть. Либо ты кончишь жизнь там, где-нибудь под шалашом (Анне Васильевне Болгария представлялась чем-то вроде сибирских тундр), либо я не перенесу разлуки...

– Не говорите этого, добрая мамаша, мы еще увидимся, Бог даст. А в Болгарии такие же города, как и здесь.

– Какие там города! Там война теперь идет; теперь там, я думаю, куда ни поди, всё из пушек стреляют... Скоро ты ехать собираешься?

– Скоро... если только папенька... Он хочет жаловаться, он грозитя развести нас.

Анна Васильевна подняла глаза к небу.

– Нет, леночка, он не будет жаловаться. Я бы сама ни за что не согласилась на эту свадьбу, скорее умерла бы; да ведь сделанного не воротишь, а я не дам позорить мою дочь.

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)

Так прошло несколько дней. Наконец Анна Васильевна собралась с духом и в один вечер заперлась с своим мужем наедине в спальне. Все в доме притихло и приникло. Сперва ничего не было слышно; потом загудел голос Николая Артемьевича, потом завязался спор, поднялись крики, почудились даже стенания... Уже Шубин вместе с горничными и Зоей собирался снова явиться на выручку; но шум в спальне стал понемногу ослабевать, перешел в говор – и умолк. Только изредка раздавались слабые всхлипывания – и те прекратились. Зазвенели ключи, послышался визг отворяемого бюро... Дверь раскрылась, и появился Николай Артемьевич. Сурово посмотрел он на всех встречных и отправился в клуб; а Анна Васильевна потребовала к себе Елену, крепко обняла ее и, залившись горькими слезами, промолвила:

– Все улажено, он не будет поднимать истории, и ничего теперь тебе не мешает уехать... бросить нас.

– Вы позволите Дмитрию прийти благодарить вас? – спросила Елена свою мать, как только та немного успокоилась.

– Подожди, душа моя, не могу я теперь видеть нашего разлучника... Перед отъездом успеем.

– Перед отъездом, – печально повторила Елена.

Николай Артемьевич согласился «не поднимать истории»; но Анна Васильевна не сказала своей дочери, какую цену он положил своему согласию. Она не сказала ей, что обещалась заплатить все его долги да с рук на руки дала ему тысячу рублей серебром. Сверх того, он решительно объявил Анне Васильевне, что не желает встретиться с Инсаровым, которого продолжал величать черногорцем, а приехавши в клуб, безо всякой нужды заговорил о свадьбе Елены с своим партнером, отставным инженерным генералом. «Вы слышали, – промолвил он с притворною небрежностью, – дочь моя, от очень большой учености, вышла замуж за какого-то студента». Генерал посмотрел на него через очки, промычал: «Гм!» – и спросил его, в чем он играет?

XXXII

А день отъезда приближался. Ноябрь уж истекал, проходили последние сроки. Инсаров давно кончил все свои боры и горел желанием поскорее вырваться из Москвы. И доктор его торопил: «Вам нужен теплый климат, – говорил он ему, – вы здесь не поправитесь». Нетерпенье томило и Елену; ее тревожила бледность Инсарова, его худоба. Она часто с невольным испугом глядела на его изменившиеся черты. Положение ее в родительском доме становилось невыносимым. Мать причитала над ней, как над мертвою, а отец обходился с ней презрительно холодно: близость разлуки втайне мучила и его, но он считал своим долгом, долгом оскорбленного отца, скрывать свои чувства, свою слабость. Анна Васильевна пожелала, наконец, увидеться с Инсаровым. Его провели к ней тихонько, через заднее крыльцо. Когда он вошел к ней в комнату, она долго не могла заговорить с ним, не могла даже решиться взглянуть на него: он сел возле ее кресла и с спокойной почтительностью ожидал первого ее слова. Елена сидела тут же и держала в руке своей руку матери. Анна Васильевна подняла, наконец, глаза, промолвила: «Бог вам судья, Дмитрий Никанорович...» – и остановилась: упреки замерли на ее устах.

– Да вы больны, – воскликнула она. – Елена, он у тебя болен!

– Я был нездоров, Анна Васильевна, – ответил Инсаров, – и теперь еще не совсем поправился; но я надеюсь, родной воздух меня восстановит окончательно.

– Да... Болгария! – пролепетала Анна Васильевна и подумала: «Боже мой, болгар, умирающий, голос как из бочки, глаза как лукошко, скелет скелетом, сюртук на нем с чужого плеча, желт как пупавка – и она его жена, она его любит... да это сон какой-то...» Но она тотчас же спохватилась. – Дмитрий Никанорович, – проговорила она, – вы непременно... непременно должны ехать?

– Непременно, Анна Васильевна.

Анна Васильевна посмотрела на него.

– Ох, Дмитрий Никанорович, не дай вам Бог испытать то, что я теперь испытываю... Но вы обещаетесь мне беречь ее, любить ее... Нужды вы терпеть не будете, пока я жива!



Слезы заглушили ее голос. Она раскрыла свои объятия, и Елена и Инсаров припали к ней.

Роковой день наступил наконец. Положено было, чтобы Елена простилась с родителями дома, а пустилась бы в путь с квартиры Инсарова. Отъезд был назначен в двенадцать часов. За четверть часа до срока пришел Берсенева. Он полагал, что застанет у Инсарова его соотечественников, которые захотят его проводить; но они уже все вперед уехали; уехали также и известные читателю две таинственные личности (они служили свидетелями на свадьбе Инсарова). Портной встретил с поклоном «доброе барина»; он, должно быть, с горя, а может, и с радости, что мебель ему доставалась, сильно выпил; жена скоро его увела. В комнате уже все было прибрано; чемодан, перевязанный веревкой, стоял на полу. Берсенева задумался: много воспоминаний прошло у него по душе.

Двенадцать часов давно пробило, и ямщик уже привел лошадей, а «молодые» все еще не являлись. Наконец послышались торопливые шаги на лестнице, и Елена вошла в сопровождении Инсарова и Шубина. У Елены глаза были красны: она оставила мать свою лежащую в обмороке; прощание было очень тяжело. Елена уже больше недели не видела Берсенева: в последнее время он редко ходил к Стаховым. Она не ожидала его встретить, вскрикнула: «Вы! благодарствуйте!» – и бросилась ему на шею; Инсаров тоже его обнял. Настало томительное молчание. Что могли сказать эти три человека, что чувствовали эти три сердца? Шубин понял необходимость живым звуком, словом прекратить это томление.

– Собралось опять наше трио, – заговорил он, – в последний раз! Покоримся велениям судьбы, помянем прошлое добром – и с Богом на новую жизнь! «С Богом, в дальнюю дорогу», – запел он и остановился. Ему вдруг стало совестно и неловко. Грешно петь там, где лежит покойник; а в это мгновение, в этой комнате, умирало то прошлое, о котором он упомянул, прошлое людей, собравшихся в нее. Оно умирало для возрождения к новой жизни, положим... но все-таки умирало.

– Ну, Елена, – начал Инсаров, обращаясь к жене, – кажется, все? Все заплачено, уложено. Остается только этот чемодан стацить. Хозяин!

Хозяин вошел в комнату вместе с женой и дочерью. Он выслушал, слегка качаясь, приказание Инсарова, взвалил чемодан к себе на плечи и быстро побежал вниз по лестнице, стуча сапогами.

– Теперь, по русскому обычаю, сесть надо, – заметил Инсаров.

Все сели: Берсенева поместился на старом диванчике; Елена села возле него; хозяйка с дочкой прикорнули на пороге. Все умолкли; все улыбались напряженно, и никто не знал, зачем он улыбается; каждому хотелось что-то сказать на прощанье, и каждый (за исключением, разумеется, хозяйки и ее дочери: те только глаза тарасили), каждый чувствовал, что в подобные мгновенья позволительно сказать одну лишь пошлость, что всякое значительное, или умное, или просто задушевное слово было бы чем-то неуместным, почти ложным. Инсаров поднялся первый и стал креститься... «Прощай, наша комнатка!» – воскликнул он.

Раздались поцелуи, звонкие, но холодные поцелуи разлуки, напутственные, недосказанные желания, обещания писать, последние, полусдавленные прощальные слова...

Елена, вся в слезах, уже садилась в повозку; Инсаров заботливо покрывал ее ноги ковром; Шубин, Берсенева, хозяин, его жена, дочка с неизбежным платком на голове, дворник, посторонний мастеровой в полосатом халате – все стояли у крыльца, как вдруг на двор влетели богатые сани, запряженные лихим рысаком, и из саней, стряхивая снег с воротника шинели, выскочил Николай Артемьевич.

– Застал еще, слава Богу, – воскликнул он и подбежал к повозке. – Вот тебе, Елена, наше последнее родительское благословение, – сказал он, нагнувшись под балчуг, и, достав из кармана сюртука маленький образок, зашитый в бархатную сумочку, надел ей на шею. Она зарыдала и стала целовать его руки, а кучер между тем вынул из передка саней полубутылку шампанского и три бокала.

– Ну! – сказал Николай Артемьевич, а у самого слезы так и капали на бобровый

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
воротник шинели, – надо проводить... и пожелать... – Он стал наливать шампанское; руки его дрожали, пена поднималась через край и падала на снег. Он взял один бокал, а два другие подал Елене и Инсарову, который уже успел поместиться возле нее. – Дай Бог вам... – начал Николай Артемьевич, и не мог договорить – и выпил вино; те тоже выпили. – Теперь вам бы следовало, господа, – прибавил он, обращаясь к Шубину и Берсеневу, но в это мгновение ямщик тронул лошадей. Николай Артемьевич побежал рядом с повозкой. – Смотри ж, пиши нам, – говорил он прерывистым голосом. Елена выставила голову, промолвила: «Прощайте, папенька, Андрей Петрович, Павел Яковлевич, прощайте все, прощай, Россия!» – и откинулась назад. Ямщик взмахнул кнутом, засвистал; повозка, заскрипев полозьями, повернула из ворот направо – и исчезла.

### XXXIII

Был светлый апрельский день. По широкой лагуне, отделяющей Венецию от узкой полосы наносного морского песку, называемой Лидо, скользила острогрудая гондола, мерно покачиваясь при каждом толчке падавшего на длинное весло гондольера. Под низенькою ее крышей, на мягких кожаных подушках, сидели Елена и Инсаров.

Черты лица Елены не много изменились со дня ее отъезда из Москвы, но выражение их стало другое: оно было обдуманнее и строже, и глаза глядели смелее. Все ее тело расцвело, и волосы, казалось, пышнее и гуще лежали вдоль белого лба и свежих щек. В одних только губах, когда она не улыбалась, сказывалось едва заметною складкой присутствие тайной, постоянной заботы. У Инсарова, напротив, выражение лица осталось то же, но черты его жестоко изменились. Он похудел, постарел, побледнел, сгорбился; он почти беспрестанно кашлял коротким, сухим кашлем, и впалые глаза его блестели странным блеском. На пути из России Инсаров пролежал почти два месяца больной в Вене и только в конце марта приехал с женой в Венецию: он оттуда надеялся пробраться через Зару в Сербию, в Болгарию; другие пути ему были закрыты. Война уже кипела на Дунае; Англия и Франция объявили России войну, все славянские земли волновались и готовились к восстанию.

Гондола пристала к внутреннему краю Лидо. Елена и Инсаров отправились по узкой песчаной дорожке, обсаженной чахоточными деревцами (их каждый год сажают, и они умирают каждый год), на внешний край Лидо, к морю.

Они пошли по берегу. Адриатика катила перед ними свои мутно-синие волны; они пенились, шипели, набегали и, скатываясь назад, оставляли на песке мелкие раковины и обрывки морских трав.

– Какое унылое место! – заметила Елена. – Я боюсь, не слишком ли здесь холодно для тебя; но я догадываюсь, зачем ты хотел сюда приехать.

– Холодно! – возразил с быстрюю, но горькою усмешкой Инсаров. – Хорош я буду солдат, коли мне холоду бояться. А приехал я сюда... я тебе скажу зачем. Я гляжу на это море, и мне кажется, что отсюда ближе до моей родины. Ведь она там, – прибавил он, протянув руку на восток. – Вот и ветер оттуда тянет.

– Не пригонит ли этот ветер тот корабль, который ты ждешь? – сказала Елена. – Вот белеет парус, уж не он ли это?

Инсаров посмотрел в морскую даль, куда показывала ему Елена.

– Рендич обещался через неделю все нам устроить, – заметил он. – На него, кажется, положиться можно... Слышала ты, Елена, – прибавил он с внезапным одушевлением, – говорят, бедные далматские рыбаки пожертвовали своими свинчатками, – ты знаешь, этими тяжестями, от которых невода на дно опускаются, – на пули! Денег у них не было, они только и живут что рыбною ловлей; но они с рад остию отдали свое последнее достояние и голодают теперь. Что за народ!

– Aufgepasst![97] – крикнул сзади их надменный голос. Раздался глухой топот лошадиных копыт, и австрийский офицер, в короткой серой тюнике и зеленом картузе, проскакал мимо их... Они едва успели посторониться.

Инсаров мрачно посмотрел ему вслед.

– Он не виноват, – промолвила Елена, – ты знаешь, у них здесь нет другого места, чтобы наезжать лошадей.

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)

– Он не виноват, – возразил Инсаров, – да кровь он мне расшевелил своим криком, своими усами, своим картузом, всей своей наружностью. Вернемся.

– Вернемся, Дмитрий. Притом здесь в самом деле дует. Ты не поберегся после твоей московской болезни и поплатился за это в Вене. Надо теперь быть осторожнее.

Инсаров промолчал, только прежняя горькая усмешка скользнула по его губам.

– Хочешь? – продолжала Елена, – покатаемся по Canal Grande[98]. Ведь мы с тех пор, как здесь, хорошенько не видели Венеции. А вечером поедem в театр: у меня есть два билета на ложу. Говорят, новую оперу дают. Хочешь, мы нынешний день отдадим друг другу, позабудем о политике, о войне, обо всем, будем знать только одно: что мы живем, дышим, думаем вместе, что мы соединены навсегда... Хочешь?

– Ты этого хочешь, Елена, – отвечал Инсаров, – стало быть, и я этого хочу.

– Я это знала, – заметила с улыбкой Елена. – Пойдем, пойдем.

Они вернулись к гондоле, сели и велели везти себя, не спеша, по Canal Grande.

Кто не видал Венеции в апреле, тому едва ли знакома вся несказанная прелесть этого волшебного города. Кротость и мягкость весны идут к Венеции, как яркое солнце лета к великолепной Генуе, как золото и пурпур осени к великому старцу – Риму. Подобно весне, красота Венеции и трогает и возбуждает желания; она томит и дразнит неопытное сердце, как обещание близкого, не загадочного, но таинственного счастья. Все в ней светло, понятно, и все обаяно дремотною дымкой какой-то влюбленной тишины: все в ней молчит, и всеприветно; все в ней женственно, начиная с самого имени: недаром ей одной дано название Прекрасной. Громады дворцов, церковей стоят легки и чудесны, как стройный сон молодого бога; есть что-то сказочное, что-то пленительно странное в зелено-сером блеске и шелковистых отливах немой волны каналов, в бесшумном беге гондол, в отсутствии грубых городских звуков, грубого стука, треска и гама. «Венеция умирает, Венеция опустела», – говорят вам ее жители; но, быть может, этой-то последней прелести, прелести увядания в самом расцвете и торжества красоты, недоставало ей. Кто ее не видел, тот ее не знает: ни Каналетти[99], ни Гварди[100] (не говоря уже о новейших живописцах) не в силах передать этой серебристой нежности воздуха, этой улетающей и близкой дали, этого дивного созвучия изящнейших очертаний и тающих красок. Отжившему, разбитому жизнию не для чего посещать Венецию: она будет ему горька, как память о несбывшихся мечтах первоначальных дней; но сладка будет она тому, в ком кипят еще силы, кто чувствует себя благополучным; пусть он принесет свое счастье под ее очарованные небеса, и как бы оно ни было лучезарно, она еще озолотит его неувядаемым сиянием.

Гондола, в которой сидели Инсаров и Елена, тихонько минула Riva dei Schiavoni[101], Дворец дождей[102], Пиадзетту и вошла в Большой канал. С обеих сторон потянулись мраморные дворцы; они, казалось, тихо плыли мимо, едва давая взору обнять и понять все свои красоты. Елена чувствовала себя глубоко счастливою: в лазури ее неба стояло одно темное облачко – и оно удалялось: Инсарову было гораздо лучше в тот день. Они доплыли до крутой арки Риальто и вернулись назад. Елена боялась холода церковей для Инсарова; но она вспомнила об академии delle belle arti[103] и велела гондольеру ехать туда. Они скоро обошли все залы этого небольшого музея. Не будучи ни знатоками, ни дилетантами, они не останавливались перед каждой картиной, не насильствовали себя: какая-то светлая веселость неожиданно нашла на них. Им вдруг все показалось очень забавно. (Детям хорошо известно это чувство.) К великому скандалу трех посетителей англичан, Елена хохотала до слез над святым Марком Тинторетта[104], прыгающим с неба, как лягушка в воду, для спасения истязаемого раба; с своей стороны, Инсаров пришел в восторг от спины и икр того энергического мужа в зеленой хламиде, который стоит на первом плане тициановского Вознесения[105] и воздымает руки вослед Мадонны; зато сама Мадонна – прекрасная, сильная женщина, спокойно и величественно стремящаяся в лоно Бога-отца, – поразила и Инсарова и Елену; понравилась им также строгая и святая картина старика Чима да Конельяно[106]. Выходя из академии, они еще раз оглянулись на шедших за ними англичан с длинными, заячьими зубами и висячими бакенбардами – и засмеялись; увидели своего гондольера с куцею курткой и короткими панталонами – и засмеялись; увидели торговку с узелком седых волос на самой вершине головы – и засмеялись пуще прежнего; посмотрели, наконец, друг другу в лицо – и залились смехом, а как только сели в гондолу – крепко, крепко пожали друг другу руку. Они приехали в гостиницу, побежали в свою комнату

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru) и велели подать себе обедать. Веселость не покидала их и за столом. Они потчевали друг друга, пили за здоровье московских приятелей, рукоплескали камериеру за вкусное блюдо рыбы и все требовали от него живых *frutti di mare*[107]; камериере пожимался и шаркал ногами, а выходя от них, покачивал головой и раз даже со вздохом шепнул: *poveretti!* (бедняжки!) После обеда они отправились в театр.

В театре давали оперу Верди, довольно пошлую, сказать по совести, но уже успевшую облететь все европейские сцены, оперу, хорошо известную нам, русским, – Травиату. Сезон в Венеции миновал, и все певцы не возвышались над уровнем посредственности; каждый кричал, во сколько хватало сил. Роль Виолетты исполняла артистка, не имевшая репутации и, судя по холодности к ней публики, мало любимая, но не лишенная дарования. Это была молодая, не очень красивая, черноглазая девушка с не совсем ровным и уже разбитым голосом. Одеты она была до наивности пестро и плохо: красная сетка покрывала ее волосы, платье из полинялого голубого атласа давило ей грудь, толстые шведские перчатки восходили до острых локтей; да и где ж было ей, дочери какого-нибудь бергамского пастуха, знать, как одеваются парижские камелии! И держаться на сцене она не умела; но в ее игре было много правды и бесхитростной простоты, и пела она с той особенной страстностью выражения и ритма, которая дается одним италиянцам. Елена и Инсаров сидели вдвоем в темной ложе, возле самой сцены; игривое расположение духа, которое нашло на них в академии *delle belle arti*, все еще не проходило. Когда отец несчастного юноши, попавшего в сети соблазнительницы, появился на сцене в гороховом фраке и взъерошенном белом парике, раскрыл криво рот и, сам заранее смущаясь, выпустил унылое басовое тремоло, они чуть оба не приснули... Но игра Виолетты подействовала на них.

– Этой бедной девушке почти не хлопают, – сказала Елена, – а я в тысячу раз предпочитаю ее какой-нибудь самоуверенной второстепенной знаменитости, которая бы ломалась и кривлялась и все была бы на эффект. Этой как будто самой не до шутки; посмотри, она не замечает публики.

Инсаров припал к краю ложи и пристально посмотрел на Виолетту.

– Да, – промолвил он, – она не шутит: смертью пахнет.

Елена умолкла.

Начался третий акт. Занавес поднялся... Елена дрогнула при виде этой постели, этих завешенных гардин, склянок с лекарством, заслоненной лампы... Вспомнилось ей близкое прошедшее... «А будущее? а настоящее?» – мелькнуло у ней в голове. Как нарочно, в ответ на притворный кашель актрисы раздался в ложе глухой, неподдельный кашель Инсарова... Елена украдкой взглянула на него и тотчас же придала своим чертам выражение безмятежное и спокойное; Инсаров ее понял и сам начал улыбаться и чуть-чуть подтягивать пению.

Но он скоро притих. Игра Виолетты становилась все лучше, все свободнее. Она отбросила все постороннее, все ненужное и нашла себя: редкое, высочайшее счастье для художника! Она вдруг переступила ту черту, которую определить невозможно, но за которой живет красота. Публика восторженно удивилась. Некрасивая девушка с разбитым голосом начинала забирать ее в руки, овладевать ею. Но уже и голос певицы не звучал, как разбитый: он согрелся и окреп. Явился «Альфредо»; радостный крик Виолетты чуть не поднял той бури, имя которой *fanatismo*[108] и перед которой ничто все наши северные завывания... Мгновение – и публика опять замерла. Начался дуэт, лучший номер оперы, в котором удалось композитору выразить все сожаления безумно растроченной молодости, последнюю борьбу отчаянной и бессильной любви. Увлеченная, подхваченная дуновением общего сочувствия, с слезами художнической радости и действительного страдания на глазах, певица отдалась поднимавшей ее волне, лицо ее преобразилось, и перед грозным призраком внезапно приблизившейся смерти с таким, до неба достигающим, порывом моления исторглись у ней слова: «*Lascia mi vivere... morir si giovane!*» (дай мне жить... умереть такой молодой!), что весь театр затрепал от бешеных рукоплесканий и восторженных кликов.

Елена вся похолодела. Она начала тихо искать своею рукою руку Инсарова, нашла ее и стиснула ее крепко. Он ответил на ее пожатие; но ни она не посмотрела на него, ни он на нее. Это пожатие не походило на то, которым они, несколько часов тому назад, приветствовали друг друга в гондоле.

Они поплыли в свою гостиницу опять по Canal Grande. Ночь уже наступила, светлая, мягкая ночь. Те же дворцы потянулись им навстречу, но они казались другими. Те из них, которые освещала луна, золотисто белели, и в самой этой белизне как будто исчезали подробности украшений и очертания окон и балконов; они отчетливее выдавались на зданиях, залитых легкой мглой ровной тени. Гондолы с своими маленькими красными огонечками, казалось, еще неслышнее и быстрее бежали; таинственно блистали их стальные гребни, таинственно вздымались и опускались весла над серебряными рыбками возмущенной струи; там, сям коротко и негромко восклицали гондольеры (они теперь никогда не поют); других звуков почти не было слышно. Гостиница, где жили Инсаров и Елена, находилась на Riva dei Schiavoni; не доезжая до нее, они вышли из гондолы и прошлись несколько раз вокруг площади святого Марка, под арками, где перед крошечными кофейными толпилось множество праздного народа. Ходить вдвоем с любимым существом в чужом городе, среди чужих, как-то особенно приятно: все кажется прекрасным и значительным, всем желаешь добра, мира и того же счастья, которым исполнен сам. Но Елена уже не могла беспечно предаваться чувству своего счастья: сердце ее, потрясенное недавними впечатлениями, не могло успокоиться; а Инсаров, проходя мимо Дворца дождей, указал молча на жерла австрийских пушек, выглядывавших из-под нижних сводов, и надвинул шляпу на брови. Притом он чувствовал себя усталым – и, взглянув в последний раз на церковь св. Марка, на ее куполы, где под лучами луны на голубоватом свинце зажигались пятна фосфорического света, они медленно вернулись домой.

Комнатка их выходила окнами на широкую лагуну, расстилающуюся от Riva dei Schiavoni до Джуудекки. Почти напротив их гостиницы возвышалась остроконечная башня св. Георгия; направо, высоко в воздухе, сверкал золотой шар Доганы – и, разубранная как невеста, стояла красивейшая из церквей, Redentore Палладия [109]; налево чернели мачты и реи кораблей, трубы пароходов; кое-где висел, как большое крыло, наполовину подобранный парус, и выпела едва шевелились. Инсаров присел перед окном, но Елена не дала ему долго любоваться видом; у него вдруг показался жар, его охватила какая-то пожирающая слабость. Она уложила его в постель и, дождавшись пока он заснул, тихонько вернулась к окну. О, как тиха и ласкова была ночь, какою голубиною кротостию дышал лазурный воздух, как всякое страдание, всякое горе должно было замолкнуть и заснуть под этим ясным небом, под этими святыми, невинными лучами! «О Боже! – думала Елена, – зачем смерть, зачем разлука, болезнь и слезы? или зачем эта красота, это сладостное чувство надежды, зачем успокоительное сознание прочного убежища, неизменной защиты, бессмертного покровительства? Что же значит это улыбающееся, благословляющее небо, эта счастливая, отдыхающая земля? Ужели это все только в нас, а вне нас вечный холод и безмолвие? Ужели мы одни... одни... а там, повсюду, во всех этих недостижимых безднах и глубинах, – все, все нам чуждо? К чему же тогда эта жажда и радость молитвы? («Morir si giovane», – зазвучало у нее в душе...) Неужели же нельзя умолить, отвратить, спасти... О Боже! неужели нельзя верить чуду? – Она положила голову на сжатые руки. – Довольно? – шепнула она. – Неужели уже довольно! Я была счастлива не одни только минуты, не часы, не целые дни – нет, целые недели сряду. А с какого права?» Ей стало страшно своего счастья. «А если этого нельзя? – подумала она. – Если это не дается даром? Ведь это было небо... а мы люди, бедные, грешные люди... Morir si giovane... О темный призрак, удались! Не для меня одной нужна его жизнь!»

«Но если это – наказание, – подумала она опять, – если мы должны теперь внести полную уплату за нашу вину? Моя совесть молчала, она теперь молчит, но разве это доказательство невинности? О Боже, неужели мы так преступны! Неужели ты, создавший эту ночь, это небо, захочешь наказать нас за то, что мы любили? А если так, если он виноват, если я виновата, – прибавила она с невольным порывом, – так дай ему, о Боже, дай нам обоим умереть по крайней мере честной, славной смертью – там, на родных его полях, а не здесь, не в этой глухой комнате».

«А горе бедной, одинокой матери?» – спросила она себя и сама смутилась и не нашла возражений на свой вопрос. Елена не знала, что счастье каждого человека основано на несчастий другого, что даже его выгода и удобство требуют, как статуя – пьедестала, невыгоды и неудобства других.

«Рендич!» – пролепетал сквозь сон Инсаров.

Елена подошла к нему на цыпочках, нагнулась над ним и отерла пот с его лица. Он пометался немного на подушке и затих.

Она опять подошла к окну, и опять взяли ее думы. Она начала самое себя уговаривать и уверять себя, что нет причин бояться. Она даже устыдилась своей слабости. «Разве есть опасность? разве ему не лучше? – шепнула она. – Ведь если бы мы не были сегодня в театре, мне бы все это в голову не пришло». В это мгновение она увидела высоко над водой белую чайку; ее, вероятно, вспугнул рыбак, и она летала молча, неровным полетом, как бы высматривая место, где бы опуститься. «Вот если она полетит сюда, – подумала Елена, – это будет хороший знак...» Чайка закружилась на месте, сложила крылья – и, как подстреленная, с жалобным криком пала куда-то далеко за темный корабль. Елена вздрогнула, а потом ей стало совестно, что она вздрогнула, и она, не раздеваясь, прилегла на постель возле Инсарова, который дышал тяжело и часто.

#### XXXIV

Инсаров проснулся поздно, с глухой болью в голове, с чувством, как он выразился, безобразной слабости во всем теле. Однако он встал.

– Рендич не приходил? – было его первым вопросом.

– Нет еще, – отвечала Елена и подала ему последний номер «Osservatore Triestino» [110], в котором много говорилось о войне, о славянских землях, о княжествах. Инсаров начал читать; она занялась приготовлением для него кофе... Кто-то постучался в дверь.

«Рендич», – подумали оба, но стучавший проговорил по-русски: «Можно войти?» Елена и Инсаров переглянулись с изумлением, и, не дождавись их ответа, вошел в комнату щегольски одетый человек, с маленьким, остреньким лицом и бойкими глазками. Он весь сиял, как будто только что выиграл огромные деньги или услышал приятнейшую новость.

Инсаров приподнялся со стула.

– Вы не узнаете меня, – заговорил незнакомец, развязно подходя к нему и любезно кланяясь Елене, – Лупояров, помните, мы в Москве встретились у Е...Х?

– Да, у Е...х, – произнес Инсаров.

– Как же, как же! Прошу вас представить меня вашей супруге. Сударыня, я всегда глубоко уважал Дмитрия Васильевича... (он поправился): Никанора Васильевича и очень счастлив, что имею, наконец, честь с вами познакомиться. Вообразите, – продолжал он, обратившись к Инсарову, – я только вчера вечером узнал, что вы здесь. Я тоже стою в этой гостинице. Что это за город, эта Венеция – поэзия, да и только! Одно ужасно: проклятые австрияки на каждом шагу! уж эти мне австрияки! Кстати, слышали вы, на Дунае произошло решительное сражение: триста турецких офицеров убито, Силистрия взята, Сербия уже объявила себя независимой. Не правда ли, вы, как патриот, должны быть в восторге? Во мне самая славянская кровь так и кипит! Однако я советую вам быть осторожнее; я уверен, что за вами наблюдают. Шпионство здесь ужасное! Вчера подходит ко мне какой-то подозрительный человек и спрашивает: «Русский ли я?» Я ему сказал, что я датчанин... А только вы, должно быть, нездоровы, любезнейший Никанор Васильевич. Вам надобно полечиться; сударыня, вы должны полечить вашего мужа. Я вчера, как сумасшедший, бегал по дворцам и по церквам – ведь вы были во Дворце дождей? Что за богатство везде! Особенно эта большая зала и место Марино Фалиеро [111], так и стоит: «Decapitati pro criminibus» [112]. Я был и в знаменитых тюрьмах: вот где душа моя возмутилась – я, вы, может быть, помните – всегда любил заниматься социальными вопросами и восставал против аристократии – вот бы я куда привел защитников аристократии: в эти тюрьмы; справедливо сказал Байрон: «I stood in Venice on the bridge of sighs» [113]; впрочем, и он был аристократ. Я всегда был за прогресс. Молодое поколение все за прогресс. А каковы англо-французы? Посмотрим, много ли они сделают: Бустрада [114] и Пальмерстон [115]. Вы знаете, Пальмерстон сделался первым министром. Нет, что ни говорите, русский кулак не шутка. Ужасный плут этот Бустрада! Хотите, я вам дам «Les Chatiments» de Victor Hugo [116] – удивительно! «L'avenir – le gendarme de Dieu» [117] – смело немножко сказано, но сила, сила. Хорошо также сказал князь Вяземский: «Европа твердит: Баш-Кадък-Лар, глаз не сводя с Синопа» [118]. Я люблю поэзию. У меня также есть последняя книжка

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
Прудона[119], у меня все есть. Не знаю, как вы, а я рад войне; только как бы  
домой не потребовали, а я собираюсь отсюда во Флоренцию, в Рим: во Францию  
нельзя, так я думаю в Испанию – женщины там, говорят, удивительные, только  
бедность и насекомых много. Махнул бы в Калифорнию, нам, русским, все нипочем,  
да я одному редактору дал слово изучить в подробности вопрос о торговле в  
Средиземном море. Вы скажете, предмет неинтересный, специальный, но нам нужны,  
нужны специалисты, довольно мы философствовали, теперь нужна практика, практика...  
А вы очень нездоровы, Никанор Васильевич, я вас, может быть, утомляю, но все  
равно, я еще посижу немножко...

И долго еще трещал таким образом Лупояров и, уходя, обещался побывать.

Измученный неожиданным посещением, Инсаров лег на диван.

– Вот, – с горечью промолвил он, взглянув на Елену, – вот ваше молодое  
поколение! Иной важничает и рисует, а в душе такой же свистун, как этот  
господин.

Елена не возражала своему мужу: в это мгновение ее гораздо больше беспокоила  
слабость Инсарова, чем состояние всего молодого поколения России... Она села возле  
него, взяла работу. Он закрыл глаза и лежал неподвижно, весь бледный и худой.  
Елена взглянула на его резко обрисовавшийся профиль, на его вытянутые руки, и  
внезапный страх защемил ей сердце,

– Дмитрий... – начала она.

Он встрепенулся.

– Что? Рендич приехал?

– Нет еще... но как ты думаешь – у тебя жар, ты, право, не совсем здоров, не  
послать ли за доктором?

– Тебя этот болтун напугал. Не нужно. Я отдохну немного, и все пройдет. Мы после  
обеда опять поедem... куда-нибудь.

Прошло два часа... Инсаров все лежал на диване, но заснуть не мог, хотя не  
открывал глаз. Елена не отходила от него; она уронила работу на колени и не  
шевелилась.

– Отчего ты не спишь? – спросила она его наконец.

– А вот погоди. – Он взял ее руку и положил ее себе под голову. – Вот так...  
хорошо. Разбуди меня сейчас, как только Рендич приедет. Если он скажет, что  
корабль готов, мы тотчас отправимся... Надобно все уложить.

– Уложить недолго, – отвечала Елена.

– Что этот человек болтал о сражении, о Сербии, – проговорил, спустя немного,  
Инсаров. – Должно быть, все выдумал. Но надо, надо ехать. Терять времени нельзя...  
Будь готова.

Он заснул, и все затихло в комнате.

Елена прислонилась головою к спинке кресла и долго глядела в окно. Погода  
испортилась; ветер поднялся. Большие белые тучи быстро неслись по небу, тонкая  
мачта качалась в отдалении, длинный вымпел с красным крестом беспрестанно  
взвивался, падал и взвивался снова. Маятник старинных часов стучал тяжело, с  
каким-то печальным шипением. Елена закрыла глаза. Она дурно спала всю ночь;  
понемногу и она заснула.

Станный ей привиделся сон. Ей показалось, что она плывет в лодке по  
Царицынскому пруду с какими-то незнакомыми людьми. Они молчат и сидят  
неподвижно, никто не гребет; лодка подвигается сама собою. Елене не страшно, но  
скучно: ей бы хотелось узнать, что это за люди и зачем она с ними? Она глядит, а  
пруд ширится, берега пропадают – уж это не пруд, а беспокойное море: огромные,  
лазоревые, молчаливые волны величественно качают лодку; что-то гремящее, грозное  
поднимается со дна; неизвестные спутники вдруг вскакивают, кричат, махают

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
руками... Елена узнает их лица: ее отец между ними. Но какой-то белый вихорь  
налетает на волны... все закружилось, смешалось...

Елена осматривается: по-прежнему все бело вокруг; но это снег, снег, бесконечный  
снег. И она уж не в лодке, она едет, как из Москвы, в повозке; она не одна:  
рядом с ней сидит маленькое существо, закутанное в старенький салоп. Елена  
вглядывается: это Катя, ее бедная подруга. Страшно становится Елене. «Разве она  
не умерла?» – думает она.

– Катя, куда это мы с тобой едем?

Катя не отвечает и завертывается в свой салопчик; она зябнет. Елене тоже  
холодно; она смотрит вдоль по дороге: город виднеется вдали сквозь снежную пыль.  
Высокие белые башни с серебряными главами... Катя, Катя, это Москва? Нет, думает  
Елена, это Соловецкий монастырь: там много, много маленьких тесных келий, как в  
улье; там душно, тесно, – там Дмитрий заперт. Я должна его освободить... Вдруг  
седая, зияющая пропасть разверзается перед нею. Повозка падает, Катя смеется.  
Елена, Елена! слышится голос из бездны.

«Елена!» – раздалось явственно в ее ушах. Она быстро подняла голову, обернулась  
и обомлела: Инсаров, белый, как снег, снег ее сна, приподнялся до половины с  
дивана и глядел на нее большими, светлыми, страшными глазами. Волосы его  
рассыпались по лбу, губы странно раскрылись. Ужас, смешанный с каким-то  
тоскливым умилением, выразался на его внезапно изменившемся лице.

– Елена! – произнес он, – я умираю.

Она с криком упала на колени и прижалась к его груди.

– Все кончено, – повторил Инсаров, – я умираю... Прощай, моя бедная! Прощай, моя  
родина!..

И он навзничь опрокинулся на диван.

Елена выбежала из комнаты, стала звать на помощь, камериере бросился за  
доктором. Елена припала к Инсарову.

В это мгновение на пороге двери показался человек, широкоплечий, загорелый, в  
толстом байковом пальто и клеенчатой низкой шляпе. Он остановился в недоумении.

– Рендич! – воскликнула Елена, – это вы! Посмотрите, ради Бога, с ним дурно! Что  
с ним? Боже, Боже! Он вчера выезжал, он сейчас говорил со мною...

Рендич ничего не сказал и только посторонился. Мимо его проворно прошмыгнула  
маленькая фигурка в парике и в очках: это был доктор, живший в той же гостинице.  
Он приблизился к Инсарову.

– Синьора, – сказал он спустя несколько мгновений, – господин иностранец  
скончался – *il signore forestiere e morto* – от аневризма, соединенного с  
расстройством легких.

XXXV

На другой день в той же комнате, у окна, стоял Рендич; перед ним, закутавшись в  
шаль, сидела Елена. В соседней комнате в гробу лежал Инсаров. Лицо Елены было и  
испуганно и безжизненно; на лбу, между бровями, появились две морщины: они  
придавали напряженное выражение ее неподвижным глазам. На окне лежало раскрытое  
письмо Анны Васильевны. Она звала свою дочь в Москву, хоть на месяц, жаловалась  
на свое одиночество, на Николая Артемьевича, кланялась Инсарову, осведомлялась  
об его здоровье и просила его отпустить жену.

Рендич был далмат, моряк, с которым Инсаров познакомился во время своего  
путешествия на родину и которого он отыскал в Венеции. Это был человек суровый,  
грубый, смелый и преданный славянскому делу. Он презирал турок и ненавидел  
австрийцев.

– Сколько времени вы должны остаться в Венеции? – спросила его по-итальянски  
Елена. И голос ее был без жизни, как и лицо.



Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)

– День, чтобы нагрузиться и не возбудить подозрения, а там прямо в Зару. Не обрадую я наших земляков. Его уже давно ждали; на него надеялись.

– На него надеялись, – повторила машинально Елена.

– Когда вы его хороните? – спросил Рендич.

Елена не тотчас отвечала:

– Завтра.

– Завтра? я останусь: я хочу бросить горсть земли в его могилу. Надо ж и вам помочь. А лучше было бы ему лежать в славянской земле.

Елена поглядела на Рендича.

– Капитан, – сказала она, – возьмите меня с ним и перевезите нас по ту сторону моря, прочь отсюда. Возможно это?

Рендич задумался.

– Возможно, только хлопотно. Надобно будет возиться с здешним проклятым начальством. Но, положим, мы это все уладим, похороним его там; как же я вас назад доставлю?

– Вам не нужно будет доставлять меня назад.

– Как? Где же вы останетесь?

– Я уже найду себе место; только возьмите нас, возьмите меня.

Рендич почесал у себя в затылке.

– Как знаете, но все это очень хлопотно. Пойду попытаюсь; а вы ждите меня здесь часа через два.

Он ушел. Елена перешла в соседнюю комнату, прислонилась к стене и долго стояла как окаменелая. Потом она опустилась на колени, но молиться не могла. В ее душе не было упреков; она не дерзала вопрошать Бога, зачем не пощадил, не пожалел, не сберег, зачем наказал свыше вины, если и была вина? Каждый из нас виноват уже тем, что живет, и нет такого великого мыслителя, нет такого благодетеля человечества, который в силу пользы, им приносимой, мог бы надеяться на то, что имеет право жить... Но Елена молиться не могла: она окаменела.

В ту же ночь широкая лодка отчалила от гостиницы, где жили Инсаровы. В лодке сидела Елена с Рендичем и стоял длинный ящик, покрытый черным сукном. Они плыли около часа и приплыли, наконец, к небольшому двухмачтовому кораблику, который стоял на якоре у самого выхода гавани. Елена и Рендич взошли на корабль; матросы внесли ящик. С полуночи поднялась буря, но поутру рано корабль уже миновал Лидо. В течение дня буря разыгралась с страшною силой, и опытные моряки в конторах «Ллойда» качали головами и не ждали ничего доброго. Адриатическое море между Венецией, Триестом и далматским берегом чрезвычайно опасно.

Недели три после отъезда Елены из Венеции Анна Васильевна получила в Москве следующее письмо:

«Милые мои родные, я навсегда прощаюсь с вами. Вы меня больше не увидите. Вчера скончался Дмитрий. Все кончено для меня. Сегодня я уезжаю с его телом в Зару. Я его схороню и, что со мной будет, не знаю! Но уже мне нет другой родины, кроме родины Д. Там готовится восстание, собираются на войну; я пойду в сестры милосердия; буду ходить за больными, ранеными. Я не знаю, что со мною будет, но я и после смерти Д. останусь верна его памяти, делу всей его жизни. Я выучилась по-болгарски и по-сербски. Вероятно, я всего этого не перенесу – тем лучше. Я приведена на край бездны и должна упасть. Нас судьба соединила недаром: кто знает, может быть, я его убила; теперь его очередь увлечь меня за собою. Я искала счастья – и найду, быть может, смерть. Видно, так следовало; видно, была вина... Но смерть все прикрывает и примиряет, – не правда ли? Простите мне все

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
огорчения, которые я вам причинила; это было не в моей воле. А вернуться в  
Россию – зачем? Что делать в России?

Примите мои последние лобзания и благословения и не осуждайте меня.

Е.»

С тех пор минуло уже около пяти лет, и никакой вести не приходило больше об  
Елене. Бесплодны остались все письма, запросы; напрасно сам Николай Артемьевич,  
после заключения мира, ездил в Венецию, в Зару; в Венеции он узнал то, что уже  
известно читателю, а в Заре никто не мог дать ему положительных сведений о  
Рендиче и корабле, который он нанял. Ходили темные слухи, будто бы несколько лет  
тому назад море, после сильной бури, выкинуло на берег гроб, в котором нашли  
труп мужчины... По другим, более достоверным сведениям, гроб этот вовсе не был  
выкинут морем, но привезен и похоронен возле берега иностранной дамой,  
приехавшей из Венеции; некоторые прибавляли, что даму эту видели потом в  
Герцеговине при войске, которое тогда собиралось; описывали даже ее наряд,  
черный с головы до ног. Как бы то ни было, след Елены исчез навсегда и  
безвозвратно, и никто не знает, жива ли она еще, скрывается ли где, или уже  
кончилась маленькая игра жизни, кончилось ее легкое брожение, и настала очередь  
смерти. Случается, что человек, просыпаясь, с невольным испугом спрашивает себя:  
неужели мне уже тридцать... сорок-пятьдесят лет? Как это жизнь так скоро прошла?  
Как это смерть так близко надвинулась? Смерть, как рыбак, который поймал рыбу в  
свою сеть и оставляет ее на время в воде: рыба еще плавает, но сеть на ней, и  
рыбак выхватит ее – когда захочет.

Что случилось с остальными лицами нашего рассказа?

Анна Васильевна еще жива; она очень постарела после поразившего ее удара,  
жалуется меньше, но гораздо больше грустит. Николай Артемьевич тоже постарел и  
поседел и расстался с Августиной Христиановной... Он теперь бранит все  
иностранное. Ключница его, красивая женщина лет тридцати, из русских, ходит в  
шелковых платьях и носит золотые кольца и сережки. Курнатовский, как человек с  
темпераментом и, в качестве энергического брюнета, охотник до миловидных  
блондинок, женился на Зое; она у него в большом повиновении и даже перестала  
думать по-немецки. Берснев находится в Гейдельберге; его на казенный счет  
отправили за границу; он посетил Берлин, Париж и не теряет даром времени; из  
него выйдет дельный профессор. Ученая публика обратила внимание на его две  
статьи: «О некоторых особенностях древнегерманского права в деле судебных  
наказаний» и «О значении городского начала в вопросе цивилизации»; жаль только,  
что обе статьи написаны языком несколько тяжелым и испещрены иностранными  
словами. Шубин в Риме; он весь предался своему искусству и считается одним из  
самых замечательных и многообещающих молодых ваятелей. Строгие пуристы находят,  
что он не довольно изучил древних, что у него нет «стиля», и причисляют его к  
французской школе; от англичан и американцев у него пропасть заказов. В  
последнее время много шуму наделала одна его Вакханка; русский граф Бобошкин,  
известный богач, собирался было купить ее за тысячу скуди, но предпочел дать три  
тысячи другому ваятелю, французу *pur sang*[120] за группу, изображающую «Молодую  
поселянку, умирающую от любви на груди Геня весны». Шубин изредка  
переписывается с Уваром Ивановичем, который один нисколько и ни в чем не  
изменился. «Помните, – писал он ему недавно, – что вы мне сказали в ту ночь,  
когда стал известен брак бедной Елены, когда я сидел на вашей кровати и  
разговаривал с вами? Помните, я спрашивал у вас тогда, будут ли у нас люди? и вы  
мне отвечали: «Будут». О черноземная сила! И вот теперь я отсюда, из моего  
«прекрасного далека», снова вас спрашиваю: «Ну, что же, Увар Иванович, будут?»

Увар Иванович поиграл перстами и устремил в отдаление свой загадочный взор.

Отцы и дети

Роман

Посвящается памяти Виссариона Григорьевича Белинского

I

– Что, Петр, не видать еще? – спрашивал 20-го мая 1859 года, выходя без шапки на  
низкое крылечко постоянного двора на \*\*\* шоссе, барин лет сорока с небольшим, в  
запыленном пальто и клетчатых панталонах, у своего слуги, молодого и щекастого  
малого с беловатым пухом на подбородке и маленькими тусклыми глазенками.

Слуга, в котором все: и бирюзовая сережка в ухе, и напомаженные разноцветные волосы, и учтивые телодвижения, словом, все изобличало человека новейшего, усовершенствованного поколения, посмотрел снисходительно вдоль дороги и отвечивал: «Никак нет-с, не видать».

– Не видать? – повторил барин.

– Не видать, – вторично отвечивал слуга.

Барин вздохнул и присел на скамеечку. Познакомим с ним читателя, пока он сидит, подогнувши под себя ножки и задумчиво поглядывая кругом.

Зовут его Николаем Петровичем Кирсановым. У него в пятнадцати верстах от постоялого двора хорошее имение в двести душ, или, как он выражается с тех пор, как размежевался с крестьянами и завел «ферму», – в две тысячи десятин земли. Отец его боевой генерал 1812 года, полуграмотный, грубый, но не злой русский человек, всю жизнь свою тянул лямку, командовал сперва бригадой, потом дивизией и постоянно жил в провинции, где в силу своего чина играл довольно значительную роль. Николай Петрович родился на юге России, подобно старшему своему брату, Павлу, о котором речь впереди, и воспитывался до четырнадцатилетнего возраста дома, окруженный дешевыми гувернерами, развязными, но подобострастными адъютантами и прочими полковыми и штабными личностями. Родительница его, из фамилии Колязиных, в девицах Agathe, а в генеральшах Агафоклея Кузьминишна Кирсанова, принадлежала к числу «матушек-командирш», носила пышные чепцы и шумные шелковые платья, в церкви подходила первая ко кресту, говорила громко и много, допускала детей утром к ручке, на ночь их благословляла, – словом, жила в свое удовольствие. В качестве генеральского сына Николай Петрович – хотя не только не отличался храбростью, но даже заслужил прозвище трусишки – должен был, подобно брату Павлу, поступить в военную службу; но он переломил себе ногу в самый тот день, когда уже прибыло известие об его определении, и, пролежав два месяца в постели, на всю жизнь остался «хроменьким». Отец махнул на него рукой и пустил его по штатской. Он повез его в Петербург, как только ему минул восемнадцатый год, и поместил его в университет. Кстати, брат его о ту пору вышел офицером в гвардейский полк. Молодые люди стали жить вдвоем, на одной квартире, под отдаленным надзором двоюродного дяди с материнской стороны, Ильи Колязина, важного чиновника. Отец их вернулся с своей дивизии и к своей супруге и лишь изредка присылал сыновьям большие четвертушки серой бумаги, испещренные размашистым писарским почерком. На конце этих четвертушек красовались старательно окруженные «выкрутасами» слова: «Пиотр Кирсанов, генерал-майор». В 1835 году Николай Петрович вышел из университета кандидатом, и в том же году генерал Кирсанов, уволенный в отставку за неудачный смотр, приехал в Петербург с женою на житье. Он нанял было дом у Таврического сада и записался в Английский клуб, но внезапно умер от удара. Агафоклея Кузьминишна скоро за ним последовала: она не могла привыкнуть к глухой столичной жизни; тоска отставного существования ее загрызла. Между тем Николай Петрович успел, еще при жизни родителей и к немалому их огорчению, влюбиться в дочку чиновника Преполовенского, бывшего хозяина его квартиры, миловидную и, как говорится, развитую девицу: она в журналах читала серьезные статьи в отделе «Наук». Он женился на ней, как только минул срок траура, и, покинув министерство уделов, куда по протекции отец его записал, блаженствовал со своею Машей сперва на даче около Лесного института, потом в городе, в маленькой и хорошенькой квартире, с чистою лестницею и холодноватою гостиною, наконец – в деревне, где он поселился окончательно и где у него в скором времени родился сын Аркадий. Супруги жили очень хорошо и тихо: они почти никогда не расставались, читали вместе, играли в четыре руки на фортепьяно, пели дуэты; она сажала цветы и наблюдала за птичьим двором, он изредка ездил на охоту и занимался хозяйством, а Аркадий рос да рос – тоже хорошо и тихо. Десять лет прошло как сон. В 47-м году жена Кирсанова скончалась. Он едва вынес этот удар, посидел в несколько недель; собрался было за границу, чтобы хотя немного рассеяться... но тут настал 48-й год. Он поневоле вернулся в деревню и после довольно продолжительного бездействия занялся хозяйственными преобразованиями. В 55-м году он повез сына в университет; прожил с ним три зимы в Петербурге, почти никуда не выходя и стараясь заводить знакомства с молодыми товарищами Аркадия. На последнюю зиму он приехать не мог, – и вот мы видим его в мае месяце 1859 года, уже совсем седого, пухленького и немного сгорбленного: он ждет сына, получившего, как некогда он сам, звание кандидата.

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)

Слуга, из чувства приличия, а может быть, и не желая остаться под барским глазом, зашел под ворота и закурил трубку. Николай Петрович поник головой и начал глядеть на ветхие ступеньки крылечка: крупный пестрый цыпленок степенно расхаживал по ним, крепко стуча своими большими желтыми ногами; запачканная кошка недружелюбно посматривала на него, жеманно прикорнув на перила. Солнце пекло; из полутемных сеней постоянного дворика несло запахом теплого ржаного хлеба. Замечтался наш Николай Петрович. «Сын... кандидат... Аркаша...» – беспрестанно вертелось у него в голове; он пытался думать о чем-нибудь другом, и опять возвращались те же мысли. Вспомнилась ему покойница-жена... «Не дождалась!» – шепнул он уныло... Толстый сизый голубь прилетел на дорогу и поспешно отправился пить в лужицу возле колодца. Николай Петрович стал глядеть на него, а ухо его уже ловило стук приближающихся колес...

– Никак, они едут-с, – доложил слуга, вынырнув из-под ворот.

Николай Петрович вскочил и устремил глаза вдоль дороги. Показался тарантас, запряженный тройкой ямских лошадей; в тарантасе мелькнул околыш студенческой фуражки, знакомый очерк дорогого лица...

– Аркаша! Аркаша! – закричал Кирсанов, и побежал, и замахал руками... Несколько мгновений спустя его губы уже прильнули к безбородой, запыленной и загорелой щеке молодого кандидата.

II

– Дай же отряхнуться, папаша, – говорил несколько сиплым от дороги, но звонким юношеским голосом Аркадий, весело отвечая на отцовские ласки, – я тебя всего запачкаю.

– Ничего, ничего, – твердил, умиленно улыбаясь, Николай Петрович и раза два ударил рукою по воротнику сыновней шинели и по собственному пальто. – Покажи-ка себя, покажи-ка, – прибавил он, отодвигаясь, и тотчас же пошел торопливыми шагами к постоянному двору, приговаривая: – Вот сюда, сюда, да лошадей поскорее.

Николай Петрович казался гораздо встревоженнее своего сына; он словно потерялся немного, словно робел. Аркадий остановил его.

– Папаша, – сказал он, – позволь познакомиться тебя с моим добрым приятелем, Базаровым, о котором я тебе так часто писал. Он так любезен, что согласился погостить у нас.

Николай Петрович быстро обернулся и, подойдя к человеку высокого роста, в длинном балахоне с кистями, только что вылезшему из тарантаса, крепко стиснул его обнаженную красную руку, которую тот не сразу ему подал.

– Душевно рад, – начал он, – и благодарен за доброе намерение посетить нас; надеюсь... позвольте узнать ваше имя и отчество?

– Евгений Васильев, – отвечал Базаров ленивым, но мужественным голосом и, отвернув воротник балахона, показал Николаю Петровичу все свое лицо. Длинное и худое, с широким лбом, кверху плоским, книзу заостренным носом, большими зеленоватыми глазами и висячими бакенбардами песочного цвету, оно оживлялось спокойной улыбкой и выражало самоуверенность и ум.

– Надеюсь, любезнейший Евгений Васильич, что вы не соскучитесь у нас, – продолжал Николай Петрович.

Тонкие губы Базарова чуть тронулись; но он ничего не отвечал и только приподнял фуражку. Его темно-белокурые волосы, длинные и густые, не скрывали крупных выпуклостей просторного черепа.

– Так как же, Аркадий, – заговорил опять Николай Петрович, обращившись к сыну, – сейчас закладывать лошадей, что ли? Или вы отдохнуть хотите?

– Дома отдохнем, папаша; вели закладывать.

– Сейчас, сейчас, – подхватил отец. – Эй, Петр, слышишь? Распорядись, братец, поживее.

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)

Петр, который в качестве усовершенствованного слуги не подошел к ручке барича, а только издали поклонился ему, снова скрылся под воротами.

– Я здесь с коляской, но и для твоего тарантаса есть тройка, – хлопотливо говорил Николай Петрович, между тем как Аркадий пил воду из железного ковшика, принесенного хозяйкой постоялого двора, а Базаров закурил трубку и подошел к ямщику, отпрягавшему лошадей, – только коляска двухместная, и вот я не знаю, как твой приятель...

– Он в тарантасе поедет, – перебил вполголоса Аркадий. – Ты с ним, пожалуйста, не церемонься. Он чудесный малый, такой простой – ты увидишь.

Кучер Николая Петровича вывел лошадей.

– Ну, поворачивайся, толстобородый! – обратился Базаров к ямщику.

– Слышь, Митюха, – подхватил другой, тут же стоявший ящик с руками, засунутыми в задние прорехи тулупа, – барин-то тебя как прозвал? Толстобородый и есть.

Митюха только шапкой тряхнул и потащил вожжи с потной коренной.

– Живей, живей, ребята, подсобляйте, – воскликнул Николай Петрович, – на водку будет!

В несколько минут лошади были заложены; отец с сыном поместились в коляске; Петр взобрался на козлы; Базаров вскочил в тарантас, уткнулся головой в кожаную подушку – и оба экипажа покатили.

### III

– Так вот как, наконец ты кандидат и домой приехал, – говорил Николай Петрович, потрагивая Аркадия то по плечу, то по колену. – Наконец!

– А что дядя? здоров? – спросил Аркадий, которому, несмотря на искреннюю, почти детскую радость, его наполнявшую, хотелось поскорее перевести разговор с настроения взволнованного на обыденное.

– Здоров. Он хотел было выехать со мной к тебе навстречу, да почему-то раздумал.

– А ты долго меня ждал? – спросил Аркадий.

– Да часов около пяти.

– Добрый папаша!

Аркадий живо повернулся к отцу и звонко поцеловал его в щеку. Николай Петрович тихонько засмеялся.

– Какую я тебе славную лошадь приготовил! – начал он, – ты увидишь. И комната твоя оклеена обоями.

– А для Базарова комната есть?

– Найдется и для него.

– Пожалуйста, папаша, приласкай его. Я не могу тебе выразить, до какой степени я дорожу его дружбой.

– Ты недавно с ним познакомился?

– Недавно.

– То-то прошлой зимой я его не видал. Он чем занимается?

– Главный предмет его – естественные науки. Да он все знает. Он в будущем году хочет держать на доктора.

– А! он по медицинскому факультету, – заметил Николай Петрович и помолчал. – Петр, – прибавил он и протянул руку, – это, никак, наши мужики едут?

Петр глянул в сторону, куда указывал барин. Несколько телег, запряженных разнузданными лошадьми, шибко катились по узкому проселку. В каждой телеге сидело по одному, много по два мужика в тулупах нараспашку.

– Точно так-с, – промолвил Петр.

– Куда это они едут, в город, что ли?

– Полагать надо, что в город. В кабак, – прибавил он презрительно и слегка наклонился к кучеру, как бы ссылаясь на него. Но тот даже не пошевелинулся: это был человек старого закала, не разделявший новейших воззрений.

– Хлопоты у меня большие с мужиками в нынешнем году, – продолжал Николай Петрович, обращаясь к сыну. – Не платят оброка. Что ты будешь делать?

– А своими наемными работниками ты доволен?

– Да, – процедил сквозь зубы Николай Петрович. – Подбивают их, вот что беда; ну, и настоящего старания все еще нету. Сбрую портят. Пахали, впрочем, ничего. Перемелется – мука будет. Да разве тебя теперь хозяйство занимает?

– Тени нет у вас, вот что горе, – заметил Аркадий, не отвечая на последний вопрос.

– Я с северной стороны над балконом большую маркизу приделал, – промолвил Николай Петрович, – теперь и обедать можно на воздухе.

– Что-то на дачу больно похоже будет... а впрочем, это все пустяки. Какой зато здесь воздух! Как славно пахнет! Право, мне кажется, нигде в мире так не пахнет, как в здешних краях! Да и небо здесь...

Аркадий вдруг остановился, бросил косвенный взгляд назад и умолк.

– Конечно, – заметил Николай Петрович, – ты здесь родился, тебе все должно казаться здесь чем-то особенным...

– Ну, папаша, это все равно, где бы человек ни родился.

– Однако...

– Нет, это совершенно все равно.

Николай Петрович посмотрел сбоку на сына, и коляска проехала с полверсты, прежде чем разговор возобновился между ними.

– Не помню, писал ли я тебе, – начал Николай Петрович: – твоя бывшая нянюшка, Егоровна, скончалась.

– Неужели? Бедная старуха! А Прокофьич жив?

– Жив и нисколько не изменился. Все так же брюзжит. Вообще ты больших перемен в Марьине не найдешь.

– Приказчик у тебя все тот же?

– Вот разве что приказчика я сменил. Я решил не держать больше у себя вольноотпущенных, бывших дворовых, или по крайней мере не поручать им никаких должностей, где есть ответственность. (Аркадий указал глазами на Петра.) *Il est libre en effet*[121], – заметил вполголоса Николай Петрович, – но ведь он – камердинер. Теперь у меня приказчик из мещан: кажется, дельный малый. Я ему назначил двести пятьдесят рублей в год. Впрочем, – прибавил Николай Петрович, потирая лоб и брови рукою, что у него всегда служило признаком внутреннего смущения, – я тебе сейчас сказал, что ты не найдешь перемен в Марьине... Это не совсем справедливо. Я считаю своим долгом предvarить тебя, хотя...

Он запнулся на мгновение и продолжал уже по-французски:

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)

– Строгий моралист найдет мою откровенность неуместною, но, во-первых, это скрыть нельзя, а во-вторых, тебе известно, у меня всегда были особенные принципы насчет отношений отца к сыну. Впрочем, ты, конечно, будешь вправе осудить меня. В мои лета... Словом, эта... эта девушка, про которую ты, вероятно, уже слышал...

– Фенечка? – развязно спросил Аркадий.

Николай Петрович покраснел.

– Не называй ее, пожалуйста, громко... Ну да... она теперь живет у меня. Я ее поместил в доме... там были две небольшие комнатки. Впрочем, это все можно переменить.

– Помилуй, папаша, зачем?

– Твой приятель у нас гостить будет... неловко...

– Насчет Базарова ты, пожалуйста, не беспокойся. Он выше всего этого.

– Ну, ты, наконец, – проговорил Николай Петрович. – Флигелек-то плох – вот беда.

– Помилуй, папаша, – подхватил Аркадий, – ты как будто извиняешься; как тебе не совестно.

– Конечно, мне должно быть совестно, – отвечал Николай Петрович, все более и более краснея.

– Полно, папаша, полно, сделай одолжение! – Аркадий ласково улыбнулся. «В чем извиняется!» – подумал он про себя, и чувство снисходительной нежности к доброму и мягкому отцу, смешанное с ощущением какого-то тайного превосходства, наполнило его душу. – Перестань, пожалуйста, – повторил он еще раз, невольно наслаждаясь сознанием собственной развитости и свободы.

Николай Петрович глянул на него из-под пальцев руки, которою он продолжал тереть себе лоб, и что-то кольнуло его в сердце... Но он тут же обвинил себя.

– Вот это уж наши поля пошли, – проговорил он после долгого молчания.

– А это впереди, кажется, наш лес? – спросил Аркадий.

– Да, наш. Только я его продал. В нынешнем году его сводить будут.

– Зачем ты его продал?

– Деньги были нужны; притом же эта земля отходит к мужикам.

– Которые тебе оброка не платят?

– Это уж их дело, а впрочем, будут же они когда-нибудь платить.

– Жаль леса, – заметил Аркадий и стал глядеть кругом.

Места, по которым они проезжали, не могли назваться живописными. Поля, все поля тянулись вплоть до самого небосклона, то слегка вздымаясь, то опускаясь снова; кое-где виднелись небольшие леса и, усеянные редким и низким кустарником, вились овраги, напоминая глазу их собственное изображение на старинных планах екатерининского времени. Попадались и речки с обрытыми берегами, крошечные пруды с худыми плотинами, и деревеньки с низкими избенками под темными, часто до половины разметанными крышами, и покривившиеся молотильные сарайчики с плетеными из хвороста стенами и зевающими воротницами возле опустелых гумен, и церкви, то кирпичные с отвалившеюся кое-где штукатуркой, то деревянные с наклонившимися крестами и разоренными кладбищами. Сердце Аркадия понемногу сжималось.

Как нарочно, мужички встречались все обтерханные, на плохих клячонках; как нищие в лохмотьях, стояли придорожные ракиты с ободранною корой и обломанными ветвями; исхудалые, шершавые, словно обглоданные, коровы жадно щипали траву по канавам. Казалось, они только что вырвались из чьих-то грозных, смертоносных когтей – и,

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
вызванный жалким видом обессиленных животных, среди весеннего красного дня, вставал белый призрак безотрадной бесконечной зимы с ее метелями, морозами и снегами... «Нет, – подумал Аркадий, – небогатый край этот, не поражает он ни довольством, ни трудолюбием; нельзя, нельзя ему так остаться, преобразования необходимы... но как их исполнить, как приступить?..»

Так размышлял Аркадий... а пока он размышлял, весна брала свое. Все кругом золотисто зеленело, все широко и мягко волновалось и лоснилось под тихим дыханием теплого ветерка, все – деревья, кусты и травы; повсюду нескончаемыми звонкими струйками заливались жаворонки; чибицы то кричали, вясь над низменными лугами, то молча перебегали по кочкам; красиво чернея в нежной зелени еще низких яровых хлебов, гуляли грачи; они пропадали во ржи, уже слегка побелевшей, лишь изредка выказывались их головы в дымчатых ее волнах. Аркадий глядел, глядел, и, понемногу ослабевая, исчезали его размышления... Он сбросил с себя шинель и так весело, таким молоденьким мальчиком посмотрел на отца, что тот опять его обнял.

– Теперь уж недалеко, – заметил Николай Петрович, – вот стоит только на эту горку подняться, и дом будет виден. Мы заживем с тобой на славу, Аркаша; ты мне помогать будешь по хозяйству, если только это тебе не наскучит. Нам надобно теперь тесно сойтись друг с другом, узнать друг друга хорошенько, не правда ли?

– Конечно, – промолвил Аркадий, – но что за чудный день сегодня!

– Для твоего приезда, душа моя. Да, весна в полном блеске. А впрочем, я согласен с Пушкиным – помнишь, в Евгении Онегине:

Как грустно мне твое явленье,  
Весна, весна, пора любви!  
Какое...

– Аркадий! – раздался из тарантаса голос Базарова, – пришли мне спичку, нечем трубку раскурить.

Николай Петрович умолк, а Аркадий, который начал было слушать его не без некоторого изумления, но и не без сочувствия, поспешил достать из кармана серебряную коробочку со спичками и послал ее Базарову с Петром.

– Хочешь сигарку? – закричал опять Базаров.

– Давай, – отвечал Аркадий.

Петр вернулся к коляске и вручил ему вместе с коробочкой толстую черную сигарку, которую Аркадий немедленно закурил, распространяя вокруг себя такой крепкий и кислый запах заматерелого табаку, что Николай Петрович, отроду не куривший, поневоле, хотя незаметно, чтобы не обидеть сына, отворачивал нос.

Четверть часа спустя оба экипажа остановились перед крыльцом нового деревянного дома, выкрашенного серою краской и покрытого железною красною крышей. Это и было Марьино, Новая слободка тож, или, по крестьянскому наименованью, Бобылий Хутор.

#### IV

Толпа дворовых не высыпала на крыльцо встречать господ; показалась всего одна девочка лет двенадцати, а вслед за ней вышел из дому молодой парень, очень похожий на Петра, одетый в серую ливрейную куртку с белыми гербовыми пуговицами, слуга Павла Петровича Кирсанова. Он молча отворил дверцу коляски и отстегнул фартук тарантаса. Николай Петрович с сыном и с Базаровым отправились через темную и почти пустую залу, из-за двери которой мелькнуло молодое женское лицо, в гостиную, убранную уже в новейшем вкусе.

– Вот мы и дома, – промолвил Николай Петрович, снимая картуз и встряхивая волосами. – Главное, надо теперь поужинать и отдохнуть.

– Поесть действительно не худо, – заметил, потягиваясь, Базаров и опустился на диван.

– Да, да, ужинать давайте, ужинать поскорее. – Николай Петрович без всякой видимой причины потопал ногами. – Вот кстати и Прокофьич.

Вошел человек, лет шестидесяти, беловолосый, худой и смуглый, в коричневом фраке



Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
с медными пуговицами и в розовом платочке на шее. Он осклабился, подошел к ручке  
к Аркадию и, поклонившись гостю, отступил к двери и положил руки за спину.

– Вот он, Прокофьич, – начал Николай Петрович. – приехал к нам наконец... Что? как ты его находишь?

– В лучшем виде–с, – проговорил старик и осклабился опять, но тотчас же нахмурил свои густые брови. – На стол накрывать прикажете? – проговорил он внушительно.

– Да, да, пожалуйста. Но не пройдет ли вы сперва в вашу комнату, Евгений Васильич?

– Нет, благодарствуйте, незачем. Прикажете только чемоданишко мой туда стащить да вот эту одежку, – прибавил он, снимая с себя свой балахон.

– Очень хорошо. Прокофьич, возьми же их шинель. (Прокофьич, как бы с недоумением, взял обеими руками базаровскую «одежку» и, высоко подняв ее над головою, удалился на цыпочках.) А ты, Аркадий, пойдешь к себе на минутку?

– Да, надо почиститься, – отвечал Аркадий и направился было к дверям, но в это мгновение вошел в гостиную человек среднего роста, одетый в темный английский сьют[122], модный низенький галстук и лаковые полусапожки, Павел Петрович Кирсанов. На вид ему было лет сорок пять; его коротко остриженные седые волосы отливали темным блеском, как новое серебро; лицо его, желчное, но без морщин, необыкновенно правильное и чистое, словно выведенное тонким и легким резцом, являло следы красоты замечательной; особенно хороши были светлые, черные, продолговатые глаза. Весь облик Аркадиева дяди, изящный и породистый, сохранил юношескую стройность и то стремление вверх, прочь от земли, которое большею частью исчезает после двадцатых годов.

Павел Петрович вынул из кармана панталон свою красивую руку с длинными розовыми ногтями, – руку, казавшуюся еще красивей от снежной белизны рукавчика, застегнутого одиноким крупным опалом, и подал ее племяннику. Совершив предварительно европейское «shake hands»[123], он три раза, по-русски, поцеловался с ним, то есть три раза прикоснулся своими душистыми усами до его щек, и проговорил:

– Добро пожаловать.

Николай Петрович представил его Базарову: Павел Петрович слегка наклонил свой гибкий стан и слегка улыбнулся, но руки не подал и даже положил ее обратно в карман.

– Я уже думал, что вы не приедете сегодня, – заговорил он приятным голосом, любезно покачиваясь, подергивая плечами и показывая прекрасные белые зубы. – Разве что на дороге случилось?

– Ничего не случилось, – отвечал Аркадий, – так, замешкались немного. Зато мы теперь голодны, как волки. Поторопи Прокофьича, папаша, а я сейчас вернусь.

– Постой, я с тобой пойду! – воскликнул Базаров, внезапно порываясь с дивана.

Оба молодые человека вышли.

– Кто сей? – спросил Павел Петрович.

– Приятель Аркаши, очень, по его словам, умный человек.

– Он у нас гостить будет?

– Да.

– Этот волосатый?

– Ну да.

Павел Петрович постучал ногтями по столу.

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
– Я нахожу, что Аркадий s'est degourdi[124], – заметил он. – Я рад его возвращению.

За ужином разговаривали мало. Особенно Базаров почти ничего не говорил, но ел много. Николай Петрович рассказывал разные случаи из своей, как он выражался, фермерской жизни, толковал о предстоящих правительственных мерах, о комитетах, о депутатах, о необходимости заводить машины и т. д. Павел Петрович медленно похаживал взад и вперед по столовой (он никогда не ужинал), изредка отхлебывая из рюмки, наполненной красным вином, и еще реже произнося какое-нибудь замечание или, скорее, восклицание, вроде «а! эге! гм!». Аркадий сообщил несколько петербургских новостей, но он ощущал небольшую неловкость, ту неловкость, которая обыкновенно овладевает молодым человеком, когда он только что перестал быть ребенком и возвратился в место, где привыкли видеть и считать его ребенком. Он без нужды растягивал свою речь, избегал слова «папаша» и даже раз заменил его словом «отец», произнесенным, правда, сквозь зубы: с излишнею развязностью налил себе в стакан гораздо больше вина, чем самому хотелось, и выпил все вино. Прокофьич не спускал с него глаз и только губами пожевывал. После ужина все тотчас разошлись.

– А чудаковат у тебя дядя, – говорил Аркадию Базаров, сидя в халате возле его постели и насасывая короткую трубочку. – Щегольство какое в деревне, подумаешь! Ногти-то, ногти, хоть на выставку посылай!

– Да ведь ты не знаешь, – ответил Аркадий, – ведь он львом был в свое время. Я когда-нибудь расскажу тебе его историю. Ведь он красавцем был, голову кружил женщинам.

– Да, вот что! По старой, значит, памяти. Пленять-то здесь, жаль, некого. Я все смотрел: этикие у него удивительные воротнички, точно каменные, и подбородок так аккуратно выбрит. Аркадий Николаевич, ведь это смешно?

– Пожалуй; только он, право, хороший человек.

– Архаическое явление! А отец у тебя славный малый. Стихи он напрасно читает и в хозяйстве вряд ли смыслит, но он добряк.

– Отец у меня золотой человек.

– Заметил ли ты, что он робеет?

Аркадий качнул головою, как будто он сам не робел.

– Удивительное дело, – продолжал Базаров, – эти старенькие романтики! Разовьют в себе нервную систему до раздражения... ну, равновесие и нарушено. Однако прощай! В моей комнате английский рукомойник, а дверь не запирается. Все-таки это поощрять надо – английские рукомойники, то есть прогресс!

Базаров ушел, а Аркадием овладело радостное чувство. Сладко засыпать в родимом доме, на знакомой постели, под одеялом, над которым трудились любимые руки, быть может руки нянюшки, те ласковые, добрые и неутомимые руки. Аркадий вспомнил Егоровну, и вздохнул, и пожелал ей царствия небесного... О себе он не молился.

И он и Базаров заснули скоро, но другие лица в доме долго еще не спали. Возвращение сына взволновало Николая Петровича. Он лег в постель, но не загасил свечки и, подперши рукою голову, думал долгие думы. Брат его сидел далеко за полночь в своем кабинете, на широком гамбсовом кресле, перед камином, в котором слабо тлел каменный уголь. Павел Петрович не разделся, только китайские красные туфли без задков сменил на его ногах лаковые полусапожки. Он держал в руках последний номер «Galignani»[125], но он не читал; он глядел пристально в камин, где то замирая, то вспыхивая, вздрагивало голубоватое пламя... Бог знает, где бродили его мысли, но не в одном только прошедшем бродили они: выражение его лица было сосредоточенно и угрюмо, чего не бывает, когда человек занят одними воспоминаниями. А в маленькой задней комнатке, на большом сундуке, сидела, в голубой душегрейке и с наброшенным белым платком на темных волосах, молодая женщина, фенечка, и то прислушивалась, то дремала, то посматривала на растворенную дверь, из-за которой виднелась детская кроватка и слышалось ровное дыхание спящего ребенка.

У

На другое утро Базаров раньше всех проснулся и вышел из дома. «Эге! – подумал он, посмотрев кругом, – местечко-то неказисто». Когда Николай Петрович размежевался с своими крестьянами, ему пришлось отвести под новую усадьбу десятины четыре совершенно ровного и голого поля. Он построил дом, службы и ферму, разбил сад, выкопал пруд и два колодца; но молодые деревца плохо принимались, в пруде воды набралось очень мало, и колодцы оказались солонковатого вкуса. Одна только беседка из сиреней и акации порядочно разрослась; в ней иногда пили чай и обедали. Базаров в несколько минут обегал все дорожки сада, зашел на скотный двор, на конюшню, отыскал двух дворовых мальчишек, с которыми тотчас свел знакомство, и отправился с ними в небольшое болотце, с версту от усадьбы, за лягушками.

– На что тебе лягушки, барин? – спросил его один из мальчиков.

– А вот на что, – отвечал ему Базаров, который владел особенным умением возбуждать к себе доверие в людях низших, хотя он никогда не потакал им и обходился с ними небрежно, – я лягушку распластаю да посмотрю, что у нее там внутри делается; а так как мы с тобой те же лягушки, только что на ногах ходим, я и буду знать, что и у нас внутри делается.

– Да на что тебе это?

– А чтобы не ошибиться, если ты занеможешь и мне тебя лечить придется.

– Разве ты дохтур?

– Да.

– Васька, слышь, барин говорит, что мы с тобой те же лягушки. Чудно!

– Я их боюсь, лягушек-то, – заметил Васька, мальчик лет семи, с белою, как лен, головою, в сером казакине с стоячим воротником и босой.

– Чего бояться? разве они кусаются?

– Ну, полезайте в воду, философы, – промолвил Базаров.

Между тем Николай Петрович тоже проснулся и отправился к Аркадию, которого застал одетым. Отец и сын вышли на террасу, под навес маркизы; возле перил, на столе, между большими букетами сирени, уже кипел самовар. Явилась девочка, та самая, которая накануне первая встретила приезжих на крыльце, и тонким голосом проговорила:

– Федосья Николаевна не совсем здоровы, прийти не могут; приказали вас спросить, вам самим угодно разлить чай или прислать Дуняшу?

– Я сам разолью, сам, – поспешно подхватил Николай Петрович. – Ты, Аркадий, с чем пьешь чай, со сливками или с лимоном?

– Со сливками, – отвечал Аркадий и, помолчав немного, вопросительно произнес: – Папаша?

Николай Петрович с замешательством посмотрел на сына.

– Что? – промолвил он.

Аркадий опустил глаза.

– Извини, папаша, если мой вопрос тебе покажется неуместным, – начал он, – но ты сам, вчерашнею своею откровенностью, меня вызываешь на откровенность... ты не рассердишься?..

– Говори.

– Ты мне даешь смелость спросить тебя... Не оттого ли фен... не оттого ли она не приходит сюда чай разливать, что я здесь?

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
Николай Петрович слегка отвернулся.

– Может быть, – проговорил он наконец, – она предполагает... она стыдится...

Аркадий быстро вскинул глаза на отца.

– Напрасно ж она стыдится. Во-первых, тебе известен мой образ мыслей (Аркадию очень было приятно произнести эти слова), а во-вторых – захочу ли я хоть на волос стеснять твою жизнь, твои привычки? Притом, я уверен, ты не мог сделать дурной выбор; если ты позволил ей жить с тобой под одною кровлей, стало быть она это заслуживает: во всяком случае, сын отцу не судья, и в особенности я, и в особенности такому отцу, который, как ты, никогда и ни в чем не стеснял моей свободы.

Голос Аркадия дрожал сначала: он чувствовал себя великодушным, однако в то же время понимал, что читает нечто вроде наставления своему отцу; но звук собственных речей сильно действует на человека, и Аркадий произнес последние слова твердо, даже с эффектом.

– Спасибо, Аркаша, – глухо заговорил Николай Петрович, и пальцы его опять заходили по бровям и по лбу. – Твои предположения действительно справедливы. Конечно, если б эта девушка не стоила... Это не легкомысленная прихоть. Мне неловко говорить с тобой об этом; но ты понимаешь, что ей трудно было прийти сюда при тебе, особенно в первый день твоего приезда.

– В таком случае, я сам пойду к ней! – воскликнул Аркадий с новым приливом великодушных чувств и вскочил со стула. – Я ей растолкую, что ей нечего меня стыдиться.

Николай Петрович тоже встал.

– Аркадий, – начал он, – сделай одолжение... как же можно... там... я тебя не предварил...

Но Аркадий уже не слушал его и убежал с террасы. Николай Петрович посмотрел ему вслед и в смущении опустил на стул. Сердце его забилося... Представилась ли ему в это мгновение неизбежная странность будущих отношений между им и сыном, сознавал ли он, что едва ли не большее бы уважение оказал ему Аркадий, если б он вовсе не касался этого дела, упрекал ли он самого себя в слабости – сказать трудно; все эти чувства были в нем, но в виде ощущений – и то неясных; а с лица не сходила краска, и сердце билось.

Послышались торопливые шаги, и Аркадий вошел на террасу.

– Мы познакомились, отец! – воскликнул он с выражением какого-то ласкового и доброго торжества на лице. – Федосья Николаевна, точно, сегодня не совсем здорова и придет попозже. Но как же ты не сказал мне, что у меня есть брат? Я бы уже вчера вечером его расцеловал, как я сейчас расцеловал его.

Николай Петрович хотел что-то вымолвить, хотел подняться и раскрыть объятия... Аркадий бросился ему на шею.

– Что это? опять обнимаетесь? – раздался сзади их голос Павла Петровича.

Отец и сын одинаково обрадовались появлению его в эту минуту; бывают положения трогательные, из которых все-таки хочется поскорее выйти.

– Чему ж ты удивляешься? – весело заговорил Николай Петрович. – В кои-то веки дождался я Аркаши... Я со вчерашнего дня и насмотреться на него не успел.

– Я вовсе не удивляюсь, – заметил Павел Петрович, – я даже сам не прочь с ним обняться.

Аркадий подошел к дяде и снова почувствовал на щеках своих прикосновение его душистых усов. Павел Петрович присел к столу. На нем был изящный утренний, в английском вкусе, костюм; на голове красовалась маленькая феска. Эта феска и небрежно повязанный галстучек намекали на свободу деревенской жизни; но тугие воротнички рубашки, правда, не белой, а пестренькой, как оно и следует для

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
утреннего туалета, с обычною неумолимостью упирались в выбритый подбородок.

- Где же новый твой приятель? – спросил он Аркадия.
- Его дома нет; он обыкновенно встает рано и отправляется куда-нибудь. Главное, не надо обращать на него внимания: он церемоний не любит.
- Да, это заметно. – Павел Петрович начал, не торопясь, намазывать масло на хлеб. – Долго он у нас прогостит?
- Как придется. Он заехал сюда по дороге к отцу.
- А отец его где живет?
- В нашей же губернии, верст восемьдесят отсюда. У него там небольшое именье. Он был прежде полковым доктором.
- Тэ-тэ-тэ-тэ... То-то я все себя спрашивал: где слышал я эту фамилию: Базаров?.. Николай, помнится, в батюшкиной дивизии был лекарь Базаров?
- Кажется, был.
- Точно, точно. Так этот лекарь его отец. Гм! – Павел Петрович повел усами. – Ну, а сам господин Базаров, собственно, что такое? – спросил он с расстановкой.
- Что такое Базаров? – Аркадий усмехнулся. – Хотите, дядюшка, я вам скажу, что он, собственно, такое?
- Сделай одолжение, племянничек.
- Он нигилист.
- Как? – спросил Николай Петрович, а Павел Петрович поднял на воздух нож с куском масла на конце лезвия и остался неподвижен.
- Он нигилист, – повторил Аркадий.
- Нигилист, – проговорил Николай Петрович. – Это от латинского nihil, ничего, сколько я могу судить; стало быть, это слово означает человека, который... который ничего не признает?
- Скажи: который ничего не уважает, – подхватил Павел Петрович и снова принялся за масло.
- Который ко всему относится с критической точки зрения, – заметил Аркадий.
- А это не все равно? – спросил Павел Петрович.
- Нет, не все равно. Нигилист – это человек, который не склоняется ни перед какими авторитетами, который не принимает ни одного принципа на веру, каким бы уважением ни был окружен этот принцип.
- И что ж, это хорошо? – перебил Павел Петрович.
- Смотря как кому, дядюшка. Иному от этого хорошо, а иному очень дурно.
- Вот как. Ну, это, я вижу, не по нашей части. Мы, люди старого века, мы полагаем, что без принципов (Павел Петрович выговаривал это слово мягко, на французский манер, Аркадий, напротив, произносил «принцип», налегая на первый слог), без принципов, принятых, как ты говоришь, на веру, шагу ступить, дохнуть нельзя. Vous avez change tout cela[126], дай вам бог здоровья и генеральский чин, а мы только любоваться вами будем, господа... как бишь?
- Нигилисты, – отчетливо проговорил Аркадий.

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)

– Да. Прежде были гегелисты, а теперь нигилисты. Посмотрим, как вы будете существовать в пустоте, в безвоздушном пространстве; а теперь позвони-ка, пожалуйста, брат, Николай Петрович, мне пора пить мой какао.

Николай Петрович позвонил и закричал: «Дуняша!» Но вместо Дуняши на террасу вышла сама Фенечка. Это была молодая женщина лет двадцати трех, вся беленькая и мягкая, с темными волосами и глазами, с красными, детски-пухлявыми губками и нежными ручками. На ней было опрятное ситцевое платье; голубая новая косынка легко лежала на ее круглых плечах. Она несла большую чашку какао и, поставив ее перед Павлом Петровичем, вся застыдилась: горячая кровь разлилась алою волной под тонкую кожицу ее миловидного лица. Она опустила глаза и остановилась у стола, слегка опираясь на самые кончики пальцев. Казалось, ей и совестно было, что она пришла, и в то же время она как будто чувствовала, что имела право прийти.

Павел Петрович строго нахмурил брови, а Николай Петрович смутился.

– Здравствуй, Фенечка, – проговорил он сквозь зубы.

– Здравствуйте-с, – ответила она не громким, но звучным голосом и, глянув искоса на Аркадия, который дружелюбно ей улыбался, тихонько вышла. Она ходила немножко вразвалку, но и это к ней пристало.

На террасе в течение нескольких мгновений господствовало молчание. Павел Петрович похлебывал свой какао и вдруг поднял голову.

– Вот и господин нигилист к нам жалуется, – промолвил он вполголоса.

Действительно, по саду, шагая через клумбы, шел Базаров. Его полотняное пальто и панталоны были запачканы в грязи; цепкое болотное растение обвивало тулью его старой круглой шляпы; в правой руке он держал небольшой мешок; в мешке шевелилось что-то живое. Он быстро приблизился к террасе и, качнув голову, промолвил:

– Здравствуйте, господа; извините, что опоздал к чаю, сейчас вернусь: надо вот этих пленниц к месту пристроить.

– Что это у вас, пиявки? – спросил Павел Петрович.

– Нет, лягушки.

– Вы их едите или разводите?

– Для опытов, – равнодушно проговорил Базаров и ушел в дом.

– Это он их резать станет, – заметил Павел Петрович. – В принципы не верит, а в лягушек верит.

Аркадий с сожалением посмотрел на дядю, и Николай Петрович украдкой пожал плечом. Сам Павел Петрович почувствовал, что сострил неудачно, и заговорил о хозяйстве и о новом управляющем, который накануне приходил к нему жаловаться, что работник Фома «либоширничает» и от рук отбил. «Такой уж он Езоп, – сказал он между прочим, – всюду протестовал себя дурным человеком; поживет и с глупостью отойдет».

VI

Базаров вернулся, сел за стол и начал поспешно пить чай. Оба брата молча глядели на него, а Аркадий украдкой посматривал то на отца, то на дядю.

– Вы далеко отсюда ходили? – спросил наконец Николай Петрович.

– Тут у вас болотце есть, возле осинового рощи. Я взогнал штук пять бекасов; ты можешь убить их, Аркадий.

– А вы не охотник?

– Нет.

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)

– Вы собственно физикой занимаетесь? – спросил, в свою очередь, Павел Петрович.

– Физикой, да; вообще естественными науками.

– Говорят, германцы в последнее время сильно успели по этой части.

– Да, немцы в этом наши учителя, – небрежно отвечал Базаров.

Слово «германцы» вместо «немцы» Павел Петрович употребил ради иронии, которой, однако, никто не заметил.

– Вы столь высокого мнения о немцах? – проговорил с изысканною учтивостью Павел Петрович. Он начинал чувствовать тайное раздражение. Его аристократическую натуру возмущала совершенная развязность Базарова. Этот лекарский сын не только не робел, он даже отвечал отрывисто и неохотно, и в звуке его голоса было что-то грубое, почти дерзкое.

– Тамошние ученые дельный народ.

– Так, так. Ну, а об русских ученых вы, вероятно, не имеете столь лестного понятия?

– Пожалуй, что так.

– Это очень похвальное самоотвержение, – произнес Павел Петрович, выпрямляя стан и закидывая голову назад. – Но как же нам Аркадий Николаич сейчас сказывал, что вы не признаете никаких авторитетов? Не верите им?

– Да зачем же я стану их признавать? И чему я буду верить? Мне скажут дело, я соглашаюсь, вот и все.

– А немцы все дело говорят? – промолвил Павел Петрович, и лицо его приняло такое безучастное, отдаленное выражение, словно он весь ушел в какую-то заоблачную высь.

– Не все, – ответил с коротким зевком Базаров, которому явно не хотелось продолжать словопрение.

Павел Петрович взглянул на Аркадия, как бы желая сказать ему: «Учтив твой друг, признаться».

– Что касается до меня, – заговорил он опять, не без некоторого усилия, – я немцев, грешный человек, не жалею. О русских немцах я уже не упоминаю: известно, что это за птицы. Но и немецкие немцы мне не по нутру. Еще прежние туда-сюда; тогда у них были – ну, там Шиллер, что ли, Гетте... Брат вот им особенно благоприятствует... А теперь пошли все какие-то химики да материалисты...

– Порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта, – перебил Базаров.

– Вот как, – промолвил Павел Петрович и, словно засыпая, чуть-чуть приподнял брови. – Вы, стало быть, искусства не признаете?

– Искусство наживать деньги, или нет более геморроя! – воскликнул Базаров с презрительной усмешкой.

– Так-с, так-с. Вот как вы изволите шутить. Это вы все, стало быть, отвергаете? Положим. Значит, вы верите в одну науку?

– Я уже доложил вам, что ни во что не верю; и что такое наука – наука вообще? Есть науки, как есть ремесла, звания; а наука вообще не существует вовсе.

– Очень хорошо-с. Ну, а насчет других, в людском быту принятых, постановлений вы придерживаетесь такого же отрицательного направления?

– Что это, допрос? – спросил Базаров.

Павел Петрович слегка побледнел... Николай Петрович почел должным вмешаться в разговор:

– Мы когда-нибудь поподробнее побеседуем об этом предмете с вами, любезный Евгений Васильич; и ваше мнение узнаем и свое выскажем. С своей стороны, я очень рад, что вы занимаетесь естественными науками. Я слышал, что Либих сделал удивительные открытия насчет удобрений полей. Вы можете мне помочь в моих агрономических работах: вы можете дать мне какой-нибудь полезный совет.

– Я к вашим услугам, Николай Петрович; но куда нам до Либиха! Сперва надо азбуке выучиться и потом уже взяться за книгу, а мы еще аза в глаза не видали.

«Ну, ты, я вижу, точно нигилист», – подумал Николай Петрович.

– Все-таки позвольте прибегнуть к вам при случае, – прибавил он вслух. – А теперь нам, я полагаю, брат, пора пойти потолковать с приказчиком.

Павел Петрович поднялся со стула.

– Да, – проговорил он, ни на кого не глядя, – беда пожить этак годков пять в деревне, в отдалении от великих умов! Как раз дурак дураком станешь. Ты стараешься не забыть того, чему тебя учили, а там – хватать! – оказывается, что все это вздор, и тебе говорят, что путные люди этакими пустяками больше не занимаются и что ты, мол, отсталый колпак. Что делать! Видно, молодежь, точно, умнее нас.

Павел Петрович медленно повернулся на каблуках и медленно вышел; Николай Петрович отправился вслед за ним.

– Что, он всегда у вас такой? – хладнокровно спросил Базаров у Аркадия, как только дверь затворилась за обоими братьями.

– Послушай, Евгений, ты уже слишком резко с ним обошелся, – заметил Аркадий. – Ты его оскорбил.

– Да, стану я их баловать, этих уездных аристократов! Ведь это все самолюбие, львиные привычки, фатство! Ну, продолжал бы свое поприще в Петербурге, коли уж такой у него склад... А впрочем, бог с ним совсем! Я нашел довольно редкий экземпляр водяного жука, *Dytiscus marginatus*, знаешь? Я тебе его покажу.

– Я тебе обещался рассказать его историю, – начал Аркадий.

– Историю жука?

– Ну, полно, Евгений. Историю моего дяди. Ты увидишь, что он не такой человек, каким ты его воображаешь. Он скорее сожаления достоин, чем насмешки.

– Я не спорю; да что он тебе так дался?

– Надо быть справедливым, Евгений.

– Это из чего следует?

– Нет, слушай...

И Аркадий рассказал ему историю своего дяди. Читатель найдет ее в следующей главе.

## VII

Павел Петрович Кирсанов воспитывался сперва дома, так же как и младший брат его Николай, потом в пажеском корпусе. Он с детства отличался замечательною красотой; к тому же он был самоуверен, немного насмешлив и как-то забавно желчен – он не мог не нравиться. Он начал появляться всюду, как только вышел в офицеры. Его носили на руках, и он сам себя баловал, даже дурачился, даже ломался; но и это к нему шло. Женщины от него с ума сходили, мужчины называли его фатом и втайне завидовали ему. Он жил, как уже сказано, на одной квартире с братом, которого любил искренно, хотя нисколько на него не походил. Николай Петрович прихрамывал, черты имел маленькие, приятные, но несколько грустные, небольшие черные глаза и мягкие жидкие волосы: он охотно ленился, но и читал охотно, и боялся общества. Павел Петрович ни одного вечера не проводил дома, славился



Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
смелостию и ловкостию (он ввел было гимнастику в моду между светскою молодежью) и прочел всего пять-шесть французских книг. На двадцать восьмом году от роду он уже был капитаном; блестящая карьера ожидала его. Вдруг все изменилось.

В то время в петербургском свете изредка появлялась женщина, которую не забыли до сих пор, княгиня Р. У ней был благовоспитанный и приличный, но глуповатый муж и не было детей. Она внезапно уезжала за границу, внезапно возвращалась в Россию, вообще вела странную жизнь. Она слыла за легкомысленную кокетку, с увлечением предавалась всякого рода удовольствиям, танцевала до упаду, хохотала и шутила с молодыми людьми, которых принимала перед обедом в полумраке гостиной, а по ночам плакала и молилась, не находила нигде покою и часто до самого утра металась по комнате, тоскливо ломая руки, или сидела, вся бледная и холодная, над псалтырем. День настаивал, и она снова превращалась в светскую даму, снова выезжала, смеялась, болтала и точно бросалась навстречу всему, что могло доставить ей малейшее развлечение. Она была удивительно сложена: ее коса золотого цвета и тяжелая, как золото, падала ниже колен, но красавицей ее никто бы не назвал; во всем ее лице только и было хорошего, что глаза, и даже не самые глаза – они были невелики и серы, – но взгляд их, быстрый и глубокий, беспечный до удалости и задумчивый до уныния, – загадочный взгляд. Что-то необычайное светилось в нем, даже тогда, когда язык ее лепетал самые пустые речи. Одевалась она изысканно. Павел Петрович встретил ее на одном бале, протанцевал с ней мазурку, в течение которой она не сказала ни одного путного слова, и влюбился в нее страстно. Привыкший к победам, он и тут скоро достиг своей цели; но легкость торжества не охладила его. Напротив: он еще мучительнее, еще крепче привязался к этой женщине, в которой, даже тогда, когда она отдавалась безвозвратно, все еще как будто оставалось что-то заветное и недоступное, куда никто не мог проникнуть. Что гнездилось в этой душе, – бог весть! Казалось, она находилась во власти каких-то тайных, для нее самой неведомых сил; они играли ею, как хотели; ее небольшой ум не мог сладить с их прихотью. Все ее поведение представляло ряд несообразностей; единственные письма, которые могли бы возбудить справедливые подозрения ее мужа, она написала к человеку почти ей чужому, а любовь ее отзывалась печалью: она уже не смеялась и не шутила с тем, кого избирала, и слушала его и глядела на него с недоумением. Иногда, большею частью внезапно, это недоумение переходило в холодный ужас; лицо ее принимало выражение мертвенное и дикое; она запиралась у себя в спальне, и горничная ее могла слышать, припав ухом к замку, ее глухие рыдания. Не раз, возвращаясь к себе домой после нежного свидания, Кирсанов чувствовал на сердце ту разрывающую и горькую досаду, которая поднимается в сердце после окончательной неудачи. «Чего же хочу я еще?» – спрашивал он себя, а сердце все ныло. Он однажды подарил ей кольцо с вырезанным на камне сфинксом.

– Что это? – спросила она, – сфинкс?

– Да, – ответил он, – и этот сфинкс – вы.

– Я? – спросила она и медленно подняла на него свой загадочный взгляд. – Знаете ли, что это очень лестно? – прибавила она с незначительною усмешкой, а глаза глядела все так же странно.

Тяжело было Павлу Петровичу даже тогда, когда княгиня Р. его любила; но когда она охладела к нему, а это случилось довольно скоро, он чуть с ума не сошел. Он терзался и ревновал, не давал ей покою, таскался за ней повсюду; ей надоело его неотвязное преследование, и она уехала за границу. Он вышел в отставку, несмотря на просьбы приятелей, на увещания начальников, и отправился вслед за княгиней, года четыре провел он в чужих краях, то гоняясь за нею, то с намерением терять ее из виду, он стыдился самого себя, он негодовал на свое малодушие... но ничто не помогало. Ее образ, этот непонятный, почти бессмысленный, но обаятельный образ слишком глубоко внедрился в его душу. В Бадене он как-то опять сошелся с нею по-прежнему; казалось, никогда еще она так страстно его не любила... но через месяц все уже было кончено: огонь вспыхнул в последний раз и угас навсегда. Предчувствуя неизбежную разлуку, он хотел, по крайней мере, остаться ее другом, как будто дружба с такою женщиной была возможна... Она тихонько выехала из Бадена и с тех пор постоянно избегала Кирсанова. Он вернулся в Россию, попытался зажечь старую жизнь, но уже не мог попасть в прежнюю колею. Как отравленный, бродил он с места на место; он еще выезжал, он сохранил все привычки светского человека, он мог похвастаться двумя-тремя новыми победами; но он уже не ждал ничего особенного ни от себя, ни от других и ничего не предпринимал. Он состарился, поседел; сидеть по вечерам в клубе, желчно скучать, равнодушно поспорить в

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
холостом обществе стало для него потребностью – знак, как известно, плохой. О женитьбе он, разумеется, и не думал. Десять лет прошло таким образом, бесцветно, бесплодно и быстро, страшно быстро. Нигде время так не бежит, как в России; в тюрьме, говорят, оно бежит еще скорей. Однажды за обедом, а клубе, Павел Петрович узнал о смерти княгини Р. Она скончалась в Париже, в состоянии, близком к помешательству. Он встал из-за стола и долго ходил по комнатам клуба, останавливаясь, как вкопанный, близ карточных игроков, но не вернулся домой раньше обыкновенного. Через несколько времени он получил пакет, адресованный на его имя: в нем находилось данное им княгине кольцо.

Она провела по сфинксу крестообразную черту и велела ему сказать, что крест – вот разгадка.

Это случилось в начале 48-го года, в то самое время, когда Николай Петрович, лишившись жены, приезжал в Петербург. Павел Петрович почти не видался с братом с тех пор, как тот поселился в деревне: свадьба Николая Петровича совпала с самыми первыми днями знакомства Павла Петровича с княгиней. Вернувшись из-за границы, он отправился к нему с намерением погостить у него месяца два, полюбоваться его счастьем, но выжил у него одну только неделю. Различие в положении обоих братьев было слишком велико. В 48-м году это различие уменьшилось: Николай Петрович потерял жену, Павел Петрович потерял свои воспоминания, после смерти княгини он старался не думать о ней. Но у Николая оставалось чувство правильно проведенной жизни, сын вырос на его глазах; Павел, напротив, одинокий холостяк, вступал в то смутное, сумеречное время, время сожалений, похожих на надежды, надежд, похожих на сожаления, когда молодость прошла, а старость еще не настала.

Это время было труднее для Павла Петровича, чем для всякого другого: потеряв свое прошедшее, он все потерял.

– Я не зову теперь тебя в Марьино, – сказал ему однажды Николай Петрович (он назвал свою деревню этим именем в честь жены), – ты и при покойнице там соскучился, а теперь ты, я думаю, там с тоски пропадешь.

– Я был еще глуп и суетлив тогда, – отвечал Павел Петрович, – с тех пор я угомонился, если не поумнел. Теперь, напротив, если ты позволишь, я готов навсегда у тебя поселиться.

Вместо ответа Николай Петрович обнял его; но полтора года прошло после этого разговора, прежде чем Павел Петрович решился осуществить свое намерение. Зато, поселившись однажды в деревне, он уже не покидал ее, даже и в те три зимы, которые Николай Петрович провел в Петербурге с сыном. Он стал читать, все больше по-английски; он вообще всю жизнь свою устроил на английский вкус, редко видался с соседями и выезжал только на выборы, где он большею частью помалчивал, лишь изредка дразня и пугая помещиков старого покроя либеральными выходками и не сближаясь с представителями нового поколения. И те и другие считали его гордецом; и те и другие его уважали за его отличные, аристократические манеры, за слухи о его победах; за то, что он прекрасно одевался и всегда останавливался в лучшем номере лучшей гостиницы; за то, что он вообще хорошо обедал, а однажды даже пообедал с Веллингтоном у Людовика-Филиппа; за то, что он всюду возил с собою настоящий серебряный несессер и походную ванну; за то, что от него пахло какими-то необыкновенными, удивительно «благородными» духами; за то, что он мастерски играл в вист и всегда проигрывал; наконец, его уважали также за его безукоризненную честность. Дамы находили его очаровательным меланхоликом, но он не знался с дамами...

– Вот видишь ли, Евгений, – промолвил Аркадий, оканчивая свой рассказ, – как несправедливо ты судишь о дяде! Я уже не говорю о том, что он не раз выручал отца из беды, отдавал ему все свои деньги, – имение, ты, может быть, не знаешь, у них не разделено, – но он всякому рад помочь и, между прочим, всегда вступает за крестьян; правда, говоря с ними, он морщится и нюхает одеколон...

– Известное дело: нервы, – перебил Базаров.

– Может быть, только у него сердце предоброе. И он далеко не глуп. Какие он мне давал полезные советы... особенно... особенно насчет отношений к женщинам.

– Ага! На своем молоке обжегся, на чужую воду дует. Знаем мы это!

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)

– Ну, словом, – продолжал Аркадий, – он глубоко несчастлив, поверь мне; презирать его – грешно.

– Да кто его презирает? – возразил Базаров. – А я все-таки скажу, что человек, который всю свою жизнь поставил на карту женской любви и, когда ему эту карту убили, раскис и опустился до того, что ни на что не стал способен, этакой человек – не мужчина, не самец. Ты говоришь, что он несчастлив: тебе лучше знать; но дурь из него не вся вышла. Я уверен, что он не шутя воображает себя дельным человеком, потому что читает Галиньяшку и раз в месяц избавит мужика от экзекуции.

– Да вспомни его воспитание, время, в которое он жил, – заметил Аркадий.

– Воспитание? – подхватил Базаров. – Всякий человек сам себя воспитать должен, – ну хоть как я, например... А что касается до времени – отчего я от него зависеть буду? Пускай же лучше оно зависит от меня. Нет, брат, это все распущенность, пустота! И что за таинственные отношения между мужчиной и женщиной? Мы, физиологи, знаем, какие это отношения. Ты проштудируй-ка анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду? Это все романтизм, чепуха, гниль, художество. Пойдем лучше смотреть жука.

И оба приятеля отправились в комнату Базарова, в которой уже успел установиться какой-то медицинско-хирургический запах, смешанный с запахом дешевого табаку.

### VIII

Павел Петрович недолго присутствовал при беседе брата с управляющим, высоким и худым человеком с сладким чахоточным голосом и плутовскими глазами, который на все замечания Николая Петровича отвечал: «Помилуйте-с, известное дело-с» – и старался представить мужиков пьяницами и ворами. Недавно заведенное на новый лад хозяйство скрипело, как немазаное колесо, трещало, как доделанная мебель из сырого дерева. Николай Петрович не унывал, но частенько вздыхал и задумывался: он чувствовал, что без денег дело не пойдет, а деньги у него почти все перевелись. Аркадий сказал правду: Павел Петрович не раз помогал своему брату; не раз, видя, как он бился и ломал себе голову, придумывая, как бы извернуться, Павел Петрович медленно подходил к окну и, засунув руки в карманы, бормотал сквозь зубы:

«Mais je puis vous donner de l'argent[127], – и давал ему денег; но в этот день у него самого ничего не было, и он предпочел удалиться. Хозяйственные дразги наводили на него тоску; притом ему постоянно казалось, что Николай Петрович, несмотря на все свое рвение и трудолюбие, не так принимается за дело, как бы следовало; хотя указать, в чем собственно ошибается Николай Петрович, он не сумел бы. «Брат не довольно практичен, – рассуждал он сам с собою, – его обманывают». Николай Петрович, напротив, был высокого мнения о практичности Павла Петровича и всегда спрашивал его совета. «Я человек мягкий, слабый, век свой провел в глуши, – говаривал он, – а ты недаром так много жил с людьми, ты их хорошо знаешь: у тебя орлиный взгляд». Павел Петрович в ответ на эти слова только отворачивался, но не разуверял брата.

Оставив Николая Петровича в кабинете, он отправился по коридору; отделявшему переднюю часть дома от задней, и, поравнявшись с низенькою дверью, остановился в раздумье, подергал себе усы и постучался в нее.

– Кто там? Войдите, – раздался голос Фенечки.

– Это я, – проговорил Павел Петрович и отворил дверь.

Фенечка вскочила со стула, на котором она уселась со своим ребенком, и, передав его на руки девушки, которая тотчас же вынесла его вон из комнаты, торопливо поправила свою косынку.

– Извините, если я помешал, – начал Павел Петрович, не глядя на нее, – мне хотелось только попросить вас... сегодня, кажется, в город посылают... велите купить для меня зеленого чаю.

– Слушаю-с, – отвечала Фенечка, – сколько прикажете купить?

– Да полфунта довольно будет, я полагаю. А у вас здесь, я вижу, перемена, –

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
прибавил он, бросив вокруг быстрый взгляд, который скользнул и по лицу Фенечки.  
– Занавески вот, – промолвил он, видя, что она его не понимает.

– Да-с, занавески; Николай Петрович нам их пожаловал; да уж они давно повешены.

– Да и я у вас давно не был. Теперь у вас здесь очень хорошо.

– По милости Николая Петровича, – шепнула Фенечка.

– Вам здесь лучше, чем в прежнем флигельке? – спросил Павел Петрович вежливо, но без малейшей улыбки.

– Конечно, лучше-с.

– Кого теперь на ваше место поместили?

– Теперь там прачки.

– А!

Павел Петрович умолк. «Теперь уйдет», – думала Фенечка, но он не уходил, и она стояла перед ним, как вкопанная, слабо перебирая пальцами.

– Отчего вы велели вашего маленького вынести? – заговорил наконец Павел Петрович. – Я люблю детей: покажите-ка мне его.

Фенечка вся покраснела от смущения и от радости. Она боялась Павла Петровича: он почти никогда не говорил с ней.

– Дуняша, – кликнула, она, – принесите Митю. (Фенечка всем в доме говорила вы.) А не то погодите; надо ему платьице надеть.

Фенечка направилась к двери.

– Да все равно, – заметил Павел Петрович.

– Я сейчас, – ответила Фенечка и проворно вышла.

Павел Петрович остался один и на этот раз с особенным вниманием оглянулся кругом. Небольшая, низенькая комнатка, в которой он находился, была очень чиста и уютна. В ней пахло недавно выкрашенным полом, ромашкой и мелиссой. Вдоль стен стояли стулья с задками и в виде лир; они были куплены еще покойником генералом в Польше, во время похода, в одном углу возвышалась кровать под кисейным пологом, рядом с кованым сундуком с круглою крышкой. В противоположном углу горела лампадка перед большим темным образом Николая чудотворца; крошечное фарфоровое яичко на красной ленте висело на груди святого, прицепленное к сиянию; на окнах банки с прошлогодним вареньем, тщательно завязанные, сквозили зеленым светом, на бумажных их крышках сама Фенечка написала крупными буквами, «кружовник»; Николай Петрович любил особенно это варенье. Под потолком, на длинном шнурке, висела клетка с короткохвостым чижом; он беспрестанно чирикал и прыгал, и клетка беспрестанно качалась и дрожала, конопляные зерна с легким стуком падали на пол. В простенке, над небольшим комодом, висели довольно плохие фотографические портреты Николая Петровича в разных положениях, сделанные заезжим художником, тут же висела фотография самой Фенечки, совершенно не удавшаяся: какое-то безглазое лицо напряженно улыбалось в темной рамочке, – больше ничего нельзя было разобрать; а над Фенечкой – Ермолов, в бурке, грозно хмурился на отдаленные Кавказские горы из-под шелкового башмачка для булавок, падавшего ему на самый лоб.

Прошло минут пять; в соседней комнате слышался шелест и шепот. Павел Петрович взял с комода замасленную книгу, разрозненный том Стрельцов Масальского, перевернул несколько страниц. Дверь отворилась, и вошла Фенечка с Митей на руках. Она надела на него красную рубашечку с галуном на вороте, причесала его волосики и утерла лицо: он дышал тяжело, порывался всем телом и подергивал ручонками, как это делают все здоровые дети; но щегольская рубашечка, видимо, на него действовала: выражение удовольствия отражалось на всей его пухлой фигурке. Фенечка и свои волосы привела в порядок, и косынку надела получше, но она могла бы остаться, как была. И в самом деле, есть ли на свете что-нибудь

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
пленительнее молодой красивой матери с здоровым ребенком на руках?

– Экой бутуз, – снисходительно проговорил Павел Петрович и пощекотал двойной подбородок Мити концом длинного ногтя на указательном пальце; ребенок уставился на чиха и засмеялся.

– Это дядя, – промолвила Фенечка, склоняя к нему свое лицо и слегка его встряхивая, между тем как Дуняша тихонько ставила на окно зажженную курительную свечку, подложивши под нее грош.

– Сколько, бишь, ему месяцев? – спросил Павел Петрович.

– Шесть месяцев; скоро вот седьмой пойдет, одиннадцатого числа.

– Не восьмой ли, Федосья Николаевна? – не без робости вмешалась Дуняша.

– Нет, седьмой; как можно! – Ребенок опять засмеялся, уставился на сундук и вдруг схватил свою мать всю пятерней за нос и за губы. – Баловник, – проговорила Фенечка, не отодвигая лица от его пальцев.

– Он похож на брата, – заметил Павел Петрович.

«На кого ж ему и походить?» – подумала Фенечка.

– Да, – продолжал, как бы говоря с самим собой, Павел Петрович, – несомненное сходство.

Он внимательно, почти печально посмотрел на Фенечку.

– Это дядя, – повторила она, но уже шепотом.

– А! Павел! вот где ты! – раздался вдруг голос Николая Петровича.

Павел Петрович торопливо обернулся и нахмурился; но брат его так радостно, с такою благодарностью глядел на него, что он не мог не ответить ему улыбкой.

– Славный у тебя мальчуган, – промолвил он и посмотрел на часы, – а я завернул сюда насчет чаю.

И, приняв равнодушное выражение, Павел Петрович тотчас же вышел вон из комнаты.

– Сам собой зашел? – спросил Фенечку Николай Петрович.

– Сами-с; постучались и вошли.

– Ну, а Аркаша больше у тебя не был?

– Не был. Не перейти ли мне во флигель, Николай Петрович?

– Это зачем?

– Я думаю, не лучше ли будет на первое время.

– Н... нет, – произнес с запинкой Николай Петрович и потер себе лоб. – Надо было прежде... Здравствуй, пузырь, – проговорил он с внезапным оживлением и, приблизившись к ребенку, поцеловал его в щеку; потом он нагнулся немного и приложил губы к Фенечкиной руке, белевшей, как молоко, на красной рубашечке Мити.

– Николай Петрович! что вы это? – пролепетала она и опустила глаза, потом тихонько подняла их... Прелестно было выражение ее глаз, когда она глядела как бы исподлобья да посмеивалась ласково и немножко глупо.

Николай Петрович познакомился с Фенечкой следующим образом. Однажды, года три тому назад, ему пришлось ночевать на постоялом дворе в отдаленном уездном городе. Его приятно поразила чистота отведенной ему комнаты, свежесть постельного белья. «Уж не немка ли здесь хозяйка?» – пришло ему на мысль; но хозяйкой оказалась русская, женщина лет пятидесяти, опрятно одетая, с

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
благообразным умным лицом и степенною речью. Он разговорился с ней за чаем; очень она ему понравилась. Николай Петрович в то время только что переселился в новую свою усадьбу и, не желая держать при себе крепостных людей, искал наемных; хозяйка, с своей стороны, жаловалась на малое число проезжающих в городе, на тяжелые времена; он предложил ей поступить к нему в дом в качестве экономки; она согласилась. Муж у ней давно умер, оставив ей одну только дочь, Фенечку. Недели через две Арина Савишна (так звали новую экономку) прибыла вместе с дочерью в Марьино и поселилась во флигельке. Выбор Николая Петровича оказался удачным. Арина завела порядок в доме. О Фенечке, которой тогда минул уже семнадцатый год, никто не говорил, и редкий ее видел: она жила тихонько, скромненько, и только по воскресеньям Николай Петрович замечал в приходской церкви, где-нибудь в сторонке, тонкий профиль ее беленького лица. Так прошло более года.

В одно утро Арина явилась к нему в кабинет и, по обыкновению низко поклонившись, спросила его, не может ли он помочь ее дочке, которой искра из печки попала в глаз. Николай Петрович, как все домоседы, занимался лечением и даже выписал гомеопатическую аптечку. Он тотчас велел Арине привести больную. Узнав, что барин ее зовет, Фенечка очень перетрусилась, однако пошла за матерью. Николай Петрович подвел ее к окну и взял ее обеими руками за голову. Рассмотрев хорошенько ее покрасневший и воспаленный глаз, он прописал ей примочку, которую тут же сам составил, и, разорвав на части свой платок, показал ей, как надо примачивать. Фенечка выслушала его и хотела выйти. «Поцелуй же ручку у барина, глупенькая», – сказала ей Арина. Николай Петрович не дал ей своей руки и, сконфузившись, сам поцеловал ее в наклоненную голову, в пробор. Фенечкин глаз скоро выздоровел, но впечатление, произведенное ею на Николая Петровича, прошло не скоро. Ему все мерещилось это чистое, нежное, боязливо приподнятое лицо, он чувствовал под ладонями рук своих эти мягкие волосы, видел эти невинные, слегка раскрытые губы, из-за которых влажно блистали на солнце жемчужные зубки.

Он начал с большим вниманием глядеть на нее в церкви, старался заговаривать с нею. Сначала она его дичилась и однажды, перед вечером, встретив его на узкой тропинке, проложенной пешеходами через ржаное поле, зашла в высокую, густую рожь, поросшую полынью и васильками, чтобы только не попасться ему на глаза. Он увидел ее головку сквозь золотую сетку колосьев, откуда она высматривала, как зверек, и ласково крикнул ей:

– Здравствуй, Фенечка! Я не кусаюсь.

– Здравствуйте, – прошептала она, не выходя из своей засады.

Понемногу она стала привыкать к нему, но все еще робела в его присутствии, как вдруг ее мать, Арина, умерла от холеры. Куда было деваться Фенечке? Она наследовала от своей матери любовь к порядку, рассудительность и степенность, но она была так молода, так одинока, Николай Петрович был сам такой добрый и скромный... Остальное досказывать нечего...

– Так-таки брат к тебе и вошел? – спрашивал ее Николай Петрович. – Постучался и вошел?

– Да-с.

– Ну, это хорошо. Дай-ка мне покачать Митю.

И Николай Петрович начал его подбрасывать почти под самый потолок, к великому удовольствию малютки и к немалому беспокойству матери, которая, при всяком его взлете, протягивала руки к обнажавшимся его ножкам.

А Павел Петрович вернулся в свой изящный кабинет, оклеенный по стенам красивыми обоями дикого цвета, с развешанным оружием на пестром персидском ковре, с ореховою мебелью, обитой темно-зеленым трипом, с библиотекой *renaissance* [128] из старого черного дуба, с бронзовыми статуэтками на великолепном письменном столе, с камином. Он бросился на диван, заложил руки за голову и остался неподвижен, почти с отчаянием глядя в потолок. Захотел ли он скрыть от самых стен, что у него происходило на лице, по другой ли какой причине, только он встал, отстегнул тяжелые занавески окон и опять бросился на диван.

IX

В тот же день и Базаров познакомился с Фенечкой. Он вместе с Аркадием ходил по

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
саду и толковал ему, почему иные деревца, особенно дубки, не принялись.

– Надо серебристых тополей побольше здесь сажать да елок, да, пожалуй, липок, подбавивши чернозему. Вон беседка принялась хорошо, – прибавил он, – потому что акация да сирень – ребята добрые, ухода не требуют. Ба! да тут кто-то есть.

В беседке сидела Фенечка с Дуняшей и Митей. Базаров остановился, а Аркадий кивнул головою Фенечке, как старый знакомый.

– Кто это? – спросил его Базаров, как только они прошли мимо. – Какая хорошенькая!

– Да ты о ком говоришь?

– Известно о ком: одна только хорошенькая.

Аркадий, не без замешательства, объяснил ему в коротких словах, кто была Фенечка.

– Ага! – промолвил Базаров. – У твоего отца, видно, губа не дура. А он мне нравится, твой отец, ей-ей! Он молодец. Однако надо познакомиться, – прибавил он и отправился назад к беседке.

– Евгений! – с испугом крикнул ему вслед Аркадий. – Осторожней, ради Бога.

– Не волнуйся, – проговорил Базаров, – народ мы тертый, в городах живали.

Приблизясь к Фенечке, он скинул картуз.

– Позвольте представиться, – начал он с вежливым поклоном, – Аркадию Николаевичу приятель и человек смирный.

Фенечка приподнялась со скамейки и глядела на него молча.

– Какой ребенок чудесный! – продолжал Базаров. – Не беспокойтесь, я еще никого не сглазил. Что это у него щеки такие красные? Зубки, что ли, прорезаются?

– Да-с, – промолвила Фенечка. – Четверо зубков у него уже прорезались, а теперь вот десны опять припухли.

– Покажите-ка... Да вы не бойтесь, я доктор.

Базаров взял на руки ребенка, который, к удивлению и Фенечки и Дуняши, не оказал никакого сопротивления и не испугался.

– Вижу, вижу... Ничего, все в порядке: зубастый будет. Если что случится, скажите мне. А сами вы здоровы?

– Здорова, слава Богу.

– Слава Богу – лучше всего. А вы? – прибавил Базаров, обращаясь к Дуняше.

Дуняша, девушка очень строгая в хоромах и хохотунья за воротами, только фыркнула ему в ответ.

– Ну и прекрасно. Вот вам ваш богатырь.

Фенечка приняла ребенка к себе на руки.

– Как он у вас тихо сидел, – промолвила она вполголоса.

– У меня все дети тихо сидят, – отвечал Базаров, – я такую штуку знаю.

– Дети чувствуют, кто их любит, – заметила Дуняша.

– Это точно, – подтвердила Фенечка. – Вот и Митя, к иному ни за что на руки не пойдет.

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)

– А ко мне пойдет? – спросил Аркадий, который, постояв некоторое время в отдалении, приблизился к беседке.

Он поманил к себе Митю, но Митя откинул голову назад и запищал, что очень смутило Фенечку.

– В другой раз, когда привыкнуть успеет, – снисходительно промолвил Аркадий, и оба приятеля удалились.

– Как, бишь, ее зовут? – спросил Базаров.

– Фенечкой... Федосьей, – ответил Аркадий.

– А по батюшке?.. Это тоже нужно знать.

– Николаевной.

– Вене[129]. Мне нравится в ней то, что она не слишком конфузится. Иной, пожалуй, это-то и осудил бы в ней. Что за вздор? чего конфузиться? Она мать – ну и права.

– Она-то права, – заметил Аркадий, – но вот отец мой...

– И он прав, – перебил Базаров.

– Ну, нет, я не нахожу.

– Видно, лишний наследничек нам не по нутру?

– Как тебе не стыдно предполагать во мне такие мысли! – с жаром подхватил Аркадий. – Я не с этой точки зрения почитаю отца неправым; я нахожу, что он должен бы жениться на ней.

– Эге-ге! – спокойно проговорил Базаров. – Вот мы какие великодушные! Ты придаешь еще значение браку; я этого от тебя не ожидал.

Приятели сделали несколько шагов в молчанье.

– Видел я все заведения твоего отца, – начал опять Базаров. – Скот плохой, и лошади разбитые. Строения тоже подгуляли, и работники смотрят отъявленными ленивцами; а управляющий либо дурак, либо плут, я еще не разобрал хорошенько.

– Строг же ты сегодня, Евгений Васильич.

– И добрые мужички надуют твоего отца всенепременно. Знаешь поговорку: «Русский мужик Бога слопаёт».

– Я начинаю соглашаться с дядей, – заметил Аркадий, – ты решительно дурного мнения о русских.

– Эка важность! Русский человек только тем и хорош, что он сам о себе прескверного мнения. Важно то, что дважды два – четыре, а остальное все пустяки.

– И природа пустяки? – проговорил Аркадий, задумчиво глядя вдаль на пестрые поля, красиво и мягко освещенные уже невысоким солнцем.

– И природа пустяки, в том значении, в каком ты ее понимаешь. Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник.

Медлительные звуки виолончели долетели до них из дому в это самое мгновение. Кто-то играл с чувством, хотя и неопытной рукой, «Ожидание» Шуберта, и медом разливалась по воздуху сладостная мелодия.

– Это что? – произнес с изумлением Базаров.

– Это отец.

– Твой отец играет на виолончели?



– Да.

– Да сколько твоему отцу лет?

– Сорок четыре.

Базаров вдруг расхохотался.

– Чему же ты смеешься?

– Помилуй, в сорок четыре года человек, pater familias[130], в...м уезде – играет на виолончели!

Базаров продолжал хохотать; но Аркадий, как ни благоговел перед своим учителем, на этот раз даже не улыбнулся.

Х

Прошло около двух недель. Жизнь в Марьине текла своим порядком: Аркадий сибаритствовал, Базаров работал. Все в доме привыкли к нему, к его небрежным манерам, к его немногосложным и отрывочным речам. Фенечка, в особенности, до того с ним освоилась, что однажды ночью велела разбудить его: с Митей сделались судороги; и он пришел и, по обыкновению полушутя, полузевая, просидел у нее часа два и помог ребенку. Зато Павел Петрович всеми силами души своей возненавидел Базарова; он считал его гордецом, нахалом, циником, плебеем; он подозревал, что Базаров не уважает его, что он едва ли не презирает его – его, Павла Кирсанова! Николай Петрович побаивался молодого «нигилиста» и сомневался в пользе его влияния на Аркадия; но он охотно его слушал, охотно присутствовал при его физических и химических опытах. Базаров привез с собой микроскоп и по целым часам с ним возился. Слуги также привязались к нему, хотя он над ними подтрунивал: они чувствовали, что он все-таки свой брат, не барин. Дуняша охотно с ним хихикала и искоса, значительно посматривала на него, пробегая мимо «перепелочкой»; Петр, человек до крайности самолюбивый и глупый, вечно с напряженными морщинами на лбу, человек, которого все достоинство состояло в том, что он глядел учтиво, читал по складам и часто чистил щеточкой свой сюртучок, – и тот ухмылялся и светлел, как только Базаров обращал на него внимание; дворовые мальчишки бегали за «дохтуром», как собачонки. Один старик Прокофьич не любил его, с угрюмым видом подавая ему за столом кушанья, называл его «живодером» и «прощельгой» и уверял, что он с своими бакенбардами – настоящая свинья в кусте. Прокофьич, по-своему, был аристократ не хуже Павла Петровича.

Наступили лучшие дни в году – первые дни июня. Погода стояла прекрасная; правда, издали грозились опять холера, но жители...й губернии успели уже привыкнуть к ее посещениям. Базаров вставал очень рано и отправлялся версты за две, за три, не гулять – он прогулок без цели терпеть не мог, – а собирать травы, насекомых. Иногда он брал с собой Аркадия. На возвратном пути у них обыкновенно завязывался спор, и Аркадий обыкновенно оставался побежденным, хотя говорил больше своего товарища.

Однажды они как-то долго замешкались; Николай Петрович вышел к ним навстречу в сад и, поравнявшись с беседкой, вдруг услышал быстрые шаги и голоса обоих молодых людей. Они шли по ту сторону беседки и не могли его видеть.

– Ты отца недостаточно знаешь, – говорил Аркадий.

Николай Петрович притаился.

– Твой отец добрый малый, – промолвил Базаров, – но он человек отставной, его песенка спета.

Николай Петрович приник ухом... Аркадий ничего не отвечал.

«Отставной человек» постоял минуты две неподвижно и медленно поплелся домой.

– Третьего дня, я смотрю, он Пушкина читает, – продолжал между тем Базаров. – Расстолкуй ему, пожалуйста, что это никуда не годится. Ведь он не мальчик: пора бросить эту ерунду. И охота же быть романтиком в нынешнее время! Дай ему что-нибудь дельное почитать.

– Что бы ему дать? – спросил Аркадий.

– Да, я думаю, Бюхнерово «Stoff und Kraft» [131] на первый случай.

– Я сам так думаю, – заметил одобрительно Аркадий. – «Stoff und Kraft» написано популярным языком...

– Вот как мы с тобой, – говорил в тот же день после обеда Николай Петрович своему брату, сидя у него в кабинете: – в отставные люди попали, песенка наша спета. Что ж? Может быть, Базаров и прав; но мне, признаюсь, одно больно: я надеялся именно теперь тесно и дружески сойтись с Аркадием, а выходит, что я остался позади, он ушел вперед, и понять мы друг друга не можем.

– Да почему он ушел вперед? И чем он от нас так уж очень отличается? – с нетерпением воскликнул Павел Петрович. – Это все ему в голову синьор этот вбил, нигилист этот. Ненавижу я этого лекаришку; по-моему, он просто шарлатан; я уверен, что со всеми своими лягушками он и в физике недалеко ушел.

– Нет, брат, ты этого не говори: Базаров умен и знающ.

– И самолюбие какое противное, – перебил опять Павел Петрович.

– Да, – заметил Николай Петрович, – он самолюбив. Но без этого, видно, нельзя; только вот чего я в толк не возьму. Кажется, я все делаю, чтобы не отстать от века: крестьян устроил, ферму завел, так что даже меня во всей губернии красным величают; читаю, учусь, вообще стараюсь стать в уровень с современными требованиями, – а они говорят, что песенка моя спета. Да что, брат, я сам начинаю думать, что она точно спета.

– Это почему?

– А вот почему. Сегодня я сижу да читаю Пушкина... помнится, «Цыгане» мне попались... Вдруг Аркадий подходит ко мне и молча, с таким ласковым сожалением на лице, тихонько, как у ребенка, отнял у меня книгу и положил передо мной другую, немецкую... улыбнулся и ушел, и Пушкина унес.

– Вот как! Какую же он книгу тебе дал?

– Вот эту.

И Николай Петрович вынул из заднего кармана сюртука пресловутую брошюру Бюхнера, девятого издания.

Павел Петрович повертел ее в руках.

– Гм! – промычал он. – Аркадий Николаевич заботится о твоём воспитании. Что ж, ты пробовал читать?

– Пробовал.

– Ну и что же?

– Либо я глуп, либо это все – вздор. Должно быть, я глуп.

– Да ты по-немецки не забыл? – спросил Павел Петрович.

– Я по-немецки понимаю.

Павел Петрович опять повертел книгу в руках и исподлобья взглянул на брата. Оба помолчали.

– Да, кстати, – начал Николай Петрович, видимо желая переменить разговор. – Я получил письмо от Колязина.

– От Матвея Ильича?

– От него. Он приехал в\*\*\* ревизовать губернию. Он теперь в тузы вышел и пишет

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
мне, что желает, по-родственному, повидаться с нами и приглашает нас с тобой и с Аркадием в город.

– Ты поедешь? – спросил Павел Петрович.

– Нет; а ты?

– И я не поеду. Очень нужно тащиться за пятьдесят верст киселя есть. Mathieu хочет показаться нам во всей своей славе; черт с ним! будет с него губернского фимиама, обойдется без нашего. И велика важность, тайный советник! Если б я продолжал служить, тянуть эту глупую ляжку, я бы теперь был генерал-адъютантом. Притом же мы с тобой отставные люди.

– Да, брат; видно, пора гроб заказывать и ручки складывать крестом на груди, – заметил со вздохом Николай Петрович.

– Ну, я так скоро не сдамся, – пробормотал его брат. – У нас еще будет схватка с этим лекарем, я это предчувствую.

Схватка произошла в тот же день за вечерним чаем. Павел Петрович сошел в гостиную уже готовый к бою, раздраженный и решительный. Он ждал только предложения, чтобы накинуться на врага; но предложение долго не представлялось. Базаров вообще говорил мало в присутствии «старичков Кирсановых» (так он называл обоих братьев), а в тот вечер он чувствовал себя не в духе и молча выпивал чашку за чашкой. Павел Петрович весь горел нетерпением; его желания сбылись наконец.

Речь зашла об одном из соседних помещиков. «Дрянь, аристократишко», – равнодушно заметил Базаров, который встречался с ним в Петербурге.

– Позвольте вас спросить, – начал Павел Петрович, и губы его задрожали, – по вашим понятиям слова: «дрянь» и «аристократ» одно и то же означают?

– Я сказал: «аристократишко», – проговорил Базаров, лениво отхлебывая глоток чаю.

– Точно так-с; но я полагаю, что вы такого же мнения об аристократах, как и об аристократишках. Я считаю долгом объявить вам, что я этого мнения не разделяю. Смеею сказать, меня все знают за человека либерального и любящего прогресс; но именно потому я уважаю аристократов – настоящих. Вспомните, милостивый государь (при этих словах Базаров поднял глаза на Павла Петровича), вспомните, милостивый государь, – повторил он с ожесточением, – английских аристократов. Они не уступают йоты от прав своих, и потому они уважают права других; они требуют исполнения обязанностей в отношении к ним, и потому они сами исполняют свои обязанности. Аристократия дала свободу Англии и поддерживает ее.

– Слыхали мы эту песню много раз. – возразил Базаров, – но что вы хотите этим доказать?

– Я эфтим хочу доказать, милостивый государь (Павел Петрович, когда сердился, с намерением говорил: «эфтим» и «эфто», хотя очень хорошо знал, что подобных слов грамматика не допускает. В этой причуде сказывался остаток преданий Александровского времени. Тогдашние тузы в редких случаях, когда говорили на родном языке, употребляли одни – эфто, другие – эхто: мы, мол, коренные русаки, и в то же время мы вельможи, которым полагается пренебрегать школьными правилами), я эфтим хочу доказать, что без чувства собственного достоинства, без уважения к самому себе, – а в аристократе эти чувства развиты, – нет никакого прочного основания общественному... *bien public*...[132] общественному зданию. Личность, милостивый государь, – вот главное; человеческая личность должна быть крепка, как скала, ибо на ней все строится. Я очень хорошо знаю, например, что вы изволите находить смешными мои привычки, мой туалет, мою опрятность, наконец, но это все происходит из чувства самоуважения, из чувства долга, да-с, да-с, долга. Я живу в деревне, в глуши, но я не роняю себя, я уважаю в себе человека.

– Позвольте, Павел Петрович, – промолвил Базаров, – вы вот уважаете себя и сидите сложа руки; какая ж от этого польза для *bien public*? Вы бы не уважали себя и то же бы делали.

Павел Петрович побледнел.

– Это совершенно другой вопрос. Мне вовсе не приходится объяснять вам теперь, почему я сижу сложа руки, как вы изволите выражаться. Я хочу только сказать, что аристократизм – принцип, а без принципов жить в наше время могут одни безнравственные или пустые люди. Я говорил это Аркадию на другой день его приезда и повторяю теперь вам. Не так ли, Николай?

Николай Петрович кивнул головой.

– Аристократизм, либерализм, прогресс, принципы, – говорил между тем Базаров, – подумаешь, сколько иностранных... и бесполезных слов! Русскому человеку они даром не нужны.

– Что ж ему нужно, по-вашему? Послушать вас, так мы находимся вне человечества, вне его законов. Помилуйте – логика истории требует...

– Да на что нам эта логика? Мы и без нее обходимся.

– Как так?

– Да так же. Вы, я надеюсь, не нуждаетесь в логике для того, чтобы положить себе кусок хлеба в рот, когда вы голодны. Куда вам до этих отвлеченностей!

Павел Петрович взмахнул руками.

– Я вас не понимаю после этого. Вы оскорбляете русский народ. Я не понимаю, как можно не признавать принципов, правил? В силу чего же вы действуете?

– Я уже говорил вам, дядюшка, что мы не признаем авторитетов, – вмешался Аркадий.

– Мы действуем в силу того, что мы признаем полезным, – промолвил Базаров. – В теперешнее время полезнее всего отрицание – мы отрицаем.

– Все?

– Все.

– Как? Не только искусство, поэзию..., но и... страшно вымолвить...

– Все, – с невыразимым спокойствием повторил Базаров.

Павел Петрович уставился на него. Он этого не ожидал, а Аркадий даже покраснел от удовольствия.

– Однако позвольте, – заговорил Николай Петрович. – Вы все отрицаете, или, выражаясь точнее, вы все разрушаете... Да ведь надобно же и строить.

– Это уже не наше дело... Сперва нужно место расчистить.

– Современное состояние народа этого требует, – с важностью прибавил Аркадий, – мы должны исполнять эти требования, мы не имеем права предаваться удовлетворению личного эгоизма.

Эта последняя фраза, видимо, не понравилась Базарову; от нее веяло философией, то есть романтизмом, ибо Базаров и философию называл романтизмом; но он не почел за нужное опровергать своего молодого ученика.

– Нет, нет! – воскликнул с внезапным порывом Павел Петрович, – я не хочу верить, что вы, господа, точно знаете русский народ, что вы представители его потребностей, его стремлений! Нет, русский народ не такой, каким вы его воображаете. Он свято чтит предания, он – патриархальный, он не может жить без веры...

– Я не стану против этого спорить, – перебил Базаров, – я даже готов согласиться, что в этом вы правы.

– А если я прав...

– И все-таки это ничего не доказывает.

– Именно ничего не доказывает, – повторил Аркадий с уверенностью опытного шахматного игрока, который предвидел опасный, по-видимому, ход противника и потому нисколько не смутился.

– Как ничего не доказывает? – пробормотал изумленный Павел Петрович. – Стало быть, вы идете против своего народа?

– А хоть бы и так? – воскликнул Базаров. – Народ полагает, что, когда гром гремит, это Илья пророк в колеснице по небу разъезжает. Что ж? Мне соглашаться с ним? Да притом – он русский, а разве я сам не русский?

– Нет, вы не русский после всего, что вы сейчас сказали! Я вас за русского признать не могу.

– Мой дед землю пахал, – с надменной гордостью отвечал Базаров. – Спросите любого из ваших же мужиков, в ком из нас – в вас или во мне – он скорее признает соотечественника. Вы и говорить-то с ним не умеете.

– А вы говорите с ним и презираете его в то же время.

– Что ж, коли он заслуживает презрения! Вы порицаете мое направление, а кто вам сказал, что оно во мне случайно, что оно не вызвано тем самым народным духом, во имя которого вы так ратуете?

– Как же! Очень нужны нигилисты!

– Нужны ли они или нет – не нам решать. Ведь и вы считаете себя не бесполезным.

– Господа, господа, пожалуйста, безличностей! – воскликнул Николай Петрович и приподнялся.

Павел Петрович улыбнулся и, положив руку на плечо брату, заставил его снова сесть.

– Не беспокойся, – промолвил он. – Я не позабудусь, именно вследствие того чувства достоинства, над которым так жестоко трунит господин... господин доктор. Позвольте, – продолжал он, обращаясь снова к Базарову, – вы, может быть, думаете, что ваше учение новость? Напрасно вы это воображаете. Материализм, который вы проповедуете, был уже не раз в ходу и всегда оказывался несостоятельным...

– Опять иностранное слово! – перебил Базаров. Он начинал злиться, и лицо его приняло какой-то медный и грубый цвет. – Во-первых, мы ничего не проповедуем; это не в наших привычках...

– Что же вы делаете?

– А вот что мы делаем. Прежде, в недавнее еще время, мы говорили, что чиновники наши берут взятки, что у нас нет ни дорог, ни торговли, ни правильного суда...

– Ну да, да, вы обличители, – так, кажется, это называется. Со многими из ваших обличений и я соглашаюсь, но...

– А потом мы догадались, что болтать, все только болтать о наших язвах не стоит труда, что это ведет только к пошлости и доктринерству; мы увидели, что и умники наши, так называемые передовые люди и обличители, никуда не годятся, что мы занимаемся вздором, толкуем о каком-то искусстве, бессознательном творчестве, о парламентаризме, об адвокатуре и черт знает о чем, когда дело идет о насущном хлебе, когда грубейшее суеверие нас душит, когда все наши акционерные общества лопаются единственно оттого, что оказывается недостаток в честных людях, когда самая свобода, о которой хлопочет правительство, едва ли пойдет нам впрок, потому что мужик наш рад самого себя обокрасть, чтобы только напиться дурману в кабаке.

– Так, – перебил Павел Петрович, – так: вы во всем этом убедились и решились

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
сами ни за что серьезно не приниматься?

– И решились ни за что не приниматься, – угрюмо повторил Базаров.

Ему вдруг стало досадно на самого себя, зачем он так распространился перед этим барином.

– А только ругаться?

– И ругаться.

– И это называется нигилизмом?

– И это называется нигилизмом, – повторил опять Базаров, на этот раз с особенною дерзостью.

Павел Петрович слегка прищурился.

– Так вот как! – промолвил он странно спокойным голосом. – Нигилизм всему горю помочь должен, и вы, вы наши избавители и герои. Но за что же вы других-то, хоть бы тех же обличителей, честите? Не так же ли вы болтаете, как и все?

– Чем другим, а этим грехом не грешны, – произнес сквозь зубы Базаров.

– Так что ж? Вы действуете, что ли? Собираетесь действовать?

Базаров ничего не отвечал. Павел Петрович так и дрогнул, но тотчас же овладел собою.

– Гм!.. Действовать, ломать... – продолжал он. – Но как же это ломать, не зная даже почему?

– Мы ломаем, потому что мы сила, – заметил Аркадий.

Павел Петрович посмотрел на своего племянника и усмехнулся.

– Да, сила – так и не дает отчета, – проговорил Аркадий и выпрямился.

– Несчастный! – возопил Павел Петрович; он решительно не был в состоянии крепиться долее, – хоть бы ты подумал, что в России ты поддерживаешь твоею пошлою сентенцией! Нет, это может ангела из терпения вывести! Сила! И в диком калмыке и в монголе есть сила – да на что нам она? Нам дорога цивилизация, да-с, да-с, милостивый государь; нам дороги ее плоды. И не говорите мне, что эти плоды ничтожны: последний пачкун, un barbouilleur[133], тапёр, которому дают пять копеек за вечер, и те полезнее вас, потому что они представители цивилизации, а не грубой монгольской силы! Вы воображаете себя передовыми людьми, а вам только в калмыцкой кибитке сидеть! Сила! Да вспомните, наконец, господа сильные, что вас всего четыре человека с половиною, а тех – миллионы, которые не позволят вам попирать ногами свои священнейшие верования, которые раздавят вас!

– Коли раздавят, туда и дорога, – промолвил Базаров. – Только бабушка еще надвое сказала. Нас не так мало, как вы полагаете.

– Как? Вы не шутя думаете сладить, сладить с целым народом?

– От копеечной свечи, вы знаете, Москва сгорела, – ответил Базаров.

– Так, так. Сперва гордость почти сатанинская, потом глумление. Вот, вот чем увлекается молодежь, вот чему покоряются неопытные сердца мальчишек! Вот поглядите, один из них рядом с вами сидит, ведь он чуть не молится на вас, полюбуйтесь. (Аркадий отворотился и нахмурился.) И эта зараза уже далеко распространилась. Мне сказывали, что в Риме наши художники в Ватикан ни ногой. Рафаэля считают чуть не дураком, потому что это, мол, авторитет; а сами бессильны и бесплодны до гадости; а у самих фантазия дальше «девушки у фонтана» не хватает, хоть ты что! И написана-то девушка прескверно. По-вашему, они молодцы, не правда ли?

– По-моему, – возразил Базаров, – Рафаэль гроша медного не стоит, да и они не

лучше его.

– Bravo! bravo! Слушай, Аркадий.. вот как должны современные молодые люди выражаться! И как, подумаешь, им не идти за вами! Прежде молодым людям приходилось учиться; не хотелось им прослыть за невежд, так они поневоле трудились. А теперь им стоит сказать: все на свете вздор! – и дело в шляпе. Молодые люди обрадовались. И в самом деле, прежде они просто были болваны, а теперь они вдруг стали нигилисты.

– Вот и изменило вам хваленое чувство собственного достоинства, – флегматически заметил Базаров, между тем как Аркадий весь вспыхнул и засверкал глазами. – Спор наш зашел слишком далеко.. Кажется, лучше его прекратить. А я тогда буду готов согласиться с вами, – прибавил он вставая, – когда вы представите мне хоть одно постановление в современном нашем быту, в семейном или общественном, которое бы не вызывало полного и беспощадного отрицания.

– Я вам миллионы таких постановлений представлю, – воскликнул Павел Петрович, – миллионы! Да вот хоть община, например.

Холодная усмешка скривила губы Базарова.

– Ну, насчет общины, – промолвил он, – поговорите лучше с вашим братцем. Он теперь, кажется, изведаль на деле, что такое община, круговая порука, трезвость и тому подобные штучки.

– Семья, наконец, семья, так, как она существует у наших крестьян! – закричал Павел Петрович.

– И этот вопрос, я полагаю, лучше для вас же самих не разбирать в подробности. Вы, чай, слышали о снохахах? Послушайте меня, Павел Петрович, дайте себе денька два сроку, сразу вы едва ли что-нибудь найдете. Переберите все наши сословия да подумайте хорошенько над каждым, а мы пока с Аркадием будем..

– Надо всем глумиться, – подхватил Павел Петрович.

– Нет, лягушек, резать. Пойдем, Аркадий; до свидания, господа!

Оба приятеля вышли. Братья остались наедине и сперва только посматривали друг на друга.

– Вот, – начал наконец Павел Петрович, – вот вам нынешняя молодежь! Вот они – наши наследники!

– Наследники, – повторил с унылым вздохом Николай Петрович. Он в течение всего спора сидел, как на угольях, и только украдкой болезненно взглядывал на Аркадия. – Знаешь, что я вспомнил, брат? Однажды я с покойницей матушкой поссорился: она кричала, не хотела меня слушать.. Я наконец сказал ей, что вы, мол, меня понять не можете; мы, мол, принадлежим к двум различным поколениям. Она ужасно обиделась, а я подумал: что делать? Пилюля горька, а проглотить ее нужно. Вот теперь настала наша очередь, и наши наследники могут сказать нам: вы, мол, не нашего поколения, глотайте пилюлю.

– Ты уже чересчур благодушен и скромн, – возразил Павел Петрович, – я, напротив, уверен, что мы с тобой гораздо правее этих господчиков, хотя выражаемся, может быть, несколько устарелым языком, *vieilli*[134], и не имеем той дерзкой самонадеянности.. И такая надутая эта нынешняя молодежь! Спросишь инога: «Какого вина вы хотите, красного или белого?» – «Я имею привычку предпочитать красное!» – отвечает он басом и с таким важным лицом, как будто вся вселенная глядит на него в это мгновенье..

– Вам больше чаю не угодно? – промолвила фенечка, просунув голову в дверь: она не решалась войти в гостиную, пока в ней раздавались голоса споривших.

– Нет, ты можешь велеть самовар принять, – отвечал Николай Петрович и поднялся к ней навстречу. Павел Петрович отрывисто сказал ему: *bon soir*[135], и ушел к себе

в кабинет.

XI

Полчаса спустя Николай Петрович отправился в сад, в свою любимую беседку. На него нашли грустные думы. Впервые он ясно сознал свое разъединение с сыном; он предчувствовал, что с каждым днем оно будет становиться все больше и больше. Стало быть, напрасно он, бывало, зимой в Петербурге по целым дням просиживал над новейшими сочинениями; напрасно прислушивался к разговорам молодых людей; напрасно радовался, когда ему удавалось вставить и свое слово в их кипучие речи. «Брат говорит, что мы правы, – думал он, – и, отложив всякое самолюбие в сторону, мне самому кажется, что они дальше от истины, нежели мы, а в то же время я чувствую, что за ними есть что-то, чего мы не имеем, какое-то преимущество над нами... Молодость? Нет: не одна только молодость. Не в том ли состоит это преимущество, что в них меньше следов барства, чем в нас?»

Николай Петрович потупил голову и провел рукой по лицу.

«Но отвергать поэзию? – подумал он опять. – Не сочувствовать художеству, природе?..»

И он посмотрел кругом, как бы желая понять, как можно не сочувствовать природе. Уже вечерело, солнце скрылось за небольшую осиную рощу, лежавшую в полверсте от сада: тень от нее без конца тянулась через неподвижные поля. Мужичок ехал рысцой на белой лошадке по темной узкой дорожке вдоль самой рощи; он весь был ясно виден, весь до заплаты на плече, даром что ехал в тени; приятно-отчетливо мелькали ноги лошадки. Солнечные лучи, с своей стороны, забирались в рощу и, пробиваясь сквозь чашу, обливали стволы осин таким теплым светом, что они становились похожи на стволы сосен, а листва их почти синела и над нею поднималось бледно-голубое небо, чуть обрумяненное зарей. Ласточки летали высоко; ветер совсем замер; запоздалые пчелы лениво и сонливо жужжали в цветах сирени; мошки толклись столбом над одинокою, далеко протянутою веткою. «Как хорошо, Боже мой!» – подумал Николай Петрович, и любимые стихи пришли было ему на уста; он вспомнил Аркадия, «Stoff und Kraft» – и умолк, но продолжал сидеть, продолжал предаваться горестной и отрадной игре одиноких дум. Он любил помечтать; деревенская жизнь развила в нем эту способность. Давно ли он так же мечтал, поджидая сына на постоялом дворике, а с тех пор уже произошла перемена, уже определились, тогда еще неясные, отношения... и как! Представилась ему опять покойница жена, но не такую, какую он ее знал в течение многих лет, не домовитою, доброю хозяйкою, а молодою девушкой с тонким станом, невинно-пытливым взглядом и туго закрученною косою над детскою шейкой. Вспомнил он, как он увидел ее в первый раз. Он был тогда еще студентом. Он встретил ее на лестнице квартиры, в которой он жил, и, нечаянно толкнув ее, обернулся, хотел извиниться и только мог пробормотать: «Pardon, monsieur» [136], а она наклонила голову, усмехнулась и вдруг как будто испугалась и побежала, а на повороте лестницы быстро взглянула на него, приняла серьезный вид и покраснела. А потом первые робкие посещения, полуслова, полуулыбки, и недоумение, и грусть, и порывы, и, наконец, эта задыхающаяся радость... куда это все умчалось? Она стала его женой, он был счастлив, как немногие на земле... «Но, – думал он, – те сладостные, первые мгновенья, отчего бы не жить им вечною, неумирающею жизнью?»

Он не старался уяснить самому себе свою мысль, но он чувствовал, что ему хотелось удержать то блаженное время чем-нибудь более сильным, нежели память; ему хотелось вновь осязать близость своей Марии, ощутить ее теплоту и дыхание, и ему уже чудилось, как будто над ним...

– Николай Петрович, – раздался вблизи его голос фенечки, – где вы?

Он вздрогнул. Ему не стало ни больно, ни совестно... Он не допускал даже возможности сравнения между женой и фенечкой, но он пожалел о том, что она вздумала его отыскивать. Ее голос разом напомнил ему: его седые волосы, его старость, его настоящее...

Волшебный мир, в который он уже вступал, который уже возникал из туманных волн прошедшего, шевельнулся – и исчез.

– Я здесь, – отвечал он, – я приду, ступай. «Вот они, следы-то барства», – мелькнуло у него в голове. Фенечка молча заглянула к нему в беседку и скрылась, а он с изумлением заметил, что ночь успела наступить с тех пор, как он



Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru) замечтался. Все потемнело и затихло кругом, и лицо Фенечки скользнуло перед ним такое бледное и маленькое. Он приподнялся и хотел возвратиться домой; но размягченное сердце не могло успокоиться в его груди, и он стал медленно ходить по саду, то задумчиво глядя себе под ноги, то поднимая глаза к небу, где уже роились и перемигивались звезды. Он ходил много, почти до усталости, а тревога в нем, какая-то ищущая, неопределенная, печальная тревога, все не унималась. О, как Базаров посмеялся бы над ним, если б он узнал, что в нем тогда происходило! Сам Аркадий осудил бы его. У него, у сорокачетырехлетнего человека, агронома и хозяина, навертывались слезы, беспричинные слезы; это было во сто раз хуже виолончели.

Николай Петрович продолжал ходить и не мог решиться войти в дом, в это мирное и уютное гнездо, которое так приветливо глядело на него всеми своими освещенными окнами; он не в силах был расстаться с темнотой, с садом, с ощущением свежего воздуха на лице и с этою грустию, с этою тревогой...

На повороте дорожки встретился ему Павел Петрович.

– Что с тобой? – спросил он Николая Петровича, – ты бледен, как привиденье; ты нездоров; отчего ты не ложишься?

Николай Петрович объяснил ему в коротких словах свое душевное состояние и удалился. Павел Петрович дошел до конца сада, и тоже задумался, и тоже поднял глаза к небу. Но в его прекрасных темных глазах не отразилось ничего, кроме света звезд. Он не был рожден романтиком, и не умела мечтать его щегольски-сухая и страстная, на французский лад мизантропическая душа...

– Знаешь ли что? – говорил в ту же ночь Базаров Аркадию. – Мне в голову пришла великолепная мысль. Твой отец сказывал сегодня, что он получил приглашение от этого вашего знатного родственника. Твой отец не поедет; махнем-ка мы с тобой в \*\*\*; ведь этот господин и тебя зовет. Вишь, какая сделалась здесь погода; а мы прокатимся, город посмотрим. Поболтаемся дней пять-шесть, и баста!

– А оттуда ты вернешься сюда?

– Нет, надо к отцу проехать. Ты знаешь, он от \*\*\* в тридцати верстах. Я его давно не видал и мать тоже; надо стариков потешить. Они у меня люди хорошие, особенно отец: презабавный. Я же у них один.

– И долго ты у них пробудешь?

– Не думаю. Чай, скучно будет.

– А к нам на возвратном пути заедешь?

– Не знаю... посмотрю. Ну, так, что ли? Мы отправимся?

– Пожалуй, – лениво заметил Аркадий.

Он в душе очень обрадовался предложению своего приятеля, но почел обязанностью скрыть свое чувства. Недаром же он был нигилист!

На другой день он уехал с Базаровым в\*\*\*. Молодежь в Марьине пожалела об их отъезде; Дуняша даже всхлипнула... но старичкам вздохнулось легко.

## XII

Город \*\*\*, куда отправились наши приятели, состоял в ведении губернатора из молодых, прогрессиста и деспота, как это сплошь да рядом случается на Руси. Он, в течение первого года своего управления, успел перессориться не только с губернским предводителем, отставным гвардии штаб-ротмистром, конным заводчиком и хлебосолом, но и с собственными чиновниками. Возникшие по этому поводу распри приняли наконец такие размеры, что министерство в Петербурге нашло необходимым послать доверенное лицо с поручением разобрать все на месте. Выбор начальства пал на Матвея Ильича Колязина, сына того Колязина, под попечительством которого находились некогда братья Кирсановы. Он был тоже из «молодых», то есть ему недавно минуло сорок лет, но он уже метил в государственные люди и на каждой стороне груди носил по звезде. Одна, правда, была иностранная, из плохоньких. Подобно губернатору, которого он приехал судить, он считался прогрессистом и,

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
будучи уже тузом, не походил на большую часть тузов. Он имел о себе самое высокое мнение; тщеславие его не знало границ, но он держался просто, глядел одобрительно, слушал снисходительно и так добродушно смеялся, что на первых порах мог даже прослыть за «чудного малого». В важных случаях он умел, однако, как говорится, задать пыли. «Энергия необходима, – говаривал он тогда, – *L'energie est la premiere qualite d'un homme d'etat*»[137]; а со всем тем он обыкновенно оставался в дураках и всякий несколько опытный чиновник садился на него верхом. Матвей Ильич отзывался с большим уважением о Гизо и старался внушить всем и каждому, что он не принадлежит к числу рутинеров и отсталых бюрократов, что он не оставляет без внимания ни одного важного проявления общественной жизни... Все подобные слова были ему хорошо известны. Он даже следил, правда, с небрежною величавостию, за развитием современной литературы: так взрослый человек, встретив на улице процессию мальчишек, иногда присоединяется к ней. В сущности Матвей Ильич недалеко ушел от тех государственных мужей Александровского времени, которые, готовясь идти на вечер к г-же Свечиной, жившей тогда в Петербурге, прочитывали поутру страницу из Кондильяка; только приемы у него были другие, более современные. Он был ловкий придворный, большой хитрец, и больше ничего в делах толку не знал, ума не имел, а умел вести свои собственные дела: тут уж никто не мог его оседлать, а ведь это главное.

Матвей Ильич принял Аркадия с свойственным просвещенному сановнику добродушием, скажем более, с игривостью. Он, однако, изумился, когда узнал, что приглашенные им родственники остались в деревне. «Чудак был твой папа всегда», – заметил он, подбрасывая кистями своего великолепного бархатного шлафрока, и вдруг, обратясь к молодому чиновнику в благонамереннейше застегнутом вицмундире, воскликнул с озабоченным видом: «Чего?» Молодой человек, у которого от продолжительного молчания слиплись губы, приподнялся и с недоумением посмотрел на своего начальника. Но, озадачив подчиненного, Матвей Ильич уже не обращал на него внимания. Сановники наши вообще любят озадачивать подчиненных; способы, к которым они прибегают для достижения этой цели, довольно разнообразны. Следующий способ, между прочим, в большом употреблении, «*is quite a favourite*»[138], как говорят англичане: сановник вдруг перестает понимать самые простые слова, глухоту на себя напускает. Он спросит, например: какой сегодня день?

Ему почтительнейше докладывают: «Пятница сегодня, ваше с...с...ство».

– А? Что? Что такое? Что вы говорите? – напряженно повторяет сановник.

– Сегодня пятница, ваше с... с...ство.

– Как? Что? Что такое пятница? какая пятница?

– Пятница, ваше с... ссс... ссс...ство, день в неделе.

– Ну-у, ты учить меня вздумал?

Матвей Ильич все-таки был сановник, хоть и считался либералом.

– Я советую тебе, друг мой, съездить с визитом к губернатору, – сказал он Аркадию, – ты понимаешь, я тебе это советую не потому, чтоб я придерживался старинных понятий о необходимости ездить к властям на поклон, а просто потому, что губернатор порядочный человек; притом же ты, вероятно, желаешь познакомиться с здешним обществом... ведь ты не медведь, надеюсь? А он послезавтра дает большой бал.

– Вы будете на этом бале? – спросил Аркадий.

– Он для меня его дает, – проговорил Матвей Ильич почти с сожалением. – Ты танцуешь?

– Танцую, только плохо.

– Это напрасно. Здесь есть хорошенькие, да и молодому человеку стыдно не танцевать. Опять-таки я это говорю не в силу старинных понятий; я вовсе не полагаю, что ум должен находиться в ногах, но байронизм смешон, *il a fait son temps*[139].

– Да я, дядюшка, вовсе не из байронизма не...

– Я познакомлю тебя с здешними барынями, я беру тебя под свое крылышко, – перебил Матвей Ильич и самодовольно засмеялся. – Тебе тепло будет, а?

Слуга вошел и доложил о приезде председателя казенной палаты, сладкоглазого старика со сморщенными губами, который чрезвычайно любил природу, особенно в летний день, когда, по его словам, «каждая пчелочка с каждого цветочка берет взяточку...». Аркадий удалился.

Он застал Базарова в трактире, где они остановились, и долго его уговаривал пойти к губернатору. «Нечего делать! – сказал наконец Базаров. – Взялся за гуж – не говори, что не дюж! Приехали смотреть помещиков – давай их смотреть!» Губернатор принял молодых людей приветливо, но не посадил их и сам не сел. Он вечно суетился и спешил; с утра надевал тесный вицмундир и чрезвычайно тугой галстук, недоедал и недопивал, все распорядился. Его в губернии прозвали Бурдалу, намекая тем не на известного французского проповедника, а на бурду. Он пригласил Кирсанова и Базарова к себе на бал и через две минуты пригласил их вторично, считая их уже братьями и называя их Кайсаровыми.

Они шли к себе домой от губернатора, как вдруг из проезжавших мимо дрожek выскочил человек, небольшого роста, в славянофильской венгерке, и с криком: «Евгений Васильевич!» – бросился к Базарову.

– А! это вы, герр Ситников, – проговорил Базаров, продолжая шагать по тротуару, – какими судьбами?

– Вообразите, совершенно случайно, – отвечал тот и, обернувшись к дрожкам, махнул раз пять рукой и закричал: – Ступай за нами, ступай!.. У моего отца здесь дело, – продолжал он, перепрыгивая через канавку, – ну, так он меня просил... Я сегодня узнал о вашем приезде и уже был у вас... (Действительно, приятели, возвратясь к себе в номер, нашли там карточку с загнутыми углами в с именем Ситникова, на одной стороне по-французски, на другой – славянскою вязью.) Я надеюсь, вы не от губернатора?

– Не надейтесь, мы прямо от него.

– А! в таком случае, и я к нему пойду... Евгений Васильич, познакомьте меня с вашим... с ними...

– Ситников, Кирсанов, – проворчал, не останавливаясь, Базаров.

– Мне очень лестно, – начал Ситников, выступая боком, ухмыляясь и поспешно стаскивая свои уже чересчур элегантныe перчатки. – Я очень много слышал... Я старинный знакомый Евгения Васильича и могу сказать – его ученик. Я ему обязан моим перерождением...

Аркадий посмотрел на базаровского ученика. Тревожное и тупое напряжение сказывалось в маленьких, впрочем приятных чертах его прилизанного лица; небольшие, словно вдавленные глаза глядели пристально и беспокойно; и смеялся он беспокойно; каким-то коротким, деревянным смехом.

– Поверите ли, – продолжал он, – что, когда при мне Евгений Васильевич в первый раз сказал, что не должно признавать авторитетов, я почувствовал такой восторг... словно прозрел! Вот, подумал я, наконец, нашел я человека! Кстати, Евгений Васильевич, вам непременно надобно сходить к одной здешней даме, которая совершенно в состоянии понять вас и для которой ваше посещение будет настоящим праздником; вы, я думаю, слышали о ней?

– Кто такая? – произнес нехотя Базаров.

– Кукшина, Eudoxie, Евдоксия Кукшина. Это замечательная натура, émancipée[140] в истинном смысле слова, передовая женщина. Знаете ли что? Пойдемте теперь к ней все вместе. Она живет отсюда в двух шагах. Мы там позавтракаем. Ведь вы еще не завтракали?

– Нет еще.

– Ну и прекрасно. Она, вы понимаете, разъехалась с мужем, ни от кого не зависит.

- Хорошенькая она? – перебил Базаров.
- Н... нет, этого нельзя сказать.
- Так для какого же дьявола вы нас к ней зовете?
- Ну, шутник, шутник... Она нам бутылку шампанского поставит.
- Вот как! Сейчас виден практический человек. Кстати, ваш батюшка все по откупам?
- По откупам, – торопливо проговорил Ситников и визгливо засмеялся. – Что же? идет?
- Не знаю, право.
- Ты хотел людей смотреть, ступай, – заметил вполголоса Аркадий.
- А вы-то что ж, господин Кирсанов? – подхватил Ситников. – Пожалуйста и вы; без вас нельзя.
- Да как же это мы все разом нагреем?
- Ничего! Кукшина – человек чудный!
- Бутылка шампанского будет? – спросил Базаров.
- Три! – воскликнул Ситников. – За это я ручаюсь!
- Чем?
- Собственной головою.
- Лучше бы мошноу батюшки. А впрочем, пойдем.

### XIII

Небольшой дворянский домик на московский манер, в котором проживала Авдотья Никитишна (или Евдоксия) Кукшина, находился в одной из нововыгоревших улиц города \*\*\*; известно, что наши губернские города горят через каждые пять лет. У дверей, над криво прибитою визитною карточкой, виднелась ручка колокольчика, и в передней встретила пришедших какая-то не то служанка, не то компаньонка в чепце – явные признаки прогрессивных стремлений хозяйки. Ситников спросил, дома ли Авдотья Никитишна?

– Это вы, Victor? – раздался тонкий голос из соседней комнаты. – Войдите.

Женщина в чепце тотчас исчезла.

– Я не один, – промолвил Ситников, лихо скидывая свою венгерку, под которою оказалось нечто вроде поддевки или пальто-сака, и бросая бойкий взгляд Аркадию и Базарову.

– Все равно, – отвечал голос. – Entrez[141].

Молодые люди вошли. Комната, в которой они очутились, походила скорее на рабочий кабинет, чем на гостиную. Бумаги, письма, толстые нумера русских журналов, большую часть неразрезанные, валялись по запыленным столам; везде белели разбросанные окурки папирос.

На кожаном диване полулежала дама, еще молодая, белокурая, несколько растрепанная, в шелковом, не совсем опрятном платье, с крупными браслетами на коротеньких руках и кружевною косынкой на голове. Она встала с дивана и, небрежно натягивая себе на плечи бархатную шубку на пожелтелом горностаевом меху, лениво промолвила:

– Здравствуйте, Victor, – и пожала Ситникову руку.

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)

– Базаров, Кирсанов, – проговорил он отрывисто, в подражание Базарову.

– Милости просим, – отвечала Кукшина и, уставив на Базарова свои круглые глаза, между которыми сиротливо краснел крошечный вздернутый носик, прибавила: – Я вас знаю, – и пожала ему руку тоже.

Базаров поморщился. В маленькой и невзрачной фигурке эманципированной женщины не было ничего безобразного; но выражение ее лица неприятно действовало на зрителя. Невольно хотелось спросить у ней: «Что ты, голодна? Или скучаешь? Или робеешь? Чего ты дружишься?» И у ней, как у Ситникова, вечно скребло на душе. Она говорила и двигалась очень развязно и в то же время неловко: она, очевидно, сама себя считала за добродушное и простое существо, и между тем что бы она ни делала, вам постоянно казалось, что она именно это-то и не хотела сделать: все у ней выходило, как дети говорят, нарочно, то есть не просто, не естественно.

– Да, да, я знаю вас, Базаров, – повторила она. (За ней водилась привычка, свойственная многим провинциальным и московским дамам, – с первого дня знакомства звать мужчин по фамилии.) – Хотите сигару?

– Сигарку сигаркой, – подхватил Ситников, который успел развалиться в креслах и задрать ногу кверху, – а дайте-ка нам позавтракать, мы голодны ужасно; да велите нам воздвигнуть бутылочку шампанского.

– Сибарит, – промолвила Евдоксия и засмеялась. (Когда она смеялась, ее верхняя десна обнажалась над зубами.) – Не правда ли, Базаров, он сибарит?

– Я люблю комфорт жизни, – произнес с важностью Ситников. – Это не мешает мне быть либералом.

– Нет, это мешает, мешает! – воскликнула Евдоксия и приказала, однако, своей прислужнице распорядиться и насчет завтрака и насчет шампанского. – Как вы об этом думаете? – прибавила она, обращаясь к Базарову. – Я уверена, вы разделяете мое мнение.

– Ну нет, – возразил Базаров, – кусок мяса лучше куска хлеба, даже с химической точки зрения.

– А вы занимаетесь химией? Это моя страсть. Я даже сама выдумала одну мастику.

– Мастику? Вы?

– Да, я. И знаете ли, с какой целью? Куклы делать, головки, чтобы не ломались. Я ведь тоже практическая. Но все это еще не готово. Нужно еще Либиха почитать. Кстати, читали вы статью Кислякова о женском труде в «Московских ведомостях»? Прочтите, пожалуйста. Ведь вас интересует женский вопрос? И школа тоже? Чем ваш приятель занимается? Как его зовут?

Госпожа Кукшина роняла свои вопросы один за другим с изнеженной небрежностью, не дожидаясь ответов; избалованные дети так говорят с своими няньками.

– Меня зовут Аркадий Николаевич Кирсанов, – проговорил Аркадий, – и я ничем не занимаюсь.

Евдоксия захохотала.

– Вот это мило! Что, вы не курите? Виктор, вы знаете, я на вас сердита.

– За что?

– Вы, говорят, опять стали хвалить Жорж Саида. Отсталая женщина, и больше ничего! Как возможно сравнить ее с Эмерсоном! Она никаких идей не имеет ни о воспитании, ни о физиологии, ни о чем. Она, я уверена, и не слыхивала об эмбриологии, а в наше время – как вы хотите без этого? (Евдоксия даже руки расставила.) Ах, какую удивительную статью по этому поводу написал Елисевиич! Это гениальный господин! (Евдоксия постоянно употребляла слово «господин» вместо «человек».) Базаров, сядьте возле меня на диван. Вы, может быть, не знаете, я ужасно вас боюсь.

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)

– Это почему? Позвольте полюбопытствовать.

– Вы опасный господин, вы такой критик. Ах Боже мой! мне смешно, я говорю, как какая-нибудь степная помещица. Впрочем, я действительно помещица. Я сама именем управляю, и, представьте, у меня староста Ерофей – удивительный тип, точно Патфайндер Купера: что-то такое в нем непосредственное! Я окончательно поселилась здесь; несносный город, не правда ли? Но что делать!

– Город как город, – хладнокровно заметил Базаров.

– Всё такие мелкие интересы, вот что ужасно! Прежде я по зимам жила в Москве... но теперь там обитает мой благоверный, мсье Кукшин. Да и Москва теперь... уж я не знаю – тоже уж не то. Я думаю съездить за границу; я в прошлом году уже совсем было собралась.

– В Париж, разумеется? – спросил Базаров.

– В Париж и в Гейдельберг.

– Зачем в Гейдельберг?

– Помилуйте, там Бунзен!

На это Базаров ничего не нашелся ответить.

– Pierre Сапожников... вы его знаете?

– Нет, не знаю.

– Помилуйте. Pierre Сапожников... он еще всегда у Лидии Хостатовой бывает.

– Я и ее не знаю.

– Ну, вот он взялся меня проводить... Слава Богу, я свободна, у меня нет детей... Что это я сказала: славу Богу! Впрочем, это все равно.

Евдокия свернула папироску своими побуревшими от табаку пальцами, провела по ней языком, пососала ее и закурила. Вошла прислужница с подносом.

– А вот и завтрак! Хотите закусить? Виктор, откупорьте бутылку; это по вашей части.

– По моей, по моей, – пробормотал Ситников и опять визгливо засмеялся.

– Есть здесь хорошенькие женщины? – спросил Базаров, допивая третью рюмку.

– Есть, – отвечала Евдокия, – да все они такие пустые. Например, *mon amie*[142] Одинцова – недурна. Жаль, что репутация у ней какая-то... Впрочем, это бы ничего, но никакой свободы воззрения, никакой ширины, ничего... этого. Всю систему воспитания надобно переменить. Я об этом уже думала; наши женщины очень дурно воспитаны.

– Ничего вы с ними не сделаете, – подхватил Ситников. – Их следует презирать, и я их презираю, вполне и совершенно! (Возможность презирать и выражать свое презрение было самым приятным ощущением для Ситникова; он в особенности нападал на женщин, не подозревая того, что ему предстояло несколько месяцев спустя пресмыкаться перед своей женой потому только, что она была урожденная княжна Дурдолеосова.) Ни одна из них не была бы в состоянии понять нашу беседу; ни одна из них не стоит того, чтобы мы, серьезные мужчины, говорили о ней!

– Да им совсем не нужно понимать нашу беседу, – промолвил Базаров.

– О ком вы говорите? – вмешалась Евдокия.

– О хорошеньких женщинах.

– Как? Вы, стало быть, разделяете мнение Прудона?

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
Базаров надменно выпрямился:

- Я ничьих мнений не разделяю; я имею свои.
- Долой авторитеты! – закричал Ситников, обрадовавшись случаю резко выразиться в присутствии человека, перед которым раболепствовал.
- Но сам Маколей... – начала было Кукшина.
- Долой Маколея! – загремел Ситников. – Вы заступаетесь за этих бабенок?
- Не за бабенок, а за права женщин, которые я поклялась защищать до последней капли крови.
- Долой! – Но тут Ситников остановился. – Да я их не отрицаю, – промолвил он.
- Нет! Я вижу, вы славянофил!
- Нет, я не славянофил, хотя, конечно...
- Нет, нет, нет. Вы славянофил. Вы последователь Домостроя. Вам бы плетку в руки!
- Плетка дело доброе, – заметил Базаров, – только мы вот добрались до последней капли...
- Чего? – перебила Евдокия.
- Шампанского, почтеннейшая Авдотья Никитишна, шампанского – не вашей крови.
- Я не могу слышать равнодушно, когда нападают на женщин, – продолжала Евдокия.
- Это ужасно, ужасно. Вместо того чтобы нападать на них, прочтите лучше книгу Мишле: «De l'amour»[143]. Это чудо! Господа, будемте говорить о любви, – прибавила Евдокия, томно уронив руку на смятую подушку дивана.

Наступило внезапное молчание.

- Нет, зачем говорить о любви, – промолвил Базаров, – а вот вы упомянули об Одинцовой... Так, кажется, вы ее назвали? Кто эта барыня?
- Прелесть! прелесть! – запищал Ситников – Я вас представляю. Умница, богачка, вдова. К сожалению, она еще не довольно развита: ей бы надо с нашею Евдоксией поближе познакомиться. Пью ваше здоровье, Eudoxie! Чокнемтесь! «Et toe, et toe, et tin-tin-tin! Et toe, et toe, et tin-tin-tin!!.»
- Victor, вы шалун.

Завтрак продолжался долго. За первую бутылкой шампанского последовала другая, третья и даже четвертая... Евдокия болтала без умолку; Ситников ей вторил. Много толковали они о том, что такое брак – предрассудок или преступление, и какие рождаются люди – одинаковые или нет? и в чем, собственно, состоит индивидуальность?

Дело дошло наконец до того, что Евдокия, вся красная от выпитого вина и стуча плоскими ногтями по клавишам расстроенного фортепьяно, принялась петь сиплым голосом сперва цыганские песни, потом романс Сеймур – Шиффа: «Дремлет сонная Гранада», а Ситников повязал голову шарфом и представлял замиравшего любовника при словах:

И уста твои с моими  
В поцелуй горячий слить.  
Аркадий не вытерпел наконец.

- Господа, уж это что-то на Бедлам похоже стало, – заметил он вслух.

Базаров, который лишь изредка вставлял в разговор насмешливое слово – он занимался больше шампанским, – громко зевнул, встал и, не прощаясь с хозяйкой, вышел вон вместе с Аркадием. Ситников выскочил вслед за ними.

– Ну что, ну что? – спрашивал он, подобострастно забегая то справа, то слева, – ведь я говорил вам: замечательная личность! Вот каких бы нам женщин побольше. Она, в своем роде, высоконравственное явление.

– А это заведение твоего отца тоже нравственное явление? – промолвил Базаров, ткнув пальцем на кабака, мимо которого они в это мгновенье проходили.

Ситников опять засмеялся с визгом. Он очень стыдился своего происхождения и не знал, чувствовать ли ему себя польщенным или обиженным от неожиданного тыканья Базарова.

#### XIV

Несколько дней спустя состоялся бал у губернатора... Матвей Ильич был настоящим «героем праздника», губернский предводитель объявлял всем и каждому, что он приехал собственно из уважения к нему, а губернатор, даже и на бале, даже оставаясь неподвижным, продолжал «распоряжаться». Мягкость в обращении Матвея Ильича могла равняться только с его величавостью. Он ласкал всех – одних с оттенком гадливости, других с оттенком уважения; рассыпался «en vrai chevalier français»[144] перед дамами и беспрестанно смеялся крупным, звучным и одиноким смехом, как оно и следует сановнику. Он потрепал по спине Аркадия и громко назвал его «племянничком», удостоил Базарова, облеченного в староватый фрак, рассеянного, но снисходительного взгляда вскользь, через щеку, и неясного, но приветливого мычания, в котором только и можно было разобрать, что «я...» да «ссъма»; подал палец Ситникову и улыбнулся ему, но уже отвернул голову; даже самой Кукшиной, явившейся на бал безо всякой кринолины и в грязных перчатках, но с райскою птицею в волосах, даже Кукшиной он сказал «Enchante»[145]. Народу было пропасть, и в кавалерах не было недостатка; штатские более теснились вдоль стен, но военные танцевали усердно, особенно один из них, который прожил недель шесть в Париже, где он выучился разным залихватским восклицаньям вроде: «Zut», «Ah fichtrrrre», «Pst, pst, mon bibi»[146] и т. п. Он произносил их в совершенстве, с настоящим парижским шиком, и в то же время говорил: «si j'aurais» вместо «si j'avais»[147] «absolument»[148] в смысле: «непременно», – словом, выражался на том великорусско-французском наречии, над которым так смеются французы, когда они не имеют нужды уверять нашу братью, что мы говорим на их языке, как ангелы, «comme des anges».

Аркадий танцевал плохо, как мы уже знаем, а Базаров вовсе не танцевал: они оба поместились в уголке; к ним присоединился Ситников. Изобразив на лице своем презрительную насмешку и отпуская ядовитые замечания, он дерзко поглядывал кругом и, казалось, чувствовал истинное наслаждение. Вдруг лицо его изменилось, и, обернувшись к Аркадию, он, как бы с смущением, проговорил: «Одинцова приехала».

Аркадий оглянулся и увидел женщину высокого роста, в черном платье, остановившуюся в дверях залы. Она поразила его достоинством своей осанки. Обнаженные ее руки красиво лежали вдоль стройного стана; красиво падали с блестящих волос на покатые плечи легкие ветки фуксий; спокойно и умно, именно спокойно, а не задумчиво, глядели светлые глаза из-под немного нависшего белого лба, и губы улыбались едва заметною улыбкою. Какою-то ласковой и мягкой силой веяло от ее лица.

– Вы с ней знакомы? – спросил Аркадий Ситникова.

– Коротко. Хотите, я вас представлю?

– Пожалуй... после этой кадрили.

Базаров также обратил внимание на Одинцову.

– Это что за фигура? – проговорил он. – На остальных баб не похожа.

Дождавшись конца кадрили. Ситников подвел Аркадия к Одинцовой; но едва ли он был коротко с ней знаком: и сам он запутался в речах своих, и она глядела на него с некоторым изумлением. Однако лицо ее приняло радушное выражение, когда она услышала фамилию Аркадия. Она спросила его, не сын ли он Николая Петровича?

– Точно так.



– Я видела вашего батюшку два раза и много слышала о нем, – продолжала она, – я очень рада с вами познакомиться.

В это мгновение подлетел к ней какой-то адъютант и пригласил ее на кадрили. Она согласилась.

– Вы разве танцуете? – почтительно спросил Аркадий.

– Танцую. А вы почему думаете, что я не танцую? Или я вам кажусь слишком стара?

– Помилуйте, как можно... Но в таком случае позвольте мне пригласить вас на мазурку.

Одинцова снисходительно усмехнулась.

– Извольте, – сказала она и посмотрела на Аркадия не то чтобы свысока, а так, как замужние сестры смотрят на очень молоденьких братьев.

Одинцова была немного старше Аркадия, ейшел двадцать девятый год, но в ее присутствии он чувствовал себя школьником, студентиком, точно разница лет между ними была гораздо значительнее. Матвей Ильич приблизился к ней с величественным видом и подобострастными речами. Аркадий отошел в сторону, но продолжал наблюдать за нею; он не спускал с нее глаз и во время кадрили. Она так же непринужденно разговаривала с своим танцором, как и с сновником, тихо поводила головой и глазами и два раза тихо засмеялась. Нос у ней был немного толст, как почти у всех русских, и цвет кожи не был совершенно чист; со всем тем Аркадий решил, что он еще никогда не встречал такой прелестной женщины. Звук ее голоса не выходил у него из ушей; самые складки ее платья, казалось, ложились у ней иначе, чем у других, стройнее и шире, и движения ее были особенно плавны и естественны в одно и то же время.

Аркадий ощущал на сердце некоторую робость, когда при первых звуках мазурки он усаживался возле своей дамы и, готовясь вступить в разговор, только проводил рукой по волосам и не находил ни единого слова. Но он робел и волновался недолго; спокойствие Одинцовой сообщилось и ему: четверти часа не прошло, как уж он свободно рассказывал о своем отце, дяде, о жизни в Петербурге и в деревне. Одинцова слушала его с вежливым участием, слегка раскрывая и закрывая веер, болтовня его прерывалась, когда ее выбирали кавалеры; Ситников, между прочим, пригласил ее два раза. Она возвращалась, садилась, снова брала веер, и даже грудь ее не дышала быстрее, а Аркадий опять принимался болтать, весь проникнутый счастьем находиться в ее близости, говорить с ней, глядя в ее глаза, в ее прекрасный лоб, во все ее милое, важное и умное лицо. Сама она говорила мало, но знание жизни сказывалось в ее словах; по иным ее замечаниям Аркадий заключил, что эта молодая женщина уже успела перечувствовать и передумать многое...

– С кем вы это стояли? – спросила она его, – когда господин Ситников подвел вас ко мне?

– А вы его заметили? – спросил, в свою очередь, Аркадий. – Не правда ли, какое у него славное лицо? Это некто Базаров, мой приятель.

Аркадий принялся говорить о «своем приятеле».

Он говорил о нем так подробно и с таким восторгом, что Одинцова обернулась к нему и внимательно на него посмотрела. Между тем мазурка приближалась к концу. Аркадию стало жалко расстаться с своей дамой: он так хорошо провел с ней около часа! Правда, он в течение всего этого времени постоянно чувствовал, как будто она к нему снисходила, как будто ему следовало быть ей благодарным... но молодые сердца не тяготятся этим чувством.

Музыка умолкла.

– Мерсі, – промолвила Одинцова вставая. – Вы обещали мне посетить меня, привезите же с собой и вашего приятеля. Мне будет очень любопытно видеть человека, который имеет смелость ни во что не верить.

Губернатор подошел к Одинцовой, объявил, что ужин готов, и с озабоченным лицом

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
подал ей руку. Уходя, она обернулась, чтобы в последний раз улыбнуться и кивнуть Аркадию. Он низко поклонился, посмотрел ей вслед (как строен показался ему ее стан, облитый сероватым блеском черного шелка!) и, подумав: «В это мгновение она уже забыла о моем существовании», – почувствовал на душе какое-то изящное смирение...

– Ну что? – спросил Базаров Аркадия, как только тот вернулся к нему в уголок, – получил удовольствие? Мне сейчас сказывал один барин, что эта госпожа – ой-ой-ой; да барин-то, кажется, дурак. Ну, а по-твоему, что она, точно – ой-ой-ой?

– Я этого определенья не совсем понимаю, – отвечал Аркадий.

– Вот еще! Какой невинный!

– В таком случае я не понимаю твоего барина. Одинцова очень мила – бесспорно, но она так холодно и строго себя держит, что...

– В тихом омуте... ты знаешь! – подхватил Базаров. – Ты говоришь, она холодна. В этом-то самый вкус и есть. Ведь ты любишь мороженое?

– Может быть, – пробормотал Аркадий, – я об этом судить не могу. Она желает с тобой познакомиться и просила меня, чтоб я привез тебя к ней.

– Воображаю, как ты меня расписывал! Впрочем, ты поступил хорошо. Вези меня. Кто бы она ни была – просто ли губернская львица или «эманципе» вроде Кукшиной, только у ней такие плечи, каких я не видывал давно.

Аркадия покорило от цинизма Базарова, но – как это часто случается – он упрекнул своего приятеля не за то именно, что ему в нем не понравилось...

– Отчего ты не хочешь допустить свободы мысли в женщинах? – проговорил он вполголоса.

– Оттого, братец, что, по моим замечаниям, – свободно мыслят между женщинами только уроды.

Разговор на этом прекратился. Оба молодых человека уехали тотчас после ужина. Кукшина нервически-злобно, но не без робости, засмеялась им вослед: ее самолюбие было глубоко уязвлено тем, что ни тот, ни другой не обратили на нее внимания. Она оставалась позже всех на бале и в четвертом часу ночи протанцевала польку-мазурку с Ситниковым на парижский манер. Этим поучительным зрелищем и завершился губернаторский праздник.

XV

– Посмотрим, к какому разряду млекопитающих принадлежит сия особа, – говорил на следующий день Аркадию Базаров, поднимаясь вместе с ним по лестнице гостиницы, в которой остановилась Одинцова. – Чувствует мой нос, что тут что-то неладно.

– Я тебе удивляюсь! – воскликнул Аркадий. – Как? Ты, ты, Базаров, придерживаешься той узкой морали, которую...

– Экой ты чудак! – небрежно перебил Базаров. – Разве ты не знаешь, что на нашем наречии и для нашего брата «не ладно» значит «ладно»? Пожива есть, значит. Не сам ли ты сегодня говорил, что она странно вышла замуж, хотя, по мнению моему, выйти за богатого старика – дело ничуть не странное, а, напротив, благоразумное. Я городским толкам не верю; но люблю думать, как говорит наш образованный губернатор, что они справедливы.

Аркадий ничего не отвечал и постучался в дверь номера. Молодой слуга в ливрее ввел обоих приятелей в большую комнату, меблированную дурно, как все комнаты русских гостиниц, но уставленную цветами. Скоро появилась сама Одинцова в простом утреннем платье. Она казалась еще моложе при свете весеннего солнца. Аркадий представил ей Базарова и с тайным удивлением заметил, что он как будто сконфузился, между тем как Одинцова осталась совершенно спокойною, по-вчерашнему. Базаров сам почувствовал, что сконфузился, и ему стало досадно. «Вот тебе раз! бабы испугался!» – подумал он и, развалясь в кресле, не хуже Ситникова, заговорил преувеличенно развязно, а Одинцова не спускала с него своих

ясных глаз.

Анна Сергеевна Одинцова родилась от Сергея Николаевича Локтева, известного красавца, афериста и игрока, который, продержавшись и прошумев лет пятнадцать в Петербурге и в Москве, кончил тем, что проигрался в прах и принужден был поселиться в деревне, где, впрочем, скоро умер, оставив крошечное состояние двум своим дочерям, Анне – двадцати и Катерине – двенадцати лет.

Мать их, из обедневшего рода князей Х....., скончалась в Петербурге, когда муж ее находился еще в полной силе. Положение Анны после смерти отца было очень тяжелое. Блестящее воспитание, полученное ею в Петербурге, не подготовило ее к перенесению забот по хозяйству и по дому, – к глухому деревенскому житью. Она не знала никого решительно в целом околотке, и посоветоваться ей было не с кем. Отец ее старался избегать сношений с соседями; он их презирал, и они его презирали, каждый по-своему. Она, однако, не потеряла головы и немедленно выписала к себе сестру своей матери, княжну Авдотью Степановну Х.....ю, злую и чванную старуху, которая, поселившись у племянницы в доме, забрала себе все лучшие комнаты, ворчала и брюзжала с утра до вечера и даже по саду гуляла не иначе как в сопровождении единственного своего крепостного человека, угрюмого лакея в изношенной гороховой ливрее с голубым позументом и в треуголке. Анна терпеливо выносила все причуды тетки, исподволь занималась воспитанием сестры и, казалось, уже примирилась с мыслию увянуть в глуши... Но судьба сулила ей другое. Ее случайно увидел некто Одинцов, очень богатый человек лет сорока шести, чудака, ипохондрик, пухлый, тяжелый и кислый, впрочем не глупый и не злой; влюбился в нее и предложил ей руку. Она согласилась быть его женой, – а он пожил с ней лет шесть и, умирая, упрочил за ней все свое состояние. Анна Сергеевна около года после его смерти не выезжала из деревни; потом отправилась вместе с сестрой за границу, но побывала только в Германии; соскучилась и вернулась на жительство в свое любезное Никольское, отстоявшее верст сорок от города \*\*\*. Там у ней был великолепный, отлично убранный дом, прекрасный сад с оранжереями: покойный Одинцов ни в чем себе не отказывал. В город Анна Сергеевна являлась очень редко, большую часть по делам, и то ненадолго. Ее не любили в губернии, ужасно кричали по поводу ее брака с Одинцовым, рассказывали про нее всевозможные небылицы, уверяли, что она помогала отцу в его шулерских проделках, что и за границу она ездила недаром, а из необходимости скрыть несчастные последствия... «Вы понимаете чего?» – договаривали негодующие рассказчики. «Прошла через огонь и воду», – говорили о ней; а известный губернский остряк обыкновенно прибавлял: «И через медные трубы». Все эти толки доходили до нее, но она пропускала их мимо ушей: характер у нее был свободный и довольно решительный.

Одинцова сидела, прислонясь к спинке кресел, и, положив руку на руку, слушала Базарова. Он говорил, против обыкновения, довольно много и явно старался занять свою собеседницу, что опять удивило Аркадия. Он не мог решить, достигал ли Базаров своей цели. По лицу Анны Сергеевны трудно было догадаться, какие она испытывала впечатления: оно сохраняло одно и то же выражение, приветливое, тонкое; ее прекрасные глаза светились вниманием, но вниманием безмятежным. Ломание Базарова в первые минуты посещения неприятно подействовало на нее, как дурной запах или резкий звук; но она тотчас же поняла, что он чувствовал смущение, и это ей даже польстило. Одно пошлое ее отталкивало, а в пошлости никто бы не упрекнул Базарова. Аркадию пришлось в тот день не переставать удивляться. Он ожидал, что Базаров заговорит с Одинцовой, как с женщиной умною, о своих убеждениях и воззрениях: она же сама изъявила желание послушать человека, «который имеет смелость ничему не верить», но вместо того Базаров толковал о медицине, о гомеопатии, о ботанике. Оказалось, что Одинцова не теряла времени в уединении: она прочла несколько хороших книг и выражалась правильным русским языком. Она навела речь на музыку, но, заметив, что Базаров не признает искусства, потихоньку возвратилась к ботанике, хотя Аркадий и пустился было толковать о значении народных мелодий. Одинцова продолжала обращаться с ним как с младшим братом: казалось, она ценила в нем доброту и простодушие молодости – и только. Часа три с лишком длилась беседа, неторопливая, разнообразная и живая.

Прятели наконец поднялись и стали прощаться. Анна Сергеевна ласково поглядела на них, протянула обоим свою красивую белую руку и, подумав немного, с нерешительною, но хорошею улыбкой проговорила:

– Если вы, господа, не боитесь скуки, приезжайте ко мне в Никольское.

– Помилуйте, Анна Сергеевна, – воскликнул Аркадий, – я за особенное счастье

почту...

– А вы, мсьё Базаров?

Базаров только поклонился, – и Аркадию в последний раз пришлось удивиться: он заметил, что приятель его покраснел.

– Ну? – говорил он ему на улице, – ты все того же мнения, что она – ой-ой-ой?

– А кто ее знает! Вишь, как она себя заморозила! – возразил Базаров и, помолчав немного, прибавил: – Герцогиня, владетельная особа. Ей бы только шлейф сзади носить да корону на голове.

– Наши герцогини так по-русски не говорят, – заметил Аркадий.

– В переделе была, братец ты мой, нашего хлеба покушала.

– А все-таки она прелесть, – промолвил Аркадий.

– Этакое богатое тело! – продолжал Базаров. – Хоть сейчас в анатомический театр.

– Перестань ради Бога, Евгений! это ни на что не похоже.

– Ну, не сердись, неженка. Сказано – первый сорт. Надо будет поехать к ней.

– Когда?

– Да хоть послезавтра. Что нам здесь делать-то! Шампанское с Кукшиной пить? Родственника твоего, либерального сановника, слушать?.. Послезавтра же и махнем. Кстати – и моего отца усадьбишка оттуда недалеко. Ведь это Никольское по \*\*\* дороге?

– Да.

– Optime[149]. Нечего мешкать; мешкают одни дураки да умники. Я тебе говорю: богатое тело!

Три дня спустя оба приятеля катили по дороге в Никольское. День стоял светлый и не слишком жаркий, и ямские сытые лошади дружно бежали, слегка помахивая своими закрученными и заплетенными хвостами. Аркадий глядел на дорогу и улыбался, сам не зная чему.

– Поздравь меня, – воскликнул вдруг Базаров, – сегодня 22 июня, день моего ангела. Посмотрим, как-то он обо мне печется. Сегодня меня дома ждут, – прибавил он, понизив голос... – Ну, подождут, что за важность!

## XVI

Усадьба, в которой жила Анна Сергеевна, стояла на пологом открытом холме, в недалеком расстоянии от желтой каменной церкви с зеленою крышей, белыми колоннами и живописью a l fresco[150] над главным входом, представлявшею «Воскресение Христово» в «итальянском» вкусе. Особенно замечателен своими округленными контурами был распростертый на первом плане смуглый воин в шишаке. За церковью тянулось в два ряда длинное село с кое-где мелькающими трубами над соломенными крышами. Господский дом был построен в одном стиле с церковью, в том стиле, который известен у нас под именем Александровского; дом этот был также выкрашен желтою краской, и крышу имел зеленую и белые колонны, и фронтоны с гербом. Губернский архитектор воздвигнул оба здания с одобрения покойного Одинцова, не терпевшего никаких пустых и самопроизвольных, как он выражался, нововведений. К дому с обеих сторон прилегали темные деревья старинного сада, аллея стриженных елок вела к подъезду.

Приятели наших встретили в передней два рослые лакея в ливрее; один из них тотчас побежал за дворецким. Дворецкий, толстый человек в черном фраке, немедленно явился и направил гостей по устланной коврами лестнице в особую комнату, где уже стояли две кровати со всеми принадлежностями туалета. В доме, видимо, царствовал порядок: все было чисто, всюду пахло каким-то приличным запахом, точно в министерских приемных.

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)

– Анна Сергеевна просят вас пожаловать к ним через полчаса, – доложил дворецкий.  
– Не будет ли от вас покамест никаких приказаний?

– Никаких приказаний не будет, почтеннейший, – ответил Базаров, – разве рюмку водочки соблаговолите поднести.

– Слушаю-с, – промолвил дворецкий не без недоумения и удалился, скрипя сапогами.

– Какой жанр! [151] – заметил Базаров, – кажется, это так по-вашему называется? Герцогиня, да и полно.

– Хороша герцогиня, – возразил Аркадий, – с первого раза пригласила к себе таких сильных аристократов, каковы мы с тобой.

– Особенно я, будущий лекарь, и лекарский сын, и дьячковский внук... Ведь ты знаешь, что я внук дьячка?.. Как Сперанский, – прибавил Базаров после небольшого молчания и скривив губы. – А все-таки избаловала она себя; ох, как избаловала себя эта барыня! уж не фраки ли нам надеть?

Аркадий только плечом пожал... но и он чувствовал небольшое смущение.

Полчаса спустя Базаров с Аркадием сошли в гостиную. Это была просторная, высокая комната, убранная довольно роскошно, но без особенного вкуса. Тяжелая дорогая мебель стояла в обычном чопорном порядке вдоль стен, обитых коричневыми обоями с золотыми разводами; покойный Одинцов выписал ее из Москвы через своего приятеля и комиссионера, винного торговца. Над средним диваном висел портрет обрюзглого белокурого мужчины – и, казалось, недружелюбно глядел на гостей.

– Должно быть, сам, – шепнул Базаров Аркадию и, сморщив нос, прибавил: – Аль удрать?

Но в это мгновение вошла хозяйка. На ней было легкое барежевое платье; гладко зачесанные за уши волосы придавали девическое выражение ее чистому и свежему лицу.

– Благодарствуйте, что сдержали слово, – начала она, – погостите у меня: здесь, право, недурно. Я вас познакомлю с моей сестрой, она хорошо играет на фортепьяно. Вам, мсьё Базаров, это все равно: но вы, мсьё Кирсанов, кажется, любите музыку; кроме сестры, у меня живет старушка тетка, да сосед один иногда наезжает в карты играть: вот и все наше общество. А теперь сядем.

Одинцова произнесла весь этот маленький спич с особенной отчетливостью, словно она наизусть его выучила; потом она обратилась к Аркадию. Оказалось, что мать ее знавала Аркадиеву мать и была даже поверенною ее любви к Николаю Петровичу. Аркадий с жаром заговорил о покойнице; а Базаров между тем принялся рассматривать альбомы. «Какой я смиренный стал», – думал он про себя.

Красивая борзая собака с голубым ошейником вбежала в гостиную, стуча ногтями по полу, а вслед за нею вошла девушка лет восемнадцати, черноволосая и смуглая, с несколько круглым, но приятным лицом, с небольшими темными глазами. Она держала в руках корзину, наполненную цветами.

– Вот вам и моя Катя, – проговорила Одинцова, указав на нее движением головы.

Катя слегка присела, поместилась возле сестры и принялась разбирать цветы. Борзая собака, имя которой было Фифи, подошла, махая хвостом, поочередно к обоим гостям и ткнула каждого из них своим холодным носом в руку.

– Это ты всё сама нарвала? – спросила Одинцова.

– Сама, – отвечала Катя.

– А тетушка придет к чаю?

– Придет.

Когда Катя говорила, она очень мило улыбалась, застенчиво и откровенно, и глядела как-то забавно-сурово, снизу вверх. Все в ней было еще молодо-зелено: и

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
голос, и пушок на всем лице, и розовые руки с беловатыми кружками на ладонях, и чуть-чуть сжатые плечи... Она беспрестанно краснела и быстро переводила дух.

Одинцова обратилась к Базарову.

– Вы из приличия рассматриваете картинки, Евгений Васильич, – начала она. – Вас это не занимает. Подвиньтесь-ка лучше к нам, и давайте поспоримте о чем-нибудь.

Базаров приблизился.

– О чем прикажете-с? – промолвил он.

– О чем хотите. Предупреждаю вас, что я ужасная спорщица.

– Вы?

– Я. Вас это как будто удивляет. Почему?

– Потому что, сколько я могу судить, у вас нрав спокойный и холодный; а для спора нужно увлечение.

– Как это вы успели меня узнать так скоро? Я, во-первых, нетерпелива и настойчива, спросите лучше Катю; а во-вторых, я очень легко увлекаюсь.

Базаров поглядел на Анну Сергеевну.

– Может быть, вам лучше знать. Итак, вам угодно спорить, – извольте. Я рассматривал виды Саксонской Швейцарии в вашем альбоме, а вы мне заметили, что это меня занять не может. Вы это сказали оттого, что не предполагаете во мне художественного смысла, – да во мне действительно его нет; но эти виды могли меня заинтересовать с точки зрения геологической, с точки зрения формации гор, например.

– Извините; как геолог, вы скорее к книге прибегнете, специальному сочинению, а не к рисунку.

– Рисунок наглядно представит мне то, что в книге изложено на целых десяти страницах.

Анна Сергеевна помолчала.

– И так-таки у вас ни капельки художественного смысла нет? – промолвила она, облокотясь на стол и этим самым движением приблизила свое лицо к Базарову. – Как же вы это без него обходитесь?

– А на что он нужен, позвольте спросить?

– Да хоть на то, чтоб уметь узнавать и изучать людей.

Базаров усмехнулся.

– Во-первых, на это существует жизненный опыт, а во-вторых, доложу вам, изучать отдельные личности не стоит труда. Все люди друг на друга похожи как телом, так и душой; у каждого из нас мозг, селезенка, сердце, легкие одинаково устроены; и так называемые нравственные качества одни и те же у всех: небольшие видоизменения ничего не значат. Достаточно одного человеческого экземпляра, чтобы судить обо всех других. Люди, что деревья в лесу; ни один ботаник не станет заниматься каждою отдельною березой.

Катя, которая, не спеша, подбирала цветок к цветку, с недоумением подняла глаза на Базарова – и, встретив его быстрый и небрежный взгляд, вспыхнула вся до ушей. Анна Сергеевна покачала головой.

– Деревья в лесу, – повторила она. – Стало быть, по-вашему, нет разницы между глупым и умным человеком, между добрым и злым?

– Нет, есть: как между больным и здоровым. Легкие у чахоточного не в том положении, как у нас с вами, хоть устроены одинаково. Мы приблизительно знаем,

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
отчего происходят телесные недуги; а нравственные болезни происходят от дурного воспитания, от всяких пустяков, которыми сызмала набивают людские головы, от безобразного состояния общества, одним словом. Исправьте общество, и болезней не будет.

Базаров говорил все это с таким видом, как будто в то же время думал про себя: «Верь мне или не верь, это мне все едино!». Он медленно проводил своими длинными пальцами по бакенбардам, а глаза его бегали по углам.

– И вы полагаете, – промолвила Анна Сергеевна, – что, когда общество исправится, уже не будет ни глупых, ни злых людей?

– По крайней мере при правильном устройстве общества совершенно будет равно, глуп ли человек или умен, зол или добр.

– Да, понимаю; у всех будет одна и та же селезенка.

– Именно так-с, сударыня.

Одинцова обратилась к Аркадию:

– А ваше какое мнение, Аркадий Николаевич?

– Я согласен с Евгением, – отвечал он.

Катя поглядела на него исподлобья.

– Вы меня удивляете, господа, – промолвила Одинцова, – но мы еще с вами потолкуем. А теперь, я слышу, тетушка идет чай пить; мы должны пощадить ее уши.

Тетушка Анны Сергеевны, княжна Х.....ая, худенькая и маленькая женщина с сжатым в кулачок лицом и неподвижными злыми глазами под седую накладкой, вошла и, едва поклонившись гостям, опустилась в широкое бархатное кресло, на котором никто, кроме ее, не имел права садиться. Катя поставила ей скамейку под ноги: старуха не поблагодарила ее, даже не взглянула на нее, только пошевелила руками под желтую шалью, покрывавшую почти все ее тщедушное тело. Княжна любила желтый цвет: у ней и на чепце были ярко-желтые ленты.

– Как вы почивали, тетушка? – спросила Одинцова, возвысив голос.

– Опять эта собака здесь, – проворчала в ответ старуха и, заметив, что фифи сделала два нерешительных шага в ее направлении, воскликнула: – Брысь, брысь!

Катя позвала фифи и отворила ей дверь.

Фифи радостно бросилась вон, в надежде, что ее поведут гулять, но, оставшись одна за дверью, начала скрестись и повизгивать. Княжна нахмурилась. Катя хотела было выйти...

– Я думаю, чай готов? – промолвила Одинцова. – Господа, пойдете; тетушка, пожалуйста чай кушать.

Княжна молча встала с кресла и первая вышла из гостиной. Все отправились вслед за ней в столовую. Казачок в ливрее с шумом отодвинул от стола обложенное подушками, также заветное, кресло, в которое опустилась княжна; Катя, разливавшая чай, первой ей подала чашку с раскрашенным гербом. Старуха положила себе меду в чашку (она находила, что пить чай с сахаром и грешно и дорого; хотя сама не тратила копейки ни на что) и вдруг спросила хриплым голосом:

– А что пишет кнесь Иван?

Ей никто не отвечал. Базаров и Аркадий скоро догадались, что на нее не обращали внимания, хотя обходились с нею почтительно. «Для ради важности держат, потому что княжеское отродье», – подумал Базаров.. После чаю Анна Сергеевна предложила пойти гулять; но стал накрапывать дождик, и все общество, за исключением княжны, вернулось в гостиную. Приехал сосед, любитель карточной игры, по имени Порфирий Платоныч, толстенный седенький человек с коротенькими, точно выточенными ножками, очень вежливый и смешливый. Анна Сергеевна, которая разговаривала все

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
больше с Базаровым, спросила его – не хочет ли он сразиться с ними по-старомодному в преферанс. Базаров согласился, говоря, что ему надобно заранее приготовиться к предстоящей ему должности уездного лекаря.

– Берегитесь, – заметила Анна Сергеевна, – мы с Порфирием Платонычем вас разобьем. А ты, Катя, – прибавила она, – сыграй что-нибудь Аркадию Николаевичу; он любит музыку, мы кстати послушаем.

Катя неохотно приблизилась к фортепьяно; и Аркадий, хотя точно любил музыку, неохотно пошел за ней: ему казалось, что Одинцова его отсылает, а у него на сердце, как у всякого молодого человека в его годы, уже накопало какое-то смутное и томительное ощущение, похожее на предчувствие любви. Катя подняла крышку фортепьяно и, не глядя на Аркадия, промолвила вполголоса:

– Что же вам сыграть?

– Что хотите, – равнодушно ответил Аркадий.

– Вы какую музыку больше любите? – повторила Катя, не переменяя положения.

– Классическую, – тем же голосом ответил Аркадий.

– Моцарта любите?

– Моцарта люблю.

Катя достала це-мольную сонату-фантазию Моцарта. Она играла очень хорошо, хотя немного строго и сухо. Не отводя глаз от нот и крепко стиснув губы, сидела она неподвижно и прямо, и только к концу сонаты лицо ее разгорелось, и маленькая прядь развившихся волос упала на темную бровь.

Аркадия в особенности поразила последняя часть сонаты, та часть, в которой, посреди пленительной веселости беспечного напева, внезапно возникают порывы такой горестной, почти трагической скорби... Но мысли, возбужденные в нем звуками Моцарта, относились не к Кате. Глядя на нее, он только подумал: «А ведь недурно играет эта барышня, и сама она недурна».

Кончив сонату, Катя, не принимая рук с клавишей, спросила: «Довольно?» Аркадий объявил, что не смеет утруждать ее более, и заговорил с ней о Моцарте, спросил ее – сама ли она выбрала эту сонату или кто ей ее отреккомендовал? Но Катя отвечала ему односложно: она спряталась, ушла в себя. Когда это с ней случилось, она не скоро выходила наружу, самое ее лицо принимало тогда выражение упрямое, почти тупое. Она была не то что робка, а недоверчива и немного запугана воспитавшею ее сестрой, чего, разумеется, та и не подозревала. Аркадий кончил тем, что, подозвав возвратившуюся Фифи, стал для контенансу[152] с благосклонною улыбкой гладить ее по голове. Катя опять взялась за свои цветы.

А Базаров между тем ремизился да ремизился. Анна Сергеевна играла мастерски в карты. Порфирий Платоныч тоже мог постоять за себя. Базаров остался в проигрыше хотя незначительном, но все-таки не совсем для него приятном. За ужином Анна Сергеевна снова завела речь о ботанике.

– Пойдемте гулять завтра поутру, – сказала она ему, – я хочу узнать от вас латинские названия полевых растений и их свойства.

– На что вам латинские названия? – спросил Базаров.

– Во всем нужен порядок, – отвечала она.

– Что за чудесная женщина Анна Сергеевна! – воскликнул Аркадий, оставшись наедине с своим другом в отведенной им комнате.

– Да, – отвечал Базаров, – баба с мозгом. Ну, и видала же она виды.

– В каком смысле ты это говоришь, Евгений Васильевич?



– В хорошем смысле, в хорошем, батюшка вы мой, Аркадий Николаич! Я уверен, что она и своим именем отлично распоряжается. Но чудо – не она, а ее сестра.

– Как? эта смугленькая?

– Да, эта смугленькая. Это вот свежо, и не тронута, и пугливо, и молчаливо, и все что хочешь. Вот кем можно заняться. Из этой еще что вздумаешь, то и сделаешь; а та – тертый калач.

Аркадий ничего не отвечал Базарову, и каждый из них лег спать с особенными мыслями в голове.

И Анна Сергеевна в тот вечер думала о своих гостях. Базаров ей понравился отсутствием кокетства и самую резкостью суждений. Она видела в нем что-то новое, с чем ей не случалось встретиться, а она была любопытна.

Анна Сергеевна была довольно странное существо. Не имея никаких предрассудков, не имея даже никаких сильных верований, она ни перед чем не отступала и никуда не шла. Она многое ясно видела, многое ее занимало, и ничто не удовлетворяло ее вполне; да она едва ли и желала полного удовлетворения. Ее ум был пытлив и равнодушен в одно и то же время: ее сомнения не утихали никогда до забывчивости и никогда не дорастали до тревоги. Не будь она богата и независима, она, быть может, бросилась бы в битву, узнала бы страсть... Но ей жилось легко, хотя она и скучала подчас, и она продолжала провожать день за днем, не спеша и лишь изредка волнуясь. Радужные краски загорались иногда и у нее перед глазами, но она отдыхала, когда они угасали и не жалела о них. Воображение ее уносилось даже за пределы того, что по законам обыкновенной морали считается дозволенным: но и тогда кровь ее по-прежнему тихо катилась в ее обаятельно-стройном и спокойном теле. Бывало, выйдя из благовонной ванны, вся теплая и разнеженная, она замечается о ничтожности жизни, об ее горе, труде и зле... Душа ее наполнится внезапною смел остию, закипит благородным стремлением; но сквозной ветер подует из полузакрытого окна, и Анна Сергеевна вся сожмется, и жалуется, и почти сердится, и только одно ей нужно в это мгновение: чтобы не дул на нее этот гадкий ветер.

Как все женщины, которым не удалось полюбить, она хотела чего-то, сама не зная, чего именно. Собственно, ей ничего не хотелось, хотя ей казалось, что ей хотелось всего. Покойного Одинцова она едва выносила (она вышла за него по расчету, хотя она, вероятно, не согласилась бы сделаться его женой, если б она не считала его за доброго человека) и получила тайное отвращение ко всем мужчинам, которых представляла себе не иначе, как неопрятными, тяжелыми и вялыми, бессильно докучливыми существами. Раз она где-то за границей встретила молодого красивого шведа с рыцарским выражением лица, с честными голубыми глазами под открытым лбом; он произвел на нее сильное впечатление, но это не помешало ей вернуться в Россию.

«Странный человек этот лекарь!» – думала она, лежа в своей великолепной постели, на кружевных подушках, под легким шелковым одеялом... Анна Сергеевна наследовала от отца частицу его склонности к роскоши. Она очень любила своего грешного, но доброго отца, а он обожал ее, дружелюбно шутил с ней, как с ровней, и доверялся ей вполне, советовался с ней. Мать свою она едва помнила.

«Странный этот лекарь!» – повторила она про себя. Она потянулась, улыбнулась, закинула руки за голову, потом пробежала глазами страницы две глупого французского романа, выронила книжку – и заснула, вся чистая и холодная, в чистом и душистом белье.

На следующее утро Анна Сергеевна тотчас после завтрака отправилась ботанизировать с Базаровым и возвратилась перед самым обедом; Аркадий никуда не отлучался и провел около часа с Катей. Ему не было скучно с нею, она сама вызвалась повторить ему вчерашнюю сонату; но когда Одинцова возвратилась, наконец, когда он увидел ее – сердце в нем мгновенно сжалось... Она шла по саду несколько усталою походкой; щеки ее алели, и глаза светились ярче обыкновенного под соломенной круглою шляпой. Она вертела в пальцах тонкий стебелек полевого цветка, легкая мантилья спустилась ей на локти, и широкие серые ленты шляпы прильнули к ее груди. Базаров шел сзади ее, самоуверенно и небрежно, как всегда, но выражение его лица, хотя и веселое и даже ласковое, не понравилось Аркадию.

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
Пробормотав сквозь зубы: «Здравствуй!» – Базаров отправился к себе в комнату, а Одинцова рассеянно пожала Аркадию руку и тоже прошла мимо его.

«Здравствуй, – подумал Аркадий. – Разве мы не виделись сегодня?»

## XVII

Время (дело известное) летит иногда птицей, иногда ползет червяком; но человеку бывает особенно хорошо тогда, когда он даже не замечает – скоро ли, тихо ли оно проходит. Аркадий и Базаров именно таким образом провели дней пятнадцать у Одинцовой. Этому отчасти способствовал порядок, который она завела у себя в доме и в жизни. Она строго его придерживалась и заставляла других ему покоряться. Все в течение дня совершалось в известную пору. Утром, ровно в восемь часов, все общество собиралось к чаю; от чая до завтрака всякий делал что хотел, сама хозяйка занималась с приказчиком (имение было на оброке), с дворецким, с главной ключницей. Перед обедом общество опять сходилось для беседы или для чтения; вечер посвящался прогулке, картам, музыке; в половине одиннадцатого Анна Сергеевна уходила к себе в комнату, отдавала приказания на следующий день и ложилась спать. Базарову не нравилась эта размеренная, несколько торжественная правильность ежедневной жизни; «как по рельсам катишься», – уверял он: ливрейные лакеи, чинные дворецкие оскорбляли его демократическое чувство. Он находил, что уж если на то пошло, так и обедать следовало бы по-английски, во фраках и в белых галстуках. Он однажды объяснился об этом с Анной Сергеевной. Она так себя держала, что каждый человек, не обинуясь, высказывал перед ней свои мнения. Она выслушала его и промолвила: «С вашей точки зрения вы правы – и, может быть, в этом случае я – барыня; но в деревне нельзя жить беспорядочно, скука одолеет», – и продолжала делать по-своему. Базаров ворчал; но и ему и Аркадию оттого и жилось так легко у Одинцовой, что все в ее доме «катилось как по рельсам». Со всем тем в обоих молодых людях, с первых же дней их пребывания в Никольском, произошла перемена. В Базарове, к которому Анна Сергеевна очевидно благоволила, хотя редко с ним соглашалась, стала проявляться небывалая прежде тревога: он легко раздражался, говорил нехотя, глядел сердито и не мог усидеть на месте, словно что его подмывало; а Аркадий, который окончательно сам с собой решил, что влюблен в Одинцову, начал предаваться тихому унынию. Впрочем, это уныние не мешало ему сблизиться с Катей; оно даже помогло ему войти с нею в ласковые, приятельские отношения. «Меня она не ценит! Пусть!.. А вот доброе существо меня не отвергает», – думал он, и сердце его снова вкушало сладость великодушных ощущений. Катя смутно понимала, что он искал какого-то утешения в ее обществе, и не отказывала ни ему, ни себе в невинном удовольствии полустыдливой, полудоверчивой дружбы. В присутствии Анны Сергеевны они не разговаривали между собою: Катя всегда сжималась под зорким взглядом сестры, а Аркадий, как оно и следует влюбленному человеку, вблизи своего предмета уже не мог обращать внимание ни на что другое; но хорошо ему было с одной Катей. Он чувствовал, что не в силах занять Одинцову; он робел и терялся, когда оставался с ней наедине; и она не знала, что ему сказать: он был слишком для нее молод. Напротив, с Катей Аркадий был как дома; он обращался с ней снисходительно, не мешал ей высказывать впечатления, возбужденные в ней музыкой, чтением повестей, стихов и прочими пустяками, сам не замечая или не сознавая, что эти пустяки и его занимали. С своей стороны, Катя не мешала ему грустить. Аркадию было хорошо с Катей, Одинцовой – с Базаровым, а потому обыкновенно случалось так: обе парочки, побыв немного вместе, расходились каждая в свою сторону, особенно во время прогулок. Катя обожала природу, и Аркадий ее любил, хоть и не смел признаться в этом; Одинцова была к ней довольно равнодушна, так же как и Базаров. Почти постоянное разъединение наших приятелей не осталось без последствий: отношения между ними стали меняться. Базаров перестал говорить с Аркадием об Одинцовой, перестал даже бранить ее «аристократические замашки»; правда, Катю он хвалил по-прежнему и только советовал умерять в ней сентиментальные наклонности, но похвалы его были торопливы, советы сухи, и вообще он с Аркадием беседовал гораздо меньше прежнего... он как будто избегал, как будто стыдился его...

Аркадий все это замечал, но хранил про себя свои замечания.

Настоящею причиной всей этой «новизны» было чувство, внушенное Базарову Одинцовой, – чувство, которое его мучило и бесило и от которого он тотчас отказался бы с презрительным хохотом и циническою бранью, если бы кто-нибудь хотя отдаленно намекнул ему на возможность того, что в нем происходило. Базаров был великий охотник до женщин и до женской красоты, но любовь в смысле идеальном, или, как он выражался, романтическом, называл белибердой, непростительною дурью, считал рыцарские чувства чем-то вроде уродства или

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
болезни и не однажды выражал свое удивление, почему не посадили в желтый дом Тоггенбурга со всеми миннезингерами и трубадурами. «Нравится тебе женщина, – говаривал он, – старайся добиться толку; а нельзя – ну, не надо, отвернись – земля не клином сошлась». Одинцова ему нравилась: распространенные слухи о ней, свобода и независимость ее мыслей, ее несомненное расположение к нему – все, казалось, говорило в его пользу; но он скоро понял, что с ней «не добьешься толку», а отвернуться от нее он, к изумлению своему, не имел сил. Кровь его загоралась, как только он вспоминал о ней; он легко сладил бы с своею кровью, но что-то другое в него вселилось, чего он никак не допускал, над чем всегда трунил, что возмущало всю его гордость. В разговорах с Анной Сергеевной он еще больше прежнего высказывал свое равнодушное презрение ко всему романтическому; а оставшись наедине, он с негодованием сознавал романтика в самом себе. Тогда он отправлялся в лес и ходил по нем большими шагами, ломая попадавшие ветки и браня вполголоса и ее и себя; или забирался на сеновал, в сарай, и, упрямо закрывая глаза, заставлял себя спать, что ему, разумеется, не всегда удавалось. Вдруг ему представится, что эти целомудренные руки когда-нибудь обовьются вокруг его шеи, что эти гордые губы ответят на его поцелуй, что эти умные глаза с нежностью – да, с нежностью остановятся на его глазах, и голова его закружится, и он забудется на миг, пока опять не вспыхнет в нем негодование. Он ловил самого себя на всякого рода «постыдных» мыслях, точно бес его дразнил. Ему казалось иногда, что в Одинцовой происходит перемена, что в выражении ее лица проявлялось что-то особенное, что может быть... Но тут он обыкновенно топал ногою или скрежетал зубами и грозил себе кулаком.

А между тем Базаров не совсем ошибался. Он поразил воображение Одинцовой; он занимал ее, она много о нем думала. В его отсутствие она не скучала, не ждала его; но его появление тотчас ее оживляло; она охотно оставалась с ним наедине и охотно с ним разговаривала, даже тогда, когда он ее сердил или оскорблял ее вкус, ее изящные привычки. Она как будто хотела и его испытать и себя изведать.

Однажды он, гуляя с ней по саду, внезапно промолвил угрюмым голосом, что намерен скоро уехать в деревню к отцу... Она побледнела, словно ее что в сердце кольнуло, да так кольнуло, что она удивилась и долго потом размышляла о том, что бы это значило. Базаров объявил ей о своем отъезде не с мыслию испытать ее, посмотреть, что из этого выйдет: он никогда не «сочинял». Утром того дня он виделся с отцовским приказчиком, бывшим своим дядькой Тимофеичем. Этот Тимофеич, потертый и проворный старичок, с выцветшими желтыми волосами, выветренным, красным лицом и крошечными слезинками в съезженных глазах, неожиданно предстал перед Базаровым в своей коротенькое чуйке из толстого серо-синеватого сукна, подпоясанный ремненным обрывочком и в дегтярных сапогах.

– А, старина, здравствуй! – воскликнул Базаров.

– Здравствуйте, батюшка Евгений Васильич, – начал старичок и радостно улыбнулся, отчего все лицо его вдруг покрылось морщинами.

– Зачем пожаловал? За мной, что ль, прислали?

– Помилуйте, батюшка, как можно! – залепетал Тимофеич (он вспомнил строгий наказ, полученный от барина при отъезде). – В город по господским делам ехали да про вашу милость услышали, так вот и завернули по пути, то есть – посмотреть на вашу милость... а то как же можно беспокоить!

– Ну, не ври, – перебил его Базаров. – В город тебе разве здесь дорога?

Тимофеич помялся и ничего не отвечал.

– Отец здоров?

– Слава Богу-с.

– И мать?

– И Арина Власьевна, слава тебе Господи.

– Ждут меня небось?

Старичок склонил набок свою крошечную головку.

– Ах, Евгений Васильевич, как не ждать-то-с! Верите ли Богу, сердце изныло, на родителей на ваших гляючи.

– Ну хорошо, хорошо! не расписывай. Скажи им, что скоро буду.

– Слушаю-с, – со вздохом отвечал Тимофеич.

Выйдя из дома, он обеими руками нахлобучил себе картуз на голову, взобрался на убогие беговые дрожки, оставленные им у ворот, и поплелся рысцой, только не в направлении города.

Вечером того же дня Одинцова сидела у себя в комнате с Базаровым, а Аркадий расхаживал по зале и слушал игру Кати. Княжна ушла к себе наверх; она вообще терпеть не могла гостей, и в особенности этих «новых оголтелых», как она их называла. В парадных комнатах она только дулась; зато у себя, перед своею горничной, она раздражалась иногда такую бранью, что чепец прыгал у ней на голове вместе с накладкой. Одинцова все это знала.

– Как же это вы ехать собираетесь, – начала она, – а обещание ваше?

Базаров встрепенулся.

– Какое-с?

– Вы забыли? Вы хотели дать мне несколько уроков химии.

– Что делать-с! Отец меня ждет; нельзя мне больше мешкать. Впрочем, вы можете прочесть «Pelouse et Frémy Notions générates de Chimie»[153]; книга хорошая и написана ясно. Вы в ней найдете все, что нужно.

– А помните: вы меня уверяли, что книга не может заменить... я забыла, как вы выразились, но вы знаете, что я хочу сказать... помните?

– Что делать-с! – повторил Базаров.

– Зачем ехать? – проговорила Одинцова, понизив голос.

Он взглянул на нее. Она закинула голову на спинку кресел и скрестила на груди руки, обнаженные до локтей. Она казалась бледней при свете одинокой лампы, завешенной вырезною бумажною сеткой. Широкое белое платье покрывало ее всю своими мягкими складками; едва виднелись кончики ее ног, тоже скрещенных.

– А зачем оставаться? – отвечал Базаров.

Одинцова слегка повернула голову.

– Как зачем? разве вам у меня не весело? Или вы думаете, что об вас здесь жалеть не будут?

– Я в этом убежден.

Одинцова помолчала.

– Напрасно вы это думаете. Впрочем, я вам не верю. Вы не могли сказать это серьезно. – Базаров продолжал сидеть неподвижно. – Евгений Васильевич, что же вы молчите?

– Да что мне сказать вам? О людях вообще жалеть не стоит, а обо мне подавно.

– Это почему?

– Я человек положительный, неинтересный. Говорить не умею.

– Вы напрашиваетесь на любезность, Евгений Васильевич.

– Это не в моих привычках. Разве вы не знаете сами, что изящная сторона жизни мне недоступна, та сторона, которую вы так дорожите?

Одинцова покусала угол носового платка.

– Думайте, что хотите, но мне будет скучно, когда вы уедете.

– Аркадий останется, – заметил Базаров.

Одинцова слегка пожала плечом.

– Мне будет скучно, – повторила она.

– В самом деле? Во всяком случае, долго вы скучать не будете.

– Отчего вы так полагаете?

– Оттого, что вы сами мне сказали, что скучаете только тогда, когда ваш порядок нарушается. Вы так непогрешительно правильно устроили вашу жизнь, что в ней не может быть места ни скуке, ни тоске... никаким тяжелым чувствам.

– И вы находите, что я непогрешительна... то есть что я так правильно устроила свою жизнь?

– Еще бы! Да вот, например: через несколько минут пробьет десять часов, и я уж наперед знаю, что вы прогоните меня.

– Нет, не прогоню, Евгений Васильич. Вы можете остаться. Отворите это окно... мне что-то душно.

Базаров встал и толкнул окно. Оно разом со стуком распахнулось... Он не ожидал, что оно так легко отворялось; притом его руки дрожали. Темная мягкая ночь глянула в комнату с своим почти черным небом, слабо шумевшими деревьями и свежим запахом вольного, чистого воздуха.

– Спустите штору и сядьте, – промолвила Одинцова, – мне хочется поболтать с вами перед вашим отъездом. Расскажите мне что-нибудь о самом себе; вы никогда о себе не говорите.

– Я стараюсь беседовать с вами о предметах полезных, Анна Сергеевна.

– Вы очень скромны... Но мне хотелось бы узнать что-нибудь о вас, о вашем семействе, о вашем отце, для которого вы нас покидаете.

«Зачем она говорят такие слова?» – подумал Базаров.

– Все это нисколько не занимательно, – произнес он вслух, – особенно для вас; мы люди темные...

– А я, по-вашему, аристократка?

Базаров поднял глаза на Одинцову.

– Да, – промолвил он преувеличенно резко.

Она усмехнулась.

– Я вижу, вы меня знаете мало, хотя вы и уверяете, что все люди друг на друга похожи и что их изучать не стоит. Я вам когда-нибудь расскажу свою жизнь... но вы мне прежде расскажете свою.

– Я вас знаю мало, – повторял Базаров. – Может быть, вы правы; может быть, точно, всякий человек – загадка. Да хотя вы, например: вы чуждаетесь общества, вы им тяготитесь – и пригласили к себе на жительство двух студентов. Зачем вы, с вашим умом, с вашей красотой, живете в деревне?

– Как? Как вы это сказали? – с живостью подхватила Одинцова. – С моей... красотой?

Базаров нахмурился.

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)

– Это все равно, – пробормотал он, – я хотел сказать, что не понимаю хорошенько, зачем вы поселились в деревне.

– Вы этого не понимаете... Однако вы объясняете это себе как-нибудь?

– Да... я полагаю, что вы постоянно остаетесь на одном месте потому, что вы себя избаловали, потому что вы очень любите комфорт, удобства, а ко всему остальному очень равнодушны.

Одинцова опять усмехнулась.

– Вы решительно не хотите верить, что я способна увлекаться?

Базаров исподлобья взглянул на нее.

– Любопытством – пожалуй; но не иначе.

– В самом деле? Ну, теперь я понимаю, почему мы сошлись с вами; ведь и вы такой же, как я.

– Мы сошлись... – глухо промолвил Базаров.

– Да!., ведь я забыла, что вы хотите уехать.

Базаров встал. Лампа тускло горела посреди потемневшей, благовоной, уединенной комнаты; сквозь изредка колыхавшуюся штору вливалась раздражительная свежесть ночи, слышалось ее таинственное шептание. Одинцова не шевелилась ни одним членом, но тайное волнение охватывало ее понемногу... Оно сообщилось Базарову. Он вдруг почувствовал себя наедине с молодой прекрасною женщиной...

– Куда вы? – медленно проговорила она.

Он ничего не отвечал и опустил на стул.

– Итак, вы считаете меня спокойным, изнеженным, избалованным существом, – продолжала она тем же голосом, не спуская глаз с окна. – А я так знаю о себе, что я очень несчастлива.

– Вы несчастливы! Отчего? Неужели вы можете придавать какое-нибудь значение дрянным сплетням?

Одинцова нахмурилась. Ей стало досадно, что он так ее понял.

– Меня эти сплетни даже не смешат, Евгений Васильевич, и я слишком горда, чтобы позволить им меня беспокоить. Я несчастлива оттого... что нет во мне желания, охоты жить. Вы недоверчиво на меня смотрите, вы думаете: это говорит «аристократка», которая вся в кружевах и сидит на бархатном кресле. Я и не скрываюсь: я люблю то, что вы называете комфортом, и в то же время я мало желаю жить. Примирите это противоречие как знаете. Впрочем, это все в ваших глазах романтизм.

Базаров покачал головою.

– Вы здоровы, независимы, богаты; чего же еще? Чего вы хотите?

– Чего я хочу, – повторила Одинцова и вздохнула. – Я очень устала, я стара, мне кажется, я очень давно живу. Да, я стара, – прибавила она, тихонько натягивая концы мантильи на свои обнаженные руки. Ее глаза встретились с глазами Базарова, и она чуть-чуть покраснела. – Позади меня уже так много воспоминаний: жизнь в Петербурге, богатство, потом бедность, потом смерть отца, замужество, потом заграничная поездка, как следует... Воспоминаний много, а вспомнить нечего, и впереди, передо мной – длинная, длинная дорога, а цели нет... Мне и не хочется идти.

– Вы так разочарованы? – спросил Базаров.

– Нет, – промолвила с расстановкой Одинцова, – но я не удовлетворена. Кажется, если б я могла сильно привязаться к чему-нибудь...

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)

– Вам хочется полюбить, – перебил Базаров, – а полюбить вы не можете: вот в чем ваше несчастье.

Одинцова принялась рассматривать рукава своей мантильи.

– Разве я не могу полюбить? – промолвила она.

– Едва ли! Только я напрасно назвал это несчастьем. Напротив, тот скорее достоин сожаления, с кем эта штука случается.

– Случается что?

– Полюбить.

– А вы почему это знаете?

– Понаслышке, – сердито отвечал Базаров.

«Ты кокетничаешь, – подумал он, – ты скучаешь и дразнишь меня от нечего делать, а мне...» Сердце у него действительно так и рвалось.

– Притом вы, может быть, слишком требовательны, – промолвил он, наклонившись всем телом вперед и играя бахромою кресла.

– Может быть. По-моему, или все, или ничего. Жизнь за жизнь. Взял мою, отдай свою, и тогда уже без сожаления и без возврата. А то лучше и не надо.

– Что ж? – заметил Базаров, – это условие справедливое, и я удивляюсь, как вы до сих пор... не нашли, чего желали.

– А вы думаете, легко отдаться вполне чему бы то ни было?

– Не легко, если станешь размышлять, да выжидать, да самому себе придавать цену, дорожить собою то есть; а не размышляя, отдаться очень легко.

– Как же собою не дорожить? Если я не имею никакой цены, кому же нужна моя преданность?

– Это уже не мое дело; это дело другого разбирать, какая моя цена. Главное, надо уметь отдаться.

Одинцова отделилась от спинки кресла.

– Вы говорите так, – начала она, – как будто все это испытали.

– К слову пришлось, Анна Сергеевна: это все, вы знаете, не по моей части.

– Но вы бы сумели отдаться?

– Не знаю, хвастаться не хочу.

Одинцова ничего не сказала, и Базаров умолк. Звуки фортепьяно долетели до них из гостиной.

– Что это Катя так поздно играет, – заметила Одинцова.

Базаров поднялся.

– Да, теперь точно поздно, вам пора почивать.

– Погодите, куда же вы спешите... мне нужно сказать вам одно слово.

– Какое?

– Погодите, – шепнула Одинцова.

Ее глаза остановились на Базарове; казалось, она внимательно его рассматривала.

Он прошелся по комнате, потом вдруг приблизился к ней, торопливо сказал «прощайте», стиснул ей руку так, что она чуть не вскрикнула, и вышел вон. Она поднесла свои склеившиеся пальцы к губам, подула на них и внезапно, порывисто, поднявшись с кресла, направилась быстрыми шагами к двери, как бы желая вернуть Базарова... Горничная вошла в комнату с графином на серебряном подносе. Одинцова остановилась, велела ей уйти и села опять, и опять задумалась. Коса ее развилась и темною змеей упала к ней на плечо. Лампа еще долго горела в комнате Анны Сергеевны, и долго она оставалась неподвижною, лишь изредка проводя пальцами по своим рукам, которые слегка покусывал ночной холод.

А Базаров, часа два спустя, вернулся к себе в спальню с мокрыми от росы сапогами, взъерошенный и угрюмый. Он застал Аркадия за письменным столом, с книгой в руках, в застегнутом доверху сюртуке.

– Ты еще не ложишься? – проговорил он как бы с досадой.

– Ты долго сидел сегодня с Анной Сергеевной, – промолвил Аркадий, не отвечая на его вопрос.

– Да, я с ней сидел все время, пока вы с Катериной Сергеевной играли на фортепьяно.

– Я не играл... – начал было Аркадий и умолк. Он чувствовал, что слезы приступали к его глазам, а ему не хотелось заплакать перед своим насмешливым другом.

#### XVIII

На следующий день, когда Одинцова явилась к чаю, Базаров долго сидел, нагнувшись над своею чашкою, да вдруг взглянул на нее. Она обернулась к нему, как будто он ее толкнул, и ему показалось, что лицо ее слегка побледнело за ночь. Она скоро ушла к себе в комнату и появилась только к завтраку. С утра погода стояла дождливая, не было возможности гулять. Все общество собралось в гостиную. Аркадий достал последний номер журнала и начал читать. Княжна, по обыкновению своему, сперва выразила на лице своем удивление, точно он затевал нечто неприличное, потом злобно уставилась на него, но он не обратил на нее внимания.

– Евгений Васильевич, – проговорила Анна Сергеевна, – пойдите ко мне... Я хочу у вас спросить... Вы назвали вчера одно руководство...

Она встала и направилась к дверям. Княжна посмотрела вокруг с таким выражением, как бы желала сказать: «Посмотрите, посмотрите, как я изумляюсь!» – и опять уставилась на Аркадия, но он возвысил голос и, переглянувшись с Катей, возле которой сидел, продолжал чтение.

Одинцова скорыми шагами дошла до своего кабинета. Базаров проворно следовал за нею, не поднимая глаз и только ловя слухом тонкий свист и шелест скользившего перед ним шелкового платья. Одинцова опустилась на то же самое кресло, на котором сидела накануне, и Базаров занял вчерашнее свое место.

– Так как же называется эта книга? – начала она после небольшого молчания.

– *Pe'louse et Frémy, «Notions générales»*... – отвечал Базаров. – Впрочем, можно вам также порекомендовать *Ganot, «Traité élémentaire de physique expérimentale»* [154]. В этом сочинении рисунки отчетливее и вообще этот учебник...

Одинцова протянула руку.

– Евгений Васильич, извините меня, но я позвала вас сюда не с тем, чтобы рассуждать об учебниках. Мне хотелось возобновить наш вчерашний разговор. Вы ушли так внезапно... Вам не будет скучно?

– Я к вашим услугам, Анна Сергеевна. Но о чем, бишь, беседовали мы вчера с вами?

Одинцова бросила косвенный взгляд на Базарова

– Мы говорили с вами, кажется, о счастье. Я вам рассказывала о самой себе. Кстати вот, я упомянула слово «счастье». Скажите, отчего, даже когда мы наслаждаемся, например, музыкой, хорошим вечером, разговором с симпатическими



Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
людьми, отчего все это кажется скорее намеком на какое-то безмерное, где-то существующее счастье, чем действительным счастьем, то есть таким, которым мы сами обладаем? Отчего это? Иль вы, может быть, ничего подобного не ощущаете?

– Вы знаете поговорку: «Там хорошо, где нас нет», – возразил Базаров, – притом же вы сами сказали вчера, что вы не удовлетворены. А мне в голову, точно, такие мысли не приходят.

– Может быть, они кажутся вам смешными?

– Нет, но они мне не приходят в голову.

– В самом деле? Знаете, я бы очень желала знать, о чем вы думаете?

– Как? я вас не понимаю.

– Послушайте, я давно хотела объясниться с вами. Вам нечего говорить, – вам это самим известно, – что вы человек не из числа обыкновенных; вы еще молоды – вся жизнь перед вами. К чему вы себя готовите? Какая будущность ожидает вас? Я хочу сказать – какой цели вы хотите достигнуть, куда вы идете, что у вас на душе? Словом, кто вы, что вы?

– Вы меня удивляете, Анна Сергеевна Вам известно, что я занимаюсь естественными науками, а кто я...

– Да, кто вы?

– Я уже докладывал вам, что я будущий уездный лекарь.

Анна Сергеевна сделала нетерпеливое движение.

– Зачем вы это говорите? Вы этому сами не верите. Аркадий мог бы мне отвечать так, а не вы.

– Да чем же Аркадий...

– Перестаньте! Возможно ли, чтобы вы удовольствовались такою скромною деятельностью, и не сами ли вы всегда утверждаете, что для вас медицина не существует. Вы – с вашим самолюбием – уездный лекарь! Вы мне отвечаете так, чтобы отделаться от меня, потому что вы не имеете никакого доверия ко мне. А знаете ли, Евгений Васильич, что я умела бы понять вас: я сама была бедна и самолюбива, как вы; я прошла, может быть, через такие же испытания, как и вы.

– Все это прекрасно, Анна Сергеевна, но вы меня извините... я вообще не привык высказываться, и между вами и мною такое расстояние.

– Какое расстояние? Вы опять мне скажете, что я аристократка? Полноте, Евгений Васильич; я вам, кажется, доказала...

– Да и кроме того, – перебил Базаров, – что за охота говорить и думать о будущем, которое большею частью не от нас зависит. Выйдет случай что-нибудь сделать – прекрасно, а не выйдет – по крайней мере тем будешь доволен, что заранее напрасно не болтал.

– Вы называете дружескую беседу болтовней... Или, может быть, вы меня, как женщину, не считаете достойною вашего доверия? Ведь вы нас всех презираете.

– Вас я не презираю, Анна Сергеевна, и вы это знаете.

– Нет, я ничего не знаю... но положим: я понимаю ваше нежелание говорить о будущей вашей деятельности; но то, что в вас теперь происходит...

– Происходит! – повторил Базаров, – точно я государство какое или общество! Во всяком случае это вовсе не любопытно; и притом разве человек всегда может громко сказать все, что в нем «происходит»?

– А я не вижу, почему нельзя высказать все, что имеешь на душе.

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)

– Вы можете? – спросил Базаров.

– Могу, – отвечала Анна Сергеевна после небольшого колебания.

Базаров наклонил голову.

– Вы счастливее меня.

Анна Сергеевна вопросительно посмотрела на него.

– Как хотите, – продолжала она, – а мне все-таки что-то говорит, что мы сошлись недаром, что мы будем хорошими друзьями. Я уверена, что ваша эта, как бы сказать, ваша напряженность, сдержанность исчезнет наконец?

– А вы заметили во мне сдержанность... как вы еще выразились... напряженность?

– Да.

Базаров встал и подошел к окну.

– И вы желали бы знать причину этой сдержанности, вы желали бы знать, что во мне происходит?

– Да, – повторила Одинцова с каким-то, ей еще непонятным, испугом.

– И вы не рассердитесь?

– Нет.

– Нет? – Базаров стоял к ней спиной. – Так знайте же, что я люблю вас глупо, безумно... Вот чего вы добились.

Одинцова протянула вперед обе руки, а Базаров уперся лбом в стекло окна. Он задыхался; все тело его видимо трепетало. Но это было не трепетание юношеской робости, не сладкий ужас первого признания овладел им: это страсть в нем билась, сильная и тяжелая – страсть, похожая на злобу и, быть может, сродни ей... Одинцовой стало и страшно и жалко его.

– Евгений Васильич, – проговорила она, и невольная нежность зазвенела в ее голосе.

Он быстро обернулся, бросил на нее пожирающий взор – и, схватив ее обе руки, внезапно привлек ее к себе на грудь.

Она не тотчас освободилась из его объятий, но мгновение спустя она уже стояла далеко в углу и глядела оттуда на Базарова. Он рванулся к ней...

– Вы меня не поняли, – прошептала она с торопливым испугом. Казалось, шагни он еще раз, она бы вскрикнула... Базаров закусил губы и вышел.

Полчаса спустя служанка подала Анне Сергеевне записку от Базарова; она состояла из одной только строчки: «Должен ли я сегодня уехать – или могу остаться до завтра?» – «Зачем уезжать? Я вас не понимала – вы меня не поняли», – ответила ему Анна Сергеевна, а сама подумала: «Я и себя не понимала».

Она до обеда не показывалась и все ходила взад и вперед по своей комнате, заложив руки назад, изредка останавливаясь то веред окном, то веред зеркалом, и медленно проводила платком по шее, на которой ей все чудилось горячее пятно. Она спрашивала себя, что заставляло ее «добиваться», по выражению Базарова, его откровенности, и не подозревала ли она чего-нибудь – «Я виновата, – промолвила она вслух, – но я этого не могла предвидеть». Она задумывалась и краснела, вспоминая почтя зверское лицо Базарова, когда он бросился к ней...

«Или?» – произнесла она вдруг, и остановилась, и тряхнула кудрями... Она увидела себя в зеркале; ее назад закинута голова с таинственной улыбкой на полузакрытых, полураскрытых глазах и губах, казалось, говорила ей в этот миг что-то такое, от чего она сама смутилась...

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
«Нет, – решила она наконец, – бог знает, куда бы это повело, этим нельзя шутить, спокойствие все-таки лучше всего на свете».

Ее спокойствие не было потрясено; но она опечалилась и даже всплакнула раз, сама не зная отчего, только не от нанесенного оскорбления. Она не чувствовала себя оскорбленной: она скорее чувствовала себя виноватой. Под влиянием различных смутных чувств, сознания уходящей жизни, желания новизны она заставила себя дойти до известной черты, заставила себя заглянуть за нее – и увидела за ней даже не бездну, а пустоту... или безобразия.

## XIX

Как ни владела собою Одинцова, как ни стояла выше всяких предрассудков, но и ей было неловко, когда она явилась в столовую к обеду. Впрочем, он прошел довольно благополучно. Порфирий Платоныч приехал, рассказал разные анекдоты; он только что вернулся из города. Между прочим, он сообщил, что губернатор, Бурдалу, приказал своим чиновникам по особым поручениям носить шпоры, на случай если он пошлет их куда-нибудь для скорости, верхом. Аркадий вполголоса рассуждал с Катей и дипломатически прислуживался княжне. Базаров упорно и угрюмо молчал. Одинцова раза два – прямо, не украдкой – посмотрела на его лицо, строгое и желчное, с опущенными глазами, с отпечатком презрительной решимости в каждой черте, и подумала: «Нет... нет... нет...». После обеда она со всем обществом отправилась к сад и, видя, что Базаров желает заговорить с нею, сделала несколько шагов в сторону и остановилась. Он приблизился к ней, но и тут не поднял глаз и глухо промолвил:

– Я должен извиниться перед вами, Анна Сергеевна. Вы не можете не гневаться на меня.

– Нет, я на вас не сержусь, Евгений Васильич, – отвечала Одинцова, – но я огорчена.

– Тем хуже. Во всяком случае, я довольно наказан. Мое положение, с этим вы, вероятно, согласитесь, самое глупое. Вы мне написали: зачем уезжать? А я не могу и не хочу остаться. Завтра меня здесь не будет.

– Евгений Васильич, зачем вы...

– Зачем я уезжаю?

– Нет, я не то хотела сказать.

– Прошедшего не воротишь, Анна Сергеевна... а рано или поздно это должно было случиться, следовательно, мне надобно уехать. Я понимаю только одно условие, при котором я бы мог остаться; но этому условию не бывать никогда, ведь вы, извините мою дерзость, не любите меня и не полюбите никогда?

Глаза Базарова сверкнули на мгновение из-под темных его бровей.

Анна Сергеевна не отвечала ему. «Я боюсь этого человека», – мелькнуло у ней в голове.

– Прощайте-с, – проговорил Базаров, как бы угадав ее мысль, и направился к дому.

Анна Сергеевна тихонько пошла вслед за ним и, подзвав Катю, взяла ее под руку. Она не расставалась с ней до самого вечера. В карты она играть не стала и все больше посмеивалась, что вовсе не шло к ее побледневшему и смущенному лицу. Аркадий недоумевал и наблюдал за нею, как молодые люди наблюдают, то есть постоянно вопрошая самого себя: что, мол, это значит? Базаров заперся у себе в комнате; к чаю он, однако, вернулся. Анне Сергеевне хотелось сказать ему какое-нибудь доброе слово, но она не знала, как заговорить с ним...

Неожиданный случай вывел ее из затруднения: дворецкий доложил о приезде Ситникова.

Трудно передать словами, какую перепелкой влетел в комнату молодой прогрессист. Решившись, с свойственной ему назойливостью, поехать в деревню к женщине, которую он едва знал, которая никогда его не приглашала, но у которой, по собранным сведениям, гостили такие умные и близкие ему люди, он все-таки робел до мозга костей и, вместо того чтобы произнести заранее затверженные извинения и

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
приветствия, пробормотал какую-то дрянь, что Евдоксия, дескать, Кукшина прислала его узнать о здоровье Анны Сергеевны и что Аркадий Николаевич тоже ему всегда отзывался с величайшею похвалой... На этом слове он запнулся и потерялся до того, что сел на собственную шляпу. Однако, так как никто его не прогнал и Анна Сергеевна даже представила его тетке и сестре, он скоро оправился и затрещал на славу. Появление пошлости бывает часто полезно в жизни: оно ослабляет слишком высоко настроенные струны, отрезвляет самоуверенные или самозабывчивые чувства, напоминая им свое близкое родство с ними. С прибытием Ситникова все стало как-то тупее – и проще; все даже поужинали плотней и разошлись спать полчасом раньше обыкновенного.

– Я могу тебе теперь повторить, – говорил, лежа в постели, Аркадий Базарову, который тоже разделся, – то, что ты мне сказал однажды: «Отчего ты так грустен? Верно, исполнил какой-нибудь священный долг?»

Между обоими молодыми людьми с некоторых пор установилось какое-то лжеразвязное подтрунивание, что всегда служит признаком тайного неудовольствия или невысказанных подозрений.

– Я завтра к батьке уезжаю, – проговорил Базаров.

Аркадий приподнялся и оперся на локоть. Он и удивился и почему-то обрадовался.

– А! – промолвил он. – И ты от этого грустен?

Базаров зевнул.

– Много будешь знать, состареешься.

– А как же Анна Сергеевна? – продолжал Аркадий.

– Что такое Анна Сергеевна?

– Я хочу сказать: разве она тебя отпустит?

– Я у ней не нанимался.

Аркадий задумался, а Базаров лег и повернулся лицом к стене.

Прошло несколько минут в молчании.

– Евгений! – воскликнул вдруг Аркадий.

– Ну?

– Я завтра с тобой уеду тоже.

Базаров ничего не отвечал.

– Только я домой поеду, – продолжал Аркадий. – Мы вместе отправимся до Хохловских выселков, а там ты возьмешь у Федота лошадей. Я бы с удовольствием познакомился с твоими, да я боюсь и их стеснить и тебя. Ведь ты потом опять приедешь к нам?

– Я у вас свои вещи оставил, – отозвался Базаров, не оборачиваясь.

«Зачем же он меня не спрашивает, почему я еду? и так же внезапно, как и он? – подумал Аркадий. – В самом деле, зачем я еду и зачем он едет?» – продолжал он свои размышления. Он не мог отвечать удовлетворительно на собственный вопрос, а сердце его наполнялось чем-то едким. Он чувствовал, что тяжело ему будет расстаться с этой жизнью, к которой он так привык; но и оставаться одному было как-то странно. «Что-то у них произошло, – рассуждал он сам с собою, – зачем же я буду торчать перед нею после отъезда? я ей окончательно надоем; я и последнее потеряю». Он начал представлять себе Анну Сергеевну, потом другие черты понемногу проступили сквозь красивый облик молодой вдовы.

«Жаль и Кати!» – шепнул Аркадий в подушку, на которую уже капнула слеза... Он вдруг вскинул волосами и громко промолвил:

– На какого черта этот глупец Ситников пожаловал?

Базаров сперва пошевелился на постели, а потом произнес следующее:

– Ты, брат, глуп еще, я вижу. Ситниковы нам необходимы. Мне, пойми ты это, – мне нужны подобные олухи. Не богам же, в самом деле, горшки обжигать!..

«Эге-ге!.. – подумал про себя Аркадий, и тут только открылась ему на миг вся бездонная пропасть базаровского самолюбия. – Мы, стало быть, с тобою боги? то есть – ты бог, а олух уж не я ли?»

– Да, – повторил угрюмо Базаров, – ты еще глуп.

Одинцова не изъявила особенного удивления, когда на другой день Аркадий сказал ей, что уезжает с Базаровым; она казалась рассеянною и усталою. Катя молча и серьезно посмотрела на него, княжна даже перекрестилась под своею шалью, так что он не мог этого не заметить; зато Ситников совершенно переполошился. Он только что сошел к завтраку в новом щегольском, на этот раз не славянофильском, наряде; накануне он удивил приставленного к нему человека множеством навезенного им белья, и вдруг его товарищи его покидают! Он немножко посеменил ногами, пометался, как тонный заяц на опушке леса, – и внезапно, почти с испугом, почти с криком объявил, что и он намерен уехать. Одинцова не стала его удерживать.

– У меня очень покойная коляска, – прибавил несчастный молодой человек, обращаясь к Аркадию, – я могу вас подвезти, а Евгений Васильич может взять ваш тарантас, так оно даже удобнее будет.

– Да помилуйте, вам совсем не по дороге, и до меня далеко.

– Это ничего, ничего; времени у меня много, притом у меня в той стороне дела есть.

– По откупам? – спросил Аркадий уже слишком презрительно.

Но Ситников находился в таком отчаянии, что, против обыкновения, даже не засмеялся.

– Я вас уверяю, коляска чрезвычайно покойная, – пробормотал он, – и всем место будет.

– Не огорчайте мсьё Ситникова отказом, – промолвила Анна Сергеевна.

Аркадий взглянул на нее и значительно наклонил голову.

Гости уехали после завтрака. Прощаясь с Базаровым, Одинцова протянула, ему руку и сказала:

– Мы еще увидимся, не правда ли?

– Как прикажете, – ответил Базаров.

– В таком случае мы увидимся.

Аркадий первый вышел на крыльцо; он взобрался в ситниковскую коляску. Его почтительно подсаживал дворецкий, а он бы с удовольствием его побил или расплакался. Базаров поместился в тарантасе. Добравшись до Хохловских выселков, Аркадий подождал, пока Федот, содержатель постоялого двора, запряг лошадей, и, подойдя к тарантасу, с прежнею улыбкой сказал Базарову:

– Евгений, возьми меня с собой; я хочу к тебе поехать.

– Садись, – произнес сквозь зубы Базаров.

Ситников, который расхаживал, бойко посвистывая, вокруг колес своего экипажа, только рот разинул, услышав эти слова, а Аркадий хладнокровно вынул свои вещи из его коляски, сел возле Базарова – и, учтиво поклонившись своему бывшему спутнику, крикнул: «Трогай!». Тарантас покатило и скоро исчез из вида... Ситников,

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
окончательно сконфуженный, посмотрел на своего кучера, но тот играл кнутиком над хвостом пристяжной. Тогда Ситников вскочил в коляску и, загремев на двух проходивших мужиков: «Наденьте шапки, дураки!» – потащился в город, куда прибыл очень поздно и где на следующий день у Кукшиной сильно досталось двум «противным гордецам и невежам».

Садясь в тарантас к Базарову, Аркадий крепко стиснул ему руку и долго ничего не говорил. Казалось, Базаров понял и оценил и это пожатие и это молчание. Предшествовавшую ночь он всю не спал и не курил, и почти ничего не ел уже несколько дней. Сумрачно и резко выдавался его похудалый профиль из-под нахлобученной фуражки.

– Что, брат, – проговорил он наконец, – дай-ка сигарку... Да посмотри, чай, желтый у меня язык?

– Желтый, – отвечал Аркадий.

– Ну да... вот и сигарка не вкусна. Расклеилась машина.

– Ты действительно изменился в это последнее время, – заметил Аркадий.

– Ничего! поправимся. Одно скучно – мать у меня такая сердобольная: коли брюха не отрастил да не ешь десять раз на день, она и убивается. Ну, отец ничего, тот сам был везде, и в сите и в решете. Нет, нельзя курить, – прибавил он и швырнул сигарку в пыль дороги.

– До твоего имения двадцать пять верст? – спросил Аркадий.

– Двадцать пять. Да вот спроси у этого мудреца.

Он указал на сидевшего на козлах мужика, Федотова работника.

Но мудрец отвечал, что «хтошь е знает – вёрсты тутотка не меряные», и продолжал вполголоса бранить коренную за то, что она «головизной лягает», то есть дергает головой.

– Да, да, – заговорил Базаров, – урок вам, юный друг мой, поучительный некий пример. Черт знает, что за вздор! Каждый человек на ниточке висит, бездна ежеминутно под ним разверзнуться может, а он еще сам придумывает себе всякие неприятности, портит свою жизнь.

– Ты на что намекаешь? – спросил Аркадий.

– Я ни на что не намекаю, я прямо говорю, что мы оба с тобой очень глупо себя вели. Что тут толковать! Но я уже в клинике заметил: кто злится на свою боль – тот непременно ее победит.

– Я тебя не совсем понимаю, – промолвил Аркадий, – кажется, тебе не на что было пожаловаться.

– А коли ты не совсем меня понимаешь, так я тебе доложу следующее: по-моему, лучше камни бить на мостовой, чем позволить женщине завладеть хотя бы кончиком пальца. Это все... – Базаров чуть было не произнес своего любимого слова «романтизм», да удержался и сказал: – вздор. Ты мне теперь не поверишь, но я тебе говорю: мы вот с тобой попали в женское общество, и нам было приятно; но бросить подобное общество – все равно что в жаркий день холодной водой окатиться. Мужчине некогда заниматься такими пустяками; мужчина должен быть свиреп, гласит отличная испанская поговорка. Ведь вот ты, – прибавил он, обращаясь к сидевшему на козлах мужику, – ты, умница, есть у тебя жена?

Мужик показал обоим приятелям свое плоское и подслеповатое лицо.

– Жена-то? Есть. Как не быть жене?

– Ты ее бьешь?

– Жену-то? Всяко случается. Без причины не бьем.

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)

– И прекрасно. Ну, а она тебя бьет?

Мужик задергал вожжами.

– Эко слово ты сказал, барин. Тебе бы все шутить... – Он, видимо, обиделся.

– Слышишь, Аркадий Николаевич! А нас с вами прибили... вот оно что значит быть образованными людьми.

Аркадий принужденно засмеялся, а Базаров отвернулся и во всю дорогу уже не разевал рта.

Двадцать пять верст показались Аркадию за целых пятьдесят. Но вот на скате пологого холма открылась наконец небольшая деревушка, где жили родители Базарова. Рядом с нею, в молодой березовой рощице, виднелся дворянский домик под соломенной крышей. У первой избы стояли два мужика в шапках и бранились. «Большая ты свинья, – говорил один другому, – а хуже малого поросенка». – «А твоя жена – колдунья», – возражал другой.

– По непринужденности обращения, – заметил Аркадию Базаров, – и по игривости оборотов речи ты можешь судить, что мужики у моего отца не слишком притеснены. Да вот и он сам выходит на крыльцо своего жилища. Услыхал, знать, колокольчик. Он, он – узнаю его фигуру. Эге-ге! как он, однако, поседел, бедняга!

XX

Базаров высунулся из тарантаса, а Аркадий вытянул голову из-за спины своего товарища и увидал на крыльце господского домика высокого, худощавого человека с взъерошенными волосами и тонким орлиным носом, одетого в старый военный сюртук нараспашку. Он стоял, растопырив ноги, курил длинную трубку и щурился от солнца.

Лошади остановились.

– Наконец пожаловал, – проговорил отец Базарова, все продолжая курить, хотя чубук так и прыгал у него между пальцами. – Ну, вылезай, вылезай, почеломкаемся.

Он стал обнимать сына... «Енюшка, Енюшка», – раздался трепещущий женский голос. Дверь распахнулась, и на пороге показалась кругленькая, низенькая старушка в белом чепце и короткой пестрой кофточке. Она ахнула, пошатнулась и наверно бы упала, если бы Базаров не поддержал ее. Пухлые ее ручки мгновенно обвились вокруг его шеи, голова прижалась к его груди, и все замолкло. Только слышались ее прерывистые всхлипывания.

Старик Базаров глубоко дышал и щурился пуще прежнего.

– Ну, полно, полно, Ариша! Перестань, – заговорил он, поменявшись взглядом с Аркадием, который стоял неподвижно у тарантаса, между тем как мужик на козлах даже отвернулся. – Это совсем не нужно! Пожалуйста, перестань.

– Ах, Василий Иваныч, – пролепетала старушка, – в кои-то веки батюшку-то моего, голубчика-то, Енюшеньку... – И, не разжимая рук, она отодвинула от Базарова свое мокрое от слез, смятое и умиленное лицо, посмотрела на него какими-то блаженными и смешными глазами и опять к нему припала.

– Ну да, конечно, это все в натуре вещей, – промолвил Василий Иваныч, – только лучше уж в комнату пойдем. С Евгением вот гость приехал. Извините, – прибавил он, обращаясь к Аркадию, и шаркнул слегка ногой, – вы понимаете, женская слабость; ну и сердце матери...

А у самого и губы и брови дергало и подбородок трясся... но он, видимо, желал победить себя и казаться чуть не равнодушным. Аркадий наклонился.

– Пойдемте, матушка, в самом деле, – промолвил Базаров и повел в дом ослабевшую старушку. Усадив ее в покойное кресло, он еще раз наскоро обнялся с отцом и представил ему Аркадия.

– Душевно рад знакомству, – проговорил Василий Иванович, – только уж вы не взыщите; у меня здесь все по простоте, на военную ногу. Арина Власьевна, успокойся, сделай одолжение: что за малодушие? Господин гость должен осудить

тебя.

– Батюшка, – сквозь слезы проговорила старушка, – имени и отчества не имею чести знать...

– Аркадий Николаич, – с важностью, вполголоса, подсказал Василий Иваныч.

– Извините меня, глупую. – Старушка высморкалась и, нагиная голову то направо, то налево, тщательно утерла один глаз после другого. – Извините вы меня. Ведь я так и думала, что умру, не дожусь моего го...о...о... лубчика.

– А вот и дождались, сударыня, – подхватил Василий Иванович. – Танюшка, – обратился он к босоногой девочке лет тринадцати, в ярко-красном ситцевом платье, пугливо выглядывавшей из-за двери, – принеси барыне стакан воды – на подносе, слышишь?., а вас, господа, – прибавил он с какою-то старомодною игривостью, – позвольте попросить в кабинет к отставному ветерану.

– Хоть еще разочек дай обнять себя, Енюшечка, – простонала Арина Власьевна. Базаров нагнулся к ней. – Да какой же ты красавчик стал!

– Ну, красавчик не красавчик, – заметил Василий Иванович, – а мужчина, как говорится: оммфе[155]. А теперь, я надеюсь, Арина Власьевна, что, насытив свое материнское сердце, ты позаботишься о насыщении своих дорогих гостей, потому что, тебе известно, соловья баснями кормить не следует.

Старушка привстала с кресел.

– Сию минуту, Василий Иваныч, стол накрыт будет, сама в кухню сбегая и самовар поставит велю, все будет, все. Ведь три года его не видала, не кормила, не поила, легко ли?

– Ну, смотри же, хозяйюшка, хлопочи, не осрамись; а вас, господа, прошу за мной пожаловать. Вот и Тимофеич явился к тебе на поклон, Евгений. И он, чай, обрадовался, старый барбос. Что? ведь обрадовался, старый барбос?.. Милости просим за мной.

И Василий Иванович суетливо пошел вперед, шаркая и шлепая стоптанными туфлями.

Весь его домик состоял из шести крошечных комнат. Одна из них, та, куда он привел наших приятелей, называлась кабинетом. Толстоногий стол, заваленный почерневшими от старинной пыли, словно прокопченными бумагами, занимал весь промежуток между двумя окнами: по стенам висели турецкие ружья, нагайки, сабля, две ландкарты, какие-то анатомические рисунки, портрет Гуфеланда, вензель из волос в черной рамке и диплом под стеклом, кожаный, кое-где продавленный и разорванный, диван помещался между двумя громадными шкапами из карельской березы; на полках в беспорядке теснились книги, коробочки, птичьи чучелы, банки, пузырьки; в одном углу стояла сломанная электрическая машина.

– Я вас предупредил, любезный мой посетитель, – начал Василий Иваныч, – что мы живем здесь, так сказать, на бивуаках...

– Да перестань, что ты извиняешься? – перебил Базаров. – Кирсанов очень хорошо знает, что мы с тобой не крезы и что у тебя не дворец. Куда мы его поместим, вот вопрос.

– Помилуй, Евгений; там у меня во флигельке отличная комнатка: им там очень хорошо будет.

– Так у тебя и флигелек завелся?

– Как же-с; где баня-с, – вмешался Тимофеич.

– То есть рядом с баней, – поспешно присовокупил Василий Иванович. – Теперь же лето... Я сейчас сбегая туда, распоряжусь. А ты бы, Тимофеич, пока их вещи внес... Тебе, Евгений, я, разумеется, предоставляю мой кабинет. Suum cuique[156].

– Вот тебе на! Презабавный старикашка и добрейший, – прибавил Базаров, как только Василий Иванович вышел. – Такой же чудака, как твой, только в другом роде.



Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
Много уж очень болтает.

- И мать твоя, кажется, прекрасная женщина, – заметил Аркадий.
- Да, она у меня без хитрости. Обед нам, посмотри, какой задаст.
- Сегодня вас не ждали, батюшка, говядинки не привезли, – промолвил Тимофеич, который только что втащил базаровский чемодан.
- И без говядинки обойдемся, на нет и суда нет. Бедность, говорят, не порок.
- Сколько у твоего отца душ? – спросил вдруг Аркадий.
- Имение не его, а матери; душ, помнится, пятнадцать.
- И все двадцать две, – с неудовольствием заметил Тимофеич.

Послышалось шлепанье туфель, и снова появился Василий Иванович.

- Через несколько минут ваша комната будет готова принять вас, – воскликнул он с торжественностью, – Аркадий... Николаич? так, кажется, вы изволите величаться? А вот вам и прислуга, – прибавил он, указывая на вошедшего с ним коротко остриженного мальчика в синем, на локтях прорванном, кафтане и в чужих сапогах. – Зовут его федькой. Опять-таки повторяю, хоть сын и запрещает, не взыщите. Впрочем, трубку набивать он умеет. Ведь вы курите?
- Я курю больше сигары, – ответил Аркадий.

- И весьма благоразумно поступаете. Я сам отдаю преферанс[157] сигаркам, но в наших уединенных краях доставать их чрезвычайно затруднительно.
- Да полно тебе Лазаря петь, – перебил опять Базаров. – Сядь лучше вот тут на диван да дай на себя посмотреть.

Василий Иванович засмеялся и сел. Он очень походил лицом на своего сына, только лоб у него был ниже и уже, и рот немного шире, и он беспрестанно двигался, поводил плечами, точно платье ему под мышками резало, моргал, покашливал и шевелил пальцами, между тем как сын его отличался какою-то небрежною неподвижностью.

- «Лазаря петь»! – повторил Василий Иванович. – Ты, Евгений, не думай, что я хочу, так сказать, разжалобить гостя: вот, мол, мы в каком захолустье живем. Я, напротив, того мнения, что для человека мыслящего нет захолустья. По крайней мере я стараюсь, по возможности, не зараста, как говорится, мохом, не отстать от века.

Василий Иванович вытащил из кармана новый желтый футляр, который успел захватить, бегая в Аркадиеву комнату, и продолжал, помахивая им по воздуху:

- Я уже не говорю о том, что я, например, не без чувствительных для себя пожертвований, посадил мужиков на оброк и отдал им свою землю исполу. Я считал это своим долгом, самое благоразумие в этом случае повелевает, хотя другие владельцы даже не помышляют об этом: я говорю о науках, об образовании.
- Да; вот я вижу у тебя – «Друг здравия» на тысяча восемьсот пятьдесят пятый год, – заметил Базаров.

- Мне его по знакомству старый товарищ высылает, – поспешно проговорил Василий Иванович, – но мы, например, и о френологии имеем понятие, – прибавил он, обращаясь, впрочем, более к Аркадию и указывая на стоявшую на шкафе небольшую гипсовую головку, разбитую на нумерованные четырехугольники, – нам и Шенлейн не остался безызвестен, и Радемахер.

- А в Радемахера еще верят в\*\*\* губернии? – спросил Базаров.

Василий Иванович закашлял.

- В губернии... Конечно, вам, господа, лучше знать; где ж нам за вами угоняться?

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
Ведь вы нам на смену пришли. И в мое время какой-нибудь гуморалист Гоффман, какой-нибудь Броун с его витализмом казались очень смешны, а ведь тоже гремели когда-то. Кто-нибудь новый заменил у вас Радемахера, вы ему поклоняетесь, а через двадцать лет, пожалуй, и над тем смеяться будут.

– Скажу тебе в утешение, – промолвил Базаров, – что мы теперь вообще над медициной смеемся и ни перед кем не преклоняемся.

– Как же это так? Ведь ты доктором хочешь быть?

– Хочу, да одно другому не мешает.

Василий Иванович потыкал третьим пальцем в трубку, где еще оставалось немного горячей золы.

– Ну, может быть, может быть – спорить не стану. Ведь я что? Отставной штаб-лекарь, волату[158]; теперь вот в агрономы попал. Я у вашего дедушки в бригаде служил, – обратился он опять к Аркадию, – да-с, да-с; много я на своем веку видал видов. И в каких только обществах не бывал, с кем не вживался! Я, тот самый я, которого вы изволите видеть теперь перед собою, я у князя Витгенштейна и у Жуковского пульс щупал! Тех-то, в южной-то армии, по четырнадцатому, вы понимаете (и тут Василий Иванович значительно сжал губы), всех знал наперечет. Ну, да ведь мое дело – сторона; знай свой ланцет, и баста! А дедушка ваш очень почтенный был человек, настоящий военный.

– Сознайся, дубина была порядочная, – лениво промолвил Базаров.

– Ах, Евгений, как это ты выражаешься! помилосердуй... Конечно, генерал Кирсанов не принадлежал к числу...

– Ну, брось его, – перебил Базаров. – Я, как подъезжал сюда, порадовался на твою березовую рожицу, славно вытянулась.

Василий Иванович оживился:

– А ты посмотри, садик у меня теперь какой! Сам каждое деревцо сажал. И фрукты есть, и ягоды, и всякие медицинские травы. Уж как вы там ни хитрите, господа молодые, а все-таки старик Парацельский святую правду изрек: *in herbis, verbis et lapidibus*...[159] ведь я, ты знаешь, от практики отказался, а раза два в неделю приходится стариной тряхнуть. Идут за советом – нельзя же гнать в шею. Случается, бедные прибегают к помощи. Да и докторов здесь совсем нет. Один здешний сосед, представь, отставной майор, тоже лечит. Я спрашиваю о нем: учился ли он медицине? Говорят мне: нет, он не учился, он больше из филантропии... Ха-ха, из филантропии! а? каково! ха-ха! ха-ха!

– Федька! Набей мне трубку! – сурово проговорил Базаров.

– А то здесь другой доктор приезжает к больному, – продолжал с каким-то отчаяньем Василий Иванович, – а больной уже *ad patres*[160]; человек и не пускает доктора, говорит: теперь больше не надо. Тот этого не ожидал, сконфузился и спрашивает: «Что, барин перед смертью икал?» – «Икали-с». – «И много икал?» – «Много». – «А, ну – это хорошо», – да и верть назад. Ха-ха-ха!

Старик один засмеялся; Аркадий выразил улыбку на своем лице. Базаров только затыкнулся. Беседа продолжалась таким образом около часа. Аркадий успел сходить в свою комнату, которая оказалась предбанником, но очень уютным и чистым. Наконец вошла Танюша и доложила, что обед готов.

Василий Иванович первый поднялся:

– Пойдемте, господа! Извините великодушно, коли наскучил. Авось хозяйка моя удовлетворит вас более моего.

Обед, хотя наскоро сготовленный, вышел очень хороший, даже обильный; только вино немного, как говорится, подгуляло: почти черный херес, купленный Тимофеичем в

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
городе у знакомого купца, отзывался не то медью, не то канифолью; и мухи тоже мешали. В обыкновенное время дворовый мальчик отгонял их большою зеленою веткой; но на этот раз Василий Иванович усладил его из боязни осуждения со стороны юного поколения. Арина Власьева успела принарядиться; надела высокий чепец с шелковыми лентами и голубую шаль с разводами. Она опять всплакнула, как только увидела своего Енюшу, но мужу не пришлось ее усовещивать: она сама поскорей утерла свои слезы, чтобы не закапать шаль. Ели одни молодые люди; хозяйева давно пообедали. Прислуживал Федька, видимо обремененный необычными сапогами, да помогала ему женщина с мужественным лицом и кривая, по имени Анфисушка, исполнявшая должности ключницы, птичницы и прачки. Василий Иванович во время обеда расхаживал по комнате и с совершенно счастливым и даже блаженным видом говорил о тяжелых опасениях, внушаемых ему наполеоновскою политикой и запутанностью итальянского вопроса. Арина Власьева не замечала Аркадия, не потчевала его; подперши кулачком свое круглое лицо, которому одутловатое, вишневого цвета губки и родинки на щеках и над бровями придавали выражение очень добродушное, она не сводила глаз с сына и все вздыхала; ей смертельно хотелось узнать, на сколько времени он приехал, но спросить она его боялась. «Ну как скажет – на два дня», – думала она, и сердце у ней замирало. После жареного Василий Иванович исчез на мгновение и возвратился с откупоренною пол бутылкой шампанского. «Вот, – воскликнул он, – хоть мы и в глуши живем, а в торжественных случаях имеем чем себя повеселить!» Он налил три бокала и рюмку, провозгласил здоровье «неоцененных посетителей» и разом, по-военному, хлопнул свой бокал, а Арину Власьевну заставил выпить рюмку до последней капельки. Когда очередь дошла до варенья, Аркадий, не терпевший ничего сладкого, почел, однако, своею обязанностью отведать от четырех различных, только что сваренных сортов, тем более что Базаров отказался наотрез и тотчас закурил сигарку. Потом явился на сцену чай со сливками, с маслом и кренделями; потом Василий Иванович повел всех в сад, для того чтобы полюбоваться красотой вечера. Проходя мимо скамейки, он шепнул Аркадию:

– На сем месте я люблю философствовать, глядя на захождение солнца: оно приличествует пустынночку. А там, подалее, я посадил несколько деревьев, любимых Горацием.

– Что за деревья? – спросил, вслушавшись, Базаров.

– А как же... акации.

Базаров начал зевать.

– Я полагаю, пора путешественникам в объятия к Морфею, – заметил Василий Иванович.

– То есть пора спать! – подхватил Базаров. – Это суждение справедливое. Пора, точно.

Прощаясь с матерью, он поцеловал ее в лоб, а она обняла его и за спиной, украдкой, его благословила трижды. Василий Иванович проводил Аркадия в его комнату и пожелал ему «такого благодатного отдохновения, какое и я вкушал в ваши счастливые лета». И действительно, Аркадию отлично спалось в своем предбаннике: в нем пахло мятой, и два сверчка вперевивку усыпительно трещали за печкой. Василий Иванович отправился от Аркадия в свой кабинет и, прикорнув на диване в ногах у сына, собирался было поболтать с ним, но Базаров тотчас его отослал, говоря, что ему спать хочется, а сам не заснул до утра. Широко раскрыв глаза, он злобно глядел в темноту: воспоминания детства не имели власти над ним, да к тому ж он еще не успел отделаться от последних горьких впечатлений. Арина Власьева сперва помолилась всласть; потом долго-долго беседовала с Анфисушкой, которая, став, как вкопанная, перед барыней и вперив в нее свой единственный глаз, передавала ей таинственным шепотом все свои замечания и соображения насчет Евгения Васильевича. У старушки от радости, от вина, от сигарочного дыма совсем закружилась голова; муж заговорил было с ней и махнул рукою.

Арина Власьева была настоящая русская дворяночка прежнего времени; ей бы следовало жать лет за двести, в старомосковские времена. Она была очень набожна и чувствительна, верила во всевозможные приметы, гаданья, заговоры, сны; верила в юродивых, в домовых, в леших, в дурные встечи, в порчу, в народные лекарства, в четверговую соль, в скорый конец света; верила, что если в светлое воскресенье на всеобщую не погаснут свечи, то гречиха хорошо уродится, и что гриб больше не

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
растет, если его человеческий глаз увидит; верила, что черт любит быть там, где вода, и что у каждого жида на груди кровавое пятнышко; боялась мышей, ужей, лягушек, воробьев, пивок, грома, холодной воды, сквозного ветра, лошадей, козлов, рыжих людей и черных кошек и почитала сверчков и собак нечистыми животными; не ела ни телятины, ни голубей, ни раков, ни сыру, ни спаржи, ни земляных груш, ни зайца, ни арбузов, потому что взрезанный арбуз напоминает голову Иоанна Предтечи; а об устрицах говорила не иначе, как с содроганием; любила покушать и строго постилась; спала десять часов в сутки – и не ложилась вовсе, если у Василия Ивановича заболела голова; не прочла ни одной книги, кроме «Алексиса, или Хижины в лесу», писала одно, много два письма в год, а в хозяйстве, сушеные и варенье знала толк, хотя своими руками ни до чего не прикасалась и вообще неохотно двигалась с места. Арина Власьевна была очень добра и, по-своему, вовсе не глупа. Она знала, что есть на свете господа, которые должны приказывать, и простой народ, который должен служить, – а потому не гнушалась ни подобострастием, ни земными поклонами; но с подчиненными обходилась ласково и кротко, ни одного нищего не пропускала без подачки, и никогда никого не осуждала, хотя и сплетничала подчас. В молодости она была очень милостива, играла на клавиночках и изъяснялась немного по-французски; но в течение многолетних странствий с своим мужем, за которого она вышла против воли, расплылась и позабыла музыку и французский язык. Сына своего она любила и боялась несказанно; управление имением предоставила Василию Ивановичу – и уже не входила ни во что: она охала, отмахивалась платком и от испуга подымала брови все выше и выше, как только ее старик начинал толковать о предстоящих преобразованиях и о своих планах. Она была мнительна, постоянно ждала какого-то большого несчастья и тотчас плакала, как только вспоминала о чем-нибудь печальном... Подобные женщины теперь уже переводятся. Бог знает – следует ли радоваться этому!

XXI

Встав с постели, Аркадий раскрыл окно – и первый предмет, бросившийся ему в глаза, был Василий Иванович. В бухарском шлафроке, подпоясанный носовым платком, старик усердно рылся в огороде. Он заметил своего молодого гостя и, опершись на лопатку, воскликнул:

– Здравия желаем! Как почивать изволили?

– Прекрасно, – отвечал Аркадий.

– А я здесь, как видите, как некий Цинциннат, грядку под позднюю репу отбиваю. Теперь настало такое время, – да и слава Богу! – что каждый должен собственными руками пропитание себе доставать, на других нечего надеяться: надо трудиться самому. И выходит, что Жан-Жак Руссо прав. Полчаса тому назад, сударь вы мой, вы бы увидели меня в совершенно другой позиции. Одной бабе, которая жаловалась на гнетку – это по-ихнему, а по-нашему – дизентерию, я... как бы выразиться лучше... я вливал опиум; а другой я зуб вырвал. Этой я предложил эфиризацию... только она не согласилась. Все это я делаю *gratis*[161] – *анаматёр*[162]. Впрочем, мне не в диво: я ведь плебей, *homo novus*[163] – не из столбовых, не то, что моя благоверная... А не угодно ли пожаловать сюда, в тень, вдохнуть перед чаем утреннюю свежесть?

Аркадий вышел к нему.

– Добро пожаловать еще раз! – промолвил Василий Иванович, прикладывая по-военному руку к засаленной ермолке, прикрывавшей его голову. – Вы, я знаю, привыкли к роскоши, к удовольствиям, но и великие мира сего не гнушаются провести короткое время под кровом хижины.

– Помилуйте, – возопил Аркадий, – какой же я великий мира сего? И к роскоши я не привык.

– Позвольте, позвольте, – возразил с любезной ужимкой Василий Иванович. – Я хоть теперь и сдан в архив, а тоже потерся в свете – узнаю птицу по полету. Я тоже психолог по-своему и физиогномист. Не имей я этого, смею сказать, дара – давно бы я пропал; затерли бы меня, маленького человека. Скажу вам без комплиментов: дружба, которую я замечаю между вами и моим сыном, меня искренно радует. Я сейчас виделся с ним; он, по обыкновению своему, вероятно вам известному, вскочил очень рано и побежал по окрестностям. Позвольте полюбопытствовать, – вы давно с моим Евгением знакомы?

– С нынешней зимы.

– Так-с. И позвольте вас еще спросить, – но не присесть ли нам? – Позвольте вас спросить, как отцу, со всею откровенностью: какого вы мнения о моем Евгении?

– Ваш сын – один из самых замечательных людей, с которыми я когда-либо встречался, – с живостью ответил Аркадий.

Глаза Василия Ивановича внезапно раскрылись, и щеки его слабо вспыхнули. Лопата вывалилась из его рук.

– Итак, вы полагаете... – начал он.

– Я уверен, – подхватил Аркадий, – что сына вашего ждет великая будущность, что он прославит ваше имя. Я убедился в этом с первой нашей встречи.

– Как... как это было? – едва проговорил Василий Иванович. Восторженная улыбка раздвинула его широкие губы и уже не сходила с них.

– Вы хотите знать, как мы встретились?

– Да... и вообще...

Аркадий начал рассказывать и говорить о Базарове еще с большим жаром, с большим увлечением, чем в тот вечер, когда он танцевал мазурку с Одинцовой.

Василий Иванович его слушал, слушал, сморкался, катал платок в обеих руках, кашлял, ерошил свои вол осы – и наконец не вытерпел: нагнулся к Аркадию и поцеловал его в плечо.

– Вы меня совершенно осчастливили, – промолвил он, не переставая улыбаться, – я должен вам сказать, что я... боготворю моего сына: о моей старухе я уже не говорю: известно – мать! но я не смею при нем выказывать свои чувства, потому что он этого не любит. Он враг всех излишних; многие его даже осуждают за такую твердость его нравов и видят в ней признак гордости или бесчувствия; но подобных ему людей не приходится мерить обыкновенным аршином, не правда ли? Да вот, например: другой на его месте тянул бы да тянул с своих родителей; а у нас, поверите ли? он отроду лишней копейки не взял, ей-богу!

– Он бескорыстный, честный человек, – заметил Аркадий.

– Именно бескорыстный. А я, Аркадий Николаич, не только боготворю его, я горжусь им, и все мое честолюбие состоит в том, чтобы со временем в его биографии стояли следующие слова: «Сын простого штаб-лекаря, который, однако, рано умел разгадать его и ничего не жалел для его воспитания...» – Голос старика прервался.

Аркадий стиснул ему руку.

– Как вы думаете, – спросил Василий Иванович после некоторого молчания, – ведь он не на медицинском поприще достигнет той известности, которую вы ему пророчите?

– Разумеется, не на медицинском, хотя он и в этом отношении будет из первых ученых.

– На каком же, Аркадий Николаич?

– Это трудно сказать теперь, но он будет знаменит.

– Он будет знаменит! – повторил старик и погрузился в думу.

– Арина Власьевна приказали просить чай кушать, – проговорила Анфисушка, проходя мимо с огромным блюдом спелой малины.

Василий Иванович встрепенулся.

– А холодные сливки к малине будут?

– Будут-с.

– Да холодные, смотри! Не церемоньтесь, Аркадий Николаич, берите больше. Что ж это Евгений не идет?

– Я здесь, – раздался голос Базарова из Аркадиевой комнаты.

Василий Иванович быстро обернулся.

– Ага! ты захотел посетить своего приятеля; но ты опоздал, amice[164], и мы имели уже с ним продолжительную беседу. Теперь надо идти чай пить: мать зовет. Кстати, мне нужно с тобой поговорить.

– О чем?

– Здесь есть мужичок, он страдает иктером...

– То есть желтухой?

– Да, хроническим и очень упорным иктером. Я прописывал ему золототысячник и зверобой, морковь заставлял есть, давал соду; но это все паллиативные средства; надо что-нибудь порешительней. Ты хоть и смеешься над медициной, а я уверен, можешь подать мне дельный совет. Но об этом речь впереди. А теперь пойдем чай пить.

Василий Иванович живо вскочил с скамейки и запел из «Роберта»:

Закон, закон, закон себе поставим

На ра... на ра... на радости пожить!

– Замечательная живучесть! – проговорил, отходя от окна, Базаров.

Настал полдень. Солнце жгло из-за тонкой завесы сплошных беловатых облаков. Все молчало, одни петухи задорно перекликались на деревне, возбуждая в каждом, кто их слышал, странное ощущение дремоты и скуки; да где-то высоко в верхушке деревьев звенел плаксивым призывом немолчный писк молодого ястребка. Аркадий и Базаров лежали в тени небольшого стога сена, подостлавши под себя охапки две шумливо-сухой, но еще зеленой и душистой травы.

– Та осина, – заговорил Базаров, – напоминает мне мое детство; она растет на краю ямы, оставшейся от кирпичного сарая, и я в то время был уверен, что эта яма и осина обладали особенным талисманом: я никогда не скучал возле них. Я не понимал тогда, что я не скучал оттого, что был ребенком. Ну, теперь я взрослый, талисман не действует.

– Сколько ты времени провел здесь всего? – спросил Аркадий.

– Года два сряду; потом мы наезжали. Мы вели бродячую жизнь; больше всего по городам шлялись.

– А дом этот давно стоит?

– Давно. Его еще дед построил, отец моей матери.

– Кто он был, твой дед?

– Черт его знает. Секунд-майор какой-то. При Суворове служил и все рассказывал о переходе через Альпы. Врал, должно быть.

– То-то у вас в гостиной портрет Суворова висит. А я люблю такие домики, как ваш, старенькие да тепленькие; и запах в них какой-то особенный.

– Лампадным маслом отзывает да донником, – произнес, зевая, Базаров. – А что мух в этих милых домиках... фа!

– Скажи, – начал Аркадий после небольшого молчания, – тебя в детстве не притесняли?

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)

– Ты видишь, какие у меня родители. Народ не строгий.

– Ты их любишь, Евгений?

– Люблю, Аркадий!

– Они тебя так любят!

Базаров помолчал.

– Знаешь ли ты, о чем я думаю? – промолвил он наконец, закидывая руки за голову.

– Не знаю. О чем?

– Я думаю: хорошо моим родителям жить на свете! Отец в шестьдесят лет хлопочет, толкует о «паллиативных» средствах, лечит людей, великодушничает с крестьянами – кутит, одним словом; и матери моей хорошо: день ее до того напичкан всякими занятиями, ахами да охами, что ей и опомниться некогда; а я...

– А ты?

– А я думаю: я вот лежу здесь под стогом... Узенькое местечко, которое я занимаю, до того крохотно в сравнении с остальным пространством, где меня нет и где дела до меня нет; и часть времени, которую мне удастся прожить, так ничтожна перед вечностью, где меня не было и не будет... А в этом атоме, в этой математической точке, кровь обращается, мозг работает, чего-то хочет тоже... Что за безобразие! Что за пустяки!

– Позволь тебе заметить: то, что ты говоришь, применяется вообще ко всем людям...

– Ты прав, – подхватил Базаров. – Я хотел сказать, что они вот, мои родители то есть, заняты и не беспокоятся о собственном ничтожестве, оно им не смердит... а я... я чувствую только скуку да злость.

– Злость? Почему же злость?

– Почему? Как почему? Да разве ты забыл?

– Я помню всё, но всё-таки я не признаю за тобою права злиться. Ты несчастлив, я согласен, но...

– Э! да ты, я вижу, Аркадий Николаевич, понимаешь любовь, как все новейшие молодые люди: цып, цып, цып, курочка, а как только курочка начинает приближаться, давай бог ноги! Я не таков. Но довольно об этом. Чему помочь нельзя, о том и говорить стыдно. – Он повернулся на бок. – Эге! вон молодец муравей тащит полумертвую муху. Тащи ее, брат, тащи! Не смотри на то, что она упирается, пользуйся тем, что ты, в качестве животного, имеешь право не признавать чувства сострадания, не то что наш брат, самоломанный!

– Не ты бы говорил, Евгений! Когда ты себя ломал?

Базаров приподнял голову:

– Я только этим и горжусь. Сам себя не сломал, так и бабенка меня не сломает. Аминь! Кончено! Слова об этом больше от меня не услышишь.

Оба приятеля полежали некоторое время в молчании.

– Да, – начал Базаров, – странное существо человек. Как посмотришь этак сбоку да издали на глухую жизнь, какую ведут здесь «отцы», кажется: чего лучше? Ешь, пей и знай, что поступаешь самым правильным, самым разумным манером. Ан нет; тоска одолеет. Хочется с людьми возиться, хоть ругать их, да возиться с ними.

– Надо бы так устроить жизнь, чтобы каждое мгновение в ней было значительно, – произнес задумчиво Аркадий.

– Кто говорит! Значительное хоть и ложно бывает, да сладко, но и с незначительным помириться можно... а вот дрызги, дрызги... это беда.

- Дрызги не существуют для человека, если он только не захочет их признать.
  - Гм... это ты сказал противоположное общее место.
  - Что? Что ты называешь этим именем?
  - А вот что: сказать, например, что просвещение полезно, это общее место; а сказать, что просвещение вредно, это противоположное общее место. Оно как будто щеголеватее, а в сущности одно и то же.
  - Да правда-то где, на какой стороне?
  - Где? я тебе отвечу, как эхо: где?
  - Ты в меланхолическом настроении сегодня, Евгений.
  - В самом деле? Солнце меня, должно быть, распарило, да и малины нельзя так много есть.
  - В таком случае не худо вздремнуть, – заметил Аркадий.
  - Пожалуй; только ты не смотри на меня: всякого человека лицо глупо, когда он спит.
  - А тебе не все равно, что о тебе думают?
  - Не знаю, что тебе сказать. Настоящий человек об этом не должен заботиться; настоящий человек тот, о котором думать нечего, а которого надобно слушаться или ненавидеть.
  - Странно! я никого не ненавижу, – промолвил, подумавши, Аркадий.
  - А я так многих. Ты нежная душа, размазня, где тебе ненавидеть?.. Ты робеешь, мало на себя надеешься.
  - А ты, – перебил Аркадий, – на себя надеешься? Ты высокого мнения о самом себе?
- Базаров помолчал.
- Когда я встречу человека, который не спасовал бы передо мною, – проговорил он с расстановкой, – тогда я изменю свое мнение о самом себе. Ненавидеть! Да вот, например, ты сегодня сказал, проходя мимо избы нашего старосты Филиппа, – она такая славная, белая, – вот, сказал ты, Россия тогда достигнет совершенства, когда у последнего мужика будет такое же помещение, и всякий из нас должен этому способствовать... А я и возненавидел этого последнего мужика, Филиппа или Сидора, для которого я должен из кожи лезть и который мне даже спасибо не скажет... да и на что мне его спасибо? Ну, будет он жить в белой избе, а из меня лопух расти будет; ну, а дальше?
  - Полно, Евгений... послушать тебя сегодня, поневоле согласишься с теми, которые упрекают нас в отсутствии принципов.
  - Ты говоришь, как твой дядя. Принципов вообще нет – ты об этом не догадался до сих пор! – а есть ощущения. Все от них зависит.
  - Как так?
  - Да так же. Например, я: я придерживаюсь отрицательного направления – в силу ощущения. Мне приятно отрицать, мой мозг так устроен – и баста! Отчего мне нравится химия? Отчего ты любишь яблоки? – тоже в силу ощущения. Это все едино. Глубже этого люди никогда не проникнут. Не всякий тебе это скажет, да и я в другой раз тебе этого не скажу.
  - Что ж? и честность – ощущение?
  - Еще бы!



Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)

– Евгений!.. – начал печальным голосом Аркадий.

– А? что не по вкусу? – перебил Базаров. – Нет, брат! Решился все косить – валяй и себя по ногам!.. Однако мы довольно философствовали. «Природа навевает молчание сна», – сказал Пушкин.

– Никогда он ничего подобного не сказал, – промолвил Аркадий.

– Ну, не сказал, так мог и должен был сказать в качестве поэта. Кстати, он, должно быть, в военной службе служил.

– Пушкин никогда не был военным!

– Помилуй, у него на каждой странице: На бой, на бой! за честь России!

– Что ты это за небылицы выдумываешь! Ведь это клевета, наконец!

– Клевета? Эка важность! Вот вздумал каким словом испугать! Какую клевету ни взведи на человека, он, в сущности, заслуживает в двадцать раз хуже того.

– Давай лучше спать! – с досадой проговорил Аркадий.

– С величайшим удовольствием, – ответил Базаров.

Но ни тому, ни другому не спалось. Какое-то почти враждебное чувство охватывало сердца обоих молодых людей. Минут пять спустя они открыли глаза и переглянулись молча.

– Посмотри, – сказал вдруг Аркадий, – сухой кленовый лист оторвался и падает на землю, его движения совершенно сходны с полетом бабочки. Не странно ли? Самое печальное и мертвое – сходно с самым веселым и живым.

– О, друг мой, Аркадий Николаич! – воскликнул Базаров, – об одном прошу тебя: не говори красиво.

– Я говорю, как умею.. Да и, наконец, это деспотизм. Мне пришла мысль в голову; отчего ее не высказать?

– Так; но почему же и мне не высказать своей мысли? Я нахожу, что говорить красиво – неприлично.

– Что же прилично? Ругаться?

– Э-э! да ты, я вижу, точно, намерен пойти по стопам дядюшки. Как бы этот идиот порадовался, если б услышал тебя!

– Как ты назвал Павла Петровича?

– Я его назвал, как следует, – идиотом.

– Это, однако, нестерпимо! – воскликнул Аркадий.

– Ага! Родственное чувство заговорило, – спокойно промолвил Базаров. – Я заметил: оно очень упорно держится в людях. От всего готов отказаться человек, со всяким предрассудком расстанется; но сознаться, что, например, брат, который чужие платки крадет, вор, – это свыше его сил. Да и в самом деле: мой брат, мой – и не гений.. возможно ли это?

– Во мне простое чувство справедливости заговорило, а вовсе не родственное, – возразил запальчиво Аркадий. – Но так как ты этого чувства не понимаешь, у тебя нет этого ощущения, то ты и не можешь судить о нем.

– Другими словами: Аркадий Кирсанов слишком возвышен для моего понимания, – преклоняюсь и умолкаю.

– Полно, пожалуйста, Евгений; мы, наконец, поссоримся.

– Ах, Аркадий! сделай одолжение, поссоримся раз хорошенько – до положения риз,

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
до истребления.

– Но ведь этак, пожалуй, мы кончим тем...

– Что подеремся? – подхватил Базаров. – Что ж? Здесь, на сене, в такой идиллической обстановке, вдали от света и людских взоров – ничего. Но ты со мной не сладишь. Я тебя сейчас схвачу за горло...

Базаров растопырил свои длинные и жесткие пальцы... Аркадий повернулся и приготовился, как бы шутя, сопротивляться... Но лицо его друга показалось ему таким зловещим, такая нешуточная угроза почудилась ему в кривой усмешке его губ, в загоревшихся глазах, что он почувствовал невольную робость.

– А! вот вы куда забрались! – раздался в это мгновение голос Василия Ивановича, и старый штаб-лекарь предстал перед молодыми людьми, облеченный в доделанный полотняный пиджак и с соломенной, тоже доделанной, шляпой на голове. – Я вас искал, искал... Но вы отличное выбрали место и прекрасному предаетесь занятию. Лежа на «земле», глядеть в «небо»... Знаете ли – в этом есть какое-то особое значение!

– Я гляжу в небо только тогда, когда хочу чихнуть, – проворчал Базаров и, обратившись к Аркадию, прибавил вполголоса: – Жаль, что помешал.

– Ну, полно, – шепнул Аркадий и пожал украдкой своему другу руку. – Но никакая дружба долго не выдержит таких столкновений.

– Смотрю я на вас, мои юные собеседники, – говорил между тем Василий Иванович, покачивая головой и опираясь скрещенными руками на какую-то хитро перекрученную палку собственного изделия, с фигурой турка вместо набалдашника, – смотрю и не могу не любоваться. Сколько в вас силы, молодости, самой цветущей, способностей, талантов! Просто... Кастор и Поллукс!

– Вон куда – в мифологию метнул! – промолвил Базаров. – Сейчас видно, что в свое время сильный был латинист! Ведь ты, помнится, серебряной медали за сочинение удостоился, а?

– Диоскуры, Диоскуры! – повторял Василий Иванович.

– Однако полно, отец, не нежничай.

– В кои-то веки разик можно, – пробормотал старик. – Впрочем, я вас, господа, отыскал не с тем, чтобы говорить вам комплименты; но с тем, чтобы, во-первых, доложить вам, что мы скоро обедать будем, а во-вторых, мне хотелось предварить тебя, Евгений... Ты умный человек, ты знаешь людей, и женщин знаешь, и, следовательно, извинишь... Твоя матушка молебен отслужить хотела по случаю твоего приезда. Ты не воображай, что я зову тебя присутствовать на этом молебне: уж он кончен; но отец Алексей...

– Поп?

– Ну да, священник; он у нас... кушать будет... Я этого не ожидал и даже не советовал... но как-то так вышло... он меня не понял... Ну, и Арина Власьевна... Притом же, он у нас очень хороший и рассудительный человек.

– Ведь он моей порции за обедом не съест? – спросил Базаров.

Василий Иванович засмеялся.

– Помилуй, что ты!

– А больше я ничего не требую. Я со всяким человеком готов за стол сесть.

Василий Иванович поправил свою шляпу.

– Я был наперед уверен, – промолвил он, – что ты выше всяких предрассудков. На что вот я – старик шестьдесят второй год живу, а и я их не имею. (Василий Иванович не смел сознаться, что он сам пожелал молебна... Набожен он был не менее своей жены.) А отцу Алексею очень хотелось с тобой познакомиться. Он тебе

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
понравится, ты увидишь... Он и в карточки не прочь поиграть и даже... но это между нами... трубочку курит.

– Что же? Мы после обеда засядем в ералаш, и я его обыграю.

– Хе-хе-хе, посмотрим! Бабушка надвое сказала.

– А что? Разве стариной тряхнешь? – промолвил с особенным ударением Базаров.

Бронзовые щеки Василия Ивановича смутно покраснели.

– Как тебе не стыдно, Евгений... Что было, то прошло. Ну да, я готов вот перед ними признаться, имел я эту страсть в молодости – точно; да и поплатился же я за нее! Однако как жарко. Позвольте подсесть к вам. Ведь я не мешаю?

– Нисколько, – ответил Аркадий.

Василий Иванович кряхтя опустился на сено.

– Напоминает мне ваше теперешнее ложе, государи мои, – начал он, – мою военную, бивуачную жизнь, перевязочные пункты, тоже где-нибудь этак возле стога, и то еще слава Богу. – Он вздохнул. – Много, много испытал я на своем веку. Вот, например, если позволите, я вам расскажу любопытный эпизод чумы в Бессарабии.

– За который ты получил Владимира? – подхватил Базаров. – Знаем, знаем... Кстати, отчего ты его не носишь?

– Ведь я тебе говорил, что я не имею предрассудков, – пробормотал Василий Иванович (он только накануне велел спороть красную ленточку с сюртука) и принялся рассказывать эпизод чумы. – А ведь он заснул, – шепнул он вдруг Аркадию, указывая на Базарова и добродушно подмигнув. – Евгений! вставай! – прибавил он громко: – Пойдем обедать...

Отец Алексей, мужчина видный и полный, с густыми, тщательно расчесанными волосами, с вышитым поясом на лиловой шелковой рясе, оказался человеком очень ловким и находчивым. Он первый поспешил пожать руку Аркадию и Базарову, как бы понимая заранее, что они не нуждаются в его благословении, и вообще держал себя непринужденно и себя он не выдал и других не задел; кстати посмеялся над семинарскою латынью и заступился за своего архиерея; две рюмки вина выпил, а от третьей отказался; принял от Аркадия сигару, но курить ее не стал, говоря, что повезет ее домой. Не совсем приятно было в нем только то, что он то и дело медленно и осторожно заносил руку, чтобы ловить мух у себя на лице, и при этом иногда давил их. Он сел за зеленый стол с умеренным изъявлением удовольствия и кончил тем, что обыграл Базарова на 2 руб. 50 коп. ассигнациями: в доме Арины Власьевны и понятия не имели о счете на серебро... Она по-прежнему сидела возле сына (в карты она не играла), по-прежнему подпирая щеку кулачком и вставала только затем, чтобы велеть подать какое-нибудь новое яство. Она боялась ласкать Базарова, и он не ободрял ее, не вызывал ее на ласки; притом же и Василий Иванович присоветовал ей не очень его «беспокоить». «Молодые люди до этого не охотники», – твердил он ей (нечего говорить, каков был в тот день обед: Тимофеич собственною персоной скакал на утренней заре за какой-то особенною черкасскою говядиной; староста ездил в другую сторону за налимками, ершами и раками; за одни грибы бабы получали 42 копейки мелочью); но глаза Арины Власьевны, неотступно обращенные на Базарова, выражали не одну преданность и нежность: в них виднелась и грусть, смешанная с любопытством и страхом, виднелся какой-то смиренный укор.

Впрочем, Базарову было не да того, чтобы разбирать, что именно выражали глаза его матери; он редко обращался к ней, и то с коротеньким вопросом. Раз он попросил у ней руку «на счастье»; она тихонько положила свою мягкую ручку на его жесткую и широкую ладонь.

– Что, – спросила она, погода немного, – не помогло?

– Еще хуже пошло, – отвечал он с небрежною усмешкой.

– Очинно они уже рискуют, – как бы с сожалением произнес отец Алексей и погладил свою красивую бороду.

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)

– Наполеоновское правило, батюшка, наполеоновское, – подхватил Василий Иваныч и пошел с туза.

– Оно же и довело его до острова святых Елены, – промолвил отец Алексей и покрыл его туза козырем.

– Не желаешь ли смородиновой воды, Енюшечка? – спросила Арина Власьевна.

Базаров только плечами пожал.

– Нет, – говорил он на следующий день Аркадию, – уеду отсюда завтра. Скучно; работать хочется, а здесь нельзя. Отправлюсь опять к вам в деревню; я же там все свои препараты оставил. У вас по крайней мере запереться можно. А то здесь отец мне твердит: «Мой кабинет к твоим услугам – никто тебе мешать не будет»; а сам от меня ни на шаг. Да и совестно как-то от него запирается. Ну и мать тоже. Я слышу, как она вздыхает за стеной, а выйдешь к ней – и сказать ей нечего.

– Очень она огорчится, – промолвил Аркадий, – да и он тоже.

– Я к ним еще вернусь.

– Когда?

– Да вот как в Петербург поеду.

– Мне твою мать особенно жалко.

– Что так? Ягодами, что ли, она тебе угодила?

Аркадий опустил глаза.

– Ты матери своей не знаешь, Евгений. Она не только отличная женщина, она очень умна, право. Сегодня утром она со мной с полчаса беседовала, и так дельно, интересно.

– Верно, обо мне все распространялась?

– Не о тебе одном была речь.

– Может быть; тебе со стороны видней. Коли может женщина получасовую беседу поддержать, это уж знак хороший. А я все-таки уеду.

– Тебе нелегко будет сообщить им это известие. Они всё рассуждают о том, что мы через две недели делать будем.

– Нелегко. Черт меня дернул сегодня подразнить отца: он на днях велел высечь одного своего оброчного мужика – и очень хорошо сделал; да, да, не гляди на меня с таким ужасом – очень хорошо сделал, потому что вор и пьяница он страшнейший; только отец никак не ожидал, что я об этом, как говорится, известен стал. Он очень сконфузился, а теперь мне придется вдобавок его огорчить... Ничего! До свадьбы заживет.

Базаров сказал: «Ничего!» – но целый день прошел, прежде чем он решился уведомить Василия Ивановича о своем намерении. Наконец, уже прощаясь с ним в кабинете, он проговорил с натянутым зевком:

– Да... чуть было не забыл тебе сказать... Вели-ка завтра наших лошадей к Федоту выслать на подставу.

Василий Иванович изумился.

– Разве господин Кирсанов от нас уезжает?

– Да; и я с ним уезжаю.

Василий Иванович перевернулся на месте.

– Ты уезжаешь?

- Да... мне нужно. Распорядись, пожалуйста, насчет лошадей.
- Хорошо... – залепетал старик, – на подставу... хорошо... только... только... Как же это?
- Мне нужно съездить к нему на короткое время. Я потом опять сюда вернусь.
- Да! На короткое время... Хорошо. – Василий Иванович вынул платок и, сморкаясь, наклонился чуть не до земли. – Что ж? это... все будет. Я было думал, что ты у нас... подольше. Три дня... Это, это, после трех лет, маловато; маловато, Евгений!
- Да я ж тебе говорю, что я скоро вернусь. Мне необходимо.
- Необходимо... Что ж? Прежде всего надо долг исполнять... Так выслать лошадей? Хорошо. Мы, конечно, с Ариной этого не ожидали. Она вот цветов выпросила у соседки, хотела комнату тебе убрать. (Василий Иванович уже не упомянул о том, что каждое утро, чуть свет, стоя о босу ногу в туфлях, он совещался с Тимофеичем и, доставая дрожащими пальцами одну изорванную ассигнацию за другую, поручал ему разные закупки, особенно налегая на съестные припасы и на красное вино, которое, сколько можно было заметить, очень понравилось молодым людям.) Главное – свобода; это мое правило... не надо стеснять... не...

Он вдруг умолк и направился к двери.

- Мы скоро увидимся, отец, право.

Но Василий Иванович, не оборачиваясь, только рукой махнул и вышел. Возвратясь в спальню, он застал свою жену в постели и начал молиться шепотом, чтобы ее не разбудить. Однако она проснулась.

- Это ты, Василий Иваныч? – спросила она.

– Я, матушка!

– Ты от Енюши? Знаешь ли, я боюсь: покойно ли ему спать на диване? Я Анфисушке велела положить ему твой походный матрасик и новые подушки; я бы наш пуховик ему дала, да он, помнится, не любит мягко спать.

– Ничего, матушка, не беспокойся. Ему хорошо. Господи, помилуй нас грешных, – продолжал он вполголоса свою молитву. Василий Иванович пожалел свою старушку; он не захотел сказать ей на ночь, какое горе ее ожидало.

Базаров с Аркадием уехали на другой день. С утра уже все приуныло в доме; у Анфисушки посуда из рук валилась; даже Федька недоумевал и кончил тем, что снял сапоги. Василий Иванович суетился больше чем когда-либо: он видимо храбрился, громко говорил и стучал ногами, но лицо его осунулось, и взгляды постоянно скользили мимо сына. Арина Власьевна тихо плакала; она совсем бы растерялась и не совладела бы с собой, если бы муж рано утром целые два часа ее не уговаривал. Когда же Базаров, после неоднократных обещаний вернуться никак не позже месяца, вырвался наконец из удерживавших его объятий и сел в тарантас; когда лошади тронулись, и колокольчик зазвенел, и колеса завертелись, – и вот уже глядеть вслед было незачем, и пыль улеглась, и Тимофеич, весь сгорбленный и шатаясь на ходу, поплелся назад в свою каморку; когда старички остались одни в своем, тоже как будто внезапно съезжившемся и подрыхлевшем доме, – Василий Иванович, еще за несколько мгновений молодцевато махавший платком на крыльце, опустился на стул и уронил голову на грудь. «Бросил, бросил нас, – залепетал он, – бросил; скучно ему стало с нами. Один, как перст теперь, один!» – повторил он несколько раз и каждый раз выносил вперед свою руку с отделенным указательным пальцем. Тогда Арина Власьевна приблизилась к нему и, прислонив свою седую голову к его седой голове, сказала: «Что делать, Вася! Сын – отрезанный ломоть. Он, что сокол: захотел – прилетел, захотел – улетел; а мы с тобой, как опенки на дупле, сидим рядом и ни с места. Только я останусь для тебя навек неизменно, как и ты для меня».

Василий Иванович принял от лица руки и обнял свою жену, свою подругу, так крепко, как и в молодости ее не обнимал: она утешила его в его печали.

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
Молча, лишь изредка меняясь незначительными словами, доехали наши приятели до Федота. Базаров был не совсем собою доволен. Аркадий был недоволен им. К тому же он чувствовал на сердце ту беспричинную грусть, которая знакома только одним очень молодым людям. Кучер перепряг лошадей и, взобравшись на козлы, спросил: направо аль налево?

Аркадий дрогнул. Дорога направо вела в город, а оттуда домой; дорога налево вела к Одинцовой.

Он взглянул на Базарова.

– Евгений, – спросил он, – налево?

Базаров отвернулся.

– Это что за глупость? – пробормотал он.

– Я знаю, что глупость, – ответил Аркадий. – Да что за беда? Разве нам в первый раз?

Базаров надвинул картуз себе на лоб.

– Как знаешь, – проговорил он наконец.

– Пошел налево! – крикнул Аркадий.

Тарантас покати в направлении к Никольскому. Но, решившись на глупость, приятели еще упорнее прежнего молчали и даже казались сердитыми.

Уже по тому, как их встретил дворецкий на крыльце одинцовского дома, приятели могли догадаться, что они поступили неблагоприятно, поддавшись внезапно пришедшей им фантазии. Их, очевидно, не ожидали. Они просидели довольно долго и с довольно глупыми физиономиями в гостиной. Одинцова вышла к ним наконец. Она приветствовала их с обыкновенною своею любезностью, но удивилась их скорому возвращению и, сколько можно было судить по медлительности ее движений и речей, не слишком ему обрадовалась. Они поспешили объявить, что заехали только по дороге и часа через четыре отправятся дальше, в город. Она ограничилась легким восклицанием, попросила Аркадия поклониться отцу от ее имени и послала за своею теткой. Княжна явилась вся заспанная, что придавало еще более злобы выражению ее сморщенного, старого лица. Кате нездоровилось, она не выходила из своей комнаты. Аркадий вдруг почувствовал, что он по крайней мере столько же желал видеть Катю, сколько и самое Анну Сергеевну. Четыре часа прошло в незначительных толках о том о сем; Анна Сергеевна и слушала и говорила без улыбки. Только при самом прощании прежнее дружелюбие как будто шевельнулось в ее душе.

– На меня теперь нашла хандра, – сказала она, – но вы не обращайтесь на это внимания и приезжайте опять, я вам это обоим говорю, через несколько времени.

И Базаров и Аркадий ответили ей безмолвным поклоном, сели в экипаж и, уже нигде не останавливаясь, отправились домой, в Марьино, куда и прибыли благополучно на следующий день вечером. В продолжение всей дороги ни тот, ни другой не упомянул даже имени Одинцовой; Базаров в особенности почти не раскрывал рта и все глядел в сторону, прочь от дороги, с каким-то ожесточенным напряжением.

В Марьине им все чрезвычайно обрадовались. Продолжительное отсутствие сына начинало беспокоить Николая Петровича; он вскрикнул, заболтал ногами и подпрыгнул на диване, когда Фенечка вбежала к нему с сияющими глазами и объявила о приезде «молодых господ»; сам Павел Петрович почувствовал некоторое приятное волнение и снисходительно улыбался, потрясая руки возвратившихся странников. Пошли толки, расспросы; говорил больше Аркадий, особенно за ужином, который продолжался далеко за полночь. Николай Петрович велел подать несколько бутылок портера, только что привезенного из Москвы, и сам раскутился до того, что щеки у него сделались малиновые и он все смеялся каким-то не то детским, не то нервическим смехом. Всеобщее одушевление распространилось и на прислугу. Дуняша бегала взад и вперед как угорелая и то и дело хлопала дверями; а Петр даже в третьем часу ночи все еще пытался сыграть на гитаре вальс-казак. Струны жалобно и приятно звучали в неподвижном воздухе, но, за исключением небольшой первоначальной фиоритуры, ничего не выходило у образованного камердинера:

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
природа отказала ему в музыкальной способности, как и во всех других.

А между тем жизнь не слишком красиво складывалась в Марьине, и бедному Николаю Петровичу приходилось плохо. Хлопоты по ферме росли с каждым днем – хлопоты безотрадные, бестолковые. Возня с наемными работниками становилась невыносимой. Одни требовали расчета или прибавки, другие уходили, забравши задаток, лошади заболели; сбруя горела как на огне; работы исполнялись небрежно; выписанная из Москвы молотильная машина оказалась негодной по своей тяжести; другую с первого раза испортили; половина скотного двора сгорела, оттого что слепая старуха из дворовых в ветреную погоду пошла с головешкою окуривать свою корову... правда, по уверению той же старухи, вся беда произошла оттого, что барину вздумалось заводить какие-то небывалые сыры и молочные скопы. Управляющий вдруг обленился и даже начал толстеть, как толстеет всякий русский человек, попавший на «вольные хлеба». Завидя издали Николая Петровича, он, чтобы заявить свое рвение, бросал щепкой в пробегавшего мимо поросенка или грозился полунагому мальчишке, а впрочем, больше все спал. Посаженные на оброк мужики не вносили денег в срок, крали лес; почти каждую ночь сторожа ловили, а иногда с бою забирали крестьянских лошадей на лугах «фермы». Николай Петрович определил было денежный штраф за потраву, но дело обыкновенно кончалось тем, что, постояв день или два на господском корме, лошади возвращались к своим владельцам. К довершению всего, мужики начали между собою ссориться: братья требовали раздела; жены их не могли ужиться в одном доме; внезапно закипала драка, и все вдруг поднималось на ноги, как по команде, все сбегалось перед крыльцо конторы, лезло к барину, часто с избитыми рожами, в пьяном виде, и требовало суда и расправы; возникал шум, вопль, бабий хныкающий визг вперемежку с мужскою бранью. Нужно было разбирать враждующие стороны, кричать самому до хрипоты, зная наперед, что к правильному решению все-таки прийти невозможно. Не хватало рук для жатвы: соседний однодворец, с самым благообразным лицом, порядился доставить жнецов по два рубля с десятины и надул самым бессовестным образом; свои бабы заламывали цены неслыханные, а хлеб между тем осыпался, а тут с косьбой не совладели, а тут Опекунский совет грозит и требует немедленной и безнедоимочной уплаты процентов...

– Сил моих нет! – не раз с отчаянием восклицал Николай Петрович. – Самому драться невозможно, посылать за становым – не позволяют принципы, а без страха наказания ничего не поделаешь!

– *Du salme, du salme*[165], – замечал на это Павел Петрович, а сам мурлыкал, хмурился и подергивал усы.

Базаров держался в отдалении от этих «дрязгов», да ему, как гостю, не приходилось и вмешиваться в чужие дела. На другой день после приезда в Марьино он принялся за своих лягушек, за инфузории, за химические составы и все возился с ними. Аркадий, напротив, почел своею обязанностью если не помочь отцу, то, по крайней мере, показать вид, что он готов ему помочь. Он терпеливо его выслушивал и однажды подал какой-то совет, не для того, чтобы ему последовали, а чтобы заявить свое участие.

Хозяйничанье не возбуждало в нем отвращения: он даже с удовольствием мечтал об агрономической деятельности, но у него в ту пору другие мысли зароились в голове. Аркадий, к собственному изумлению, беспрестанно думал о Никольском; прежде он бы только плечами пожал, если бы кто-нибудь сказал ему, что он может соскучиться под одним кровом с Базаровым, и еще под каким! – под родительским кровом, а ему точно было скучно, и тянуло его вон. Он вздумал гулять до усталости, но и это не помогло. Разговаривая однажды с отцом, он узнал, что у Николая Петровича находилось несколько писем, довольно интересных, писанных некогда матерью Одинцовой к покойной его жене, и не отстал от него до тех пор, пока не получил этих писем, за которыми Николай Петрович принужден был рыться в двадцати различных ящиках и сундуках. Вступив в обладание этими полуистлевшими бумажками, Аркадий как будто успокоился, точно он увидел перед собою цель, к которой ему следовало идти. «Я вам это обоим говорю, – беспрестанно шептал он, – сама прибавила! Поеду, поеду, черт возьми!» Но он вспоминал последнее посещение, холодный прием и прежнюю неловкость, и робость овладевала им. «Авось» молодости, тайное желание изведать свое счастье, испытать свои силы в одиночку, без чьего бы то ни было покровительства – одолели наконец. Десяти дней не прошло со времени его возвращения в Марьино, как уже он опять, под предлогом изучения механизма воскресных школ, скакал в город, а оттуда в Никольское. Бесперывно погоняя ямщика, несся он туда, как молодой офицер на сраженье: и страшно ему

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
было, и весело, и нетерпение его душило. «Главное – не надо думать», – твердил он самому себе. Ямщик ему попался лихой; он останавливается перед каждым кабаком, приговаривая: «Чкнуть?» или: «аль чкнуть?», но зато, икнувши, не жалел лошадей. Вот наконец показалась высокая крыша знакомого дома... «Что я делаю? – мелькнуло вдруг в голове Аркадия. – Да ведь не вернуться же!» Тройка дружно мчалась; ямщик гикал и свистал. Вот уже мостик загредел под копытами и колесами, вот уже надвинулась аллея стриженных елок... Розовое женское платье мелькнуло в темной зелени, молодое лицо выглянуло из-под легкой бахромы зонтика...

Он узнал Катю, и она его узнала. Аркадий приказал ямщику остановить рассказавшихся лошадей, выпрыгнул из экипажа и подошел к ней. «Это вы! – промолвила она и понемножку вся покраснела, – пойдите к сестре, она тут, в саду; ей будет приятно вас видеть».

Катя повела Аркадия в сад. Встреча с нею показалась ему особенно счастливым предзнаменованием; он обрадовался ей, словно родной. Все так отлично устроилось: ни дворецкого, ни доклада. На повороте дорожки он увидел Анну Сергеевну. Она стояла к нему спиной. Услышав шаги, она тихонько обернулась.

Аркадий смутился было снова, но первые слова, ею произнесенные, успокоили его тотчас. «Здравствуйте, беглец!» – проговорила она своим ровным, ласковым голосом и пошла к нему навстречу, улыбаясь и щурясь от солнца и ветра: «Где ты его нашла, Катя?»

– Я вам, Анна Сергеевна, – начал он, – привез нечто такое, чего вы никак не ожидаете...

– Вы себя привезли; это лучше всего.

#### XXIII

Проводив Аркадия с насмешливым сожалением и дав ему понять, что он несколько не обманывается насчет настоящей цели его поездки, Базаров уединился окончательно: на него нашла лихорадка работы. С Павлом Петровичем он уже не спорил, тем более что тот в его присутствии принимал чересчур аристократический вид и выражал свои мнения более звуками, чем словами. Только однажды Павел Петрович пустился было в состязание с нигилистом по поводу модного в то время вопроса о правах остзейских дворян, но сам вдруг остановился, промолвив с холодной вежливостью:

– Впрочем, мы друг друга понять не можем; я, по крайней мере, не имею чести вас понимать.

– Еще бы! – воскликнул Базаров. – Человек все в состоянии понять – и как трепещет эфир, и что на солнце происходит; а как другой человек может иначе сморкаться, чем он сморкается, этого он понять не в состоянии.

– Что, это остроумно? – проговорил вопросительно Павел Петрович и отошел в сторону.

Впрочем, он иногда просил позволения присутствовать при опытах Базарова, а раз даже приблизил свое раздушенное и вымытое отличным снадобьем лицо к микроскопу, для того чтобы посмотреть, как прозрачная инфузория глотала зеленую пылинку и хлопотливо пережевывала ее какими-то очень проворными кулачками, находившимися у ней в горле. Гораздо чаще своего брата посещал Базарова Николай Петрович; он бы каждый день приходил, как он выражался, «учиться», если бы хлопоты по хозяйству не отвлекали его. Он не стеснял молодого естествоиспытателя: садился где-нибудь в уголок комнаты и глядел внимательно, изредка позволяя себе осторожный вопрос. Во время обедов и ужинов он старался направить речь на физику, геологию или химию, так как все другие предметы, даже хозяйственные, не говоря уже о политических, могли повести если не к столкновениям, то ко взаимному неудовольствию. Николай Петрович догадывался, что ненависть его брата к Базарову несколько не уменьшилась. Неважный случай, между многими другими, подтвердил его догадки. Холера стала появляться кое-где по окрестностям и даже «выдернула» двух людей из самого Марьино. Ночью с Павлом Петровичем случился довольно сильный припадок. Он промучился до утра, но не прибег к искусству Базарова и, увидевшись с ним на следующий день, на его вопрос: «Зачем он не послал за ним?» – отвечал, весь еще бледный, но уже тщательно расчесанный и выбритый: «Ведь вы, помнитесь, сами говорили, что не верите в медицину?» – Так проходили дни. Базаров работал упорно и угрюмо... А между тем в доме Николая Петровича находилось существо, с



Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
которым он не то чтобы отводил душу, а охотно беседовал... Это существо была  
Фенечка.

Он встречался с ней большею частью по утрам рано, в саду или на дворе; в комнату к ней он не заходил, и она всего раз подошла к его двери, чтобы спросить его – купать ли ей Митю, или нет? Она не только доверялась ему, не только его не боялась, она при нем держалась вольнее и развязнее, чем при самом Николае Петровиче. Трудно сказать, отчего это происходило; может быть, оттого, что она бессознательно чувствовала в Базарове отсутствие всего дворянского, всего того высшего, что и привлекает и пугает. В ее глазах он и доктор был отличный и человек простой. Не стесняясь его присутствием, она возилась с своим ребенком и однажды, когда у ней вдруг закружилась и заболела голова, из его рук приняла ложку лекарства. При Николае Петровиче она как будто чуждалась Базарова: она это делала не из хитрости, а из какого-то чувства приличия. Павла Петровича она боялась больше чем когда-либо; он с некоторых пор стал наблюдать за нею и неожиданно появлялся, словно из земли вырастал за ее спиною в своем съезде, с неподвижным зорким лицом и руками в карманах. «Так тебя холодом и обдаст», – жаловалась Фенечка Дуняше, а та в ответ ей вздыхала и думала о другом «бесчувственном» человеке. Базаров, сам того не подозревая, сделался жестоким тираном ее души.

Фенечке нравился Базаров; но и она ему нравилась. Даже лицо его изменялось, когда он с ней разговаривал: оно принимало выражение ясное, почти доброе, и к обычной его небрежности примешивалась какая-то шутивная внимательность. Фенечка хорошела с каждым днем. Бывает эпоха в жизни молодых женщин, когда они вдруг начинают расцветать и распускаться, как летние розы; такая эпоха наступила для Фенечки. Все к тому способствовало, даже июльский зной, который стоял тогда. Одета в легкое белое платье, она сама казалась блее и легче: загар не приставал к ней, а жара, от которой она не могла уберечься, слегка румянила ее щеки да уши и, вливая тихую лень во все ее тело, отражалась дремотною томностью в ее хорошеньких глазках. Она почти не могла работать; руки у ней так и скользили на колени. Она едва ходила и все охала да жаловалась с забавным бессилием.

– Ты бы чаще купалась, – говорил ей Николай Петрович.

Он устроил большую, полотном покрытую купальню в том из своих прудов, который еще не совсем ушел.

– Ох, Николай Петрович! Да пока до пруда дойдешь – умрешь, и назад пойдешь – умрешь. Ведь тени-то в саду нету.

– Это точно, что тени нету, – отвечал Николай Петрович и потирал себе брови.

Однажды, часу в седьмом утра, Базаров, возвращаясь с прогулки, застал в давно отцветшей, но еще густой и зеленой сиреневой беседке Фенечку. Она сидела на скамейке, накинув по обыкновению белый платок на голову; подле нее лежал целый пук еще мокрых от росы красных и белых роз. Он поздоровался с нею.

– А! Евгений Васильевич! – проговорила она и приподняла немного край платка, чтобы взглянуть на него, причем ее рука обнажилась до локтя.

– Что вы это тут делаете? – промолвил Базаров, садясь подле нее. – Букет вяжете?

– Да; на стол к завтраку. Николай Петрович это любят.

– Но до завтрака еще далеко. Экая пропасть цветов!

– Я их теперь нарвала, а то станет жарко и выйти нельзя. Только теперь и дышишь. Совсем я расслабела от этого жару. Уж я боюсь, не заболею ли я?

– Это что за фантазия! Дайте-ка ваш пульс пощупать. – Базаров взял ее руку, отыскал ровно бившую жилку и даже не стал считать ее ударов. – Сто лет проживете, – промолвил он, выпуская ее руку.

– Ах, сохрани Бог! – воскликнула она.

– А что? Разве вам не хочется долго пожить?

– Да ведь сто лет! У нас бабушка была восьмидесяти пяти лет – так уж что это была за мученица! Черная, глухая, горбатая, все кашляла; себе только в тягость. Какая уж это жизнь!

– Так лучше быть молодой?

– А то как же?

– Да чем же оно лучше? Скажите мне!

– Как чем? Да вот я теперь, молодая, все могу сделать – и пойду, и приду, и принесу, и никого мне просить не нужно... Чего лучше?

– А вот мне все равно: молод ли я или стар.

– Как это вы говорите – все равно? Это невозможно, что вы говорите.

– Да вы сами посудите, Федосья Николаевна, на что мне моя молодость? Живу я один, бобылем...

– Это от вас всегда зависит.

– То-то что не от меня! Хоть бы кто-нибудь надо мною сжалился.

Фенечка сбоку посмотрела на Базарова, но ничего не сказала.

– Это что у вас за книга? – спросила она, погодя немного.

– Это-то? Это ученая книга, мудреная.

– А вы всё учитесь? И не скучно вам? Вы уж и так, я чай, всё знаете.

– Видно, не всё. Попробуйте-ка вы прочесть немного.

– Да я ничего тут не пойму. Она у вас русская? – спросила Фенечка, принимая в обе руки тяжело переплетенный том. – Какая толстая?

– Русская.

– Все равно я ничего не пойму.

– Да я и не с тем, чтобы вы поняли. Мне хочется посмотреть на вас, как вы читать будете. У вас, когда вы читаете, кончик носика очень мило двигается.

Фенечка, которая принялась было разбирать вполголоса попавшуюся ей статью «о креозоте», засмеялась и бросила книгу... она скользнула со скамейки на землю.

– Я люблю тоже, когда вы смеетесь, – промолвил Базаров.

– Полноте!

– Я люблю, когда вы говорите. Точно ручеек журчит.

Фенечка отвортила голову.

– Какой вы! – промолвила она, перебирая пальцами по цветам. – И что вам меня слушать? Вы с такими умными дамами разговор имели.

– Эх, Федосья Николаевна! поверьте мне: все умные дамы на свете не стоят вашего локотка.

– Ну, вот еще что выдумали! – шепнула Фенечка и поджала руки.

Базаров поднял с земли книгу.

– Это лекарская книга, зачем вы ее бросаете?

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)

– Лекарская? – повторила Фенечка и повернулась к нему. – А знаете что? Ведь с тех пор, как вы мне те капельки дали, помните? уж как Митя спит хорошо! Я уж и не придумую, как мне вас благодарить, такой вы добрый, право.

– А по-настоящему надо лекарям платить, – заметил с усмешкой Базаров. – Лекаря, вы сами знаете, люди корыстные.

Фенечка подняла на Базарова свои глаза, казавшиеся еще темнее от беловатого отблеска, падавшего на верхнюю часть ее лица. Она не знала, – шутит ли он или нет.

– Если вам угодно, мы с удовольствием... Надо будет у Николая Петровича спросить...

– Да вы думаете, я денег хочу? – перебил ее Базаров. – Нет, мне от вас не деньги нужны.

– Что же? – проговорила Фенечка.

– Что? – повторил Базаров – Угадайте.

– Что я за отгадчица!

– Так я вам скажу; мне нужно... одну из этих роз.

Фенечка опять засмеялась и даже руками всплеснула, до того ей показалось забавным желание Базарова. Она смеялась и в то же время чувствовала себя польщенной. Базаров пристально смотрел на нее.

– Извольте, извольте, – промолвила она наконец и, нагнувшись к скамейке, принялась перебирать розы. – Какую вам, красную или белую?

– Красную, и не слишком большую.

Она выпрямилась.

– Вот, возьмите, – сказала она, но тотчас же отдернула протянутую руку и, закусив губы, глянула на вход беседки, потом приникла ухом.

– Что такое? – спросил Базаров. – Николай Петрович?

– Нет... Они в поле уехали – да я и не боюсь их... а вот Павел Петрович... Мне показалось...

– Что?

– Мне показалось, что они тут ходят. Нет... никого нет. Возьмите. – Фенечка отдала Базарову розу.

– С какой стати вы Павла Петровича боитесь?

– Они меня всё пугают. Говорить – не говорят, а так смотрят мудрено. Да ведь и вы его не любите. Помните, прежде вы все с ним спорили. Я и не знаю, о чем у вас спор идет, а вижу, что вы его так вертите, и так...

Фенечка показала руками, как, по ее мнению, Базаров вертел Павла Петровича.

Базаров улыбнулся.

– А если б он меня побеждать стал, – спросил он, – вы бы за меня заступились?

– Где ж мне за вас заступаться? да нет, с вами не сладишь.

– Вы думаете? А я знаю руку, которая захочет, и пальцем меня сшибет.

– Какая такая рука?

– А вы небось не знаете? Понюхайте, как славно пахнет роза, что вы мне дали.

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
Фенечка вытянула шейку и приблизила лицо к цветку... Платок скатился с ее головы на плечи; показалась мягкая масса черных, блестящих, слегка растрепанных волос.

– Пойдите, я хочу понюхать с вами, – промолвил Базаров, нагнулся и крепко поцеловал ее в раскрытые губы.

Она дрогнула, уперлась обеими руками в его грудь, но уперлась слабо, и он мог возобновить и продлить свой поцелуй.

Сухой кашель раздался за сиренями. Фенечка мгновенно отодвинулась на другой конец скамейки. Павел Петрович показался, слегка поклонился и, проговорив с какой-то злобно унылой: «Вы здесь», – удалился. Фенечка тотчас подобрала все розы и вышла вон из беседки.

– Грешно вам, Евгений Васильевич, – шепнула она уходя. Неподдельный упрек слышался в ее шепоте.

Базаров вспомнил другую недавнюю сцену, и совестно ему стало, и презрительно досадно. Но он тотчас же встряхнул головой, иронически поздравил себя «с формальным поступлением в селадоны» и отправился к себе в комнату.

А Павел Петрович вышел из сада и, медленно шагая, добрался до леса. Он остался там довольно долго, и когда он вернулся к завтраку, Николай Петрович заботливо спросил у него, здоров ли он? до того лицо его потемнело.

– Ты знаешь, я иногда страдаю разлитием желчи, – спокойно отвечал ему Павел Петрович.

#### XXIV

Часа два спустя он стучался в дверь к Базарову.

– Я должен извиниться, что мешаю вам в ваших ученых занятиях, – начал он, усаживаясь на стуле у окна и опираясь обеими руками на красивую трость с набалдашником из слоновой кости (он обыкновенно хаживал без трости), – но я принужден просить вас уделить мне пять минут вашего времени... не более.

– Все мое время к вашим услугам, – ответил Базаров, у которого что-то пробежало по лицу, как только Павел Петрович переступил порог двери.

– С меня пяти минут довольно. Я пришел предложить вам один вопрос.

– Вопрос? О чем это?

– А вот извольте выслушать. В начале вашего пребывания в доме моего брата, когда я еще не отказывал себе в удовольствии беседовать с вами, мне случалось слышать ваши суждения о многих предметах; но, сколько мне помнится, ни между нами, ни в моем присутствии речь никогда не заходила о поединках, о дуэли вообще. Позвольте узнать, какое ваше мнение об этом предмете?

Базаров, который встал было навстречу Павлу Петровичу, присел на край стола и скрестил руки.

– Вот мое мнение, – сказал он. – С теоретической точки зрения дуэль – нелепость; ну, а с практической точки зрения – это дело другое.

– То есть вы хотите сказать, если я только вас понял, что какое бы ни было ваше теоретическое воззрение на дуэль, на практике вы бы не позволили оскорбить себя, не потребовав удовлетворения?

– Вы вполне отгадали мою мысль.

– Очень хорошо–с. Мне очень приятно это слышать от вас. Ваши слова выводят меня из неизвестности...

– Из нерешимости, хотите вы сказать.

– Это все равно–с; я выражаюсь так, чтобы меня поняли, я... не семинарская крыса. Ваши слова избавляют меня от некоторой печальной необходимости. Я решился

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
драться с вами.

Базаров вытаращил глаза.

– Со мной?

– Непременно с вами.

– Да за что? помилуйте.

– Я бы мог объяснить вам причину, – начал Павел Петрович. – Но я предпочитаю умолчать о ней. Вы, на мой вкус, здесь лишний; я вас терпеть не могу, я вас презираю, и если вам этого не довольно...

Глаза Павла Петровича засверкали... Они вспыхнули и у Базарова.

– Очень хорошо-с, – проговорил он. – Дальнейших объяснений не нужно. Вам пришла фантазия испытать на мне свой рыцарский дух. Я бы мог отказать вам в этом удовольствии, да уж куда ни шло!

– Чувствительно вам обязан, – ответил Павел Петрович, – и могу теперь надеяться, что вы примете мой вызов, не заставив меня прибегнуть к насильственным мерам.

– То есть, говоря без аллегорий, к этой палке? – хладнокровно заметил Базаров. – Это совершенно справедливо. Вам нисколько не нужно оскорблять меня. Оно же и не совсем безопасно. Вы можете остаться джентльменом... Принимаю ваш вызов тоже по-джентльменски.

– Прекрасно, – промолвил Павел Петрович и поставил трость в угол. – Мы сейчас скажем несколько слов об условиях нашей дуэли; но я сперва желал бы узнать, считаете ли вы нужным прибегнуть к формальности небольшой ссоры, которая могла бы служить предлогом моему вызову?

– Нет, лучше без формальностей.

– Я сам так думаю. Полагаю также неуместным вникать в настоящие причины нашего столкновения. Мы друг друга терпеть не можем. Чего же больше?

– Чего же больше? – повторил иронически Базаров.

– Что же касается до самых условий поединка, то так как у нас секундантов не будет, – ибо где ж их взять?

– Именно, где их взять?

– То я имею честь предложить вам следующее: драться завтра рано, положим, в шесть часов, за роцей, на пистолетах; барьер в десяти шагах.

– В десяти шагах? Это так; мы на это расстояние ненавидим друг друга.

– Можно и восемь, – заметил Павел Петрович.

– Можно; отчего же!

– Стрелять два раза; а на всякий случай каждому положить себе в карман письмецо, в котором он сам обвинит себя в своей кончине.

– Вот с этим я не совсем согласен, – промолвил Базаров. – Немножко на французский роман сбивается, неправдоподобно что-то.

– Быть может. Однако согласитесь, что неприятно подвергнуться подозрению в убийстве?

– Соглашаюсь. Но есть средство избежать этого грустного нареkania. Секундантов у нас не будет, но может быть свидетель.

– Кто именно, позвольте узнать?

– Да Петр

– Какой Петр?

– Камердинер вашего брата. Он человек, стоящий на высоте современного образования, и исполнит свою роль со всем необходимым в подобных случаях комильфо[166].

– Мне кажется, вы шутите, милостивый государь.

– Нисколько. Обсудивши мое предложение, вы убедитесь, что оно исполнено здравого смысла и простоты. Шила в мешке не утаишь, а Петра я берусь подготовить надлежащим образом и привести на место побоища.

– Вы продолжаете шутить, – произнес, вставая со стула, Павел Петрович. – Но после любезной готовности, оказанной вами, я не имею права быть на вас в претензии... Итак, все устроено... Кстати, пистолетов у вас нет?

– Откуда будут у меня пистолеты, Павел Петрович? Я не воин.

– В таком случае предлагаю вам мои. Вы можете быть уверены, что вот уже пять лет, как я не стрелял из них.

– Это очень утешительное известие.

Павел Петрович достал свою трость...

– Засим, милостивый государь, мне остается только благодарить вас и возвратить вас вашим занятиям. Честь имею кланяться.

– До приятного свидания, милостивый государь мой, – промолвил Базаров, провожая гостя.

Павел Петрович вышел, а Базаров постоял перед дверью и вдруг воскликнул: «Фу ты, черт! как красиво и как глупо! Экую мы комедию отломали! Ученые собаки так на задних лапах танцуют. А отказать было невозможно; ведь он меня, чего доброго, ударил бы, и тогда... (Базаров побледнел при одной этой мысли; вся его гордость так и поднялась на дыбы.) Тогда пришлось бы задушить его, как котенка». Он возвратился к своему микроскопу, но сердце у него расшевелилось, и спокойствие, необходимое для наблюдений, исчезло. «Он нас увидел сегодня, – думал он, – но неужели ж это он за брата так вступился? Да и что за важность, поцелуй? Тут что-нибудь другое есть. Ба! да не влюблен ли он сам? Разумеется, влюблен; это ясно как день. Какой переплет, подумаешь!.. Скверно! – решил он наконец, – скверно, с какой стороны ни посмотри. Во-первых, надо будет подставлять лоб и во всяком случае уехать; а тут Аркадий... и эта божья коровка Николай Петрович. Скверно, скверно».

День прошел как-то особенно тихо и вяло. Фенечки словно на свете не бывало; она сидела в своей комнатке, как мышонок в норке. Николай Петрович имел вид озабоченный. Ему донесли, что в его пшенице, на которую он особенно надеялся, показалась головня. Павел Петрович подавлял всех, даже Прокофьяча, свою леденящую вежливостью. Базаров начал было письмо к отцу, да разорвал его и бросил под стол. «Умру, – подумал он, – узнают; да я не умру. Нет, я еще долго на свете маячить буду». Он велел Петру прийти к нему на следующий день чуть свет для важного дела; Петр вообразил, что он хочет взять его с собой в Петербург. Базаров лег поздно, и всю ночь его мучили беспорядочные сны... Одинцова кружилась перед ним, она же была его мать, за ней ходила кошечка с черными усиками, и эта кошечка была Фенечка; а Павел Петрович представлялся ему большим лесом, с которым он все-таки должен был драться. – Петр разбудил его в четыре часа; он тотчас оделся и вышел с ним.

Утро было славное, свежее; маленькие пестрые тучки стояли барашками на бледно-ясной лазури; мелкая роса высыпала на листьях и травах, блистала серебром на паутинках; влажная, темная земля, казалось, еще хранила румяный след зари; со всего неба сыпались песни жаворонков. Базаров дошел до рощи, присел в тени на

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
опушке и только тогда открыл Петру, какой он ждал от него услуги. Образованный лакей перепугался насмерть; но Базаров успокоил его уверением, что ему другого нечего будет делать, как только стоять в отдалении да глядеть, и что ответственности он не подвергается никакой. «А между тем, – прибавил он, – подумай, какая предстоит тебе важная роль!» Петр развел руками, потупился и, весь зеленый, прислонился к березе.

Дорога из Марьино огибала лесок; легкая пыль лежала на ней, еще не тронутая со вчерашнего дня ни колесом, ни ногою. Базаров невольно посматривал вдоль той дороги, рвал и кусал траву, а сам все твердил про себя: «Экая глупость!» Утренний холодок заставил его раза два вздрогнуть... Петр уныло взглянул на него, но Базаров только усмехнулся: он не трясся.

Раздался топот конских ног по дороге... Мужик показался из-за деревьев. Он гнал двух спутанных лошадей перед собою и, проходя мимо Базарова, посмотрел на него как-то странно, не ломая шапки, что, видимо, смутило Петра, как недоброе предзнаменование. «Вот этот тоже рано встал, – подумал Базаров, – да, по крайней мере, за делом, а мы?»

– Кажись, они идут-с, – шепнул вдруг Петр.

Базаров поднял голову и увидел Павла Петровича. Одетый в легкий клетчатый пиджак и белые, как снег, панталоны, он быстро шел по дороге; под мышкой он нес ящик, завернутый в зеленое сукно.

– Извините, я, кажется, заставил вас ждать, – промолвил он, кланяясь сперва Базарову, потом Петру, в котором он в это мгновение уважал нечто вроде секунданта. – Я не хотел будить моего камердинера.

– Ничего-с, – ответил Базаров, – мы сами только что пришли.

– А! тем лучше! – Павел Петрович оглянулся кругом. – Никого не видать, никто не помешает... Мы можем приступить?

– Приступим.

– Новых объяснений вы, я полагаю, не требуете?

– Не требую.

– Угодно вам заряжать? – спросил Павел Петрович, вынимая из ящика пистолеты.

– Нет; заряжайте вы, а я шаги отмеривать стану. Ноги у меня длиннее, – прибавил Базаров с усмешкой. – Раз, два, три...

– Евгений Васильич, – с трудом пролепетал Петр (он дрожал, как в лихорадке), – воля ваша, я отойду.

– Четыре... пять... Отойди, братец, отойди; можешь даже за дерево стать и уши заткнуть, только глаз не закрывай; а повалится кто, беги подымать. Шесть... семь... восемь... – Базаров остановился. – Довольно? – промолвил он, обращаясь к Павлу Петровичу, – или еще два шага накинуть?

– Как угодно, – проговорил тот, заколачивая вторую пулю.

– Ну, накинем еще два шага. – Базаров провел носком сапога черту по земле. – Вот и барьер. А кстати: на сколько шагов каждому из нас от барьера отойти? Это тоже важный вопрос. Вчера об этом не было дискуссии.

– Я полагаю, на десять, – ответил Павел Петрович, подавая Базарову оба пистолета. – Соболаговолите выбрать.

– Соболаговоляю. А согласитесь, Павел Петрович, что поединок наш необычаен до смешного? Вы посмотрите только на физиономию нашего секунданта.

– Вам все желательно шутить, – ответил Павел Петрович. – Я не отрицаю странности нашего поединка, но я считаю долгом предупредить вас, что я намерен драться серьезно. *A bon entendeur salut!*[167]

– О! я не сомневаюсь в том, что мы решились истреблять друг друга; но почему же не посмеяться и не соединить *utile dulci*?[168] Так-то: вы мне по-французски, а я вам по-латыни.

– Я буду драться серьезно, – повторил Павел Петрович и отправился на свое место. Базаров, с своей стороны, отсчитал десять шагов от барьера и остановился.

– Вы готовы? – спросил Павел Петрович.

– Совершенно.

– Можем сходиться.

Базаров тихонько двинулся вперед, и Павел Петрович пошел на него, заложив левую руку в карман и постепенно поднимая дуло пистолета... «Он мне прямо в нос целит, – подумал Базаров, – и как щурится старательно, разбойник! Однако это неприятное ощущение. Стану смотреть на цепочку его часов...» Что-то резко зыкнуло около самого уха Базарова, и в то же мгновение раздался выстрел. «Слышал, стало быть, ничего», – успело мелькнуть в его голове. Он ступил еще раз и, не целясь, подавил пружинку.

Павел Петрович дрогнул слегка и хватился рукою за ляжку. Струйка крови потекла по его белым панталонам.

Базаров бросил пистолет в сторону и приблизился к своему противнику.

– Вы ранены? – промолвил он.

– Вы имели право подозвать меня к барьеру, – проговорил Павел Петрович, – а это пустяки. По условию, каждый имеет еще по одному выстрелу.

– Ну, извините, это до другого раза, – отвечал Базаров и обхватил Павла Петровича, который начинал бледнеть. – Теперь я уже не дуэлист, а доктор и прежде всего должен осмотреть вашу рану. Петр! поди сюда, Петр! куда ты спрятался?

– Все это вздор... Я не нуждаюсь ни в чьей помощи, – промолвил с расстановкой Павел Петрович, – и... надо... опять... – Он хотел было дернуть себя за ус, но рука его ослабела, глаза закатились, и он лишился чувств.

– Вот новость! Обморок! С чего бы! – невольно воскликнул Базаров, опуская Павла Петровича на траву. – Посмотрим, что за штука? – Он вынул платок, отер кровь, пощупал вокруг раны... – Кость цела, – бормотал он сквозь зубы, – пуля прошла неглубоко насквозь, один мускул *vastus externus* задет. Хоть пляши через три недели!.. А обморок! Ох, уж эти мне нервные люди? Вишь, кожа-то какая тонкая.

– Убиты-с? – прошелестел за его спиной трепетный голос Петра.

Базаров оглянулся.

– Ступай за водой поскорей, братец, а он нас с тобой еще переживет.

Но усовершенствованный слуга, казалось, не понимал его слов и не двигался с места. Павел Петрович медленно открыл глаза. «Кончается!» – шепнул Петр и начал креститься.

– Вы правы... Экая глупая физиономия! – проговорил с насильственной улыбкой раненый джентльмен.

– Да ступай же за водой, черт! – крикнул Базаров.

– Не нужно... это был минутный *vertige*...[169] Помогите мне сесть... вот так... Эту царяпину стоит только чем-нибудь прихватить, и я дойду домой пешком, а не то можно дрожки за мной прислать. Дуэль, если вам угодно, не возобновляется. Вы поступили благородно... сегодня, сегодня – заметьте.

– О прошлом вспоминать незачем, – возразил Базаров, – а что касается до



Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
будущего, то о нем тоже не стоит голову ломать, потому что я намерен немедленно улизнуть. Дайте я вам перевяжу теперь ногу; рана ваша – не опасная, а все лучше остановить кровь. Но сперва необходимо этого смертного привести в чувство.

Базаров встряхнул Петра за ворот и послал его за дрожками.

– Смотри, брата не испугай, – сказал ему Павел Петрович, – не вздумай ему докладывать.

Петр помчался; а пока он бегал за дрожками, оба противника сидели на земле и молчали. Павел Петрович старался не глядеть на Базарова; помириться с ним он все-таки не хотел; он стыдился своей заносчивости, своей неудачи, стыдился всего затеянного им дела, хотя и чувствовал, что более благоприятным образом оно кончиться не могло. «Не будет по крайней мере здесь торчать, – успокаивал он себя, – и на том спасибо». Молчание длилось, тяжелое и неловкое. Обоим было нехорошо. Каждый из них сознавал, что другой его понимает. Другим это сознание приятно, и весьма неприятно недругам, особенно когда нельзя ни объяснить, ни разойтись.

– Не туго ли я завязал вам ногу? – спросил наконец Базаров.

– Нет, ничего, прекрасно, – отвечал Павел Петрович и, погодя немного, прибавил: – Брата не обманешь, надо будет сказать ему, что мы повздорили из-за политики.

– Очень хорошо, – промолвил Базаров. – Вы можете сказать, что я бранил всех англоманов.

– И прекрасно. Как вы полагаете, что думает теперь о нас этот человек? – продолжал Павел Петрович, указывая на того самого мужика, который за несколько минут до дуэли прогнал мимо Базарова спутанных лошадей и, возвращаясь назад по дороге, «забочил» и снял шапку при виде «господ».

– Кто ж его знает! – ответил Базаров. – Всего вероятнее, что ничего не думает. Русский мужик – это тот самый таинственный незнакомец, о котором некогда так много толковала госпожа Ратклиф. Кто его поймет? Он сам себя не понимает.

– А! вот вы как! – начал было Павел Петрович и вдруг воскликнул: – Посмотрите, что ваш глупец Петр наделал! Ведь брат сюда скачет!

Базаров обернулся и увидел бледное лицо Николая Петровича, сидевшего на дрожках. Он соскочил с них, прежде нежели они остановились, и бросился к брату.

– Что это значит? – проговорил он взволнованным голосом. – Евгений Васильич, помилуйте, что это такое?

– Ничего, – отвечал Павел Петрович, – напрасно тебя потревожили. Мы немножко повздорили с господином Базаровым, и я за это немножко поплатился.

– Да из-за чего все вышло, ради Бога?

– Как тебе сказать? Господин Базаров непочтительно отозвался о сэре Роберте Пиле. Спешу прибавить, что во всем этом виноват один я, а господин Базаров вел себя отлично. Я его вызвал.

– Да у тебя кровь, помилуй!

– А ты полагал, у меня вода в жилах? Но мне это кровопускание даже полезно. Не правда ли, доктор? Помоги мне сесть на дрожки и не предавайся меланхолии. Завтра я буду здоров. Вот так; прекрасно. Трогай, кучер.

Николай Петрович пошел за дрожками; Базаров остался было назади...

– Я должен вас просить заняться братом, – сказал ему Николай Петрович, – пока нам из города привезут другого врача.

Базаров молча наклонил голову.

Час спустя Павел Петрович уже лежал в постели с искусно забинтованною ногой.

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
Весь дом переполошился; Фенечке сделалось дурно. Николай Петрович втихомолку ломал себе руки, а Павел Петрович смеялся, шутил, особенно с Базаровым; надел тонкую батистовую рубашку, щегольскую утреннюю курточку и феску, не позволил опускать шторы окон и забавно жаловался на необходимость воздержаться от пищи.

К ночи с ним, однако, сделался жар; голова у него заболела. Явился доктор из города. (Николай Петрович не послушался брата, да и сам Базаров этого желал; он целый день сидел у себя в комнате, весь желтый и злой, и только на самое короткое время забегал к больному; раза два ему случилось встретиться с Фенечкой, но она с ужасом от него отскакивала.) Новый доктор посоветовал прохладительные питья, а впрочем, подтвердил уверения Базарова, что опасности не предвидится никакой. Николай Петрович сказал ему, что брат сам себя поранил по неосторожности, на что доктор отвечал: «Гм!» – но, получив тут же в руку двадцать пять рублей серебром, промолвил:

– Скажите! это часто случается, точно.

Никто в доме не ложился и не раздевался. Николай Петрович то и дело входил на цыпочках к брату и на цыпочках выходил от него; тот забывался, слегка охал, говорил ему по-французски: «Couchez-vous»[170], и просил пить. Николай Петрович заставил раз Фенечку поднести ему стакан лимонаду; Павел Петрович посмотрел на нее пристально и выпил стакан до дна. К утру жар немного усилился, показался легкий бред. Сперва Павел Петрович произносил несвязные слова; потом он вдруг открыл глаза и, увидав возле своей постели брата, заботливо наклонившегося над ним, промолвил:

– А не правда ли, Николай, в Фенечке есть что-то общее с Нелли?

– С какой Нелли, Паша?

– Как это ты спрашиваешь? С княгиней Р... Особенно в верхней части лица. C'est de la même famille[171].

Николай Петрович ничего не отвечал, а сам про себя подивился живучести старых чувств в человеке.

«Вот когда всплыло», – подумал он.

– Ах, как я люблю это пустое существо! – простонал Павел Петрович, тоскливо закидывая руки за голову. – Я не потерплю, чтобы какой-нибудь наглец посмел коснуться... – лепетал он несколько мгновений спустя.

Николай Петрович только вздохнул; он и не подозревал, к кому относились эти слова.

Базаров явился к нему на другой день, часов в восемь. Он успел уже уложиться и выпустить на волю всех своих лягушек, насекомых и птиц.

– Вы пришли со мной проститься? – проговорил Николай Петрович, поднимаясь ему навстречу.

– Точно так-с.

– Я вас понимаю и одобряю вас вполне. Мой бедный брат, конечно, виноват: за то он и наказан. Он мне сам сказал, что поставил вас в невозможность иначе действовать. Я верю, что вам нельзя было избежать этого поединка, который... который... до некоторой степени объясняется одним лишь постоянным антагонизмом ваших взаимных воззрений. (Николай Петрович путался в своих словах.) Мой брат – человек прежнего закала, вспыльчивый и упрямый... Слава Богу, что еще так кончилось. Я принял все нужные меры к избежанию огласки...

– Я вам оставляю свой адрес на случай, если выйдет история, – заметил небрежно Базаров.

– Я надеюсь, что никакой истории не выйдет, Евгений Васильич... Мне очень жаль, что ваше пребывание в моем доме получило такое... такой конец. Мне это тем огорчительнее, что Аркадий...

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)

– Я, должно быть, с ним увижусь, – возразил Базаров, в котором всякого рода «Объяснения» и «изъявления» постоянно возбуждали нетерпеливое чувство, – в противном случае, прошу вас поклониться ему от меня и принять выражение моего сожаления.

– И я прошу... – ответил с поклоном Николай Петрович. Но Базаров не дождался конца его фразы и вышел.

Узнав об отъезде Базарова, Павел Петрович пожелал его видеть и пожал ему руку. Но Базаров и тут остался холоден, как лед; он понимал, что Павлу Петровичу хотелось повеликодушничать. С Фенечкой ему не удалось проститься: он только переглянулся с нею из окна. Ее лицо показалось ему печальным. «Пропадет, пожалуй! – сказал он про себя. – Ну, выдерется как-нибудь!» Зато Петр расчувствовался до того, что плакал у него на плече, пока Базаров не охладил его вопросом: «Не на мокром ли месте у него глаза?», а Дуняша принуждена была убежать в рощу, чтобы скрыть свое волнение. Виновник всего этого горя взобрался на телегу, закурил сигару, и, когда на четвертой версте, при повороте дороги, в последний раз предстала его глазам развернутая в одну линию кирсановская усадьба с своим новым господским домом, он только сплюнул и, пробормотав: «Барчуки проклятые», – плотнее завернулся в шинель.

Павлу Петровичу скоро полегчало; но в постели пришлось ему полежать около недели. Он переносил свой, как он выражался, плен довольно терпеливо, только уж очень возился с туалетом и все приказывал курить одеколоном. Николай Петрович читал ему журналы, Фенечка ему прислуживала по-прежнему, приносила бульон, лимонад, яйца всмятку, чай; но тайный ужас овладевал ею каждый раз когда она входила в его комнату. Неожиданный поступок Павла Петровича запугал всех людей в доме, а ее больше всех; один Прокофьич не смутился и толковал, что и в его время господа дирывались, «только благородные господа между собою, а этаких прощелыг они бы за грубость на конюшне отодрать велели».

Совесть почти не упрекала Фенечку, но мысль о настоящей причине ссоры мучила ее по временам; да и Павел Петрович глядел на нее так странно... так, что она, даже обернувшись к нему спиной, чувствовала на себе его глаза. Она похудела от непрерывной внутренней тревоги и, как водится, стала еще милей.

Однажды – дело было утром – Павел Петрович хорошо себя чувствовал и перешел с постели на диван, а Николай Петрович, осведомившись об его здоровье, отлучился на гумно. Фенечка принесла чашку чаю и, поставив ее на столик, хотела было удалиться. Павел Петрович ее удержал.

– Куда вы так спешите, Федосья Николаевна? – начал он. – Разве у вас дело есть?

– Нет-с... да-с... Нужно там чай разливать.

– Дуняша это без вас сделает; посидите немножко с больным человеком. Кстати, мне нужно поговорить с вами.

Фенечка молча присела на край кресла.

– Послушайте, – промолвил Павел Петрович и подергал свои усы, – я давно хотел у вас спросить: вы как будто меня боитесь?

– Я-с?..

– Да, вы. Вы на меня никогда не смотрите, точно у вас совесть не чиста.

Фенечка покраснела, но взглянула на Павла Петровича. Он показался ей каким-то странным, и сердце у ней тихонько задрожало.

– Ведь у вас совесть чиста? – спросил он ее.

– Отчего же ей не быть чистой? – шепнула она.

– Мало ли отчего! Впрочем, перед кем можете вы быть виноватой? Передо мной? Это невероятно. Перед другими лицами здесь в доме? Это тоже дело несбыточное. Разве перед братом? Но ведь вы его любите?

– Люблю.

– Всей душой, всем сердцем?

– Я Николая Петровича всем сердцем люблю.

– Право? Посмотрите-ка на меня, Фенечка (он в первый раз так называл ее...). Вы знаете – большой грех лгать!

– Я не лгу, Павел Петрович. Мне Николая Петровича не любить – да после этого мне и жить не надо!

– И ни на кого вы его не променяете?

– На кого ж могу я его променять?

– Мало ли на кого! Да вот хоть бы на этого господина, что отсюда уехал.

Фенечка встала.

– Господи Боже мой, Павел Петрович, за что вы меня мучите? Что я вам сделала? Как это можно такое говорить?..

– Фенечка, – промолвил печальным голосом Павел Петрович, – ведь я видел...

– Что вы видели-с?

– Да там... в беседке.

Фенечка зарделась вся до волос и до ушей.

– А чем же я тут виновата? – произнесла она с трудом.

Павел Петрович приподнялся.

– Вы не виноваты? Нет? Нисколько?

– Я Николая Петровича одного на свете люблю и век любить буду! – проговорила с внезапной силой Фенечка, между тем как рыданья так и поднимали ее горло, – а что вы видели, так я на Страшном суде скажу, что вины моей в том нет и не было, и уж лучше мне умереть сейчас, коли меня в таком деле подозревать могут, что я перед моим благодетелем, Николаем Петровичем...

Но тут голос изменил ей, и в то же время она почувствовала, что Павел Петрович ухватил и стиснул ее руку... Она посмотрела на него, и так и окаменела. Он стал еще бледнее прежнего; глаза его блистали, и, что всего было удивительнее, тяжелая одинокая слеза катилась по его щеке.

– Фенечка! – сказал он каким-то чудным шепотом, – любите, любите моего брата! Он такой добрый, хороший человек! Не изменяйте ему ни для кого на свете, не слушайте ничьих речей! Подумайте, что может быть ужаснее, как любить и не быть любимым! Не покидайте никогда моего бедного Николая!

Глаза высохли у Фенечки, и страх ее прошел, до того велико было ее изумление. Но что случилось с ней, когда Павел Петрович, сам Павел Петрович прижал ее руку к своим губам и так и приник к ней, не целуя ее и только изредка судорожно вздыхая...

«Господи! – подумала она, – уж не припадок ли с ним?»

А в это мгновение целая погибшая жизнь в нем трепетала.

Лестница закричала под быстрыми шагами... Он оттолкнул ее от себя прочь и откинулся головой на подушку. Дверь растворилась – и веселый, свежий, румяный появился Николай Петрович. Митя, такой же свежий и румяный, как и отец, подпрыгивал в одной рубашечке на его груди, цепляясь голыми ножками за большие пуговицы его деревенского пальто.

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
Фенечка так и бросилась к нему и, обвив руками и его и сына, припала головой к его плечу. Николай Петрович удивился: Фенечка, застенчивая и скромная, никогда не ласкалась к нему в присутствии третьего лица.

– Что с тобой? – промолвил он и, глянув на брата, передал ей Митю. – Ты не хуже себя чувствуешь? – спросил он, подходя к Павлу Петровичу.

Тот уткнул лицо в батистовый платок.

– Нет... так., ничего. Напротив, мне гораздо лучше.

– Ты напрасно поспешил перейти на диван. Ты куда? – прибавил Николай Петрович, оборачиваясь к Фенечке, но та уже захлопнута за собою дверь. – Я было принес показать тебе моего богатыря; он соскучился по своему дяде. Зачем это она унесла его? Однако что с тобой? Произошло у вас тут что-нибудь, что ли?

– Брат! – торжественно проговорил Павел Петрович.

Николай Петрович дрогнул. Ему стало жутко, он сам не понимал почему.

– Брат, – повторил Павел Петрович, – дай мне слово исполнить одну мою просьбу.

– Какую просьбу? Говори.

– Она очень важна; от нее, по моим понятиям, зависит все счастье твоей жизни. Я все это время много размышлял о том, что я хочу теперь сказать тебе... Брат, исполни обязанность твою, обязанность честного и благородного человека, прекрати соблазн и дурной пример, который подается тобою, лучшим из людей!

– Что ты хочешь сказать, Павел?

– Женись на Фенечке... Она тебя любит, она – мать твоего сына.

Николай Петрович отступил на шаг и всплеснул руками.

– Ты это говоришь, Павел? ты, которого я считал всегда самым непреклонным противником подобных браков! Ты это говоришь? Но разве ты не знаешь, что единственно из уважения к тебе я не исполнил того, что ты так справедливо назвал моим долгом!

– Напрасно ж ты уважал меня в этом случае, – возразил с унылою улыбкой Павел Петрович. – Я начинаю думать, что Базаров был прав, когда упрекал меня в аристократизме. Нет, милый брат, полно нам ломаться и думать о свете: мы люди уже старые и смиренные, пора нам отложить в сторону всякую суету. Именно, как ты говоришь, станем исполнять наш долг; и посмотри, мы еще и счастье получим в придачу.

Николай Петрович бросился обнимать своего брата.

– Ты мне окончательно открыл глаза! – воскликнул он. – Я недаром всегда утверждал, что ты самый добрый и умный человек в мире; а теперь я вижу, что ты такой же благоразумный, как и великодушный...

– Тише, тише, – перевал его Павел Петрович. – Не разбреди ногу твоего благоразумного брата, который под пятьдесят лет дрался на дуэли, как прапорщик. Итак, это дело решенное: Фенечка будет моею *belle-soeur*[172].

– Дорогой мой Павел! Но что скажет Аркадий?

– Аркадий? Он восторжествует, помилуй! Брак не в его принципах, зато чувство равенства будет в нем польщено. Да и действительно, что за касты *au dix-neuvieme siecle?*[173]

– Ах, Павел, Павел! дай мне еще раз тебя поцеловать. Не бойся, я осторожно.

Братья обнялись.

– Как ты полагаешь, не объявить ли ей твое намерение теперь же? – спросил Павел

Петрович.

– К чему спешить? – возразил Николай Петрович. – Разве у вас был разговор?

– Разговор, у нас? Quelle idee![174]

– Ну и прекрасно. Прежде всего выздоравливай, а это от нас не уйдет, надо подумать хорошенько, сообразить...

– Но ведь ты решился?

– Конечно, решился и благодарю тебя от души. Я теперь тебя оставлю, тебе надо отдохнуть; всякое волнение тебе вредно... Но мы еще потолкуем. Засни, душа моя, и дай Бог тебе здоровья!

«За что он меня так благодарит? – подумал Павел Петрович, оставшись один. – Как будто это не от него зависело! А я, как только он женится, уеду куда-нибудь подальше, в Дрезден или во Флоренцию, я буду там жить, пока околею».

Павел Петрович помочил себе лоб одеколоном и закрыл глаза. Освещенная ярким дневным светом, его красивая, исхудалая голова лежала на белой подушке, как голова мертвеца... Да он и был мертвец.

XXV

В Никольском, в саду, в тени высокого ясеня, сидели на дерновой скамейке Катя с Аркадием: на земле возле них поместилась Фифи, придав своему длинному телу тот изящный поворот, который у охотников слывет «русачьей полужкой». И Аркадий и Катя молчали; он держал в руках полураскрытую книгу, а она выбирала из корзинки оставшиеся в ней крошки белого хлеба и бросала их небольшой семейке воробьев, которые, с свойственной им трусливой дерзостью, прыгали и чирикали у самых ее ног. Слабый ветер, шевеля в листьях ясеня, тихонько двигал взад и вперед, и по темной дорожке и по желтой спине Фифи, бледно-золотые пятна света; ровная тень обливала Аркадия и Катю; только изредка в ее волосах зажигалась яркая полоска. Они молчали оба; но именно в том, как они молчали, как они сидели рядом, сказывалось доверчивое сближение: каждый из них как будто и не думал о своем соседе, а втайне радовался его близости. И лица их изменились с тех пор, как мы их видели в последний раз: Аркадий казался спокойнее, Катя оживленнее, смелей.

– Не находите ли вы, – начал Аркадий, – что яшень по-русски очень хорошо назван: ни одно дерево так легко и ясно не сквозит на воздухе, как он.

Катя подняла глаза кверху и промолвила: «Да», а Аркадий подумал: «Вот эта не упрекает меня за то, что я красиво выражаюсь».

– Я не люблю Гейне, – заговорила Катя, указывая глазами на книгу, которую Аркадий держал в руках, – ни когда он смеется, ни когда он плачет: я его люблю, когда он задумчив и грустит.

– А мне нравится, когда он смеется, – заметил Аркадий.

– Это в вас еще старые следы вашего сатирического направления... («Старые следы! – подумал Аркадий. – Если б Базаров это слышал!») Погодите, мы вас переделаем.

– Кто меня переделает? Вы?

– Кто? – Сестра; Порфирий Платонович, с которым вы уже не ссоритесь; тетушка, которую вы третьего дня проводили в церковь.

– Не мог же я отказаться! А что касается до Анны Сергеевны, она сама, вы помните, во многом соглашалась с Евгением.

– Сестра находилась тогда под его влиянием, так же как и вы.

– Как и я! Разве вы замечаете, что я уже освободился из-под его влияния?

Катя промолчала.

– Я знаю, – продолжал Аркадий, – он вам никогда не нравился.

– Я не могу судить о нем.

– Знаете ли что, Катерина Сергеевна? Всякий раз, когда я слышу этот ответ, я ему не верю... Нет такого человека, о котором каждый из нас не мог бы судить! Это просто отговорка.

– Ну, так я вам скажу, что он... не то что мне не нравится, а я чувствую, что и он мне чужой, и я ему чужая... да и вы ему чужой...

– Это почему?

– Как вам сказать... Он хищный, а мы с вами ручные.

– И я ручной?

Катя кивнула головой.

Аркадий почесал у себя за ухом.

– Послушайте, Катерина Сергеевна: ведь это в сущности обидно.

– Разве вы хотели бы быть хищным?

– Хищным нет, но сильным, энергическим.

– Этого нельзя хотеть... Вот ваш приятель этого и не хочет, а в нем это есть.

– Гм! Так вы полагаете, что он имел большое влияние на Анну Сергеевну?

– Да. Но над ней никто долго взять верх не может, – прибавила Катя вполголоса.

– Почему вы это думаете?

– Она очень горда... я не то хотела сказать... она очень дорожит своею независимостью.

– Кто же ею не дорожит? – спросил Аркадий, а у самого в уме мелькнуло: «На что она?» – «На что она?» – мелькнуло и у Кати. Молодым людям, которые часто и дружелюбно сходятся, беспрестанно приходят одни и те же мысли.

Аркадий улыбнулся и, слегка придвинувшись к Кате, промолвил шепотом:

– Сознайтесь, что вы немножко ее боитесь.

– Кого?

– Ее, – значительно повторил Аркадий.

– А вы? – в свою очередь спросила Катя.

– И я; заметьте, я сказал: и я.

Катя погрозила ему пальцем.

– Это меня удивляет, – начала она, – никогда сестра так не была расположена к вам, как именно теперь, гораздо больше, чем в первый ваш приезд.

– Вот как!

– А вы этого не заметили? Вас это не радует?

Аркадий задумался.

– Чем я мог заслужить благоволение Анны Сергеевны? Уж не тем ли, что привез ей письма вашей матушки?

– И этим, и другие есть причины, которых я не скажу.

– Это почему?

– Не скажу.

– О! я знаю! вы очень упрямы.

– Упряма.

– И наблюдательны.

Катя посмотрела сбоку на Аркадия.

– Может быть, вас это сердит? О чем вы думаете?

– Я думаю о том, откуда могла прийти вам эта наблюдательность, которая действительно есть в вас. Вы так пугливы, недоверчивы; всех чуждаетесь...

– Я много жила одна: поневоле размышлять станешь. Но разве я всех чуждаюсь?

Аркадий бросил признательный взгляд на Катю.

– Все это прекрасно, – продолжал он, – но люди в вашем положении, я хочу сказать с вашим состоянием, редко владеют этим даром; до них, как до царей, истине трудно дойти.

– Да ведь я не богатая.

Аркадий изумился и не сразу понял Катю. «И в самом деле, имение-то все сестрино!» – пришло ему в голову; эта мысль ему не была неприятна.

– Как вы это хорошо сказали! – промолвил он.

– А что?

– Сказали хорошо; просто, не стыдясь и не рисуясь. Кстати: я воображаю, в чувстве человека, который знает и говорит, что он беден, должно быть что-то особенное, какое-то своего рода тщеславие.

– Я ничего этого не испытала по милости сестры; я упомянула о своем состоянии только потому, что к слову пришлось.

– Так; но сознайтесь, что и в вас есть частица того тщеславия, о котором я сейчас говорил.

– Например?

– Например, ведь вы, – извините мой вопрос, – вы бы не пошли замуж за богатого человека?

– Если б я его очень любила... Нет, кажется, и тогда бы не пошла.

– А! вот видите! – воскликнул Аркадий и, погода немного, прибавил: – А отчего бы вы за него не пошли?

– Оттого, что и в песне про неровнюшку поется.

– Вы, может быть, хотите властвовать или...

– О нет! к чему это? Напротив, я готова покоряться, только неравенство тяжело. А уважать себя и покоряться, это я понимаю; это счастье; но подчиненное существование... Нет, довольно и так.

– Довольно и так, – повторил за Катей Аркадий. – Да, да, – продолжал он, – вы недаром одной крови с Анной Сергеевной; вы так же самостоятельны, как она; но вы более скрытны. Вы, я уверен, ни за что первая не выскажете своего чувства, как бы оно ни было сильно и свято...



Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)

– Да как же иначе? – спросила Катя.

– Вы одинаково умны; у вас столько же, если не больше, характера, как у ней...

– Не сравнивайте меня с сестрой, пожалуйста, – поспешно перебила Катя, – это для меня слишком невыгодно. Вы как будто забыли, что сестра и красавица, и умница, и... вам в особенности, Аркадий Николаич, не следовало бы говорить такие слова, и еще с таким серьезным лицом.

– Что значит это: «вам в особенности», и из чего вы заключаете, что я шучу?

– Конечно, вы шутите.

– Вы думаете? А что, если я убежден в том, что я говорю? Если я нахожу, что я еще не довольно сильно выразился?

– Я вас не понимаю.

– В самом деле? Ну, теперь я вижу: я точно слишком превозносил вашу наблюдательность.

– Как?

Аркадий ничего не ответил и отвернулся, а Катя отыскивала в корзинке еще несколько крошек и начала бросать их воробьям; но взмах ее руки был слишком силен, в они улетали прочь, не успевши клюнуть.

– Катерина Сергеевна! – заговорил вдруг Аркадий, – вам это, вероятно, все равно; но знайте, что я вас не только на вашу сестру, – ни на кого в свете не променяю.

Он встал и быстро удалился, как бы испугавшись слов, сорвавшихся у него с языка.

А Катя уронила обе руки вместе с корзинкой на колени и, наклонив голову, долго смотрела вслед Аркадию. Понемногу алая краска чуть-чуть выступила на ее щеки; но губы не улыбались, и темные глаза выражали недоумение и какое-то другое, пока еще безымянное чувство.

– Ты одна? – раздался возле нее голос Анны Сергеевны. – Кажется, ты пошла в сад с Аркадием.

Катя не спеша перевела свои глаза на сестру (изящно, даже изысканно одетая, она стояла на дорожке и кончиком раскрытого зонтика шевелила уши фифи) и не спеша промолвила:

– Я одна.

– Я это вижу, – отвечала та со смехом, – он, стало быть, ушел к себе?

– Да.

– Вы вместе читали?

– Да.

Анна Сергеевна взяла Катю за подбородок и приподняла ее лицо.

– Вы не поссорились, надеюсь?

– Нет, – сказала Катя и тихо отвела сестрину руку.

– Как ты торжественно отвечаешь! Я думала найти его здесь и предложить ему пойти гулять со мною. Он сам меня все просит об этом. Тебе из города привезли ботинки, поди примерь их: я уже вчера заметила, что твои прежние совсем износились. Вообще ты не довольно этим занимаешься, а у тебя еще такие прелестные ножки! И руки твои хороши... только велики; так надо ножками брать. Но ты у меня не кокетка.

Анна Сергеевна отправилась дальше по дорожке, слегка шумя своим красивым

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
платьем; Катя поднялась со скамейки и, взяв с собою Гейне, ушла тоже – только не примерять ботинки.

«Прелестные ножки, – думала она, медленно и легко всходя по раскаленным от солнца каменным ступеням террасы, – прелестные ножки, говорите вы... Ну, он и будет у них».

Но ей тотчас стало стыдно, и она проворно побежала вверх.

Аркадий пошел по коридору к себе в комнату; дворецкий нагнал его и доложил, что у него сидит господин Базаров.

– Евгений! – пробормотал почти с испугом Аркадий, – давно ли он приехал?

– Сию минуту пожаловали и приказали о себе Анне Сергеевне не докладывать, а прямо к вам себя приказали провести.

«Уж не несчастье ли какое у нас дома?» – подумал Аркадий и, торопливо взбежав по лестнице, разом отворил дверь. Вид Базарова тотчас его успокоил, хотя более опытный глаз, вероятно, открыл бы в энергической по-прежнему, но осунувшейся фигуре нежданного гостя признаки внутреннего волнения. С пыльною шинелью на плечах, с картузом на голове, сидел он на оконнице; он не поднялся и тогда, когда Аркадий бросился с шумными восклицаниями к нему на шею.

– Вот неожиданно! Какими судьбами! – твердил он, суетясь по комнате, как человек, который и сам воображает и желает показать, что радуется. – Ведь у нас все в доме благополучно, все здоровы, не правда ли?

– Все у вас благополучно, но не все здоровы, – проговорил Базаров. – А ты не тараторь, вели принести мне квасу, присядь и слушай, что я тебе сообщу в немногих, но, надеюсь, довольно сильных выражениях.

Аркадий притих, а Базаров рассказал ему свою дуэль с Павлом Петровичем. Аркадий очень удивился и даже опечалился; но не почел нужным это выказать; он только спросил, действительно ли не опасна рана его дяди? и, получив ответ, что она – самая интересная, только не в медицинском отношении, принужденно улыбнулся, а на сердце ему и жутко сделалось и как-то стыдно. Базаров как будто его понял.

– Да, брат, – промолвил он, – вот что значит с феодалами пожить. Сам в феодалы попадешь и в рыцарских турнирах участвовать будешь. Ну-с, вот я и отправился к «отцам», – так заключил Базаров, – и на дороге завернул сюда... чтобы все это передать, сказал бы я, если б не почитал бесполезную ложь – глупостью. Нет, я завернул сюда – черт знает зачем. Видишь ли, человеку иногда полезно взять себя за хохол да выдернуть себя вон, как редьку из гряды; это я совершил на днях... Но мне захотелось взглянуть еще раз на то, с чем я расстался, на ту грядку, где я сидел.

– Я надеюсь, что эти слова ко мне не относятся, – возразил с волнением Аркадий, – я надеюсь, что ты не думаешь расстаться со мной.

Базаров пристально, почти пронзительно взглянул на него.

– Будто это так огорчит тебя? Мне сдается, что ты уже расстался со мною. Ты такой свеженький да чистенький... должно быть, твои дела с Анной Сергеевной идут отлично.

– Какие мои дела с Анной Сергеевной?

– Да разве ты не для нее сюда приехал из города, птенчик? Кстати, как там подвизаются воскресные школы? Разве ты не влюблен в нее? Или уже тебе пришла пора скромничать?

– Евгений, ты знаешь, я всегда был откровенен с тобою; могу тебя уверить, боюсь тебе, что ты ошибаешься.

– Гм! Новое слово, – заметил вполголоса Базаров. – Но тебе не для чего горячиться, мне ведь это совершенно все равно. Романтик сказал бы: я чувствую, что наши дороги начинают расходиться, а я просто говорю, что мы друг другу

приелись.

– Евгений...

– Душа моя, это не беда; то ли еще на свете приедается! А теперь, я думаю, не проститься ли нам? С тех пор как я здесь, я препакостно себя чувствую, точно начитался писем Гоголя к калужской губернаторше. Кстати ж, я не велел откладывать лошадей.

– Помилуй, это невозможно!

– А почему?

– Я уже не говорю о себе, но это будет в высшей степени невежливо перед Анной Сергеевной, которая непременно пожелает тебя видеть.

– Ну, в этом ты ошибаешься.

– А я, напротив, уверен, что я прав, – возразил Аркадий. – И к чему ты притворяешься? Уж коли на то пошло, разве ты сам не для нее сюда приехал?

– Это, может быть, и справедливо, но ты все-таки ошибаешься.

Но Аркадий был прав. Анна Сергеевна пожелала повидаться с Базаровым и пригласила его к себе через дворецкого. Базаров переоделся, прежде чем пошел к ней: оказалось, что он уложил свое новое платье так, что оно было у него под рукою.

Одинцова его приняла не в той комнате, где он так неожиданно объяснился ей в любви, а в гостиной. Она любезно протянула ему кончики пальцев, но лицо ее выражало невольное напряжение.

– Анна Сергеевна, – поторопился сказать Базаров, – прежде всего я должен вас успокоить. Перед вами смертный, который сам давно опомнился и надеется, что и другие забыли его глупости. Я уезжаю надолго, и согласитесь, хоть я и не мягкое существо, но мне было бы невесело унести с собою мысль, что вы вспоминаете обо мне с отвращением.

Анна Сергеевна глубоко вздохнула, как человек, только что взобравшийся на высокую гору, и лицо ее оживилось улыбкой. Она вторично протянула Базарову руку и отвечала на его пожатие.

– Кто старое помянет, тому глаз вон, – сказала она, – тем более что, говоря по совести, и я согрешила тогда если не кокетством, так чем-то другим. Одно слово: будемте приятелями по-прежнему. То был сон, не правда ли? А кто же сны помнит?

– Кто их помнит? Да притом любовь... ведь это чувство напускное.

– В самом деле? Мне очень приятно это слышать.

Так выражалась Анна Сергеевна, и так выражался Базаров; они оба думали, что говорили правду. Была ли правда, полная правда, в их словах? Они сами этого не знали, а автор и подавно. Но беседа у них завязалась такая, как будто они совершенно поверили друг другу.

Анна Сергеевна спросила, между прочим, Базарова, что он делал у Кирсановых. Он чуть было не рассказал ей о своей дуэли с Павлом Петровичем, но удержался при мысли, как бы она не подумала, что он интересничает, и отвечал ей, что он все это время работал.

– А я, – промолвила Анна Сергеевна, – сперва хандрила, бог знает отчего, даже за границу собиралась, вообразите!.. Потом это прошло; ваш приятель, Аркадий Николаич, приехал, и я опять попала в свою колею, в свою настоящую роль.

– В какую это роль, позвольте узнать?

– Роль тетки, наставницы, матери, как хотите назовите. Кстати, знаете ли, что я прежде хорошенько не понимала вашей тесной дружбы с Аркадием Николаичем; я находила его довольно незначительным. Но теперь я его лучше узнала и убедилась,

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
что он умен... А главное, он молод, молод... не то, что мы с вами, Евгений Васильич.

– Он все так же робеет в вашем присутствии? – спросил Базаров.

– А разве... – начала была Анна Сергеевна и, подумав немного, прибавила: – Теперь он доверчивее стал, говорит со мною. Прежде он избегал меня. Впрочем, и я не искала его общества. Они большие приятели с Катей.

Базарову стало досадно. «Не может женщина не хитрить!» – подумал он.

– Вы говорите, он избегал вас, – произнес он с холодной усмешкой, – но, вероятно, для вас не осталось тайной, что он был в вас влюблен?

– Как? и он? – сорвалось у Анны Сергеевны.

– И он, – повторил Базаров с смиренным поклоном. – Неужели вы этого не знали и я вам сказал новость?

Анна Сергеевна опустила глаза.

– Вы ошибаетесь, Евгений Васильевич.

– Не думаю. Но, может быть, мне не следовало упоминать об этом. «А ты вперед не хитри», – прибавил он про себя.

– Отчего не упоминать? Но я полагаю, что вы и тут придаете слишком большое значение мгновенному впечатлению. Я начинаю подозревать, что вы склонны к преувеличению.

– Не будемте лучше говорить об этом, Анна Сергеевна.

– Отчего же? – возразила она, а сама перевела разговор на другую дорогу. Ей все-таки было неловко с Базаровым, хотя она и ему сказала и сама себя уверила, что все позабыто. Меняясь с ним самыми простыми речами, даже шутя с ним, она чувствовала легкое стеснение страха. Так люди на пароходе, в море, разговаривают и смеются беззаботно, ни дать ни взять, как на твердой земле; но случись малейшая остановка, пояись малейший признак чего-нибудь необычайного, и тотчас же на всех лицах выступит выражение особенной тревоги, свидетельствующее о постоянном сознании постоянной опасности.

Беседа Анны Сергеевны с Базаровым продолжалась недолго. Она начала задумываться, отвечать рассеянно и предложила ему наконец перейти в залу, где они нашли княжну и Катю. «А где же Аркадий Николаич?» – спросила хозяйка и, узнав, что он не показывался уже более часа, послала за ним. Его не скоро нашли: он забрался в самую глушь сада и, опершись подбородком на скрещенные руки, сидел, погруженный в думы. Они были глубоки и важны, эти думы, но не печальны. Он знал, что Анна Сергеевна сидит наедине с Базаровым, и ревности он не чувствовал, как бывало; напротив, лицо его тихо светлело; казалось, он и дивился чему-то, и радовался, и решался на что-то.

## XXVI

Покойный Одинцов не любил нововведений, но допускал «некоторую игру облагороженного вкуса» и вследствие этого воздвигнул у себя в саду, между теплицей и прудом, строение вроде греческого портика из русского кирпича. На задней глухой стене этого портика, или галереи, были вделаны шесть ниш для статуй, которые Одинцов собирался выписать из-за границы. Эти статуи должны были изображать собою: Уединение, Молчание, Размышление, Меланхолию, Стыдливость и Чувствительность. Одну из них, богиню Молчания, с пальцем на губах, привезли было и поставили: но ей в тот же день дворовые мальчишки отбили нос, и хотя соседний штукатур брался приделать ей нос «вдвое лучше прежнего», однако Одинцов велел ее принять, и она очутилась в углу молотильного сарая, где стояла долгие годы, возбуждая суеверный ужас баб. Передняя сторона портика давно заросла густым кустарником: одни капители колонн виднелись над сплошной зеленью. В самом портике даже в полдень было прохладно. Анна Сергеевна не любила посещать это место с тех пор, как увидела там ужа; но Катя часто приходила садиться на большую каменную скамью, устроенную под одною из ниш. Окруженная свежестью и тенью, она читала, работала или предавалась тому ощущению полной тишины, которое, вероятно, знакомо каждому и прелесть которого состоит в едва

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
сознательном, немотствующем подкарауливанье широкой жизненной волны, непрерывно катящейся и кругом нас и в нас самих.

На другой день по приезде Базарова Катя сидела на своей любимой скамье, и рядом с нею сидел опять Аркадий. Он упросил ее пойти с ним в «портик».

До завтрака оставалось около часа; росистое утро уже сменялось горячим днем. Лицо Аркадия сохраняло вчерашнее выражение, Катя имела вид озабоченный. Сестра ее, тотчас после чаю, позвала ее к себе в кабинет и, предварительно приласкав ее, что всегда немного пугало Катю, посоветовала ей быть осторожней в своем поведении с Аркадием, а особенно избегать уединенных бесед с ним, будто бы замеченных и теткой и всем домом. Кроме того, уже накануне вечером Анна Сергеевна была не в духе; да и сама Катя чувствовала смущение, точно сознавала вину за собою. Уступая просьбе Аркадия, она себе сказала, что это в последний раз.

– Катерина Сергеевна, – заговорил он с какою-то застенчивою развязностью, – с тех пор как я имею счастье жить в одном доме с вами, я обо многом с вами беседовал, а между тем есть один очень важный для меня... вопрос, до которого я еще не касался. Вы заметили вчера, что меня здесь переделали, – прибавил он, и лоя и избегая вопросительно устремленный на него взор Кати. – Действительно, я во многом изменился, и это вы знаете лучше всякого другого, – вы, которой я, в сущности, и обязан этою переменою.

– Я?... Мне?... – проговорила Катя.

– Я теперь уже не тот заносчивый мальчик, каким я сюда приехал, – продолжал Аркадий, – недаром же мне и минул двадцать третий год; я по-прежнему желаю быть полезным, желаю посвятить все мои силы истине; но я уже не там ищу свои идеалы, где искал их прежде; они представляются мне... гораздо ближе. До сих пор я не понимал себя, я задавал себе задачи, которые мне не по силам... Глаза мои недавно раскрылись благодаря одному чувству... Я выражаюсь не совсем ясно, но я надеюсь, что вы меня поймете...

Катя ничего не отвечала, но перестала глядеть на Аркадия.

– Я полагаю, – заговорил он снова уже более взволнованным голосом, а зяблик над ним в листве березы беззаботно распевал свою песенку, – я полагаю, что обязанность всякого честного человека быть вполне откровенным с теми... с теми людьми, которые... словом, с близкими ему людьми, а потому я... я намерен.

Но тут красноречие изменило Аркадию; он сбился, замялся и принужден был немного помолчать; Катя все не поднимала глаз. Казалось, она и не понимала, к чему он это все ведет, и ждала чего-то.

– Я предвижу, что удивлю вас, – начал Аркадий, снова собравшись с силами, – тем более что это чувство относится некоторым образом... некоторым образом, заметьте, – до вас. Вы меня, помнится, вчера упрекнули в недостатке серьезности, – продолжал Аркадий с видом человека, который вошел в болото, чувствует, что с каждым шагом погружается больше и больше, и все-таки спешит вперед, в надежде поскорее перебраться, – этот упрек часто направляется... падает... на молодых людей, даже когда они перестают его заслуживать; и если бы во мне было больше самоуверенности... («Да помоги же мне, помоги!» – с отчаянием думал Аркадий, но Катя по-прежнему не поворачивала головы.) Если б я мог надеяться...

– Если б я могла быть уверена в том, что вы говорите, – раздался в это мгновение ясный голос Анны Сергеевны.

Аркадий тотчас умолк, а Катя побледнела. Мимо самых кустов, заслонявших портик, пролегла дорожка. Анна Сергеевна шла по ней в сопровождении Базарова.

Катя с Аркадием не могли их видеть, но слышали каждое слово, шелест платья, самое дыхание. Они сделали несколько шагов и, как нарочно, остановились прямо перед портиком.

– Вот видите ли, – продолжала Анна Сергеевна: – мы с вами ошиблись; мы оба уже не первой молодости, особенно я; мы пожили, устали; мы оба, – к чему церемониться? – умны: сначала мы заинтересовали друг друга, любопытство было

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
возбуждено... а потом...

– А потом я выдохся, – подхватил Базаров.

– Вы знаете, что не это было причиной нашей размолвки. Но как бы то ни было, мы не нуждались друг в друге, вот главное: в нас слишком много было... как бы это сказать... однородного. Мы это не сразу поняли. Напротив, Аркадий...

– Вы в нем нуждаетесь? – спросил Базаров.

– Полноте, Евгений Васильевич. Вы говорите, что он равнодушен ко мне, и мне самой всегда казалось, что я ему нравлюсь. Я знаю, что я гожусь ему в тетки, но я не хочу скрывать от вас, что я стала чаще думать о нем. В этом молодом и свежем чувстве есть какая-то прелесть...

– Слово обаяние употребительнее в подобных случаях, – перебил Базаров; кипение желчи слышалось в его спокойном, но глухом голосе. – Аркадий что-то секретничал вчера со мною и не говорил ни о вас, ни о вашей сестре... Это симптом важный.

– Он с Катей совсем как брат, – промолвила Анна Сергеевна, – и это мне в нем нравится, хотя, может быть, мне бы и не следовало позволять такую близость между ними.

– Это в вас говорит... сестра? – произнес протяжно Базаров.

– Разумеется... Но что же мы стоим? Пойдемте. Какой странный разговор у нас, не правда ли? И могла ли я ожидать, что буду говорить так с вами? Вы знаете, что я вас боюсь... и в то же время я вам доверяю, потому что в сущности вы очень добры.

– Во-первых, я вовсе не добр; а во-вторых, я потерял для вас всякое значение, и вы мне говорите, что я добр... Это все равно, что класть венок из цветов на голову мертвеца.

– Евгений Васильич, мы не властны – начала было Анна Сергеевна; но ветер налетел, зашумел листьями и унес ее слова.

– Ведь вы свободны, – произнес немного погодя Базаров.

Больше ничего нельзя было разобрать; шаги удалились... все затихло.

Аркадий обратился к Кате. Она сидела в том же положении, только еще ниже опустила голову.

– Катерина Сергеевна, – проговорил он дрожащим голосом и стиснув руки, – я люблю вас навек и безвозвратно, и никого не люблю, кроме вас. Я хотел вам это сказать, узнать ваше мнение и просить вашей руки, потому что я и не богат и чувствую, что готов на все жертвы... Вы не отвечаете? Вы мне не верите? Вы думаете, что я говорю легкомысленно? Но вспомните эти последние дни! Неужели вы давно не убедились, что все другое – поймите меня, – все, все другое давно исчезло без следа? Посмотрите на меня, скажите мне одно слово... Я люблю... я люблю вас... поверьте же мне!

Катя взглянула на Аркадия важным и светлым взглядом и, после долгого раздумья, едва улыбнувшись, промолвила:

– Да.

Аркадий вскочил со скамьи.

– Да! Вы сказали: да, Катерина Сергеевна! Что значит это слово? То ли, что я вас люблю, что вы мне верите... Или... или... я не смею докончить...

– Да, – повторила Катя, и в этот раз он ее понял. Он схватил ее большие прекрасные руки и, задышавшись от восторга, прижал их к своему сердцу. Он едва стоял на ногах и только твердил: «Катя, Катя», а она как-то невинно заплакала, сама тихо смеясь своим слезам. Кто не видал таких слез в глазах любимого существа, тот еще не испытал, до какой степени, замирая весь от благодарности и от стыда, может быть счастлив на земле человек.

На следующий день, рано поутру, Анна Сергеевна велела позвать Базарова к себе в кабинет и с принужденным смехом подала ему сложенный листок почтовой бумаги. Это было письмо от Аркадия: он в нем просил руки ее сестры.

Базаров быстро пробежал письмо и сделал усилие над собою, чтобы не выказать злорадного чувства, которое мгновенно вспыхнуло у него в груди.

– Вот как, – проговорил он, – а вы, кажется, не далее как вчера полагали, что он любит Катерину Сергеевну братскою любовью. Что же вы намерены теперь сделать?

– Что вы мне посоветуете? – спросила Анна Сергеевна, продолжая смеяться.

– Да, я полагаю, – ответил Базаров тоже со смехом, хотя ему вовсе не было весело и нисколько не хотелось смеяться, так же как и ей, – я полагаю, следует благословить молодых людей. Партия во всех отношениях хорошая; состояние у Кирсанова изрядное, он один сын у отца, да и отец добрый малый, прекословить не будет.

Одинцова прошла по комнате. Ее лицо попеременно краснело и бледнело.

– Вы думаете? – промолвила она. – Что ж? я не вижу препятствий... Я рада за Катю... и за Аркадия Николаича. Разумеется, я подожду ответа отца. Я его самого к нему пошлю. Но вот и выходит, что я была права вчера, когда я говорила вам, что мы оба уже старые люди... Как это я ничего не видала? Это меня удивляет!

Анна Сергеевна опять засмеялась и тотчас же отвортилась.

– Нынешняя молодежь больно хитра стала, – заметил Базаров и тоже засмеялся. – Прощайте, – заговорил он опять после небольшого молчания. – Желаю вам окончить это дело самым приятным образом; а я издали порадуюсь.

Одинцова быстро повернулась к нему.

– Разве вы уезжаете? Отчего же вам теперь не остаться? Оставайтесь... с вами говорить весело... точно по краю пропасти ходишь. Сперва робеешь, а потом откуда смелость возьмется. Оставайтесь.

– Спасибо за предложение, Анна Сергеевна, и за лестное мнение о моих разговорных талантах. Но я нахожу, что я уж и так слишком долго вращался в чуждой для меня сфере. Летучие рыбы некоторое время могут поддерживаться на воздухе, но вскоре должны шлепнуться в воду; позвольте же и мне плюхнуться в мою стихию.

Одинцова посмотрела на Базарова. Горькая усмешка подергивала его бледное лицо. «Этот меня любил!» – подумала она – и жалко ей стало его, и с участием протянула она ему руку.

Но и он ее понял.

– Нет! – сказал он и отступил на шаг назад. – Человек я бедный, но милостыни еще до сих пор не принимал. Прощайте–с и будьте здоровы.

– Я убеждена, что мы не в последний раз видимся, – произнесла Анна Сергеевна с невольным движением.

– Чего на свете не бывает! – ответил Базаров, поклонился и вышел.

– Так ты задумал гнездо себе свить, – говорил он в тот же день Аркадию, укладывая на корточках свой чемодан. – Что ж? дело хорошее. Только напрасно ты лукавил. Я ждал от тебя совсем другой дирекции. Или, может быть, это тебя самого огорошило?

– Я точно этого не ожидал, когда расставался с тобою, – ответил Аркадий, – но зачем ты сам лукавишь и говоришь: «дело хорошее», точно мне неизвестно твое мнение о браке?

– Эх, друг любезный! – проговорил Базаров, – как ты выражаешься! Видишь, что я делаю: в чемодане оказалось пустое место, и я кладу туда сено; так и в жизненном

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
нашем чемодане; чем бы его ни набили, лишь бы пустоты не было. Не обижайся, пожалуйста: ты ведь, вероятно, помнишь, какого я всегда был мнения о Катерине Сергеевне. Иная барышня только оттого и слывет умною, что умно вздыхает; а твоя за себя постоит, да и так постоит, что и тебя в руки заберет, – ну, да это так и следует. – Он захлопнул крышку и приподнялся с полу. – А теперь повторяю тебе на прощанье... потому что обманываться нечего: мы прощаемся навсегда, и ты сам это чувствуешь... ты поступил умно; для нашей горькой, терпкой, бобыльной жизни ты не создан. В тебе нет ни дерзости, ни злости, а есть молодая смелость да молодой задор; для нашего дела это не годится. Ваш брат дворянин дальше благородного смирения или благородного кипения дойти не может, а это пустяки. Вы, например, не деретесь – и уж воображаете себя молодцами, – а мы драться хотим. Да что! Наша пыль тебе глаза выест, наша грязь тебя замарает, да ты и не дорос до нас, ты невольно любишь себя собою, тебе приятно самого себя бранить; а нам это скучно – нам других подавай! нам других ломать надо! Ты славный малый; но ты все-таки мякенький, либеральный барич, – э волату, как выражается мой родитель.

– Ты навсегда прощаешься со мною, Евгений? – печально промолвил Аркадий, – и у тебя нет других слов для меня?

Базаров почесал у себя в затылке.

– Есть, Аркадий, есть у меня другие слова, только я их не выскажу, потому что это романтизм, – это значит: рассыропиться. А ты поскорее женись; да своим гнездом обзаведись, да наделай детей побольше. Умницы они будут уже потому, что вовремя они родятся, не то что мы с тобой. Эге! я вижу, лошади готовы. Пора! Со всеми я простился... Ну что ж? обняться, что ли?

Аркадий бросился на шею к своему бывшему наставнику и другу, и слезы так и брызнули у него из глаз.

– Что значит молодость! – произнес спокойно Базаров. – Да я на Катерину Сергеевну надеюсь. Посмотри, как живо она тебя утешит!

– Прощай, брат! – сказал он Аркадию, уже взобравшись на телегу, и, указав на пару галок, сидевших рядышком на крыше конюшни, прибавил: – Вот тебе! – изучай!

– Это что значит? – спросил Аркадий.

– Как? Разве ты так плох в естественной истории или забыл, что галка самая почтенная, семейная птица? Тебе пример!.. Прощайте, синьор!

Телега задребезжала и покатилаь.

Базаров сказал правду. Разговаривая вечером с Катей, Аркадий совершенно позабыл о своем наставнике. Он уже начинал подчиняться ей, и Катя это чувствовала и не удивлялась. Он должен был на следующий день ехать в Марьино, к Николаю Петровичу. Анна Сергеевна не хотела стеснять молодых людей и только для приличия не оставляла их слишком долго наедине. Она великодушно удалила от них княжну, которую известие о предстоящем браке привело в слезливую ярость. Сначала Анна Сергеевна боялась, как бы зрелище их счастья не показалось ей самой немного тягостным; но вышло совершенно напротив: это зрелище не только не отягощало ее, оно ее занимало, оно ее умилило наконец. Анна Сергеевна этому и обрадовалась и опечалилась. «Видно, прав Базаров, – подумала она, – любопытство, одно любопытство и любовь к покою, и эгоизм...»

– Дети! – промолвила она громко, – что, любовь чувство напускное?

Но ни Катя, ни Аркадий ее даже не поняли. Они ее дичились; невольно подслушанный разговор не выходил у них из головы.

Впрочем, Анна Сергеевна скоро успокоила их; и это было ей нетрудно: она успокоилась сама.

## XXVII

Старики Базаровы тем больше обрадовались внезапному приезду сына, чем меньше они его ожидали. Арина Власьева до того переполошилась и взбегалась по дому, что Василий Иванович сравнил ее с «куропатицей»: куций хвостик ее коротенькой кофточкой действительно придавал ей нечто птичье. А сам он только мычал да



Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
покусывал сбоку янтарчик своего чубука да, прихватив шею пальцами, вертел голову, точно пробовал, хорошо ли она у него привинчена, и вдруг разевал широкий рот и хохотал безо всякого шума.

– Я к тебе на целых шесть недель приехал, старина, – сказал ему Базаров, – я работать хочу, так ты уж, пожалуйста, не мешай мне.

– Физиономию мою забудешь, вот как я тебе мешать буду! – отвечал Василий Иванович.

Он сдержал свое обещание. Поместив сына по-прежнему в кабинет, он только что не прятался от него и жену свою удерживал от всяких лишних изъявлений нежности. «Мы, матушка моя, – говорил он ей, – в первый приезд Енюшки ему надоедали маленько: теперь надо быть умней». Арина Власьева соглашалась с мужем, но немного от этого выигрывала, потому что видела сына только за столом и окончательно боялась с ним заговаривать. «Енюшенька!» – бывало скажет она, – а тот еще не успеет оглянуться, как уж она перебирает шнурками ридикюля и лепечет: «Ничего, ничего, я так», – а потом отправится к Василию Ивановичу и говорит ему, подперши щеку: «Как бы, голубчик, узнать: чего Енюша желает сегодня к обеду, щей или борщу?» – «Да что ж ты у него сама не спросила?» – «А надоем!» Впрочем, Базаров скоро сам перестал запираться: лихорадка работы с него скоро соскочила и заменилась тоскливою скукой и глухим беспокойством. Странная усталость замечалась во всех его движениях, даже походка его, твердая и стремительно смелая, изменилась. Он перестал гулять в одиночку и начал искать общества; пил чай в гостиной, бродил по огороду с Василием Ивановичем и курил с ним «в молчанку»; осведомился однажды об отце Алексее. Василий Иванович сперва обрадовался этой перемене, но радость его была непродолжительна. «Енюша меня сокрушает, – жаловался он втихомолку жене, – он не то что недоволен или сердит, это бы еще ничего; он огорчен, он грустен – вот что ужасно. Все молчит, хоть бы побранил нас с тобою; худеет, цвет лица такой нехороший». – «Господи, господи! – шептала старушка, – надела бы я ему ладанку на шею, да ведь он не позволит». Василий Иванович несколько раз пытался самым осторожным образом расспросить Базарова об его работе, об его здоровье, об Аркадии... Но Базаров отвечал ему нехотя и небрежно и однажды, заметив, что отец в разговоре понемножку подо что-то подбирается, с досадой сказал ему: «Что ты все около меня словно на цыпочках ходишь? Эта манера еще хуже прежней». – «Ну, ну, ну, я ничего!» – поспешно отвечал бедный Василий Иванович.

Так же бесплодны остались его политические намеки. Заговорив однажды по поводу близкого освобождения крестьян, о прогрессе, он надеялся возбудить сочувствие своего сына; но тот равнодушно промолвил: «Вчера я прохожу мимо забора и слышу, здешние крестьянские мальчики, вместо какой-нибудь старой песни горланят: Время верное приходит, сердце чувствует любовь... Вот тебе и прогресс».

Иногда Базаров отправлялся на деревню и, подтрунивая по обыкновению, вступал в беседу с каким-нибудь мужиком. «Ну, – говорил он ему, – излагай мне свои воззрения на жизнь, братец: ведь в вас, говорят, вся сила и будущность России, от вас начнется новая эпоха в истории, – вы нам дадите и язык настоящий и законы». Мужик либо не отвечал ничего, либо произносил слова вроде следующих: «А мы можем... тоже, потому, значит... каков положен у нас, примерно, придел». – «Ты мне растолкуй, что такое есть ваш мир? – перебивал его Базаров, – и тот ли это самый мир, что на трех рыбах стоит?»

– Это, батюшка, земля стоит на трех рыбах, – успокоительно, с патриархально-добродушною певучестью объяснял мужик, – а против нашего, то есть, миру, известно, господская воля; потому вы наши отцы. А чем строже барин взыщет, тем милее мужику.

Выслушав подобную речь, Базаров однажды презрительно пожал плечами и отвернулся, а мужик побрел восвояси.

– О чем толковал? – спросил у него другой мужик средних лет и угрюмого вида, издали, с порога своей избы, присутствовавший при беседе его с Базаровым. – О недоимке, что ль?

– Какое о недоимке, братец ты мой! – отвечал первый мужик, и в голосе его уже не было следа патриархальной певучести, а, напротив, слышалась какая-то небрежная суровость, – так, болтал кое-что; язык почесать захотелось. Известно, барин;

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
разве он что понимает?

– Где понять! – отвечал другой мужик, и, тряхнув шапками и осунув кушаки, оба они принялись рассуждать о своих делах и нуждах. Увы! презрительно пожимавший плечом, умевший говорить с мужиками Базаров (как хвалился он в споре с Павлом Петровичем), этот самоуверенный Базаров и не подозревал, что он в их глазах был все-таки чем-то вроде шута горохового...

Впрочем, он нашел наконец себе занятие. Однажды, в его присутствии, Василий Иванович перевязывал мужику раненую ногу, но руки тряслись у старика, и он не мог справиться с бинтами; сын ему помог и с тех пор стал участвовать в его практике, не переставая в то же время подсмеиваться и над средствами, которые сам же советовал, и над отцом, который тотчас же пускал их в ход. Но насмешки Базарова нисколько не смущали Василия Ивановича; они даже утешали его. Придерживая свой засаленный шлафрок двумя пальцами на желудке и покуривая трубочку, он с наслаждением слушал Базарова, и чем больше злости было в его выходках, тем добродушнее хохотал, выказывая все свои черные зубы до единого, его ошастливленный отец. Он даже повторял эти, иногда тупые или бессмысленные, выходки и, например, в течение нескольких дней, ни к селу ни к городу, все твердил: «Ну, это дело девятое!» – потому только, что сын его, узнав, что он ходил к заутрене, употребил это выражение. «Слава богу! перестал хандрить! – шептал он своей супруге. – Как отделал меня сегодня, чудо!» Зато мысль, что он имеет такого помощника, приводила его в восторг, наполняла его гордостью. «Да, да, – говорил он какой-нибудь бабе в мужском армяке и рогатой кичке, вручая ей склянку Гулярдовой воды или банку беленной мази, – ты, голубушка, должна ежеминутно Бога благодарить за то, что сын мой у меня гостит: по самой научной и новейшей методе тебя лечат теперь, понимаешь ли ты это? Император французов, Наполеон, и тот не имеет лучшего врача». А баба, которая приходила жаловаться, что ее «на колотики подняло» (значения этих слов она, впрочем, сама растолковать не умела), только кланялась и лезла за пазуху, где у ней лежали четыре яйца, завернутые в конец полотенца.

Базаров раз даже вырвал зуб у заезжего разносчика с красным товаром, и, хотя этот зуб принадлежал к числу обыкновенных, однако Василий Иванович сохранил его как редкость и, показывая его отцу Алексею, беспрестанно повторял:

– Вы посмотрите, что за корни! Этакая сила у Евгения! Краснорядец так на воздух и поднялся... Мне кажется, дуб и тот бы вылетел вон!..

– Похвально! – промолвил наконец отец Алексей, не зная, что отвечать и как отделаться от пришедшего в экстаз старика.

Однажды мужичок соседней деревни привез к Василию Ивановичу своего брата, больного тифом. Лежа ничком на связке соломы, несчастный умирал; темные пятна покрывали его тело, он давно потерял сознание. Василий Иванович изъявил сожаление о том, что никто раньше не вздумал обратиться к помощи медицины, и объявил, что спасения нет. Действительно, мужичок не довез своего брата до дома: он так и умер в телеге.

Дня три спустя Базаров вошел к отцу в комнату и спросил, нет ли у него адского камня.

– Есть; на что тебе?

– Нужно... ранку прижечь.

– Кому?

– Себе.

– Как себе! Зачем же это? Какая это ранка? Где она?

– Вот тут, на пальце. Я сегодня ездил в деревню, знаешь – откуда тифозного мужика привозили. Они почему-то вскрывать его собирались, а я давно в этом не упражнялся.

– Ну?

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)

– Ну, вот я и попросил уездного врача; ну, и порезался.

Василий Иванович вдруг побледнел весь и, ни слова не говоря, бросился в кабинет, откуда тотчас же вернулся с кусочком адского камня в руке. Базаров хотел было взять его и уйти.

– Ради самого Бога, – промолвил Василий Иванович, – позволь мне это сделать самому.

Базаров усмехнулся.

– Экой ты охотник до практики!

– Не шути, пожалуйста. Покажи свой палец. Ранка-то невелика. Не больно?

– Напирай сильнее, не бойся.

Василий Иванович остановился.

– Как ты полагаешь, Евгений, не лучше ли нам прижечь железом?

– Это бы раньше надо сделать; а теперь, по-настоящему, и адский камень не нужен. Если я заразился, так уж теперь поздно.

– Как... поздно... – едва мог произнести Василий Иванович.

– Еще бы! С тех пор четыре часа прошло с лишком.

Василий Иванович еще немного прижег ранку.

– Да разве у уездного лекаря не было адского камня?

– Не было.

– Как же это, Боже мой! Врач – и не имеет такой необходимой вещи!

– Ты бы посмотрел на его ланцеты, – промолвил Базаров и вышел вон.

До самого вечера и в течение всего следующего дня Василий Иванович придирался ко всем возможным предлогам, чтобы входить в комнату сына, и хотя он не только не упоминал об его ране, но даже старался говорить о самых посторонних предметах, однако он так настойчиво заглядывал ему в глаза и так тревожно наблюдал за ним, что Базаров потерял терпение и погрозились уехать. Василий Иванович дал ему слово не беспокоиться, тем более что и Арина Власьева, от которой он, разумеется, все скрыл, начинала приставать к нему, зачем он не спит и что с ним такое подеялось? Целых два дня он крепился, хотя вид сына, на которого он все посматривал украдкой, ему очень не нравился... но на третий день за обедом не выдержал. Базаров сидел потупившись и не касался ни до одного блюда.

– Отчего ты не ешь, Евгений? – спросил он, придав своему лицу самое беззаботное выражение. – Кушанье, кажется, хорошо сготовлено.

– Не хочется, так и не ем.

– У тебя аппетита нету? А голова? – прибавил он робким голосом, – болит?

– Болит. Отчего ей не болеть?

Арина Власьева выпрямилась и насторожилась.

– Не рассердись, пожалуйста, Евгений, – продолжал Василий Иванович, – но не позволишь ли ты мне пульс у тебя пощупать?

Базаров приподнялся.

– Я и не щупая скажу тебе, что у меня жар.

– И озноб был?

– Был и озноб. Пойду прилягу, а вы мне пришлите липового чаю. Простудился, должно быть.

– То-то я слышала, ты сегодня ночью кашлял, – промолвила Арина Власьевна.

– Простудился, – повторил Базаров и удалился.

Арина Власьевна занялась приготовлением чая из липового цветка, а Василий Иванович вошел в соседнюю комнату и молча схватил себя за волосы.

Базаров уже не вставал в тот день и всю ночь провел в тяжелой, полузабывчивой дремоте. Часу в первом утра он, с усилием раскрыв глаза, увидел над собою при свете лампы бледное лицо отца и велел ему уйти; тот повиновался, но тотчас же вернулся на цыпочках и, до половины заслонившись дверцами шкафа, неотвратно глядел на своего сына. Арина Власьевна тоже не ложилась и, чуть отворив дверь кабинета, то и дело подходила послушать, «как дышит Енюша», и посмотреть на Василия Ивановича. Она могла видеть одну его неподвижную, сгорбленную спину, но и это ей доставляло некоторое облегчение. Утром Базаров попытался встать; голова у него закружилась, кровь пошла носом; он лег опять. Василий Иванович молча ему прислуживал; Арина Власьевна вошла к нему и спросила его, как он себя чувствует. Он отвечал: «Лучше» – и повернулся к стене. Василий Иванович замахал на жену обеими руками; она закусила губу, чтобы не заплакать, и вышла вон. Все в доме вдруг словно потемнело; все лица вытянулись, сделалась странная тишина; со двора унесли на деревню какого-то горластого петуха, который долго не мог понять, зачем с ним так поступают. Базаров продолжал лежать, уткнувшись в стену. Василий Иванович пытался обращаться к нему с разными вопросами, но они утомляли Базарова, и старик замер в своих креслах, только изредка хрустя пальцами. Он отправлялся на несколько мгновений в сад, стоял там как истукан, словно пораженный несказанным изумлением (выражение изумления вообще не сходило у него с лица), и возвращался снова к сыну, стараясь избегать расспросов жены. Она наконец схватила его за руку и судорожно, почти с угрозой промолвила: «Да что с ним?» Тут он спохватился и принудил себя улыбнуться ей в ответ; но, к собственному ужасу, вместо улыбки у него откуда-то взялся смех. За доктором он послал с утра. Он почел нужным предупредить об этом сына, чтобы тот как-нибудь не рассердился.

Базаров вдруг повернулся на диване, пристально и тупо посмотрел на отца и попросил выпить.

Василий Иванович подал ему воды и кстати пощупал его лоб. Он так и пылал.

– Старина, – начал Базаров слабым и медленным голосом, – дело мое дрянное. Я заражен, и через несколько дней ты меня хоронить будешь.

Василий Иванович пошатнулся, словно кто по ногам его ударил.

– Евгений! – пролепетал он, – что ты это!.. Бог с тобою! Ты простудился...

– Полно, – не спеша перебил его Базаров. – Врачу непозволительно так говорить. Все признаки заражения, ты сам знаешь.

– Где же признаки... заражения, Евгений?.., помилуй!

– А это что? – промолвил Базаров и, приподняв рукав рубашки, показал отцу выступившие зловещие красные пятна.

Василий Иванович дрогнул и похолодел от страха.

– Положим, – сказал он наконец, – положим... если... если даже что-нибудь вроде... заражения...

– Пиэмии, – подсказал сын.

– Ну да... вроде... эпидемии.

– Пиэмии, – сурово и отчетливо повторил Базаров. – Аль уж позабыл свои тетрадки?

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)

– Ну да, да, как тебе угодно... А все-таки мы тебя вылечим!

– Ну, это дудки. Но не в том дело. Я не ожидал, что так скоро умру; это случайность, очень, по правде сказать, неприятная. Вы оба с матерью должны теперь воспользоваться тем, что в вас религия сильна; вот вам случай поставить ее на пробу. – Он отпил еще немного воды. – А я хочу попросить тебя об одной вещи... пока еще моя голова в моей власти. Завтра или послезавтра мозг мой, ты знаешь, в отставку подаст. Я и теперь не совсем уверен, ясно ли я выражаюсь. Пока я лежал, мне все казалось, что вокруг меня красные собаки бегали, а ты надо мной стойку делал, как над тетеревом. Точно я пьяный. Ты хорошо меня понимаешь?

– Помилуй, Евгений, ты говоришь совершенно как следует.

– Тем лучше; ты мне сказал, ты послал за доктором... Этим ты себя потешил... потешь и меня: пошли ты нарочного...

– К Аркадию Николаичу, – подхватил старик.

– Кто такой Аркадий Николаич? – проговорил Базаров, как бы в раздумье. – Ах, да! птенец этот! Нет, ты его не трогай: он теперь в галки попал. Не удивляйся, это еще не бред. А ты пошли нарочного к Одинцовой, Анне Сергеевне, тут есть такая помещица... Знаешь? (Василий Иванович кивнул головой.) Евгений, мол, Базаров кланяться велел и велел сказать, что умирает. Ты это исполнишь?

– Исполню... Только возможно ли это дело, чтобы ты умер, ты, Евгений... Сам посуди! Где ж после этого будет справедливость?

– Этого я не знаю; а только ты нарочного пошли.

– Сию минуту пошлю, и сам письмо напишу.

– Нет, зачем; скажи, что кланяться велел, больше ничего не нужно. А теперь я опять к моим собакам. Странно! Хочу остановить мысль на смерти, и ничего не выходит. Вижу какое-то пятно... и больше ничего.

Он опять тяжело повернулся к стене; а Василий Иванович вышел из кабинета и, добравшись до жениной спальни, так и рухнул на колени перед образами.

– Молись, Арина, молись! – простонал он, – наш сын умирает.

Доктор, тот самый уездный лекарь, у которого не нашлось адского камня, приехал и, осмотрев больного, посоветовал держаться методы выжидающей и тут же сказал несколько слов о возможности выздоровления.

– А вам случалось видеть, что люди в моем положении не отправляются в Елисейские? – спросил Базаров и, внезапно схватив за ножку тяжелый стол, стоявший возле дивана, потряс его и сдвинул с места.

– Сила-то, сила, – промолвил он, – вся еще тут, а надо умирать!.. Старик, тот по крайней мере успел отвыкнуть от жизни, а я... Да, поди попробуй отрицать смерть. Она тебя отрицает, и баста! кто там плачет? – прибавил он погодя немного. – Мать? Бедная! Кого-то она будет кормить теперь своим удивительным борщом? А ты, Василий Иваныч, тоже, кажется, нюнишь? Ну, коли христианство не помогает, будь философом, стойком, что ли! Ведь ты хвастался, что ты философ?

– Какой я философ? – завопил Василий Иванович, и слезы так и закапали по его щекам.

Базарову становилось хуже с каждым часом; болезнь приняла быстрый ход, что обыкновенно случается при хирургических отравах. Он еще не потерял памяти и понимал, что ему говорили, он еще боролся. «Не хочу бредить, – шептал он, сжимая кулаки, – что за вздор!» И тут же говорил «Ну, из восьми вычешь десять, сколько выйдет?» – Василий Иванович ходил как помешанный, предлагая то одно средство, то другое и только и делал, что покрывал сыну ноги. «Обернуть в холодные простыни, рвотное... горчишники к желудку... кровопускание», – говорил он с напряжением. Доктор, которого он умолил остаться, ему поддакивал, поил больного лимонадом, а для себя просил то трубочки, то «укрепляющего-согревающего», то есть водки. Арина Власьевна сидела на низенькой скамеечке возле двери и только по временам

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
уходила молиться, несколько дней тому назад туалетное зеркальце выскользнуло у  
ней из рук и разбилось, а это она всегда считала худым предзнаменованием, сама  
Анфисушка ничего не умела сказать ей. Тимофеич отправился к Одинцовой.

Ночь была не хороша для Базарова... Жестокий жар его мучил. К утру ему полегчало.  
Он попросил, чтоб Арина Власьевна его причесала, поцеловал у нее руку и выпил  
глотка два чаю. Василий Иванович оживился немного.

– Слава Богу! – твердил он. – Наступил кризис., прошел кризис.

– Эка, подумаешь! – промолвил Базаров. – Слово-то что значит! Нашел его, сказал:  
«кризис», и утешен. Удивительное дело, как человек еще верит в слова. Скажут  
ему, например, дурака и не прибьют, он опечалится; назовут его умницей и денег  
ему не дадут – он почувствует удовольствие.

Эта маленькая речь Базарова, напоминавшая его прежние «выходки», привела Василия  
Ивановича в умиление.

– Bravo! прекрасно сказано, прекрасно! – воскликнул он, показывая вид, что бьет  
в ладоши.

Базаров печально усмехнулся

– Так как же по-твоему, – промолвил он, – кризис прошел или наступил?

– Тебе лучше, вот что я вижу, вот что меня радует, – отвечал Василий Иванович.

– Ну, и прекрасно, радоваться всегда не худо. А к той, помнишь? послал?

– Послал, как же.

Перемена к лучшему продолжалась недолго. Приступы болезни возобновились. Василий  
Иванович сидел подле Базарова.

Казалось, какая-то особенная мука терзала старика. Он несколько раз собирался  
говорить – и не мог.

– Евгений! – произнес он наконец, – сын мой, дорогой мой, милый сын!

Это необычайное воззвание подействовала на Базарова... Он повернул немного голову  
и, видимо стараясь выбиться из-под бремени давившего его забвения, произнес:

– Что, мой отец?

– Евгений, – продолжал Василий Иванович и опустился на колени перед Базаровым,  
хотя тот не раскрывал глаз и не мог его видеть. – Евгений, тебе теперь лучше;  
ты, Бог даст, выздоровеешь; но воспользуйся этим временем, утешь нас с матерью,  
исполни долг христианина! Каково-то мне это тебе говорить, это ужасно; но еще  
ужаснее... ведь навек, Евгений... ты подумай, каково-то...

Голос старика прервался, а по лицу его сына, хотя он и продолжал лежать с  
закрытыми глазами, проползло что-то странное.

– Я не отказываюсь, если это может вас утешить, – промолвил он наконец, – но мне  
кажется, спешить еще не к чему. Ты сам говоришь, что мне лучше.

– Лучше, Евгений, лучше, но кто знает, ведь это все в Божьей воле, а исполнивши  
долг...

– Нет, я подожду, – перебил Базаров. – Я согласен с тобою, что наступил кризис.  
А если мы с тобой ошиблись, что ж! ведь и беспамятных причащают.

– Помилуй, Евгений...

– Я подожду. А теперь я хочу спать. Не мешай мне.

И он положил голову на прежнее место.

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)

Старик поднялся, сел на кресло и, взявшись за подбородок, стал кусать себе пальцы...

Стук рессорного экипажа, тот стук, который так особенно заметен в деревенской глуши, внезапно поразил его слух. Ближе, ближе катились легкие колеса; вот уже послышалось фыркание лошадей... Василий Иванович вскочил и бросился к окошку. На двор его домика, запряженная четверней, въезжала двухместная карета. Не давая себе отчета, что бы это могло значить, в порыве какой-то бессмысленной радости, он выбежал на крыльцо... Ливрейный лакей отворял дверцы кареты; дама под черным вуалем, в черной мантилье, выходила из нее...

– Я Одинцова, – промолвила она. – Евгений Васильич жив? Вы его отец? Я привезла с собой доктора.

– Благодетельница! – воскликнул Василий Иванович и, схватив ее руку, судорожно прижал ее к своим губам, между тем как привезенный Анной Сергеевной доктор, маленький человек в очках, с немецкою физиономией, вылезал не торопясь из кареты. – Жив еще, жив мой Евгений и теперь будет спасен! жена! жена! к нам ангел с неба.

– Что такое, Господи! – пролепетала, выбегая из гостиной, старушка и, ничего не понимая, тут же в передней упала к ногам Анны Сергеевны и начала, как безумная, целовать ее платье.

– Что вы! что вы! – твердила Анна Сергеевна; но Арина Власьевна ее не слушала, а Василий Иванович только повторял: «Ангел! ангел!»

– Wo ist der Kranke?[175] и где же есть пациент? – проговорил наконец доктор, не без некоторого негодования.

Василий Иванович опомнился.

– Здесь, здесь, пожалуйста за мной, вертестер герр коллега[176], – прибавил он по старой памяти.

– Э! – произнес немец и кисло осклабился.

Василий Иванович привел его в кабинет.

– Доктор от Анны Сергеевны Одинцовой, – сказал он, наклоняясь к самому уху своего сына, – и она сама здесь.

Базаров вдруг раскрыл глаза.

– Что ты сказал?

– Я говорю, что Анна Сергеевна Одинцова здесь и привезла к тебе сего господина доктора.

Базаров повел вокруг себя глазами.

– Она здесь... я хочу ее видеть.

– Ты ее увидишь, Евгений, но сперва надобно побеседовать с господином доктором. Я им расскажу всю историю болезни, так как Сидор Сидорыч уехал (так звали уездного врача), и мы сделаем маленькую консультацию.

Базаров взглянул на немца.

– Ну, беседуйте скорее, только не по-латыни; я ведь понимаю, что значит: *jam moritur*[177].

– *Der Herr scheint des Deutschen mächtig zu sein*[178], – начал новый питомец Эскулапа, обращаясь к Василию Ивановичу.

– Их... габе...[179] Говорите уж лучше по-русски, – промолвил старик.

– А, а! так этто фот как этто... Пошалауй...

И консультация началась.

Полчаса спустя Анна Сергеевна в сопровождении Василия Ивановича вошла в кабинет. Доктор успел шепнуть ей, что нечего и думать о выздоровлении больного.

Она взглянула на Базарова... и остановилась у двери, до того поразило ее это воспаленное и в то же время мертвенное лицо с устремленными на нее мутными глазами. Она просто испугалась каким-то холодным и томительным испугом; мысль, что она не то бы почувствовала, если бы точно его любила – мгновенно сверкнула у ней в голове.

– Спасибо, – усиленно заговорил он, – я этого не ожидал. Это доброе дело. Вот мы еще раз и увиделись, как вы обещали.

– Анна Сергеевна так была добра... – начал Василий Иванович.

– Отец, оставь нас. Анна Сергеевна, вы позволяете? Кажется, теперь...

Он указал головою на свое распростертое бессильное тело.

Василий Иванович вышел.

– Ну, спасибо, – повторил Базаров. – Это по-царски. Говорят, цари тоже посещают умирающих.

– Евгений Васильевич, я надеюсь...

– Эх, Анна Сергеевна, станемте говорить правду. Со мной кончено. Попал под колесо. И выходит, что нечего было думать о будущем. Старая штука смерть, а каждому внове. До сих пор не трушу... а там придет беспамятство, и фюить! (Он слабо махнул рукой.) Ну, что ж мне вам сказать... я любил вас! Это и прежде не имело никакого смысла, а теперь подавно. Любовь – форма, а моя собственная форма уже разлагается. Скажу я лучше, что – какая вы славная! И теперь вот стоите, такая красивая...

Анна Сергеевна невольно содрогнулась.

– Ничего, не тревожьтесь... сядьте там... Не подходите ко мне: ведь моя болезнь заразительная.

Анна Сергеевна быстро перешла комнату и села на кресло возле дивана, на котором лежал Базаров.

– Великодушная! – шепнул он. – Ох, как близко, и какая молодая, свежая, чистая., в этой гадкой комнате!.. Ну, прощайте! Живите долго, это лучше всего, и пользуйтесь, пока время. Вы посмотрите, что за безобразное зрелище: червяк полураздавленный, а еще топорщится. И ведь тоже думал: обломаю дел много, не умру, куда! задача есть, ведь я гигант! А теперь вся задача гиганта – как бы умереть прилично, хотя никому до этого дела нет... Все равно: вилять хвостом не стану.

Базаров умолк и стал ощупывать рукой свой стакан. Анна Сергеевна подала ему напиток, не снимая перчаток и боязливо дыша.

– Меня вы забудете, – начал он опять, – мертвый живому не товарищ. Отец вам будет говорить, что вот, мол, какого человека Россия теряет... Это чепуха; но не разуберяйте старика. Чем бы дитя ни тешилось... вы знаете. И мать приласкайте. Ведь таких людей, как они, в вашем большом свете днем с огнем не сыскать... Я нужен России... Нет, видно, не нужен. Да и кто нужен? Сапожник нужен, портной нужен, мясник... мясо продает мясник... постоит, я путаюсь. Тут есть лес.

Базаров положил руку на лоб.

Анна Сергеевна наклонилась к нему.

– Евгений Васильич, я здесь...



Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)

Он разом принял руку и приподнялся.

– Прощайте, – проговорил он с внезапной силой, и глаза его блеснули последним блеском. – Прощайте... Послушайте... ведь я вас не поцеловал тогда... Дуньте на умирающую лампаду, и пусть она погаснет...

Анна Сергеевна приложила губами к его лбу.

– И довольно! – промолвил он и опустил на подушку. – Теперь... темнота.

Анна Сергеевна тихо вышла.

– Что? – спросил ее шепотом Василий Иванович.

– Он заснул, – отвечала она чуть слышно.

Базарову уже не суждено было просыпаться. К вечеру он впал в совершенное беспамятство, а на следующий день умер. Отец Алексей совершил над ним обряды религии. Когда его соборовали, когда святое миро коснулось его груди, один глаз его раскрылся, и, казалось, при виде священника в облачении, дымящегося кадила, свеч перед образом, что-то похожее на содрогание ужаса мгновенно отразилось на помертвелом лице. Когда же наконец он испустил последний вздох и в доме поднялось всеобщее стенание, Василием Ивановичем обуяло внезапное исступление. «Я говорил, что я возропщу, – хрипло кричал он, с пылающим, перекошенным лицом, потрясая в воздухе кулаком, как бы грозя кому-то, – я возропщу, возропщу!» Но Арина Власьевна, вся в слезах, повисла у него на шее, и оба вместе пали ниц. «Так, – рассказывала потом в людской Анфисушка, – рядышком и понурили свои головки, словно овечки в полдень...»

Но полуденный зной проходит, и настает вечер и ночь, а там и возвращение в тихое убежище, где сладко спится измученным и усталым.

#### XXVIII

Прошло шесть месяцев. Стояла белая зима с жестокою тишиной безоблачных морозов, плотным, скрипучим снегом, розовым инеем на деревьях, бледно-изумрудным небом, шапками дыма над трубами, клубами пара из мгновенно раскрытых дверей, свежими, словно укушенными лицами людей и хлопотливым бегом продрогших лошадок. Январский день уже приближался к концу; вечерний холод еще сильнее стискивал недвижимый воздух, и быстро гасла кровавая заря. В окнах Марьинского дома зажигались огни; Прокофьич, в черном фраке и белых перчатках, с особенною торжественностию накрывал стол на семь приборов. Неделю тому назад, в небольшой приходской церкви, тихо и почти без свидетелей, состоялись две свадьбы: Аркадия с Катей и Николая Петровича с Фенечкой; а в самый тот день Николай Петрович давал прощальный обед своему брату, который отправлялся по делам в Москву. Анна Сергеевна уехала туда же тотчас после свадьбы, щедро наделив молодых.

Ровно в три часа все собрались к столу. Митю поместили тут же; у него уже появилась нянюшка в глазетовом кокошнике. Павел Петрович восседал между Катей и Фенечкой: «мужья» пристроились возле своих жен. Знакомцы наши изменились в последнее время: все как будто похорошело и возмужало; один Павел Петрович похудел, что, впрочем, придавало еще больше изящества и гран-сеньйорства его выразительным чертам... Да и Фенечка стала другая. В свежем шелковом платье, с широкою бархатною наколкой на волосах, с золотою цепочкой на шее, она сидела почтительно-неподвижно, почтительно к самой себе, ко всему, что ее окружало, и так улыбалась, как будто хотела сказать: «Вы меня извините, я не виновата». И не она одна – другие все улыбались и тоже как будто извинялись; всем было немножко неловко, немножко грустно и в сущности очень хорошо. Каждый прислуживал другому с забавною предупредительностию, точно все согласились разыграть какую-то простодушную комедию. Катя была спокойнее всех: она доверчиво посматривала вокруг себя, и можно было заметить, что Николай Петрович успел уже полюбить ее без памяти. Перед концом обеда он встал и, взяв бокал в руки, обратился к Павлу Петровичу.

– Ты нас покидаешь... ты нас покидаешь, милый брат, – начал он, – конечно, ненадолго; но все же я не могу не выразить тебе, что я... что мы... сколь я... сколь мы... Вот в том-то и беда, что мы не умеем говорить речи! Аркадий, скажи ты.

– Нет, папаша, я не приготавливался.

– А я хорошо приготовился! Просто, брат, позволь тебя обнять, пожелать тебе всего хорошего, и вернись к нам поскорее!

Павел Петрович облобызался со всеми, не исключая, разумеется, Мити; у Фенечки он, сверх того, поцеловал руку, которую та еще не умела подавать как следует, и, выпивая вторично налитый бокал, промолвил с глубоким вздохом: «Будьте счастливы, друзья мои! Farewell! [180]» Этот английский хвостик прошел незамеченным, но все были тронуты.

– В память Базарова, – шепнула Катя на ухо своему мужу и чокнулась с ним. Аркадий в ответ пожал ей крепко руку, но не решился громко предложить этот тост.

Казалось бы, конец? Но, быть может, кто-нибудь из читателей пожелает узнать, что делает теперь, именно теперь, каждое из выведенных нами лиц. Мы готовы удовлетворить его.

Анна Сергеевна недавно вышла замуж, не по любви, но по убеждению, за одного из будущих русских деятелей, человека очень умного, законника, с крепким практическим смыслом, твердою волей и замечательным даром слова, – человека еще молодого, доброго и холодного как лед. Они живут в большом ладу друг с другом и доживутся, пожалуй, до счастья... пожалуй, до любви.

Княжна Х.....ая умерла, забытая в самый день смерти.

Кирсановы, отец с сыном, поселились в Марьине. Дела их начинают поправляться. Аркадий сделался рьяным хозяином, и «ферма» уже приносит довольно значительный доход. Николай Петрович попал в мировые посредники и трудится изо всех сил; он беспрестанно разъезжает по своему участку; произносит длинные речи (он придерживается того мнения, что мужичков надо «вразумлять», то есть частым повторением одних и тех же слов доводить их до истомы) и все-таки, говоря правду, не удовлетворяет вполне ни дворян образованных, говорящих то с шиком, то с меланхолией о манципии (произносится ан в нос), ни необразованных дворян, бесцеремонно бранящих «евту мунципацию». И для тех и для других он слишком мягок. У Катерины Сергеевны родился сын Коля, а Митя уже бегаёт молодцом и болтает речисто. Фенечка, Федосья Николаевна, после мужа и Мити никого так не обожают, как свою невестку, и когда та садится за фортепьяно, рада целый день не отходить от нее. Упомянем кстати о Петре. Он совсем околел от глупости и важности, произносит все е как ю: тюпюрь, обюспючюн, но тоже женился и взял порядочное приданое за своею невестой, дочерью городского огородника, которая отказала двум хорошим женихам только потому, что у них часов не было: а у Петра не только были часы – у него были лаковые полусапожки.

В Дрездене, на Брюлевской террасе, между двумя и четырьмя часами, в самое фешенебельное время для прогулки, вы можете встретить человека, лет около пятидесяти, уже совсем седого и как бы страдающего подагрой, но еще красивого, изящно одетого и с тем особенным отпечатком, который дается человеку одним лишь долгим пребыванием в высших слоях общества. Это Павел Петрович. Он уехал из Москвы за границу для поправления здоровья и остался на жительстве в Дрездене, где знает больше с англичанами и с проезжими русскими. С англичанами он держится просто, почти скромно, но не без достоинства; они находят его немного скучным, но уважают в нем совершенного джентльмена, «a perfect gentleman». С русскими он развязнее, дает волю своей желчи, трунит над самим собой и над ними; но все это выходит у него очень мило, и небрежно и прилично. Он придерживается славянофильских воззрений: известно, что в высшем свете это считается *très distingué* [181]. Он ничего русского не читает, но на письменном столе у него находится серебряная пепельница в виде мужицкого лаптя. Наши туристы очень за ним волочатся. Матвей Ильич Колязин, находящийся во временной оппозиции, величаво посетил его, проезжая на богемские воды; а туземцы, с которыми он, впрочем, видится мало, чуть не благоговейт перед ним. Получить билет в придворную капеллу, в театр и т. д. никто не может так легко и скоро, как *der Herr Baron von Kirsanoff*. Он все делает добро, сколько может; он все еще шумит понемножку: недаром же был он некогда львом; но жить ему тяжело... тяжелей, чем он сам подозревает... Стоит взглянуть на него в русской церкви, когда, прислонясь в сторонке к стене, он задумывается и долго не шевелится, горько стиснув губы, потом вдруг опомнится и начнет почти незаметно креститься...

И Кукшина попала за границу. Она теперь в Гейдельберге и изучает уже не

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
естественные науки, но архитектуру, в которой, по ее словам, она открыла новые законы. Она по-прежнему яхается с студентами, особенно с молодыми русскими физиками и химиками, которыми наполнен Гейдельберг и которые, удивляя на первых порах наивных немецких профессоров своим трезвым взглядом на вещи, впоследствии удивляют тех же самых профессоров своим совершенным бездействием и абсолютной ленью. С такими-то двумя-тремя химиками, не умеющими отличить кислорода от азота, но исполненными отрицания и самоуважения, да с великим Елисевичем Ситников, тоже готовящийся быть великим, толчется в Петербурге и, по его уверениям, продолжает «дело» Базарова. Говорят, его кто-то недавно побил, но он в долгу не остался: в одной темной статейке, тиснутой в одном темном журнальце, он намекнул, что побивший его – трус. Он называет это иронией. Отец им помыкает по-прежнему, а жена считает его дурачком... и литератором.

Есть небольшое сельское кладбище в одном из отдаленных уголков России. Как почти все наши кладбища, оно являет вид печальный: окружающие его канавы давно заросли: серые деревянные кресты поникли и гниют под своими когда-то крашенными крышами; каменные плиты все сдвинуты, словно кто их подталкивает снизу; два-три оципаных деревца едва дают скудную тень; овцы безвозбранно бродят по могилам... Но между ними есть одна, до которой не касается человек, которую не топчет животное: одни птицы садятся на нее и поют на заре. Железная ограда ее окружает; две молодые елки посажены по обоим ее концам: Евгений Базаров похоронен в этой могиле. К ней, из недалекой деревушки, часто приходят два уже дряхлых старичка – муж с женою. Поддерживая друг друга, идут они отяжелевшею походкой; приблизятся к ограде, припадут и станут на колени, и долго и горько плачут, и долго и внимательно смотрят на немой камень, под которым лежит их сын: поменяются коротким словом, пыль смахнут с камня да ветку елки поправят, и снова молятся, и не могут покинуть это место, откуда им как будто ближе до их сына, до воспоминаний о нем... Неужели их молитвы, их слезы бесплодны? Неужели любовь, святая, преданная любовь не всесильна? О нет! Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце не скрылось в могиле, цветы, растущие на ней, безмятежно глядят на нас своими невинными глазами: не об одном вечном спокойствии говорят нам они, о том великом спокойствии «равнодушной» природы; они говорят также о вечном примирении и о жизни бесконечной...

«Природа будит в нас потребность любви»  
Древние греки недаром говорили, что последний и высший дар богов человеку – чувство меры.

И. Тургенев

В блестящей плеяде писателей второй половины XIX века Тургенев представляет собой совершенно особое явление. Он не только занял одно из ведущих мест в русской словесности, но и оказал заметное влияние на европейскую культуру и литературу. Тургенев был одним из самых образованных людей своего времени, круг его общения включал таких выдающихся европейских писателей, как Флобер, Доде, Золя, Мопассан, которые видели в нем своего учителя. Именно Тургенев, пользуясь своим авторитетом, познакомил европейцев с наиболее яркими явлениями русской культуры, тем самым сыграв решающую роль в изменении взгляда на Россию как на страну вторичной, подражательной культуры. Д.С. Мережковский, называя Тургенева едва ли не единственным после Пушкина «гением меры» «в стране... самых неистовых чрезмерностей», писал: «Тений меры – гений Западной Европы. Европе и открылся Тургенев, первый из русских писателей. Несмотря на европейскую славу Л. Толстого и Достоевского, последняя русская глубина их остается Европе чуждою. Они удивляют и поражают ее; Тургенев пленяет. Он ей родной. Она почувствовала в нем впервые, что Россия тоже Европа».

Иван Сергеевич Тургенев родился 28 октября (9 ноября) 1818 года в городе Орле в родовитой дворянской семье.

Его мать, Варвара Петровна, принадлежала к старинному дворянскому роду Лутовиновых. Двоюродный дед Тургенева, И. И. Лутовинов, был основателем Спасской усадьбы, в которой писатель провел детство. Лутовиновы были богаты и жили на широкую ногу, ни в чем себе не отказывая. Эти черты характера унаследовала и мать писателя. Ее судьба сложилась очень не просто. Она рано лишилась отца и многого натерпелась от грубого, деспотичного отчима, который нередко поднимал на нее руку. В конце концов, не вынеся издевательств, сбежала к своему дяде И. И. Лутовинову, жившему в селе Спасском. Дядя, человек с далеко не простым характером, принял племянницу довольно холодно и обращался с ней не лучшим образом, держа чуть ли не взаперти. Однако после смерти дяди некрасивая и уже

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
отцветшая Варвара Петровна (ей было двадцать восемь лет) получила большое наследство и стала богатейшей помещицей Орловской губернии. Она довольно быстро освоилась с новым положением и стала полновластной хозяйкой обширнейших земель и пяти тысяч крепостных.

Отец Тургенева, Сергей Николаевич, принадлежал к известному роду Тургеневых. Согласно семейному преданию, в 1440 году из Золотой Орды к великому князю Василию Васильевичу выехал на службу татарский мурза Лев Турген. Он принял русское подданство, а при крещении в христианскую веру получил русское имя Иван. От него и пошла фамилия Тургеневых. В царствование Иоанна Тростного, в период борьбы Московского государства с Казанским ханством, Петр Тургенев был отправлен послом к ногайским мурзам и уговорил астраханского царя Дервиша мирно принять русское подданство. В смутное время отличился еще один предок Тургенева – П. Н. Тургенев. Он обличил Лжедмитрия I в самозванстве и отказался присягать ему. За это он был подвергнут жестоким пыткам и казни. К началу XIX в. Тургеневы разорились и обнищали, а потому вынуждены были искать богатых невест. Отец Тургенева участвовал в Бородинском сражении, где был ранен и за храбрость награжден Георгиевским крестом. Вернувшись в 1815-м из заграничного похода в Орел, он женился на Варваре Петровне Лутовиновой, которая к тому времени уже была богатой невестой. Хозяйством он не занимался, большую часть времени посвящая картам, кутежам и охоте.

В Спасском любили и умели устраивать праздники. 15 сентября, в день Никиты Мученика, в имение съезжалась чуть ли не вся губерния. На изысканных обедах подавались ананасы, персики и абрикосы, выращенные в собственных оранжереях. В парке звучала музыка, горели сотни разноцветных огней. Тургеневы устраивали отличные охоты, балы, маскарады, спектакли. Приемная дочь Варвары Петровны – Варвара Николаевна Житова вспоминала: «Свой оркестр, свои певчие, свой театр с крепостными актерами – все было в вековом Спасском для того, чтобы каждый добивался чести быть там гостем».

Тургенев получил прекрасное домашнее образование. Среди его домашних учителей были известные московские педагоги. Он с детских лет читал и свободно говорил на трех европейских языках – немецком, французском и английском, очень много читал (в Спасском была богатейшая библиотека). Варвара Петровна презирала все русское, члены семьи говорили между собой исключительно по-французски. Богатство родного языка и литературы открыл для Тургенева один из дворовых, актер и поэт Леонтий Серебряков. Его под именем Лунина Тургенев описал в рассказе «Лунин и Бабурин».

Однако детство писателя вряд ли можно назвать вполне счастливым. Отношения между родителями были довольно прохладными. Сергей Иванович – молодой (на шесть лет моложе жены), красивый и статный мужчина, к жене относился равнодушно-уважительно и при этом заводил многочисленные романы на стороне. Варвара Петровна, по воспоминаниям некоторых современников, первое время очень любила мужа и старалась ни в чем ему не перечить. Но ее жесткий и даже деспотичный характер только усугублялся в такой ситуации. Она нередко поднимала руку на крепостных. Однажды Варвара Петровна хотела ударить хлыстом своего дворецкого, но тот вырвал у нее из рук хлыст и бросил на пол. Крепостного сослали в дальнюю деревню. Маленький Тургенев не мог смотреть на то, как дворовых пороли плетьюми, он бежал к матери и просил ее прекратить наказание. Жестоких «побоев и истязаний» не избежал и сам Иван Сергеевич, который считался любимым сыном матери. «Драли меня за всякие пустяки, чуть не каждый день», – писал он позже.

Варвара Николаевна Житова вспоминала, что Тургенев чаще всего подчинялся своей деспотичной матери. Но при этом имело место «Дело о буйстве И. С. Тургенева», которое хранилось в архиве орловского губернатора. Шестнадцатилетний Тургенев, вступаясь за крепостную девушку Лушку, которую хотели продать, встретил исправника и понятых с ружьем в руках.

В начале 1827 года Тургеневы переехали в Москву, поскольку пришло время готовить детей к поступлению в высшие учебные заведения. Тургенев учился в частном пансионе Вейденгаммера, а в 1829-м, в связи с введением нового университетского устава, – в пансионе Краузе, дававшем более глубокие знания древних языков. Летом 1831-го он вышел из пансиона и стал готовиться к поступлению в Московский университет на дому с помощью известных московских педагогов.

В 1833 году Иван Тургенев поступил на словесное отделение Московского

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru) университета. В этом же году происходит событие, которое через несколько лет ляжет в основу повести «Первая любовь». Будущий писатель знакомится и без памяти влюбляется в княжну Е. Л. Шаховскую. В 1834-м, с поступлением в гвардейскую артиллерию старшего сына, семья переехала в Санкт-Петербург, и Тургенев тогда же перешел в Петербургский университет. Там он сблизился с одним из своих университетских наставников – П. А. Плетневым, бывал у него на литературных вечерах, а через некоторое время решился показать свою драму «Стено». Позже сам Тургенев так характеризовал этот свой литературный опыт: «совершенно нелепое произведение, в котором с бешеной неумелостью выразилось рабское подражание байроновскому Манфреду». На одной из лекций Плетнев, не называя имени автора, по косточкам разобрал это произведение, но все-таки признал, что в авторе «что-то есть». Эти слова приободрили писателя и вскоре он отдал Плетневу ряд стихотворений, из которых два в 1838 году были напечатаны в «Современнике».

В 1836 году Тургенев окончил курс со степенью действительного студента и уже в следующем году получил степень кандидата. А в 1838-м, желая продолжить образование, отправился в Германию, в Берлинский университет. Там он знакомится с Н. В. Станкевичем, Т. Н. Грановским, Н. Г. Фроловым, Я. М. Неверовым, М. А. Бакуниным и слушает лекции по философии ученика Гегеля, молодого профессора К. Вердера.

Тургенев провел за границей больше двух лет. Занятия в университете он совмещал с путешествиями по Европе: объездил Германию, побывал в Голландии и Франции, несколько месяцев жил в Италии. В 1841-м Иван Сергеевич вернулся на родину и поселился в Москве, где готовился к магистерским экзаменам. В это время он посещал литературные кружки и салоны, познакомился с Н. Гоголем, С. Аксаковым, А. Хомяковым. В 1843-м поступил на службу чиновником «особой канцелярии» министра внутренних дел, где служил в течение двух лет.

Творческий путь Тургенева начался с поэтических произведений. До сих пор популярен романс на его слова «Утро туманное, утро седое...». В 1843-м вышел сборник его стихов, подписанный буквами Т. Л. (Тургенев-Лутовинов). В этом же году была издана поэма «Параша», которую высоко оценил Белинский. Знакомство с критиком быстро перешло в дружбу. Белинский ввел Тургенева в общество петербургских писателей, знакомство с которыми привело к изменению литературных взглядов Ивана Сергеевича. От романтических стихотворений он перешел к ироничной описательной поэме («Помещик», «Андрей»), начал писать прозу («Андрей Колосов», «Три портрета», «Бретер»). С 1846 по 1850 год Тургенев отдал дань и драматургии: «Безденежье», «Завтрак у предводителя», «Холостяк», «Месяц в деревне», «Нахлебник». Некоторые из этих пьес до сих пор не сошли со сцены.

С 1847 года Тургенев почти перестал писать стихи. Несмотря на то, что его поэтические опыты одобрил сам Белинский, Тургенев, перепечатав в собрании сочинений даже слабейшие из своих драматических произведений, совершенно исключил из него стихи. «Я чувствую положительную, чуть не физическую антипатию к моим стихотворениям, – говорит он в одном частном письме, – и не только не имею ни одного экземпляра моих поэм – но дорого бы дал, чтобы их вообще не существовало на свете».

Как писатель-реалист Тургенев проявился в цикле рассказов и очерков, которые позже составили книгу «Записки охотника». Этот цикл возник случайно. В своих воспоминаниях Тургенев писал об этом: «Только вследствие просьб И. И. Панаева, не имевшего чем наполнить отдел «Смеси» в 1-м номере «Современника», я оставил ему очерк, озаглавленный «Хорь и Калиныч»». Подзаголовок «Записки охотника» придумал сам Панаев. Тургенев продолжил цикл, и за 1847–1851 годы было написано 22 очерка. Отдельным изданием «Записки охотника» вышли в 1852 году.

Несмотря на образованность, любовь к литературе и личное знакомство со многими писателями (И. И. Дмитриевым, М. Н. Загоскиным, В. А. Жуковским), к литературным опытам своего сына Варвара Петровна отнеслась неодобрительно и считала их «пустым занятием». Вот ее реакция на первую публикацию Ивана Сергеевича: «...какая тебе охота быть писателем? Дворянское ли это дело?... что такое писатель? По-моему, *escrivain ou gratterpapier* c'est tout un (писатель и писец одно и то же – фр.). И тот и другой за деньги бумагу марают». Когда же Варвара Петровна увидела критическую статью на «Парашу», ее негодованию не было границ: «Тебя, дворянина Тургенева, – кричала она, – какой-нибудь попович судит!» – «Да помилуй, тапан, критикуют, значит, заметили, и я этим счастлив. Я не нуль, когда обо мне заговорили». – «Как заговорили! Как заговорили – то? Осудили! Тебя будут

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
дураком звать, а ты будешь кланяться, да? К чему ваше воспитание, к чему все  
губернаторы, профессора, которыми я вас окружала?..».

В 1843 году произошло событие, которое изменило жизнь Тургенева: он познакомился с певицей Полиной Виардо-Тарсия, муж которой переводил сочинения Тургенева на французский. Отношениям Тургенева и Виардо суждено было продлиться сорок лет.

Писатель влюбился в Виардо с первого взгляда, сама же певица никак не выделила Тургенева из многих других. Позднее она писала: «Мне его представили со словами: “Это молодой русский помещик, славный охотник и плохой поэт”». В это время Тургеневу исполнилось 25 лет. Виардо – 22 года. Она становится близким другом и музой писателя. Последующие сорок лет, до самой смерти, Тургенев был связан с «проклятой цыганкой», как называла Виардо его мать. Он полюбил замужнюю и счастливую в браке иностранку, к тому же и не очень красивую.

Он прожил в ее доме, с небольшими перерывами, когда уезжал в Россию, до конца жизни. Их отношения, на фоне ее сложившегося семейного быта (она была замужем), многим казались, да и теперь кажутся, загадкой. В ее доме жила и дочь Тургенева, Полина. Рассказ писателя о ее появлении на свет передан Афанасием Фетом в воспоминаниях: «Когда-то, во время моего студенчества, приехав на вакансию к матери, я сблизился с крепостною ее прачкою. Но лет через семь, вернувшись в Спасское, я узнал следующее: у прачки была девочка, которую вся дворня злорадно называла барышней... Все это заставило меня призадуматься касательно будущей судьбы девочки; а так как я ничего важного в жизни не предпринимаю без совета мадам Виардо, то и изложил этой женщине все дело, ничего не скрывая... мадам Виардо предложила мне поместить девочку к ней в дом, где она будет воспитываться вместе с ее детьми».

Мать Тургенева крайне неодобрительно относилась к отношениям сына с Виардо. Однажды, преодолев ревность и неприязнь к Полине, она поехала слушать ее пение и нашла в себе мужество сказать: «Хорошо поет, проклятая цыганка!» (по некоторым сведениям, отец Виардо происходил из цыганской семьи).

В течение трех лет, с 1847-го по 1850-й, Тургенев жил во Франции, став почти домашним человеком в семье Виардо. В середине 1850 года он вынужден был уехать в Россию. Мать писателя требовала разрыва с Виардо и возвращения сына домой. Стремясь добиться своего, она перестала высылать сыну деньги, необходимые для жизни за границей. Тургенев занимал деньги у друзей, брал авансы в редакциях и сократил свои потребности до минимума.

В ноябре 1850 года мать Тургенева умерла. Иван Сергеевич тяжело пережил ее смерть. Ознакомившись с дневником матери, Тургенев в письме к Виардо писал: «С прошлого вторника у меня было много разных впечатлений. Самое сильное из них было вызвано чтением дневника моей матери... Какая женщина, мой друг, какая женщина! Всю ночь я не мог сомкнуть глаз. Да простит ей Бог все... Право, я совершенно потрясен». Однако материнские дневники вызывают у него не только восторг: «...мать моя в последние минуты не думала ни о чем, как (стыдно сказать) о разорении меня и брата». Была в дневнике и такая запись: «Матушка, дети мои! Простите меня! И ты, о Боже, прости меня, ибо гордыня, этот смертный грех, была всегда моим грехом».

Вернувшись в Россию, Тургенев в качестве автора и критика сотрудничает в «Современнике», ставшем своеобразным центром русской литературной жизни. В 1852 году под впечатлением от смерти Н. Гоголя публикует некролог, запрещенный цензурой. За это подвергается на месяц аресту, а затем высылается в свое имение под присмотр полиции без права выезда за пределы Орловской губернии. В 1853 году ему было разрешено приезжать в Петербург, а право выезда за границу получил только в 1856-м.

За границей писатель снова встречается с Виардо и проводит конец лета и часть осени в Куртавнеле. Там Тургенева посещает А. Фет, которому писатель признается: «Я подчинен воле этой женщины. Нет! Она заслонила от меня все остальное, так мне и надо. Я только тогда блаженствую, когда женщина каблуком наступит мне на шею и вдавит мне лицо носом в грязь». Друживший с Тургеневым поэт Я. П. Полонский также вспоминал, что Тургеневу нужна была такая женщина, которая заставила бы его сомневаться, колебаться, ревновать, унывать – одним словом, мучиться. Виардо, очень гордая и властная женщина, позволяя любить себя, держала Ивана

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
Сергеевича на расстоянии.

Весной 1857 года начинается охлаждение отношений Тургенева и Виардо. В августе Иван Сергеевич пишет Н. А. Некрасову: «Полно сидеть на краюшке чужого гнезда. Своего нет – ну и не надо никакого». Однако в 1862 году отношения возобновляются – семья Виардо приезжает в Баден-Баден для покупки дома, и к ним присоединяется Тургенев. В Баден-Бадене он поселился недалеко от виллы Виардо. Последние 20 лет жизни Иван Сергеевич прожил за границей, став членом семейства Виардо.

В 1878 году Тургенев написал стихотворение в прозе, посвященное Полине Виардо: «Когда меня не будет, когда все, что было мною, рассыплется прахом, – о ты, мой единственный друг, о ты, которую я любил так глубоко и так нежно, ты, которая наверно переживешь меня, – не ходи на мою могилу... Тебе там делать нечего». Виардо действительно намного пережила писателя и, как он предсказывал, не ходила на его могилу.

С 1854 по 1860 год Тургенев активно сотрудничал с «Современником» как критик, рецензент и писатель. Здесь выходит статья «Тамлет и Дон-Кихот», рассказы и повести: «Муму», «Постоялый двор», «Дневник лишнего человека», «Тамлет Щигровского уезда», «Яков Пасынков». В это же время написаны повести «Фауст», «Ася». В 1860 году в «Современник» пришли новые, более молодые сотрудники – Чернышевский и Добролюбов, и в редакции журнала произошел раскол. Некрасов принял сторону новых идеологов «Современника». Тургенев, либерал, противник радикальных общественных перемен, покинул журнал, навсегда разорвав отношения с Некрасовым.

В 1856-м начался наиболее прославивший писателя период больших романов: «Рудин» (1856), «Дворянское гнездо» (1859), «Накануне» (1860), «Отцы и дети» (1862), «Дым» (1867), «Новь» (1877). Их называли летописью духовной жизни русской интеллигенции. В это же время были написаны «Воспоминания о Белинском» (1860), повести «Степной король Лир» (1870), «Вешние воды» (1870), «Песнь торжествующей любви» (1881), «Стихотворения в прозе» (1882), «Клара Милич» (1883).

К концу жизни слава Тургенева стала не только всероссийской, но и общеевропейской, он был причислен к лучшим писателям века. В 1870-е годы Тургенев сблизился с писателями «натуральной школы» – Флобером, Доде, Золя, Мопассаном, которые видели в нем своего учителя. Флобер, получив в подарок от Тургенева его книги, изданные на французском языке, писал в ответ: «...я не могу устоять против желания сказать вам, что я восхищен ими. Уже давно вы для меня учитель. Но чем больше я вас изучаю, тем больше меня изумляет ваш талант. Меня восхищает страстность и в то же время сдержанность вашей манеры письма, симпатия, с какой вы относитесь к маленьким людям и которая насыщает мыслью пейзаж... От ваших произведений исходит терпкий и нежный аромат, чарующая грусть, которая проникает до глубины души. Каким вы обладаете искусством!...». В 1878 году Тургенев вместе с В. Гюго председательствовал на международном литературном конгрессе в Париже, получил титул почетного профессора Оксфордского университета.

В конце жизни Тургенев дважды побывал на Родине – в 1879 и 1880 годах. И оба раза Россия встречала его овациями. В дни торжеств по случаю открытия памятника Пушкину в Москве речь Тургенева (наряду со знаменитой «Пушкинской речью» Достоевского) стала одним из самых ярких событий.

Иван Сергеевич умирал мучительно – от болезни позвоночника. Страшные боли снимал только морфий, у него появились кошмары: ему казалось, что его отравили, а в ухаживающей за ним Полине Виардо мерещилась леди Макбет. В последние часы своей жизни он уже никого не узнавал. Когда Полина Виардо склонилась над ним, он произнес: «Вот царица из цариц!» Это были его последние слова.

Тургенев умер в Буживале, близ Парижа, 22 августа 1883 года. Те, кто видел его во время прощания, свидетельствуют, что лицо его было упокоенным и прекрасным как никогда. Похоронен Иван Сергеевич, по его завещанию, в Петербурге на Волковом кладбище рядом с Белинским. Такого стечения народа, какое было на его похоронах, не было ни на одних похоронах частных лиц.

Т. В. Надозирная

Примечания  
Ася

С. 7. «...дела давно минувших дней...» – начальная строка поэмы Пушкина «Руслан и Людмила».

Лон-лакей – здесь: проводник.

«Грюне Гевелбе» – название коллекции драгоценных камней в Дрезденском королевском замке.

С. 8. Городок З. – имеется в виду Зинциг, расположенный на притоке Рейна р. Ара.

«Гретхен» – по-видимому, имеется в виду имя героини поэмы «Фауст» Гете.

С. 9. Городок Л. – Речь идет о Линце (Линц-на-Рейне).

Landesvater – старинная немецкая песня.

Gaudeamus – старинная студенческая песня на латинском языке.

Филистер – самодовольный ограниченный человек, который заботится только о собственном благополучии.

С. 14. Ланнер Иосиф (1801–1843) – известный австрийский композитор, наряду с Иоганном Штраусом является основоположником классического венского вальса.

«Ты спишь ли? Гитарой тебя разбудю...» – строки из стихотворения А. С. Пушкина «Я здесь, Инезилья...».

С. 18. Книксен – вежливый поклон с приседанием.

Бургомистр – высшее должностное лицо в местных органах управления.

С. 20. «...маленькая рафаэлевская Галатея в фарнезине...» – Речь идет о знаменитой фреске Рафаэля «Триумф Галатеи» на вилле Фарнезина в Риме.

С. 21. «Матушка, голубушка» – песня композитора А. Гурилева (1802–1857).

Ван-дейк (1599–1640) – знаменитый голландский художник.

С. 23. «Герман и Доротея» – поэма Гете.

С. 32. «Лорелея». – Немецкая народная легенда о Лорелее стала сюжетной основой многих поэтических произведений. Наиболее известное – баллада Г. Гейне «Лорелея».

С. 33. «Где нынче крест и тень ветвей / Над бедной матерью моей!» – перифраз строк из восьмой главы «Евгения Онегина» А. С. Пушкина.

С. 44. Талер – немецкая серебряная монета.

Первая любовь

С. 59. Кайданов И. К. (1780–1843) – заслуженный профессор истории в Царскосельском лицее, автор учебников по русской и всеобщей истории.

С. 69. Приказной – поверенный, ведущий судебные дела и составляющий документы.

С. 12. Барежевое платье – платье из барежа – шерстяной, шелковой или хлопчатобумажной ткани.

С. 86. «Что не любить оно не может» – цитата из стихотворения Пушкина «На холмах Грузии лежит ночная мгла...»

С. 90. «...мой приятель Тонкошеев...». – Имеется в виду роман А. Тонкошеева «Эль-Тровадор, или Месть за месть. Испанская быль» (1883), в котором



Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru) используются «оборотные знаки», то есть опрокинутые вопросительные и восклицательные знаки, как в испанских книгах.

С. 91. «...Все мы, как Полоний в «Гамлете», решили, что облака напоминали именно эти паруса...» – В трагедии Шекспира «Гамлет» Полоний трижды соглашается с мнением Гамлета, что облако похоже на верблюда, на хорька и на кита.

С. 94. Фрейтаг – известный в 1830-е годы в Москве тренер и владелец манежа.

С. 96. Малек-Адель и Матильда – герои романа «Матильда, или Крестовые походы» французской писательницы Софи Коттен (1770–1807).

«Не белы снеги» – народная песня.

«Я жду тебя, когда зефир игривый...» – романс на слова стихотворения П. А. Вяземского «Я жду тебя»

«...обращение Ермака к звездам из трагедии Хомякова...» – Имеется в виду монолог Ермака из романтической трагедии А. С. Хомякова «Ермак» (1832).

Ментик – короткая гусарская куртка с шнурами, опушенная мехом.

С. 102. Барбье Огюст (1805–1882) – французский поэт.

С. 107. «Куда, красавец молодой? – Лежи...» – слова Алеко из поэмы Пушкина «Цыганы»

С. 110. Вакансия – здесь: каникулы.

Позумент – золотая или серебряная тесьма.

С. 111. Зоря – растение с гладким, толстым, дудчатым стеблем.

С. 121. «Из равнодушных уст я слышал смерти весть, / И равнодушно ей внимал я...» – цитата из стихотворения Пушкина «Под небом голубым страны своей родной...».

После смерти (Клара Милич)

С. 126. Брюс Я. В. (1670–1735) – российский государственный деятель петровской эпохи, военный, инженер и ученый, один из самых просвещенных людей своего времени.

Английский кипсэк – роскошное издание с гравюрами, картинками.

Гюльнара и Медора – героини поэмы английского поэта-романтика Дж. Байрона (1788–1824).

С. 132. «Рашель она или Виардо?...» – здесь: драматическая или оперная артистка. Элиза Рашель Феликс (1821–1858) – великая французская актриса. Полина Виардо (1821–1910) – французская певица.

С. 150. «Груня» Островского. – Видимо, имеется в виду героиня пьесы Островского «Не так живи, как хочется», поскольку пьесы «Груня» у Островского нет.

С. 168. «Я буду любить до скончания века и по скончании века» – цитата из стихотворения Мицкевича (1798–1855) «Разговор».

Отцы и дети

С. 341. Постоялый двор – трактир с местами для ночлега и двором для лошадей.

С. 342. «...вышел из университета кандидатом...» – Степень кандидата, введенная в 1804 году, присуждалась лицам, представившим письменную работу на избранную ими тему. При поступлении на государственную службу она давала право на чин 10-го класса (коллежский секретарь).

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
Английский клуб – первый в России клуб, открытый в Петербурге в 1770 году и учрежденный по английскому образцу; пользовался популярностью в высших слоях общества и литературных кругах.

Министерство уделов – министерство, ведавшее управлением именными, принадлежавшими царской семье.

С. 350. «Как грустно мне твое явленье...» – цитата из романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин».

С. 354. «...он львом был в свое время» – здесь: в значении светским львом.

С. 355. Гамбс (1765–1831) – мебельный мастер.

С. 358. Феска – головной убор в форме усеченного конуса с кисточкой, обычно красного цвета.

С. 361. Принцип (принцип) – основное, исходное положение какой-либо теории или учения.

«...дай вам Бог здоровья и генеральский чин...» – неточная цитата из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума».

Гегелисты – последователи идеалистической философии Г. Гегеля.

С. 362. Эзоп (Эзоп, VI в. до н. э.) – древнегреческий баснописец.

С. 364. Шиллер Иоганн Фридрих (1759–1805) – немецкий поэт, драматург, философ.

Гете Иоганн Вольфганг (1749–1832) – немецкий поэт.

Либих Юстус (1803–1873) – немецкий химик, один из основателей агрохимии.

С. 365. Фат – самодовольный, пошлый франт; хлыщ, щеголь.

С. 366. Пажеский корпус – среднее военное учебное заведение, основанное в Петербурге в 1759 году.

С. 367. Сфинкс – в древнегреческой мифологии: крылатое существо с туловищем льва, головой и грудью женщины, задававшее неразрешимые загадки.

С. 370. Веллингтон Артур Уэлсли (1769–1852) – английский полководец и политический деятель.

Несессер – специальная шкатулка или чемоданчик с туалетными принадлежностями.

Вист – карточная игра.

С. 373. Мелисса – трава с запахом лимона, используется как лечебное средство и как пряность.

С. 374. Ермолов Алексей Петрович (1772–1861) – генерал.

«Стрельцы» – четырехтомный исторический роман К. П. Масальского (1802–1864).

Грош – старинная медная монета достоинством в полкопейки.

С. 378. Картуз – мужской головной убор с жестким козырьком.

С. 382. Бюхнерово «Stoff und Kraft»... – Бюхнер Людвиг (1824–1899) – немецкий врач, естествоиспытатель и философ, крупнейший представитель материалистического направления в европейской философии 2-й половины XIX века. Главный труд – «Материя и сила».

С. 383. «Цыгане» – «Цыганы» (1827), поэма А. С. Пушкина.

Туз – здесь: важный, влиятельный человек.

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)

С. 384. Фимиам – благовонное вещество для курения, ладан.

Тайный советник – гражданский чин 3-го класса по «Табели о рангах».

Генерал-адъютант – одно из высших воинских званий в России. Генерал-адъютанты состояли при царе, генерал-фельдмаршалах и их помощниках, при генералах.

С. 389. Тапер – пианист, играющий на танцевальных вечерах.

С. 396. Мизантропический. – Мизантроп – человек, избегающий общества людей.

С. 397. Гизо Франсуа Пьер Гийом (1787–1874) – французский государственный деятель, историк.

С. 398. Свечина София Петровна (1782–1859) – фрейлина двора Павла I и Александра I; писательница-мистик. Ее сочинения, изданные в 1860 году, оживленно обсуждались в дворянских кругах русского общества.

Кондильяк Э.-Б. (1715–1780), французский философ, популярностью пользовалась его книга «Трактат об ощущениях» (1754), которую, вероятно, имеет в виду Тургенев.

Шлафрок – домашний халат.

С. 399. Бурдалу Луи (1632–1704) – французский проповедник.

С. 404. Жорж Санд (1804–1876) – французская писательница, пропагандировавшая идеи женской эмансипации.

Эмерсон Рольф Уолдо (1803–1882) – американский писатель.

Патфайндер – следопыт; герой романов американского писателя Джеймса Фенимора Купера (1789–1851) «Кожаный чулок», «Следопыт», «Прерия», «Последний из могикан».

Бунзен Роберт Вильгельм (1811–1899) – немецкий химик.

С. 405. Прудон Пьер Жозеф (1809–1865) – французский экономист и социолог, один из основоположников анархизма; был противником женской эмансипации, полагая, что главное предназначение женщины – быть матерью и заниматься хозяйством.

С. 406. Мишле Жюль (1798–1874) – французский историк и публицист.

Et toe, et toe, et tin-tin-tin!.. – цитата из песни Беранже «Пьяница и его жена».

С. 408. Кринолин – нижняя юбка на тонких стальных обручах.

С. 413. Ипохондрик – человек, страдающий угнетенным состоянием, болезненной мнительностью.

С. 416. Шишак – шлем с острием, заканчивающимся шишкой.

С. 417. Сперанский Михаил Михайлович (1772–1839) – государственный деятель, под его руководством были составлены Полное собрание законов Российской империи в 45 томах (1830), Свод законов Российской империи в 15 томах (1832) и др.

С. 418. Спич – краткая речь.

С. 422. Моцарт Вольфганг Амадей (1756–1794) – великий немецкий композитор.

С. 424. Ремизиться – в карточной игре ремиз означает недобор взятки, то есть проигрыш.

С. 426. Мантилья – кружевная белая или черная женская накидка, покрывающая голову и верхнюю часть туловища.

С. 429. Желтый дом – дом для сумасшедших.

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
Тоггенбург – герой баллады Шиллера «Рыцарь Тоггенбург».

Миннезингеры – средневековые придворные певцы и поэты, воспевавшие любовь рыцаря к «даме сердца».

Трубадуры – провансальские странствующие певцы XI–XIII веков, воспевали рыцарские доблести и любовь.

С. 430. Чуйка – мужская верхняя одежда.

С. 431. «Pełouse et Fremy. Notions generates de Chimie» – книга, написанная французскими учеными-химиками Теофилом Жюлем Пелузом (1807–1867) и Эдмондом Фреми (1814–1894).

С. 451. Ландкарта – географическая карта.

Гуфеланд Христофор Вильгельм (1762–1836) – немецкий ученый, автор книги «Искусство продления человеческой жизни. Макробиотика» (1796).

С. 452. Лазаря петь – жаловаться на судьбу, прикидываться несчастным. Выражение восходит к евангельской притче о нищем Лазаре.

С. 453. «Друг здравия» – врачебная газета, издававшаяся в Петербурге с 1833 по 1869 год.

Френология (гр. phren – душа, ум, сердце) – псевдонаука о связи психики человека и строения поверхности его черепа. Создателем френологии является австрийский врач и анатом Франц Йозеф Галь (1758–1828).

Шенлейн Иоганн Лукас (1793–1864) – немецкий врач, профессор.

Радемахер Иоганн Готфрид (1772–1849) – немецкий ученый, медик.

«...гуморалист Гоффман...» – Гуморалист – сторонник идеалистической умозрительной теории гуморальной патологии, согласно которой причины болезней коренятся в нарушении соотношения соков в организме. Фридрих Гофман (1660–1742) – немецкий ученый, медик.

Броун Джон (1735–1788) – английский врач, терапевт, сторонник витализма, который пытался объяснить явления жизни действием находящегося в организме особого нематериального начала – «жизненной силы», «души».

Витгенштейн Петр Христианович (1768–1842) – фельдмаршал русской армии.

Жуковский Василий Андреевич (1783–1852) – русский поэт и переводчик.

Тех-то, в южной-то армии, по четырнадцатому, вы понимаете... – намек на Южное общество декабристов, возглавлявшееся П. И. Пестелем.

С. 454. Парацельсий (Парацельс) Теофраст Бомбаст (1453–1541) – знаменитый швейцарский врач и химик.

Филантропия – благотворительность.

С. 457. Морфей – бог сновидений.

С. 458. Четверговая соль – соль, «пережженная в великий четверг с квасною гущею», служила «общим лекарством от всего». Великий четверг, или Великий четверток, – четверг на Страстной неделе – последней неделе Великого поста.

«Алексис, или Хижина в лесу» (1788) – сентиментально-нравоучительный роман французского писателя Дюкре-Дюминилля-Франсуа Гийома (1761–1819).

С. 459. Цинциннат (VI–V вв. до н. э.) – римский патриций и диктатор, вел простой образ жизни и сам обрабатывал землю, чем снискал славу образцового хозяина.

Столбовой – дворянин старинного рода.

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
Ермолка – маленькая мягкая круглая шапочка.

С. 462. «Роберт-дьявол» – опера Джакомо Мейербера (1791–1864).

С. 463. Донник – душистая трава с белыми или желтыми цветками.

Паллиативные средства – средства, дающие временное облегчение.

С. 468. Кастор и Поллукс – мифологические герои-близнецы, сыновья Зевса и Леды. Здесь: в смысле неразлучные друзья.

С. 469. Ералаш – старинная карточная игра, популярная в России в 1860-е годы.

С. 483. Креозот – маслянистая жидкость с едким запахом древесного дегтя и жгучим вкусом. Антимикробное средство.

С. 485. Селадон – персонаж романа «Астрея» французского писателя Оноре д'Юрфе (1586–1625), сентиментальный влюбленный. В русской культуре имя Селадона стало именем нарицательным, первоначально обозначало томящегося влюбленного, затем – дамского угодника, волокиты.

С. 495. Таинственный незнакомец – неизменный персонаж английской писательницы Энн Редклифф (1764–1823), романы которой пользовались огромным успехом.

Пиль Роберт (1788–1850) – английский государственный деятель, консерватор.

С. 502. Прапорщик – самый младший офицерский чин.

Каста – общественная группа, оберегающая свою замкнутость, обособленность и свои сословные или групповые привилегии.

С. 503. Теше Тенрих (1797–1856) – великий немецкий поэт.

С. 513. Капители колонн – верхняя часть колонн.

С. 518. Дирекция – направление.

С. 523. Кичка – старинный русский праздничный головной убор замужней женщины.

Гулярдовая вода – то есть свинцовая примочка, названная по имени французского врача Т. Гулара (ум. в 1784 г.).

С. 524. Адский камень – ляпис (селитро-азотнокислое серебро), применявшийся врачами для прижигания.

С. 528. Отправиться на Елисейские (поля) – здесь: умереть.

С. 534. Соборование – церковный обряд у постели тяжелобольного или умирающего с помазанием его тела елеем.

Святое миро – благовонное масло.

С. 538. Богемские воды – Карлсбад (ныне Карловы Вары) и Мариенбад (ныне Марианске-Лазне).

Примечания

1

Добрый вечер! (Нем.)

2

Добрый вечер, мадам! (Нем.)

3

В стиле Ван Дейка (франц.).

4

Женщиной весьма вульгарной (франц.).

5

Гадкие денежные дела (франц.).

6

«Парижанин» (франц.).

7

Что я для нее? (франц.)

8

С повадкой гризетки (франц.).

9

Господа (франц.).

10

Женщиной, способной на что угодно (франц.).

11

С глазу на глаз? (франц.)

12

Дословно: «Дневник прений» (франц.).

13

Тише! (франц.)

14

Спасибо (франц.).

15

От франц. *aventuriere* – авантюристка, искательница приключений.

16

А, господин паж! (франц.)

17

Конь чистокровной породы (франц.).

18

Вы должны расстаться с этой... (франц.)

19

Парадокс – своеобразное мнение, резко расходящееся с общепринятым, кажущееся противоречащим здравому смыслу.

20

В дантановском вкусе. – Дантан Жан-Пьер (1800–1869) – французский скульптор–карикатурист.

21

Вы меня понимаете (франц.).

22

Чудятся романтические звуки Оберонова рога. – Оберон – сказочный образ короля эльфов в средневековой французской легенде. Композитором Вебером написана опера «Оберон».

23

Ставассер Петр Андреевич (1816–1860) – русский скульптор.

24

Пингуин – пингвин, плавающая морская птица.

25

Митенки – женские перчатки без пальцев.

26

Куафюра – пышная женская прическа.

27

Фрондёр (франц.) – человек, выражающий недовольство чем-либо.

28

Мой дурачок (нем.).

29

«Последнюю думу» Вебера? (франц.)

30

Тимофей Николаевич – Грановский (1813–1855), профессор истории в Московском университете, пользовавшийся большой популярностью у студентов.

31

Шеллингианец – последователь учения немецкого философа-идеалиста Фридриха Вильгельма Шеллинга (1775–1854).

32

Раумер Фридрих (1781–1873) – немецкий историк.

33

Корнет – первый обер-офицерский чин в царской армии.

34

Манкировать – пренебрегать, небрежно относиться к кому-нибудь или к чему-нибудь.

35

При всем моем здравомыслии (франц.).

36

Перед прислугой (франц.).

37

Здесь в смысле – домашний уют (франц.).

38

«Не отходи от меня» – романс на слова поэта А. А. Фета (1820–1892).

39

Существа без сердца (франц.).

40

Répondez s'il vous plaît – ответьте, пожалуйста (франц.).

41

Прощай (итал.).

42

Иллюминат – просветленный (лат.) – член тайного общества, основанного в XVIII веке в Баварии, родственного по духу учению масонов.

43

Геттингенский студент – студент Геттингенского университета в Германии, воспитывавшего в своих слушателях приверженность к идеалистической немецкой философии и критическому отношению к тогдашнему общественному строю.

44

ш еллингизм – философское учение, названное по имени немецкого философа-идеалиста Шеллинга. Сведенборгианизм – религиозное учение, названное по имени шведского ученого XVIII века Эммануила Сведенборга, впавшего впоследствии в мистику.

45

Вашингтон Джордж (1732–1799) – американский государственный деятель, первый президент США.

46

В 30-е годы XIX века Московский университет являлся очагом свободомыслия, передовых социально-политических, философских и литературных идей. В это время возникли там кружки Белинского и Станкевича, Герцена и Огарева.

47

Ага – турецкий чиновник или офицер.

48

Фейербах Людвиг (1804–1872) – немецкий философ-материалист.

49

Горацио – действующее лицо в трагедии Шекспира «Гамлет».

50

Венелин Юрий Иванович (1802–1839) – русский филолог и историк-славист. Посвятил много исследований истории Болгарии и болгарского народного творчества.



51

Крум – болгарский князь, одержавший ряд побед над войсками Византии в начале IX века.

52

Кто? (Нем.)

53

Макс и Агата – персонажи оперы Вебера «Волшебный стрелок».

54

Фемистокл – политический деятель и полководец Афин (V–IV вв. до н. э.). Под предводительством Фемистокла греки одержали победу над персами при Саламине (480 г. до н. э.).

55

Увеселительная прогулка (франц.).

56

Какая нелепость (франц.).

57

Вашу руку, сударыня (нем.).

58

Озеро (франц.).

59

Ну же! (франц.)

60

О озеро! Год едва закончил свой бег... (франц.)

61

Покнейпировать – от немецкого глагола kneipen – веселиться, кутить.

62

Ах, проклятый! (Нем.)

63

Чирый – то есть самодовольный.

64

Вы слышите это, господин провизор? (Нем.)

65

Удовлетворения! Я хочу поцелуя! (Нем.)

66

Господи Иисусе!.. (Нем.)

67

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
Боже мой! (Нем.)

68  
«Трепещи, Византия!» (итал.) – слова одного из персонажей в опере «Велизарий» итальянского композитора Доницетти (1797–1848).

69  
Как каналья (франц.).

70  
Жуир – беззаботный человек, ищущий в жизни только удовольствий.

71  
Выйдите, пожалуйста (франц.).

72  
А вы, сударыня, пожалуйста, останьтесь (франц.).

73  
Возможно (франц.).

74  
Отцов из комедии (франц.).

75  
Настоящий стоик (франц.) – человек с твердым характером, мужественно переносящий беды и лишения.

76  
С распростертыми объятиями (франц.).

77  
Это настоящий мужчина! (Нем.)

78  
В 1853 году русская армия вступила в придунайские княжества Молдавию и Валахию, находившиеся под властью Турции. Это было следствием отказа Турции обеспечить права христианского населения турецкой империи.

79  
Какая чепуха! (франц.)

80  
Или Цезарь, или ничто (лат.).

81  
Грот Джордж (1794–1871) – английский историк.

82  
Прочесть Вертера – то есть «Страдания молодого Вертера» – роман Гете.

83

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
Сибарит – праздный, изнеженный человек.

84  
Пусть мне покажут этих женщин (франц.).

85  
Пифагор (около 571–497 гг. до н. э.) – древнегреческий философ, ученый и политический деятель.

86  
Вы бредите, дорогой (франц.).

87  
Мы все это переменили (франц.).

88  
Перед прислугой (франц.).

89  
Лакей! Какое унижение! (франц.)

90  
В конце 1853 года русская эскадра под командой адмирала Нахимова уничтожила турецкий флот в бою под Синопом.

91  
Которые мы вам внушили (франц.).

92  
Вы меня убиваете (франц.).

93  
Что я вас убиваю (франц.).

94  
Презренные лакеи (франц.).

95  
Брут Марк Юний (82–42 гг. до н. э.) – римский политический деятель, республиканец, глава заговора против Цезаря.

96  
«Человек он был» – слова Гамлета из одноименной трагедии Шекспира: «Это был человек бесконечного остроумия, неистощимый на выдумки».

97  
Берегись! (Нем.)

98  
Большому каналу (итал.).

99

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
Каналетти (или Каналетто) Антонио (1697–1768) – венецианский живописец.

100  
Гварди Франческо (1712–1793) – венецианский живописец.

101  
Набережную Чиавони (итал.).

102  
Дождь – выборный пожизненный глава торговой республики Венеции.

103  
Изящных искусств (итал.).

104  
Тинторетто (1518–1594) – итальянский живописец. Его картина, о которой идет речь, «Чудо святого Марка».

105  
Речь идет о картине «Вознесение» итальянского художника Тициана (1477–1576).

106  
Чима да Конельяно – прозвище Джованни Баттиста (1459–1517/18), итальянского живописца.

107  
Морских плодов, то есть съедобных ракушек (итал.).

108  
Фанатизм (итал.).

109  
Палладио Андреа (1508–1580) – итальянский архитектор.

110  
«Триестинский наблюдатель» – итальянская газета.

111  
Марино Фалиеро (1278–1355) – венецианский дож, казненный в 1356 году за организацию республиканского заговора. Во Дворце дожей среди портретов других дождей место Фалиеро оставлено пустым и снабжено надписью: «Здесь место Фалиеро, обезглавленного за преступление».

112  
«Обезглавленного за преступления» (лат.).

113  
«Я стоял в Венеции на Мосту вздохов» (англ.) – из поэмы «Странствия Чайльд-Гарольда» Байрона.

114  
Бустрада – презрительное прозвище Наполеона III.

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)

115

П альмерстон Генри (1784–1865) – английский государственный деятель.

116

«Возмездие» В. Гюго (франц.). – Гюго Виктор (1802–1885) – французский писатель.

117

«Будущее – исполнитель провидения» (франц.) – последняя строка стихотворения В. Гюго «Открыто на ночь».

118

Из стихотворения русского поэта П. А. Вяземского (1792–1878) «К оружию».

119

Прудон Пьер-Жозеф (1809–1865) – французский утопический социалист, один из основателей анархизма.

120

Чистокровному (франц.).

121

Он в самом деле вольный (франц.).

122

Костюм английского покроя (англ.).

123

«Рукопожатие» (англ.).

124

Стал развязнее (франц.).

125

«Galignani» – «Galignani's Messenger» («Вестник Галиньяни») – ежедневная газета, издававшаяся в Париже на английском языке с 1814 года. Получила название по имени своего основателя – Джованни Антонио Галиньяни.

126

Вы все это переменили (франц.).

127

«Но я могу дать тебе денег» (франц.).

128

В стиле Возрождения (франц.).

129

Хорошо (лат.).

130

Отец семейства (лат.).

131

Материя и сила» (нем.).

132

Общественному благу (франц.).

133

Маратель, писака (франц.).

134

Старомодно (франц.).

135

Добрый вечер (франц.).

136

«Извините, сударь» (франц.).

137

Энергия – первейшее качество государственного человека (франц.)

138

«Самый излюбленный» (англ.).

139

Прошло его время (франц.).

140

Свободная от предрассудков (франц.).

141

Войдите (франц.).

142

Моя приятельница (франц.).

143

«О любви» (франц.).

144

«Как истинный французский рыцарь» (франц.).

145

«Очарован» (франц.).

146

«Зют», «Черт возьми», «Пет, ист, моя крошка» (франц.).

147

Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
Неправильное употребление условного наклонения вместо прошедшего, «если б я имел» (франц.).

148  
«Безусловно» (франц.).

149  
Превосходно (лат.).

150  
Фреской (итал.).

151  
Высший, торжественный стиль (франц. *grand genre*/

152  
Для вида (франц. *contenance* – осанка, вид).

153  
«Пелуз и Фреми. Общие основы химии» (франц.).

154  
Гано, «Элементарный учебник экспериментальной физики» (франц.).

155  
Настоящий мужчина (франц. *homme fait*).

156  
Всякому свое (лат.).

157  
Здесь: предпочтение (франц. *préférence*).

158  
Вот и всё (франц. *voilà tout*).

159  
В травах, словах и камнях... (лат.)

160  
Отправился к праотцам (лат.).

161  
Бесплатно (лат.).

162  
Даром (лат.), по-любительски (франц. *en amateur*/

163  
Новый человек (лат.).

164

Дружище (лат.).

165

Спокойно, спокойно (франц.).

166

Как подобает (франц. *comme il іші*).

167

Имеющий уши да слышит! (франц.)

168

Полезное с приятным? (лат.)

169

Головокружение (франц.).

170

«Ложитесь» (франц.).

171

В том же роде (франц.).

172

Свояченицей (франц.).

173

В девятнадцатом веке? (франц.)

174

Что за мысль! (франц.)

175

Где больной? (нем.)

176

Уважаемый коллега (нем. *wertester herr kollega*/

177

Уже умирает (лат.).

178

Сударь, по-видимому, владеет немецким языком (нем.).

179

Я... имею... (нем. *ich habe*/

180

Прощайте! (Англ.)



Ася. Накануне. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
181 Господин барон фон Кирсанов (нем.).

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://turgenevivan.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы,  
недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет  
магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных  
сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!